

Б. А. УСПЕНСКИЙ



ИСТОРИЯ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
(XI—XVII вв.)



Б. А. УСПЕНСКИЙ

**ИСТОРИЯ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
(XI—XVII вв.)**

Б. А. УСПЕНСКИЙ



**ИСТОРИЯ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
(XI—XVII вв.)**



Издание 3-е,
исправленное и дополненное



АСПЕКТ ПРЕСС

**Москва
2002**

УДК 373.167.1:81
ББК 81
У 77

Успенский Б. А.
У 77 История русского литературного языка (XI–XVII вв.). —
3-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 558 с.
ISBN 5–7567–0146–X.

Книга представляет изложение основных моментов истории русского литературного языка (до эпохи Петра I) в связи с историей русской культуры. Главное внимание уделяется рассмотрению русской языковой ситуации.

Книга предназначена в первую очередь для студентов-русистов, а также для широкого круга исследователей русской книжной традиции.

УДК 373.167.1:81
ББК 81

ISBN 5–7567–0146–X

© «Аспект Пресс», 2002.

Все учебники издательства «Аспект Пресс» на сайте
www.aspectpress.ru

Учебное издание

Борис Андреевич Успенский

**ИСТОРИЯ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (XI–XVII вв.)**

Ведущий редактор Л. Н. Шапова

Корректор М. Н. Толстая

Компьютерная верстка С. А. Артемьевой

ИД № 00287 от 14.10.99

Подписано к печати 28.09.2001. Формат 60×90¹/₁₆. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 35. Тираж 5000 экз. Заказ № 4732.

Издательство «Аспект Пресс»
111398 Москва, ул. Плеханова, д. 23, корп. 3. Тел. 309-11-66, 309-36-00
e-mail: info@aspectpress.ru, www.aspectpress.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
диапозитивов в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93.

Предисловие

В основу настоящей книги легли лекции по истории русского литературного языка, которые автор, в бытность свою профессором Московского государственного университета (1970–1980-е гг.), читал на филологическом факультете Университета для студентов русского отделения. Хронологически данная книга не покрывает всего курса, который доходил до середины XIX в. — до времени, когда в результате стабилизационных процессов русский литературный язык приобретает тот облик, который в общем и целом сохраняется по сей день (конспективное изложение всего курса читатель может найти в книге: Успенский, 1994; см. также общий обзор: Успенский, 1995а/1997). Автор счел необходимым сосредоточиться на раннем этапе истории русского литературного языка как потому, что этот период относительно мало изучен, так, в первую очередь, и потому, что именно в это время формируются тенденции, которые так или иначе определяют его последующую эволюцию.

Будучи непосредственно связана с преподавательской деятельностью, книга была задумана как учебник для студентов-русистов. Она была написана по заказу издательства «Высшая школа», однако неблагоприятная для автора ситуация (против него была развернута кампания, инспирированная отделом науки ЦК КПСС; причины кампании имели лишь косвенное отношение к науке, и о них рассказано в другом месте, см.: Успенский, 2001а, с. 409–410) сделала неосуществимой ее публикацию на родине; книга была опубликована за границей, где она вышла двумя изданиями — в Мюнхене в 1987 г. и в Будапеште в 1988 г. Автор с признательностью вспоминает о дружеской поддержке своих зарубежных коллег профессора Г. Хюттль-Фольтер (ныне покойной) и доктора А. Золтана, благодаря усилиям которых и стали возможными названные публикации.

Таким образом, настоящее издание книги является третьим — при том, что это первое издание, выходящее в России, т.е. предназначенное для той читательской аудитории, для которой она была написана. В это издание были внесены необходимые исправления и дополнения. В то же время основная концепция книги, равно как и ее структура, остались без изменения.

Автор считает своим долгом поблагодарить за помощь в работе В. М. Живова, без деятельного участия которого эта книга, возможно, не была бы написана, а также А. А. Зализняка, чьи критические замечания способствовали сокращению числа ее недостатков. С особой теплотой автор вспоминает участников семинара по истории русского литературного языка в Московском университете, общение с которыми стимулировало создание этой работы.

Многоточие и разрядка в цитатах, так же как и текст, взятый в квадратные скобки, во всех случаях принадлежат автору настоящей работы (а не цитируемому автору). При цитировании лингвистических исследова-

ний используются унифицированные обозначения источников, принятые в данной книге (в этом случае в текст цитаты вносятся соответствующие изменения).

Библиографические ссылки даются сокращенно; эти сокращения раскрываются в приложенной к работе библиографии (см. раздел «Цитируемая литература»). Как правило, при этом указывается фамилия автора (или же редактора) и год публикации соответствующей книги или статьи. В случае многотомных изданий вместо года публикации указывается том цитируемого издания; тома обозначаются римскими цифрами, в случае же более мелких подразделений — если том, в свою очередь, состоит из нескольких выпусков с самостоятельной пагинацией — используются арабские цифры. Новгородские берестяные грамоты цитируются с указанием номера грамоты без ссылки на публикацию (соответствующую ссылку можно найти в разделе «Цитируемая литература» под рубрикой *Берестяные грамоты*).

Введение

§ 1. Предмет истории литературного языка

§ 1.1. История литературного языка как лингвистическая дисциплина. История языка — в частности, история русского языка — распадается на две взаимодополняющие части: историческую диалектологию и историю литературного языка. Эти дисциплины до некоторой степени соотносятся с основными источниками по истории языка: памятниками письменности и диалектологическими данными. Это две принципиально разные области, которые отличаются не только объектом, но и методикой исследования.

История литературного языка нередко понимается как история языка литературы; однако отождествление этих понятий неправомерно. Оно вызывает прежде всего методологические возражения: история литературного языка, очевидно, должна мыслиться прежде всего как история языка в строгом лингвистическом смысле; между тем, при понимании литературного языка как языка литературы история литературного языка оказывается по существу историей текстов, т.е. дисциплиной промежуточной между литературоведением и лингвистикой, а не собственно лингвистической дисциплиной, какой она должна быть.

Различение языка, под которым понимается механизм порождения текста, и речи, под которой понимается текст как таковой, является одним из основных принципов лингвистики как науки. Оно отнюдь не теряет своей актуальности и в применении к литературному языку.

Отождествление литературного языка и языка литературы, по-видимому, представляет собой вообще результат неправомерного переосмысления соответствующих понятий: по своему первоначальному смыслу эпитет «литературный» в выражениях такого рода непосредственно соотносится совсем не с «литературой» в современном значении этого слова, а с «литерой» (буквой), ср. выражение *homo litteratus*, которое в противоположность *homo rusticus* означало именно человека грамотного, владеющего книжной латынью, т.е. грамотея, книжника. Выражение «литературный язык», таким образом, означает по своему исходному смыслу язык книжный, т.е. нормованный, связанный с грамотностью, с книжным учением. Литературный язык связан при этом со специальной книжной нормой.

Тем самым, история литературного языка — это история **н о р - м ы**. Между тем, история языка литературы — это история **о т - к л о н е н и й** от нормы. Это определяет принципиально раз-
личный подход к языку литературных произведений у историка
литературного языка и у историка литературы. Историка литера-
турного языка интересуют стандартные явления, т.е. тот фон, на
котором реализуется творческая активность отдельных авторов;
историка литературы интересует творческое своеобразие писате-
ля, в частности, постольку, поскольку оно проявляется в языке.
Исследование языка литературы предполагает в качестве необхо-
димого условия знание литературного языка.

История литературного языка позволяет, в принципе, опреде-
лить, насколько тот или иной текст соответствует нормам литера-
турного языка данной эпохи; иначе говоря, история литературно-
го языка дает возможность прочесть текст глазами современного
ему читателя, владевшего литературным языком своего времени.

Соотношение понятий «литература» и «литературный язык» не
всегда одинаково. В определенной языковой ситуации — в частно-
сти, в той, какая имела место в Древней Руси, — именно приме-
нение литературного языка, т.е. языка, которому специально обу-
чались грамотные люди, может служить критерием для суждения о
принадлежности памятника письменности к кругу «литературных»
(с точки зрения соответствующей эпохи) произведений. Иначе
говоря, именно соблюдение норм литературного языка позволяет
определить отношение рассматриваемого текста к «литературе».
Понятие «литературного языка» выступает в этих условиях как пер-
вичное по отношению к «литературе».

Возможна и иная ситуация, когда, напротив, литературный
язык ориентируется на употребление в контексте литературы
(в языке образцовых авторов). В этом случае понятие «литературы»
является первичным по отношению к «литературному языку». Та-
кая ситуация, в частности, характерна для России со второй поло-
вины XVIII в. Таким образом, история русского литературного языка
оказывается связанной с изменением языковой ситуации и пере-
менной типа литературного языка.

§ 1.2. Понятие языковой нормы; система и норма.

Определение литературного языка как нормированного языка, свя-
занного при этом со специальной книжной нормой, ставит во-
прос о сущности языковой нормы и специфике книжной нормы.

Понятие «нормы» противопоставляется вообще понятию «сис-
темы». Система представляет собой явление языкового кода, нор-
ма — явление языковой культуры. Система языка соотносится с

его функционированием как средства коммуникации; это тот механизм языка, который позволяет передавать и принимать сообщения. Языковая норма не связана непосредственно с задачами коммуникации, в ней реализуется отношение носителя языка к языковой деятельности. Поэтому языковая система стремится к оптимализации коммуникационных процессов (с учетом разных интересов говорящего и слушающего как основных участников коммуникации, см. Успенский, 1967/1997), т.е. к оптимальной реализации тех структурных возможностей, которые представлены в данном языке, к эффективности средств выражения. Языковая норма выполняет совсем другие задачи: она призвана вписать языковую деятельность в более общий план культурного, т.е. социально ценностного поведения. В специальных терминах семиотики можно было бы сказать, что в системе языка формальные средства выражения предстают в аспекте с е м а н т и к и (поскольку система обеспечивает адекватную передачу содержания), тогда как в норме они предстают в аспекте п р а г м а т и к и (поскольку норма обеспечивает одинаковое отношение участников коммуникационного процесса к языку как средству выражения информации).

Признак в системе определяется функциональным противопоставлением языковых единиц (формальных средств выражения); признак в норме определяется противопоставлением нормы к а к ц е л о г о другой норме или же вообще ее отсутствию. Таким образом, признаки в системе взаимосвязаны непосредственно через отношение единиц друг к другу; признаки в норме связаны опосредованно — через отношение единиц к целому. Признаки в системе не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены; признаки в норме не образуют внутренне упорядоченного целого, они мотивированы не отношением друг к другу, но внешними для данной нормы факторами (противопоставлением другой норме или нормам). Общее значение признаков системы — смысловразличительное, иначе говоря, в системе языка элемент *a* противостоит элементу *b* постольку, поскольку есть случаи, когда это отражается на смысле; в других случаях говорится, что это противопоставление нейтрализуется. Общее значение признаков нормы определяется именно самим фактом принадлежности к той или иной норме. При этом принадлежность к норме осознается как явление языковой п р а в и л ь н о с т и.

Поскольку понятие языковой правильности может быть неодинаковым в разных социумах, пользующихся одним и тем же языком, одна и та же система может соотноситься с несколькими нормами, вступающими в разнообразные отношения друг с другом, — в ряду которых выделяется специальная книжная норма.

Можно сказать, что система определяет противопоставления как таковые, но безразлична к конкретной реализации этих противопоставлений; реализация противопоставлений может определяться нормой. Таким образом, система как бы задает спектр возможностей, выбор из которых может принадлежать норме. Элементарным примером может служить соотношение заднеязычных шумных в русском языке: [k] противопоставлено по признаку звонкости [g] и по признаку смычности [x]; [g] противопоставлено [k] и [x] по признаку звонкости. Эти противопоставления фонологичны (ср. минимальные пары *кот* — *год*, *кот* — *ход*, *год* — *ход*). Между тем, фонема /g/ не имеет соответствующего противопоставления по смычности, т.е. не имеет звонкого фрикативного коррелята /ɣ/, который был бы фонологически противопоставлен /g/. Поэтому можно считать, что для системы безразлично, как будет реализовываться /g/, — как смычный или как фрикативный.

Когда же мы говорим о звуке [g] как явлении языковой нормы, для нас существенно, что правильно произносить те или иные слова с [g] и неправильно с [ɣ], и наоборот, ср. [гарà], а не [ɣарà], но [боу да̀ст], а не [бог да̀ст]. Это чистая условность в том смысле, что это противопоставление не обусловлено системой языка: замена звуков в данном случае не отражается на смысле и даже не препятствует взаимопониманию. Тем не менее, норма выбирает каждый раз одну из реализаций и предписывает ее как правильную.

Всякая норма связана с обучением и, соответственно, с более или менее сознательным усвоением и восприятием языка. Если система, как правило, не осознается носителем языка, то норма в большей или меньшей степени осознается как таковая — именно постольку, поскольку она преподается, навязывается индивиду социумом. В зависимости от степени осознанности нормы, от степени эксплицитности обучения, от того значения, которое придает-ся норме социумом, и могут различаться разные виды норм, несенных с одним и тем же языком. Книжная норма связана с формальным кодифицированным (в частности, школьным) обучением. Соответственно, она характеризуется максимальной осознанностью и эксплицитностью.

Связь нормы с обучением и сознательный характер ее усвоения проявляется, с одной стороны, в возможности *справления* неправильных (ненормативных) речевых форм, с другой же стороны, в явлении *гиперкоррекции*. Как то, так и другое явление дает возможность опознать норму, т.е. установить самый факт наличия некоторой нормы и определить, что тот или иной языковой признак связывается с понятием правильной, нормативной речи. Исправления — это реакция на неправильную речь со стороны обучающего социума. Гиперкоррекция — это реакция на правильную речь со стороны обучающегося индивида

(т.е. реакция, обусловленная стремлением говорящих усвоить ту или иную норму).

Явление гиперкоррекции связано с тем, что в процессе усвоения языковой нормы устанавливается корреляция между правильной и неправильной речью, т.е. между теми формами, которыми владеет говорящий, и теми формами, которые он стремится усвоить. Эта корреляция осознается в виде правил, позволяющих преобразовать неправильную речь в правильную; устанавливая соответствия от неправильной речи к правильной, говорящий осмысляет эти соответствия как правила, позволяющие производить обратную трансформацию. В тех случаях, когда такое осмысление неправомерно, эти правила применяются слишком широко, в результате чего и возникают гиперкорректные формы. Так, например, в разговорной латыни уже в I в. до н.э. выпадает [h] в начале слова. При овладении нормами литературного языка возникают неправильные образования типа *hinsidias* вместо *insidias*, когда говорящий в своем стремлении восстановить потерянный [h] помещает его там, где его быть не должно. Совершенно так же в русских цокающих диалектах носитель диалектной речи, желая говорить правильно, заменяет всякое [с] на [ѣ] и в результате произносит не только *чай* вместо *цай*, но и *черковь* вместо *церковь*.

Поскольку норма усваивается сознательным образом, в сознании носителя язык дан прежде всего как норма и ему свойственно все речевые явления рассматривать через призму нормы. Те явления языка, которые не соответствуют нормативным представлениям, вообще игнорируются языковым сознанием носителя языка.

§ 1.3. Виды языковых норм: специфика книжной нормы. Явление нормы предполагается вообще всякой нормальной (непатологической) языковой деятельностью. Соответственно, характеристика специальной книжной нормы, т.е. нормы литературного языка, предполагает дифференциацию разных видов норм.

Говоря о видах языковых норм, необходимо прежде всего различать первичную (естественную) норму, усваиваемую в процессе овладения естественной (разговорной) речью, и более специальные вторичные нормы (дополнительные по отношению к первичной норме, искусственные), к числу которых относится, в частности, и книжная норма, т.е. норма литературного языка. Первичная (естественная) норма непосредственно соотносится с системой языка, тогда как вторичные (искусственные) нормы соотносятся прежде всего с первичной нормой (накладываются на нее).

Если всякая вообще норма усваивается в процессе обучения, то первичная норма усваивается в раннем возрасте в процессе естественного обучения. Необходимо иметь в виду, что уже и она

обнаруживает основные признаки нормы, что проявляется в исправлениях и гиперкоррекции. Это говорит о том, что ее усвоение в какой-то мере сознательно.

Система усваивается раньше, чем норма. Ребенок начинает с освоения системы: в его речи реализуются формы, которые с и с т е м н ы, но не н о р м а т и в н ы, т.е. потенциальные формы, которые допускаются системой, но не допускаются нормой. Затем путем обучения происходит отбор правильного, т.е. нормативного языкового материала. Если языковая система определяет вообще потенциальные возможности языкового разнообразия, то норма в данном случае определяет тот или иной выбор из этих возможностей, т.е. определенную их реализацию. Эта реализация более или менее случайна с точки зрения самой системы — в том смысле, что она не предписана самой системой, а имеет внешний по отношению к ней характер. Она не необходима, а условна, она обусловлена не собственно лингвистически, но социолингвистически — в том смысле, что говорящий подчиняется требованиям социума.

Можно предположить, что на определенном этапе ребенок переходит от чисто механического усвоения языка к м е т а я з ы к о в ы м вопросам. Он начинает сознательно относиться к языку. На этом этапе, например, он может сознательно имитировать неправильную речь, тогда как раньше он ее просто порождал, не заботясь о том, правильна она или неправильна, — вообще, в его сознании появляется критерий правильной, хорошей речи. Точно так же он может порождать м е т а т е к с т ы, т.е. речь о речи (например, спрашивать, что значит то или иное слово, и т.п.).

Именно на этом этапе ребенок начинает усваивать то обучение, которое преподает ему социум. Это обучение происходит именно через метатексты: ребенку объясняется, как надо и как не надо говорить. Соответственно, общество учит не только правильной речи, но учит воспроизводить или по крайней мере осмыслять речь неправильную, т.е. показывает, по каким признакам норма противостоит ее отсутствию.

На этой стадии в детской речи появляются разнообразные гиперкорректные формы. Существует качественная разница между ситуацией, когда ребенок, не умеющий произносить звук [r], говорит *лыба* вместо *рыба*, и ситуацией, когда, овладев этим звуком, он начинает говорить *родка* вместо *лодка*. В этом последнем случае ребенок говорит *родка* не потому, что он не может сказать *лодка* (как это было в случае произношения *лыба* вместо *рыба*), но по совсем иной, противоположной причине: он стремится говорить правильно, и именно это его стремление обуславливает порождение неправильной формы. Антитеза «умение — неумение» (как в случае произношения *лыба* вместо *рыба*) сменяется на этом этапе антитезой «правильность — неправильность» (отсюда *родка* вместо *лодка*), и это свидетельствует об усвоении нормы.

Усвоение нормы всякий раз обусловлено вхождением в тот или иной социум. Поскольку в течение жизни человек может входить в разные социумы, постольку различные нормы могут наслаиваться одна на другую. Так, могут последовательно возникать требования: «говорить, как все» (в процессе нормализации детской речи, т.е. при вхождении в социальный мир), «говорить, как избранные» (при овладении социальным жаргоном, т.е. при вхождении в тот или иной замкнутый социум), «говорить (и писать), как культурные люди» (при овладении книжной нормой, т.е. при вхождении в социум грамотных людей) и т.п. Книжная норма усваивается в сознательном возрасте, причем усваивается в процессе искусственного (формального), а не естественного обучения: в данном случае имеет место искусственное обучение тому языку, который общество считает правильным и который реализует себя в письменности.

Таким образом, норма есть социальное явление. Она объединяет некоторый социум и выступает как знак социума. Поэтому, наряду с имманентно присущим всякой норме общим значением правильности, норма имеет еще и побочное социальное значение: она демонстрирует принадлежность к определенному социуму. В некоторых случаях этот социальный аспект может выступать на первый план, т.е. владение нормой осмысливается как ценностный факт именно потому, что демонстрирует принадлежность к тому или иному социуму. Социальная значимость соответствующих речевых признаков (конституирующих данную норму) определяется престижем данного социума.

Поскольку норма выступает как знак социума, постольку ее усвоение может быть вызвано обратным (более или менее искусственным по своему характеру) стремлением: приобщиться к тому обществу, которое обладает для носителя языка социальным престижем. В этом случае правомерно говорить о «социальных жаргонах». «Социальные жаргоны» следует отличать от «социальных диалектов» (например, дворянский, мещанский диалект и т.п.), обусловленных социолингвистической дифференциацией общества. Норма социального диалекта представляет собой первичную норму, т.е. усваивается в детском возрасте как норма разговорного общения. Между тем, норма социального жаргона по определению усваивается как вторичная норма, в сознательном возрасте, т.е. связана с осознанным намерением войти в некоторый социум. Усвоение первичной нормы происходит по инициативе социума, усвоение вторичной социальной нормы происходит по инициативе самого говорящего. Социальные жаргоны в целом или в отдельных (наиболее значимых) своих признаках имеют, как правило, наддиалектный характер и в этом отношении могут быть уподоблены литературному языку.

Книжная норма, обнаруживая известное сходство с вторичными социальными нормами (усвоение в сознательном возрасте, наддиалектный характер), существенно от них отличается. Она демонстрирует приобщенность индивида не к тому или иному социуму —

хотя бы и достаточно авторитетному, — а к культуре, к письменности: книжная норма связана с приобщением к культурной традиции, в принципе имеющей (с точки зрения носителя языка) не социальный, а абсолютно ценностный план. Авторитетность книжной нормы обеспечивается не социальным престижем, но принципиальной консервативностью, связью с традицией. В случае книжной нормы вперед выступает не социальное значение нормы, а первичное имманентно присущее ей значение языковой правильности.

Если усвоение литературного языка в принципе имеет характер приобщения к некоторой норме, то усвоение социального жаргона обычно обусловлено, напротив, отталкиванием от общепринятых речевых навыков: первое имеет характер центростремительный, второе — центробежный. Отсюда общепринятость книжной нормы противостоит эзотеризму и специализации социальных жаргонов. Отсюда же следует вообще и нехарактерность для литературного языка социальной дифференциации.

§ 1.4. Литературный язык и живой язык. Если всякая норма усваивается в процессе обучения (§ 1.2), то первичная норма усваивается в раннем возрасте в процессе естественного обучения; ее можно назвать «естественной» нормой. Напротив, вторичная норма усваивается в сознательном возрасте в процессе более или менее специального и в известном смысле искусственного (для литературного языка — формального) обучения; ее можно назвать «искусственной» нормой.

Степень разрыва между искусственной и естественной нормой может быть существенно различной в разных языковых ситуациях. Для литературных языков это определяется типом литературного языка (§ 1.6): разрыв между двумя нормами оказывается существенным, когда литературный язык отталкивается от разговорной речи, и сводится к минимуму, когда литературный язык ориентируется на разговорную речь.

Естественная (первичная) норма воспринимается пассивно — в том смысле, что здесь не имеет места сознательное воздействие на норму со стороны носителя языка. Между тем, искусственная (вторичная) норма, усваиваясь на фоне уже осознанной естественной нормы, воспринимается активно. Именно здесь оказывается возможной сознательная обработка нормы (и, в частности, сознательное ее изменение), обусловленная представлениями носителя языка о том, каким должен быть язык.

В случае всякой языковой нормы имеет место вообще сознательное отношение носителя языка к языку, выражающееся в представлении о языковой правильности (о правильной речи, т.е. о правильной реализации языка). Однако в случае искусственной

языковой нормы отношение носителя языка к языку оказывается действенным фактором, влияющим на самую норму. Искусственная норма может быть в той или иной степени результатом сознательного отношения к языку.

Естественная норма формируется в результате подражания. Искусственная норма может формироваться в результате творческой деятельности. Иными словами, если естественная норма — это только передаваемая норма, то искусственная норма — это обрабатываемая норма. Искусственная языковая норма и, в частности, норма литературного языка поддается сознательному «улучшению», обработке.

В случае естественной языковой нормы имеет место односторонняя (однаправленная) связь между социумом и индивидом: социум влияет на индивида. В случае искусственной языковой нормы эта связь имеет, вообще говоря, двусторонний характер: при образовании (формировании и эволюции) искусственной языковой нормы та или иная роль может принадлежать индивидуальному началу, т.е. индивид может влиять на социум — индивидуальное поведение в этом случае влияет на социальное. Примером может служить нормализаторская деятельность филологов, которая оказывает непосредственное влияние на литературный язык.

Языки, базирующиеся на искусственной норме, можно назвать искусственными языками. Искусственный язык противопоставляется при этом живому (или естественному) языку. Под живым языком понимается, следовательно, совокупность системы и естественной языковой нормы, тогда как искусственный язык представляет собой то или иное сочетание живого языка и искусственной языковой нормы.

В этом смысле литературный язык представляет собой искусственный язык. Литературный язык связан именно с искусственной (вторичной) нормой, усваиваемой в процессе формального (максимально кодифицированного) обучения и реализующейся в авторитетной для данного общества письменности — литературе. Соответственно, литературный язык связан с письменной, книжной традицией.

К сфере искусственного можно отнести вообще все то, что связано с сознательным воздействием человека или коллектива на окружающую его действительность. В лингвистическом аспекте искусственность связана с сознательным воздействием носителя языка (как индивидуальной или социальной единицы) на свой язык. Это воздействие определяется представлением носителя языка о том, каким должен быть язык, т.е. представлением о характере и приро-

де правильности; последнее, в свою очередь, обусловлено своеобразной лингвистической идеологией носителя языка.

Искусственные языки относятся к явлениям культуры — в частности, уже и в прямом этимологическом смысле этого слова (*cultura* — буквально: обработка, возделывание). Литературный язык, наряду с литературой, приемами обучения и т.п., принадлежит к явлениям книжной культуры (культуры, связанной с письменностью). Тем самым, литературный язык непосредственно соотносится и со вторичным значением слова *cultura*, связанным с просвещением, образованностью.

Итак, история литературного языка оказывается связанной с своеобразными лингвистическими представлениями носителей языка. Носитель языка выступает как наивный лингвист, причем соответствующие лингвистические представления обусловлены принадлежностью его к определенной культуре и передаются по традиции. Эти лингвистические представления могут играть существенную и даже определяющую роль в формировании и развитии литературного языка.

Одновременно в языке действуют объективные закономерности — структурные, эволюционные и др., — никак не связанные с идеологической (лингвистической) позицией носителя языка и совершенно от нее независимые. Эти закономерности относятся к развитию живого языка и, следовательно, к сфере естественного, а не искусственного — к природе, а не к культуре. Литературный язык связан с этими закономерностями не непосредственно, а опосредованно — через живой язык.

Литературный язык, будучи основан на искусственной норме, существует в противопоставлении живому. Это противопоставление может осуществляться за счет ограниченного набора признаков. Совокупность таких признаков и определяет в этом случае норму литературного языка, именно они являются тогда релевантными для языкового сознания. Вне этих признаков литературный язык может быть не противопоставлен живому. История этих признаков является одним из важнейших моментов истории литературного языка.

§ 1.5. Специфика эволюции литературного языка.

Характер эволюции литературного языка существенно отличается от характера эволюции языка живого. Эволюция живого языка определяется прежде всего имманентными законами языкового развития: здесь действует тенденция к оптимализации языкового кода, к повышению эффективности процесса коммуникации, к экономии усилий и т.д. Эволюция живого языка носит непрерывный характер, поскольку при оптимализации языкового кода сталкиваются интересы говорящего и интересы слушающего (как основных участников

коммуникативного акта), и это обуславливает постоянные колебания в развитии системы языка (Успенский, 1967/1997).

Эволюция литературного языка обнаруживает относительную независимость от эволюции языка живого, будучи зависима вместе с тем от языковой установки носителя языка. Эта установка определяет прежде всего самый тип литературного языка: ориентируется ли он на живой язык или отталкивается от него. В той мере, в которой литературный язык не противопоставлен живому, его эволюция подчиняется эволюции живого языка. Поскольку такие процессы не специфичны для литературного языка, они не входят собственно в историю литературного языка, а составляют ее фон. Собственная история литературного языка осуществляется в той сфере, где литературный язык противопоставлен живому. Развитие литературного языка в этой части имеет независимый характер и определяется языковым сознанием его носителей.

В языковом сознании фиксируется тот набор признаков, который противопоставляет литературный язык живому языку; оно обуславливает нормализацию литературного языка, прежде всего сознательный отбор элементов, которые признаются правильными (в частности, когда из ряда вариантов, представленных в живом языке, литературным признается какой-то один). Таким образом, языковое сознание определяет отношение литературного языка к живому языку. Вместе с тем, оно определяет как отношение к предшествующей языковой традиции, так и ориентацию на внешние языковые традиции. Изменения языкового сознания и являются основным фактором эволюции литературного языка.

В системе языка заложена потенция к языковым изменениям. Норма, между тем, представляет собой фиксацию языка в языковом сознании и поэтому относительно стабильна. Система — динамична, норма — статична. Статичность, консерватизм нормы тем сильнее, чем более осознанный характер она имеет, что и определяет особую устойчивость норм литературного языка. Противопоставление литературного и живого языка вписывается в более общее противопоставление культуры и природы. Вообще, если природа находится в вечном и непрерывном движении, то культура осознает себя как норму или как совокупность норм и предстает как нечто фиксированное. Консервативность, стабильность нормы (и особенно книжной нормы, эксплицитно связанной с фиксацией языка в его традиционных формах) противостоит динамичности, непрерывной изменяемости живого языка. Литературный язык тяготеет к стабильности, живая речь — к изменению.

Отсюда возникает непрременная дистанция между литературным языком и живой речью, образующая как бы постоянное на-

пряжение между этими полюсами, нечто вроде силового поля. Степень разрыва между литературным языком и живой речью определяется при этом типом литературного языка. Эта дистанция имеет место, в частности, и в том случае, когда литературный язык ориентируется в своем развитии на разговорную речь. Как ни стремится литературный язык догнать живой разговорный язык, живая речь неизменно опережает его в своем развитии, создавая обязательный разрыв, который и обеспечивает в конечном итоге восприятие литературного языка как литературного. Литературный язык объективно функционирует как таковой только постольку, поскольку он противопоставлен живой речи. Таким образом, стремясь догнать живую речь, литературный язык как бы стремится к самоуничтожению, которое, однако, не осуществляется, поскольку литературный язык непременно отстает от нее в своем развитии.

Можно сказать, что различие в характере эволюции системы и нормы сводится к разнице между дискретным и непрерывным развитием; соответственно определяется и разница между изменением живой речи и изменением литературного языка. В отличие от эволюции системы эволюция нормы — в том числе и книжной нормы, т.е. нормы литературного языка, — имеет не непрерывный, а дискретный (ступенчатый) характер. Это связано со спецификой функционирования языковой нормы, фиксацией ее в языковом сознании.

Итак, если история языка может пониматься как объективный процесс, принципиально не зависящий от отношения к языку говорящих, то развитие литературного языка находится в непосредственной зависимости от меняющейся установки носителя языка. Таким образом, история литературного языка оказывается самым непосредственным образом связанной с историей отношения к языку, с историей представлений о том, каким должен быть язык. Это предполагает изучение лингвистической установки носителя языка на разных исторических этапах. Отсюда, в частности, история литературного языка в ряде моментов смыкается с историей грамматической мысли: важным источником оказываются здесь разнообразнейшие сочинения о языке.

В более общем плане история литературного языка оказывается соотношенной с историей культуры. Языковое сознание, лингвистическая идеология входят в систему культурных ценностей и изменяются вместе с нею. Поэтому основные процессы в истории литературного языка так или иначе связаны с процессами развития культуры, а следовательно — и с историей общества. Эта связь проявляется, в частности, в периодизации истории литературного языка: радикальные изменения литературного языка всякий раз связаны с изменением культурной ориентации, с принятием новой системы куль-

турных ценностей. Отсюда такое большое значение в истории литературного языка приобретает история культурных влияний.

Говоря о культурных влияниях, следует иметь в виду, что особенностью эволюции литературных языков является «их способность влиять друг на друга вне тех пространственно-временных условий, в которых обычно влияют друг на друга живые народные языки», т.е. вне условий непосредственного контакта — во времени или в пространстве (Трубецкой, 1927/1995, с. 167). Литературные языки способны усваивать культурные влияния, приходящие издавна и издавна. Соответственно, могут различаться внутренние и внешние культурные влияния. Внутренние влияния осуществляются во времени и выражаются в регенерации старых норм, т.е. в попытках восстановить утраченную норму литературного языка, исходя из представлений о том, каким был этот язык (ср. создание чешского национального литературного языка в конце XVIII — начале XIX в.). Внешние влияния осуществляются в пространстве и выражаются в заимствованиях (ср. § 1.6), а иногда вообще в трансплантации чужих норм; отметим, что заимствоваться при этом могут не только конкретные формы и модели, но и сама концепция литературного языка. Иногда внешнее и внутреннее влияния совмещаются. Так, второе южнославянское влияние в истории русского литературного языка (§§ 9–12) может рассматриваться, с одной стороны, как внешнее влияние, т.е. влияние южнославянских языковых норм, с другой же стороны, как попытка регенерации старых языковых норм, восходящих к кирилло-мефодиевской эпохе (южнославянский извод церковнославянского языка воспринимается при этом как более архаичный).

§ 1.6. Типы литературных языков. Проводя наиболее общую классификацию, можно выделить два типа литературного языка: литературный язык, ориентирующийся на разговорное употребление, и литературный язык, противостоящий живой речи.

Формирование литературного языка, ориентирующегося на разговорную речь, не в меньшей степени обусловлено представлениями говорящих о языке, чем формирование литературного языка противоположного типа. И в этом случае мы имеем дело с определенной лингвистической идеологией — идеологией, приписывающей ценность естественному и отнимающей ее у искусственного, декларирующей образцом для себя язык как природу. Следует помнить, что данный тип языка совсем не универсален, а обусловлен определенным типом культуры, прежде всего культурой нового времени, восходящей к Ренессансу.

Необходимо иметь в виду, что литературный язык, ориентирующийся на разговорное употребление, ориентируется не на всякую

разговорную речь, а на некоторую ее разновидность. Такой разновидностью может быть речь столицы (ср. московское произношение в качестве литературного) или речь социальной элиты (например, придворного или дворянского общества). Вместе с тем, возможна ситуация, когда столичная речь не рассматривается как образцовая (ср. отношение разговорного языка Петербурга, Лондона, Копенгагена к соответствующим литературным языкам); как нелитературная (маниренная) может восприниматься и речь социальной элиты (так, например, воспринимались придворные речевые навыки в России начала XX в.). К типу языков, ориентирующихся на разговорную речь, принадлежит и современный русский литературный язык. Следует помнить, однако, что это не единственный возможный тип литературного языка; в России, в частности, этот тип установился лишь в сравнительно недавнее время в результате языковой политики послепетровской эпохи (Успенский, 1985; Успенский, 1994, с. 115 сл.).

Другой тип литературного языка представляет язык, противостоящий живой речи. Литературный язык этого типа может не только противостоять живой речи, но и отталкиваться от нее (по определенному набору признаков). Этим определяется своеобразная зависимость формирования литературного языка этого типа от разговорного языка — зависимость, носящая негативный характер. Это проявляется, в частности, в гиперкоррекциях, а именно, гиперкорректные формы появляются в тех случаях, когда книжная форма совпадает с разговорной (ср. гиперкорректные замены форм русского церковнославянского языка, совпадающих с формами русского разговорного языка: *злень* вместо *зелень*, *мужду* вместо *мужу*, *скажду* вместо *скажу*, *погруждаемь* вместо *погружаемь*, и т.п.).

В числе типологических характеристик литературных языков может рассматриваться и их отношение к заимствованиям. Можно полагать, что живые языки в одинаковых условиях одинаково реагируют на заимствования, т.е. легко усваивают их в условиях непосредственного контакта. Между тем литературные языки, в отличие от живых, могут реагировать на заимствования по-разному. Литературные языки могут быть ориентированы **экстравертно** или же **интравертно**.

При экстравертной ориентации литературный язык ориентирован на усвоение, впитывание чужой культуры. При этом своя культура в этом случае обычно рассматривается как продолжение чужой. Так, русская книжная культура (т.е. письменность, образованность и т.п. — «литература» в прямом этимологическом смысле) до XVIII в. воспринималась как продолжение греческой, а в послепетровский период — как продолжение европейской культуры.

Подобная ориентация обуславливает разнообразные заимствования: насыщенность заимствованиями в этих условиях придает речи

литературность, определяя характер противопоставления литературного и нелитературного языка. Однако заимствования при этом возможны только из той культуры, которая осмысливается как ценностная. Так, в русский литературный язык сначала проникают заимствования из греческого, а затем — из западноевропейских языков (главным образом, из французского). Исследуя хронологию заимствований из разных языков в том или ином литературном языке (и принимая во внимание при этом лексико-семантические группы слов, связанные со сферой влияния того или иного языка), можно достаточно четко определить последовательность культурных влияний.

Если литературный язык всеяден в отношении заимствований, т.е. если в нем представлены заимствования из разных языков, причем разноязычные заимствования не поддаются хронологической стратификации — иначе говоря, если процесс заимствования практически не связывается с культурным престижем языка-источника, — это означает, что перед нами литературный язык, ориентированный на разговорную речь. Разговорная речь усваивает элементы чужих языков (находящихся в непосредственном контакте с данным языком), и они автоматически переходят затем в литературный язык.

Помимо языка-источника, заимствования из которого обусловлены специальным культурным престижем (ср. греческий и французский для русского литературного языка на разных этапах его истории), важная роль принадлежит языкам-посредникам, которые выступают как проводники культурных влияний. Иначе говоря, очень часто при экстравертной ориентации заимствования усваиваются не непосредственно из языка-источника, а через ту или иную книжную традицию, которая воспринимается как авторитетный посредник в осуществлении соответствующих культурных контактов. Так, южнославянская книжная традиция воспринималась на Руси как авторитетный посредник в греческо-русских культурных контактах, и это обуславливает, с одной стороны, усвоение грецизмов в их южнославянской, а не исходной греческой форме и, с другой стороны, заимствование прямых южнославянизмов (т.е. собственно южнославянское влияние); в дальнейшем (в период никоновских и посленионовских книжных реформ) аналогичную роль играет книжная традиция Юго-Западной Руси (§§ 16—17). Точно так же заимствования из латыни и западноевропейских языков осуществляются через польское посредничество, а восприятие галлицизмов в целом ряде случаев осуществляется через призму немецкого языка. Естественно, что в подобных случаях влияние языка-посредника фактически может быть не менее, а даже более актуальным, чем влияние языка-источника, т.е. субъективная ориентация на язык-источник обуславливает объективное влияние языка-посредника.

Интравертная установка обыкновенно связана с националистическими тенденциями, обуславливающими стремление к культурному обособлению. Это проявляется в пуристическом отказе от заимствований; насыщенность заимствованиями не придает речи литературную окраску, но обуславливает отрицательный стилистический эффект. В этих условиях внешние культурные влияния проявляются не в виде прямых заимствований, но в виде к а л е к. Таким образом, внешние культурные влияния могут фактически иметь место как при экстравертной, так и при интравертной ориентации, хотя они в этих случаях и проявляются по-разному.

Поскольку на разговорный язык не могут быть искусственно наложены соответствующие пуристические ограничения, литературный язык в условиях интравертной ориентации может противопоставляться разговорному именно по отсутствию прямых заимствований. Так обстоит дело в чешском языке, а отчасти и в польском. В арабской языковой ситуации разговорным арабским языкам свойственны прямые заимствования, тогда как классическому арабскому (т.е. литературному языку) — кальки. Нечто подобное имело место у русских пуристов конца XVIII — начала XIX в., в частности, у Шишкова и шишковистов, разговорный язык которых был насыщен галлицизмами (ср. Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 447–448, 513–514; Успенский, 1994, с. 166).

Итак, как в случае экстравертной, так и в случае интравертной ориентации наличие заимствований может обуславливать противопоставленность литературного и живого языка.

Поскольку экстравертная ориентация обычно проявляется в отношении какого-то определенного языка (или группы языков), она может сочетаться с ограничениями на заимствования из других языков, т.е. с частичной интравертной ориентацией. Таким образом, экстравертная и интравертная ориентации могут сосуществовать в языке, распределяя сферы влияния.

Вообще очень часто интравертная ориентация проявляется не полностью, а частично, т.е. литературный язык отрицательно реагирует не вообще на заимствования как таковые, а на заимствования из определенного языка. Так, в литературном армянском избегаются тюркизмы (которыми насыщен, между тем, разговорный язык). В русском языке второй половины XVIII в. избегались заимствования из немецкого (опять-таки, присущие разговорной речи). Этот избирательный пуризм особенно часто возникает в том случае, когда литературный язык, заимствования из которого избегаются, воспринимается как угроза существованию национального литературного языка: так во фламандском избегаются заимствования из французского, в ирландском — из английского.

§ 2. Языковая ситуация и характер литературного языка

§ 2.1. Вопрос о статусе церковнославянского языка в Древней Руси. В основе изложенного выше понимания литературного языка лежит тезис о том, что между литературным и живым языком непременно должно иметь место то или иное взаимодействие; характер этого взаимодействия определяется типом литературного языка. Литературный язык может ориентироваться на разговорный, может отталкиваться от него, однако он всегда так или иначе с ним связан: в частности, эволюция живого языка отражается на эволюции языка литературного (в той сфере, где они не противопоставлены — ср. § 1.5). Вместе с тем возможны ситуации, когда в функции литературного языка выступает язык, вообще никак не связанный с разговорным, т.е. совершенно другой язык, которым овладевают как иностранным. Именно так функционирует латынь в германских или славянских католических странах до появления там национальных литературных языков. В соответствии с нашими определениями такой язык не может быть признан литературным языком соответствующего языкового коллектива: мы можем сказать, например, что латынь выступала в функции литературного языка у поляков, но не можем сказать, что латынь была польским литературным языком.

Вопрос о том, как трактовать подобную ситуацию, имеет самое непосредственное отношение к истории русского литературного языка. Несомненно, что с принятием христианства в X в. и по крайней мере до XVIII в. функции литературного языка выполнял на Руси церковнославянский язык. Этот язык был усвоен русскими от южных славян. Можно ли считать церковнославянский язык русским литературным языком? Или же мы должны начинать историю русского литературного языка с XVIII в. (такая точка зрения имеет своих сторонников, ср., например: Исаченко, 1963)?

Мы имеем все основания рассматривать церковнославянский язык как русский литературный язык эпохи средневековья. Действительно, этот язык, будучи заимствован извне, никогда тем не менее не изучался как иностранный. Поэтому он с самого начала вступает в тесные отношения с разговорным языком восточных славян и достаточно скоро начинает восприниматься как кодифицированная разновидность этого языка. В результате адаптации церковнославянского языка на Руси возникает особый русский извод церковнославянского языка. Таким образом осуществляется пересадка церковнославянского языка на русскую почву, и он пускает здесь глубокие корни. Взаимоотношения церковнославянского языка русского извода и

живого русского языка на разных исторических этапах и представляют собой ключевой момент истории русского литературного языка.

Тем самым, проблемы истории русского литературного языка самым непосредственным образом связаны с рассмотрением языковой ситуации Древней Руси. Это существенно отличает историю русского литературного языка от истории многих других литературных языков, где рассмотрение языковой ситуации не предполагается с непереносимостью самим предметом исследования; иначе говоря, указанное обстоятельство определяет специфику истории русского литературного языка как лингвистической дисциплины.

При обсуждении истории русского литературного языка необходимо иметь в виду, что понятие «русский» определяется теми культурными границами, которые соотносятся с названием «Русь» или «Россия». Тем самым с течением времени это понятие меняет свое содержание. Так, для древнейшего периода мы вправе говорить об общем литературном языке для всей территории восточных славян. Позднее, как известно, понятие «русский» ассоциируется по преимуществу с великорусской территорией. Итак, говоря о русском языке, мы имеем в виду ту или иную совокупность восточнославянских диалектов: для древнейшего периода — это совокупность всех восточнославянских диалектов, при том что со временем определение «русский» оказывается связанным с великорусскими диалектами.

§ 2.2. Понятие диглоссии. В течение многих веков в России функционировали два языка — церковнославянский и русский. Такие ситуации, когда в одном языковом коллективе функционируют два языка, широко представлены в мире. Эти ситуации могут быть определены либо как ситуации *д в у з ы ч и я*, либо как ситуации *д и г л о с с и и*. Под двуязычием понимаются те языковые ситуации, когда два языка обладают рядом общих функций, т.е. когда они функционируют более или менее параллельно. Такое явление широко известно и не нуждается в специальном объяснении (ср. французско-английское двуязычие в Канаде или русско-французское двуязычие в русском дворянском социуме конца XVIII — начала XIX в.). В случае диглоссии функции двух сосуществующих языков находятся в дополнительном распределении, соответствуя функциям одного языка в одноязычном языковом коллективе. При этом речь идет о сосуществовании *к н и ж н о г о* языка, связанного с письменной традицией (и вообще непосредственно ассоциирующегося с областью специальной книжной культуры), и *н е к н и ж н о г о* языка, связанного с обыденной, повседневной жизнью: ни один социум не пользуется в этих условиях книжным (литературным) языком как средством разговорного общения, т.е. это язык именно книжный, который никогда не выступает как разговорный.

Вообще можно сказать, что диглоссия как тип языковой ситуации в ряде моментов схожа с двуязычием, а в ряде моментов — с одноязычным сосуществованием литературного языка и диалекта. Как и при двуязычии, при диглоссии в одном языковом коллективе функционируют два языка, но при этом один (и только один) из этих языков является литературным языком в том значении этого термина, которое было определено выше: в соответствии с данным выше определением книжный (литературный) язык представляет собой вторичную, искусственную норму, накладываемую на живой язык и усваиваемую в процессе формального обучения. Если при двуязычии каждый из языков усваивается самостоятельно и независимо один от другого, то при диглоссии усвоение книжного языка опирается на знание не книжного: не книжный язык усваивается естественным путем, так сказать, впитывается с молоком матери, а книжный язык усваивается искусственным книжным путем через специальное обучение. Именно поэтому в языковом сознании при диглоссии книжный и не книжный языки воспринимаются как один язык — книжный язык выступает в этих условиях как кодифицированная и нормированная разновидность языка. Между тем, для внешнего наблюдателя (включая сюда и исследователя-лингвиста) естественно в этой ситуации видеть два разных языка. Таким образом, если считать вообще известным, что такое разные языки, диглоссию можно определить как такую языковую ситуацию, когда два разных языка воспринимаются (в языковом коллективе) и функционируют как один язык.

Соответственно, в отличие от двуязычия, т.е. сосуществования двух независимых и в принципе эквивалентных по своей функции языков, которое представляет собой явление избыточное (поскольку функции одного языка дублируются функциями другого) и, по существу своему, переходное (поскольку в нормальном случае следует ожидать вытеснения одного языка другим или слияния их в тех или иных формах), диглоссия представляет собой очень стабильную языковую ситуацию, характеризующуюся устойчивым функциональным балансом (взаимной дополнительностью функций). Действительно, ситуация диглоссии может сохраняться в течение многих веков.

Ситуация диглоссии представляет собой достаточно типичное явление. До начала нашего столетия она была представлена в арабском мире, в Греции, в Эфиопии, в Бирме, на Цейлоне, в тамильской части Индии и, видимо, в ряде других ареалов. В некоторых из этих ареалов она сохраняется и до сих пор (например, в части арабских стран). Лингвисты долгое время не замечали специфики этой ситуации, поскольку осмыслили ее в привычных для них категориях двуязычия или же сосуществования литературного

языка и диалекта. Впервые этот феномен как особый тип языковой ситуации был описан лишь в середине XX в. (Фергусон, 1959/1964). В настоящее время в силу экспансии европейских культурных моделей, обуславливающей ориентацию на европейскую языковую ситуацию, диглоссия постепенно исчезает.

Для того чтобы опознать ситуацию диглоссии, мы должны уметь четко отличать ее от ситуации двуязычия, с одной стороны, и от ситуации сосуществования литературного языка и диалекта, с другой. Из самого определения диглоссии вытекает ряд моментов, которые могут служить диагностическими признаками.

§ 2.2.1. Диагностические признаки диглоссии: отличия от двуязычия. Как говорилось, при диглоссии книжный (литературный) и некнижный (живой) языки распределяют свои функции так, что они оказываются в дополнительном распределении, т.е. практически не пересекаются; при двуязычии, напротив, сосуществующие в языковом коллективе языки обладают рядом общих функций, т.е. в некоторых контекстах возможно употребление как того, так и другого языка. Соответственно, в условиях двуязычия оба языка так или иначе противопоставляются друг другу и, тем самым, непременно фиксируются в языковом сознании, они осознаются именно как два разных и самостоятельных языка. Между тем, в условиях диглоссии сосуществующие языки не противопоставляются, а отождествляются. В этих условиях живой, некнижный язык может совершенно игнорироваться языковым сознанием — при том, что этим языком постоянно пользуются как средством разговорного общения.

Так, например, образованный араб вполне может утверждать, что его сограждане, не владеющие в достаточной степени литературным арабским языком, просто-напросто не знают по-арабски: для него существует только кодифицированная форма этого языка, все же остальные формы оказываются как бы несуществующими, они не осознаются как самостоятельные формы. Совершенно так же интеллигентный араб может заявлять, что всегда пользуется литературным арабским языком, хотя это заявление явно не соответствует действительности, поскольку сфера применения литературного языка чрезвычайно ограничена и он разговаривает практически на совсем другом языке (на живом арабском языке, который очень существенно отличается от литературного); тем не менее, только употребление книжного языка оказывается значимым для языкового сознания.

При диглоссии книжный язык не может выступать в качестве средства разговорного общения, что полностью исключает его из сферы быта. Если в языковом коллективе оба сосуществующих языка могут использоваться в качестве средства разговорного общения, перед нами не диглоссия, а двуязычие.

Понятие языковой нормы и, соответственно, языковой правильности связывается в условиях диглоссии исключительно с книжным языком, что проявляется прежде всего в его кодифицированности. Напротив, некнижный язык не может быть в этих условиях кодифицирован. Как мы уже говорили, книжный язык в отличие от некнижного эксплицитно усваивается в процессе формального обучения, и поэтому только этот язык воспринимается в языковом коллективе как правильный, тогда как некнижный язык понимается как отклонение от нормы, т.е. нарушение правильного языкового поведения; иначе говоря, явления живой речи воспринимаются через эксплицитно усвоенные представления о языковой правильности, которые связываются с книжным языком. Вместе с тем именно в силу престижа книжного языка такое отклонение от нормы фактически признается не только допустимым, но даже и необходимым в определенных ситуациях. Если, напротив, кодифицируются или преподаются в процессе формального обучения два языка, перед нами не диглоссия, а двуязычие.

Поскольку при диглоссии два языка воспринимаются как один, а контексты их употребления характеризуются дополнительным распределением, перевод с одного языка на другой оказывается в этих условиях принципиально невозможным. Из этого не следует, что одно и то же содержание нельзя выразить как на том, так и на другом языке; однако в этих условиях невозможно функционирование соотносящихся друг с другом параллельных текстов с одним содержанием — коль скоро некоторое содержание получает языковое выражение, т.е. выражено на одном языке, оно в принципе не может быть выражено на другом. Сказанное может быть проиллюстрировано невозможностью перевода сакрального текста на разговорный язык при диглоссии. Появление подобных переводов свидетельствует о разрушении диглоссии. Показательно, что такие переводы всегда вызывают активный протест носителей традиционного языкового сознания; так, в Греции перевод Нового Завета на новогреческий язык (димотики) в 1903 г. был воспринят как кощунство и привел к народному восстанию.

Совершенно так же при диглоссии невозможен и обратный перевод, т.е. перевод на книжный язык текста, предполагающего некнижные средства выражения. Отсюда следует, в свою очередь, принципиальная невозможность в этих условиях шуточного, пародийного использования книжного языка, т.е. применение его в заведомо несерьезных, игровых целях. В самом деле, пародия на книжном языке представляет собой именно недопустимый при диглоссии случай употребления книжного языка в неподобающей ситуации; вообще в этих условиях отсутствует пародия как лите-

ратурный жанр (если понимать литературу как совокупность текстов на литературном языке, ср. § 1.1).

Таким образом, диглоссию характеризует ряд признаков негативного характера, которые отличают эту языковую ситуацию от ситуации двуязычия, а именно: 1) недопустимость применения книжного (литературного) языка как средства разговорного общения; 2) отсутствие кодификации разговорного языка, отсутствие специального обучения этому языку; 3) отсутствие параллельных текстов с одним и тем же содержанием (особенно характерны в этой связи запрет на перевод сакральных текстов и невозможность пародии на книжном языке). При несоблюдении хотя бы одного из этих условий мы вправе предположить, что сосуществующие друг с другом языки находятся не в отношениях диглоссии, а в отношениях двуязычия.

§ 2.2.2. Диагностические признаки диглоссии: отличия от ситуации сосуществования литературного языка и диалекта. Рассмотрим теперь, как соотносится ситуация диглоссии с более обычной для нас ситуацией сосуществования литературного языка и диалекта. Как уже говорилось, при диглоссии ни один социум не пользуется книжным (литературным) языком как средством разговорного общения. Именно это обстоятельство в принципе отличает ситуацию диглоссии от одноязычной языковой ситуации: в ситуации сосуществования литературного языка и диалекта всегда имеется социум, который разговаривает на литературном языке (и на который ориентируются другие носители языка, желающие говорить правильно). Критерии языковой нормы, языковой правильности оказываются связанными при диглоссии исключительно с книжным языком, тогда как разговорное употребление лежит вообще вне этих критериев.

Отсюда следует нехарактерность социолингвистической дифференциации при диглоссии — разговорная речь вообще не имеет в этих условиях ценностного характера и поэтому не может служить для выделения одних социальных групп сравнительно с другими. Характерная для функционирования литературного языка в одноязычной (недиглоссийной) ситуации соотносённость с социальными верхами, а нелитературного языка (просторечия) — с социальными низами при диглоссии принципиально невозможна, поскольку для всего общества употребление как книжного, так и не-книжного языка является в принципе обязательным и зависит только от речевой ситуации. Одни и те же представления о языковой правильности оказываются в этих условиях едиными для всех слоев общества (при том что степень знакомства с книжным языком может быть неодинаковой в разных социумах). Следует отметить, что разрушение диглоссии нередко бывает связано с появлением социо-

лингвистической дифференциации, когда элитарный социальный диалект принимает на себя функции литературного языка.

§ 2.3. Книжный язык как язык культуры и язык культа при диглоссии. Поскольку при диглоссии книжный язык не употребляется в повседневном общении, а разговорный язык не функционирует в значимых для общества ситуациях, противопоставление книжного и некнижного языка однозначно соотносится с противопоставлением культуры и быта. Как уже говорилось, при двуязычии два сосуществующих языка имеют ряд общих функций, и поэтому они параллельно функционируют по крайней мере в одной из сфер — культуры или быта; таким образом, противопоставление культуры и быта не соотносится с противопоставлением языков. В условиях сосуществования литературного языка и диалекта литературный язык, поскольку он служит средством разговорного общения, выступает и как язык культуры, и как язык быта. И здесь, следовательно, противопоставление литературного и нелитературного языка не накладывается однозначно на оппозицию культуры и быта. Однозначное соотнесение книжного (литературного) языка и некнижного (живого) языка с противопоставлением культуры и быта специфично исключительно для диглоссии.

Отсюда определяется культурная значимость книжного (литературного) языка при диглоссии — только с этим языком связываются культурные ценности и культурное сознание данного общества. Это проявляется прежде всего в особом престиже книжного языка. Книжный язык является средством отграничения культуры от некультуры, именно поэтому он и ограничен в своем функционировании. Напротив, живой разговорный язык оказывается не связанным в этих условиях ни с какими культурными ценностями; этот язык вообще выпадает из культурного сознания. Тем самым признаки, противопоставляющие книжный и некнижный языки, получают в условиях диглоссии особую семиотическую значимость.

Однозначная связь противопоставления языков с противопоставлением культуры и некультуры основывается при диглоссии на особом ценностном характере книжной традиции. Эта традиция ориентирована, как правило, на корпус сакральных текстов, которые являются основополагающими для данной культуры. Можно вообще предположить, что ориентация на такой корпус текстов является непременным условием возникновения диглоссии. Сакральные тексты могут выполнять такую роль в том случае, когда религия в принципе требует знания этих текстов от всех верующих, а не только от особой жреческой касты. Так обстоит дело в тех культурах, в которых наблюдается диглоссия и которые основаны на буддизме, христиан-

стве или исламе. Проповедь веры связывается здесь с освоением определенных текстов (так, например, проповедь христианства представляет собой проповедь Евангелия как книги), а их знание выступает как необходимая предпосылка спасения (получения благодати). То или иное знание этих текстов необходимо в принципе всем, и поэтому всем необходимо то или иное знание книжного языка.

Анализируя ареалы распространения диглоссии, можно прийти к выводу, что эта ситуация имеет место там, где возникновение книжной культуры было связано с религиозным просвещением. Диглоссии не возникало там, где культурная и литературно-языковая традиция предшествовали проповеди новой религии. Именно поэтому диглоссия нехарактерна для европейской культуры: в Европе греческий и латынь стали языками церкви потому, что они уже задолго до этого были языками цивилизации. Соответственно, латынь и греческий не были изначально связаны с религиозными ценностями. Между тем диглоссия предполагает обратную ситуацию, когда тот или иной язык становится языком культуры и цивилизации в результате того, что он является языком культа. Если в первом случае литературный язык используется в разных своих функциях и ни одна из них не является определяющей, то во втором случае именно религиозная функция выступает как главная и обуславливает особый престиж литературного языка, особенно тщательно соблюдаемую дистанцию между книжной и разговорной речью (ср. Унбегаун, 1973).

В этой ситуации распределение функций между книжным и некнижным языком может восприниматься в религиозных терминах: в частности, употребление книжного языка в неподобающих обстоятельствах, равно как и использование некнижного языка там, где предполагается употребление языка книжного, может восприниматься как кощунство. Этим восприятием и объясняются, видимо, те протесты против переводов сакральных текстов на некнижный язык, о которых мы говорили выше (§ 2.2.2).

Дистанция между книжным и некнижным языком обеспечивается определенным набором формальных признаков (ср. § 1.4), которые в силу этого приобретают особое значение: они отделяют сакральное от профанного, чистое от нечистого. Соответственно, они начинают восприниматься не как некий конвенциональный способ выражения, а как формальные элементы, безусловно связанные с религиозными ценностями. Так, литературный арабский язык воспринимается прежде всего как язык Корана, и в этом качестве ему приписывается божественное происхождение; считается, что это тот язык, который возник при сотворении мира (Фергусон, 1959/1964, с. 432). Не менее показательно, что при переводе буддийских текстов с пали на бирманский передается не только их содержание,

но и их морфологическая структура. В силу неконвенциональности понимания знака сакральность содержания переносится на средства выражения, и самый язык воспринимается как сакральный.

Дистанция между сакральным и несакральным (профанным) языком обеспечивается охранением культурной традиции, поэтому культура и язык оказываются ориентированными на прошлое. Соотнесенность литературного языка с корпусом сакральных текстов обуславливает консервативность книжной нормы. Поэтому в условиях диглоссии тексты практически не стареют, читаются и переписываются те тексты, которые были созданы много веков назад, и эти тексты выступают как образцы (в частности, и в языковом отношении), по которым создаются новые сочинения. Такое положение вещей разительно отличается от ситуации в европейских культурах нового времени, когда язык произведений двухсотлетней или трехсотлетней давности оказывается недоступным для широкой читательской аудитории.

Особое значение в данных условиях приобретает и обучение книжному языку — обучение языку выступает здесь как путь к религиозной истине. Оно необходимо для всех и поэтому имеет всеобщий характер. При этом обучение языку имеет целью прежде всего научить понимать сакральные тексты, а не научить активному владению книжным языком. Вместе с тем, обучение языку сливается здесь с катехизацией, т.е. с обучением основным моментам религиозной доктрины. Естественно, что сама процедура обучения приобретает при этом ритуализованный характер, обучение начинается с молитвы и ею завершается. Обучение языку понимается как иррациональный мистический путь к истинному знанию, большую роль играет заучивание текстов наизусть. Образованность при таком подходе связана прежде всего со знанием текстов и совпадает с начетничеством.

§ 2.4. Изменение языковой ситуации в России и периодизация истории русского литературного языка.

Взаимоотношения церковнославянского и русского языков, которые поставили перед нами проблему языковой ситуации (§ 2.2), строятся в Древней Руси по модели диглоссии. В самом деле, перед нами два языка, функции которых находятся в строгом дополнительном распределении; один из этих языков, а именно церковнославянский, связан с письменной традицией, бытование второго языка, русского, связано по преимуществу со сферой повседневного общения. Есть все основания предполагать, что церковнославянский язык не употреблялся в качестве разговорного; только церковнославянскому языку обучали, и только с ним была связана нормализаторская и кодификаторская деятельность. Наконец, в этот период не существует ника-

ких переводов с церковнославянского на русский и с русского на церковнославянский или вообще каких-либо параллельных текстов на этих языках с одним и тем же содержанием. Все это позволяет утверждать, что церковнославянский и русский языки находились не в отношениях двуязычия, но в отношениях диглоссии.

Вместе с тем, в истории русского литературного языка имело место и церковнославянско-русское двуязычие. Более того, эволюция русского литературного языка связана именно с переходом от церковнославянско-русской диглоссии к церковнославянско-русскому двуязычию. Поскольку двуязычие, в отличие от диглоссии, представляет собой нестабильную языковую ситуацию (§ 2.2), переход этот имеет радикальные последствия для истории русского литературного языка, а именно, распад двуязычия приводит к становлению русского литературного языка нового типа — языка, ориентирующегося на разговорное употребление.

Этим определяется кардинальное значение понятия языковой ситуации для периодизации истории русского литературного языка. Здесь выделяются три основных периода:

1. Период диглоссии с XI по XVII в.
2. Переходный период церковнославянско-русского двуязычия и становления языка нового типа со второй половины XVII по начало XIX в.
3. Стабилизация нового русского литературного языка — с начала XIX в. по настоящее время.

В этой книге мы будем рассматривать, главным образом, первый период, а второй затронем лишь в той мере, в какой он непосредственно связан с предшествующим, а именно, речь пойдет о разрушении диглоссии и о перестройке отношений между церковнославянским и русским языками.

Рассматриваемая нами эпоха распадается на три основных этапа, связанных с тремя последовательными культурными влияниями. Условно обозначая их как «южнославянские» (о конкретном содержании этого термина будет сказано ниже), мы можем говорить о следующих этапах:

1. Первое южнославянское влияние и формирование русской редакции церковнославянского языка (XI—XIV вв.).
2. Второе южнославянское влияние и образование двух редакций церковнославянского языка — великорусской и югозападнорусской (XIV—XVII вв.).
3. Третье южнославянское влияние и разрушение диглоссии на великорусской территории (XVII—XVIII вв.).

Как видим, первые два этапа соотносятся с периодом диглоссии, последний этап — с переходным периодом.

Часть I

**ПЕРВОЕ
ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ
РУССКОЙ РЕДАКЦИИ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА**

§ 3. Культурно-исторические предпосылки возникновения русской книжной традиции

§ 3.1. Южнославянское влияние. Начало русской книжной традиции связано с христианизацией Руси как важнейшим культурным и политическим событием ее ранней истории. Основной вехой здесь может считаться крещение Руси (988 г.), которому предшествовало крещение князя Владимира. С принятием христианства в качестве государственной религии церковнославянский язык получает статус языка официального культа, что и создает предпосылки для его функционирования в качестве литературного языка восточных славян.

С крещением Руси связана целенаправленная деятельность по введению церковнославянского языка как языка христианской культуры. Летопись прямо соотносит христианизацию Руси и начало там книжного учения. Сразу же после известия о крещении киевлян в 988 г. «Повесть временных лет» сообщает, что Владимир «нача поимати у нарочитые чадѣ дѣти, и даяти нача на ученьє книжное» (ПВЛ, I, с. 81). Это событие можно считать поистине эпохальным для истории литературного языка, поскольку начало школьного учения знаменует начало литературного языка. Как уже говорилось (§ 1.3), литературный язык связан со специальной книжной нормой, которая усваивается путем формального обучения.

Обучение церковнославянскому языку выступало как частный момент приобщения к христианской культуре. Будучи необходимым элементом радикальной культурной перестройки, это обучение первоначально имело принудительный характер (подобно тому как принудительный характер имело и само крещение). Говоря о набираемых в школы детях, летописец пишет: «Матере же чадѣ сѣхъ плакахуся по нихъ, еше бо не бяху ся утвердили въроу, но акы по мертвеци плаках[у]ся» (ПВЛ, I, с. 81). Обучение сначала

охватывало элитарную часть общества (брались дети «нарочитые чади», т.е. социальной элиты), но достаточно скоро приобрело массовый характер, поскольку устройство школ было связано с религиозным просвещением и поручено духовенству.

О широком распространении начального образования (элементарной грамотности) свидетельствуют новгородские берестяные грамоты: если в XI в. грамоты пишутся людьми, принадлежащими к привилегированному слою общества (в основном это представители администрации, отчасти также церковные лица), то уже с начала XII в. социальный состав пишущих резко расширяется (Зализняк, 2001а). Следует отметить, что такого рода образование распространялось и на женщин: значительная часть берестяных грамот написана женщинами или же к ним адресована (Зализняк, 1992; ср. Мединцева, 1985).

Итак, Владимир предстает в летописи как инициатор «книжного учения», непосредственно связанного с христианским просвещением. Что касается письменности как таковой, то согласно летописи она появляется позже, при Ярославе Мудром, когда начинается переписывание книг и возникает переводная литература (§ 3.2). Появление русской письменности обуславливает, в свою очередь, создание русского извода церковнославянского языка, т.е. русского литературного языка. Владимир между тем использовал для «ученья книжного» или «ученья книгам» (ПВЛ, I, с. 81) уже имевшиеся к тому времени богослужебные книги; рассказывая о том, как любил Владимир «словеса книжная», «Повесть временных лет» упоминает о Евангелии, услышанном им (несомненно, на богослужении), и приводит цитату из этой книги (ПВЛ, I, с. 86). Исследователи более или менее единодушно полагают — основываясь, главным образом, на филологических данных, т.е. на ретроспективном прослеживании традиции, отраженной в позднейших памятниках письменности, — что книги эти были южнославянские. Это позволяет говорить о первом южнославянском влиянии и связывать с ним начальную фазу формирования литературного языка восточных славян.

О бытовании южнославянских книг на Руси с очевидностью свидетельствуют теперь покрытые воском дощечки (церы) с текстом Псалтыри (найденные в Новгороде летом 2000 г.), написанные не позднее первой четверти XI в. (скорее всего, в 1110-е гг.). Текст Псалтыри списан с болгарского оригинала, однако писец был русский (хорошо обученный каллиграфии). Здесь же представлен текст (явно переведенный с греческого), говорящий о значении Псалтыри, поучение, начинающееся словами «Закон да познаеши христианскаго наказания», в основе которого лежит,

по-видимому, какой-то апокриф (это поучение, вероятно, также было переведено с греческого), и некоторые другие тексты. В целом эти дощечки, которые являются древнейшим русским церковнославянским памятником, свидетельствуют о высоком уровне книжной культуры (Зализняк и Янин, 2001).

§ 3.1.1. Начало христианизации Руси. Какие же книги могли быть использованы при обучении письменности? Есть все основания думать, что фактическая христианизация Руси началась еще до Владимира. Византийский патриарх Фотий уже в 867 г. (т.е. еще при жизни Кирилла и Мефодия) сообщает о крещении Руси (народа Ῥῶς) как о состоявшемся факте, упоминая об учреждении там епархии (Минь, СП, стлб. 736–737; ср. Прод. Феофана, с. 84, 142). Посылка Фотием епископа на Русь последовала за осадой русскими Константинополя в 860 г. (ПВЛ, I, с. 19, датирует поход русских 866 г.); с этим событием может быть связано предание о крещении Аскольда. Константин VII Багрянородный приписывает крещение Руси своему деду императору Василию I (867–886), низложившему Фотия, но последовательно продолжавшему его политику в славянских землях; он же сообщает, что в Константинополе на византийской службе в середине X в. были крещены русы, οἱ βαλτισμένοι Ῥῶς («О церемониях...», II, 15 — Константин Багрянородный, I, с. 579). Этим известиям отвечает сообщение Никоновской летописи под 876 г. о крещении Руси после мира с греками и осылке епископа из Константинополя в Киев при императоре Василии и князьях Аскольде и Дире (ПСРЛ, IX, с. 13).

Во всяком случае, уже при Игоре (912–945) в Киеве существовала христианская община, объединявшаяся вокруг церкви св. Илии на Подоле; сообщая об этой церкви, летописец прибавляет: «мнози бо бѣша Варязи хрестеяни» (ПСРЛ, I, стлб. 54); по не вполне достоверному чтению Шахматова: «мънози бо бѣша Варязи и Козаре хръстяне» (Шахматов, 1916а, с. 61; ср. ПВЛ, I, с. 39). В этой церкви христианская часть дружины Игоря приносила клятву при заключении договора с греками в 944 г. Имеются неопровержимые свидетельства о крещении княгини Ольги (в 954–955 или 957 г.). Константин Багрянородный в описании приема Ольги в Константинополе упоминает пресвитера (священника) Григория, сопровождавшего Ольгу («О церемониях...», II, 15 — Константин Багрянородный, I, с. 594–598), ср. сообщение I Новгородской летописи о том, что Ольга имела «прозвутера втайне» (Новг. летописи, с. 12). Целый ряд источников сообщает о довольно широком распространении христианства на Руси в период, непосредственно предшествующий ее официальному крещению.

По свидетельству летописи, в 983 г. были убиты варяги-христиане (отец и сын), отказавшиеся подчиниться язычникам (ПВЛ, I, с. 58), — можно думать, что мы имеем здесь дело с языческой реакцией на распространение христианства, грозившее подорвать основы прежнего порядка. В период язычества Владимира по крайней мере три его жены были христианками, и не исключено, что при них были священники: гречанка, вдова Ярополка — бывшая монахиня; болгарка, мать Бориса и Глеба; наконец, чешка (ПВЛ, I, с. 56–57; ср. Мошин, 1963, с. 43).

По сообщению саги об Олафе Трюгвасоне Олаф уговаривает Владимира принять христианство и даже привозит для этого византийского епископа. Знаменательно, что после крещения Руси Владимиром Олаф пытается насадить христианство в Норвегии и привозит туда епископа (из Англии); он же основывает Нидарос, который становится затем христианским центром Норвегии. Окончательная христианизация Норвегии осуществляется в годы правления Олафа Святого (1015–1030). Достоин внимания при этом, что первая норвежская кафедральная церковь в Нидаросе посвящается св. Клименту Римскому; ее строит Олаф Святой в 1017 г. на месте церкви, построенной ранее Олафом Трюгвасоном, и вполне вероятно, что эта предшествующая церковь также была посвящена св. Клименту. Это посвящение, по-видимому, указывает на связи с Киевом: непосредственно после своего крещения Владимир привозит в Киев часть мощей св. Климента и кладет их в Десятинную церковь, которая могла называться, соответственно, церковью св. Климента; таким образом, церковь в Нидаросе, возможно, была задумана как повторение киевской Десятинной церкви (ср. Синтио, 1968, с. 103–104, 112; Успенский, 1998, с. 265).

Итак, по крайней мере за сорок лет до официального крещения Руси в Киеве была христианская церковь. Наличие церкви с необходимостью предполагает существование богослужебных книг, и есть все основания думать, что книги эти были на церковнославянском языке, хотя вопрос о конкретной редакции (изводе) этого языка остается открытым. Из приведенных свидетельств видно, что христианская община в Киеве была этнически разнородной: в нее входили, в частности, варяги. Тем не менее, языком христианства в Киеве несомненно был церковнославянский язык, доступный всем этническим группам киевского населения (§ 3.1.4).

Заслуживает в этой связи внимания судьба одного из канонических старославянских памятников, а именно Супрасльской рукописи. Первые монахи Супрасльского монастыря, где хранилась эта рукопись, были выходцами из Киево-Печерской Лавры, и можно думать, что именно оттуда она попала в Супрасль (Рогов, 1978, с. 324–327). Не исключено, что эта рукопись оказалась в Киеве в результате русско-болгарских контактов, т.е. в числе тех книг, ко-

торые были получены из Болгарии и Македонии еще до возникновения собственно русской письменности.

§ 3.1.2. Церковнославянский язык на Руси до ее крещения. Как было сказано, письменная традиция возникает на Руси после крещения, однако окказиональное употребление письменности могло, видимо, иметь здесь место и раньше. Все имеющиеся свидетельства указывают, что эта письменность была на церковнославянском языке. Об этом говорит прежде всего язык договоров с греками 911, 944 и 971 гг. (а также дошедший до нас фрагмент договора 907 г., который, по мнению Шахматова, составляет один текст с договором 911 г.) (ПВЛ, I, с. 24–25, 25–29, 34–39, 52). Эти договоры написаны по-церковнославянски, и в них употребляется церковнославянская юридическая терминология (Унбегаун, 1957/1969, с. 179; Унбегаун, 1959/1969, с. 204; ср. § 5.3). Все договоры были написаны в Византии и представляли собой перевод с греческого текста, составленного в соответствии с греческим протоколом; соответственно, в них обнаруживается большое число лексических, семантических и синтаксических грецизмов (Лавровский, 1853; Обнорский, 1936/1960, с. 111–114). Неясно, конечно, кто были те славяне, которые перевели текст договоров с греческого на церковнославянский язык — славянская колония в Константинополе включала в себя представителей разных племенных групп; по мнению С. П. Обнорского (1936/1960, с. 119), перевод договора 911 г. был выполнен не русским, а болгаринном, и это определяет его подчеркнуто южнославянский облик; согласно И. И. Срезневскому (1882, стлб. 7), договор 972 г. был первоначально записан глаголицей (следы глаголического оригинала отразились в употреблении форм числительного). Так или иначе, все эти договоры оказались в русской княжеской канцелярии; для нас особенно интересен договор 944 г., поскольку конец этого договора (где говорится о клятве русской дружины в Киеве) был написан в русской столице. Не менее показательно, что в тексте данного договора упоминаются верительные грамоты, которые русский князь обязуется давать русским послам и купцам, едущим в Византию (до этого послы и купцы имели при себе лишь печати); видимо, имеются в виду грамоты на том же языке, на котором написан сам текст договора, т.е. на церковнославянском языке.

О бытовании церковнославянского языка на Руси может в какой-то мере свидетельствовать и Гнездовская надпись середины X в. — надпись на сосуде, найденном в селе Гнездово под Смоленском. Чтение этой надписи вызывает разногласие исследователей, но во всяком случае она свидетельствует о знакомстве со

славянской (кириллической) азбукой в период, предшествующий крещению Руси при князе Владимире; естественно думать при этом, что знание славянской азбуки было как-то связано с распространением христианства.

Если считать, что договоры с греками говорят о существовании письменной традиции, необходимо признать, что языком княжеской канцелярии в X в. был церковнославянский язык (ср. Якубинский, 1953, с. 89). Между тем, позднее деловые документы пишутся на русском языке (§ 5.3; § 5.4). Этот факт можно было бы объяснить тем, что в данный период церковнославянский язык не связывается еще исключительно с христианской культурой, не входит в антитезу сакрального — мирского, как это будет впоследствии, а принимает на себя просто функции письменного языка, т.е. того языка, которым пользуются при письменной фиксации текста. Тем самым, здесь нет еще распределения функций, характерного для диглоссии (ср. § 2.2).

Сходным образом, по-видимому, строятся в этот период отношения христианства и язычества. До крещения Руси христианский и языческий культы могут определенным образом соотноситься друг с другом. Так, при заключении договора с греками в 944 г. князь Игорь и его люди присягали на холме перед идолом Перуна, а христианская Русь приносила присягу в церкви св. Ильи, т.е., видимо, перед образом Ильи-пророка (ПВЛ, I, с. 39). Поскольку Илья-пророк выступает вообще как христианский заместитель Перуна, его образ функционально эквивалентен идолу Перуна (ср. Успенский, 1982, с. 31 сл.); таким образом, обе части дружины присягают Громовержцу, который выступает как бы в двух ипостасях — языческой и христианской. Эта ситуация радикально отличается от той, которая имеет место после крещения 988 г., когда христианское и языческое не отождествляются, но противопоставляются как положительное и отрицательное начала, взаимоисключающие друг друга (ср. Лотман и Успенский, 1977/1996, с. 343 сл.).

Таким образом, даже если предполагать наличие какой-то письменной традиции на церковнославянском языке (конечно, в ограниченных формах) еще до крещения Руси в 988 г., правомерно утверждать, что именно в результате этого события возникла церковнославянско-русская диглоссия. С крещением Руси церковнославянский язык получает права и функции языка литературного. Принудительный характер обучения церковнославянской грамоте при князе Владимире — как и вообще религиозного просвещения — указывает на сознательное внедрение и распространение церковнославянского языка в этом качестве.

§ 3.1.3. Церковнославянский язык как средство византизации русской культуры. Итак, реформы князя Владимира связаны с южнославянским влиянием. Филологические данные с несомненностью говорят о преемственности русской книжной традиции в отношении южнославянской. Между тем практически отсутствуют какие бы то ни было исторические свидетельства о культурных связях между Болгарией и Киевской Русью. Отсутствие подобных свидетельств позволяет предположить, что усвоение южнославянской книжной традиции было обусловлено не столько культурной (или церковно-политической) ориентацией на Болгарию, сколько ролью южных славян как проводников греческого культурного влияния. Иначе говоря, южные славяне играли вспомогательную, посредническую, но не самостоятельную роль: ориентация была греческой, письменность — болгарской. Принятие церковнославянского языка в южнославянском изводе совсем не предполагает с обязательностью наличия сколько-нибудь устойчивых болгаро-русских культурных контактов.

Отсутствие прямых исторических свидетельств касательно болгаро-русских культурно-религиозных контактов заставляет историков предполагать позднейшую тенденциозную переделку летописей, при которой были устранены все указания на болгаро-русские связи и подчеркнуты, напротив, связи греческо-русские (ср., например, так называемую Корсунскую легенду, в которой основная роль в обращении Владимира отводится греческому корсунскому, т.е. херсонесскому, епископу). Это, в свою очередь, открывает возможность для самых разнообразных гипотетических построений, реконструирующих то, что якобы было подвергнуто сознательному изъятию. Такова гипотеза М. Д. Приселкова о первоначальном подчинении русской церкви, сразу же после крещения, не константинопольскому, а охридскому патриарху (Приселков, 1913). Следует иметь в виду, что в 972 г. Византия покорила Преславское царство, а в 1018 г. пало и Охридское царство. Это оставляет очень мало возможностей для крупномасштабной миссионерской деятельности и церковно-политической экспансии. Кроме того, государство в период падения, как правило, не обладает достаточным престижем для расширения сферы своего влияния. Тем самым гипотетические построения такого рода оказываются излишними. Остается открытым вопрос, в какой степени завоевание Болгарии и Македонии могло способствовать массовой эмиграции болгарских книжников в Киевскую Русь; во всяком случае, это не имеет прямого отношения к вопросу о культурно-политической ориентации Киевской Руси. Ср. попытку проследить следы деятельности славяно-византийских миссионеров на Руси в древнейший период на основании языковых данных: Страхов, 1988.

Церковнославянский язык выступает как средство византизации русской культуры, т.е. трансплантации византийской куль-

туры на русскую почву, в результате которой Россия в известном смысле становится частью византийского мира. Церковнославянский язык (в разных своих изводах) выступает как общий литературный язык православного славянства («*Slavia orthodoxa*»); при этом «*Slavia orthodoxa*» осмыслялась именно как славянская версия византийской культурной традиции.

Эта роль церковнославянского языка исключительно отчетливо проявляется, между прочим, в надписях на монетах, выпущенных при Владимире. После крещения Руси Владимир начинает чеканить монеты — явно ориентируясь при этом на Византию. Но знаменательно, что имя Владимира в надписях на этих монетах представлено в неполногласной, т.е. церковнославянской форме: *Владимиръ на столѣ; Владимиръ а се его сребро; Владимиръ на столѣ а се его сребро* (Толстой, 1882, с. 12–14, 23, 30–32, 40–45, 127, 227–229). Это тем более характерно, что во всех других ранних русских источниках данное имя всегда представлено в полногласной форме (*Володимира* в Остр. ев. 1056–1057 гг., л. 294в; *Володимиръ* в графито Софии Киевской конца XI в.; *Володимиръ* в Мстисл. грамоте около 1130 г.; *Володимирова* в надписи на чаре черниговского князя Владимира Давыдовича 1139–1151 гг.; *Володимиръ* ~ *Володимеръ* в летописях; и т.п.) — неполногласная форма появляется в русских текстах только с XV в. в результате второго южнославянского влияния, и надписи на монетах составляют едва ли не единственное исключение к этому общему правилу (Франчук, 1965, с. 262). Совершенно так же и на монетах, чеканенных при Святополке (1015–1019 гг.), имя князя представлено в южнославянском написании: *Сѣопѣлкѣ* и т.п. (Толстой, 1882, с. 48–50). Эти южнославянские формы не могут объясняться непосредственным южнославянским влиянием, поскольку у южных славян чеканка монет начинается много позднее (на Балканах в это время имели хождение византийские деньги) — таким образом, южнославянские (церковнославянские) формы появляются в результате ориентации не на Болгарию, а на Византию. Церковнославянский язык выступает в данном случае как язык культуры, а не культа — это проявляется тем более отчетливо, что славянизации подвергается языческое имя князя Владимира; характерно, что на одной из его монет значится как языческое имя *Владимир*, так и христианское имя *Василий*, полученное Владимиром при крещении (на одной стороне надпись: *Владимиръ а се...*; на другой стороне: *свѣтаго Васила* — Толстой, 1882, с. 45).

Крещение Владимира, а затем и всего Киева в 988 г., так же как и предшествовавшее ему крещение Ольги, выступало как совершенно определенный политический акт, свидетельствуя прежде всего о византийско-русских политических контактах и одновременно о культурной ориентации русских князей. Тем самым принятие христианства вводит Русь в орбиту византийского мира

(подобно тому, как петровские реформы позднее вводят Россию в орбиту мира европейского). Русь принимает византийскую систему ценностей и стремится вписаться в эту систему. Для Византии крещение Руси означает расширение сферы культурного, а следовательно и политического влияния (Византия нередко использовала христианизацию разных народов как средство культурной и политической экспансии; следует иметь в виду, что политика и религия вообще объединялись в византийской государственной деятельности). Между тем для России это означает выбор культурной ориентации, связанной с политическим самосознанием: русская княжеская власть осознает себя через ориентацию на византийский культурный эталон (типологически это, опять же, сопоставимо с ролью европейского культурного эталона в петровскую эпоху). Знаменательно в этом смысле, что Ольга принимает при крещении имя византийской императрицы Елены, жены Константина Багрянородного, а Владимир — имя современного ему императора Василия II. Не менее характерно, что на монетах Владимира он изображен в царском венце и вообще в византийском царском уборе (Толстой и Кондаков, IV, с. 167–168). Так же — в византийском одеянии — изображен и Болеслав Храбрый (992–1025) на польских монетах с кириллической надписью Болеслакъ (Толстой и Кондаков, IV, с. 170); полагают, что эти монеты были чеканены для городов Червонной Руси, которые в 1018 г. отошли к Болеславу (Керсновский, 1958), — переход с латинского на кириллическое письмо естественно сочетается с византийской ориентацией. По свидетельству Константина Багрянородного («О управлении империей», гл. XIII), Русь, как и другие варварские народы, обращалась в Константинополь с просьбой прислать что-либо из царских одежд, корон или украшений (Константин Багрянородный, 1989, с. 54–57); Константин дает специальное указание относительно того, как следует объяснять отказ на подобную просьбу, — при всей абсурдности этой просьбы она явно свидетельствует о стремлении русских князей уподобиться византийскому императору. Начиная по крайней мере с Ярослава Мудрого русские князья могли неофициально именоваться царями (цесарями), т.е. так же, как именовался византийский император (Водов, 1978, с. 8 сл.). Со своей стороны, Византия может рассматривать Русь как часть империи, и, соответственно, русский великий князь занимает определенное место в византийской придворной иерархии (с точки зрения Византии он является «стольником» императора, см. РИБ, VI, прилож., стлб. 274; Голубинский, I, I. с. 926; Барсов, 1882, с. 45; Дьяконов, 1889, с. 14–15).

Совершенно такая же ориентация на византийский культурный эталон имела место в свое время и в Болгарии. И здесь христианство начинает проникать в круг династии за несколько десятилетий до крещения Болгарии при князе Борисе (864–865 гг.), причем Борис принимает при крещении имя современного ему императора Михаила.

В результате крещения политическое положение как Ольги, так и Владимира необычайно упрочилось — во всяком случае в перспективе Константинополя. Ольга была принята в Константинополе с почти небывалыми почестями, по существу на правах коронованной особы, т.е. ее принимали как главу христианской державы (Острогорский, 1967, с. 1466–1470; ср. Ариньон, 1980). Между тем Владимир удостоился невиданной дотоле чести вступления в брак с византийской порфирородной принцессой (Анной, сестрой императора Василия II) — неременным условием брака было поставлено крещение Владимира и его подданных. Непосредственной причиной данного брака была военная помощь, которую оказал Владимир византийскому императору во время восстания Варды Фоки (восстание имело место с августа 987 г. по апрель 989 г.). Брак этот представлял собой настолько беспрецедентное явление, что византийцы попытались уклониться от принятого обязательства, и тогда Владимир вторгся в византийские владения и летом 989 г. овладел Корсунью (Херсонесом). Незадолго до этого, в 968 г., византийцы ответили резким отказом императору Оттону I Великому, который сватал за сына царевну, дочь императора Романа II: «Неслыханная вещь, чтобы порфирородная, т.е. дочь рожденного в пурпуре, рожденная в пурпуре, вступила в брак с варваром» (Голубинский, I, 1, с. 160; Пресняков, 1938, с. 100). На невозможность подобных браков специально указывал Константин Багрянородный («О управлении империей», гл. XIII, см. Константин Багрянородный, 1989, с. 58–61).

Следует иметь в виду, что варварские князья рассматривали вообще личный союз с правящей династией как признание Византией их суверенных прав. Так, в 913 г. Симеон Болгарский снял осаду Константинополя, получив обещание, что одна из его дочерей выйдет замуж за императора Константина; византийцы не сдержали этого обещания, что вызвало вторжение Симеона во Фракию.

Косвенное отражение политического упрочения Руси в сфере византийского мира может быть усмотрено в позднейшей летописной легенде о сватовстве императора Константина Багрянородного к княгине Ольге (ПВЛ, I, с. 44): ошибаясь в конкретных фактах, летописец правильно изображает общую политическую картину.

Южные славяне были авторитетными посредниками в русско-византийских культурных контактах; совершенно аналогичная ситуация имеет место затем в случае второго южнославянского влияния — в прямом соответствии со своим географическим положе-

нием южные славяне постоянно выступают посредниками между греками и славянским севером. Крещение Болгарии в 864–865 гг. повлекло за собой эллинизацию болгарского общества (Власто, 1970, с. 11); предпосылки к такой эллинизации были заложены в совместном проживании греков и славян на Балканах, обусловливавшем в некоторых местах естественное греко-славянское двуязычие. В этих условиях посредническая роль южных славян оказывается вполне естественной.

Ориентация на южных славян как на посредников в греческо-русских связях обуславливает и недолговременность не посредственного южнославянского влияния, которое прекращается во всяком случае уже к началу XII в. (§ 6.2.1), когда русские рукописи перестают испытывать влияние южнославянских протографов (т.е. складывается русский извод церковнославянского языка, а специфические южнославянские черты подвергаются правке). В дальнейшем южнославянское влияние становится уже опосредствованным — через русскую книжную традицию, изначально воспринятую от южных славян. Таким образом, южнославянский извод церковнославянского языка был пересажен на русскую почву и здесь получил новую жизнь.

§ 3.1.4. Славянский язык как средство межнационального общения. Итак, христианизация и эллинизация связывались для русских с усвоением церковнославянского языка в качестве языка литературного. Использование церковнославянского языка в этой функции было естественным и с византийской точки зрения. В греческой перспективе восточнославянские и южнославянские диалекты вообще, видимо, не представлялись принципиально разными: прецедент использования церковнославянского языка при христианизации Болгарии теперь распространялся и на вновь обрабатываемую славянскую страну. Для такого восприятия были реальные основания: по сообщению византийского историка Иоанна Скилицы, когда в 970 г. русское войско сражалось с византийцами, имея союзниками болгар, венгров и печенегов, то русские выстраивались вместе с болгарами — объединяясь, несомненно, по причине языковой общности (Скилица-Кедрин, II, с. 386).

Славянским языком пользовались не одни славяне; в X в. славянские диалекты могли выступать как *lingua franca*, обслуживая различные неславянские племена. Еврейский путешественник Ибрагим ибн Якуб около 965 г. сообщает, что славянским языком пользуются варяги (Соловьев, 1968, с. 261; Шепард, 1974, с. 2). Договоры с греками 911 и 944 гг. начинаются перечнями послов, среди которых мы не находим, кажется, ни одного славянского имени (в основном послами были варяги, см. анализ имен у Томсена, 1891, с. 65–68, 119–

130), — тем не менее, договоры были написаны на церковнославянском языке и на этом же языке велись, возможно, переговоры. Как уже говорилось (§ 3.1.1), церковнославянский язык обслуживал религиозные нужды обратившихся в христианство варягов и, возможно, хазар. Любопытно и то, что в летописи не встречается названий варяжских языческих богов, но только имена славянского языческого пантеона. Особенно же характерно, что у византийских авторов законы и обычаи печенегов и венгров могут называться славянским словом *закон* (ζάκων, τὰ ζάκωνα), а венгерские вожди именуются *воеводами* (βοέβοδος). По-видимому, это отражение собственной речи этих народов (печенегов и венгров), которые в своих внешних сношениях пользовались славянским языком (Бюри, 1906; ср. Мошин, 1938; Погодин, 1938).

§ 3.1.5. Социальный аспект распространения церковнославянской грамотности. Как мы видели, возникновение русской книжной традиции связано с государственным преобразованием в Киевской Руси. В этих условиях закономерно, что распространение книжной образованности, так же как и сам процесс христианизации, начинается с верхов. Еще до крещения Руси христианство проникает в социальную элиту, захватывая в первую очередь княжескую дружину и самих князей (ср. § 3.1.1). Такое положение в какой-то степени сохранялось еще и во второй половине XI в., ср. рассказ летописи под 1071 г. о борьбе князя Глеба с волхвами в Новгороде: «И раздѣлишася надвое: князь бо Глѣбъ и дружина его идоша и сташа у епископа, а людье вси идоша за волхва» (ПВЛ, I, с. 120). Еще в конце XI в. возникает вопрос о том, должны ли простые люди венчаться в церквах, т.е. в это время венчание еще воспринимается как обряд, свойственный только высшим слоям общества (РИБ, VI, стлб. 18); отражение такого взгляда может быть усмотрено в народном свадебном обряде, в котором жених и невеста называются *князем* и *княгиней*, а дружки — *боярами*.

Равным образом, и распространение церковнославянской грамотности первоначально было связано с социальной дифференциацией — как и христианизация, оно шло сверху вниз. Владимир, как мы знаем, берет детей для книжного учения у «нарочитой чади». В дальнейшем, поскольку устройство школ было связано с религиозным просвещением и миссионерской деятельностью, оно было поручено духовенству; тем самым знание церковнославянского языка становится в первую очередь характерным для духовных лиц. По сообщению ряда новгородских летописей, уже Ярослав в 1030 г. организует в Новгороде школу, куда наряду с детьми элиты специально зачисляются и дети духовенства: «сыбра отъ ста-

рость и отъ поповъ дѣтеи 300 оучити книгамъ» (ПСРЛ, IV, 1, с. 113; ср. ПСРЛ, IV, 2, с. 116; ПСРЛ, V, 1, с. 126; ПСРЛ, VI, 1, с. 175; ПСРЛ, IX, с. 79); хотя количество учеников и вызывает сомнения, сам факт школы такого рода кажется возможным. С передачей школьного дела духовенству знание церковнославянского языка утрачивает элитарный характер. Хотя социолингвистическая дифференциация общества не характерна при диглоссии (§ 2.2.2), степень владения книжным языком может быть неодинаковой в разных социальных группах — и, соответственно, какая-то часть общества выступает как хранитель языковой традиции, не обладая при этом исключительной привилегией на пользование данным языком. В русских условиях такую роль носителя церковнославянской традиции выполняло духовенство. Отсутствие у православного духовенства celibата (обязательного безбрачия, принятого у католиков) приводило к тому, что священство становилось в определенной мере наследственным занятием. В результате уже в относительно раннюю эпоху устанавливаются священнические рода, насчитывающие многие поколения; так, в Зарайске в церкви Николы Зарайского преемственно священствовали десять поколений потомков священника Евстафия, привезшего в 1224–1225 гг. образ св. Николая из Корсуни в Рязанскую землю (Шахматов, 1908, с. 1088; Голубинский, I, 2, с. 416). Такая преемственность поколений в той части общества, которая служит хранителем культурной и языковой традиции, способствует стабильности книжно-языковых норм, причем в этих условиях ряд нормативных сведений может передаваться из поколения в поколение устным путем (в частности, традиции книжного произношения, см. § 6.4.4). Вместе с тем, отсутствие celibата наряду с практикой наследования прихода приводило к тому, что в России, как и в Византии, складывался образованный класс, неизвестный католическому Западу, — дети священнослужителей, которые не пошли по стопам отцов (понятно, что в многодетных священнических семьях не все дети могли получить место при церкви) (Медведев, 1976, с. 17–18; Успенский, 1999, с. 15–16). Таким образом, духовенство оказывается ядром своеобразной древнерусской интеллигенции, выступая носителем комплекса культурных (а не социальных) ценностей. Поэтому церковнославянский язык оказывается языком культуры, а не социальным диалектом.

§ 3.2. Греческое влияние. Два последовательных этапа формирования русской книжной традиции озаглавлены деятельностью Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Дело Владимира, как уже говорилось, — создание школьного образования («книж-

ного учения»), но не русской письменности. Последняя, согласно летописи, появляется при Ярославе, когда начинается переписывание книг и возникает переводная литература. Летопись под 1037 г. ставит в особую заслугу Ярославу книжное просвещение: «И собра писцѣ многы и прекладаше от грекъ на словѣньское писмо. И списаша книги многы, ими же поучашеся вѣрнии людѣ наслаждаются ученья божественаго» (ПВЛ, I, с. 102). Итак, если при Владимире на Руси распространялись южнославянские книги, то при Ярославе, по-видимому, получила начало русская письменность, т.е. появляются книги не привезенные, а здесь созданные. Этим было положено основание формированию русского извода церковнославянского языка. В ходе переписывания и перевода книг на Руси церковнославянский язык усваивает ряд характеристик восточнославянского происхождения, которые закрепляются в нем первоначально на правах вариантов, а к XII в. становятся нормативным явлением (§ 6.2.2). Определяющую роль в этом процессе имеет переводческая деятельность: переводы с греческого играют принципиально важную роль в формировании литературного языка и определении его функций (в XVIII в. при создании нового литературного языка такую же роль будут играть переводы с западноевропейских языков).

Цитированное сообщение летописи под 1037 г. нуждается в критическом анализе. Фраза «прекладаше [по другим спискам: *прекладаша; прелагаше*] от грек на словенское писмо [по другим спискам: *на словенское писмя; на словенский язык и писмя*]» обычно понимается в том смысле, что писцы, которых собрал Ярослав, переводили книги с греческого языка на славянский (Шахматов, 1916, с. 308; ПВЛ, I, с. 302). Однако выражение *от грек*, строго говоря, означает «из Греции», а не «с греческого языка», и глагол *прекладати* (в отличие от *прелагати*) не зафиксирован в ранней славянской письменности в значении «переводить»; это значение отмечается у соответствующего глагола в западнославянских языках, а также украинском и белорусском, но мы не знаем, когда оно появилось (ср. § 3.3.4). Г. Г. Лант считает, что *прекладати* означает здесь «перевозить», т.е. речь идет о привозе книг из Греции (Лант, 1988, с. 258); это хорошо согласуется с началом рассматриваемой фразы (*прекладати от грек*, т.е. привозить из Греции), но плохо согласуется с ее продолжением (*прекладати на словенское писмо*) (Лант предполагает при этом, что речь идет о привозе из Греции глаголических книг, которые были переписаны в Киеве кириллическими буквами, однако это предположение лишено основания). Таким образом, если исходить из начала данной фразы, ожидается глагол со значением движения, если же исходить из ее продолжения, ожидается глагол со значением языкового или же письменного преобразования (перекодирования).

В любом случае приходится признать, что данный текст испорчен и нуждается в тех или иных конъектурах. Полагаем, что в рассматриваемом тексте отсутствует дополнение; если предположить, что этим дополнением было слово *книги*, выражение *от грек* оказывается определением, а не обстоятельством места, и не имеет пространственного значения. Тогда получаем: «прекладаше книги от грек на словенское писмо», где *книги от грек* означает «греческие книги». Остается допустить, что слово *преклатати* в переносном употреблении достаточно рано могло означать «переводить», хотя это значение и не отразилось в других известных нам текстах. Но даже если считать, что речь идет о привозе греческих книг на Русь, кажется вероятным, что имеется в виду их перевод.

§ 3.2.1. Переводы с греческого в Киевской Руси. С христианизацией Руси переводческая деятельность очень скоро принимает широкие и разнообразные формы. С греческого языка переводится большой и весьма богатый по своему содержанию и жанровой характеристике корпус текстов: богословская, апокрифическая, агиографическая, историческая, естественнонаучная, повествовательная и другая литература. Сюда относятся, например, такие произведения исторического характера, как хроника Георгия Синкелла и «История иудейской войны» Иосифа Флавия; такие географические сочинения, как «Христианская топография» Козьмы Индикоплова; такие повествования, как «Александрия» или «Повесть об Акире Премудром»; такие агиографические произведения, как Житие Василия Нового; произведения апокрифически-пророческого характера, как «Откровение» Мефодия Патарского; богословско-догматического, как «Исповедание веры» Синкелла; и т.п. (Истрин, 1922, с. 4). Эти произведения, переведенные на Русь, смешиваются с южнославянскими переводами, которые на Руси переписывались, образуя таким образом единый фонд книжной словесности, на который ориентируется последующее развитие литературы и языка. Необходимо подчеркнуть, что переводятся и переписываются такие произведения, содержание которых никак не может представлять практический интерес для русского читателя, например, сочинения, посвященные истории Византии и при этом даже охватывающие в значительной части дохристианский период (ср. хроники Иоанна Малалы или Георгия Амартола). Тем не менее они интересны для русских как часть византийской культуры. Принадлежность их к византийской литературе и обуславливает их вхождение в русскую литературу и бытование в ней. Русская литература (письменность, образованность) представляет собой на начальном этапе не что иное, как сколок с византийской литературы.

Уже в начальный период русской письменности объем доступной книжнику словесности настолько велик, что позволяет говорить о вхождении Руси в круг византийской образованности. Именно потому, что русская культура сразу вписалась в византийскую, здесь не было периода ученичества. Так, «Слово о законе и благодати» Илариона, написанное между 1037 и 1050 гг., являет собой поразительный пример оригинального литературного творчества при книжном влиянии греческой образованности. О том же говорят сочинения Кирилла Туровского (XII в.). Тексты такого рода могли бы быть написаны и в современной им Византии.

Замечательно, что Иларион специально подчеркивает в «Слове о законе и благодати», что он обращается к просвещенной, книжной аудитории: «Еже поминати въ писанїи семь и прѣрочьскаа проповѣданїа о Хсѣ и апсльскаа оученїа ѿ бждѣщїмъ вѣщѣ, то излиха есть и на тѣшеславїе съкланѣа. Еже бо въ инѣхъ книгахъ писано и вами вѣдомо, ти сде положити, то дръзости ѡбразъ есть и славохотїю. Ни къ невѣдѣжїимъ бо пишемъ, но прѣвзлїха насыштьшемся сладости книжныа. Не къ врагомъ Бжїемъ иноувѣрнымъ, нѣ самѣмъ ѣномъ его. Не къ стран'нымъ, нѣ къ наслѣдникомъ ѣбснаго црѣства» (Молдован, 1984, с. 79, ср. с. 110, 139, 160–161, 186), т.е.: «Упомянуть в этом писании проповедь пророков о Христе и учение апостолов о будущем веке излишне и близко к тщеславию. Признак дерзости и честолюбия — предлагать здесь то, что написано в других книгах и вам уже известно. Не к незнающим пишем, но к тем, кто с избытком насытился книжной сладости; не к иноверным противникам Бога, но к его детям; не к посторонним, но к наследникам Царства небесного». Высокая литература в принципе предполагает соответствующую по уровню образования читательскую аудиторию, способную воспринять как содержание, так и форму предлагаемого ей произведения, — и Иларион декларативно подчеркивает наличие таких читателей. Прошло немногим более полувека с начала распространения церковнославянской грамотности, но это ничуть не смущает русского книжника — постольку, поскольку он ощущает себя в русле определенной культурной традиции (как славянской, так в конечном счете и греческой).

Переводы с греческого предстают как проявление общей культурной тенденции, обусловленной стремлением перенести византийскую культуру на русскую почву, привить здесь византийские культурные ценности; та же тенденция проявляется в живописи, в архитектуре и т.п. Особенно знаменательно в этом смысле стремление перенести в Киев культурное пространство Константинополя, т.е. культурно уподобить его Константинополю. Так, при Ярославе

Мудром в Киеве закладывается церковь св. Софии (1037 г.) явно по образцу константинопольского Софийского собора; одновременно воздвигаются Золотые ворота, также в подражание византийской столице: характерным образом над Золотыми воротами строится церковь Благовещения в подражание константинопольским Золотым воротам, также имевшим церковь Благовещения (по другим сведениям Софийский собор был построен уже при Владимире — Раппопорт, 1982, с. 11). В свою очередь, Золотые ворота в Константинополе призваны повторить Золотые ворота в Иерусалиме, отражая восприятие Константинополя как «Нового Иерусалима»; это восприятие и переносится на Киев, и, соответственно, уподобляясь Константинополю, Киев также начинает пониматься как «Новый Иерусалим». Равным образом Десятинная церковь в Киеве — первая церковь, построенная после крещения Руси — была заложена 2 июля (989 г.), в день положения ризы Богородицы во Влахерне; это указывает на желание связать строительство Десятинной церкви с константинопольскими традициями, т.е. эта церковь как бы воспроизводит константинопольский Влахернский храм (Раппопорт, 1974, с. 48). В конце XI в. Стефан, бывший игумен Печерского монастыря, основал в Киеве монастырь «и цркъвь възгради въ имя сѣны Бѣа и нарекъ мѣсто то по образу соушааго въ Костантини градѣ — из Лахерьна» (Усп. сб., л. 66г). Ориентация на византийские культурные модели выступает при этом очень отчетливо и наглядно.

Следует предположить, что переводов с греческого, осуществленных на Руси, было довольно много; для домонгольского периода их насчитывают более тридцати (см. перечень таких переводов: Дурново, 1969, с. 105–111). Вместе с тем, часто бывает весьма затруднительно отличить перевод, сделанный на Руси, от перевода, выполненного в южнославянских странах. Методика такой атрибуции была установлена А. И. Соболевским (1910, с. 162–178) и В. М. Истриным (Истрин, II, с. 248–249, 268–308; Истрин, III, с. V–L; Истрин, 1922, с. 76–78); они обращают внимание в основном на лексические критерии, т.е. на специфические словарные русизмы. Сюда относятся славянские по происхождению слова со специальными значениями, такими как названия должностных лиц, монет, мер веса и т.п. (ср. *посадник*, *староста*, *гривна*, *куна*, *рѣзана*), специфические для русского языка заимствования из других языков, такие как *шелк* (южнослав. *свила*), *плуг* (южнослав. *рало*), *жъньчюг* ~ *женчуг* (южнослав. *бисер*), *уксус* (южнослав. *оцѣт*), специфически русские топонимы и этнонимы (*Корчева* «Керчь», *Су-рож* «Судак» и т.п.). Имеются и другие, дополнительные критерии, позволяющие сделать вывод о месте перевода. Так, до некоторой степени показательным является смешение у русских переводчиков охридской и преславской редакции церковнославян-

ского языка: безразличное употребление в каком-либо памятнике словарного материала обеих редакций дает основание предположить, что памятник русского происхождения. Показательным может быть и употребление русских форм отчеств (патронимики) типа *Иисус Сирахович* (т.е. Иисус, сын Сираха), *Евсевии Панфилич* (т.е. Евсевий-Памфил) и т.п. Наконец, на русское происхождение памятника может указывать, как иногда считают, и употребление придаточных цели с союзом *да* при глаголе-сказуемом в сослагательном наклонении (*молю, да бы пришел*); между тем, соответствующая конструкция с союзом *да* при глаголе-сказуемом в изъявительном наклонении (*молю, да приидеши*) как свидетельство происхождения памятника непоказательно (Бройер, 1957; Мещерский, 1962, с. 98–101; Мещерский, 1964, с. 192–198; Мещерский, 1978, с. 23).

Критерии такой атрибуции, вообще говоря, не являются достаточно строгими, поскольку текст может существенно изменяться в процессе позднейшей переписки; как специфические русизмы, так и специфические южнославянизмы могут появляться при редактировании текста, не указывая на место его создания. В результате для целого ряда произведений, переведенных с греческого, место перевода установить невозможно.

§ 3.2.2. Греческий язык в Киевской Руси. Знание греческого языка было, видимо, в какой-то мере распространено в Киевской Руси. Можно даже полагать, что на определенном уровне образования предполагалось церковнославянско-греческое двуязычие, которое органически сочеталось с церковнославянско-русской диглоссией, т.е. церковнославянский и греческий объединялись как культурные языки в своем противопоставлении книжному русскому языку. Понятно, что образование, предполагающее знание греческого языка, не могло иметь массового характера, но речь сейчас идет о периоде, когда и само христианство не представляло собой повсеместного явления (как уже отмечалось, как христианизация, так и распространение образования идут в этот период от социальных верхов). Такого рода образование выступало в качестве своего рода культурного ориентира.

Знание греческого языка культивировалось, можно думать, в княжеской среде. Для княжеской среды христианство выступает как часть престижной византийской культуры, и князья ориентируются на греческий культурный эталон. О знании греческого, а отчасти и других иностранных языков свидетельствует «Поучение» Владимира Мономаха, в котором можно усмотреть влияние современных ему и, по-видимому, не переводившихся на церковнославянский язык византийских источников. Особенно показательно, что русские князья и княгини в XI–XII вв. могут именно

вать себя ἄρχων (или ἄρχόντισσα) Ῥωσίας — подобную надпись мы встречаем, например, на печати Владимира Мономаха (до 1125 г.), а также на печатях владимиро-волинского князя Давида Игоревича (до 1112 г.), смоленского князя Андрея-Мстислава Всеволодовича (до 1107 г.) и княгини Феофании, жены черниговского и тмутараканского князя Олега-Михаила Святославича (умершего в 1115 г.). Надо полагать, что каждый Рюрикович мог так называть себя в это время (Соловьев, 1961; Янин и Литаврин, 1962; ср. еще о греческих печатях русских князей: Соловьев, 1970, с. 435–436; Янин, I, с. 14–33). Знание греческого языка могло поддерживаться непосредственными контактами с византийским двором.

Знание греческого языка было распространено и в высшем духовенстве. Киевскими митрополитами, как правило, были греки, назначаемые константинопольским патриархом. Приезжая в Киев со своею свитой, они, несомненно, способствовали утверждению знания греческого языка на Руси. Характерно в этой связи, что архиерейская служба могла вестись попеременно на двух языках, когда один клирос пел по-гречески, а другой — по-церковнославянски. Свидетельство о такой службе в Ростове находим в Житии Петра, царевича Ордынского (Харлампович, 1902, с. 7–9; Металлов, 1914, с. 44). Такой параллелизм находит отражение в древнейших русских богослужебных (певческих) текстах: так, в Благ. кондакаре XII–XIII вв. есть греческие песнопения, данные в транскрипции (т.е. отражающие произношение, а не написание греческих слов) и записанные, соответственно, славянскими кириллическими буквами, которые, впрочем, в равной мере могут рассматриваться и как греческие: греческие и славянские буквы, по-видимому, вообще не противопоставлялись в этом случае (л. 84 об. — 85 об., 114–116, 117 об., 118 об., 119 об.—120, 121). Эти тексты, несомненно, предназначались для исполнения русскими певчими; певчие могли, видимо, не знать греческого языка, но он должен был звучать в церкви (при этом большая часть этих песнопений дублируется на двух языках, т.е. дана в Благ. кондакаре как по-гречески, так и по-церковнославянски). Некоторые греческие фразы и до сего дня остались в церковной службе при архиерейском служении (*кирие елейсон* «Господи, помилуй», *ис полла ети деспота* «многая лета, владыко», *аксиос* «достоин»); следует усматривать здесь отражение той ситуации, когда русской церковью управляли греческие иерархи. Показательно, что уже в древнейший период эти формы через посредство церковной службы дали рефлексy в народном языке (*куролесить* из *кирие елейсон*, *исполать* из *ис полла ети*); ср. сведения о распространении восклицания *кирие елейсон* в Киевской Руси у Металлова (1912, с. 33). Отметим в обрядовом

фольклоре: «Воскликнемте, братцы, святую куролесу...» (Терешенко, VI, с. 31).

Соответственно, в древнерусской письменности можно встретить окказиональные заимствования из греческого (т.е. заимствования в речи, а не в языке). Существенно, что такого рода заимствования мы находим не только в переводных памятниках (ср. о грецизмах в Хронике Георгия Амартола: Истрин, II, с. 198–203), но и в памятниках оригинальных. Так, у Нестора в «Чтении о Борисе и Глебе» читаем: «Архиепископъ... отъиде въ свою кафолика-ни иклиясиа» (т.е. в церковь св. Софии) (Абрамович, 1916, с. 19).

При интерпретации этой фразы следует иметь в виду, что «Чтение» Нестора дошло до нас лишь в поздних списках (старший из известных нам списков находится в составе Сильвестровского сб. второй половины XIV в. — РГАДА, ф. 381, № 53), и поэтому, видимо, греческая фраза представлена здесь в искаженном виде (скорее всего, она восходит к форме вин. падежа: *καθολικὴν ἐκκλησίαν*).

§ 3.2.3. Соотнесение церковнославянского и греческого языков. В результате переводческой деятельности и культурно-языковой ориентации на Византию церковнославянский язык может восприниматься не только как равноправный греческому (по своей функции), но и как эквивалентный ему (по своему строю). Переводы с греческого языка на церковнославянский в идеале должны были находиться как бы в однозначном соответствии со своим оригиналом. При таком подходе церковнославянский и греческий языки могут пониматься как одно целое, как две ипостаси одной и той же сущности. Подобно тому, как церковнославянская образованность предполагает знание византийской истории, византийской культуры и т.п., так и искусное владение церковнославянским языком предполагает, вообще говоря, знание греческого языка — отсюда целый ряд церковнославянских текстов вообще невозможно понять без знания греческого подлинника (ср. § 3.2.4).

Знаменательно в этом отношении послание митрополита Климента Смолятича пресвитеру Фоме (середины XII в.), где имеет место своего рода похвальба образованностью, грамотностью. Адресат этого послания, Фома, перед тем укорял Климента за слишком хитрословный стиль и ставил ему на вид, что и сам он человек книжный, и что учителем его был знаменитый в свое время некий книжник Григорий. Отвечая Фоме, митрополит Климент пишет: «Григорей зналъ алфу, яко же и ты, и виту, подобно и всю 20 и 4 словесъ грамоту, а слышиши ты, ... у мене мужи, имже есть самовидецъ, иже может единъ реши алфу не реку на сто, [но] или двѣстѣ или триста или 4 ста, а виту також» (Никольский, 1892,

с. 126–127; ср. Лопарев, 1892, с. 26). Речь идет о так называемой схедографии (σχεδογραφία от σχέδος «грамматический разбор слова» и γράφω «пишу»), представляющей собой высший курс грамотности в греческом образовании (низший курс грамотности состоял в умении читать и писать). Схедография состояла не только в грамматическом разборе, но и в заучивании наизусть упражнений (слов, форм и т.п.) на каждую букву алфавита (Голубинский, 1904, с. 51; ср. Голубинский, I, 1, с. 846–853). Замечательно, что Климент говорит о двадцати четырех буквах греческого алфавита при том, что обсуждается, вообще говоря, умение писать по-церковнославянски: предметом обсуждения является славянская, а не греческая образованность. Греческая модель образования наглядно выступает здесь как средство приобретения книжной мудрости — в данном случае, в церковнославянском обличии.

Можно сказать, что предполагается как бы единый «еллино-славенский» язык, который реализуется либо как греческий, либо как церковнославянский. Такое понимание характерно в общем для всей эпохи церковнославянско-русской диглоссии, хотя на разных этапах оно выступает с большей или меньшей актуальностью. Представление о «еллино-славенском» языке прочно входит в сознание русских книжников: оно играет большую роль во всех трех южнославянских влияниях.

В XVI в. во Львове будет издана даже грамматика этого языка ('Αδελφότης. Γραμματικὰ dobroglagolivaго еллинословенскаго языка. Львов, 1591), ср. также рукописный букварь «Παίδων προκείμενα. Дѣтей пред'наказаніе» конца XVII в. (ГПБ, Соф. 1208; ГБЛ, ф. 173, № 108; ГБЛ, ф. 299, № 487; БАН, Арханг. 843; ср. Бабаева, 1992). В грамматических руководствах и рассуждениях можно найти утверждение, что греческий и церковнославянский языки имеют одну структуру, а их расхождения относятся лишь к поверхностному уровню. Так, в частности, Захария Копыстенский пишет в 1623 г. (в посвящении к книге бесед Иоанна Златоуста): «Маєт бовѣмъ языкъ Славенскій такову въ собѣ силу и зацность, же языку Грецкому якобы природне съгласуетъ, и властности его съчиняється: и въ перекладъ свой приличне, и нѣяко природне онъ беретъ и пріймуетъ, въ подобны спадки склоненій и съчиненія падаючи. Венць, и наизвязнѣйшее сложное Грецкое слово, подобнымъ такъже звязнымъ, и сложнымъ по Славенску выложити есть можно» (Титов, 1918, прилож., с. 74–75). Итак, утверждается, что церковнославянский язык органически согласуется с греческим в склонениях и спряжениях и в синтаксической организации («слово» означает здесь речь); здесь же говорится о превосходстве церковнославянского перед латынью и о благородстве церковнославянского языка.

Показательно, что, исходя из представлений о внутренней общности греческого и церковнославянского языка, русские книж-

ники могут утверждать, что в церковнославянском языке, как и в греческом, есть артикль. В специальном лингвистическом трактате 1684–1685 гг., приписываемом чудовскому инок Евфимию, греческий и церковнославянский противопоставляются латыни именно на том основании, что в них есть артикль, тогда как в латинском он отсутствует (Сменцовский, 1899, с. XI). В славянской грамматической традиции (ср., например, трактат «О осьми частех слова») артикль обозначался термином «различие» (Ягич, 1896, с. 41, 64, ср. еще с. 461, 465, 592, 614). Интересно, что в московском издании грамматики Мелетия Смотрицкого 1648 г. появляется раздел об артикле («различий» — Смотрицкий, 1648, л. 200–201 об.), отсутствующий в югозападнорусском издании этой грамматики 1619 г. (под артиклем понимаются относительные местоимения *иже, яже, еже*, ср. в этой связи рассуждения Федора Поликарпова в «Технологии» 1725 г. (ГПБ, НСРК F 1921.60, с. 42; Поликарпов, 2000, с. 259). По-видимому, отсутствие указания на артикль в первом издании было принято московскими книжниками за латинскую ересь (ср. Булич, 1904, с. 188). В грамматике церковнославянского языка Федора Максимова 1723 г. утверждается, что греческий артикль передается в славянском знаком титла: «Тітла імѣть иногда равную силу греческому арфру, идѣже бо у грековъ въ божественномъ писаніи имена со арфромъ, тамо и у славянъ оная отітлована зрятся» (Максимов, 1723, с. 179). То обстоятельство, что в действительности в церковнославянском языке артикля нет (и титло его никак не заменяет), несколько не смущало русских книжников.

Рассматривая греческую и церковнославянскую грамматические структуры как тождественные, московские книжники второй половины XVII в. постоянно ссылаются на греческую грамматику и греческий текст, доказывая правильность употребляемых ими церковнославянских форм (см. высказывания Епифания Славинецкого, Симеона Полоцкого, Афанасия Холмогорского и др. — § 17.3.8). Понятно, что при таком подходе знание греческой грамматики оказывается необходимым условием грамматического изучения церковнославянского языка. Об этом прямо и говорят братья Лихуды в трактате «Акос» (1687 г.): «Невъдѣя опасно еллинскій діалектъ ниже славенскій діалектъ вѣсть, ниже познати можеть искреннее намѣреніе и разумъ Божественныхъ писаній и отцевъ, на словенскій діалектъ претолкованныхъ» (Прозоровский, 1896, с. 563).

§ 3.2.4. Буквализм переводов с греческого. В контексте такого отношения к греческому языку, когда знание греческого предполагается церковнославянской образованностью, а структуры обоих языков отождествляются, становится понятным, что при переводе стараются в максимальной степени сохранить формальные особенности греческого оригинала. Такой буквализм в той или иной мере характерен для всей церковнославянской переводной литературы. Он проявляется уже в том тексте, с которого собственно

и началась славянская письменность. В Житии Кирилла Философа (гл. XIV) говорится, как Кирилл, создав славянскую азбуку, начинает писать по-славянски: «И тогда сложи писмена и начя бесѣду писати евангелъскую: искони бѣ Слово и Слово бѣ у Бога, и Богъ бѣ Слово, и прочя» (Лавров, 1930, с. 27). Это начало Евангелия от Иоанна, которое в русском переводе читается так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Итак, *Богъ бѣ Слово* означает «Слово было Бог», т.е. подлежащим в церковнославянском тексте является *Слово*, а *Богъ* — частью именного сказуемого. Этого нельзя понять, не обращаясь к греческому оригиналу (Ἐξ ἧν ὁ λόγος), поскольку в греческом тексте указание на синтаксическую функцию подлежащего содержится в артикле, т.е. наличие артикля однозначно указывает, что подлежащим является ὁ λόγος. В церковнославянском тексте артикля нет, но он как бы подспудно присутствует, т.е. знание оригинального текста предполагается необходимым при чтении переводного. Совершенно так же во фразе «Господь есть Сынъ человеѣческий и субботѣ» (Мк. II, 28), которая означает «Сынъ человеческий является господином также и субботы», буквально передается греческий порядок слов (κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου), что делает церковнославянский текст, взятый сам по себе, непонятным. Эти примеры характеризуют уже древнейшую кирилло-мефодиевскую традицию; существенно, однако, что они в таком же виде представлены и в русских списках евангельских текстов, т.е. подобный буквализм характеризует церковнославянскую традицию в целом, безотносительно к тому или иному ее изводу. Как будет показано ниже, на определенных этапах развития церковнославянского языка такой буквализм становится частью языковой программы и проявляется с особой силою.

На уровне словосочетания подобный буквализм может проявляться в случаях необычного согласования и необычного управления, отражающих греческие, а не славянские грамматические характеристики. Так, в старославянской Синайской псалтыри читаем: «Камень... есть дѣвна въ очю нашею» (Пс. CXVII, 23 — Синай. пс., л. 153b); слово *дѣвна* соотносится со словом *камень* — необычное согласование объясняется тем, что соответствующее греческое слово (πέτρα) относится к женскому роду. Аналогичную конструкцию (с отражением греческого согласования) мы находим и в древних русских текстах Псалтыри, например, в древнерусской Бычковой псалтыри XI в. (Бычк. пс., л. 105 об.), в Геннадиевской библии 1499 г. (Геннад. библия, л. 411 об.); то же и в старопечатных (дониконовских) изданиях. Лишь в процессе книжных реформ патриарха Никона (§ 17.1) форма женского рода ис-

правляется на соответствующую форму мужского рода: начиная с Псалтыри следованной 1658 г., мы читаем: «Камень... есть дивень во очесѣхъ нашихъ» (л. 160). В новгородской Минее 1095 г. читаем: «Нынѣ жьзль Аронъ от корене Дѣдва, прораствивши цѣа Ха, отъ Анны происходить» (Мин. 1095, л. 56); причастие *прораствивши* стоит здесь в жен. роде (вместо *прораствивъ*, как можно было бы ожидать по согласованию с муж. родом *жьзль*), поскольку соответствующее греческое слово (ράβδος) относится к женскому роду. Здесь же читаем: «...вѣроу покланяющимъ сѧ днь предълежаща крѣста твоего чьстьнааго» (л. 80 об.); в этом случае сохраняется управление греческой глагольной формы (προσκυνοῦσι), хотя с точки зрения славянской грамматической системы *покланяти сѧ* не может управлять падежом прямого объекта (см. Ягич, 1886, с. LXXIX–LXXXI). Разумеется, такие нарушения славянской грамматической структуры встречаются лишь окказионально (выступая как явление конкретного церковнославянского текста, а не как явление языка), однако возможность такого явного отступления от естественных речевых навыков сама по себе очень характерна, свидетельствуя о греческой культурной ориентации славянских книжников и об оторванности книжного языка от языка разговорного.

§ 3.2.5. Кальки с греческого и их роль в формировании церковнославянского языка. Ориентация на греческие языковые модели проявляется не только в конкретных церковнославянских текстах, но и в самой грамматической структуре церковнославянского языка. Целый ряд синтаксических характеристик церковнославянского языка формируется как искусственные эквиваленты греческих синтаксических конструкций, изначально определяя противопоставление церковнославянского языка любым живым славянским диалектам. Сюда относятся такие синтаксические характеристики, как дательный самостоятельный (который передает родительный самостоятельный греческого языка), конструкция *accusativus cum infinitivo* после глаголов говорения и чувствования, обороты *еже* + инфинитив, субстантивированное употребление причастий и т.д. (§ 8.9.). Все эти явления церковнославянского языка могут рассматриваться как синтаксические кальки.

Наряду с кальками синтаксическими, греческое влияние обусловливает большое количество лексических (словообразовательных) и семантических калек с греческого языка, в значительной степени определяющих облик словарного состава церковнославянского языка. Масштабы такого калькирования можно продемонстрировать, обратившись к лексике Хроники Георгия Амартола, исследованной В. М. Истриным (II, с. 185–187; III, с. XXIV–XXV и

указатель). Кальками с греческого является здесь большинство сложных слов, например: *благовторение* (ἀγαθοουργία), *зловѣрие* (κακοδοξία), *законопрѣступление* (παράνομία), *многоглаголанье* (πολυλογία), *многобожество, многобожество* (πολυθεΐα), *идолослужение* (εἰδωλόλατρεία), *идолобѣсие, идолобѣсовѣствие, идолобѣсование* (εἰδωλομανία), *чловѣколюбие* (φιλανθρωπία), *мудролюбьць* (φιλόσοφος), *любословьць* (φιλόλογος), *баснословьць* (μυθολόγος) и т.д. Любопытно отметить, что в отдельных случаях (*законопрѣступление, мудролюбьць, чловѣколюбие*) порядок компонентов в славянском слове обратный по сравнению с греческим.

Если в приведенных иллюстрациях фигурируют слова, усвоенные церковнославянской языковой системой (т.е. ставшие фактом языка, а не текста), то в других случаях подобные кальки остаются окказиональными образованиями. Так, например, мы встречаем в той же Хронике Георгия Амартола такие явные окказионализмы, как *блядоотроковичьствие* (παῖδοφθορία — характерно, что это же греческое слово может передаваться и словосочетанием *отроковиць тлѣние*), *срациновѣрники къ жидовскоуоумъцоу* (τοὶ σαρακηνοπίστου καὶ ἰουδαϊόφρονος), (*створи себѣ*) *единохизника и единотрапезника* (ὁμόφρονος εἶχε καὶ ὁμόδαιτον) и т.п.

Производство сложных слов по греческим моделям характерно уже для старославянского языка, и в этом смысле русский литературный язык, т.е. церковнославянский язык русской редакции, продолжает старославянскую традицию (см. Цейтлин, 1977, с. 186—284) — уже в старославянском языке сложные слова могут восприниматься как черта, противопоставляющая книжную речь разговорной (поскольку они отсутствуют в живых славянских диалектах), и поэтому они могут появляться в переводах даже в том случае, когда в переводимом тексте сложного слова нет (см. о старославянском: Цейтлин, 1977, с. 273 сл.; о русском церковнославянском: Истрин, II, с. 185). Равным образом, в результате калькирования текстов появляются приставочные образования, ср., например, в Хронике Георгия Амартола: *безбрачье* (ἀγαμία), *безмужьць* (ἄνανδρος), *безначальствие* (ἀναρχία), *произобразити* (προσχωράφειν) и т.д.

В ходе того же процесса появляются и семантические кальки, многие из которых закрепляются в языке и в конечном счете через церковнославянское посредство переходят в современный русский литературный язык. Так, если ранее слово *свойство* означало «близость», то под влиянием греческого оно приобретает значение «особое качество, отличительный признак» (греч. ἴδιος означает, с одной стороны, то же, что др.-рус. *свои*, с другой стороны — «особый, своеобразный, отличный»). Слово *слава*, которое ранее обозначало «мнение» (ср. этимологическую связь слов *слава* и *слово*), высту-

пает в значении «хвала, почет, честь» (оба значения представлены в греч. δόξα; отсюда ὁρθοδοξία означает как «правоверие», так и «православие» — в церковнославянских текстах встречаются варианты *православие, правословие, правовѣрие, правовѣрьство* и т.п., см. Сл. ст.-сл. яз., III, с. 241–242). Слово *судьба*, первоначально означавшее «суд», получает значение «приговор, правосудие, предопределение» (ср. значения греч. κρίσις «решение, приговор, суждение»). Слово *упражнятися* с исконным значением «быть свободным (от дела, от работы)» (ср. *праздный, праздник*) начинает употребляться в значении «заниматься чем-либо, предаваться какому-либо делу» (оба значения представлены в греч. σχολάζειν). Слово *тържество* с первоначальным значением «торговля» (ср. *търгъ*) усваивает новое значение «всенародное празднество» (ср. новогреч. πανηγύρι «ярмарка, праздник, торжество»). См. Копыленко, 1973, с. 145–147.

В некоторых случаях кальки могут представлять собой результат неправильного перевода греческих слов. Так обстоит дело, в частности, с названиями богослужебных книг. Наряду с такими названиями, как *служебник, часовник, требник, молитвенник, цѣбѣтник* (где суффикс *-ник* имеет собирательное значение, означая собрание предметов или сведений о них, ср. *травник* «собрание трав или сведений о травах»), появляются названия *молитвослов* и *часослов*, *цѣбтослов*, а также *месяцеслов*. Эти формы представляют собой результат переосмысления греческих форм εὐχολόγιον, ὥρολόγιον, ἀνθολόγιον, μηνολόγιον. Эти слова были неправильно поняты как производные не от λέγω «собирать», а от λόγος «слово». Отсюда же объясняется и слово *сословие* в значении «собрание, совокупность», ср. греческое σύλλογος (Ильминский, 1886, с. 52–53).

Процесс перевода с греческого приводит к обогащению словаря, так что одно и то же греческое слово может передаваться несколькими славянскими. Так, слово δίκη в Хронике Георгия Амартола передавалось словами *вина, испытание, мсть, мѣсто, образъ, осуждение, отвѣтъ, слово, судъ, судьба, томление, тяжа*; слово δόγμα — словами *въпросъ, богословие* (также *божественное слово*), *естьство-словие, законъ, заповѣдь, изискание, отвѣтъ, повелѣние, проповѣдание, прѣдание, судъ, учение, чаяние*; и т.п. И напротив, одному и тому же славянскому слову могут соответствовать разные греческие слова. Это говорит о том, что литературный язык был в состоянии передавать разнообразные оттенки понятий. По количеству слов церковнославянский язык немногим уступал греческому. По подсчетам В. М. Истрина (II, с. 227–228), в Хронике Георгия Амартола в греческом оригинале насчитывается примерно 8500 слов (лексем), а в ее славянском переводе — 6800. В Хронике Иоанна Мала-лы в греческом оригинале 2250 слов, в славянском переводе —

2000. Весьма показательно также, что уже в XI в. русский переводчик может использовать гречизмы не только для передачи соответствующего греческого слова, но и вне зависимости от греческого оригинала (Мешерский, 1958а, с. 253–258; Дубровина, 1964, с. 51–53; ср. Истрин, 1922, с. 76–77). Переводчик, следовательно, освоил гречизмы как специфическую книжную лексику и пользуется ими достаточно свободно.

Аналогичное влияние греческого языка наблюдается и в области фразеологии. Так, в русских (церковнославянских) текстах нет ни одного случая, когда бы сочетания «глагол + абстрактное существительное» с глаголами *исполнити*, *навести*, *нанести*, *поставити*, *побѣдити*, *привести*, *(при)нести*, *разрушити*, *(сѣ)блюсти*, *(сѣ)хранити*, *удѣржати*, *установити* не имели бы в греческих текстах в качестве соответствия такое же сочетание глагола с абстрактным существительным. Такую же картину мы наблюдаем и в старославянском языке. Отсюда в качестве гречизмов следует трактовать такие словосочетания, как *исполнити волю*, *исполнити жьртву* (ср. греч. *πληροῦν θέλημα* и т.п.), где *исполнити* означает «совершить какое-то действие»; *разрушити злѣдѣние*, *жестѣсѣрдие*, *злѣноравие*, *обычай* (ср. греч. *καταλῦειν κακοσυρίαν*, *σκληροκαρδίαν*, *δυστολίαν*, *ἔθος*), где *разрушити* выступает в значении «положить конец какому-либо состоянию» (Копыленко, 1973, с. 148–159).

В значительной степени благодаря греческому влиянию уже достаточно рано (в XI–XII вв.) в языке образуются стереотипные фразеологические обороты. «Литературный язык русских книжников XI–XII вв. выработал немалое количество стереотипных, ставших уже обычными выражений, которыми свободно пользовались книжники, так что иногда получается впечатление как бы заимствования одного писателя у другого. Но это будет не заимствование, а результат одинаковой начитанности. Например, в половине XII в. печерский игумен Феодосий, обрусевший грек, свое послание князю Николаю Святоше (перевод Послания папы Льва I к патриарху Флавиану) начинает такими словами: “Почетше писаніе твоея любве, не мало почюдихомся законсѣнія того дѣла [по причине, вследствие] толика времени, нынѣ же въ чинѣ воспоминанія приникше расмотрихомъ о бывшихъ”, и его современник, митрополит Климент Смолятич, свое послание к Фоме начинает почти теми же словами: “Почетъ писаніе твоея любве, яже аше и медленно бысть, почюдихся, и въ чинѣ воспомяновенія приникъ”... Несколько позднее, в начале XIII в., Даниил Заточник пишет князю Ярославу Всеволодовичу: “Мене всѣ обижаютъ, зане я не огражденъ страхомъ грозы твоея”, и в одной из редакций Жития Александра Невского читается: “И славна бысть земля его страхомъ грозы его”. Или, например, известное выражение летописца о Владимире Мономахе (а также и о Ярославе), что он “утеръ многа пѣта

за русскую землю”, является книжным, бывшим первоначально простым переводом с греческого языка — ἰδρῶτα ἀλομάττωσαι = “утерети пота” (встречается, например, в “Александрии”)» (Ис-трин, 1922, с. 81). Фразеологические грецизмы через церковнославянскую традицию достаточно рано могут попадать и в собственно русские тексты, в частности, мы встречаем их в новгородских берестяных грамотах (§ 5.4).

§ 3.2.6. Специфика русской рецепции византийской культуры. При сравнении славянской переводной литературы с византийской литературой отчетливо выступает избирательность переводческой деятельности — весь слой византийской литературы, связанный с античностью, не получает в ней отражения (ср. Еремин, 1966, с. 9–17). Знаменательно в этом смысле, что смоленский священник Фома укоряет митрополита Климента Смолятича в том, что тот, оставив почитаемые (отеческие) писания, писал «от Омира, и от Аристотеля, и от Платона», которые были славны между «еллинскими» (т.е. языческими) хитрецами (Никольский, 1892, с. 103–104; ср. Лопарев, 1892, с. 13). Это разительно отличается от атмосферы Константинополя, где Аристотеля и Платона в это время изучали наряду с отцами церкви. Знакомство с античной культурной традицией составляло обязательную часть византийской образованности. В Византии собственно не прекращалась традиция светского образования, идущая из античности; определенная часть византийского общества (прежде всего столичная бюрократия) из поколения в поколение передавала привычки и вкусы дохристианской империи.

В первой половине XII в. Феодосий Грек писал Николе Святоше, что он учился «от младъ ногуъ омирьскимъ и риторьскимъ кнѣгамъ» (Бодянский, 1848, с. 4), но характерно, что это пишет грек, очевидно имея в виду свое вполне обычное (византийское) образование. Сводку окказиональных упоминаний Гомера в русской литературе см. у Егунова (1964, с. 7–15).

В славянской переводной литературе «гуманистическая» струя практически отражения не нашла. Это объясняется рядом причин. Византинизация Руси происходила под знаком миссионерской деятельности. Участвовавшие в этом процессе греки принадлежали преимущественно к духовенству и были носителями церковного (монашеского) начала, а не начала светского. Таким образом, византийская культура в значительной степени заимствуется на Руси вместе с религией, культура и религия выступают в этом процессе как одно целое (точно так же литературный язык заимствуется прежде всего как богослужебный язык, и функции литературного и сакрального языка неразрывно в нем сливаются). В этих условиях

естественно, что образование на Руси осуществлялось духовенством (§ 3.1.5), которое насаждало прежде всего собственно христианские традиции. В контексте миссионерской деятельности, когда христианство вступает в активную борьбу с местным язычеством, античная традиция воспринимается прежде всего как традиция языческая, антихристианская, и это восприятие закрепляется в русской культуре (Живов и Успенский, 1984/1996, с. 466 сл.).

Обсуждая специфику русской рецепции византийской культуры, мы видим, что уже в древнейший период сформировалось противопоставление русской и западноевропейской традиций, при том что и та, и другая традиция обнаруживают несомненную преемственность в отношении Византии. Связи с античной культурой никогда не прекращались в Византии, а в IX–X вв. здесь наблюдается настолько существенное усиление интереса к античному наследию, что ряд исследователей (П. Лемерль) считает возможным говорить о «византийском гуманизме» этого времени (который предшествует так называемому «Палеологовскому ренессансу» XIII–XIV вв. и может рассматриваться как его предвосхищение). При этом нельзя сомневаться в связи между тем, что можно условно назвать византийским возрождением, и итальянским Ренессансом; необходимо иметь в виду, что контакты Византии и Запада имели постоянный характер благодаря, в частности, существованию греческих культурных центров в Италии и в Сицилии, а также благодаря таким прямым посредникам, как Константин-Кирилл, Мефодий и Анастасий Библиотекарь в IX в., Иоанн Итал в XI в., Леонтий Пилат и Варлаам Калабрийский (учитель Петрарки) в XIV в. Вместе с тем, Россия, заимствуя византийскую образованность, в общем не принимает той культурной струи, которая оказалась столь актуальной для Западной Европы, т.е. обращения к античному культурному наследию. Таким образом, культурное противостояние Востока и Запада связывается с разной рецепцией византийской культуры, иначе говоря, Восток и Запад как противопоставленные культурные начала выходят из Византии. Это противопоставление поляризуется в оппозиции России и Западной Европы: Россия наследует Византии «монашеской», Западная Европа — «светской».

На фоне очерченной картины греческого влияния на первых порах выделяется особая традиция, связанная с византийской придворной (светской) культурой. Речь идет о княжеской культуре Киевской Руси. Если основная часть общества воспринимает византийскую культуру в религиозной перспективе, то для княжеской элиты, напротив, христианство предстает в контексте византийской культуры. В этом случае византийская культура усваивается

в разных своих проявлениях — не только постольку, поскольку она ассоциируется с христианством. Специфика светской княжеской культуры и проявляется, в частности, в отношении к античному наследию. Показательно, что, отвечая на упрёки Фомы (см. выше), Климент Смолятич указывает, что он писал к князю: «аще и писахъ, но не к тебѣ но ко князю» (Никольский, 1892, с. 103–104; ср. Лопарев, 1892, с. 13). Итак, ссылки на «еллинских» философов считаются недопустимыми при общении духовных лиц, но оказываются уместными при общении с князем. В этой связи можно упомянуть и киевские рельефы с изображениями Геракла и Диониса (второй четверти XI в.), которые, по-видимому, первоначально находились в княжеском дворце в Берестове (Даркевич, 1968; Пуцко, 1982); подвиги Геракла изображены также на рельефах княжеского Димитриевского собора во Владимире (1194–1197) (Даркевич, 1962). Характерно, что Владимир, завоевав Корсунь, привозит оттуда «мѣдянь двѣ капищи, и 4 кони мѣдяны» и ставит их в Киеве рядом с Десятинной церковью (ПВЛ, I, с. 80) — речь идет о статуях, которые летописец воспринимает как языческие изображения, но которые для Владимира означали, видимо, причастность к византийской культуре.

С традициями византийской придворной культуры, усвоенной русскими князьями, может быть связано и скоморошество: скоморошеские игры входят в княжеский обычай (см. об этом в житии Феодосия Печерского). Отражение скоморошеской традиции усматривается в таком литературном памятнике, как «Слово Даниила Заточника», явно связанном с княжеским обычаем; характерны в этом плане и отсылки Даниила Заточника к античной культурной традиции. Скоморошество как импортированное явление придворной культуры, по-видимому, достаточно отчетливо отличается в этот период от языческих игр. В этом смысле показательно изображение скоморохов в росписи киевской св. Софии — в княжеском входе. В дальнейшем обе стихии сливаются в культурном сознании, и борьба со скоморошеством ведется под знаком борьбы с язычеством (см. подробнее: Успенский, 1994, с. 29–30).

К XIII в. в результате татаро-монгольского нашествия (1237–1240 гг.) и завоевания Константинополя крестоносцами (1204 г.) культурные контакты с Константинополем прекращаются, что приводит к исчезновению поддерживаемой этими контактами эллинизированной светской культуры.

§ 3.2.7. Переводы с семитских языков. Говоря о переводческой деятельности в Киевской Руси, необходимо подчеркнуть, что переводы осуществлялись не только с греческого языка. Известен ряд ранних переводов с латыни, о которых мы будем говорить ниже (§ 3.3.3). Кроме того, в Киевской Руси переводили с еврейского (см. общие обзоры: Алексеев, 1987; Алексеев, 1993; Алексеев, 1996; ср. иное мнение: Лант и Таубе, 1988). Это не удивительно, поскольку в Киеве существовала еврейско-хазарская

община (хазары были иудаистами). В частности, с еврейского был осуществлен перевод библейской книги Есфирь (не позднее XII в., так как этот перевод вошел в состав хронографического свода, содержащего запись, указывающую на 1193 г., — Мещерский, 1955; ср. Архипов, 1995, с. 241–263). По-видимому, в XII–XIII вв. была переведена с еврейского Песнь Песней (Алексеев, 1981). С еврейского же были, возможно, переведены и некоторые ветхозаветные апокрифы, такие как книга Еноха, Откровение Авраама, Исход Моисея и цикл сказаний о Соломоне (Мещерский, 1963а; Мещерский, 1964а; Мещерский, 1978; Архипов, 1995, с. 55–70; Алексеев, 1987, с. 7–10). Отметим еще перевод хронографической книги «Иосиппон» (представляющей собой еврейскую переработку X в. сочинения Иосифа Флавия), отрывок из которой вошел в Повесть временных лет под 1110 г. (Мещерский, 1956). Есть некоторые основания полагать, что в Киевской Руси переводили и с других восточных языков. Так, «Повесть об Акире» была переведена, возможно, с сирийского (Григорьев, 1913, с. 257–539, 544; Мещерский, 1964, с. 205–206; ср. иное мнение: Дурново, 1915, с. 99–103; Дурново, 1969, с. 103).

§ 3.3. Западное влияние. Ориентация на Византию, о которой говорилось выше, имеет самое непосредственное отношение к судьбам русского литературного языка. Если бы Владимир при принятии христианства обратился не к Константинополю, а к Риму и принял западный обряд — а это, как мы увидим, было вполне возможно, — Русь несомненно получила бы (рано или поздно) богослужение на латинском языке. Именно такая судьба и постигла западославянские страны (Польшу и Чехию), где первоначально было богослужение на церковнославянском языке, который достаточно скоро был вытеснен латынью. Между тем, греки не настаивали на богослужении по-гречески: напротив, существовала уже более чем столетняя традиция пользования церковнославянским языком как языком литургическим и литературным. В то время как на Западе латынь стала официальным языком церкви, претендуя вместе с тем на обслуживание всех сфер культурной жизни и препятствуя, тем самым, развитию национальных литературных языков, на Востоке не было гегемонии какого-либо одного литургического и литературного языка. Напротив, христианизация предполагала здесь создание литературных языков, обслуживавших разные национальные традиции. В отличие от Запада св. Писание переводилось здесь на национальные языки: сирийский, грузинский, готский, армянский, коптский, церковнославянский.

Отсюда коренное и существенное различие в судьбах литературного языка и просвещения в России и на католическом Западе,

включая Польшу и Чехию. Там возникновение и становление национального литературного языка было связано с национальным самосознанием (в частности, в период реформации). В России, напротив, становление литературного языка, ориентированного на живую речь, было скорее обусловлено перенесением (в XVIII в.) западноевропейской языковой ситуации на русскую почву. Национальное самосознание, как правило, тяготело к церковнославянской языковой стихии. Это совершенно естественно, поскольку церковнославянский язык выступает как язык всей национальной культуры, в то время как на Западе латынь осознается как вненациональный язык, противоположный национальной культуре. В силу такого положения в допетровской России вообще нет противопоставления религиозного и национального самосознания. Когда говорят о возникновении национального языка в России в новое время, имеется в виду нечто существенно отличное от того, что наблюдается в западных странах. Как это ни парадоксально, формирование национального литературного языка оказывается здесь результатом западноевропейского влияния.

Это весьма характерным образом отразилось в начале XIX в. в споре «архаистов» (последователей А. С. Шишкова) и «новаторов» (последователей Н. М. Карамзина). Церковнославянский язык связывается в этой полемике с национальным началом (поскольку это развитие изолировано от западноевропейского влияния). Напротив, ориентация литературного языка на разговорную речь (на русский язык образованной части общества) связана с европеизацией русской культуры. Шишковисты тяготеют к церковнославянской языковой стихии, поскольку она, по их мнению, выражает русскую национальную самобытность, а карамзинисты провозглашают необходимость «писать, как говорят», по образцу западной литературно-языковой ситуации (Успенский, 1985). Показательно, что декабристская идеология продолжает, в общем, линию Шишкова, а не Карамзина (Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 417, 423, 484–485, 495).

Точно так же на Западе гуманизм (XIV–XV вв.) и его продолжение в виде Просвещения (XVIII в.), отделенного от эпохи гуманизма эпохой Реформации и Контрреформации, — это чисто светское культурное направление, характеризующееся при этом индивидуализмом и критическим отношением к традиции; и гуманизм, и затем Просвещение получали в разных странах местный национальный характер. Ничего подобного в России не было и не могло быть, а появилось относительно поздно — как результат западного культурного влияния и, следовательно, как феномен совершенно иного рода (заимствованный и тем самым принципиально отличающийся от соответствующего западноевропейского явления, ко-

торое имело гораздо более естественные, органические корни). Это необходимо иметь в виду, если прилагать к истории русской культуры такие понятия, как «возрождение», «предвозрождение» и т.п. Формальные диагностические признаки этих культурных течений могут быть обнаружены и в России, но они имеют здесь явно вторичный, опосредствованный характер.

§ 3.3.1. Западное влияние до крещения Руси. Между тем, обращение к Риму было вполне возможно. В рассказе об испытании вер Владимир отвечает предлагающим ему свою веру «немцам», посланным «от папежа», т.е. христианам западного обряда: «Идѣте опять, яко отци наши сего не прияли суть» (ПВЛ, I, с. 60). Неизвестно, что в точности имел в виду Владимир, но он мог, в частности, подразумевать сношения Ольги с Западом. По сообщению западных анналистов, Ольга, крестившись, просила епископа у греков; ей было отказано, и тогда в 959 г. она отправила посольство к немецкому королю Оттону I; Оттон в ответ послал в 961 г. на Русь Адальберта, посвященного в епископы «ругам» (*genti rugorum*; сама Ольга именуется при этом «*Helena, regina Rugorum*»), однако миссия Адальберта окончилась неудачей, и в 962 г. он вернулся в Германию. Послы из Рима приходили к Ярополку (брату Владимира) в 979 г., а затем и к Владимиру после его крещения в 988, 991, 994, 1000 гг. В Киеве были католические храмы; особая роль в католической миссионерской деятельности на Руси принадлежала бенедиктинцам (Дворник, 1954); бенедиктинцем, кстати, был и Адальберт.

Разделение церквей (православной и католической) совпадает по времени со смертью Ярослава Мудрого (оба события произошли в 1054 г.), так что и при Владимире, и при Ярославе контакты с Римом были вполне возможны и реальны. Тем более возможны были они и до Владимира.

§ 3.3.2. Западные славяне как посредники в культурных контактах с Западом. Если в русских контактах с Византией роль посредников играли южные славяне, то в контактах с Западом аналогичная роль принадлежит западным славянам. Существенно иметь в виду, что в X–XI вв. у западных славян (чехов и поляков) существовала достаточно устойчивая традиция богослужения на церковнославянском языке, восходящая к кирилло-мефодиевской миссии. Можно считать доказанным, что церковнославянская традиция у западных славян не была кратковременным эпизодом (как думали раньше), но сохранялась по крайней мере до XII в., когда она была полностью вытеснена латинской культурной струей.

Во всяком случае еще в 1079 г. чешский князь Вратислав II просил у папы одобрения на славянское богослужение (Власто, 1970, с. 107; ср. Фридрих, I, с. 88, № 81). Славянская литургия совершалась в чешском Сазавском бенедиктинском монастыре, основанном в 1032 г. св. Прокопием, наряду с богослужением на латинском языке; этот литургический славяно-латинский билингвизм отражает греко-латинский билингвизм монастыря свв. Бонифация и Алексея в Риме, в котором в конце X в. жил св. Войтех, ученик упоминавшегося выше Адальберта, и откуда он привел целую группу миссионеров для славянских земель (Живов, 1992, с. 84–88). Полагают, что Войтех имел отношение к составлению чешского гимна «Hosrodine pomiluj ny» (своеобразная версия «κύριε ἐλέησον») и польского песнопения «Bogurodzica», что показывает, что он был принципиальным сторонником внедрения славянского языка в богослужение (Дворник, 1954, с. 337–338); и то и другое песнопение связано с церковнославянской традицией. Не исключено, что славянское богослужение совершалось и в основанном Войтехом Бревновском монастыре. В чешском Островском монастыре (основанном в 999 г.), где богослужение велось на латыни, сохранились латинские рукописи со славянскими глоссами, что, возможно, указывает на проникновение церковнославянского языка в литургическую практику. То же самое относится к Велишскому монастырю, основанному в 1003 г. и зависевшему от Островского (Дворник, 1954, с. 339; Власто, 1970, с. 101 сл.). Богослужение на церковнославянском языке, возможно, в какой-то мере распространялось и на Польшу. Польская христианская терминология сформировалась на базе чешской редакции церковнославянского языка, так же как и церковная песнь «Bogurodzica», которая содержит характерные церковнославянизмы и богемизмы (Мошин, 1963, с. 47).

Таким образом, наличие церковнославянской традиции в западнославянских странах является несомненным фактом; именно эта традиция и отразилась в таких древнейших церковнославянских памятниках, как Киевские листки X–XI в. и Пражские листки XI в. (содержащие отрывки из вечерни по восточному обряду); в отношении Пражских листков полагают, что это западнославянский список с русского оригинала, выполненный монахами Сазавского монастыря (Власто, 1970, с. 337; Книежа, 1942, с. 10–12; Книежа, 1964, с. 208–209). Аналогичными контактами объясняются, вероятно, славянские глоссы в одной латинской рукописи, выполненной в моравском Райградском монастыре (основан в 1045 г.), поскольку глоссы эти написаны кириллицей, а не глаголицей (Соболевский, 1910, с. 154–158; Дворник, 1954, с. 339). Славяно-латинское богослужение у западных славян в какой-то мере соответствует славяно-греческому богослужению у славян восточных (ср. § 3.2.2).

Наряду с церковнославянским богослужением, у западных славян существовала и более или менее представительная церковнославянская литература, включавшая, в частности, агиографические и церковно-канонические памятники, а также ряд переводов ла-

тинских богословских сочинений. Ранние памятники чешской церковнославянской литературы дошли до нас, как правило, не в оригинале, а в русских списках или латинских переводах.

§ 3.3.3. Следы западного влияния в церковно-литературной сфере. Существует целый ряд данных, позволяющих говорить о наличии культурных контактов западных и восточных славян в церковно-литературной сфере, которые — независимо от того, когда они начались, — продолжались и после разделения православной и католической церкви в 1054 г. Наличие таких контактов в принципе позволяет ставить вопрос о продолжении на Руси моравской миссии, т.е. той церковнославянской традиции, которая восходит непосредственно к деятельности Кирилла и Мефодия.

Следы западного влияния обнаруживаются прежде всего в древнейших богослужебных текстах. Как показал А. И. Соболевский (1900; 1904; 1905; 1910, с. 48–91; 1912), основываясь на словарном материале, многие древнерусские церковные памятники были переведены с латинского на церковнославянский язык в Моравии или Чехии — например, Беседы папы Григория Великого (Двое-слова), апокрифическое Никодимово евангелие, значительное число житий, в том числе жития Георгия Победоносца, папы Климента, св. Вита (которому был посвящен кафедральный собор в Праге) и др. (Соболевский, 1900). С латыни был переведен ряд русских молитв, сохранившихся в молитвослове XIII в. (рукопись Ярославского музея №15481, см. Соболевский, 1905). В древних русских молитвах нередко упоминаются западные святые. Так, в одной русской молитве (молитва св. Троице) наряду со свв. Борисом и Глебom, Кириллом и Мефодием упоминается св. Войтех, а также свв. Вит, Магнус, Канут, Албан, Олаф и Ботулф (Соболевский, 1910, с. 38, 46–47; Архангельский, 1884, с. 13–14; Шляпкин, 1884; ср. Дворник, 1954, с. 326; Ингам, 1968; Линд, 1990). В другой молитве (молитва на дьявола) встречаем упоминание свв. Флориана, Вита (он называется здесь «божественным»), Валпурги (Соболевский, 1910, с. 37, 43–44; ср. Дворник, 1954, с. 327–328). В тех случаях, когда святые почитаются и на Востоке, и на Западе, иногда можно обнаружить специфически западную форму имени святого, например, *Бенедикт*, *Луция*, *Маргарьта* (Соболевский, 1904, с. 39; Соболевский, 1910, с. 37). Характерно вместе с тем, что Иоанн Предтеча часто называется в Чехии не чешским именем *Jan*, а русским *Ivan* (Дворник, 1954, с. 346); культ Иоанна Предтечи более типичен для православного Востока, чем для католического Запада, и здесь, возможно, перед нами свидетельство того, что церковные контакты восточных и западных славян были взаимными. Достаточно показательны, наконец, и стандартные западные эпитеты, встречающиеся в древних русских памятниках: так, например, в упоминавшейся молитве на дьявола (дошедшей в том же молитвослове XIII в.) преподобный Павел имеет латинское прозвание

Еремита, а Богородица именуется *Святая Мария* (калька с *sancta Maria*) (Соболевский, 1910, с. 37, 44–45).

Наряду с отдельными упоминаниями западных святых, встречающихся в тех или иных памятниках, мы наблюдаем культ некоторых западнославянских святых на Руси, которому соответствует культ отдельных русских святых у западных славян. Так, в XI в. на Руси наблюдается культ чешских святых Вячеслава (Вацлава) и Людмилы, между тем как в Чехии в это же время наблюдается культ свв. Бориса и Глеба и, возможно, Ольги (Флоровский, 1958, с. 217–221). Таким образом, устанавливается своеобразная корреляция между свв. Борисом и Глебом и св. Вячеславом с одной стороны, и св. Ольгой и св. Людмилой, с другой. Так, в несторовом «Чтении» о Борисе и Глебе отражается знакомство с житием св. Вячеслава, которое было, видимо, первоначально написано по-церковнославянски и лишь позднее переведено на латинский язык (церковнославянский текст этого жития сохранился в русских списках) (Мошин, 1963, с. 39; Якобсон, 1953, с. 44 сл.). Связь св. Бориса и св. Вячеслава эксплицитно выражена в анонимном сказании о Борисе и Глебе, где говорится, что Борис «помышляеть же мучение и страсть святого мученика Никиты и святого Вячеслава: подобно же сему бывшую убиению» (Абрамович, 1916, с. 33). Похвала Ольге, помещенная в летописи под 969 г., разительным образом напоминает сочиненную в Чехии латинскую гомилию о Людмиле, гомилию, которая предполагает не дошедший до нас славянский текст. Следует думать, что этот не дошедший до нас церковнославянский текст был известен редактору русской летописи, который и воспользовался им при составлении похвалы (Якобсон, 1953, с. 46). Житие св. Людмилы также существовало в свое время в церковнославянском варианте, фрагменты этого церковнославянского текста вошли в русский Пролог. Итак, св. Борис предстает как русский вариант св. Вячеслава, а св. Ольга — как русский вариант св. Людмилы. Вместе с тем, эта корреляция имеет двусторонний характер, поскольку у западных славян наблюдается почитание названных русских святых. В одном из алтарей чешского Сазавского монастыря хранились мощи свв. Бориса и Глеба, канонизированных не позднее 1072 г. (Дворник, 1970, с. 234; Флоровский, 1958, с. 220–221). Имя *Борис* часто встречается в чешских средневековых памятниках, а в XII–XIII вв. крестным именем у чехов становится и *Ольга* (Дворник, 1970, с. 234; Флоровский, 1958, с. 229–230; Якобсон, 1953, с. 48). В этих и тому подобных явлениях, видимо, отразилась связь Киево-Печерской Лавры и чешского Сазавского монастыря как двух основных центров восточнославянской и западнославянской духовной культуры (Флоровский, 1958, с. 222 сл.).

Западнославянское влияние обнаруживается и в других литературных памятниках Киевской Руси, не связанных непосредственно с богослужением. Таково, в частности, «Слово о законе и благодати» митрополита Иларiona (Розов, 1968); между прочим, здесь усматривается отражение латинской литургической формулы «Christus

vincit, Christus regnat, Christus imperat» (ср. у Илариона в похвале Владимиру: «Хс побѣди. Хс ѿдолѣ. Хс въцрѣса. Хс прославѣса» — Молдован, 1984, с. 94; ср. Мюллер, 1971, с. 80–86; о невозможности точной передачи этой формулы на греческом и, соответственно, церковнославянском языке см.: Успенский, 2000, с. 18–19). В «Повесть временных лет» под 898 г. входит так называемое «Сказание о предложении книг на славянский язык», созданное в Сазавском монастыре в 80-х — 90-х гг. XI в. (Флоря, 1985, с. 127). В этом сказании речь идет о том, что прошлое полян, от которых пошла Русь, было связано с судьбой западных славян — общим происхождением, общностью письменности, возникшей в Моравии, и единством христианской веры. Здесь, таким образом, подчеркнута идея этнического и религиозно-культурного единства славян — вполне актуальная, видимо, для славянского самосознания XI в.

Западнославянское влияние обнаруживается и в палеографии. Отражение традиций художественного декора, восходящих к Сазавскому монастырю, предполагается для двух выдающихся памятников древнерусской письменности — Остромирова евангелия 1056–1057 гг. (Розов, 1971) и Юрьевского евангелия, написанного между 1119 и 1128 гг. (Пуцко, 1979).

О западном влиянии красноречиво свидетельствует и церковное право. С одной стороны, ряд русских церковнославянских юридических памятников обнаруживает западославянское происхождение. Сюда относится прежде всего «Закон судный людем», представляющий собой переработку византийской Эклоги, сделанную Мефодием для западных славян. Через западославянское посредство проникает на Русь и епитимейник «Заповедь святых отец», который переведен, видимо, с латинского пенитенциала. В Моравии был переведен и Номоканон Иоанна Схоластика. Оба памятника вошли, между прочим, в русскую Устюжскую кормчую XIII–XIV в. (ГБЛ, ф. 178, № 230). С другой стороны, на западное влияние указывают и некоторые русские канонические установления. Так, согласно византийскому обычаю духовниками могли быть только монахи; у южных славян наряду с монахами должность духовника могли выполнять и некоторые белые священники, однако не все, а лишь специально уполномоченные; между тем в России любой белый священник мог выступать в этой функции (Смирнов, 1913, с. 13–20), и это можно объяснить как результат западного влияния. В «Вопрошаниях Кирика», каноническом памятнике XII в., содержится очень показательная ссылка на правило св. Бонифация, разрешающее замену епитимьи заказными обеднями (РИБ, VI, стлб. 44, № 76; ср. Смирнов, 1913, с. 189–190 и прилож., с. 282–285), что представляет собой типичный католический обычай (Никольский, 1917, с. 116–118). На западные же образцы ориентировано разделение компетенции светского и церковного суда в Уставе Владимира (Живов, 1988, с. 97).

Западным влиянием объясняют и мартовский календарный стиль, который был принят на Руси в историографических трудах

и в бытовой практике — параллельно с византийской сентябрьской системой, которую русские митрополиты-греки ввели в употребление в церковной жизни и в дипломатической переписке с Византией. Мартовский стиль мог прийти к нам с Запада, где эта система в IX–XI вв. была общепринята, тогда как в Византии она вышла из употребления (Мошин, 1963, с. 46). В летописных текстах встречается иногда римская форма обозначения времени по календам.

Западное влияние усматривают и в необычных для греческой церкви княжеских канонизациях (например, Бориса и Глеба, Владимира и др.). Канонизация мирян наблюдается в Византии чрезвычайно редко; правда, имела место канонизация императоров, но это объясняется теократическим характером власти в Византии, который был в целом чужд Киевской Руси. Не Византия, но христианский Запад мог давать русским прецедент для княжеских канонизаций (Федотов, 1938, с. 194–195; Оболенский, 1974, с. 397–400); ср., например, канонизацию Вячеслава Чешского, отражение культа которого обнаруживается, как мы видели, в почитании Бориса и Глеба — первых по времени канонизации русских святых (канонизация Бориса и Глеба, по мнению одних исследователей, имела место не позднее 1039 г., по мнению других — в 1072 г., см. Подскальский, 1996, с. 376). Отметим, что причисление русских князей — как Бориса и Глеба, так и Владимира и, по-видимому, Ольги — к лику святых имело место уже в XI в., т.е. очень скоро после принятия христианства в качестве государственной религии (Успенский, 2000а, с. 44–46, 87). Если канонизация Бориса и Глеба была признана Византией, т.е. получила общецерковный характер, то Владимир и Ольга оставались местночтимыми святыми.

Западное влияние проявляется, наконец, и в церковных обрядах. Наиболее выразительный пример — установление праздника перенесения мощей св. Николая из православных Мир Ликийских в католический город Бари («вешний Никола», 9 мая), который фактически стал одним из главных праздников русской церкви. Само событие произошло в 1087 г., причем мощи св. Николая были похищены разбойниками, и это событие вызвало естественное негодование в Константинополе. Уже в следующем году был установлен праздник на Западе, а вскоре после того, видимо, в 1091 г., он был введен и на Руси; в 1091 г. папа Урбан II отправляет в Киев к князю Всеволоду Ярославичу посольство, которое принесло в Киев частицу мощей св. Николая. Перенесение мощей св. Николая представляет собой прискорбное событие для православия, и вполне понятно, что греческая церковь этого праздника не знает; не было его и у южных славян. Таким образом, установление этого праздника на Руси может рассматриваться как открытая демонстрация против Константинополя. Тропарь этому празднику — западного происхождения, так же как и сказание о перенесении мощей Николая (Мошин, 1963, с. 45; Голубинский, I, 1, с. 774; Успенский, 1982, с. 21–22).

Другой пример того же порядка дает нам история колокола в России. Общеизвестна та роль, которую играет колокольный звон в русском богослужении. Между тем, греческая церковь не знала обычая звонить в колокол, у греков был не колокол, а било, т.е. доска, в которую бьют. Наиболее ранние упоминания колоколов и церковного звона на Руси связаны с Новгородом — в I Новгородской летописи под 1066 г. (Новг. летописи, с. 17) и в берестяной грамоте № 605 конца XI — начала XII в. Обычай звонить в колокола заимствован с Запада, где был подлинный культ колоколов, в какой-то мере перешедший на Русь. На Западе искусство литья колоколов считалось священной профессией, что напоминает отношение к иконописцам на христианском Востоке; существовал церковный регламент крещения колоколов и наречения их личными именами. Точно так же и на Руси колоколам дают имена, их ссылают (первым ссыльным в Сибирь был углицкий колокол, доставленный в Тобольск в 1593 г. вместе с угличанами после убийства царевича Димитрия) и им вырывают язык (явно ввиду ассоциации языка колокола и языка человека, которому вырывают язык при наказании). Таким образом, как на Западе, так и в России имеет место характерная антропоморфизация колоколов, т.е. обращение с колоколом как с человеком. На Западе была принята колокольная клятва (скрепленная колокольным звоном присяга); в некоторых случаях невозможно было судопроизводство без колокольного звона. И в России очистительная присяга в определенных случаях давалась публично при колокольном звоне (ср. обычай «стоять под колоколами» во время клятвы). Отсюда вечевой новгородский колокол воспринимался как символ законности, что и отразилось впоследствии в названии герценовского журнала (Голубинский, 1, 2, с. 150–161; Мурьянов, 1973).

Как в распространении культа св. Николая, так и в усвоении культа колоколов посредническую роль играли, по-видимому, западные славяне.

§ 3.3.4. Следы западного влияния в церковнославянском языке. В языковом отношении западное влияние проявляется в основном в лексике. В древнерусских текстах нередко представлена западнославянская лексика, которая, в свою очередь, может восходить к латыни, — западнославянский извод церковнославянского языка выступает как посредник в освоении латинского языкового материала. Таковы, например, слова *неприимъ* в значении «дьявол», калькирующее лат. *inimicus* (южнослав. соответствием к этому слову является *лукавый*), ср. еще выражение *неприимъно дѣло* — *opus diaboli*, *олтарь* — *altare*, *оплатъкъ* — *oblatum* «причастие» (ср. еще *къмъку приносъ* с тем же значением), *поганый* — *paganus* «языческий», *полатъ* — *palatium*, *комкати* — *communicare* «причащаться», *апостоликъ* — *apostolicus* «папа».

Иначе объясняется слово *паломникъ*, которое появляется в русском языке в XII в. как заимствование из латыни в разговорный язык, ср. средневековое лат. *palmarius* (Назаренко, 2001, ср. 620–627): если книжные заимствования из латыни обязаны посреднической роли западных славян, заимствование в разговорный язык могло быть непосредственным. Русский язык — единственный славянский язык, в котором представлено такое заимствование.

В ряде случаев мы встречаем в древнерусских текстах формы слов, которые говорят об их западнославянском происхождении, например: *папежъ* (ср. польск. *papież*), *мнихъ* (ср. польск., чешск. *mnich*), *мъша* из лат. *missa* (ср. старочешск. *mša*). Слово *аминь* может выступать в латинизированной форме *амень* (см., например: Усп. кондакаръ 1207 г., л. 181 об., 182 об., 183). Сюда же относятся и формы некоторых собственных имен. Так, западнославянизмом должна быть признана форма *Микола*, *Микула*, ср. чешск. *Mikuláš*, польск. *Mikołaj* (Успенский, 1982, с. 19–20). Примеры такого рода могли бы быть умножены.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что значительная часть лексики, обнаруживающей западнославянское происхождение, оказывается так или иначе связанной с церковной культурой. Исследователи давно обращали внимание на западнославянские лексические элементы в русских церковнославянских текстах, однако рассматривали их только как моравизмы, пришедшие в Россию через Балканы, куда бежали изгнанные из Моравии ученики Кирилла и Мефодия. Наличие у западных славян устойчивой церковнославянской традиции делает излишним столь сложное объяснение.

§ 4. Языковая ситуация: характер взаимодействия церковнославянского и русского языков и критический разбор мнений о происхождении русского литературного языка в связи с языковой ситуацией

§ 4.1. Общие замечания. Вопрос о языковой ситуации, т.е. вопрос о том, каково функциональное отношение между двумя языками (церковнославянским и русским), как распределяются их сферы влияния, за каким языком признаются права литературного и т.п., — определенным образом связан с вопросом о происхождении русского литературного языка. Последний вопрос, в свою очередь, отсылает к известной полемике по этому поводу, в которой наиболее видными фигурами были А. А. Шахматов и С. П. Обнорский. Эта полемика началась еще в середине прошлого века, но наиболее четкое выражение противопоставленные мнения получили в сочинениях названных выше ученых. Так, С. П. Обнорский продолжил и развил точку зрения, высказывавшуюся еще И. И. Срезневским, тогда как А. А. Шахматов в большой степени продолжает концепцию К. С. Аксакова и М. А. Максимовича (см. Бернштейн, 1941, с. 23 сл.). Была высказана и компромиссная точка зрения — В. В. Виноградовым в последний период его деятельности (в ранних работах В. В. Виноградов полностью следует А. А. Шахматову).

В полемике по этим вопросам были смешаны две по существу разные темы: проблема происхождения современного русского литературного языка и проблема происхождения литературного языка древнейшей эпохи. Это смешение основывается на представлении о непрерывности языкового развития, которое исходит из наблюдений над эволюцией живого языка и неправомерно экстраполируется на историю языка литературного. Развитие литературного языка в принципе представляет собой не планомерную и последовательную эволюцию, а революционные изменения языковой нормы, обусловленные историко-культурными факторами (§ 1.5). Применительно к русскому литературному языку такая революция имела место во второй половине XVII — XVIII вв. в результате разрушения диглоссии. Соответственно, вопрос о происхождении современного русского литературного языка отсылает нас к языковому развитию этого периода и отнюдь не равнозначен вопросу о происхождении русского литературного языка Древней Руси.

§ 4.2. Концепция А. А. Шахматова. Концепция А. А. Шахматова, изложенная в ряде его работ, в самых общих чертах сводится к следующему. Русские усвоили церковнославянский (или, по Шахматову, «древнеболгарский») язык, перенесенный на Русь как язык церкви и духовного просвещения. Он быстро претворился в русский национальный язык. Другими словами, он стал разговорным языком культурной элиты, так сказать, древнерусской интеллигенции, на основании которого и образовалось разговорное койне Киевской Руси, распространившееся в дальнейшем в качестве национального языка. Этот язык, по мнению Шахматова, после столетий постепенной русификации и до сих пор остается основой русского литературного языка, который в своем лексическом составе по крайней мере наполовину является церковнославянским (Шахматов, 1941, с. 69, 90, 236; ср. Шахматов, 1915, с. XXXIX).

Не со всем здесь можно согласиться. В некоторых отношениях концепция Шахматова представляется сейчас анахронической и не всегда обоснованной. В частности, вызывают возражения следующие моменты.

Неприемлемым представляется тезис, согласно которому церковнославянский язык достаточно быстро стал разговорным языком определенного социума. Напротив, следует думать, что с принятием церковнославянского языка в качестве языка литературного образовалось противопоставление литературного и нелитературного языка и устойчиво сохранялась дистанция между ними. Нет решительно никаких оснований предполагать, что, получив образование, русский книжник переставал употреблять тот живой древнерусский язык, с которым он сталкивался в быту. Между тем, Шахматов именно полагал, что «все лица, прошедшие школы, основывавшиеся на Руси в XI в.», говорили на «древнеболгарском языке» (Шахматов, 1916, с. 82). Несомненно, это было не так. Характерное распределение сфер влияния, когда определенные документы — деловые, юридические и т.п. — пишутся на русском, а не церковнославянском языке, свидетельствует о том, что эти языки не смешиваются и у книжных людей, т.е. у той образованной части древнерусского общества, которую имел в виду Шахматов. Таким образом, церковнославянский и русский языки распределяют сферы влияния, как это и должно быть при диглоссии.

С известным приближением можно сказать, что церковнославянский язык в общем связан с книжным, письменным началом, а русский язык — с книжным, разговорным началом. Необходимо оговориться: церковнославянский язык был по преимуществу письменным (что вообще характерно при диглоссии) не в том смысле, что он вообще не имел отношения к звучащей речи. Он звучал при

богослужении, на нем произносились проповеди и т.д. Существовала особая произносительная норма — норма книжного произношения. Однако эта норма была принципиально ориентирована на чтение, она осваивалась при обучении азбуке, книжное произношение было побуквенным, непосредственно соотносилось с орфографией. Таким образом, даже и в этом случае — в случае функционирования в сфере звучащей речи — явно выступает средостение письменной речи. Если церковнославянские тексты непосредственно произносились, а не читались, они произносились так, как если бы они читались (ср. выражение «говорить как по писаному», отражающее ситуацию древнерусской диглоссии). Итак, в сфере церковнославянского языка имеет место явный примат письменного начала. Точно так же в сфере русского языка представлен явный примат устного, разговорного начала. Тексты, написанные на русском языке, в большей или меньшей степени соотносятся с устной, разговорной речью Древней Руси и в общем отражают ее (правда, с определенными отклонениями, степень которых неодинакова в разных текстах — ср. § 5.3 и § 5.4).

Если признать, что в Древней Руси имела место ситуация диглоссии, то вызывает сомнения и социолингвистический аспект концепции Шахматова. По Шахматову, язык культурной элиты, т.е. княжеского окружения, со временем превратился в общее койне (Шахматов, 1916, с. 82). Однако социолингвистическое расслоение общества не характерно для диглоссии (§ 2.2.2). Напротив, в этих условиях надо ожидать единой нормы языковой правильности для разных слоев общества. Вместе с тем, при диглоссии социальная иерархия не отражается и в разговорном языке, поскольку он лишен культурной значимости, т.е. нет оснований говорить о славянизации разговорного языка как социальном факторе.

Шахматов подчеркнул значение церковнославянского языка для истории русского литературного языка и постулировал церковнославянскую основу русского литературного языка (на всех этапах его истории). Вместе с тем, не будучи знакомым — что естественно для того времени, когда он писал свои работы, — с типологией литературных языков, он не мог учесть возможности церковнославянско-русской диглоссии как стабильной языковой ситуации: устойчивое сосуществование двух языковых систем (в рамках одного языкового коллектива), четко противопоставленных друг другу как в формальном, так и в функциональном отношении, не могло не казаться аномальным явлением. Соответственно, Шахматов рассматривал языковую ситуацию Древней Руси как ситуацию церковнославянско-русского двуязычия; между тем, двуязычие в отличие от диглоссии имеет в принципе промежуточный, переходный, нестабильный характер (§ 2.2). Определив сосуще-

ствование церковнославянского и русского языков в Древней Руси как ситуацию двуязычия, Шахматов — вполне последовательно с точки зрения логики — предположил более или менее быструю ассимиляцию церковнославянского языка на русской почве. В результате на несколько веков оказался отодвинутым тот процесс, который на великорусской территории происходит только со второй половины XVII в., когда имеет место разрушение церковнославянско-русской диглоссии и переход ее в церковнославянско-русское двуязычие (§ 18). До этого история русского литературного языка — это история церковнославянского языка русской редакции (который формируется к началу XII в.).

Невозможно согласиться с мнением Шахматова, что история русского литературного языка сводится к процессу постепенной и последовательной русификации церковнославянского языка. Этот вывод основывается в значительной степени на рассмотрении словарного материала, но даже и в этом аспекте он неверен. Рассматривая славянизмы в современном русском литературном языке, Шахматов приходит к выводу: «Из предложенного обзора церковнославянизмов в современном литературном языке видно, что в словарном составе он по крайней мере наполовину, если не больше, остался церковнославянским» (Шахматов, 1941, с. 90). Это несомненное упрощение: процесс развития был явно более сложным. Славянизмы в русском литературном языке отнюдь не обязательно унаследованы от древнейшего (исходного) состояния: на разных этапах появляются новые славянизмы, не заимствованные, а вновь созданные (они появляются и сейчас, ср. такие слова, как *здравоохранение*, *хладотехника*, *истребитель*, *вратарь* и т.п.).

В истории русского литературного языка наблюдаются вообще два встречных процесса: процесс русификации и обратный процесс славянизации. Разные этапы истории русского литературного языка связаны с преимущественной актуализацией той или иной тенденции. Последнее обстоятельство и обусловило, видимо, контргипотезу о происхождении русского литературного языка, утверждавшую его собственно русские истоки, — именно, гипотезу С. П. Обнорского.

§ 4.3. Концепция С. П. Обнорского. С. П. Обнорский попытался оспорить устоявшееся в науке мнение о том, что книжный литературный язык так или иначе возник в процессе усвоения церковнославянской письменности. На основании анализа языка «Русской Правды» Обнорский пришел к выводу, что «русский литературный язык старшей эпохи был в собственном смысле русским во всем своем остоле. Этот русский литературный язык старшей формации был чужд каких бы то ни было воздействий со

стороны болгарско-византийской культуры», которая позднее оказала на него сильное влияние. «Оболгарение русского литературного языка следует представлять как длительный процесс, шедший с веками *crescendo*» (Обнорский, 1934/1960, с. 144). Эту попытку пересмотра традиционной точки зрения приходится признать несостоятельной. Прежде всего, «Русская Правда» вообще находится вне сферы литературного языка и вне литературы. Это не литературное произведение, если понимать литературу с точки зрения того времени, когда она была записана. Это памятник не книжного языка (§ 5.3). Тем не менее, вопреки Обнорскому, и здесь наблюдается, хотя бы и в слабой степени, церковнославянское влияние (см. Селищев, 1957/1968, с. 130–133). Наконец, Обнорскому явно не удалось доказать, что русский литературный язык оставался какое-то время вне воздействия со стороны «болгарско-византийской» культуры. Вне его внимания остались многочисленные памятники, также относящиеся к древнейшему периоду, которые явно испытали непосредственное церковнославянское влияние.

Действительно, привлечение к анализу и других памятников древней поры (Слова о полку Игореве, Моления Даниила Заточника, сочинений Владимира Мономаха) заставило Обнорского формулировать свои выводы более осторожно. В более поздней работе, касаясь языка «старшей поры» (XI–XII вв.), он говорит уже не об абсолютном отсутствии церковнославянского влияния на русский литературный язык, а об «очень слабой доле церковнославянского на него воздействия», замечая при этом, что «доля церковнославянского воздействия... колеблется в зависимости от памятника» (Обнорский, 1946, с. 6–7; Обнорский, 1947/1960, с. 31). В дальнейшем характеристика русского литературного языка у Обнорского вообще перестает отличаться от традиционной: вопрос, что из чего произошло, приобретает в достаточной степени схоластический характер, поскольку все сходится на том, что церковнославянское влияние имело место и что оно в разной степени проявлялось в разных письменных текстах.

Признавая наличие церковнославянского влияния уже в древнейших памятниках русской письменности, Обнорский, однако, не отказался от своего тезиса «о русской основе нашего литературного языка, а соответственно о позднейшем столкновении с ним церковнославянского языка и о вторичности процесса проникновения в него старославянских [т.е. церковнославянских] элементов» (Обнорский, 1946, с. 6). Но в этом случае необходимо признать, что дошедшие до нас памятники XI–XII вв. не являются древнейшими памятниками литературного языка. Именно это и утверждал Обнорский, по мнению которого «показания старей-

ших наших литературных памятников обязывают к утверждению русской первичной базы нашего литературного языка и притом зародившегося не в X в., а слагавшегося на протяжении предшествовавших столетий» (Обнорский, 1948/1960, с. 279). Таким образом, вопрос о происхождении русского литературного языка был отнесен к эпохе, от которой до нас не дошло почти никаких свидетельств. Те же данные, на основании которых можно было бы строить какие-либо предположения, как раз указывают на то, что письменный язык этого периода (если таковой существовал) скорее всего был именно церковнославянским (§ 3.1.2).

§ 4.4. Характер влияния церковнославянского и русского языков друг на друга. Итак, если Шахматов связывает историю русского литературного языка с русификацией церковнославянских текстов, то Обнорский связывает ее с славянизацией русских текстов. Оба процесса действительно имели место, но в памятниках разного типа. Таким образом, Шахматов и Обнорский исходят из разного круга памятников, считают разные виды текстов представительными для истории литературного языка.

Констатируя взаимное влияние церковнославянского и русского языков друг на друга, необходимо подчеркнуть принципиально различный характер церковнославянского влияния на русский язык и русского влияния на церковнославянский язык. Говоря о противопоставлении церковнославянского и русского языков, необходимо иметь в виду несколько условный характер употребления этих терминов: если под церковнославянским языком понимается некая единая норма, то под русским языком понимается в сущности совокупность различных восточнославянских диалектов.

Русское влияние на церковнославянский язык проявляется в том, что отдельные языковые признаки усваивались церковнославянским языком русской редакции, т.е. входили в норму этого языка. Естественно, что влияние такого рода было ограниченным, поскольку ему противодействовал языковой консерватизм книжной нормы. Русская языковая стихия проходила, таким образом, через фильтр церковнославянской нормы, которая в одних случаях допускала проникновение русских элементов, а в других — противодействовала влиянию разговорного языка на книжный. Так, например, написание ж (а не жд) в соответствии с общеславянским *dj входит в норму русского церковнославянского языка XII—XIV вв.; напротив, написание ч (а не ц) в соответствии с общеславянским *tj представляет собой явное отклонение от книжной нормы (§ 7.2; § 8.1.3). Таким образом, русское влияние на церковнославянский язык, вопреки Шахматову, не приводит к а с с и -

м и л я ц и и церковнославянского языка, но сводится лишь к его адаптации на русской почве; в процессе этой адаптации и образуется специальная норма русского церковнославянского языка, четко противопоставленная при этом языку книжному.

Если русское влияние на церковнославянский язык было ограниченным, то церковнославянское влияние на русский язык ничем не сдерживалось, поскольку для русского языка не существовало никакой кодифицированной нормы. Соответственно, русская речь свободно заимствует церковнославянские элементы, после чего окказиональные заимствования в речи могут закрепляться в языке. Итак, при взаимодействии церковнославянского и русского языков в обоих случаях — как в случае церковнославянского, так и в случае русского влияния — имеют место окказиональные заимствования: окказиональные русизмы в церковнославянской речи (тексте) и окказиональные славянизмы в русской речи (тексте). Однако в случае церковнославянского языка явления такого рода (постольку, поскольку они не адаптируются местной редакцией) остаются отклонениями от нормы и по существу не имеют отношения к норме как таковой. Можно сказать, что они остаются явлениями р е ч и, а не я з ы к а, т.е. воспринимаются как особенность (свойство) тех или иных конкретных текстов, но не церковнославянских текстов вообще. Между тем, в случае русского языка — в силу его некодифицированности — окказиональные заимствования легко усваиваются языком и становятся фактами языка, а не речи. Отсюда мы имеем очень сильное влияние книжного языка на разговорный при диглоссии при относительно слабом влиянии в обратном направлении.

Церковнославянское влияние на разговорный язык отразилось, по-видимому, в русских говорах, где широко представлены неполногласные формы (см. Порохова, 1971; Порохова, 1972; Порохова, 1976; Порохова, 1978; Порохова, 1988). Разумеется, не всегда возможно отличить древние заимствования из церковнославянского языка от более поздних, однако в ряде случаев имеет место характерное расхождение значений между аналогичными по форме церковнославянскими и диалектными словами, которое может указывать на древность заимствования; ср., например, такое расхождение между церковнослав. *благий* и рус. *благой* (в русском языке слово приобретает отрицательное значение); *благой* в специфически русском значении встречается уже у Афанасия Никитина, но надо полагать, что письменной фиксации предшествовал более или менее длительный процесс освоения данного слова в разговорной речи (ср. еще русский глагол *блажить* «дурить» при церковнослав. *блажити* «прославлять», а также такие собственно русские образования отсюда, как

блажь, *блажной* и т.п.). Не исключено, что расхождение значений отражает в данном случае разные пути контактов восточных и южных славян: *благ-/блаж-* с положительным значением, несомненно, пришло к нам книжным путем, через тексты, тогда как отрицательное значение может объясняться ранними контактами с болгарскими миссионерами (см. Страхов, 1988).

В некоторых случаях до нас дошло церковнославянское слово и не дошло коррелирующее с ним русское, которое мы можем восстановить лишь исходя из фонетических соответствий; если предполагать, что такое слово было в русском языке, необходимо признать, что оно полностью вытеснено славянизмом. Так, полагают, что славянизм *пища* полностью вытеснил исконно-русское **пица* (Ковтун, 1977, с. 76–77); аналогичным образом славянизм *вещь*, может быть, вытеснил исконно-русское **вечь*. Реконструируемые русские формы не встречаются при этом ни в литературном, ни в диалектном языке; не зафиксированы они и в памятниках письменности. Слово *верема*, встречающееся в древнерусских текстах, не зарегистрировано в великорусских диалектах, т.е. исконная русская форма вытеснена здесь славянизмом *время* (ср., однако, укр. *верем'я* «погода»). Точно так же славянизм *член* вытеснил, по-видимому, русскую форму *челон*, которая представлена, между тем, в древнейшей письменности (например, в Христиноп. ап. XII в.)

Наконец, мы располагаем и прямым свидетельством о церковнославянском влиянии на разговорную речь Киевской Руси. Такое свидетельство содержится в «Теогонии» Иоанна Цеца (середины XII в.), где приводится русская фраза в греческой транскрипции: *σδρᾱ βράτε, σεστρίτζα... δόβρα δένη*, т.е. «Сдра, брате, сестрице... добрь день» (Гунгер, 1953, с. 305; Моравчик, 1930, с. 356–357; цитируется рукопись XV в.). Как видим, обычное разговорное обращение, фигурирующее в «Теогонии» в качестве типичной русской фразы, содержит неполногласную форму.

Цец приводит в своей поэме образцы различных языков, которые можно услышать в Константинополе. Цитированная «русская» фраза сопровождается здесь греческим переводом. Данная фраза лишь условно может считаться русской, поскольку она состоит из славянских корней, оформленных греческими окончаниями (см. Успенский, 1994, с. 41), — для грека, незнакомого с русским языком, эта фраза должна была выглядеть как грамматически правильное предложение с неизвестными словами (т.е. примерно так же, как мы воспринимаем сейчас фразу *Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка*).

Примеры русского влияния на церковнославянский язык, закрепляющегося в книжной норме, мы находим прежде всего в

области фонетики и орфографии, отчасти в грамматике и, наконец, в лексике. Что касается церковнославянского влияния на русский язык, то оно проявляется прежде всего в лексике. Лексика, однако, наименее показательна при различении книжного и не-книжного языка, поскольку лексический уровень характеризуется вообще большей проницаемостью, чем другие языковые уровни. В самом деле, если в отношении фонетической и грамматической нормы носитель языка при овладении литературным языком так или иначе ориентируется на правила, то в отношении лексической нормы ему преимущественно приходится ориентироваться на тексты: здесь по необходимости имеет место подход наче-тика, когда лишь начитанность в текстах дает возможность судить о встречаемости или не встречаемости в книжном языке того или иного слова или формы (поэтому, кстати, обучение непременно предполагало заучивание наизусть определенного корпуса текстов — в частности, Псалтыри и т.п.). Отсюда определяется относительная ненормированность лексического уровня в древнейший период, почти полное отсутствие функционального противопоставления русского и церковнославянского языков на лексическом уровне. Норма, вообще говоря, может здесь проявляться только в отношении отдельных слов, на которые обращается особое внимание и которые могли бы быть заданы списком (ср. соответствия типа *говорю* — *глаголю*, *щека* — *ланица*), но она не может распространяться на весь пласт лексики в силу естественной ограниченности человеческой памяти. Лексический уровень в целом остается недифференцированным в плане противопоставления русского и церковнославянского языков (и это делает бессмысленным обращение к нему при решении вопроса о характере языка того или иного текста). В самом деле, легко привести примеры таких текстов, которые должны быть охарактеризованы как церковнославянские (на основании формальных, грамматических критериев), хотя их лексический состав никак не соответствует такой характеристике. А. В. Исаченко приводил в этой связи следующий текст с церковнославянской грамматикой, но инородной лексикой: «Автомобилу же въ гаражѣ сущу, разнервничахъ ся вельми и отидохъ остановцѣ трамвая. Ни единому же приходящу, призвахъ таксомоторъ и влѣзше отвезенъ быхъ, аможе нужду имѣяхъ» (Хютль-Ворт, 1978, с. 188). Это искусственно сконструированный пример, однако близкие по типу примеры могут быть приведены и из реальных текстов. Так, в «Фацетиях», церковнославянском переводном памятнике конца XVII в., читаем: «Аз от толикаия страсти весь обосрахся» (Державина, 1962, с. 134); как видим, русская лексема употреблена при наличии церковнославянского эквивалента *испражнятися*.

Итак, на лексическом уровне в принципе отсутствуют системные противопоставления между церковнославянским и русским языками, т.е., иначе говоря, противопоставление языков в языковом сознании осуществляется не за счет лексических оппозиций. Русский книжник при создании церковнославянского текста может легко заимствовать лексические элементы из своего живого языка (в каких-то случаях преобразуя, а в каких-то случаях и не преобразуя их по церковнославянским морфонологическим моделям, см. § 10.2) — церковнославянский характер текста однозначно определяется фонетическими и грамматическими признаками, тогда как в отношении лексики пишущий пользуется свободой выбора. Отсюда очевидно, насколько нецелесообразны попытки охарактеризовать язык памятника, определяя в нем соотношение «церковнославянских» и «русских» лексем, т.е. генетических славянизмов и генетических русизмов.

Полемика Шахматова и Обнорского поставила вопрос о происхождении современного русского литературного языка, о том, восходит ли он к русскому или к церковнославянскому языку. Эту дилемму иногда пытаются разрешить обращением к словарному материалу современного литературного языка, подсчетами соотношения в нем лексических русизмов и славянизмов. Как мы уже говорили, эта проблема может быть поставлена только в плане соотношения современного литературного языка с состоянием конца XVII — XVIII в. (а не с языковым состоянием древнейшего периода). Но в любом случае этот вопрос не решается обращением к лексике. Свобода выбора в лексике создает лексическую вариативность, которая в период формирования нового литературного языка (XVIII—XIX вв.) может получать функциональную нагрузку, т.е. как генетические русизмы, так и генетические славянизмы усваиваются литературным языком, и лексическое противопоставление церковнославянского и русского реализуется, таким образом, в рамках литературного языка, отнюдь не определяя его церковнославянский или русский характер. Функциональная нагрузка славянизмов в современном русском литературном языке может реализовываться как противопоставление поэтического и непоэтического, бытового — небытового, официального — повседневного. Характерным примером такого функционального использования может служить соотношение сложносокращенных слов и их несокращенных эквивалентов — нередко в аббревиатурах (которые носят официально-канцелярский характер) используются неполногласные формы, тогда как в несокращенных эквивалентах им соответствуют формы полногласные, ср. *Главхладпром* — *Главное управление холодильной промышленности*, *Главдревлитмаш* — *Главное управление деревообрабатывающих и литейных машин* (Исаченко, 1974, с. 266). Отметим еще, что в современном русском литературном языке возможно объединение полногласных («русских») и неполногласных («церков-

нославянских») форм в одной парадигме, как это имеет место в парадигме степеней сравнения, ср. *дорогой, дороже, дражайший* и т.п. Наконец, церковнославянские и русские признаки могут сочетаться в пределах одной лексемы, ср. формы типа *переубедать*, где полногласие приставки позволяет рассматривать соответствующее слово как русизм, тогда как отражение *dj в виде *жд* заставляет трактовать его как славянизм. Совершенно ясно, что подсчет лексем в этих условиях не характеризует даже словарного состава в плане его соотносительности с церковнославянским или русским языком.

§ 4.5. Концепция В. В. Виноградова. В. В. Виноградовым была высказана компромиссная точка зрения, в какой-то мере объединяющая концепции Шахматова и Обнорского. Виноградов предлагает говорить о двух типах древнерусского литературного языка: «книжно-славянском» и «народно-литературном» (или «литературно обработанном народно-письменном»). Оба эти типа, по мнению Виноградова, обнаруживают уже в XI–XII вв. признаки стилистической дифференциации, связанные с различием сфер их функционального и жанрового применения. «Письменно-деловая речь, влияя на развитие литературного-народного языка и сближаясь с ним в обработанных произведениях деловой прозы (грамотах, отписках и т.п.), одним краем касается литературного языка, а другим уходит в гущу народно-разговорной диалектной речи» (Виноградов, 1958, с. 111, ср. с. 37, 60, 66–67). Важно подчеркнуть, что Виноградов, в отличие от Шахматова и Обнорского, говорит не столько о *происхождении* русского литературного языка, сколько о языковой ситуации Древней Руси. Однако рассмотрение языковой ситуации не может ограничиваться простой констатацией существования разных функциональных языковых вариантов (типов). Оно предполагает установление собственно языковых критериев выделения соответствующих вариантов, при котором можно адекватным образом определить отношения между ними, понять, как они распределяют свои функции и как они могут взаимодействовать друг с другом. В. В. Виноградов не дает ответа на эти вопросы, отсылая нас к некому корпусу литературных текстов, языковая однородность которых предполагается само собой разумеющейся. Понятие типа литературного языка, которое в принципе должно обладать четким лингвистическим определением, ставится тем самым в зависимость от неизбежно расплывчатого и исторически изменчивого понятия «литературности» текста.

§ 5. Типы текстов древнерусской письменности и их языковая характеристика: критерии употребления церковнославянского языка

§ 5.1. Канонические тексты как ядро литературы; характер литературного процесса в Древней Руси. Мы видели, что различие точек зрения на литературный язык Древней Руси определяется прежде всего тем, из каких памятников исходят исследователи, какие тексты они считают представительными для истории литературного языка. Древнерусские тексты очень существенно различаются по своим языковым характеристикам. Следует понять, какой принцип лежит в основе этого варьирования, т.е. в каких случаях следует ожидать применения церковнославянского языка, а в каких — сознательного отступления от церковнославянской языковой нормы (нас не будут здесь интересовать бессознательные отступления, обусловленные просто недостаточным знанием книжного языка). Уяснив этот принцип, мы можем понять, что в Древней Руси относилось к корпусу литературных произведений.

К области литературы в условиях церковнославяно-русской диглоссии относятся прежде всего канонические тексты. Они образуют как бы ядро литературы (словесности). Это проявляется в том, что подобные тексты — тексты, так или иначе связанные с церковной культурой, — определяли те образцы, на которые должны были ориентироваться все остальные тексты, если только они претендовали на литературность. Так, например, «Сказание о первых черноризцах», помещенное в летописи под 1074 г., написано под явным влиянием патериков. Известие о крещении Владимира перерабатывается по схеме обращения Константина Великого, в том виде, в каком эта схема дана в хорошо известной в Древней Руси Хронике Георгия Амартола (так, например, внезапное заболевание Владимира перед крещением соответствует внезапному заболеванию Константина, и т.п. — Сухомлинов, 1908, с. 105–106). Летописное сказание о походе на Царьград переработано по русской редакции Жития св. Василия Нового (Вилинский, I, с. 312 сл.). Биографии русских князей в летописи написаны обычно под влиянием житий святых. Как видим, даже хроникальные известия составлялись по образцам такого рода; тем более это относится к произведениям, не связанным с конкретными историческими событиями (например, проповедям и т.п.). «Подобно тому, как исследователь литературы западного гуманизма может понять соот-

ветствующие тексты, только если он читает их в свете классических текстов Цицерона, Вергилия, Горация, Платона и других античных классиков, точно так же исследователь славянской средневековой литературы может понять изучаемые им произведения, только если он видит их в свете текстов таких церковных авторов, как Григорий Богослов (Назианзин), Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, и других отцов церкви, а также византийских историков и агнографов... Вместе с библейской традицией (как ортодоксальной, так и апокрифической) и решениями семи Вселенских соборов эти освященные образцы снабжали средневековых славянских писателей стилистическими и концептуальными клише» (Пиккио, 1973, с. 445). Понимание древнерусского литературного текста, вообще говоря, предполагает экзегезу (толкование), обращение к исходным текстам-образцам (на самых разных уровнях — композиционном, смысловом, идеологическом). Так, например, «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона невозможно понять, не будучи знакомым с Посланием к галатам апостола Павла (IV, 21–31), с книгой Бытия (гл. XVI, где излагается история Агари и Сарры), а также с традицией экзегезы этих текстов. Таков тот литературный фон, на котором создавались соответствующие тексты и на котором они должны были восприниматься. Более того: те или иные тексты, видимо, могут вообще пониматься как конкретные реализации исходного текста, который является как бы онтологически исходным, первичным. Подобно тому как церковная служба постоянно (циклически) воспроизводит одни и те же библейские события, так и книжная словесность как бы воспроизводит одни и те же исходные тексты (образцы), прежде всего библейские и вообще церковные.

Не случайно произведения назывались именами тех исходных текстов (образцов), по модели которых они строились. Так, в древнерусской литературе известно оригинальное произведение под заглавием «Премудрость Иисуса, сына Сирахова» или собрание загадок под названием «Премудрость царя Соломона». Это оригинальные русские тексты, авторами которых явно не могли быть Иисус, сын Сираха, или царь Соломон. Совершенно так же древнерусские поучения назывались именами Иоанна Златоуста, Василия Великого и других отцов церкви. По подсчетам Е. Э. Гранстрем, из 287 бесед Иоанна Златоуста, имевших хождение в русской письменности до XV в., лишь шесть являются подлинными произведениями Златоуста. Остальные отражают устойчивую традицию приписывания Златоусту написанных в подражание ему наставлений, традицию, представленную как у славян, так и у греков (Гранстрем, 1974, с. 187). Это никоим образом не плагиат, а своеобраз-

ная ссылка на «жанр», т.е. на тот исходный текст, на который ориентируется создаваемое произведение и который онтологически стоит за этим текстом.

Следует вообще иметь в виду, что в древнерусской литературе в принципе отсутствует представление об индивидуальном авторстве: чужие тексты могли перерабатываться, редактироваться, дополняться. Отсюда так много редакций древнерусских памятников литературы, и такое принципиальное значение приобретают здесь проблемы текстологии. Коль скоро отсутствуют представления о личном авторском творчестве, отсутствует и понятие плагиата, и цитаты, вообще вкрапления чужого текста (как правило, без ссылки на источник) не только не порицались, но приветствовались — тем более, чем источник был авторитетнее, — поскольку они придавали ему свойство «литературности». Отсутствие четкого представления об авторской оригинальности связано вообще с четким представлением о наличии литературной нормы. Для нас сейчас наличие элементов чужого текста в историческом повествовании — свидетельство его недостоверности. Тогда, напротив, это свидетельство его достоверности, истинности, подлинности. Так, например, в Житии протопопа Аввакума, которое вообще в большой степени строится на параллелизме с библейскими мотивами, библейские тексты проникают даже в речь действующих лиц. Враг Аввакума, казачий атаман Пашков, говорит в минуту раскаяния: «Согрѣшил окаянной — пролил кровь неповинну» (РИБ, XXXIX, стлб. 36). Это, однако, слова Иуды из Евангелия (Мф. XXVII, 4). Означает ли это, что Аввакум полностью выдумал этот эпизод? Или, напротив, что Пашков произнес иудины слова? И то, и другое не обязательно: Пашков действительно мог произнести нечто, что Аввакум отождествил со словами Иуды. Здесь вовсе не тенденциозность Аввакума: просто в речи Пашкова (в словах раскаяния) Аввакум усматривает и с т и н н ы й смысл — тот, который выражен словами Иуды (понятно, что Евангелие рассматривается как совершенный, идеальный по своей правильности текст) и который стоит за словами Пашкова. Пашков, с точки зрения Аввакума, сказал нечто совершенно адекватное по с у щ е с т в у, а если он сказал это не совсем теми словами, то это относится только к внешнему, поверхностному плану речевого поведения. Итак, при порождении текста на исходном уровне стоят как бы именно слова Иуды, как соответствующие каноническому тексту и тем самым онтологически первичные. В других случаях Аввакум в Житии может прямо называть действующих лиц именами евангельских персонажей. Так, одного из никонианских деятелей он именует Пилатом: «И егда бысть в дому моем въсегу-

бительство [допрос и обыск], спросил его Пилат: Как ты, мужик, креститься? Он же отвѣща ему смиренномудро: Я так вѣрую и крещуся, слагая перьсты, как отец мой духовной протопоп Аввакум» (РИБ, XXXIX, стлб. 62). Как видим, параллелизм с евангельским текстом, на фоне которого воспринимаются описываемые события, обуславливает даже прямое отождествление действующих лиц с участниками евангельских событий. Хотя Житие Аввакума — это относительно поздний памятник, принципы отношения к тексту в нем те же, что и в начальный период древнерусской литературы. Ориентация на некоторый канонический образец, обуславливающая прямые заимствования из этого исходного текста, сообщает произведению качество не только литературности, но и достоверности. Показательно, что когда Иосиф Волоцкий написал «Просветитель», это вызвало возражения и обвинения в неуместности сочинения такого рода, причем возражавшие ссылались на запрещение VII Вселенского собора писать новые книги (Терновский, I, с. 185). Не случайно Иван Федоров считает нужным подчеркнуть в послесловии к своему букварю 1574 г.: «Писахъ вамъ не от себе, но от божественныхъ апостолъ и богоносныхъ святыхъ отецъ ученія, и преподобного отца нашего Іоанна Дамаскина, от грамматикии». В некотором смысле создаваемые тексты должны были повторять уже имеющееся и не содержать в себе ничего существенно нового.

Именно поэтому сочинение, перевод, редактирование или простое переписывание книги отождествлялись в сознании древнерусского книжника. Все эти процессы были связаны, одно обычно предполагало другое: переписывание было сопряжено с редактированием, редактирование с сочинением и т.п. Поскольку древнерусские произведения свободно переписывались и переделывались, мы не можем использовать их для исследования языка того времени, когда они были созданы. Если мы знаем, например, что произведение написано в XI в., но располагаем лишь списками XIV в., то мы можем делать выводы только о языке XIV в., но отнюдь не о языке XI в. В этом отличие древнерусской литературы от литературы новой, когда в силу представлений об индивидуальном авторстве произведения воспроизводятся относительно точно.

Представление об индивидуальном авторском творчестве появляется в России довольно поздно, видимо, не ранее XVI в. Князь Курбский в предисловии к своему переводу «Нового Маргарита» (сборник слов Иоанна Златоуста) возражает против указанной выше практики приписывать произведения тому или иному авторитетному автору и видит в ней стремление украсить свое произведение громким именем, т.е. практику псевдонимного наименования: «Нѣко-

торые поэтов, складывающие прекрасные словеса и полезные и таящие имена свои, подписывались Златоустовым титулом, что есть непохвально и тщеславно зрится чужим румянцем украшати» (Архангельский, 1888, прилож., с. 12). Это новый, ренессансный взгляд на авторство; можно сказать, что Курбский обнаруживает свое непонимание средневековой традиции и, в отличие от средневековых сочинителей, видит в книге продукт индивидуального творчества.

Итак, индивидуального авторства в Древней Руси не было — было авторство по существу коллективное, соборное. Подобную ситуацию можно сейчас наблюдать в бытовании фольклорных текстов, хотя она объясняется несколько иными причинами. Более близкую аналогию представляет иконописание: как известно, древнерусская икона — продукт коллективного творчества не только в том смысле, что икону обыкновенно писали одновременно несколько мастеров (ср. обычное участие нескольких писцов при написании рукописи, когда один писец пишет основной текст, другой инициалы и т.д.), но и в том смысле, что последующие поколения также участвовали в этой же иконе, исправляя ее в соответствии с изменившимся художественным языком. Необходимо подчеркнуть, что иконы исправляли не по соображениям красоты, но по соображениям правильности. Это ясно проявляется в иконописной терминологии, согласно которой иконописец не создает изображение, а постепенно «раскрывает» его, он не сочиняет, а раскрывает предвечно существующий образ (как бы исконно присутствующий в иконной доске), освобождая его от всего случайного, наносного, ср. современное выражение *раскрыть образ*, которое восходит именно к такому пониманию творческого процесса; нанося краски, он как бы восстанавливает первоначальную более правильную реальность (ср. *раскрышка* как название краски, которой пользуются иконописцы, и т.п. — Успенский, 1995, с. 240). Эта аналогия между литературой и живописью не случайна: она объясняется принципиально одинаковым отношением к *т е к с т у* — словесному или изобразительному.

Коллективное авторство обусловлено тем, что с точки зрения самих создателей текста их деятельность вообще не является творчеством, и в этом смысле они не могут считать себя «авторами» текста (в этимологическом смысле этого слова, ср. *auctor* «творец»), ведь творчество — это создание чего-то нового, вообще создание, творение. Создатель древнерусского литературного текста в принципе не ставит перед собой такую задачу. Он *открывает* текст — подобно тому, как иконописец раскрывает икону — открывает созданное, т.е. онтологически как бы уже присущее и заданное.

Источник подобных воззрений — понимание литературы и литературного процесса как раскрытия истины. При таком понимании автор выступает в качестве посредника между Богом как подлинным создателем текста и читателем, т.е. его функции в некотором смысле оказываются аналогичными функциям священника. Поэтому творчеству — созданию литературного произведения (или иконы) — обязательно предшествовала молитва, а иногда и пост (эта практика сохраняется позднее у старообрядцев). Предполагалось, что в процессе творчества автору открывается свыше текст или изображение. Творчество рассматривалось в значительной степени как объективный (а не произвольный, волюнтаристский) акт, и, соответственно, этим определялся подход к тексту. При этом автор стремился донести до читателя не только содержание, но и отношение к нему, что требовало особого сакрального языка. Именно поэтому сочинение, перевод или переписывание книги было не гражданской профессией, но душе-спасительной деятельностью, которой занимались монахи и священники. В некоторых русских монастырях (например, в Ферапонтовом монастыре в XV в.) книжное дело вменялось в обязанность каждому монаху (Бочаров и Выголов, 1979, с. 253). Еще в XVII в. Симеон Полоцкий ставит литературное творчество в свое ежедневное монашеское правило: каждый день, наряду с молитвами, обязательными для монаха, он писал (Татарский, 1886, с. 340–341).

Между тем, это исключительно важно для понимания языковой ситуации: лишь те, кто умел писать, могли устанавливать нормы литературного языка. Умение писать на книжном языке — это прежде всего привилегия духовенства: писание, переписывание, сочинение были связаны по преимуществу с монастырской традицией. В этих условиях церковный (сакральный) язык закономерно выступает как язык литературный.

Задача литературы при таком понимании — раскрытие Божественной правды; правда содержится в канонических текстах, поэтому литература естественно ориентируется на эти тексты. Правдивость, истинность текста в предельном случае определяется его боговдохновенностью: так именно и воспринимаются в эпоху Средневековья канонические тексты. В силу сказанного наиболее показательными для суждения о литературном (церковнославянском) языке и оказываются канонические памятники, прежде всего евангелия и богослужебные тексты, где нормы литературного языка соблюдались особенно тщательно. Именно на такие тексты ориентируются древнерусские книжники, употребляя церковнославянский язык, именно они задают норму этого языка.

§ 5.2. Критерии применения церковнославянского и русского языка. Чем же обусловлен выбор церковнославянского или русского языка в условиях церковнославянской-русской диглоссии?

Следует прежде всего подчеркнуть, что обращение к русскому языку отнюдь не свидетельствует о невладении книжным церковнославянским языком, т.е. совсем не всегда объясняется простой неграмотностью, неспособностью писать (говорить) по-церковнославянски, но может иметь вполне сознательный характер — как употребление церковнославянского языка, так и употребление русского языка определяется при этом языковой установкой пишущего (говорящего). Соответственно объясняется смена языкового кода, т.е. чередование церковнославянского и русского языков в соответствии с меняющейся языковой установкой, которую мы наблюдаем в целом ряде текстов.

Иллюстрацией могут служить, например, всевозможные записи или приписки писцов в грамотно написанных церковнославянских текстах. Так, уже в Остр. ев. 1056—1057 гг. тексты, принадлежащие непосредственно самому писцу — дьякону Григорию, — более или менее отчетливо отличаются по языку от переписанного им евангельского текста, ср.: *ици задн. перегънѣвъ листа дѣва* (л. 265г), *да нже гораздѣе сего напише. то не мози зазърѣти мнѣ грѣшнику* (л. 294г); здесь же встречаем полногласные формы *Володимира, Новѣгородѣ* (л. 294в) — приведенными формами и исчерпываются, собственно, все случаи полногласия в данном памятнике, т.е. они встречаются исключительно в записях писца. Дьякон Григорий — бесспорно, образованный человек, который не просто списывал текст, но исправлял орфографию оригинала, контролируя ее своим книжным произношением. Таким образом, отмеченная разница в языке никак не может объясняться простой неграмотностью, но обусловлена исключительно языковой установкой — писец в данном случае говорит от себя, от своего лица и потому может пользоваться (в той или иной степени) русскими формами. Это различие, впрочем, в какой-то мере затушевывается тем обстоятельством, что заключительная запись Григория восходит (в общей композиционной схеме) к записи попа Упия Лихого на книге пророков с толкованиями 1047 г., т.е. отражает некоторый сложившийся стереотип послесловия (см. Карский, 1928, с. 281—282). Гораздо ярче представлено то же явление в разнообразных приписках, которые писцы делали на полях рукописей: церковнославянский язык основного текста может резко контрастировать с русским языком приписок (см., например: Соболевский, 1908, с. 35—38; Карский, 1928, с. 283—285; Седельников, 1927,

с. 66–70). Очевидно, что пишущий по-русски вообще более свободен в выборе средств выражения, менее к ним внимателен, поскольку здесь нет кодифицированной нормы; существенно, однако, что каждый раз отказ от применения церковнославянского языка осмыслен и неслучаен. Эта неслучайность подчеркивается тем фактом, что записи писцов могут быть сделаны в иной системе письма, а именно тайнописью (см., например: Сперанский, 1929, с. 85–86 и др.) — смена языкового кода в данном случае находит выражение в системе письма.

Подобное чередование языков находим и в древнейшем русском княжеском уставе, а именно в Уставе князя Владимира (старшие списки которого датируются XIV в.). Собственно юридический текст здесь написан по-русски, однако ему предшествует пространная преамбула, изложенная по-церковнославянски (Щапов, 1976, с. 14 сл.). Эта смена кодов отражает изменение установки пишущего: преамбула дает тексту общую религиозно-культурную санкцию (в ней говорится об установлении христианства на Руси), тогда как в дальнейших статьях излагаются конкретные юридические моменты. Совершенно аналогично в некоторых списках Русской Правды (в Пушкинской группе списков) русскому тексту этого памятника предшествует церковнославянское предисловие общеназидательного характера (Рус. Правда, I, с. 281–282, 299–300). Этот принцип чередования языков в зависимости от установки пишущего еще более отчетливо прослеживается в более поздних текстах, в частности, в целом ряде памятников Московской Руси; поскольку в Московской Руси сохраняется ситуация диглоссии (§ 14.1), мы вправе вообще привлекать к рассмотрению относительно поздние факты, проецируя их на древнейшее языковое состояние (по крайней мере, в качестве рабочей гипотезы).

Наглядным примером дистрибуции церковнославянского и русского языка в зависимости от языковой установки могут служить сочинения Ивана Грозного. Наряду с текстами Грозного, написанными по-церковнославянски (такими, как первое послание Курбскому 1564 г.) и по-русски (такими, как послание Василию Грязному 1574 г.), мы имеем тексты, где автор переходит с одного языка на другой. Так, в послании в Кирилло-Белозерский монастырь (1573 г.) Иван Грозный обращается к монастырской братии по-церковнославянски, но в дальнейшем переходит на русский язык и чередует тот и другой язык в соответствии с меняющейся языковой установкой. Описывая, как жили монахи в Троице-Сергиевом монастыре, Иван говорит (выделяем церковнославянский текст): *«А до толе у Троицы было крепко житие, и мы се видехом: и при нашем приезде потчивают множество, а сами чюственны пре-*

бывают. А во едино время мы своими очима видели в нашъ приезд. Князь Иоанн был Кубенской у нас дворецкой. Да у нас кушание отошло приезжее, а всеношное благовестят. И он похотел тут поести да испити — за жажду, а не за прохлад. И старец Симан Шюбин и инья с ним, не от бóльших (а большия давно отошли по келиам), и они ему о том как бы шутками молвили: “Князь Иван-су, поздо, уже благовестят”. Да сесь, сидячи у поставца, с конца ест, а они з другово конца отсылают. Да хватился хлебнуть испити, ано и капельки не осталось: все отнесено на погреб. Таково было у Троицы крепко, да то мирянину, а не чернцу! А и слышах от многих, яко и таковы старцы во святом том месте обреталися: в приезды бояр наших и велмож, их подчиваху, а сами никакोजе ни к чему касахуся, аще и вельможы их нуждаху не в подобно время, но аще и в подобно время, — и тогда мало касахуся» (Иван Грозный, 1951, с. 175–176). Итак, когда речь идет о монастырском порядке, применяется церковнославянский язык, когда же Грозный рассказывает о своем личном впечатлении, он переходит на русский язык. В некоторых случаях переход может быть внутри одной фразы, ср.: «Тако святии подвизахуся Христа ради; а у всех тех свои Шереметевы и Хабаровы были» (там же, с. 174). Грозный противопоставляет в данном случае подлинных монахов монахам, нарушающим иноческие правила (Шереметеву и Хабарову), — в первом случае употребляется церковнославянский язык, во втором — русский. Такой же переход от церковнославянского к русскому языку мы наблюдаем во втором послании Грозного Курбскому 1577 г. (там же, с. 208–211); церковнославянский язык применяется здесь, когда высказывается общее нравственное осуждение бояр, когда же выражаются личные претензии, употребляется русский язык. Таким образом, когда автор говорит как бы не от своего лица, употребляется церковнославянский язык; там же, где речь идет о предметах личного характера, о личных впечатлениях, находим русский язык, т.е. противопоставление церковнославянского и русского соответствует противопоставлению объективного и субъективного содержания.

Чередование того же типа мы наблюдаем и в Житии протопопа Аввакума, ср., например: «Слабоумием объят и лицемерием, и лжею покрыт есм; братоненавидением и самолюбием одеян; во осуждении всех человек погибаю, и, мняся нечто быти, а кал и гной есм, окаянной, — прямое говно! отовсюду воняю, — душою, и телом» (РИБ, XXXIX, стлб. 71). Аввакум переходит в процессе речи с объективной, Божественной точки зрения на точку зрения личную, и этот переход обозначается сменой языков. Равным образом церковнославянский язык в цитатах может соотноситься у Аввакума с русским языком в толкованиях, причем и здесь может иметь место

переход от объективной к субъективной позиции, ср. рассказ о грехопадении: *«Адам же и Ева сшита себе листие смоковичное от древа, от него же вкусиста, прикрыста срамоту свою; и скрыстася, под древо възлегоста. Проспались, бедные, с похмелья, ано и самим себя сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнех, со здоровных чаш голова кругом идет»* (там же, стлб. 671). Можно заключить, таким образом, что чередование русского и церковнославянского языков обусловлено у Аввакума не столько тематикой, сколько отношением говорящего к предмету речи — позицией, с которой ведется повествование (изложение событий).

Церковнославянские фрагменты могут быть обнаружены и у Котошихина в его сочинении «О России...», которое в целом написано на русском приказном языке. Так, в частности, Котошихин переходит на церковнославянский язык, когда говорит о иконопочитании (Котошихин, л. 78 об.). Замечательно, что Котошихин выступает при этом как противник иконопочитания, т.е. использование церковнославянского языка никак не связано в данном случае с изложением православной точки зрения на этот вопрос — оно обусловлено исключительно стремлением подчеркнуть объективный характер высказывания, восприятием его как относящегося к самому мироустройству, а не ко взгляду на него: если бы то же содержание (мнение о ложности иконопочитания) Котошихин выразил по-русски, данное высказывание выглядело бы как его личная точка зрения. Таким образом, Котошихин отказывается от православия, но не может отказаться от своего отношения к церковнославянскому языку: пользование церковнославянским языком выступает как чисто языковой, а не конфессиональный момент.

То обстоятельство, что Котошихин переходит с русского на церковнославянский в сочинении, предназначенном для шведской аудитории (что должно было пропасть в переводе и лишь затрудняло труд переводчика), показывает, насколько естественным было такое языковое поведение для русского человека середины XVII в.: церковнославянский язык оказывался необходимым компонентом языковой деятельности.

Аналогичное чередование церковнославянского и русского (приказного) языка представлено и в Уставной грамоте о мытах царя Алексея Михайловича от 30 апреля 1654 г.: по-церковнославянски говорится здесь о законодательной власти царя, о греховности притеснений, которые чинят откупщики, о непреложности и непреходящей значимости данного постановления; между тем, конкретные законодательные меры изложены по-русски (ПСЗ, I, № 122). Такого рода распределение церковнославянского и рус-

ского языка наблюдается и в других законодательных актах Алексея Михайловича (см., например: ПСЗ, I, № 415, 440).

Примеры такого рода нетрудно было бы умножить: вообще чередование церковнославянского и русского языков представляет собой чрезвычайно распространенное — можно сказать, типичное — явление, и это вполне понятно, поскольку явление это отражает реальную языковую деятельность (смену языкового кода в процессе речи, обусловленную меняющейся речевой установкой). Мы привели случаи, когда такое чередование проявляется в пределах одного текста: не менее показательно в этом отношении сопоставление разных текстов, принадлежащих одному и тому же человеку. Так, например, бытовые записки Курбского разительно отличаются по языку от написанной им же «Истории о великом князе Московском» — если «История...» написана по церковнославянски, то бытовые записки Курбский пишет по-русски (Улуханов, 1972, с. 23–24). Совершенно такое же отличие имеет место между «Временником» Ивана Тимофеева и написанными им деловыми бумагами. Как констатирует А. Шоберг, который подверг эти тексты сопоставлению, «на примере Ивана Тимофеева мы видим, что автор сознательно пользуется двумя разными письменными языками: русским — для повседневных нужд и церковнославянским — в своих историко-философских сочинениях» (Шоберг, 1979, с. 24).

Различие в употреблении церковнославянского и русского языка определялось, надо думать, различием между подлинной (высшей) и лишь эмпирически наблюдаемой реальностью — между объективным знанием и субъективным видением. Это различие находит отражение в семантическом противопоставлении таких слов, как *знати* и *въдѣти*, *kennen* и *wissen*, γνώσθης и ἴστωρ — первый член каждой из этих пар соотносится с подлинным (объективным) знанием, второй же — со знанием очевидца; на этом же основано, в сущности, и семантическое противопоставление *правды* и *истины* — уже в старославянском языке различаются по значению *истина* «то, что было на самом деле, в действительности» и *правда* «то, что должно быть, правильность, справедливость (которая в идеале совпадает с подлинной действительностью)». То же семантическое противопоставление реализуется в данном случае в противопоставлении самих языков (см. подробнее: Успенский, 1994, с. 48, 191–192).

Соответственно, если текст пишется лично от себя (положим, деловой документ, письмо), но не претендует на высшую, объективную значимость, следует ожидать применения русского, а не церковнославянского языка; если же описываемые события как-то соотносятся с высшей реальностью, если раскрывается или

подразумевается духовный смысл этих событий, язык будет церковнославянским. При этом как в том, так и в другом случае речь может идти о вполне конкретных событиях — все зависит от того, в каком ракурсе они рассматриваются. Переход с русского на церковнославянский язык обусловлен, таким образом, сменой субъективной речевой установки на объективную, как это и проявляется в рассмотренных выше текстах; объективность же определяется соотношением с высшей, сакральной действительностью.

Итак, применение книжного или некнижного языка определяется не непосредственно самим выражаемым содержанием, но отношением к этому содержанию со стороны говорящего (пишущего) как представителя языкового коллектива. Иными словами, различие между двумя языками предстает — в функциональном плане — как *м о д а л ь н о е* различие. Неточно было бы считать, например, что когда речь идет об ангелах, употребляется церковнославянский язык, а когда о людях — русский язык. Один и тот же мир объектов (или один и тот же событийный текст) в принципе может быть описан как тем, так и другим способом — в зависимости от отношения говорящего к предмету речи. Так, если в людях видят проявление сакрального начала или вообще если в тексте предполагается — эксплицитно или имплицитно — соотношение со сферой сакрального, уместно использование церковнославянского языка; в противном случае уместно использование русского языка. Соответственно, мы можем встретить в церковнославянском тексте, например, достаточно детальное описание работы пищеварительного тракта, как это имеет место в Похвальном слове св. Константину Муромскому — гомилетическом памятнике XVI в., явно предназначенном для произнесения с амвона: «И аще ли вопрошаєте моя худости: повѣждь намъ, любимче, почто ны созываеши во обитель пресвятыя Богородица честнаго ея Благовѣщенія..., и что-ли мзда будет сристанія нашего во святую обитель сию? — Не на плотное [т.е. плотское] веселіе созываю вы, но на духовное, не на земное пиршество, идѣже мяса и многоразличныя яди предлагаются, яже входять во уста, а въ сердце не вмѣщается и афедрономъ исходить и мотыло [кал] именуется, ни вино, ни медь гортань веселящее, а умъ помрачающее и въ дѣтородный удъ изливающееся и потомъ смрадомъ воняюще, но созываю вы на трапезу духовную» (Серебрянский, 1915, с. 244). Соотнесение со сферой сакрального в данном случае совершенно очевидно: плотская трапеза, предполагающая устремление мирской пищи *в н и з*, противопоставляется здесь трапезе духовной, предполагающей устремление духовной пищи *в в е р х*; тем самым, в этом контексте вполне оправдано применение церковнославянского языка.

В предисловии к сборнику пословиц, составленному во второй половине XVII в. («Повѣсти или пословицы всенароднѣйшыя по алфавиту»), — первому из известных сборников такого рода — говорится: «Аще ли речет нѣкто о писанных здѣ, яко не суть писана здѣ от Божественных писаній, таковый да вѣсть яко писана многая согласна Святому писанію, точію без украшенія, как мирстїи жители простою рѣчію говорят. И в лѣпоту от древних сіе умыслися еже в Божественная писанія от мірских притчей не вносить. также и в мирскія притчи, которое будет сличнѣ еже вносить от книг святых избранных, и приточныя строки, или мирскія сія притчи Божественнаго писанія реченіем приподобляти. обоя бо. аще и един имут разум. но иже своя мѣста держат» (Симони, 1899, с. 70–71). Итак, одно и то же содержание («един разум») может быть выражено как на церковнославянском языке, так и «простою речію»: применение того или другого языка определяется не содержанием, а общими смысловыми параметрами текста; в этих условиях книжный и некнижный языки «своя мѣста держат». Необходимость разъяснения такого рода становится актуальной в условиях разрушающейся диглоссии, когда расширяется круг текстов на некнижном языке: то, что ранее было общеизвестным, в это время нуждается в напоминании.

Церковнославянский язык предстает, следовательно, прежде всего как средство выражения боговдохновенной правды, он связан с сакральным, Божественным началом. Отсюда понятны заявления древнерусских книжников, утверждающих, что на этом языке вообще невозможна ложь. Так, по словам Иоанна Вишенского, «в языку словянском лжа и прелесть [дьявольская]... никакоже мѣста имѣти не может», и поэтому дьявол не любит этот язык и с ним борется; церковнославянский язык объявляется при этом «святым» и «спасительным», поскольку он «истинною, правдою Божию основан, збудован и огорожен есть» (Вишенский, 1955, с. 192, 194, 195). Соответственно, как утверждает Вишенский, «словенский язык... простым прилежным чтанием... к Богу приводит» и вообще, «хто спастися хочет и освятитися прагнет, если до простоты и правды покорнаго языка словенскаго не доступит, ани спасения, ани освящения не получит» (там же, с. 23, 194).

Так можно понимать самую идею противопоставленности церковнославянского и русского текстов в условиях церковнославянского-русской диглоссии. Разумеется, в целом ряде случаев эта идея не проявляется непосредственно (в чистом виде), и тексты пишутся по-церковнославянски потому, что они приравниваются к книжным текстам по вторичным признакам. В рассматриваемый период на церковнославянском языке пишутся книги библейского канона, апокрифы, богослужебная литература, жития, проповеди, учительная литература, памятники церковного права, сбор-

ники изречений и т.п. Вместе с тем церковнославянский язык закономерно используется в этот период и при переводах с греческого, поскольку сам факт бытования текста в византийской литературе делает произведение авторитетным в глазах русского книжника (как мы видели, еще до крещения Руси договоры русских с греками переводятся с греческого именно на церковнославянский язык, см. § 3.1.2). Византийская культура заимствуется на Руси вместе с религией, усвоение византийской образованности воспринимается как составная часть христианского просвещения (§ 3.2.1), и в этой струе на Русь попадают не только церковные, но и светские византийские тексты. В результате церковнославянский язык начинает функционировать не только как сакральный язык, но и как язык культуры, и, соответственно, оппозиция церковнославянского и русского может осмысляться не только как противопоставление сакрального и профанного, но и как противопоставление культурного и бытового. Вхождение текста в византийскую литературу определяет его культурный статус, который естественно сохраняется при переводе. Авторитетность содержания, мотивирующая применение церковнославянского языка, определяется в подобных случаях не непосредственной связью с сакральным началом, но именно культурным статусом текста; культурная традиция выполняет при этом как бы посредническую роль, соотнося текст с Божественной правдой, т.е. заставляет воспринимать его как выражение объективного знания.

В этой перспективе русский язык может восприниматься как язык непросвещенный, не-культурный. Русский летописец, говоря о крещении Руси и начале русской грамоты, цитирует пророка Исаию (XXXV, 5—6): «Сим же раздаяномъ на ученье книгамъ, събысться пророчество на Русьстѣй земли, глаголющее: “Во оны днии услышать глусии словеса книжная, и яснѣ будетъ языкъ гугнивыхъ”» (ПВЛ, I, с. 81). Итак, живая, некнижная славянская речь понимается как глоссолалия. В сущности, это кирилло-мефодиевская традиция: точно так же Кирилл Философ на венецианском диспуте (см. гл. XVI его Жития) цитирует Первое послание коринфянам апостола Павла (XIV, 39), уподобляя некнижную славянскую речь глоссолалии и призывая к тому, чтобы язык, который ранее звучал как глоссолалия, стал осмысленным (Лавров, 1930, с. 31—33) — осмысленность определяется возможностью использования его как средства распространения христианской истины.

Таким образом, с крещением Руси функции русского и церковнославянского языков противопоставляются, и церковнославянский язык приобретает значение литературного.

Наличие светских произведений в корпусе литературы на церковнославянском языке имеет принципиальное значение для по-

следующего расширения сферы функционирования этого языка. В самом деле, светские произведения византийской литературы могут выступать как прецеденты в литературном процессе Древней Руси. С течением времени на церковнославянском языке начинает появляться все больше светских сочинений: светские повести, исторические произведения (такие, как «История о великом князе Московском» Курбского XVI в., «История о Казанском царстве» XVI в., Повести Смутного времени XVII в. и др.). Это объясняется тем, что расширяется объем понятия литературы (книжной словесности), т.е. той области письменности, которая связывается с применением книжного (литературного) языка. При этом расширение этого понятия может быть обусловлено межлитературными связями, когда устанавливается корреляция между русской литературой и литературой в других странах, обуславливающая расширение тематического диапазона литературных произведений, — тут действуют не языковые, а собственно литературные процессы, т.е. литературная эволюция сказывается на функционировании литературного языка. Церковнославянский язык как полифункциональный литературный язык обслуживает всю сферу культуры — как бы существенно ни изменялся ее объем.

§ 5.2.1. Язык летописания. Как видим, переводы византийской литературы задают те эталоны, по которым строится русская литература. В частности, перевод на церковнославянский язык византийских хроник (например, Георгия Амартола, Иоанна Малалы) определяет языковые характеристики русских летописей: подобно хроникам, летописи пишутся на церковнославянском языке. Вместе с тем, как и византийские хроники, русские летописи характеризуются определенной моральной установкой, соотносящей историческое повествование с задачей раскрытия Божественной правды. «У летописца была своя “философия истории”, — писал И. П. Еремин, — реконструкцию ее облегчает нам сам летописец; имею в виду его многочисленные отступления от повествования, где он, в порядке авторского комментария к своему рассказу, касался иногда и вопросов общего, “философского” характера. Все они, эти его “философские” фрагменты, как показывает их изучение, посвящены одной по существу проблеме — происхождению добра и зла. Интерес летописца именно к этой проблеме понятен: решая вопрос о происхождении добра и зла, он тем самым осмыслил для себя весь ход исторического процесса». И далее: «...История человечества, рассматриваемая в своем наиболее общем аспекте, с точки зрения летописца, — история Божественного попечительства над человеком. Человек — субъект и объект исторического процесса. В нем и конечная цель исторического процесса: “Да явятся яко злато искушено в горну”. История — период временного, от грехопадения человека до второго

пришествия Господня на землю, “ослабленья Божьего”, временного торжества зла в мире, временной свободы человека, ибо не будь у человека права самоопределения в мире, не будь в мире зла — не было бы и истории. Исторический процесс — сумма чередующихся во времени исторических фактов; каждый факт, взятый в отдельности, — проявление доброй или злой воли человека; факты, взятые вместе, исторический процесс в целом — проявление Божественной воли. Она, Божественная воля, всемогущая и неисповедимая, — первопричина и демиург исторического процесса. В конечном счете все в мире, по убеждению летописца, совершается только “по Божью устрою”, “по изволенью Божью”; даже проявляя свою злую волю, человек, в сущности, действует по плану, заранее предусмотренному промыслом Божиим. Такова летописная “философия истории”, как восстанавливается она на основе “философских” фрагментов “Повести временных лет”» (Еремин, 1966, с. 64, 70—71). При таком осмыслении исторических событий последовательное применение церковнославянского языка в летописании оказывается естественным и закономерным. Следует заметить, что церковнославянский язык летописей нередко предстает как русифицированный (в той или иной степени), однако приходится говорить именно о русификации церковнославянского языка, а не о смене языкового кода — о церковнославянской природе летописного текста вполне определенно свидетельствует последовательное употребление глагольных форм аориста и имперфекта, а также синтаксические характеристики (ср. § 8.7; § 8.9).

§ 5.3. Юридические тексты и их значение в становлении церковнославянско-русской диглоссии. Мы говорили о памятниках на церковнославянском языке, т.е. о корпусе текстов, которые составляют литературу Древней Руси. Для понимания специфики древнерусской языковой ситуации существенно определить, какие тексты писались на книжном (древнерусском) языке. Сразу же надо сказать, что эти тексты неоднородны. Как по тематике, так и по языковым признакам здесь выделяются, с одной стороны, юридические тексты (прежде всего Русская Правда и княжеские уставы), с другой стороны, грамоты делового и бытового содержания.

Начнем с рассмотрения Русской Правды, т.е. того текста, который был краеугольным камнем в концепции С. П. Обнорского (§ 4.3).

Русская Правда дошла до нас в двух редакциях: краткой и пространной. Древнейшей редакцией является краткая. Часть ее была записана при Ярославе Мудром (в первой половине XI в.), и затем она была дополнена при сыновьях Ярослава (во второй половине

XI в.); она делится, таким образом, на Древнейшую Правду и Правду Ярославичей. В результате последующих дополнений в XII в. появляется Пространная редакция Русской правды. Древнейший список Пространной редакции дошел до нас в составе Новгородской кормчей 1282 г. Древнейший список Краткой редакции представлен в Академическом списке I Новгородской летописи (XV в.).

Если записана Русская Правда была, видимо, уже при Ярославе (в своем древнейшем варианте), то в устной редакции она возникла до этого — еще до крещения Руси. Упоминание о «русском законе» мы находим в договорах с греками 911 и 944 гг., причем здесь наблюдаются совпадения с текстом Русской Правды (Владимирский-Буданов, I, с. 14–15, 18–19; Карский, 1930, с. 3). Таким образом, текст Русской Правды фиксирует, видимо, древнейшее обычное право восточных славян и отражает, тем самым, дохристианскую и дописьменную традицию: письменная передача закрепила текст, уже сложившийся в устной форме. Отсюда объясняется нехарактерность славянизмов для этого памятника. Тем не менее, славянизмы здесь все же имеются, хотя и в малом количестве (Селищев, 1957/1968), что может указывать на элементы позднейшей редактуры, возможной как раз в процессе письменной фиксации устного текста; показательно в этой связи, что в поздних списках Русской Правды славянизмов больше, чем в ранних, т.е. писцы, переписывая текст этого памятника, заменяли некоторые русские элементы церковнославянскими. Однако даже и при наличии славянизмов язык Русской Правды безусловно остается некнижным русским языком.

Русская Правда в своем исходном виде представляет собой памятник дохристианской, языческой культуры. В этом качестве она входила в единый комплекс с языческими текстами ритуального характера (реликты которых сохраняются в фольклоре). Весь комплекс такого рода ритуальных текстов, по-видимому, заучивался наизусть и передавался как устная традиция от поколения к поколению. В ряде отношений древнейшие юридические тексты схожи с текстами народной устно-поэтической традиции; об этом говорит наличие повторов, параллельных конструкций, устойчивых формул и т.п.: формально-языковая структура этих текстов обусловлена необходимостью сохранять их в культурной памяти коллектива, не пользуясь письменностью. Формальное сходство древнейших мифопоэтических формул обнаруживается не только в славянской, но и в других индоевропейских традициях: оно становится вполне понятным, если иметь в виду ритуально-культульный характер архаического судопроизводства, когда судьи-арбитры при ритуальных прениях выступают в сущности как разнovidность языческих жрецов (Иванов и Топоров, 1981).

Ритуально-мнемонический характер древнейших юридических текстов сказывается на их однородной синтаксической структуре. Обычно юридическая статья распадается на две части, в первой излагается условие применения санкции, а во второй — сама санкция. Статья оформляется при этом как сложное предложение с имеющим условное значение придаточным, и условная связь выражается при этом соотнесенными местоименными и союзными формами в главном и придаточном предложениях, например: «Аще утнеть мечьмъ., то 12 гривнѣ за обиду» (Краткая Русская Правда), «Аже кто холопа ударить, то гривна кунѣ» (Смоленская грамота 1229 г.) и т.д.

Поскольку Русская Правда в своей основе сложилась в дохристианский период, язык этого памятника может быть отчасти архаическим уже для времени письменной фиксации текста. Если какие-то формулы и словосочетания могли передаваться из поколения в поколение благодаря устной традиции, то другие элементы текста могут соотноситься с иными хронологическими пластами. Таким образом, язык Русской Правды в принципе может быть хронологически гетерогенен.

Язык Русской Правды должен быть определен как нелитературный постольку, поскольку этому языку не учили. Обучение грамоте распространялось исключительно на церковнославянский язык. Заучивание юридических текстов к этому образованию отношения не имело. Предметом обучения является здесь не язык, а текст.

Необходимо иметь в виду, что славянская письменность знает также и юридические памятники на церковнославянском языке. Некоторые византийские юридические тексты были переведены на церковнославянский язык еще в IX в., причем перевод их связывается с авторитетным именем св. Мефодия. Эти книги — «Закон Судный людем» и «Номоканон» Иоанна Схоластика — были хорошо известны в Древней Руси и распространялись во многих списках. Позднее к ним прибавились и другие переводы византийских юридических кодексов — Эклоги и Прохирона (последний памятник в славянской письменности известен под названием Градского закона). Можно было бы ожидать, что с принятием христианства будет в той или иной мере принято и византийское законодательство (как это происходило с римским правом в странах Западной Европы). Этого, однако, не произошло: хотя соответствующие кодексы получили достаточно широкую известность, они, видимо, не имели практического применения — их перевод и распространение были обусловлены не практическими задачами, а задачами культурными, т.е. они переводились и переписывались постольку, поскольку воспринимались как часть византийской культуры (ср. § 3.2.1); при этом перевод с греческого закономерно обу-

словливал применение церковнославянского языка (§ 5.2). В результате церковнославянский язык был с самого начала исключен из области законодательства и судопроизводства, что и обусловило сохранение Русской Правды в качестве действующего юридического кодекса. На Руси складывается особая ситуация, когда право на литературном языке оказывается недействующим, а действующее право пользуется языком нелитературным (см. Живов, 1988).

Эта особая ситуация складывается, видимо, сразу же после крещения Руси. Представляется крайне знаменательным следующий эпизод, о котором рассказывает летопись под 996 г. Владимир, живя «въ страсть Божьи» и боясь греха, сначала не казнил разбойников, а брал виры (штрафы). Это означает, что, будучи христианином, он следовал нормам славянского, а не византийского права. По настоянию епископов — конечно, греческих — он ввел нормы византийского законодательства, «отверг виры, нача казнити разбойники». Но затем старцы (т.е. хранители патриархального уклада) посоветовали ему снова заменить казнь вирами; отменив свое прежнее решение, Владимир стал жить «по устроению отню и дѣдню», т.е. по Русской Правде (ПВЛ, I, с. 86–87; ср. Успенский, 1994, с. 14–15; Живов, 1988, с. 48–49). Этот прецедент был очень значительным по своим последствиям, имея, по видимому, самое непосредственное отношение к становлению церковнославяно-русской диглоссии. Дифференциация книжного — некнижного совпадает с дифференциацией сакрального — мирского — или шире: культурного — бытового, — не совпадая в то же время с дифференциацией письменного — устного. В результате появляется особая сфера письменности, так или иначе ассоциирующаяся с мирским, бытовым началом и в силу этого как бы недостойная применения книжного, церковнославянского языка — деловая (в широком смысле) и бытовая письменность. Исключительный престиж церковнославянского языка как языка прежде всего сакрального не допускал применения его в сфере повседневной жизни.

Таким образом, «с самого начала язык права сделался в полном смысле слова государственным административным языком и остался им вплоть до XVIII в. Это сосуществование двух различных письменных языков — церковнославянского литературного и русского административного — является самой оригинальной чертой языкового развития в России. Подобного противоположения не было ни у западноевропейских, ни у западнотлавянских народов — поляков и чехов» (Унбегаун, 1965/1969, с. 314). В России же административное, юридическое как бы выключалось из области подлинной культуры.

Показательно в этом смысле высказывание Курбского в предисловии к книге «Новый Маргарит»: «Аз... бояхся, иж от младости

не до конца навыков книжного словенского языка, понеж безпрестанне обращахся и лѣта изнурах, за повелѣніем царевым, в чину страшилаком, потом в синглицком, исправлях дѣла овогда судебные, овогда совѣтническіе, многождо же и частократ с воинством ополчахся против врагов креста Христова» (Архангельский, 1888, прилож., с. 13). Итак, «синклитская», т.е. административная — судебная, советническая и т.п. — деятельность никак не способствует, по мнению Курбского, приобретению литературного языка.

Сходным образом киевский митрополит Петр Могила писал, что использование церковнославянского языка, как и греческого, в административных или политических делах было бы не только неправильным, но и непристойным: «Неправильно и непристойно было бы, если бы кто... в Сенате или в Посольской избе говорил по-гречески или по-церковнославянски...» (Архив Ю.-З. Руси, IX, с. 374–376).

Как мы видели, распределение сфер влияния книжного (церковнославянского) и некнижного (русского) языка соотносится с противопоставлением импортированной византийской культуры и дохристианских русских обычаев. Для отношения к церковнославянскому языку крайне показательно, что византийские юридические тексты, будучи переведены на церковнославянский язык, начинают восприниматься как тексты сакральные, несмотря на их вполне светское содержание (см. Живов, 1988, с. 63–64, 101–102; Дьяконов, 1889, с. 21); это прямо обусловлено пониманием церковнославянского языка как средства выражения боговдохновенной истины (§ 5.2). Так, когда Вассиан Патрикеев, составляя новую редакцию Кормчей (первая треть XVI в.), устранил из нее Градской закон — именно в силу его недуховного содержания, — это вызвало обвинение его в неблагочестии: митрополит Даниил прямо указывал при этом, что светское византийское законодательство неотъемлемой частью входит в святоотеческое предание, «понеже градскіи закони священнымъ правиломъ послѣдуютъ... яко же святіи отци устави и утвърдили и запечатлѣли» (Казакова, 1960, с. 285–286). Аналогичным образом Иосиф Волоцкий в «Просветителе» (начало XVI в.) утверждает, что тот же Градской закон исходит от святых отцов, рассматривая его наряду с церковными установлениями: «Аще убо святіи отцы... учиниша Божественая правила и законы и словеса святыхъ отецъ, ꙗже от устъ самаго Ісуса святыя Его заповѣди, со всѣми же сими и градстіи закони сочеташа святіи отцы древніи. И кто убо дерзнетъ сихъ отложити или похулити, ꙗже от святаго Духа и святыхъ отецъ пріята быша, и сочетана всѣмъ божественнымъ писаніемъ» (Иосиф Волоцкий, 1855, с. 537–538). Столь же характерно, что в одном каноническом сборнике того же XVI в. (ГИМ, Увар. 578/482) тридцать девятый

титул Прохирона (Градского закона), специально посвященный уголовным наказаниям, озаглавлен: «Заповѣди по преданію святыхъ правилъ избранная, о казнѣхъ, по повелѣнію святыхъ отецъ и по уставу святыхъ царей» (Леонид, I, с. 649). Итак, византийские светские кодексы устойчиво ассоциируются на Руси с патристической литературой, и это объясняется тем, что они были переведены здесь на церковнославянский язык. Церковнославянский язык как язык культа и культуры (§ 5.2) может определять культовый статус культурных текстов.

Сосуществование церковнославянских и русских юридических кодексов создает особые лексические отношения в сфере юридической терминологии. «В этой области церковнославянские и русские лексемы последовательно противопоставлены, образуя целый набор коррелянтных пар — русские термины не встречаются в церковнославянских юридических текстах, церковнославянские термины не характерны для древнейших русских юридических памятников» (Живов, 1988, с. 49–50). Это не противоречит тому, что говорилось выше (§ 4.4) о лексической проницаемости, т.е. о нехарактерности функционального противопоставления русского и церковнославянского языков на лексическом уровне. Действительно, русские термины, вообще говоря, могут употребляться в церковнославянских текстах, однако они, как правило, не наблюдаются в корпусе церковнославянских юридических памятников, переведенных с греческого. Равным образом церковнославянские термины могут встретиться в русских текстах, но они нехарактерны — особенно на начальном этапе — для русских юридических кодексов. Это ограничение относится не к языку, а к определенной разновидности текстов.

Приведем примеры коррелирующих церковнославянских и русских терминов: рус. *правда* (затем *уставная грамота, судная грамота, судебникъ, уложение*) — церковнослав. *законъ, законоположение, заповѣдь* («право»), рус. *человѣкъ* — церковнослав. *лице* («субъект права»), рус. *холопъ* — церковнослав. *рабъ* («холоп, челядин»), рус. *обида* (затем *лихое дѣло, воровство, дурно, кривда*) — церковнослав. *проказа* («преступление»), рус. *головщина* — церковнослав. *убиство* («убийство»), рус. *домъ, животь* — церковнослав. *имѣние, стяжаніе, притяжаніе* («имущество»), рус. *задница* (затем *статокъ, статокъ, остатокъ, останокъ*) — церковнослав. *наслѣдіе, причастіе* («наследство»), рус. *рѣзь* (затем *ростъ*) — церковнослав. *лихва* («ростовщический процент», ср. еще рус. термины *накладъ, намъ* с тем же значением), рус. *видокъ* — церковнослав. *свѣдѣтель* («свидетель», ср. нейтральное *послухъ*), рус. *должебитъ* — церковнослав. *заимодавецъ* («кредитор», ср. нейтральное *должникъ* в том же значении), рус. *душевная (духовная) грамота, рукописание* — церковнослав. *завѣтъ, завѣщаніе, с(о)вѣтъ, с(о)вѣщаніе* («завещание»); слово *рукописание* представляет собой заимствование из церковнославянского языка, бу-

лучи калькой с греч. χειρόγραφον, однако как в греческом, так и в церковнославянском соответствующее слово имеет значение не завешания, а долговой записи; таким образом, это слово является славянизмом по своему происхождению, но русизмом — по значению, т.е. семантическим русизмом (см. Унбегаун, 1957/1969; Унбегаун, 1959/1969; Живов, 1988, с. 50–53, 87–90). Если четкое противопоставление церковнославянской и русской терминологических систем характерно для начального периода, то позднее происходит постепенная славянизация русской юридической терминологии, что может быть связано с книжными (церковнославянскими) навыками писцов, переписывавших юридические кодексы (древние русские юридические памятники дошли до нас, как правило, в составе кормчих, основной материал которых излагался на церковнославянском языке) (см. подробнее: Живов, 1988). Эта славянизация осуществляется на лексическом уровне и никак не изменяет характера языка: язык оставался русским, независимо от насыщенности церковнославянской лексикой: иначе говоря, язык такого рода не воспринимался как книжный церковнославянский, он может быть квалифицирован как славянизированный (окниженный) русский. Русские юридические памятники пишутся на не книжном языке в течение всего периода диглоссии — начиная от Русской Правды и кончая Уложением царя Алексея Михайловича 1649 г.

В целом ряде случаев церковнославянские юридические термины совмещают юридическое значение с религиозным — в полном соответствии со значением соответствующих греческих слов. Так, например, *законъ* и *заповѣдь* могут означать как юридическую норму, так и норму религиозную, и это отвечает значению греч. νόμος и διόταξις; *проба* означает как «преступление», так и «согласие» в соответствии с греч. ἀμαρτία, ἀμαρτήμα, ἀμαρτία; *завѣтъ* означает как «завешание», так и «договор между Богом и человеком», что восходит к греч. διαθήκη (ср. лат. *testamentum*); *рабъ* выражает как социальную, так и религиозную зависимость, калькируя греч. δοῦλος (ср. *раб Божий* — Θεοῦ δοῦλος); наконец, *лице* соединяет значения юридического лица и одной из ипостасей Троицы, ср. греч. πρόσωπον (или же лат. *persona*). При этом в своем религиозном значении данные слова могут употребляться как в церковнославянских, так и в русских текстах, выступая в последних как славянизм, тогда как в собственно юридическом значении они оказываются противопоставлены собственно русским терминам (Унбегаун, 1957/1969, с. 180–182; Живов, 1988, с. 59). Эта двусмысленность церковнославянских юридических терминов должна была способствовать тому восприятию памятников византийского законодательства, о котором мы говорили выше, т.е. восприятию церковнославянских юридических текстов как текстов сакральных.

§ 5.4. Деловая и бытовая письменность. Письменная фиксация русского права создает прецедент письменности на русском не книжном языке. Эта письменность достаточно скоро рас-

ширяет свои границы, охватывая всю сферу деловых и бытовых отношений. На этом языке пишутся разнообразные деловые документы (купчие, закладные и др. грамоты), ведется частная переписка, составляется государственная документация.

Говоря о русском языке подобных текстов, мы не имеем в виду полного совпадения этого языка с живой речью. Всякая письменная фиксация может привносить элементы литературной обработки, связанные с письменными навыками писца. Поскольку в русских условиях элементарное образование было связано именно с церковнославянским языком, мы наблюдаем в древнерусских документах (грамотах) те или иные элементы славянизации. Отличия языка грамот от живого разговорного языка в ряде аспектов могут быть даже большими, чем в случае Русской Правды, поскольку грамоты могут быть никак не связаны с устной традицией. Итак, если отличия языка Русской Правды от живой речи объясняются ее архаичностью (традиционностью), то соответствующие отличия языка грамот объясняются связью со специальной письменной традицией. Язык грамот не является книжным языком не потому, что люди, которые их писали, не владели церковнославянским языком, — так можно было бы объяснить эпистолярные тексты (берестяные грамоты), но так трудно объяснить грамоты, которые писались по-русски представителями духовенства (например, грамота Варлаама Хутынского 1192–1210 гг.).

Наиболее известный пример делового текста — Мстиславова грамота, дарственная грамота новгородского князя Мстислава Юрьеву монастырю, данная около 1130 г. Мы наблюдаем здесь лексические и синтаксические славянизмы (Исаченко, 1970), характерную церковнославянскую начальную формулу *сѣ азъ* (ср. русские местоименные формы *я* и *я* в основном тексте грамоты) и даже «выдержанное церковнославянское правописание» (Дурново, 1969, с. 97; ср. Успенский, 1973/1997, с. 219). Если гречизмы в Мстиславовой грамоте должны быть отнесены на счет лексических заимствований, то церковнославянское правописание обусловлено тем, что сами навыки письма приобретались в процессе обучения церковнославянскому языку: при обучении письму, которое имело профессиональный характер (§ 6.3.1), естественно усваивались определенные орфографические навыки, присущие правописанию книжных текстов. Тем не менее, данная грамота, как и другие грамоты, в целом написана бесспорно на русском языке. Речь может идти лишь о славянизации русской речи, проявляющейся в подобных текстах прежде всего на лексическом и орфографическом уровне.

Славянизация может иметь место и в определенных формулах. Эти формулы обычно встречаются в начале или в конце текста.

Так, в начале грамот появляются такие устойчивые сочетания, как *се азъ.., во имя Отца и Сына и Святаго Духа.., во имя святыя животначальныя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа.., благословение от владыки* и т.д. Такие клише могут отражать греческую канцелярскую традицию. Так, формула *се азъ* восходит к формуляру греческого частного акта, и именно перевод с греческого обуславливает, видимо, появление здесь славянизма (Золтан, 1987). В дальнейшем формула *се азъ* становится традиционным зачином русских деловых документов, — оставаясь в употреблении по крайней мере шесть столетий. Показательно, что Петр I в указе 1701 г. упоминает о крепостных грамотах, которые «писаны с начала *се азом*, по древнему обыкновению» (ПСЗ, IV, № 1833). Н. А. Мещерский показал, что и в берестяных грамотах существовали определенные формулы начала и конца, например, в начале грамоты *поклон* [или *покланяние*] *от такого-то к такому-то* (форма *покланяние* в этой формуле сменяется формой *поклон* в XIII в.; вопреки распространенному мнению, нет оснований рассматривать *покланяние* как славянизм); в концовке грамоты встречается оборот *добрь сътворя* (в значении «будь добр, пожалуйста»), в котором Мещерский видит кальку с греческого, проникшую, очевидно, через церковнославянскую переводную письменность (Мещерский, 1958, с. 100; Мещерский, 1963, с. 213–215; ср. Ворт, 1984, с. 321–322; Зализняк, 2000, с. 281). Такого рода примеры могут быть умножены — можно отметить еще оборот *цѣлую тя*, который появляется в конце берестяных грамот и который представляет собой заимствование из книжного языка: с одной стороны, *цѣловати* выступает в значении «приветствовать», что нехарактерно для русских текстов (§ 8.10), с другой же стороны, здесь представлен эффект второй палатализации, отсутствие которого ожидается в древненовгородском диалекте (§ 8.2.6; ср. Зализняк, 1995, с. 323). Из подобных фактов Мещерский делает вывод, что новгородские грамоты на бересте могут быть признаны памятниками литературного языка. С этим невозможно согласиться: здесь можно усматривать лишь элементы нормализации речи, текста, но никак не нормализацию языка. Точно так же, например, в XX в. письма могли оканчиваться концовками типа «жду ответа, как соловей лета» или какими-либо другими устойчивыми сочетаниями, из чего никак не следует, что соответствующие тексты могут быть признаны памятниками литературного языка. Если и усматривать здесь элементы стилистики, то речь может идти лишь о стилистике т е к с т а, но не о стилистике языка. Между тем литературный язык в той языковой ситуации, которая имела место в Древней Руси, связан прежде всего с функциональным стилистическим противопоставлени-

ем самих языковых систем, а не текстов, т.е. в принципе не связан с чисто текстовыми признаками. В современном языке мы можем выделить стилистические признаки тех или иных текстов, например, научного изложения, художественной прозы и т.д. Эти признаки основываются на противопоставлении текстов внутри одного и того же языка. Напротив, в Древней Руси противопоставляют-ся не тексты, а языки — книжный и некнижный.

Различие между нормализацией языка и нормализацией текста совершенно очевидно. В первом случае — нормализации языка — если в тексте встречается некоторый языковой признак (например, неполногласие, сочетание *жд* и т.д.), надо ожидать появления и других языковых признаков того же порядка (например, *раз-*, а не *роз-*, и т.п.). Во втором случае — нормализации текста — если имеется текст определенной категории, то в фиксированном месте мы можем ожидать появления того или иного элемента.

Наличие устойчивых фразеологических сочетаний не может вообще свидетельствовать о литературном характере текста. Устойчивые фразеологические сочетания достаточно часто встречаются и в разговорной речи. Более того, целый ряд фразеологических сочетаний может возникать в устной речевой практике и характеризовать определенные речевые ситуации. Так, некоторые типы грамот имеют в качестве зачина формулы вида *се купи* (в начале купчих грамот), *се заложи* (в начале закладных грамот) и т.п. Эти формулы могут восходить к ритуалу совершения соответствующего акта — купли, залога и т.д. — и иметь перформативный характер. Иначе говоря, эти слова могли произноситься при совершении соответствующей сделки в качестве ритуальной формулы, как раз и обозначающей, что данный акт совершен (ср. Зеeman, 1983, с. 555 сл.; Зеeman, 1984, с. 115 сл.). Если принять это предположение, то эти ритуальные формулы должны иметь архаический характер, и употребление в них аористных глагольных форм объясняется их архаичностью. Если же считать, что мы имеем здесь дело с формуляром делового документа, то аористная форма должна рассматриваться не как архаизм, а как славянизм, обусловленный тенденцией к нормализации письменного текста. В любом случае такие формулы выступают как характеристики типа документа, озаглавливающие его и тем самым противопоставленные основной части текста.

Разумеется, устойчивые сочетания могут встречаться в деловой письменности не только в зачине или концовке, однако они всегда мотивированы контекстом (например, *преступити крестное цѣлование, общимъ советомъ, блаженныя памяти* и т.п.). Подобные фразеологизмы функционально эквивалентны лексическим

заимствованиям из церковнославянского языка, их устойчивость поддерживается письменной традицией, формирующейся в канцеляриях. Об устойчивости канцелярских оборотов, связанных с письменной традицией, можно судить по тому, что еще в XIX в. в документах мы часто встречаем аористную форму *умре* вместо *умер* — много веков после того, как аорист исчез из разговорного языка (при этом приказное *умрэ*, по-видимому, было противопоставлено по ударению церковнослав. *ѹмре*, что может указывать на освоение данной формы в рамках специальной канцелярской традиции, ср. § 17.2.2).

Таким образом, канцелярская традиция может способствовать сохранению славянизмов в составе устойчивых формул. Это характерно именно для деловой, а не для эпистолярной письменности. В эпистолярной же письменности, не связанной прямо с канцелярской традицией и в большей степени ориентированной на бытовую разговорную речь, подобные формулы не характерны или, во всяком случае, менее устойчивы.

Заканчивая обзор памятников юридической, деловой и бытовой письменности, необходимо подчеркнуть, что не существует древнерусских текстов, полностью независимых от книжной (церковнославянской) традиции. Сам процесс письменной фиксации текста противоречил этому. Поскольку письменность связана с книжным языком, в процессе письменной фиксации неизбежно привносились в той или иной степени элементы этого языка — даже и при отсутствии сознательной установки на славянизацию текста. Здесь уместна аналогия с физикой: наблюдатель, фиксируя физические явления, влияет на них, и поэтому сами явления могут быть лишь реконструированы как конструкт. Сходным образом, письменная фиксация связана с определенным осознанием языка, которое обусловлено именно книжной, литературной традицией. Соответственно, исследователь живой речи вынужден реконструировать древнее состояние русского языка, поскольку он не располагает текстами, в которых древнерусская речь была бы непосредственно отражена (между тем исследователь литературного языка находится в более выгодном положении). Для позднего времени такие тексты есть — это записи иностранцев, которые, естественно, были свободны от влияния русской письменной традиции. Однако для древнейшего периода мы почти не имеем записей такого рода, если не считать отдельных лексем (например, у Константина Багрянородного). Исключение составляет небольшая русская фраза из «Теогонии» Иоанна Цеца, о которой мы упоминали выше (§ 4.9), однако и эта фраза, как уже было отмечено, лишь условно может считаться русской.

§ 6. Методологические проблемы интерпретации письменных источников

§ 6.1. Общие замечания: русизмы как явления книжного языка и как явления живой речи. Определив языковую ситуацию Древней Руси как ситуацию диглоссии, мы должны рассмотреть теперь формальные отличия книжного языка от не-книжного, т.е. установить, по каким признакам церковнославянский язык русской редакции отличался от древнерусского разговорного языка. Эти отличия определяют дистанцию между литературным и нелитературным языком, они указывают границы нормы и противопоставляют в языковом сознании нормированную и ненормированную речь. Как уже говорилось (§ 4.4), русский извод церковнославянского языка образуется как результат адаптации церковнославянского языка южнославянского извода на русской почве. В процессе такой адаптации русский извод церковнославянского языка усваивает целый ряд черт восточнославянского происхождения, т.е. он подвергается русификации. Соответственно, вопрос о признаках, противопоставляющих церковнославянский язык русской редакции и русский разговорный язык, не может решаться как вопрос генетический, т.е. не сводится к вопросу о южнославянском или восточнославянском происхождении тех или иных языковых элементов. Набор признаков, определяющих церковнославянский или русский характер языка, основывается не на данных сравнительно-исторической грамматики, а на функциональном противопоставлении языков.

Необходимо, таким образом, отличать признаки церковнославянского языка русской редакции, входящие в норму этого языка, от признаков живого русского языка, находящихся вне этой нормы; иначе говоря, следует различать русизмы как явления книжного языка (определяющие специфику русского извода церковнославянского языка по сравнению с другими изводами) и русизмы

как явления живой речи (определяющие противопоставление книжного и некнижного языка на Руси). Так, например, написание ж (а не *жд*) в соответствии с общеславянским **dj* безусловно входит в норму русского церковнославянского языка XII—XIV вв.; подобные признаки определяют противопоставление церковнославянского языка русской редакции и церковнославянского языка южнославянских редакций, не определяя при этом противопоставления русского книжного (церковнославянского) и некнижного языков. Между тем, написание ч (а не *ц*, *шт*, *шч*) в соответствии с общеславянским **tj* представляет собой явное отклонение от книжной нормы, которое в церковнославянском тексте может иметь лишь непреднамеренный характер и должно расцениваться как ошибка, результат окказионального влияния живой речи; подобные признаки и определяют дистанцию между книжным и некнижным языком. Разграничивая русизмы первого и второго рода, мы начнем с рассмотрения русизмов, которые входят в книжную норму, иначе говоря, с характеристики признаков русской редакции церковнославянского языка в отношении к старославянскому языку.

Старославянский язык интересует нас не сам по себе, но как представитель церковнославянского языка южнославянского извода. Специфические признаки русской редакции церковнославянского языка естественно определять по отношению к тому языку, который был импортирован на Русь в процессе первого южнославянского влияния. Старославянский язык оказывается для нас достаточно представительным, поскольку в тех своих признаках, в которых он противопоставлен русской редакции церковнославянского языка, он совпадает с позднейшей южнославянской редакцией этого языка. Исходя из этого, естественно предположить, что в этих своих признаках он совпадает и с тем церковнославянским языком (с учетом возможности разных его вариантов, например, македонского и восточноболгарского), который пришел на Русь в X—XI вв.

Далее мы займемся рассмотрением тех формальных признаков, которые образуют дистанцию между книжным и некнижным языком (см. § 8). Но для того чтобы определить те русизмы, которые характеризуют древнерусский разговорный язык, необходимо, очевидно, сперва определить те русизмы, которые для него не специфичны — в том смысле, что они характеризуют и литературный язык (см. § 7).

К сказанному необходимо добавить, что противопоставление книжного и некнижного языка, строго говоря, не является стабильным: оно может по-разному реализовываться в разное время и даже в разных условиях; соответственно, не является стабильным и различение русизмов как явлений книжного языка и русиз-

мов как явлений живой речи. В некоторых случаях признаки, которые первоначально были маркированы как не книжные, представляя собой русизмы второго рода, с течением времени становятся нейтральными, т.е. оказываются допустимыми в книжной норме; тем самым они переходят в разряд русизмов первого рода (ср. ниже, § 8.1.2; § 8.5.1). В подобных случаях происходит перестройка отношений между коррелятными признаками, которая ближайшим образом напоминает перестройку фонологической системы и может описываться в тех же терминах — как переход от эквиполентной оппозиции к привативной (ср. Трубецкой, 1960). Таким образом, русизмы второго рода могут становиться — в каких-то случаях — русизмами первого рода (при том, что обратное невозможно), но для того, чтобы описать этот процесс, необходимо задать первоначальные параметры, т.е. определить те исходные противопоставления, в рамках которых и осуществляется последующая перестройка отношений.

§ 6.2. Факторы, обуславливающие вариативность написаний. Все эти вопросы в большой степени связаны с проблемой интерпретации письменных источников. Интерпретируя письменные источники, мы постоянно сталкиваемся с вопросом о том, что является нормой, а что — отклонением от нее. Само по себе понятие нормы для рассматриваемого периода допускает большую вариативность, что не исключает достаточно четкой границы между нормой и не-нормой. Эта граница определяется ограниченным набором релевантных признаков, которые мы и должны реконструировать; вариативность, очевидно, может иметь место лишь вне данного набора признаков и относится к признакам нерелевантным, не противопоставленным в пределах нормы.

Принципиальная вариативность церковнославянской языковой нормы обуславливает, между прочим, возможность разных написаний одного и того же слова (как у разных писцов, так даже и у одного писца); такая вариативность особенно ярко проявляется в текстах, написанных разными писцами, которые могут следовать при этом разным орфографическим принципам. Вообще, если судить о книжном языке по имеющимся — даже и наиболее представительным — памятникам, выясняется, что они неоднородны. Это не обязательно означает, что какие-то тексты соответствуют норме, а другие отклоняются от нее, — просто одновременно действует несколько факторов, обуславливающих вариацию написаний.

Можно выделить следующие факторы:

1. Отражение протографа.
2. Отражение орфографической традиции (графический традиционализм).

3. Отражение книжного произношения (фонетический традиционализм).
4. Окказиональное отражение живой речи.

Что касается последнего фактора, то в данном случае мы имеем дело с отклонением от нормы, которое не имеет отношения к рассмотрению нормы как таковой. Все же остальные факторы так или иначе существенны для характеристики нормы. Рассмотрим их в последовательном порядке.

§ 6.2.1. Отражение протографа. Влияние протографа до некоторой степени определяет различие текстов, списанных с южнославянских оригиналов, и оригинальных текстов, сочиненных или переведенных на Руси. Следует при этом иметь в виду, что наиболее почитаемые тексты — это именно те тексты, которые переписывались с южнославянских оригиналов; эти тексты служили образцами для других. Поскольку в подобных текстах как раз и могли отражаться явления протографа, соответствующие явления могли переноситься и в оригинальные тексты, но уже как орфографические явления, становясь при этом явлениями языка, а не конкретного текста. Так, русские писцы могли усваивать написание тех или иных слов, встретившихся им в южнославянских памятниках, и воспроизводить его при переписке других текстов, а также при порождении текстов оригинальных (так, например, отражение южнославянских написаний может быть обнаружено даже в русской по языку Мстиславовой грамоте около 1130 г., поскольку эта грамота выдержана в книжной орфографии, см. § 5.4). Однако мы имеем в подобных случаях фактически уже не влияние протографа, а формирование определенной орфографической системы (которая лишь генетически восходит к южнославянским написаниям, представляя собой результат их усвоения в русских условиях).

С начала XII в. влияние протографов постепенно сходит на нет (хотя этот процесс с неодинаковой быстротой захватывает разные признаки), закрепляясь в отдельных формах. Об этом можно судить по тому, что в ряде рукописей южнославянские написания последовательно исправляются на русские (ср. § 7.2; § 7.5.2; § 7.5.4; § 7.11.1). Таким образом, влияние протографов характерно главным образом для XI в., когда формируется собственно русская норма церковнославянского языка. Впоследствии же южнославянские написания находятся на периферии нормы в том смысле, что они могут быть зафиксированы в текстах, но не являются результатом сознательной языковой деятельности. Можно сказать, что они представляют собой как бы допустимые отклонения от нормы (в отличие от написаний, обусловленных влиянием живой речи,

которые представляют собой недопустимые отклонения от нормы). Таким образом, как влияние живой речи, так и влияние южнославянских протографов определяют окказиональные отклонения от той языковой нормы, которая складывается на Руси; однако в одном случае эти отклонения престижны, будучи оправданы книжной традицией (влияние протографа), в другом же случае — они не престижны и поэтому книжной традицией не терпят (влияние живой речи).

«Нередко в работах, посвященных анализу правописания старинных памятников языка, все написания памятника сводятся к двум источникам: написаниям оригинала и передаче живого произношения писца. Несомненно, такой подход ошибочен. Как правило, писцы вообще не стремятся к передаче своего личного произношения. Это видно из того, что в любом старинном тексте ряд особенностей произношения писца проскальзывает только в виде немногих ошибок против принятого писцом правописания. Не менее ошибочно думать, что сколько-нибудь грамотные писцы стремились к точной передаче написаний своих непосредственных оригиналов. В этом мы можем убедиться из рассмотрения рукописей, списанных одним писцом с разных оригиналов или, наоборот, разными писцами с одного оригинала» (Дурново, 1933, с. 45). Так, в Усп. сб. XII—XIII в., написанном двумя писцами, «правописание первой половины жития Феодосия, писанной первым писцом, не отличается от правописания переводных повести пророка Иереми и жития Афанасия, а правописание второй половины жития Феодосия, писанной вторым писцом, — от правописания писанных им же житий Ирины и Иова, между тем как правописание этих двух частей жития, восходящих к одному оригиналу, сильно разнится» (Дурново, IV, с. 74—75). Книжные писцы получали специальную выучку, и эта выучка, видимо, состояла в овладении рядом орфографических правил — грамотность писца проявлялась не в том, насколько он следует протографу, а в том, насколько тщательно он соблюдает усвоенные им правила. Грамотный писец вполне может не доверять своему оригиналу и считать необходимой правку встречающихся в нем форм в соответствии с той орфографической нормой, которой он следует. Показательно, что на исповеди русские писцы могли каяться следующим образом: «Книги писах и не правихъ», «И писахъ книги божественныя и не исправляхъ» (Алмазов, III, с. 238; Петухов, 1888, с. 45).

Соответственно, анализ правописания русских рукописей XI—XII вв. приводит «к выводу, что большая часть русских писцов в своем правописании руководилась не столько написаниями своих непосредственных оригиналов и своим живым произношением,

сколько усвоенной ими традиционной орфографией и особым книжным или церковным произношением» (Дурново, IV, с. 73). Это отсылает нас к рассмотрению других факторов, определяющих разнообразие написаний.

§ 6.2.2. Отражение орфографической традиции. Влияние орфографической традиции не всегда учитывается при анализе написаний памятников: исследователи иногда непосредственно от графики — устранив явные случаи влияния протографа — переходят к фонетике и даже фонологии. К чему может привести такой подход, легко можно себе представить, если вообразить будущего исследователя русского языка, в распоряжении которого имеются лишь письменные памятники на литературном языке: исходя из правильного различения безударных *a* и *o* в русском правописании XX в., он мог бы прийти к выводу, что русское литературное произношение этого времени было окающим (ср. Дурново, 1933, с. 73). Еще большее значение имел графический традиционализм в древности.

Русская (церковнославянская) орфография вначале фигурировала как допустимое отклонение от южнославянской нормы. С XII в. положение меняется: южнославянская орфография представляет собой допустимое отклонение от русской нормы. Иначе говоря, южнославянские написания первоначально входили в орфографическую норму и не исправлялись; позднее, однако, они стали исправляться. Эти исправления указывают на перелом, при котором русская церковнославянская орфография обособляется от южнославянской орфографии и складывается в самостоятельную норму.

Эта самостоятельная орфографическая норма основывается на системе орфографических правил, которой пользуются русские писцы. Такие правила регламентируют написание независимо от написаний южнославянских оригиналов, создавая собственно русские орфографические традиции. Так, например, если в южнославянских рукописях распределение букв *ѣ* и *ѧ* было фонетически мотивированным, то на Руси эти буквы выступали как омофоничные и их распределение было орфографической условностью, установленной именно русскими писцами. Другой пример собственно русского орфографического принципа, никак не связанного с южнославянским правописанием, мы наблюдаем в правописании еров, правила которого исходят из русского разговорного произношения (§ 7.5.4).

Итак, с XII в. имеет место освобождение от непосредственного влияния южнославянских протографов; существенным фактором в этом процессе оказывается книжное произношение.

§ 6.2.3. Отражение книжного произношения. «Между живой русской речью и письменным языком оказывалось средостение в

виде... церковного произношения. Переписчики, контролируя списываемые оригиналы известным им церковным произношением, произношением для них авторитетным, для них самих обязательным, стали отступать при переписке от своих оригиналов; но., делая такие отступления, [они] полагали, что отступают в пользу церковного языка, не заботясь о том, что вместе с тем эти отступления сближали письменный язык (в некоторых чертах) с живым народным произношением» (Шахматов, I, с. 191). Под церковным, или книжным, произношением понимается произносительная норма, т.е. орфоэпия церковнославянского языка. Она может в ряде случаев совпадать с живым произношением, т.е. в тех или иных моментах не быть ему противопоставленной. Поэтому отражение книжного произношения может иногда трактоваться исследователями как отклонение от нормы, связанное с влиянием живой речи. Следует предостеречь от такой трактовки. Влияние живой речи проявляется в данном случае не непосредственно, о нем можно говорить лишь постольку, поскольку явления живой речи ассимилированы церковнославянской произносительной нормой.

Это очень важный фактор — едва ли не самый важный для рассматриваемого периода. Можно утверждать, что до второго южнославянского влияния орфография в общем ориентировалась — в большей или меньшей степени — на книжное произношение, ему подчинялась и им проверялась (после второго южнославянского влияния имеет место повышение роли орфографии, ее обогащение и, соответственно, размежевание орфографической и произносительной традиций — § 10.3). В частности, писцы стремились выдерживать усвоенную ими у южных славян орфографию лишь в тех случаях, когда она не вступала в конфликт с книжным произношением (Дурново, V, с. 112).

§ 6.3. Соотношение орфографии и орфоэпии. Итак, орфография русских церковнославянских текстов обнаруживает явную зависимость от орфоэпии. Чем же объясняется преимущественное значение орфоэпии для этого периода? Можно указать на несколько причин.

Во-первых, русская церковнославянская орфография стабилизировалась не сразу, тогда как произносительная норма установилась, видимо, достаточно быстро — это было вызвано практической необходимостью читать богослужебные тексты. Книжное произношение было непосредственно связано с богослужением и потому требовало единообразия; между тем орфография не была непосредственно связана с церковной службой и поэтому такого единообразия не предполагала. Соответственно, умение читать было

повсеместным и входило в процесс элементарного религиозного образования, что в принципе предполагало единую систему чтения, — умение писать не было столь повсеместным, поскольку оно не связывалось непосредственно с сакральным моментом.

Во-вторых, орфография, в отличие от произношения, допускала значительный диапазон колебаний, поскольку с самого начала на Русь попадали книги с различными орфографическими системами. Таким образом, орфографических вариаций было изначально много; в дальнейшем те или иные варианты закрепились в локальных писцовых школах, и поэтому орфографический разноречивостью не уменьшался.

В-третьих, в отличие от чтеца писец стоял перед выбором: следовать ли ему написанию протографа или позволить себе отклонение от него. В результате орфография русских церковнославянских памятников колеблется от правописания протографов до простой транскрипции русского книжного произношения, при том что норма книжного произношения остается более или менее стабильной.

В силу сказанного обучение церковнославянскому языку связывалось прежде всего с обучением чтению по нормам книжного произношения, тогда как умение писать предстает как вторичное явление: если правописанию и обучали, то во всяком случае не повсеместно, а лишь в специальных скрипториях, где предполагалось обучение каллиграфическим и орфографическим правилам. Вообще, обучение церковнославянскому языку предполагало прежде всего пассивное усвоение, а не активное владение этим языком; основной задачей было обеспечить понимание церковнославянских текстов, а не их создание.

Показателен в этом смысле рассказ Сильвестра в «Домострое» в послании к своему сыну Анфиму. Он говорит здесь о том, как он обучал детей согласно их призванию, «хто чевѡ достоинъ»: «многих грамотѣ и писати и пѣти, иныхъ иконного писма, иныхъ книжного рукодѣлія, овѣхъ серебряново мастерства, і иныхъ всякихъ многихъ рукодѣлей» (Орлов, I, с. 66). Мы видим, что умение писать и петь (в отличие от умения читать, которое было широко распространено) считается таким же ремеслом, как умение писать иконы, переплетать книги и т.п. Ср. еще здесь же: «А видѣть еси самъ в рукодѣяхъ и во многихъ во вѣсякихъ вѣщехъ мастеровъ всякихъ было много: иконники, книжные писцы, серебряные мастера, кузнецы, и плотники, и каменщики, и всякіе и кирпичики, и стѣнышки, и всякіе рукодѣльники» (там же, с. 68).

§ 6.3.1. Обучение чтению и обучение письму. Система книжного произношения задавалась при обучении чтению по складам, в процессе которого учащийся заучивал, как произносятся различные последовательности согласных и гласных букв, т.е. сло-

ги типа ба, вѣ, во, вѣ, вѣ, вѣ..., ва, ве, во, вѣ, вѣ, вѣ..., вра, вре, бро, вѣ, вѣ, вѣ..., вѣ, вѣ, вѣ..., вѣ, вѣ, вѣ..., вѣ, вѣ, вѣ... и т.п. (при этом произносились названия соответствующих букв, а затем и сам слог, например, «буки азъ — ба», «буки онъ — бо» и т.д. (Успенский, 1970/1997). Среди новгородских берестяных грамот сохранились учебные записи (грамоты № 199, 201, 204, вторая четверть XIII в.), где даются наборы таких складов. Позднее они являются неперенной принадлежностью церковнославянских буквarei.

Задаваемые азбучным обучением формулы (типа «буки азь — ба») указывали, как должна читаться данная последовательность графем, и обеспечивали переход от написания к книжному произношению. Вместе с тем, они могли быть использованы и в обратном направлении, т.е. указывали, как может быть записана данная звуковая цепочка, и обеспечивали тем самым переход от произношения к написанию. Таким образом устанавливалось элементарное соотношение графем и фонем, которое имело одинаковую значимость для всего грамотного населения — как для тех, кто умел читать и писать, так и для тех, кто умел только читать.

Соответствие между графемами и фонемами не было, однако, однозначным, поэтому при использовании соответствующих формул в направлении от произношения к написанию возникал целый ряд моментов, когда было неясно, как нужно записать данную последовательность фонем. Это создавало возможность вариантных написаний, одни из которых допускались орфографической нормой, а другие — не допускались. Недопустимость определенных вариантов была связана с дополнительными (по отношению к набору элементарных соответствий графем и фонем) орфографическими ограничениями (см. Живов, 1984, с. 251–256). В этих дополнительных орфографических регламентациях указывалось:

(а) как должны употребляться две буквы (или несколько букв), соответствующих — вообще или в определенной позиции (позиции нейтрализации какого-либо фонологического противопоставления) — одной фонеме;

(б) как следует поступать в том случае, когда двум фонемам в азбуке соответствует одна буква.

Для первого случая примером такого дополнительного ограничения может служить правило употребления букв ѡ и ѡ̑, которые в русском церковнославянском произношении имели сходное фонетическое значение. По правилам русской церковнославянской орфографии ѡ пишется в начале слога, а ѡ̑ — после согласных (это основная книжная традиция, наряду с ней на Руси существовала и другая, предписывавшая писать ѡ и после палатальных сонорных, см. § 7.7).

Примером дополнительных ограничений второго типа могут служить правила, регламентировавшие обозначения палатальных сонорных, для которых в славянской азбуке не было специальных букв и которые в книжном письме могли обозначаться либо с помощью диакритики, либо с помощью последующей йотированной гласной (§ 7.7).

Такого рода орфографические правила не были предметом элементарного обучения грамоте, они преподавались в скрипториях, и в разных скрипториях могли складываться несколько отличающиеся друг от друга системы правил, т.е. разные орфографические традиции.

Люди, которые получили лишь элементарное образование и умели только читать (но не учились писать), могли писать, пользуясь элементарным соотношением фонем и графем, которое задавалось чтением по складам, т.е. приспособляя правила чтения к правилам письма. Необходимо, таким образом, различать тексты, написанные людьми, которые учились писать (профессиональными писцами), и тексты, написанные теми, кто учился только читать, но не проходил специальной школы письма. Тексты второго типа отличаются тем, что они написаны без применения дополнительных орфографических правил.

§ 6.3.2. Характер взаимодействия орфографии и орфоэпии. Можно отметить вообще особую важность орфографии в самосознании литературного языка — как области, непосредственно связанной с письменностью, с книжной традицией. Именно орфография имеет в самых разных условиях первостепенное значение для носителя литературного языка. Не случайно и по сей день школьное обучение литературному языку в значительной степени сводится к обучению правописанию: орфографическая практика показывает нам, имеем ли мы дело с грамотным человеком. Между тем орфоэпия допускает сейчас значительно большую степень свободы, что проявляется в наличии по крайней мере двух принятых норм литературного произношения (московской и петербургской). Таким образом, литературная норма допускает значительное количество произносительных вариантов, при том что в орфографии они абсолютно недопустимы. Вполне закономерно в этом смысле, что первые опыты кодификации русского литературного языка нового типа в XVIII в. начинаются именно с установления орфографических норм (Успенский, 1975). Острые споры вокруг орфографии, которые начались в XVIII в. (полемика Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова), продолжают вплоть до настоящего времени.

Так обстоит дело сейчас. В условиях литературного языка, ориентированного на разговорную речь (каким и является русский

литературный язык нового типа), орфоэпия неизбежно характеризуется вариативностью: она лишь ограничивает, а не устраняет вполне ту вариативность, которая свойственна живой разговорной речи (в силу непрерывных изменений системы языка, ср. § 1.5). Между тем в условиях диглоссии, когда отсутствует ориентация на разговорную речь, а книжное произношение имеет ритуальный характер, первостепенное значение имеет орфоэпия, а не орфография: по отношению к орфографии теперь мы можем судить об отношении к орфоэпии тогда. Книжное произношение в этих условиях столь же непосредственно связано с письменностью, что и орфография, но при этом это произношение церковное, сакрализованное. Орфография и орфоэпия выступают при диглоссии как две ипостаси одной сущности, т.е. как две в принципе соотносящиеся друг с другом и переводимые одна в другую системы. Отсюда определяется возможность их взаимного влияния друг на друга и, вместе с тем, ориентированность написания именно на книжное произношение (подобно тому как сейчас произношение в каких-то случаях может ориентироваться на орфографию) — именно орфоэпия выступает как доминирующее начало. В этих условиях орфография допускает значительно больше свободы, чем орфоэпия, — так, в частности, один писец может по-разному писать одно и то же слово, при том что он произносил его, по-видимому, всегда одинаково. Подобное взаимодействие орфографии и орфоэпии, характерное для древнейшего периода, не может иметь место в настоящее время, поскольку сейчас орфография и орфоэпия не подчиняются единому принципу и не связаны друг с другом: произносительная норма в принципе не ориентируется на написание, так же как написание не ориентируется на произношение.

Соотношение между произносительной и орфографической нормой представляет собой ключевой момент при типологической характеристике памятника письменности. При анализе книжных текстов необходимо отдавать себе отчет, какое место занимает рассматриваемый текст на шкале, крайние точки которой определяются отражением протографа, с одной стороны, и транскрипцией книжного произношения, с другой.

Указанное взаимодействие орфографии и орфоэпии имеет характер динамического взаимодействия. Если писец ориентируется на свое представление о произносительной норме, написание подчиняется произношению; в тех же случаях, когда он старается соблюдать традиционную орфографию, эта орфография, надо полагать, влияет на фонетическую реализацию соответствующих форм. Поскольку при переписывании каждый раз менялось написание, постольку могло претерпевать изменение и звучание отдельных

форм, при том что система соотнесения устного и письменного текстов могла оставаться неизменной.

В зависимости от большего или меньшего внимания к орфографии или же к орфоэпии различаются разные школы писцов в Древней Руси. Эта корреляция между орфографией и орфоэпией была нарушена в период второго южнославянского влияния, когда писцы стали ориентироваться на собственно орфографическую традицию, привнесенную извне и резко расходящуюся с произносительными навыками (§ 10.3).

§ 6.4. Возможности разграничения орфографических и орфоэпических явлений. При интерпретации письменных памятников возникает вопрос, как разграничить собственно орфографические явления, связанные с условностями книжного письма, от написаний, отражающих книжное произношение. Сложность этой задачи обусловлена тем, что и книжное произношение, и орфографические правила, которыми пользовались писцы, — это предмет нашей реконструкции. В этих условиях особое значение приобретают косвенные свидетельства, указывающие на фонетический или орфографический характер того или иного написания.

§ 6.4.1. Исправления в тексте. Ценный материал в этом отношении дают встречающиеся в рукописях и с п р а в л е н и я. Исправления написаний возникают обычно в двух случаях. В одном случае исправляются написания, восходящие к южнославянскому протографу; следует предположить, что исправляющий при этом ориентируется на книжное произношение (ср. об исправлениях жд на ж в § 7.2). В другом случае исправление основывается не на книжном произношении, а на специальных орфографических правилах, т.е. исправляются написания, где эти правила не соблюдены; в этом случае фонетические написания, отражающие книжное произношение, признаются неправильными, а руководством служит условная орфографическая норма (ср. об исправлениях о на ъ в § 7.5.4). Эти два случая позволяют отличить явления книжного произношения от собственно орфографических явлений. Встречаются, конечно, и случаи неправильных написаний, которые целиком выпадают из книжной нормы, когда имеет место простая описка или же непреднамеренное отражение живого произношения. Такие написания, естественно, также могут подвергаться исправлению, однако исправления такого рода для нас непоказательны.

§ 6.4.2. Некнижные тексты, отражающие систему обучения чтению. Другим источником для суждений о характере орфографической и орфоэпической нормы и о границах между ними

могут служить не книжные тексты, а именно тексты, написанные людьми, которые учились читать, но не учились писать (ср. § 6.3.1), т.е. написанные без применения условных орфографических правил и поэтому обнажающие соответствия между буквами и фонемами, усваиваемые при обучении книжному произношению. Такие тексты позволяют установить, какие элементы книжного письма были обусловлены специальными орфографическими правилами, а какие — отражением книжного произношения. Именно к таким текстам относятся берестяные грамоты. Мы наблюдаем в них, в частности, последовательное смешение *ъ* и *о*, которое обусловлено тем, что эти буквы одинаково читались в книжном произношении и выступали, следовательно, как омофоничные; берестяные грамоты определенно показывают, что книжные писцы при написании этих букв руководствовались специальными орфографическими правилами (§ 7.5.3).

§ 6.4.3. Певческие тексты. Существенные данные о книжном произношении можно получить из анализа певческих текстов (с музыкальной нотацией). Простановка нотации с большей или меньшей необходимостью требовала произнесения соответствующих текстов, т.е. здесь мог иметь место внутренний диктант. Поэтому особенности написаний в этих текстах могут объясняться относительно более последовательным отражением книжного произношения в ущерб орфографии. Именно поэтому для таких текстов особенно характерны исправления, причем в ряде случаев исправления делаются тем писцом, который ставит музыкальную нотацию и одновременно правит написания (ср. такую правку в Стихираре XII в. — ГИМ, Син. 279).

Среди певческих текстов особенно интересны кондакари — тексты, записанные в особой кондакарной музыкальной нотации. Эта нотация предполагает специальное растяжное письмо, требующее повторного обозначения тянувшегося гласного в соответствии с длительностью его звучания в певческом исполнении. Очевидно, что сам прием растяжения гласных в принципе способствует именно отражению реального произношения, а не орфографии, ср. передачу произносительных, а не орфографических норм в аналогичных условиях в русской художественной прозе, например, при воспроизведении эмфатической речи героев: *на-а-адлец!*, *ма-а-лчать!* (Достоевский), *а-аставьте!*, *пра-апало искусство!* (Чехов) — с характерным отражением аканья; ср. также: «Голос пел: *Ва крааа-ю чужом далёй-оо-кааам вспа-ми-наю я ти-бя*» (Андрей Белый). Итак, растяжное письмо в какой-то мере освобождает от собственно орфографических условностей, обнажая реальное звучание произносимых тек-

стов. Соответственно, в кондакарях, т.е. в певческих текстах, записанных в кондакарной нотации, в большой степени следует ожидать отражения реального произношения, а не орфографии.

Исключительно важные сведения такого рода дает Типографский устав XI–XII в. (ГТГ, К-5349) — древнейший русский певческий памятник, часть текстов которого записана именно в кондакарной нотации. Особенностью Тип. устава, отличающей его от всех других кондакарей, является то, что тексты песнопений сначала даются здесь без нот, а затем повторяются уже с расстановкой кондакарной нотации. Это объясняется, видимо, тем, что Тип. устав был учебной книгой, т.е. служил не практическим надобностям богослужения, а предназначался для обучающихся пению. Таким образом, одни и те же тексты — тексты, написанные одним писцом! — даются здесь как обыкновенным письмом, так и специальным растяжным письмом: перед нами своего рода билингва, где тексты для чтения даны параллельно текстам для пения. Записывая тексты для пения растяжным письмом, писец, по видимому, должен был их себе напевать, тогда как переписывая тексты для чтения, он имел относительно больше возможностей отвлекаться от условий их произнесения. Поэтому в певческих текстах этого памятника, поскольку они отличаются от текстов непевческих, должно было отражаться книжное произношение. И действительно, тексты в обеих частях (нотной и ненотной) не вполне совпадают, т.е. можно обнаружить некоторые формальные различия. Мы вправе считать, что различия эти в большинстве случаев отражают различия между орфографической и произносительной нормой. В целом ряде случаев эти расхождения носят систематический характер и будут проанализированы ниже. Подобные же различия, т.е. преимущественное следование орфографической традиции в непевческом тексте и преимущественное отражение произношения в певческом тексте, подтверждаются и рядом окказиональных примеров. Так, писец Тип. устава пишет в ненотном тексте въ тъмѣ, а в соответствующем нотном тексте он же пишет въь тъмѣ (с проявлением слоговой ассимиляции). В ненотном тексте находим сѣнце, а в нотном — съъъътъньце, т.е. съньце (с упрощением группы согласных лн > н). Форма бороуцаагоса ненотного текста преобразуется в нотном тексте в бооооорюуцаагосаа (т.е. бороуцаагоса) — это показывает, что южнославянское отверждение /t/ не отразилось на русском произношении. Примеры такого рода можно умножить (см. подробнее: Успенский, 1973/1997). Ниже, обсуждая характеристики орфографической и орфозписческой традиции, мы будем неоднократно ссылаться на показания Тип. устава, равно как и других кондакарей.

Необходимо отметить, что растяжное письмо кондакарей, помимо повторения букв, соответствующих тянущемуся гласному, характеризуется еще многочисленными и разнообразными вставками (х, в, ц, ъ, ы, л, і, ѵ и т.п.), которые подразделяются на вставные попевки глоссолалического характера и на так называемые мартирии, т.е. ключевые знаки, указывающие временную перемену лада. В связи с дальнейшим рассмотрением важно иметь в виду, что соответствующие вставки, как правило, не нарушают общих закономерностей повторения букв при протяжении звука; вместе с тем в отдельных случаях появление вставных букв может нарушать инерцию письма и обуславливать спорадическое появление омофоничной буквы, проясняющей реальное звучание текста. Цитируя в дальнейшем примеры из кондакарей, мы для простоты заменяем эти вставные буквы точками.

Растяжное письмо встречается иногда и в певческих текстах, записанных в знаменной (крюковой) нотации.

§ 6.4.4. Традиция церковного произношения. Наконец, важным источником для реконструкции древнейшего книжного произношения является традиция церковного чтения, дошедшая до наших дней. Конечно, традиция церковного чтения претерпевала определенные изменения. Тем не менее, эта традиция в принципе является консервативной и может доносить до нас черты очень древнего состояния. Во всех случаях, когда, прослеживая историю того или иного фонетического явления в книжном (церковном) произношении, мы не можем связать его с какой-либо инновацией, мы вправе предположить — в качестве рабочей гипотезы, — что оно восходит к эпохе становления русской книжной традиции. При исследовании традиций церковного чтения особое значение имеет практика замкнутых религиозных социумов. Так, церковное произношение Московской Руси в полной мере сохраняется в чтении старообрядцев-беспоповцев (Успенский, 1967а/1997; Успенский, 1968; Успенский, 1971), тогда как церковное произношение Юго-Западной Руси консервируется в униатской церкви. Сопоставление двух этих традиций дает возможность реконструировать и более древнее состояние.

§ 7. Признаки церковнославянского языка русской редакции в сопоставлении со старославянским

§ 7.1. Использование юсов. Русская традиция церковнославянского произношения не знала носовых гласных. С освобождением от влияния южнославянских протографов орфография русских рукописей подчиняется произношению. В результате старославянским написаниям с ж и ѡ или с йотированными вариантами этих букв соответствуют русские написания с оу, ю на месте ж и написания с ѡ (и ѡ после шипящих и ѡ) на месте ѡ. Йотированные юсы исчезают к середине XII в. Буква ж встречается еще в XIII в. (например, в Симон. пс. 1270–1296 гг.), хотя уже с начала XII в. она попадает на периферию графической системы. Буква ѡ получает в русской графической системе особую функцию.

Процесс смещения юсов с буквами оу, ю и ѡ, ѡ наблюдается уже в древнейших русских памятниках, хотя в некоторых памятниках XI в. заметна тенденция писать юсы в соответствии с южнославянскими нормами (Остр. ев., Сл. Гр. Бог., Тур. ев.). В Остр. ев. 1056–1057 гг., по подсчетам Дурново (IV, с. 88), «на с лишком 2000 случаев правильной постановки ж и ѡ насчитывается 62 случая ж вместо оу, 40 случаев оу вместо ж, 65 случаев ѡ вместо ю и 150 случаев ю вместо ѡ, т.е. всего немного более 300 случаев ошибочной постановки этих букв или замены их другими. В Тур. ев. подобных случаев всего 9., тогда как случаев правильного употребления ж и ѡ более сотни». Однако уже памятники конца XI в. дают другую картину, например, во втором почерке Арх. ев. 1092 г. на месте ж, ѡ мы наблюдаем последовательное употребление оу, ю.

Исчезновение или неупотребительность ѡ приводит к смешению ж и ю, в результате чего ж может употребляться вместо ю. В грамматических руководствах XVI–XVII вв. может сообщаться, что ж читается как ю (Ягич, 1896, с. 368; Смотрицкий, 1619, л. А/8; букварь Кариона Истомина — БАН, Петровская гал., № 61, л. 8 об.; Браиловский, 1902, с. 442).

Любопытно, что еще в XVI в. русские книжники отдают себе отчет в том, что ж некогда произносился как носовой гласный. В одном из грамматических сочинений читаем, что эта буква введена в азбуку «ради Поляць..., а глаголется гугниво» (Ягич, 1896, с. 348, ср. также с. 408; Петровский, 1888, с. 14).

Что касается ѡ, то эта буква имеет иную судьбу, она прочно закрепляется в русской церковнославянской орфографии: ѡ оказывается в таком же соотношении с ѡ, как ю с оу и т.п. На это ясно

указывают данные кондакарей. При растяжении **а** может здесь переходить в **а**, точно так же как **ю** переходит в **оу**, ср. в Благ. кондакаре XII–XIII в.: **кнѣаааааа** (л. 33 об.). Соответственно, буква **а** оказывается омофоничной с буквой **ѣ**. В русской церковнославянской орфографии устанавливается в этой связи дополнительное распределение этих букв: **ѣ** пишется в начале слога (а в некоторых памятниках также после палатальных сонорных), **а** — после согласных (в некоторых памятниках за исключением положения после палатальных сонорных). В целом мы можем констатировать, что в случае юсов орфография русских церковнославянских рукописей ориентирована на произношение.

§ 7.2. Рефлексы *dj. Старославянскому (южнославянскому) сочетанию **жд**, восходящему к общеславянскому сочетанию *dj, в русском изводе церковнославянского языка соответствует **ж**. Таким образом:

о-сл.	ст-сл.	рус. ц-сл.	рус.
*dj	жд	ж	[ž]

Ср. старослав. **виждаж**, рус. церковнослав. **вижоу**, рус. **вижу**; старослав. **межда**, рус. церковнослав. **межа**, рус. **межа**; южнослав. церковнослав. **пражда**, рус. церковнослав. **пража**, рус. **пряжа**.

Орфография следует здесь за книжным произношением. В книжном произношении соответствующие формы произносились с [ž] под влиянием живого русского произношения, где общеславянское *dj давало [ž]. В ранних русских рукописях, испытавших влияние южнославянских протографов, мы, разумеется, встречаем написание с **жд**, однако такое написание было чисто орфографическим и ему соответствовало произношение с [ž]. В XI–XII вв. можно иногда встретить случаи гиперкорректного написания **жд** вместо **ж**: **дръждаливый** («державный») в Изб. 1073, л. 263г, **длъждѣнь** в Златостр. XII в. (Малинин, 1878, с. 276; ср. Шевелев, 1974, с. 228). Вместе с тем, с начала XII в. встречаются памятники, где систематически пишется **ж**, а не **жд**: в XII–XIII вв. появляются памятники, где **жд** правится на **ж**, ср. в Богосл. Дамаскина XII–XIII в. (ГИМ, Син. 108): **ноужда** → **ноужа** л. 7а, **тожда** → **тожи** л. 7б, **ндежде** → **ндеже** л. 5б, **прежде** → **преже** л. 8в. Написания с **ж** на месте рефлексов *dj становятся специфической чертой русской церковнославянской орфографии.

§ 7.3. Рефлексы *zdj, *zgj, *zg'. В некоторых случаях старославянское и южнославянское написание **жд** соответствует русскому церковнославянскому написанию **жд**, однако при этом

имеет место существенная разница между русским и южнославянским изводами церковнославянского языка. Речь идет о рефлексах общеславянского *zdj, *zgj, а также о рефлексах *zg' в условиях первой палатализации. В старославянском языке рефлексы этих сочетаний и рефлексы *dj совпадали в написании и, видимо, в произношении, а именно они давали написание жд (первоначально произносившееся, вероятно, как [žd']). В современном болгарском и сербском соответствующие формы записываются через жд. Между тем, в русском изводе церковнославянского языка написание рефлексов *dj, с одной стороны, и *zdj, *zgj и *zg', с другой стороны, различалось, и это, по-видимому, отражает различие данных рефлексов в книжном произношении. Можно думать, что книжное произношение совпадало здесь с произношением живого русского языка, в котором *zdj, *zgj, *zg' давали, скорее всего, сочетание [ždž], представляющее собой звонкий коррелят [šiš] — сочетания, которое записывалось отдельной буквой щ. Сходный рефлекс наблюдается и в западнославянских языках, ср. польское *żdż*. Ср. соответствия: старослав. ѣждѣ или ѡждѣ, рус. *езжу*, польск. *jeżdżę*; старослав. дѣждь, рус. *дождь*, болг. *дъжд*, серб. *dăžd*, польск. *dezdz* и *deszcz* (последняя форма отражает оглушение конечного согласного). В русском церковнославянском языке преимущественным способом передачи этого звука было написание жд. Таким образом, возникало противопоставление ж и жд, которого не было в старославянском языке и которое было предназначено отразить специфически русское противопоставление /ž/ и /ždž/. Тем самым, и здесь — поскольку это позволяла графическая система — написание ориентируется на произношение, отступая при этом от старославянской традиции.

Так, например, в Изб. 1076 *dj обычно дает ж, но не жд (редкие случаи написания жд на месте *dj объясняются с вероятностью влиянием протографа). Между тем для *zdj, *zgj, *zg' мы имеем только жд (Лант, 1968, с. 71–72). Еще более последовательно ж пишется в соответствии с *dj, а жд — в соответствии с *zdj, *zgj, *zg' в Выголект. сб. конца XII в., причем замечательно, что сочетание жд, обозначающее звук [ždž], может иметь здесь особый крючок, который в других случаях обозначает палатальность (и в соответствии с *nj, ѣ в соответствии с *lj); дѣждь, въждѣахъ, пригвождины (л. 151, 166 об., 40 об.). Подобное же написание можно встретить и в Мстисл. ев. начала XII в.: иждѣноу с жд в соответствии с *zg', где однако пишется и жаждѣть с жд в соответствии с *dj (л. 10в, 26б); здесь же трижды встречается и написание иждѣнѣть или иждѣноуѣть (л. 98а, 126в, 147а), где йотированное обозначение следующего гласного явно выступает в той же функции, что и диа-

критический значок после согласного, а именно передает палатальность согласного (ср. ниже относительно палатальных *л*, *н*, которые могут писаться перед /*е*/ как *лк*, *нк* — § 7.7). Наконец, в Толстовском сб. XIII в. (ГПБ, Ф.п.1.39) зафиксировано *дъждь*, *нжденеть*. Возможно, мы имеем в этих случаях тенденцию противопоставлять по начертанию *жд* в значении [ǰǰž] южнославянскому *жд* из **dj*.

Наряду с этим, в ряде памятников наблюдаются особые написания для [ǰǰž], сосуществующие с *жд*. В северных (новгородских) памятниках это написание *жг* (наблюдается с XI в.), в южных памятниках это написание *жч* (установилось в XII в.). Существенно при этом, что написание *жч* может выступать как единственный способ передачи данного звукового сочетания (так, например, в Галицком ев. 1144 г. — Дурново, 1924, с. 105, 177), тогда как написание *жг* встречается в памятниках лишь более или менее sporadически. Кроме того, иногда встречаются и другие написания, а именно *жжд*, *жщ*, *жъщ*, *жщж*, *щ*, *зщ*, *зжч*, *зж*, *жждж*, *здъщ* и т.п. (Шахматов, 1915, с. 179–180). Ср. варианты написания в Мин. 1095: *ражгъженоу* (л. 135 об.), *ражъженымь* (л. 164 об.), ср. еще *раждыгъ са* (т.е. «разжегшись», л. 164).

Эта непоследовательность в передаче рефлекса **zdj*, **zgj*, **zg'* наблюдается и в современном русском языке, ср. *езжу*, *дождя*, *дрожжи*. Отсутствие единого графического представления этого звука привело к колебаниям в написании. Так, в небольшом отрывке из сочинения протопopa Аввакума мы встречаем три разных написания одного и того же слова: «*приѣзжали* 3 архимарита... уговаривать. И во 8 день *пригъзждалъ* в ночи Дементей Башмаковъ уговаривати же. И въ 10 день въ ночи *пригъзждалъ* Артамонъ да архимарить уговаривати ж... і въ 11 день *приѣждалъ* архимарить Чюдовской» (РИБ, XXXIX, стлб. 703).

Ясно, почему написание *жч* может служить удобным графическим способом для передачи сочетания [ǰǰž]. Это сочетание представляет собой звонкий коррелят сочетания [ǰǰš], которое в том же южнорусском ареале могло записываться как *шч* (наряду с *ч* — см. § 8.1.3; ср. аналогичное соответствие между написаниями *шт* и *жд*). Вполне естественно, что для обозначения звонкого коррелята было выбрано сочетание *жч*, где *ж* является звонким коррелятом к *ш*, тогда как для *ч* такого варианта в графической системе не существует; соответственно, на *ж* падала функция обозначения звонкости всего сочетания.

Написание *жг* не поддается такой однозначной интерпретации. Можно предположить, что это написание передает то же фонетическое сочетание, что и южнорусское *жч*, т.е. что это различие не отражает различий в книжном произношении, а является специ-

фическим для северной Руси способом обозначения сочетания [ʒdʒ]. Следует иметь в виду, что буква г соотносилась не со смычным, а с фриктивным [ɣ] книжного произношения (§ 7.6), который перед передними гласными мог быть практически тождественным [j]. Отсюда сочетание жг могло соответствовать [ʒj], фонетически близкому [ʒ':], которое представляется возможным произносительным вариантом [ʒdʒ] (Шахматов, 1915, с. 321).

Допустимо, однако, и другое объяснение. Можно полагать, что в новгородско-псковской диалектной зоне *zdj, *zgj, *zg' давали [ʒg], т.е. что вторым элементом сочетания была здесь не аффриката, а палатальный смычный. Это предположение вполне возможно, если учесть, что в данной диалектной зоне не проходила вторая палатализация и, следовательно, в этих говорах были палатальные взрывные [g], [k]. Вместе с тем, в соответствующих глухих сочетаниях *skj, *sk' не происходил переход в [ʃtʃ] (Зализняк, 1982). Таким образом, [ʒg] оказывается вполне правдоподобным рефлексом интересующих нас сочетаний. На него могут указывать и окказионально встречающиеся в псковских говорах формы типа *виждит* («визжит»), где буква д может обозначать палатальный смычный (Чернышев, II, с. 379). Если произношение с палатальным смычным (т.е. [ʒg]) было свойственно только разговорному языку, но не книжному произношению, написание жг в новгородских рукописях представляет собой ошибку против нормы церковнославянского произношения (такую же, как написание ч на месте *tj). Если же произношение с палатальным смычным было усвоено в Новгороде и в книжном произношении, то написание жг представляет собой отклонение от традиционного церковнославянского правописания, обусловленное влиянием книжного произношения. Вопрос о том, являются ли в этом случае подобные написания орфографической ошибкой или допустимым орфографическим вариантом, остается открытым.

Для решения этого вопроса могут иметь значение sporadические встречающиеся написания с жг на месте *dj, например, в Мин. 1095 прѣжге (л. 84), роженне (л. 135 об.), повѣжгенъ (л. 164); ср. еще: Шахматов, 1915, с. 322; Живов, 1984, с. 257. В самом деле, подобные написания возникают, возможно, в силу того, что в книжном произношении и написанию с жд, и написанию с жг соответствует [ʒg]. Обнаруживая в своем оригинале написание жд на месте *dj, писец мог автоматически произнести это сочетание как [ʒg], а отсюда и записать как жг.

§ 7.4. Рефлексы *tj, *kt', *stj, *skj, *sk' (в условиях первой палатализации). В то время как в старославянском языке наблюдается вариация ц и шт, в русском церковнославян-

ском языке имеет место вариация ψ и $\psi\check{c}$. Таким образом, старославянскому сочетанию $\psi\check{t}$ может соответствовать русское церковнославянское $\psi\check{c}$. Это несомненно отражает различие в произношении: в старославянском языке ψ произносилось как $[\check{s}t]$, в русском церковнославянском — как $[\check{s}t\check{s}]$ ($[\check{s}\check{s}]$). Если старославянское $\check{z}d$ восходит, как мы уже знаем, к общеславянскому $*dj$ или же $*zgj$, $*zg'$, то старославянское $\psi\check{t}$ восходит к соответствующим глухим сочетаниям: $*tj$ (а также $*kt$ перед передней гласной), $*skj$, $*stj$, $*sk'$. Таким образом, здесь наблюдается очевидный параллелизм между глухими и звонкими сочетаниями. Итак, мы имеем следующие соответствия:

о-сл.	ст-сл.		ц-сл.		рус.
	написа- ние	произно- шение	написа- ние	произно- шение	
dj	$\check{z}d$	$\check{z}'d'$	$ж$	$\check{z}'$	$\check{z}'$
$\begin{Bmatrix} zdj \\ zgj \\ zg' \end{Bmatrix}$	$\check{z}d$	$\check{z}'d'$	$\begin{Bmatrix} \check{z}d \\ жч \\ жг' \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} \check{z}'d'\check{z}' \\ (\check{z}'g') \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} \check{z}'d'\check{z}' \\ \check{z}d' \end{Bmatrix}$
$\begin{Bmatrix} tj \\ kt' \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} \psi \\ \psi\check{t} \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} \check{s}'t' \\ \check{s}'t'\check{s}' \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} \psi \\ \psi\check{c} \end{Bmatrix}$	$\check{s}'t'\check{s}'$	$\check{c}'$
$\begin{Bmatrix} stj \\ skj \\ sk' \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} \psi \\ \psi\check{t} \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} \check{s}'t' \\ \check{s}'t'\check{s}' \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} \psi \\ \psi\check{c} \end{Bmatrix}$	$\check{s}'t'\check{s}'$	$\check{s}'t'\check{s}'$

Указанный параллелизм проявляется, между прочим, и в том, что русские аффрикаты $[\check{z}d\check{z}]$ и $[\check{s}t\check{s}]$ обычно имеют одинаковые рефлексы. Так, например, если в московском произношении $[\check{z}d\check{z}] > [\check{z}':]$, то $[\check{s}t\check{s}] > [\check{s}':]$ и т.п. Ср.

	рефлексы $[\check{z}d\check{z}]$	рефлексы $[\check{s}t\check{s}]$
московское произношение	$\check{z}':$	$\check{s}':$
сев.-зап. говоры и старое петербургское произношение	$\check{z}'d'\check{z}'$	$\check{s}'t'\check{s}'$
сев.-вост. говоры	$\check{z}:$	$\check{s}:$
вологод. и олонекские говоры	$\check{z}'d'$ $\check{z}d'$	$\check{s}'t'$ $\check{s}t'$

(Реформатский, 1967, с. 1651)

Итак, если в южнославянских диалектах рефлексы *dj совпадают с рефлексами *zdj, *zgj, *zg', а рефлексы *tj, *kt' совпадают с рефлексами *stj, *skj, *sk', то в восточнославянских диалектах эти рефлексы различаются.

При всем сходстве в судьбе рассматриваемых сочетаний (глухих и звонких) наблюдается одно существенное отличие: если [ž], восходящее к общеславянскому *dj и появившееся под влиянием живого русского произношения, входит в норму церковнославянского языка русской редакции (отражаясь и на написании), то [ě], восходящее к общеславянскому *tj (и *kt'), оказывается вне этой нормы. В церковнославянском языке русской редакции этому [ě] соответствует [šš]. Таким образом, если, например, форма *виноу* является нормативной церковнославянской формой, то *свѣча* является формой ненормативной, она может встретиться в церковнославянском тексте лишь как ошибка при правильных *свѣща* или *свѣща*.

Откуда появилось в церковнославянском языке русского извода произношение буквы *щ* как [šš], отразившееся в вариантном написании *шч*? Можно было бы думать, что русские распространили свое исконное произношение рефлексов *skj, *stj, *sk' на те слова, в которых старославянское написание *щ* соответствует общеславянскому *tj, *kt'. Иначе говоря, поскольку буква *щ* в одном случае читалась под влиянием живого русского произношения как [šš] (а именно, в случае рефлексов *skj, *stj, *sk'), она стала так же читаться и в другом случае (а именно, в случае рефлексов *tj, *kt'). При таком объяснении, однако, остается непонятным, почему такой же перенос не состоялся в отношении *жд*, восходящего к *dj. В самом деле, подобно тому как старославянское *щ* (*шт*) объединяет рефлексы *tj, *kt' и *stj, *skj, *sk', старославянское *жд* объединяет рефлексы *dj и *zdj, *zgj, *zg'. Если русские книжники могли воспользоваться тем, что *щ* в каких-то случаях соответствует их родному звуку [šš], и читали *щ* как [šš] во всех случаях (безотносительно к этимологии), логично было бы ожидать, что они так же поступят и со старославянским *жд*: они должны были бы воспользоваться тем, что в соответствии со старославянским *жд* в каких-то случаях (а именно, в случае рефлексов *zdj, *zgj, *zg') произносят [ždž], и распространить такое произношение на все случаи, когда в старославянском языке пишется *жд*. При этом они должны были бы не заменять старославянское *жд* из *dj на *ж*, а произносить его как [ždž], т.е. читать старославянское *межда* как [meždža] и т.п. Однако книжники так не поступали, и это заставляет признать подобное объяснение недостаточным.

Наиболее правдоподобным представляется, что произношение *щ* как [šš], а соответственно и написание *шч*, появилось в резуль-

тате македонского (западноболгарского) влияния на русское книжное произношение (ср. в этой связи § 7.5.3; § 7.10.2). В македонских диалектах X–XI вв. как *tj, *kt', так и *skj, *stj, *sk' давали [štš] (Селишев, I, с. 319–321), в то время как *dj, *zdj, *zgj, *zg' давали [žd']. Такое произношение, надо думать, было и у македонских книжников, читавших по-старославянски. Русские усвоили македонское произношение щ как [štš], поскольку в ряде случаев оно совпадало с их разговорным произношением. Очевидно, что они не могли сделать того же самого относительно македонского (или вообще южнославянского) произношения жд, поскольку это произношение ([žd']) не совпадало ни с каким русским произношением (ни с рефлексам *dj, ни с рефлексам *zdj, *zgj, *zg').

О том, что в македонском книжном произношении щ читалось как [štš], может говорить и следующее: если кириллическая буква щ может объясняться и как лигатура ш + т, и как лигатура ш + ѱ, то соответствующая глаголическая буква, вообще говоря, объяснима лишь из ш + ѱ, но не из ш + т (как известно, в Македонии была принята глаголица), ср.:

кириллич.	глаголич.
ш	Ш
т	Ѳ
ѱ	Ѣ
щ	Ѥ

(Дурново, 1926, с. 372)

Следует отметить, что отражение *stj, *sk' в виде [štš] в принципе наблюдается в Киев. листках (отражающих западнославянский извод церковнославянского языка), где мы имеем формы *зашчѣти* (3 раза), *зашчѣтитѣ*, *очищѣни* (3 раза). В Моравии, а также в Западной Словакии [štš] до сих пор сохранилось без изменения в народных говорах. В чешском языке изменение [štš] в [št] произошло только в западной части страны. Однако *tj дает в Киев. листках /с/, ср. *свѣцалѣ*, *помощь* и т.п.; таким образом, западнославянский извод церковнославянского языка не мог служить ориентиром для распространения произношения [štš] на рефлексы *tj.

Во всяком случае произношение [štš] представляет собой один из признаков русского извода церковнославянского языка. Когда русский книжник читает слово *свѣща* как *сѣбѣща*, это не соответствует ни старославянскому произношению *сѣбѣща*, ни русскому *сѣбѣща*. Это искусственное произношение, не согласное ни со старославянским, ни с живым русским произношением (ср. Дурново, 1924, с. 102). Поэтому наличие [štš] на месте общеславянского *tj, *kt' с несомненностью свидетельствует о церковнославянском происхождении соответствующего слова.

Таким образом, написание шч следует объяснять отражением книжного произношения, которое в ряде случаев противопоставлено живому. Необходимо иметь в виду, что в русских рукописях может наблюдаться и написание шт, соответствующее старославянской норме. Однако это чисто графическое явление, поскольку за этим написанием стоит такое же произношение [štš]. Так, например, в Изб. 1076 старший писец Иоанн более или менее регулярно пишет шт, а не щ, тем не менее такое написание предполагало произношение [štš] — оно выдает себя, когда писец переносит слово: *пооуш/ченикъмъ* (л. 77 об.; ср. Лант, 1968, с. 70).

В старших русских рукописях написание шт непосредственно объясняется влиянием южнославянских протографов: эта традиция восходит к старославянским текстам типа Супрасльской рукописи. Однако такое написание закрепляется в северных рукописях, тогда как написание шч характерно для рукописей южных (Дурново, 1969, с. 36). Это сохранение орфограммы шт и после освобождения русских рукописей от влияния южнославянских протографов можно объяснить тем, что шт как обозначение аффрикаты [štš] коррелировало с жд как обозначением аффрикаты [ždž]. Что касается шч как обозначения аффрикаты [štš], то оно входило в корреляцию с жч как обозначением аффрикаты [ždž]; показательно, что как шч, так и жч характерны для одного ареала, а именно для Юга.

Чтение щ как [štš] входило в норму церковного произношения до XX в. Церковное произношение с [štš] может при этом противостоять — например, у москвичей — спирантному произношению соответствующих слов с [sʲ]. Таким образом, данная манера произношения воспринималась как книжная; в XVIII в. она принята в орфоэпии высокого стиля: Аодуров, Ломоносов, Сумароков, Барсов и другие авторы настаивают на таком произношении. Характерно, что Ломоносов считает произношение щ как *шиш* (т.е. в виде спиранта) провинциальным; есть и другие указания того же рода (Успенский, 1971, с. 21–22; Успенский, 1975, с. 201). Есть основания полагать, что такая манера церковного чтения — восходящая к самому началу русской книжной традиции — сохранилась в книжном произношении Юго-Западной Руси и была утрачена в Московской Руси: показательно в этом плане, что она не представлена в старообрядческом чтении, в котором произношение щ как [štš] не является нормативным. Во второй половине XVII — XVIII вв. в результате влияния книжного произношения Юго-Западной Руси на великорусское книжное произношение эта манера закрепляется в русском церковном чтении и произношении высокого стиля (см. свидетельство Тредиаковского в «Разговоре об орфографии», 1748 г. (Тредиаковский, III, с. 136). В дальнейшем (с XVIII в.) у южных славян, у которых щ соответствовало произношению [št], под русским влиянием эта буква в церковном чтении начинает произноситься как [štš] (Младенович, 1982, с. 64–68; ср. Радойчич, 1966, с. 54–55).

§ 7.5. Употребление еров. В употреблении еров (букв ѣ и ѥ) особенно ясно отражается сложное взаимоотношение орфографии, книжного произношения и живого разговорного произношения. Все эти факторы оказываются здесь определенным образом связанными. Поэтому падение и прояснение редуцированных в русских говорах так или иначе сказывается как на написании еров, так и на их книжном произношении. Соответственно, приходится говорить отдельно о периоде, предшествующем падению и прояснению редуцированных, и о периоде, когда эти процессы привели к перестройке книжной орфографии и орфоэпии.

§ 7.5.1. Пропуск еров как орфографическая традиция. Употребление букв ѣ и ѥ в русских церковнославянских рукописях до середины XII в. более последовательно (т.е. лучше выдерживается соответствие с этимологией), чем в старославянских памятниках. Пропуск еров в русских памятниках практически встречается лишь в небольшой группе слов и безусловно объясняется влиянием орфографии, поскольку пропуск еров в этих же словах характерен и для старославянских памятников. Видимо, пропуск еров в таких словах, как князь, кто, много, вс-, книга и ряде других, воспринимался писцами как элемент правильного написания, и поэтому написание данных слов без еров складывалось в определенную орфографическую традицию. Об этом наглядно говорят показания Тип. устава XI–XII в., где в ненотном тексте писец пишет *всь, вса, вселенен, вселеню, княза (bis!), кто, никто, многомливѣ, многомливѣ, между тем как в соответствующих местах нотного текста мы находим те же формы с ерами: вьвьсь, вь-ѣ-вьвь-саа, вьсеееленѣ-ѣеѣѣ-ѣеѣѣн, вьсеееленюююююю-ѣѣѣ, кѣнѣзѣаа, кѣнѣаѣзѣааа, кѣтооо, нининикѣѣѣто, мѣнооооооми-ни-и-ниѣо-ѣостивѣ, мѣнооооо-ми-ни-и-ниѣо-ѣостивѣ. В некоторых случаях пропуск ѣ или ѥ может быть представлен и в нотном тексте; существенно, однако, что знак музыкальной нотации при этом стоит, как правило, над буквой согласного — следовательно, еры реально звучали в подобных случаях, тогда как пропуск их представляет собой чисто орфографическое явление (см. подробнее: Успенский, 1973/1997, с. 216–221). Особенно показательно написание местоимения *всь* как *всь* (им. ед. муж.), которое встречается как в древнейших памятниках, таких как новгородские Миней 1095 и 1097 гг., Тип. устав и т.д., так и в более поздних памятниках, написанных после прояснения редуцированных, — совершенно очевидно, что в произношении этой формы ни о каком выпадении гласного в первом слоге не может быть и речи. В Новгороде написание *вс-* оказывалось противопоставленным как книжному произношению (которое соответ-*

Интересно, что в Чуд. пс. XI в., в которой имеется как текст самих псалмов, так и текст толкований к ним, написания с ерами после плавных (т.е. написания южнославянского типа) встречаются в основном в тексте толкований: переписывая псалмы, которые он, безусловно, знал наизусть, писец в большей степени ориентировался на произношение, чем переписывая толкования, где ему приходилось следить за оригиналом; соответственно, влияние протографа отражается в этом аспекте преимущественно на тексте толкований (Живов, 1984, с. 285). В Стихираре XII в. (РГАДА, ф. 381, № 152) южнославянские написания с ерами после плавных довольно последовательно правятся на соответствующие русские написания, например, *мѣлчаник* правится на *мѣлчаник* (л. 40 об.), *милосърдѡваѣ* на *милосърдоваѣ* (л. 43 об.) и т.п.

В рассматриваемом случае русское книжное произношение не противопоставлено разговорному, что и отражается на русской церковнославянской орфографии. Это относится и к тем диалектам, в которых редуцированный гласный появляется как перед плавным, так и после него, т.е. образуются сочетания типа *СъѣС* и т.п. В древнейший период соответствующее произношение было допустимо и в церковном чтении и могло отражаться на написании. Так, в Тип. уставе один писец в ненотной форме пишет *държавѣ*, но в нотной форме он же пишет *дъръжааавѣ* (л. 55 об.— 56); напротив, другой писец в том же памятнике пишет *дъръжавоу* в ненотной форме, распространяя ее как *дъръжа·а·аавѣ* в нотном тексте (л. 35). По-видимому, здесь отразились разные представления о соотношении орфоэпии и орфографии. Написания типа *-ьрь-*, *-ъль-* и т.п. наблюдаются и в других кондакарях, а также в певческих книгах крюковой, а не кондакарной нотации; при этом наличие нотных знаков над каждой буквой *ъ* или *ь* в сочетаниях такого рода свидетельствует о том, что данные формы произносились в соответствии с написанием. Иногда же, в том случае, когда в певческих книгах встречается более обычное написание типа *въахъы*, *сърдьце*, над плавным стоит знак музыкальной нотации; это показывает, что плавные произносились в окружении двух гласных звуков (Успенский, 1973/1997, с. 221–223). В Остр. ев. 1056–1057 гг. у одного и того же писца (дьякона Григория) варьируются написания *дѣтъ*, *дѣтъы*, *дѣтъни*, *дѣтънѣ*, *дѣтънѣише*, *дѣтънникѣ*, *дѣтънника*, *дѣтънникомѣ*, *дѣтъѣ* и *дѣтъы*, *дѣлътъни*, *дѣлътънникомѣ*, ср. также *дѣл'тънѣ*; мы встречаем здесь написания *върѣа*, *върѣоу*, с одной стороны, *върѣа*, с другой, и, вместе с тем, *върѣхъ*, *вър'хоу*; написания *въвърѣжѣ*, *въвърѣгошъ*, *въвърѣжѣтъ*, *въвърѣжѣ*, *въвърѣжѣтъ*, с одной стороны, *върѣжѣа*, *въвърѣгоутъ*, *въвърѣжѣтъ*, с другой, и, вместе с тем, *въръжѣтъ*, а также *въвър'гошъ*, *въвър'жѣтъ*,

въвър'же, въвър'жеса, въвър'зѣте; написания въстрѣгающе, въстрѣзаахъ и въстрѣгнете, въстрѣзающе; написания въртоградъ и, вместе с тем, въртоградѣ, вър'тоградарь; и т.п.

Можно полагать, что в древнейший период южнославянские написания с ерами после плавных (т.е. написания типа трѣгъ) воспринимались русскими как своего рода идеограммы (условные орфограммы), которые они читали в соответствии с привычным для них произношением, т.е. они читали в подобных случаях сочетания рѣ, рѣ, лѣ, лѣ, воспринимая их как целое и воспроизводя ту последовательность звуков, которая была свойственна — в соответствующих корнях — их живому произношению. Это отразилось, по-видимому, в древнерусских букварях, где, наряду с двубуквенными складами типа ва, во, ве, вѣ, вѣ, вѣ, вѣ, вѣ, вѣ... и т.д. представлены и трехбуквенные сочетания из двух согласных и гласной в виде вра, в्रो, вре, врѣ, врѣ, врь..., вра, вро, вре, врѣ, врѣ, врь... (§ 6.3.1). Представляется неслучайным, что трехбуквенные сочетания представляют именно сочетания согласного с плавным: по-видимому, такого рода склады восходят к тому времени, когда русским приходилось сталкиваться с южнославянскими написаниями типа трѣгъ и т.п.; при обучении чтению такие сочетания приходилось осваивать отдельно, поскольку в случае таких написаний буквы ѣ и ѣ не должны были произноситься в соответствии с общими правилами побуквенного чтения (ср. § 7.5.3).

Такое произношение и могло отражаться на написании, поскольку, как будет ясно из дальнейшего изложения (§ 7.5.4), при написании еров писец мог исходить из своего разговорного произношения.

Таким образом, в соответствующих сочетаниях в книжном чтении произносились — в древнейший период — редуцированные звуки, тождественные тем, которые были свойственны разговорному произношению читающего. Вместе с тем эти редуцированные звуки произносились в составе определенных фонетических последовательностей, т.е. произношение редуцированных могло не ассоциироваться с произношением букв ѣ и ѣ, которые вообще читались иначе (§ 7.5.3). После падения и прояснения редуцированных в живой русской речи соответствующие написания стали, видимо, читаться в соответствии с принципами побуквенного чтения, т.е. буквы ѣ и ѣ в этих сочетаниях стали читаться так же, как они читались в других случаях.

§ 7.5.3. Книжное произношение еров в древнейший период. Особенностью русских церковнославянских памятников является смешение ѣ, ѣ с о, ѣ, а именно, появление о, ѣ на месте ѣ, ѣ и появление ѣ, ѣ на месте о, ѣ. Появление о, ѣ на месте ѣ, ѣ наблюдается при этом как в сильной, так и в слабой позиции и, следова-

тельно, не может иметь отношения к процессу прояснения редуцированных в восточнославянских говорах. Смещение *ъ, ь с о, є* наблюдается в самых ранних русских рукописях, в период, безусловно предшествующий падению и прояснению редуцированных в разговорном языке. Совершенно очевидно, таким образом, что речь идет не об отражении разговорной фонетики, а о специфически книжном явлении. Есть все основания полагать, что рассматриваемое явление свидетельствует об особом книжном произношении еров, которое отличалось от разговорного произношения редуцированных (к дальнейшему см. подробнее: Успенский, 1988/1997).

Следует оговориться, что, обсуждая смещение *ъ, ь с о, є*, мы имеем в виду случаи, характеризующие именно русские памятники, которые нельзя объяснить влиянием южнославянских протографов или морфологической аналогией. Поэтому мы сейчас будем рассматривать флексии тв. ед. (*-ъмь ~ -омь, -ьмь ~ -емь*), флексии дат. мн. (*-ьмъ ~ -емъ*) и местн. мн. (*-ѣхъ ~ -ехъ ~ -ѣхъ*), а также чередование этих букв в местоимениях и местоименных наречиях (*чѣсо ~ чесо, кѣгда ~ когда, тѣгда ~ тогда, овѣгда ~ овогда, инѣгда ~ иногда, вѣсѣгда ~ вѣсегда*), равно как в предлогах-приставках *изъ ~ изо, вѣзъ ~ вѣзо* перед /о/.

Так, в Изб. 1073 первый писец пишет только *зѣлов-*, а второй часто пишет *золов-* (Еленски, 1960, с. 633, 644). Надо полагать, что книжное произношение у обоих писцов было одним и тем же, но в одном случае оно отражается в написании, тогда как в другом случае писец следует традиционной орфографии. Еще более показательны данные Мин. 1095, где неоднократно встречаются *є, о* на месте *ь, ѣ*. Замена *ь* через *є* встречается здесь как в сильной, так и в слабой позиции: *весе (= вьсь), жестосерѣдымъ, положе (прич. прош.), роженъ (тв. мн. от рожьнъ), ѿбсенама, весесильнама, весемирьнама, весецедрителя, многострастене, ѿговидече, словесена, ковечегъ, мече, страстотърпеце*. В других случаях находим обратную замену *є* через *ь*: *ложьсѣхъ, извлече (аорист 3 ед.), бѣгодѣтьль, вѣньцьносць, вѣньцьносци, вѣлю (= вѣлю), камьньмь, словьсьмь*. Замена *ѣ* через *о* встречается преимущественно в конце слова: *красно (им. ед. муж.), люкъзно, бо (= богъ), тако бѣго и многомѣствъ, ново же и дивнъ, рѣмо (вин. ед. — «Рим»), чѣрътого тако дѣвѣно, прѣстола*. Обратная замена *о* через *ѣ* встречается в следующих случаях: *крѣпѣсть, сѣнѣдньє (= сѣнѣдьное), кѣльчествомъ* (Корнеева-Петрулан, 1917, с. 28–30). Такое же смещение обнаруживается и в целом ряде других рукописей, например, в Мин. 1097 (Обнорский, 1924, с. 183–186), в Ефр. кормчей XII в. (Обнорский, 1912, с. 30–35), в ростовском евангелии МГУ XIII в. (МГУ, 2Ag80 — Князевская, 1973, с. 14–15) и т.д.

Не менее показателен тот факт, что в кондакарях еры при растяжении могут переходить в тянувшиеся о, є и чередоваться с ними. Так, в Благ. кондакаре XII—XIII в. мѣучееникъоомъ (дат. мн. мѣченикомъ, л. 17), в Лавр. кондакаре XII—XIII в. ставна ѿтъ ѡтъ (ставналъ, л. 20 об.), минининини рѷ ѿтъ ѡтъ (миръ, л. 76 об.), доухъ ѡтъ ѡтъ ѡтъ (дохъ, л. 74 об.), раа аа жаа кътъ ѯєєє (ражасть, л. 5 — с повторением флексии), в Усп. кондакаре 1207 г. соущствѹюмь ѧ ѡщсъствѸмь, л. 43), рооооооо ѡтъ ѡдътъ (родъ, л. 165), вътъ ꙗлътъ щсеена (въꙗльсена, л. 52), страдалыць ѳєємъ (страдалицемъ, л. 106 об.), маарость ѳєь (марость, л. 10 об.), авникъ ѵв (авник, л. 123 об.), кеее ѧ ѵвьси (ксі, л. 123), в Син. кондакаре начала XIII в. кротьтътътъ въ въ (кръвь, л. 109). Ср. то же явление в Ирмологии XV в. (ГИМ, Син. 748), где, как и в кондакарях, показано протяжение гласных: златѻооооо ѧ ноеѥѥѥѥ (златолыное, т.е. отлитое из золота, л. 133; Горский и Невоструев, III, 2, с. 404).

Все эти примеры показывают, что в книжном произношении буквы ѣ и ѿ, а также ѣ и ѿ читались одинаково и что различие их в написании имело чисто орфографическое значение (речь не идет сейчас о чтении букв ѣ и ѿ в составе сочетаний с плавными — такие сочетания до падения редуцированных читались особым образом, см. § 7.5.2). Это явление было нормой книжного произношения, но его отражение на письме противоречило церковнославянской орфографии, поэтому в книжных памятниках смешение ѣ и ѿ, ѣ и ѿ имеет окказиональный характер. Систематический характер приобретает это явление в некнижных текстах. Одинаковое чтение в книжном произношении букв ѣ и ѿ, ѣ и ѿ означает, что при обучении азбуке букву ѣ учили читать так же, как и букву ѿ, а букву ѣ — так же, как и букву ѿ, т.е. одинаково звучали склады ѣѣ и ѿѿ, ѣѣ и ѿѿ. Иначе говоря, соответствующие буквы выступали как омофоничные (подобно тому как в качестве омофоничных букв выступали и и ї). Тем самым, в условиях некнижного письма эти буквы оказывались избыточными: носитель языка, который учился читать, но специально не учился писать (ср. § 6.4.2), конвертируя правила чтения в правила письма, мог либо произвольно смешивать омофоничные буквы, либо употреблять какую-нибудь одну из них. Он мог поступать так потому, что ему были безразличны специальные нормы книжного письма. Итак, [о] своего разговорного языка такой писец мог передавать буквами ѿ и ѣ, [е] своего разговорного языка он мог передавать буквами ѣ и ѿ. Звукам [ѣ] и [ѿ] его разговорного языка при обучении азбуке вообще не находилось соответствия, т.е. эти звуки не соотносились ни с какой буквой. Он знал, однако, что в тех формах, где он произносит [ѣ] и [ѿ], в книжном произношении звучат [о] и [е], т.е. звуки, соот-

ветствующие буквам о и є. Поэтому для записи [ѣ] и [ь] он употреблял те же буквы, что и для записи [о] и [е]. Таким образом, [ѣ] своего разговорного языка он мог передавать буквами о и ѣ (так же как [о]), [ь] своего разговорного языка — буквами є и ь (так же как [е]). В результате создавались возможности выбора обозначений (например, звуки [е] и [ь] могли обозначаться только буквой є, или только буквой ь, или буквами є и ь в безразличном смешении); все эти случаи представлены в берестяных грамотах, равно как и в ряде других памятников не книжного письма (Зализняк, 1984).

Обратимся к конкретным примерам. Рассмотрим берестяную грамоту № 531 конца XII — начала XIII в., написанную новгородской смердкой Анной своему брату и содержащую жалобы на несправедливое обвинение, выдвинутое против нее и ее дочери Константином (Константин обвинил Анну и ее дочь в том, что те, пользуясь общим капиталом, давали деньги в рост от себя и без свидетелей и поэтому не делили прибыль с Константином). Вот эта грамота:

Ѣ ане покло ко кнмате брате господине попецалоуи о моемо орудье константиноу а ныне извета емоу людеми како еси возложило пороукоу на мою сестроу и на дочерь еи назовало еси сѣтроу мою коровою и дочере владѣю а нынеца ѡе до прѣхаво оуслышаво то слово и выгнала сѣтроу мою и хотело потати а нынеца господине брате согдаво со воелавомо молони емоу тако еси возложило то слово такоко доведи аже ти возомолони константино дала роукоу аза зате ты же браце господине молони емо тако оже воудоу люди на мою сѣтроу оже воудоу люди при комо воудоу дала роукоу за зате то те а во винне ты пако брате испытаво которое слово звело на ма и пороукоу а воудоу люди на томо тебе не сѣтра а моужевн не жена ты же ма и потени не зера на ѡе дора и дама моа доци коуны людеми с ызветомо а заклада просла и позовало мене во погосто и азо прѣхала оже оно поехало проце а река тако азо солю д дворано по гривене събра

Как видим, Анна пользуется следующей системой письма. Она регулярно пишет о как в соответствии с [ѣ], так и в соответствии с [о]. Буква ѣ в этой грамоте вообще не пишется (о причинах этого см. ниже, § 7.8), она заменяется буквами ь или є, эти две последние буквы пишутся в безразличном смешении как на месте [ѣ], так и на месте [ь] и [е]. Букву о находим на месте [ѣ] в следующих случаях: ко, моемо, возложило, дочерь, дочере, назовало, коровою, ѡе до, прѣхаво, оуслышаво и т.д. Букву є на месте [ь] находим в следующих случаях: людеми, дочере, владѣю, за зате, те, потени (форма от глагола потати «убить»), зера, людеми, проце, гривене. Букву ь на месте [е] наблюдаем в случае сѣтроу (т.е. сестроу, 2 раза). Отчасти сходная система письма представлена в списке «А» Смоленской грамоты 1229 г., где безразлично употребляются, с одной стороны, буквы є, ь, ѣ, а с другой стороны, о и ѣ.

Так же могут писаться и церковнославянские тексты в условиях невладения книжным письмом. До нас дошла берестяная книжка со стихирами (грамота № 419 конца XIII в.), в которой находим более или менее те же приемы письма, что и в грамоте № 531. Совершенно очевидно, что эта грамота не списана с книжного текста, а писалась со слуха (возможно, представляет собой запись заученных наизусть текстов). Приведем эту грамоту:

Ѣс хѣъ. ако со бѣмъ пощиваемо гѣ благослови бѣъ въцѣрнѣла наша молитвы
принимъ свѣаты гѣ и подаже намъ оставльнѣмо грѣхово ако кѣнно кѣмъ авани во
миръ воскресньне обидѣть людіе спона и обонимъ и дадѣть славу во немѣмъ
воскресошмоу и[з] мѣртинхо ако тѣ есть бого нашъ избавани ото възаконни
нашихо прѣдѣть лѣудие понмо и поклонниама хѣъ славащѣ ко свѣатое воскресенне
ако то есть бѣ нашъ избавѣлаа ото безаконни нашихо страстню твоєю ѿъ сстра
страстни свободихомо са и воскресниама твоимъ из истеленниа избухъмо гѣ
слава тобѣ

Писавший эту грамоту пользовался следующей системой письма. В соответствии со звуком [ъ] он пишет буквы ѣ и о. В соответствии со звуком [о] он пишет те же буквы. Буква ѣ в грамоте не пишется, на ее месте стоят ь или ѣ. Буквы ь и ѣ пишутся в безразличном смешении на месте [ъ], [е], [ѣ]. Приведем примеры: ѣ в соответствии с [ъ]: тѣъ; о в соответствии с [ъ]: со, пощиваемо (ошибка вместо пощиваемо), намъ, грѣхово, кѣнно, во, воскресньне и т.д.; ѣ в соответствии с [о]: избухъмо; ѣ в соответствии с [ъ]: подаже, истеленниа; ь в соответствии с [е] или [ѣ]: въцѣрнѣла, воскресньне, обидѣть, обонимъ, дадѣть, воскресшоу и т.д.

Церковнославянские тексты, однако, обычно писались людьми, владеющими книжным письмом; поэтому последовательное смешение букв ѣ и о, ь и ѣ наблюдается, как правило, именно в русских текстах. Характерным образом при этом один и тот же человек мог пользоваться разными системами письма — в зависимости от языковой установки. Показательна в этом отношении запись писца Евсевиева евангелия 1282—1283 г. (ГБЛ, ф. 178, № 3168, л. 62 об.): *Въ лѣтѣ .Ѣ.ѣ.Ѣа. скончашася книги снѣ .ѣ. мѣа октѣ .ѣ. днѣ. сѣа. люкиана прозвѣтора .ѣ. блгословитъ а нѣ кленѣтъ а кѣде боудоу исекирвилу исправлате .ѣ. си же писало кѣсвини. поповиче сѣ. нѣана. азъ грѣшнин. гѣ помози рабоу свокому. коли са женило горгни. князе а ѿць кмоу в оугры ходило. тогда скончашася книги снѣ .ѣ.* (Голоскевич, 1914, с. 4). Эта запись разительно контрастирует с текстом евангелия, написанным тем же писцом Евсевием, где он в принципе следует книжной орфографии (и где отклонения от книжной нормы имеют характер ошибок).

Другим примером может служить новгородская берестяная грамота № 724, написанная между 1161 и 1167 гг.: грамота эта

содержит текст на русском языке, написанный — одним почерком! — как на лицевой, так и на оборотной стороне. При этом основной текст (на лицевой стороне грамоты) и приписка (на оборотной ее стороне) представлены в двух разных графических системах: в частности, смещение ъ и о, ь и є характерно для приписки, но почти не наблюдается в основном тексте грамоты. Одновременно эти тексты отличаются по своим фонетическим и морфологическим характеристикам: если текст приписки обнаруживает типичные черты новгородского диалекта, то в основном тексте грамоты почти нет диалектных особенностей (Зализняк, 1995, с. 296–298). И здесь также переход на другую систему письма оказывается связанным с изменением языковой установки, хотя в данном случае не имеет места противопоставление церковнославянского и русского языка — противопоставленными оказываются нейтральный и диалектный язык. Ср. ниже о случаях исправления некнижных написаний в берестяных грамотах, когда о правится на ъ, є на ь в соответствии с книжной системой письма (§ 7.5.4).

Переход на «некнижную», бытовую систему письма в определенных ситуациях был возможен и в рамках книжного, церковнославянского языка. Об этом свидетельствует приписка XIII в. на Сл. Кир. Иерус. XI–XII в. (ГИМ, Син. 478, л. 271): книги: Ёть Ёць : исправль : въры : и законоу правому : изложно кюрнаѣмо архиепискоупомо : на жиды : и на ерътики : и на търкомъны : а кто сна книги : чтьте : многоу по[ль]зоу приобращать и... (Горский и Невоструев, II, 2, с. 48). Автор этой приписки — читатель богословских сочинений Кирилла Иерусалимского — был, безусловно, грамотным и образованным человеком, и сам текст приписки имеет в общем книжный характер. Тем не менее, он и не пытается следовать церковнославянской орфографии: активное употребление книжного языка коррелирует в данном случае с переходом на бытовое письмо (ср. § 6.3.1).

Как было сказано, некнижные системы письма возникают в силу того, что при обучении грамоте ъ и о, равно как ь и є, выступают как омофоничные буквы. Практика такого рода оказывается независимой от падения редуцированных. Действительно, мы находим подобные примеры в грамотах и надписях XI — начала XII в. (найденных в Новгороде): а именно в берестяных грамотах №№ 613 (30-е — 50-е гг. XI в.), 752 (XI–XII в.), 644 (10-е — 20-е гг. XII в.), ср. также единичные примеры в берестяной грамоте № 526 (вторая треть XI в.) и в свинцовой грамоте №1 XI–XII в. (Зализняк, 1995, с. 22, 225, 227, 229, 238, 244); древнейшим примером является надпись на деревянном цилиндре, запирающем мешок, первой половины (первой четверти?) XI в.: мечни[ч]ь лазорево мѣхо «мешок мечника Лазоря» (Янин и Зализняк, 2000а, с. 14).

Такие системы записи широко распространены вплоть до начала XIV в., когда они начинают вытесняться системой записи, не отличающейся по употреблению букв ѣ, ѡ, ѣ от книжного письма позднего древнерусского периода. Нужно думать, что этот процесс связан с изменением системы обучения грамоте, когда после падения и прояснения редуцированных буквам ѣ и ѡ в книжном произношении стало придаваться иное фонетическое значение, чем буквам о и ѣ, — о и ѣ, ѣ и ѡ перестают быть омофоничными буквами, что и отражается на системах некнижного письма (§ 7.5.5).

Совокупность приведенных фактов указывает на то, что в книжном произношении буквы ѣ и ѡ читались как [о] и [е], т.е. так же, как читались буквы о и ѣ. Эта традиция книжного произношения отразилась в так называемом «хомовом» или «наонном» пении, которое сохраняется до наших дней у старообрядцев-бесполовцев; соответствующее явление носит название «хомония». Сохранение этого произношения в пении обусловлено консервативностью церковных распевов — когда после падения редуцированных в чтении сократилось количество слогов, певческая традиция, в которой сокращение слогов привело бы к искажению мелодии, разошлась с традицией чтения. В певческой традиции законсервировалось старое книжное произношение еров, т.е. поется *носимо* вместо *носимъ*, *есте* вместо *есть*, *сопасо* вместо *спасъ* и т.д. Следует оговориться, что произношение [о], [е] на месте старых еров зависит от конкретного распева, т.е. в одних случаях поется *денесе*, в других *денесь*, а в третьих *днесь*, и т.п. Сохранение этой певческой традиции оказалось возможным потому, что в певческих текстах была в свое время изменена система записи. Когда изменилась система книжного произношения и буквы ѣ и ѡ перестали учить читать как [о] и [е], певческие книги были переписаны, и там, где звучали [о] и [е], стали последовательно писаться буквы о и ѣ, т.е. появились записи типа *денесе*, *сопасо* и т.д. Такую запись наблюдаем уже в Буслаевском стихираре конца XIV в.: *ниже на горѣ фаворестѣ преоб-разиво сѧ во славу христе боже · показаво оученикомъ своимъ · славу своего божества · освѣти насъ · свѣтомъ твоего видѣннѧ · и направи на стезю заповѣди твоихъ · яко едино благо ꙗ человекѡлюбче* (ГПБ, О.І.418, л. 117 — Каринский, 1911, с. 113). Таким образом, с падением и прояснением редуцированных в русском разговорном языке, которое с известным запозданием отразилось на книжном произношении, хомония в певческих текстах начинает регулярно передаваться орфографически, т.е. то произношение, которое раньше скрывалось за буквами ѣ и ѡ, начинает эксплицитно передаваться буквами о и ѣ. Этот процесс наглядно представлен в Ирмологии XV в. (ГИМ, Син. 748), где на нескольких страницах буква ѣ пере-

правляется на о, буква ь — на е, ср. здесь: *се वोге наше препрославлено естъ того единого воспомне* (л. 49 об.) и т.п.; подчеркнутые буквы о и е переправлены из ъ и ь.

Хомовым данное пение называется потому, что окончание аориста 1 л. мн. *-хомъ*, часто встречающееся в церковных текстах, звучит в этих условиях как *-хомо*. Так, ирмос седьмой песни Великого канона поется в хомовой огласовке следующим образом: «Согрѣши-хомо и беззаконовахомо, не оправдихома предо тобою, ни соблюдохомо, ни сотворихомо якоже заповѣда намo, но не предаи же насo до конца отеческии Боже». Это пение называется также наонным, поскольку вместо ера произносится буква «он» (о).

Хомония в орфографии певческих текстов сохранялась до середины XVII в., когда специальной комиссией была произведена правка певческих книг и было введено так называемое наречное пение, при котором произношение певческих текстов не отличается от произношения текстов для чтения (стали петь «на речь», т.е. как читают). Эта реформа совпала по времени с расколом русской церкви, поэтому часть старообрядцев, а именно старообрядцы-поповцы, приняла наречное пение, тогда как другая часть, а именно старообрядцы-беспоповцы, продолжала петь по-старому; позднее (с конца XVIII в.) и некоторые беспоповцы переходят на наречное пение (Успенский, 1968, с. 61–65; Успенский, 1988/1997, с. 182). Необходимо подчеркнуть, что хомовое пение сохранялось как в церковной традиции Московской Руси, так и в традиции Юго-Западной Руси. То обстоятельство, что оно представлено в обеих традициях, указывает, что книжное произношение ъ как [о], ь как [е] имело в свое время повсеместный характер.

Отражение хомонии может наблюдаться и в церковном чтении, хотя и не столь последовательно, как в пении; при этом в чтении — в отличие от пения — произношение такого рода никак не связано с написанием соответствующих форм. Так, из переписки протопопа Аввакума мы узнаем, что некий чернец Игнатий не только выпевает по нотным книгам, но иногда «и по печати говорит» не «на речь», выкрикивая, например, *преславенная денесе* (РИБ, XXXIX, стлб. 857). В грамматическом сочинении «Сила существу книжнаго писма» осуждаются те, которые «пишут и говорят: *рожешью, рождешью*, без добра съ естемъ или добро полагают на верху. но ты же пиши съ еремъ, поставляя добро в срединѣ, сице: *рождшью*» (Ягич, 1896, с. 425, примеч. 4). Итак, речь здесь идет о том, что некоторые произносят [е] на месте ь, что с точки зрения автора данного сочинения является нарушением нормы.

Такое произношение проявлялось в XVII в. в чтении предлогов и приставок, имеющих конечный ъ. Так, в славяно-греческом букваре конца XVII в. говорится: «ъ писма припряжногласное в' пред-

лозѣхъ съчиняемо нѣкогда гласнаго писмене о гласъ приѣмлетъ. Пишется убо кѣ, съ, яко кѣ Гдѣ, кѣ Хртѣ, глется же ко, со, яко ко Гдѣ, ко Хртѣ. Пишется с' вѣкоу, с' Хртѣмъ. глется со вѣкоу, со Хртѣмъ » (ГПБ, Соф. 1208, лл. 61 об.—62). Здесь же указывается, что подобное явление, т.е. чтение буквы ѣ как о, не имеет места во фразах типа вѣ дѣло, в' лѣто, в нѣдро, в рѣкахъ (так в рукописи! ясно, что имеются в виду написания вѣ лѣто, вѣ нѣдро, вѣ рѣкахъ); нетрудно заключить, что данное явление было свойственно именно церковному произношению и не распространялось на фразы, которые выходили за рамки литургического контекста. Чтение буквы ѣ как [о] в приставках и предлогах съ, вѣ, кѣ сохранялось в церковном произношении униатов (Огиенко, 1927, с. 178). По-видимому, соответствующее произношение было характерно для Юго-Западной Руси. Так, в грамматике Смотрицкого неоднократно указывается, что написание предлогов с «ериком» (надстрочным значком, заменяющим букву ѣ) типа в', к', с' и т.п. соответствует в произношении формам во, ко, со (Смотрицкий, 1619, л. Б/6 об., Ы/7 об.; Смотрицкий, 1648, л. 63—63 об., 345 об.). Это правило распространялось, надо думать, и на приставку вѣз-, которая читалась как воз-. Не исключено, что цитированное предписание букваря конца XVII в. объясняется именно югозападнорусским влиянием.

Наконец, в церковном чтении старообрядцев-беспоповцев мы до сих пор наблюдаем последовательное произношение слов «сердце», «солнце» с [е] на месте бывшего слабого ѣ; на такое произношение обращается специальное внимание, т.е. произнесение их как *сердце*, *солнце*, а не как *сердеце*, *солнеце*, считается неправильным (Успенский, 1968, с. 48—50; Успенский, 1988/1997, с. 174—175; Успенский, 1967а/1997, с. 304). Поскольку эти слова, как правило, пишутся под титулом, подобное произношение опирается на устную традицию. Так же произносятся старообрядцами и имя *Предотеца* («Предтеча»), которое также писалось под титулом (отметим, что такое произношение было принято и в Юго-Западной Руси: оно зафиксировано в первом издании грамматики Смотрицкого, 1619, л. Е/7).

Источник подобной манеры чтения, т.е. искусственного церковного произношения еров как [о], [е], — произношение южнославянских книжников, осмысленное и модифицированное на русской почве. Шахматов усматривает этот источник в произношении тех южных славян, в языке которых совершилось уже падение и прояснение редуцированных до того, как это произошло в русских говорах; в результате этого произнесение еров как [о], [е] было воспринято русскими как специфический признак литургического произношения и, соответственно, вообще распростране-

но на все случаи, поскольку до падения редуцированных в русских говорах сам принцип различения сильных и слабых еров оставался для русских книжников совершенно непонятным. «Прямым результатом этого, — говорит Шахматов (1941, с. 82), — явилось то, что при чтении церковных книг русские люди стали произносить букву *ъ* как *о*, букву *ь* как *е*, не справляясь, конечно, с тем, сильные ли эти *ъ*, *ь* в живом русском произношении, или слабые» (ср. также Шахматов, 1915, с. 208). По словам Дурново, «между южными славянами, бывшими на Руси в XI и XII в., от которых русские усваивали церковное или литературное произношение, были и такие, которые произносили *ъ*, *ь* сильные как *о*, *е* или, по крайней мере, так, что русские воспринимали *ъ*, *ь* в их произношении как *о*, *е*» (Дурново, VI, с. 20).

Таким образом, русское чтение еров как [o] и [e] обусловлено контактами с теми южными славянами, у которых раньше, чем у русских, произошло падение и прояснение редуцированных; это достаточно определенно указывает на македонскую территорию (см. Селищев, 1, с. 58; ср. Дурново, 1924, с. 156; Дурново, 1933, с. 63—64; Шевелев, 1960, с. 25). Есть основания предполагать, таким образом, что в рассмотренном явлении отразились древнейшие русско-македонские языковые контакты. Отметим, что они отразились и на некоторых других моментах русского книжного произношения, в частности, на чтении букв *ѡ* и *ѣ*. (§ 7.4; § 7.10.2).

Наряду с описанной манерой книжного чтения еров на раннем этапе (в XI в.), по-видимому, существовала и другая. Как известно, некоторые памятники XI–XII вв., созданные на Руси, используют одну букву на месте исконных *ъ и *ь. Такое письмо принято называть «одноеровым» (см. Тот, 1978; Зализняк, 1995, с. 25). Таким образом написаны как церковнославянские тексты — новгородские церы (§ 3.1), кириллическая часть Реймс. ев., фрагмент из Панді. Антиоха (л. 18 об.—26 об.), Листок Викторова (ГБЛ, ф. 228, № 205), Бычковский Златоструй (ГПБ, Q.п.1.74), Житие Кондрата (ГПБ, Пог. 64), — так и тексты русские (новгородские берестяные грамоты №№ 109, 380, 527, 586, 745, 821, 877, 900, 907 и свинцовая грамота № 1). Одноеровая графика может быть связана с тем, что в значительной части южнославянских диалектов *ъ и *ь совпали: русские писцы, видимо, следовали тем южнославянским протографам, в которых отразилось это явление, и это создало традицию. Отражение этой традиции может быть усмотрено, как кажется, в древнерусских кондакарях, где еры при растяжении могут переходить один в другой, см. в Тип. уставе XI–XII в. *вооляъъ-ььь-ьь-нѣю* (вольнѣю — с последовательностью *ъъъ*, л. 76), *непосраамь-ьъ-ььь-ььнама* (непосраамѣна — с последовательностью *ьъ*, л. 93 об.), *кръ-ьъ-ьѣшаю-.....чаша* (кръшаша — с последовательностью *ъъъ*, л. 50–50 об.) и другие примеры (Успенский, 1973/1997, с. 212).

Остается неясным, как читались еры (буква ѣ или ѥ) в церковнославянских текстах, написанных одноеровым письмом. Можно предположить, что книжное произношение не отличалось в данном случае от живого, разговорного произношения, т.е. на месте буквы ѣ или ѥ произносились соответствующие редуцированные звуки. Не исключено, однако, что буква ѣ или ѥ читалась каким-то особым образом, и это искусственное произношение было противопоставлено произношению живому; в этом случае рефлексы *ѣ и *ѥ, очевидно, не различались в книжном произношении. В любом случае здесь не было того фонетического противопоставления, которое было рассмотрено выше.

Различные манеры книжного произношения еров могут отражать, таким образом, различные этапы контактов восточных и южных славян.

§ 7.5.4. Правила, определяющие написание еров. Как мы видели, отражение на письме книжного произношения еров как [о] и [е] последовательно наблюдается лишь в текстах некнижных. В книжных текстах оно встречается только спорадически. Очевидно, что орфография в данном случае расходилась с книжным произношением, т.е. в орфографическую норму входило правописание еров, совпадающее с этимологией. Чтобы выполнить эту норму, писец должен был при написании еров обращаться к своему разговорному произношению, т.е. «руководиться правилом писать ѣ и ѥ там, где в соответствующих словах и формах русской живой речи слышались звуки [ѣ] и [ѥ], а о и е там, где слышались звуки [о] и [е]» (Дурново, 1933, с. 64).

Такое правило обеспечивало в абсолютном большинстве случаев этимологически верное написание еров. Отступления наблюдаются лишь в специфически книжных словах, которых не было в живых русских говорах. Так, например, русские писцы часто пишут *оуповати*, поскольку соответствующей основы (*оупѣва-*) не было в говорах, т.е. писцы не могли исходить в данном случае из разговорного произношения.

Императивный характер данной орфографической нормы — запрещающей отражение на письме книжного произношения, т.е. смещение букв ѣ и ѥ, ѥ и ѥ, — особенно наглядно проявляется в случаях исправлений тех написаний, где допущено такое смещение. Так, в Мин. 1095 в целом ряде случаев конечное о на месте ѣ исправляется на ѣ, например: *изволѣнъ, ковѣчѣъ, хѣбъ, вѣрънъ, подвигомъ, слоуѣъ, вѣсакъ, цѣбѣъ, нѣкакъ, разоумъ, дивнъ, имамъ, моукъ, цѣлъ, былъ, гломъ, нѣтълѣнъ* (Корнеева-Петрулан, 1917, с. 30). Такие исправления, хотя и менее многочисленные (потому что смещение еров с о и е представлено здесь не так часто, как в Мин. 1095), находим в Стихираре XII в. (ГИМ, Син. 279); здесь

имеется ряд случаев исправления о на ъ в окончаниях тв. ед., а именно: *вогъмъ* (л. 58), *кстѣствъмъ* (л. 100), *млекъмъ* (л. 115 об.), *поспѣшѣствъмъ* (л. 121 об.), *оуѣинѣствъмъ* (л. 156); в форме тв. ед. *путьмъ* (л. 68 об.) первый ерь исправлен, видимо, из є; есть и ряд других исправлений: *пророкъмъ* л. 13 (дат. мн., первый ъ исправлен из о, причем правильное написание изменяется в неправильное), *спасенникъ* л. 41, *миръви* л. 49 (дат. ед.; неясно, правилось ли о в ъ или ъ в о) (Живов, 1984, с. 287). Аналогичные примеры можно привести и из ряда других древних рукописей. Так, в октябрьской Минее XII в. (ГИМ, Син. 160) конечное о правится на ъ в словах *разоумъ* (л. 10), *бѣсъ* (род. мн., л. 55), *влагъ* (род. мн., л. 144 об.), *вогъ* (л. 86 об.), *славьтъ* (л. 198); о правится здесь на ъ и в окончании тв. падежа в форме *высокъмъ* (л. 23), в предлоге къ (л. 161 об.), в форме *любъви* (род. ед., л. 36). В ноябрьской Минее из того же комплекта (ГИМ, Син. 161) исправление о на ъ находим в слове *гръзны* (л. 167), а также в форме *доухъмъ* (л. 184); в декабрьской Минее (ГИМ, Син. 162) конечное о правится на ъ в словах *младъ* (л. 172), *живъ* (л. 203 об.), *вогъ* (л. 267, 267 об.). См. еще примеры: Успенский, 1988/1997, с. 154–158.

Такого рода исправления наблюдаются и в новгородских берестяных грамотах. Так, в грамоте № 526 (вторая треть XI в.) в слове *коунъ* (род. мн.) буква ъ переправлена из о; ср. аналогичное исправление в грамоте № 652 конца XII — начала XIII в.: в слове *нъ* («но») буква ъ также переправлена из о. В рассмотренной выше (§ 7.5.3) грамоте № 531 XII–XIII в. в слове *доцерь* (вин. ед.) буква ь переправлена из є; в другом случае мы имеем здесь *доцере* (вин. ед.) — без исправления. См. Зализняк, 1995, с. 225, 381, 345.

После падения и прояснения редуцированных (эти процессы, возможно, не были одновременными), когда редуцированные начинают исчезать из пассивной памяти носителей языка (XII в.), писцы теряют возможность писать в соответствии с книжной нормой, исходя из своего живого, разговорного произношения. Тем не менее, различие ъ и о, ь и є остается обязательным для писцов; на это указывает достаточно регулярное исправление о на ъ в окончаниях тв. ед. (*страхомъ* на *страхъмъ* и т.п.), а также *кротокъ* на *кроткъмъ* в Выголекс. сб. конца XII в. (Судник, 1963, с. 196; Голышенко, 1977, с. 28); ср. § 7.12.1. Указанная норма перестает поддерживаться лишь в середине XIII в., когда начинается формирование позднерусской книжной орфографии, отражающей в своих нормах падение и прояснение редуцированных.

§ 7.5.5. Написание и произношение еров после падения и прояснения редуцированных. До падения редуцированных писец знал, что он должен писать ъ и ь там, где он произносит

[ъ], [ь], при том что по нормам книжного произношения эти буквы читались как [о], [е]. После падения редуцированных изменились исходные русские формы. Там, где редуцированные проявились в его живой речи, писец произносил [о], [е] и, соответственно, писал о, е. Там, где редуцированные пали в его живой речи, он не произносил никакого звука и, соответственно, не писал никакой буквы (за исключением еров на конце слова, которые в условиях слитного письма выполняли разделительную функцию). В обоих случаях механизм пересчета русских форм в церковнославянские формы не меняется.

Процесс падения и прояснения редуцированных в живых русских говорах, отразившись на церковнославянском правописании, в конечном счете обуславливает и изменение книжного произношения: в результате этого процесса исчезает традиция чтения еров как [о] и [е].

Как это происходит? Процесс падения и прояснения редуцированных на первых порах неминуемо приводил к разнобою в написании, которое по идее должно было воспроизводиться в книжном произношении при чтении соответствующих текстов (постольку, поскольку книжное произношение в принципе ориентировано вообще на написание, представляя собой побуквенную систему чтения, см. § 4.2). При ориентации на написание одни и те же слова должны были по-разному произноситься (даже в пределах одного текста). Поскольку книжное произношение, будучи связано с богослужением, предполагало единообразие (§ 6.3), такой разнобой в произношении оказывался недопустимым. Разнообразие в орфографии, вообще говоря, имело место и раньше, однако оно в принципе было допустимо лишь постольку, поскольку относилось к написанию омофоничных букв или фонетически тождественных форм: в этом случае разнобой в написании не мог сказываться на книжном произношении (при чтении текста). Теперь же колебания такого рода должны отражаться на произношении. Это обуславливает необходимость преобразования обучения грамоте и в первую очередь изменение произношения еров. В результате буквы ъ и ь перестают читаться как [о] и [е], т.е. прекращается обучение произношению такого рода. Это происходит, по-видимому, не ранее XIV в.

При этом в книжном произношении наблюдается отчетливая тенденция избегать позиционного изменения звуков, вызванного падением редуцированных в живой речи, а именно ассимиляции согласных в консонантных стыках и оглушения звонких согласных на конце слова. Противодействие ассимиляционным процессам в книжном произношении обуславливает появление разделяющего гласного призвука. В этих условиях написание еров приобретает

новую фонетическую функцию: еры пишутся теперь для того, чтобы избежать позиционного изменения согласных; одновременно буквы ѣ и ѥ обозначают твердость и мягкость предшествующего согласного. Соответственно, с определенного времени буквы ѣ и ѥ начинают читаться как редуцированные звуки (гласные призвуки типа шва), которые, возможно, совпадают по звучанию с бывшими редуцированными живой русской речи. Традиция такого произношения до сего дня сохраняется в церковном чтении старообрядцев-беспоповцев: в процессе обучения грамоте при прохождении складов в букваре старообрядцы учились (отчасти учатся и теперь) читать сочетания согласных с ѣ или ѥ (типа вѣ, вѣ..., вѣ, вѣ... или връ..., врь... и т.п.) как самостоятельные звуковые сочетания, в принципе равноправные любому другому сочетанию, образуемому «склад», т.е. слог (типа ба, ва..., бра, вра...) (Успенский, 1967а/1997, с. 296–298; Успенский, 1968, с. 36–39; Успенский, 1970/1997, с. 256; Успенский, 1971, с. 16–17). Старообрядцы сохраняют традицию книжного произношения Московской Руси, восходящую в этом отношении к эпохе падения редуцированных; отметим, что в книжном произношении Юго-Западной Руси еры в принципе не читались, т.е. имели чисто орфографическое значение (§ 13.4).

Чтение ѥ как редуцированного звука, приближающегося к краткому [i], отразилось в употреблении термина *кендема* (ср. греч. *kéndēma*), который появляется в период второго южнославянского влияния: этот термин может означать как надстрочную (выносную) букву и, так и надстрочный знак, заменяющий букву ѥ (§ 11.4.3).

Стремление избежать позиционного изменения звуков, вызванного падением редуцированных в живой речи, в некоторых случаях может способствовать сохранению старого книжного произношения, которое отражает в конечном счете чтение еров в древнейший период. Это сказалось на произношении (а в дальнейшем и на написании) суффиксов -ѣств- и -ѣск- в позиции после шипящих или после сочетания согласных (т.е. в таких, например, словах, как пророчество, пророчьскии и т.п.) После того, как слабые редуцированные были утрачены в живом языке, писцы, исходя из своего разговорного произношения, могли не писать в этих суффиксах букву ѥ; в результате на морфемных швах образовывались — в указанных позициях — сложные для произношения консонантные группы, что приводило к ассимиляционным изменениям и прежде всего к упрощению такого рода групп. Подобные изменения были недопустимы в книжном произношении, и это заставляло обращать особое внимание как на написание, так и на произношение данных суффиксов. Писцы были особенно внимательны к тому, чтобы в указанных позициях в этих суффиксах писалась

буква ь: в противном случае при чтении искажался фонетический облик слова. До реформы книжного произношения (когда буквы ъ и ь стали читаться как гласные призвуки) эта буква закономерно читалась при этом как [е]; вместе с тем, отталкивание от разговорного произношения способствовало сохранению в этих условиях старой произносительной нормы и в последующее время — таким образом, эти суффиксы продолжали произноситься (в указанных позициях) с [е] на месте этимологического *ь и после того, как буква ь стала читаться как разделительный гласный призвук. В самом деле, в позиции после шипящего, а также в позиции после сочетания согласных этот призвук должен был произноситься особенно тщательно — для того, чтобы он был слышен (чтобы он звучал как разделительный гласный), его необходимо произнести с некоторым протяжением, и в результате он приближается по своему звучанию к гласному полного образования, который легко может ассоциироваться с гласным [е]. Речь идет, таким образом, об утрированном произношении — подобное произношение имеет место и сегодня, когда, например, москвичи гиперкорректным образом произносят «Калужское шоссе» (вместо *Калужское*).

Старые написания с ерами (не в конце слова) могут окказионально всплывать в более поздних текстах, написанных много веков спустя после того, как завершились описанные здесь процессы. Такие формы можно встретить в рукописях XVI–XVII вв. и в старопечатных книгах. Так, например, в житии Михаила Клопского по рукописи 1552–1554 гг. мы неоднократно встречаем написание *дньсь* (Дмитриев, 1958, с. 143, 151, 152) наряду с *днесь*. В посланиях митрополита Даниила по рукописи 1561–1568 гг. слово *сон* записывается как *сънь* (Дружинин, 1909, с. 102). Такие примеры легко умножить. Эти написания объясняются влиянием древнерусской орфографии: начитанные в древнерусских рукописях писцы могли окказионально употреблять заимствуемые оттуда формы как специфически книжные орфограммы.

Итак, книжное произношение еров изменилось. Тем самым чтение букв ъ и о, ь и е стало различным. Для того чтобы обозначить [о], нужно было теперь написать о, для того чтобы обозначить [е], нужно было написать е. Это отразилось на орфографии певческих рукописей. Поскольку в пении сохранялась традиция старого произношения, т.е. на месте этимологических еров звучали [о] и [е], они стали теперь записываться с помощью букв о и е, т.е. появились написания *сопосо*, *денесе* и т.д. (см. выше, § 7.5.3). Вместе с тем изменилось обучение чтению, т.е. стали по-разному учить читать буквы ъ и о, ь и е, они перестали выступать как омофоничные буквы. Соответственно, сходят на нет (с XIV в.) старые системы

некнижного письма, в которых ѣ и ѿ, ѡ и ѣ выступают как эквивалентные способы обозначения.

Равным образом с помощью букв ѿ и ѣ начинают передаваться — рано или поздно — те грамматические показатели, в которых отражается старое книжное произношение, а именно, префиксы *сѣ-*, *въз-* могут записываться теперь как *со-*, *воз-*, суффиксы *-ьств-*, *-ьск-* — как *-еств-*, *-еск-*, т.е. появляются такие написания, как *сѡборъ*, *воздѣти*, *пророчество*, *пророческѣи* и т.п.

Отметим, что если отражение старого книжного произношения еров в грамматических показателях представляет собой относительно нередкое явление, то в корнях это произношение практически не отражается: [о] или [е] на месте слабых *ѡ или *ѣ наблюдаются в корнях, как правило, лишь тогда, когда прояснение слабого редуцированного имеет место и в разговорном языке, т.е. в таких словах, как *вопѣти*, *сѡты*, *дѡска*, *чѣсти* (род.-дат.-местн. ед.) — речь идет в подобных случаях не об отражении специальной традиции книжного произношения, а об адаптации произношения разговорного, которое в данном случае не противопоставляется книжному. Различие между корнями и грамматическими показателями предстает при этом весьма отчетливо: оно, несомненно, свидетельствует о том, что отражение старого книжного произношения еров было связано с определенным грамматическим осмыслением. В период перестройки книжных норм, обусловленной падением редуцированных в живом русском языке, книжники отталкивались, по видимому, от разговорного произношения и пытались сохранить фонетический облик слова; однако это оказывалось возможным не везде, а лишь в определенных грамматических показателях, произношение которых не представляло трудностей для усвоения.

Церковнославянские формы с [о] или [е] на месте слабого *ѡ или *ѣ в ряде случаев проникают (в качестве заимствований) в русский язык; они могут сосуществовать здесь с коррелятными русскими формами, отражающими падение слабого редуцированного. Церковнославянское происхождение форм такого рода проявляется в их стилистике и семантике. Так, если формы типа *воскликнул*, *сокрыл* и т.п. только стилистически противопоставлены в современном русском языке формам *вскликнул*, *скрыл* и т.п., то в других случаях произошла дифференциация значений (ср., например: *содержать* — *сдержать*, *сохранить* — *схоронить*, *сѡбор* — *сбор*, *воздух* — диалектное *вздух* «сторона судна») или полное проникновение церковнославянской формы в русский язык (ср. *соблазн*, *восторг*, *восток*, *соблюдать*, *союз*, *вопить* и т.п.). Очевидно, что подобные случаи отражают различные этапы взаимодействия церковнославянского и русского языков. Любопытно, что в таких парах, как *совершить* — *свершить*, *собрать* — *сбирать* русская форма па-

радоксальным образом воспринимается как более архаическая (книжная). Ср. еще такие пары, как *греческий* — *грецкий*, *купеческий* — *купецкий*, *молодеческий* — *молодецкий*, *мужеский* — *мужской* и т.п.; соответственно, такие формы, как *тысяцкий*, *немецкий*, *волжский* являются чисто русскими образованиями, тогда как *человецеский*, *вражеский*, *княжеский* представляют собой славянизмы.

Частным случаем указанной дифференциации значений является то, что приставка *съ-/со-* в церковнославянском языке обладает другим набором значений, чем в русском языке, и это проявляется в позднейшем противопоставлении славянизмов и русизмов (внутри русского языка). Именно, церковнославянская приставка *съ-/со-* обладает значением совместности, которое отсутствует у русской приставки *с-*, ср. такие славянизмы, как *собеседовать*, *соболезновать*, *соревнование*, *сообщество*, *сотрудник*, а также такие новообразования, построенные по церковнославянской модели, как *сопереживать*, *сотворчество*, *соавторство* и т.п. (Улуханов, 1972, с. 40–41).

В XVIII в. предлоги *во*, *со*, *ко* становятся принадлежностью высокого стиля, что, видимо, объясняется связью с югозападнорусской традицией чтения предлогов *въ*, *съ*, *къ* как *во*, *со*, *ко* (см. § 7.5.3). Сумароков специально указывает, что лучше говорить «*во глубинѣ*, а не *въ глубинѣ*; лутче *во Италиі*, нежели *въ Италиі*; лутче *во Ерусалимѣ*, нежели *въ Ерусалимѣ*» («Примечание о правописании» около 1773 г. — Сумароков, X, с. 43).

§ 7.6. Книжное произношение г. Особенностью русского книжного произношения является фрикативное произношение буквы *г* как [γ]. Это произношение отличается от южнославянского произношения этой буквы как смычного [g]. Есть основания полагать, что такая манера чтения характеризует уже начальный этап русской книжной традиции.

Смычный или фрикативный характер звонкого заднеязычного является, по-видимому, одной из древнейших диалектных черт, противопоставлявших северные и южные восточнославянские говоры (Хабургаев, 1980, с. 87). Книжное произношение *г* как фрикативного на южной территории возникло в результате адаптации церковнославянской орфоэпии к фонетике живого языка. Таким образом, на юге Киевской Руси книжное и живое произношение не были противопоставлены по данному признаку. Видимо, уже в древнейший период такое книжное произношение распространилось и на всю остальную территорию Киевской Руси, при этом на севере оно оказывалось противопоставленным живому произношению. По словам А. А. Шахматова, «усваивая себе церковнославянское произношение, новгородское духовенство подражало при этом киевскому» (Шахматов, 1941, с. 91). Таким образом, южнорусская манера чтения воспринималась в северной Руси как специфически книжная.

Естественно, что фрикативное или взрывное произношение *г* не может непосредственно отражаться в орфографии церковнославянских текстов: каким бы ни было произношение, между буквой *г* и соответствующим звуком ([ɣ] или [g]) устанавливается однозначная корреляция. В написании реальный характер произношения *г* может отражаться только в виде спорадических ошибок. Ошибки здесь могут быть двух типов: либо смешение буквы *г* с *х* (или реже с другой буквой, обозначающей фрикативный), либо опущение буквы *г*.

Спорадическое смешение *г* и *х*, обнаруживающее фрикативное произношение *г*, наблюдается в ряде древнейших русских церковнославянских рукописей. Так, в частности, в Изб. 1073 находим *кѣиѣхъчии* (л. 232в) наряду с *кѣнигъчииѣ* (там же) и *кѣнигъчииа* (л. 199а) (ср., впрочем, форму *книхъчии* в Супр. рукописи, с. 135), в Сл. Гр. Бог. XI в. *ходъ* вместо *годъ* (л. 146б), *слоуѣтъ* вместо *слоуѣхъ* (л. 336а), ср. еще *врѣхомъ* вместо *грѣхомъ* в Леств. XII в. (л. 127). Правда, поскольку все перечисленные памятники не имеют северных черт, т.е. могут рассматриваться как южнорусские, смешение *г* и *х* в них может объясняться и как отражение разговорного произношения. Аналогичные написания, однако, встречаются и в рукописях северного происхождения. Так, в Студ. уставе XII в., обнаруживающем черты новгородского происхождения (в нем отражается цоканье и встречаются написания с *жг* — Дурново, IV, с. 84), находим *хроушѣ* вместо *гроушѣ* (л. 208). В Кондакаре ОИДР XII в. находим *сѣграни* вместо *сѣхрани* (л. 4 об.); этот кондакаръ относят к северо-западной территории (в нем отражается цоканье и смешиваются *оу* и *в* — Тихомиров, II, с. 134), где современное диалектное произношение дает [ɣ]; следует полагать, однако, что в XII в. здесь имело место произношение [g], которое позднее было вытеснено фрикативным произношением (Хабургаев, 1980, с. 87, 118). В ростово-суздальских, как полагают, Пандектах Никона Черногогорца XIV в. (ГБЛ, ф. 304, № 14) имеем *грѣговнѣ* вместо *грѣховнѣ* (л. 158). Вместе с тем в великорусских рукописях XV–XVII вв. встречаем частое написание *хрѣхъ* (Виноградов, 1923, с. 285; Пруссак, 1915, с. 45; Котков, 1974, с. 175; Винокур, 1959, с. 59; Панченко, 1973, с. 204).

О фонетической значимости смешения букв *г* и *х* свидетельствуют современные малограмотные записи, принадлежащие носителям диалектов с [ɣ], такие как *холова* («голова»), *хордо* («гордо») или *грамавой* («храмовый») (Чернышев, 1898, с. 223). Отметим еще любопытную описку в письме А. М. Дмитриева-Мамонова к Екатерине II от 5 июня 1790 г.: «Да дасть... вергъ надъ врагами Вашими...» (Грот, 1911, с. 5).

О фрикативном произношении г может свидетельствовать и пропуск этой буквы. Оставляя в стороне примеры относительно непоказательные, которые могут получать особую интерпретацию или объясняться простой опiskeй (ср. в Изб. 1073 *во* вместо *вогъ*, л. 50; в Изб. 1076 *сърѣшж* вместо *сѣгрѣшж*, л. 1 об.; в Леств. XII в. *оумачи* вместо *оумаччи*, л. 45, *оумачиша* вместо *оумаччиша*, л. 83, *оумачено* вместо *оумаччено*, л. 116 об.; *овѣда* вместо *овѣгда*, л. 45; в формах *оумачи* и *овѣда* буква г приписана позднейшей рукой — Владимиром, 1899, с. 104), отметим достаточно часто встречающиеся написания *осподь*, *осподарь*, *осподинъ* и т.п., ср. *всподара*, род. ед., в надписи на чаре черниговского князя Владимира Давыдовича 1139—1151 гг. (Рыбаков, 1964, с. 28, № 24).

Особенно показательны подобные формы в текстах великорусского происхождения, например, в новгородских берестяных грамотах XIV—XV вв. (например, грамоты № 17, 22, 23, 31, 131, 135, 166, 242, 243, 284, 301, 302, 305, 307, 310, 359, 372, 406, 413, 446, 465, 466, 469, 494, 519, 540, 579, 693); аналогичные формы встречаются и в пергаменных новгородских грамотах XIV в. (Шахматов, 1895, с. 166), равно как и в псковских текстах (там же; Каринский, 1909, с. 86). Подобные формы обусловлены потерей фрикативного звука, свойственного церковнославянской орфоэпии, причем не исключено, что само отсутствие звука могло приобретать своего рода гиперкорректный характер и определять таким образом особую манеру книжного произношения соответствующих форм в XIV—XV вв. В этом плане может трактоваться сообщение IV Новгородской летописи (по Синодальному списку) под 1476 г.: «Тои же зимы нѣкторыи философовѣ начаша пѣти: *О Господи помилуй*, а друзѣи: *Осподи помилуй*» (ГИМ, Син. 151, л. 413 об.; неточное воспроизведение: ПСРЛ, IV, 1, с. 449).

В этой связи представляют интерес тайнописные передачи слова «Осподи» в записях на книгах XV в. Ср. запись на Минее XV в. собр. Троице-Сергиевой Лавры *Оноци Илѹлѣ*, т.е. «Осподи Иисусе» (Иларий и Арсений, 1878, с. 178, № 546), или запись на Минее XV в. собр. Архангельского собора *Оноци по[ре]фѣ*, т.е. «Осподи помози» (Сперанский, 1981, с. 327). Если форму *Осподи* надо рассматривать в качестве транскрипции реального (по всей видимости, книжного) произношения, то цитированные тайнописные формы представляют собой результат транслитерации этой транскрипции — и то обстоятельство, что данные формы при этом сохранялись (проявляя, так сказать, через двойную трансформацию), свидетельствует о том, что они должны были восприниматься как нормальные.

О фонетической значимости опущения буквы г свидетельствуют при этом малограмотные написания типа *орох* («горох»), *олова* («голова»), *уляти* («гуляти») в украинской диалектной среде (Тищенко, 1954, с. 69).

Помимо написаний древних рукописей, о фрикативном характере *г* в книжном произношении свидетельствует традиция транслитерации иностранных слов, при которой латинская буква *h* передается через *г*. Такой способ передачи несомненно объясняется тем, что при обучении азбуке букву *г* учили читать как фрикативный звук. Соответственно, акустически сходный звук [h] иноязычной речи закономерно передается буквой *г*. Наиболее ранние примеры такого рода представлены в новгородских берестяных грамотах, где воспроизводятся финские формы. Так, в грамоте № 403 (второй половины XIV в.) финское слово *hylkiä* передается как *гѹлкиа* (Хелимский, 1986, с. 254); в грамоте № 2 (XIV–XV в.) финское название *Huhmar* передается как *гѹморо* (Кипарский, 1959, с. 87 сл.). Традиция такой передачи иноязычного *h* дошла до наших дней; такая традиция характерна для транслитерации, тогда как транскрипция тех же слов может передавать реальное произношение, и это отражает разницу между книжными и некнижными заимствованиями (такими, например, как *Гамбург* и *Амбург*). Установившаяся таким образом корреляция между латинской буквой *h* и русской буквой *г* становится автоматической и оказывается независимой от характера произношения буквы *г*. Соответственно, иностранные имена, такие как *Heine*, *Hitler*, *Hermann Hesse* и т.п., в XIX–XX вв. передаются как *Гейне*, *Гитлер*, *Герман Гессе* и т.п. Эти формы читаются по нормам современной русской орфоэпии, безотносительно к исходной фонетической форме; в результате фрикативному согласному [h] иностранного имени соответствует смычный согласный [g] в русской передаче этого имени.

Указания на фрикативное произношение *г* содержатся и в грамматических сочинениях XVI в., где приводятся параллельные ряды так называемых «сходительных» согласных, т.е. согласных, противопоставленных по звонкости–глухости, причем коррелятом к *г* здесь выступает *х*, а не *к*: пара *г* – *х* приводится наряду с парами *в* – *п*, *в* – *ф* (✱), *д* – *т*, *ж* – *ш*, *з* (з) – *с* (Ягич, 1896, с. 371). В одном грамматическом сочинении XVI в. специально подчеркивается, что церковнославянской букве (т.е. звуку) *глаголь* соответствует у греков «кгамма, понеже во грѣцех глаголя нѣсть» (Ягич, 1896, с. 404; Петровский, 1888, с. 15); ясно, что речь идет о соответствии церковнославянского фрикативного [ɣ] и греческого взрывного [g]. О том, что в русском языке, как и в чешском, *г* произносится как *h*, свидетельствует в XVI в. и Герберштейн, имея при этом в виду, надо думать, книжное произношение (Исаченко, 1957, с. 342). Такое произношение прослеживается у него, в частности, в транскрипции собственных имен. Герберштейн основывается при этом на тексте летописи, которая ему читалась вслух книжником или

толмачом, причем чтение основывалось на нормах книжного произношения (Исаченко, 1975, с. 108; ср. выше о принадлежности летописей к церковнославянской традиции, § 5.2.1); даже если летописи переводились для Герберштейна, собственные имена звучали в церковнославянском произношении.

Отметим еще несколько любопытных фактов, которые так или иначе указывают на фрикативное произношение г. В акростишном каноне Феодосию Печерскому, относящемся еще к дотатарскому времени, читается форма Хригоров вместо Григоров (Чижевский, 1970, с. 103). Фрикативное произношение г отражается и в передаче имени св. Глеба в виде формы Хлѣвъ в южнославянских памятниках. Надо полагать, что имена свв. Бориса и Глеба, которые появляются в южнославянских месяцесловах в XIII в. (может быть, после специального канонического акта — см. Мошин, 1963, с. 80), осознавались как имена русских святых, в связи с чем в южнославянских текстах и могло передаваться специфически русское (возможно, именно церковное) звучание последнего имени (см. примеры из текстов XIII–XIV вв.: Яцимирский, 1916, с. 194–199; Лаврова, 1928, с. 40–41; Лесн. пролог 1330 г., с. 25–26, 227, 301; Павлова, 1988, с. 29, 32–34; Павлова, 1993, с. 94–95; Абрамович, 1916, с. 99–101, 104, 109). Написание Хлѣва вместо Глѣва встречается и в заглавии повести (по-видимому, проложной) о перенесении ветхих гробниц свв. Бориса и Глеба, известной в русском списке XVI в. (ГБЛ, ф. 304, № 793, л. 1; см. Воронин и Жуковская, 1976, с. 71); возможно, в заглавии этой повести отразился южнославянский протограф. Константин Костенечский (XV в.) специально указывает, что русские произносят *хосподи́не* (Ягич, 1896, с. 109, 90–91), однако он может иметь в виду южнорусское произношение. Вместе с тем в старопольском языке зафиксировано слово *borus* в значении «хлеб», что предполагает ассоциацию *Глѣвъ* — *хлѣвъ*. Характерно, что в Белоруссии черный хлеб может называться *борис*, а белый — *глеб* (Снегирев, I, с. 212).

Фрикативное произношение г сохранялось в церковном чтении до начала XX в., когда в семинариях стали учить читать г как [g], видимо, воспринимая старую манеру чтения как провинциальную (украинскую); у старообрядцев такое произношение сохраняется до сего дня (Успенский, 1967а/1997, с. 299–300; Успенский, 1968, с. 40–43; Успенский, 1971, с. 15–16). В XVIII — первой половине XIX в. такое произношение было обязательным в высоком стиле (см. Успенский, 1973а/1996). Остатком такого произношения является фрикативный на месте г в словах *Бог*, *Господь*, *благо*, *богатый* (ср. Ушаков, 1928).

§ 7.7. Палатальные сонорные. Для дальнейшего изложения необходимо остановиться на судьбе палатальных сонорных, хотя различия между старославянским и русским церковнославян-

ским языками в этом аспекте довольно незначительны. Следует сразу же предупредить против смешения палатальных и палатализованных согласных, поскольку они часто смешиваются в литературе: палатальность является признаком места образования (среднеязычные согласные), тогда как палатализованность является признаком окраски — или, в иной терминологии, дополнительной артикуляции (Трубецкой, 1960, с. 151 сл.), — а именно *i*-окраски. В современных славянских языках может иметь место фонологическое противопоставление как палатальных и непалатальных согласных (сербский, словацкий), так и палатализованных и непалатализованных (польский, восточнославянские), однако тройное противопоставление типа /n/ — /ñ/ — /n'/ в славянском ареале не представлено.

В старославянском языке было три палатальных сонорных — /ñ, ĭ, ĭ̃/, — восходящих к общеславянским сочетаниям *nj, *lj, *gĭ; /ñ/ возникало также в сочетании /-gn-/ перед передними гласными (ср. отчасти аналогичное развитие во французском: *dignum* > *digne*). Они могли обозначаться буквами н, л, р с диакритическим значком типа каморы. В Хиланд. листках палатальное /ĭ/ обозначается как ѣ, представляющее собой разновидность написания с диакритикой (в дальнейшем, приводя написания палатальных сонорных, мы не делаем различия между ѣ, ѣ̃ и ѣ̃̃, используя ѣ, ѣ̃ в качестве общего обозначения). Кроме того, палатальный согласный мог передаваться йотацией последующего гласного. Написание с йотированной гласной может сочетаться с написанием с диакритикой. Указанные обозначения палатальных сонорных наблюдаются в Супр. рукописи, в Зогр. ев. и в Хиланд. листках, а также в одной позиции в Сав. книге. Другие старославянские памятники никак не обозначают палатальных сонорных, если не считать нескольких примеров в Мар. ев. Таким образом, в старославянских памятниках, где специально обозначаются палатальные сонорные, различается форма имени существительного в им. падеже дв. числа ѣмени от формы притяжательного прилагательного в местн. падеже ед. числа ѣмени. Такое различие мы встречаем в Супр. рукописи. Таким же образом должны были бы различаться в им. падеже ед. числа существительное ѣмень и прилагательное ѣмьѣ, хотя реально эти формы не зафиксированы. То обстоятельство, что в старославянском алфавите (как в глаголице, так и в кириллице) отсутствуют специальные буквы для палатальных сонорных, заставляет предположить, что они либо не были свойственны солунскому диалекту, носителями которого были Кирилл и Мефодий (что маловероятно), либо различие между палатальными и непалатальными сонорными игнорировалось составителями сла-

вянской азбуки. В первом случае следует думать, что различение палатальных и непалатальных сонорных было диалектной чертой южнославянских говоров IX–X вв.

Н. С. Трубецкой предполагал, что отсутствие особых букв для палатальных сонорных в созданном Кириллом Философом алфавите объясняется восприятием их в связи с греческими палатальными сонорными. В греческом палатальные сонорные характерны для народного языка, в котором они возникают из сочетаний сонорного с передней гласной, переходящей затем в заднюю. Если в греческом палатальные сонорные в народном языке появились уже в IX в., отсутствие особых знаков для палатальных сонорных в первоначальном славянском алфавите можно объяснить тем, что Кирилл Философ приписывал им то же социолингвистическое значение, какое они имели в греческом, — вульгарной разновидности сонорных, которую не нужно обозначать, поскольку образованному человеку достаточно указания, содержащегося в написании последующей гласной буквы (Трубецкой, 1968, с. 30–31).

В целом ряде русских церковнославянских памятников XI–XIII вв. мы также встречаем написания *ѣ*, *ѧ* или *ѧ*, *ѧ* (*ѣ*, *ѧ*) с последующей йотированной гласной в соответствии с этимологическими **lj*, **nj*. Написания с *ѣ*, *ѧ* можно встретить еще в Луцк. ев. XIV в. (Соболевский, 1884, с. 41). В отличие от старославянских памятников, в русских текстах почти не встречается особых обозначений для рефлексов **lj*. В Остр. ев. 1056–1057 гг. имеется всего четыре случая написания *ѣ* с диакритикой (Козловский, 1895, с. 17), при том что рефлексy **lj*, **nj* обозначаются здесь достаточно последовательно с помощью йотированной гласной. Это означает, что написания *ѣ* с диакритикой отражают влияние протографа и не соответствуют никакой фонетической реальности. Отсюда следует, что в русском церковнославянском языке не было палатального /*ĭ*/, что отличает его от старославянского языка (хотя и в старославянском языке происходил процесс утраты этой фонемы: знак *ѣ* очень редок в Зогр. ев. и почти полностью отсутствует в Супр. рукописи).

Интерпретация написаний *ѣ*, *ѧ*, равно как и написаний *ѧ*, *ѧ* с последующей йотированной гласной, может быть различной. Трудно предположить, что эти написания объясняются одной лишь орфографической традицией. В некоторых памятниках эта черта проведена достаточно последовательно. Так, во втором почерке Арх. ев. 1092 г. после *ѧ* и *ѧ* из общеславянских **lj*, **nj* одно только йотированное *ѧ* пишется более ста раз, и столь же последовательно после всех остальных согласных пишется нейотированное *ѧ* (единственный случай написания *ѧ* не после *ѧ*, *ѧ* приходится на положение

после шипящей — наречкишса; можно думать, что йотация выступает здесь как избыточное обозначение палатальности ч, см. Дурново, 1924, с. 147—148). Столь последовательное обозначение как в этом, так и в некоторых других памятниках, по-видимому, исключает возможность того, что писец пользовался какими-нибудь чисто орфографическими правилами. Можно было бы предположить следование южнославянскому протографу, однако подобные написания встречаются и в оригинальных русских текстах, например, в Мстисл. грамоте около 1130 г.: *донкаѣже, осеньникк, въ нк* (и только один раз написано *оу него*; между тем после н, не восходящего к *nj, писец пишет нейотированное *е*). Мстисл. грамота не списана с протографа, и это дает основание думать, что мы имеем дело с различием в произношении (ср. Дурново, 1924, с. 148). Этому не противоречит то, что в тех случаях, когда палатальность сонорного передается диакритикой, соответствующее обозначение часто может отсутствовать. Один и тот же писец нередко пишет одно и то же слово с этимологически палатальными сонорными, в одном случае обозначая их *ѣ* или *ѣ*, а в другом случае опуская диакритический значок — ясно, что при этом имеется в виду одно и то же произношение, подобно тому как мы в современном русском письме можем писать то *ѣ*, то *е* в соответствии с одним и тем же звуком.

Несомненно, что такое различие было в произношении книжном, которое может либо соответствовать, либо же не соответствовать живому произношению (а может соответствовать живому произношению одних писцов и не соответствовать живому произношению других писцов). Если признать это различие присущим искусственному книжному произношению, подражающему произношению южнославянских книжников (как считает Лант, 1949, с. 78), остается непонятным, какие правила могли поддерживать этимологически верное различие палатальных и непалатальных сонорных. Поэтому различие палатальных и непалатальных сонорных следует предполагать присущим живой речи по крайней мере тех писцов, которые это различие последовательно проводят. Если бы обозначение палатальных сонорных было чисто книжным явлением, никак не связанным с живой речью, их должна была бы постигнуть такая же судьба, как и юсы, т.е. их этимологически правильного написания следовало бы ожидать лишь в наиболее ранних и наиболее грамотно написанных памятниках (таких, как Остр. ев.).

Поскольку обозначения палатальных сонорных не входили в славянскую азбуку, буквы *ѣ* и *ѣ* не усваивались при обучении грамоте. Поэтому в некнижном письме, преобразующем правила чтения в правила письма, такого рода обозначения полностью отсутствуют; характерно, например, что их нет в берестяных грамотах,

тогда как в Мстисл. грамоте они присутствуют, поскольку эта грамота выдержана в книжной орфографии (§ 5.4). Коль скоро обозначениям палатальных сонорных не учили в процессе обучения чтению, употребление соответствующих обозначений было связано с профессиональными навыками писцов и приобреталось в скрипториях. Понятно, что при этом создавались разные традиции обозначения палатальных. Так, в одних рукописях мы находим обозначение палатальных только с помощью диакритического значка (например, в Синай. патерике XI в.), в других — только с помощью йотированных гласных (например, в Остр. ев. 1056–1057 гг.), в третьих оба эти способа обозначения совмещаются (например, в Мстисл. ев. начала XII в.). Наконец, есть целый ряд рукописей, где такие обозначения вовсе отсутствуют; это может указывать не на то, что соответствующие фонемы отсутствуют в книжном или разговорном произношении писца, а на то, что в данной скриптории этому не обучали. Способ обозначения палатальных сонорных может, тем самым, служить типологической характеристикой древнерусских рукописей.

Как мы уже говорили, в славянских языках может иметь место либо фонологическое противопоставление палатальных и непалатальных (например, в сербском), либо фонологическое противопоставление палатализованных и непалатализованных (например, в современном русском). Полагаем, что древнерусское произношение — как книжное, так и живое (по крайней мере, в части диалектов) — до падения редуцированных было устроено в данном аспекте по сербской фонологической модели, отличаясь от ситуации современного русского языка: у непалатальных фонем могли быть палатализованные и непалатализованные фонетические варианты (аллофоны), однако противопоставление по палатализации, в отличие от противопоставления по палатальности, до падения редуцированных не было фонологическим. После падения редуцированных противопоставление по палатализации становится фонологическим, поскольку функциональная нагрузка, которую несли слабые /ь/ и /ь/, после их падения легла на предшествующие согласные. Одним из следствий этого является то, что палатальные сонорные совпадают с палатализованными.

§ 7.8. Различение ϵ и ѣ в книжном произношении.

Среди русских церковнославянских памятников имеется ряд таких, в которых широко смешиваются буквы ѣ и ϵ . К таким памятникам относятся, например, Тип. устав XI–XII в. (второй почерк), Софийские Минеи начала XII в. (ГПБ, Соф. 188), Стихирарь 1157 г. (ГИМ, Син. 589). По крайней мере некоторые из этих памятников являются новгородскими, т.е. идут из той диалектной зоны, где во

время их написания, безусловно, различались /e/ и /ě/ (поскольку впоследствии на этой территории /e/ и /ě/ дают разные рефлексы: /ě/ переходит в /i/ перед мягкими согласными, а /e/ этого изменения не претерпевает; /e/ переходит в /o/ перед твердыми согласными, а /ě/ этого изменения не претерпевает). Очевидно поэтому, что смещение *ѣ* и *ѣ* в указанных рукописях не может быть объяснено как отражение живого произношения, а требует иной интерпретации; такая интерпретация предполагает учет орфографии, книжного произношения и живого произношения как основных факторов, обуславливающих возможные вариации написаний (ср. § 6).

Неразличение букв *ѣ* и *ѣ* (а также *ѣ*, *ѣ* и *ѣ*) находим в целом ряде берестяных грамот, написанных на той же территории (ср. примеры выше, § 7.5.3). Поскольку в разговорном произношении писавших /e/ и /ě/ различались, следует думать, что в процессе обучения грамоте (чтению, а не письму) не устанавливалось однозначной ассоциации между различением букв *ѣ* и *ѣ* и противопоставлением фонем /e/ и /ě/ в разговорном языке. Это означает, во-первых, что в данном отношении книжное и разговорное произношение не совпадали, что ставит перед нами задачу реконструировать особое книжное произношение *ѣ* и *ѣ*. Во-вторых, из сказанного следует, что правильное (соответствующее этимологии) написание *ѣ* и *ѣ*, присущее большинству древнерусских рукописей (как северного, так и южного происхождения), основывалось на специальных орфографических правилах; это ставит перед нами задачу реконструировать данные правила.

Ключом к реконструкции древнейшего книжного произношения может служить орфоэпическая традиция, представленная в церковном чтении старообрядцев-беспоповцев.

В книжном (литургическом) произношении старообрядцев противопоставление букв *ѣ* — *ѣ* реализуется как твердость или мягкость предшествующего согласного, ср.: Христѣ [xɾ'iste] (зв.) — Христѣ [xɾ'is't'e] (местн.), вѣзѣ [bezʲ] — вѣсѣ [b'esʲ]. В тех случаях, когда перед *ѣ* или *ѣ* стоит согласный, который не входит в корреляцию твердых и мягких, противопоставление *ѣ* и *ѣ* не имеет места. Так, полностью тождественно произношение слов Богородице (зв.) и Богородице (дат. и местн.), госпоже (зв.) и госпоже (дат. и местн.). При таком способе различения оппозиция характеризует согласные, а не гласные: в отличие от современного русского литературного языка, противопоставление мягких и твердых согласных имеет место и перед /e/, а буквы *ѣ* и *ѣ* оказываются (для положения после согласного) в таком же отношении, как *ѣ* и *ѣ*, а и *ѣ*, *ѣ* и *ѣ* (см. Успенский, 1967а/1997, с. 292–296; Успенский, 1968, с. 29–33; Успенский, 1971, с. 13–15).

Такое произношение усваивалось в процессе обучения чтению по складам, при котором склады *вє* — *вѣ*, *ва* — *ва*, *вѹ* — *вю*, *вы* — *ви*, *вѣ* — *въ* читались с одним и тем же произношением согласных: в первом случае твердым, во втором — мягким. Это произношение, которое сейчас сохраняется только в замкнутом социуме, входило ранее в общую норму книжного произношения (как церковного, так в XVIII в. и светского). Свидетельства о таком способе различения доходят до XVIII в. Так, в рукописи середины XVII в. (ГБЛ, ф. 218, № 714, л. 140) содержится специальное предупреждение, чтобы «не в'писати в' мѣсто *ести* *нѣтъ*, и в' мѣсто *иже*, *ы*. и в' мѣсто *оу ю*. и в' мѣсто *ера*, *ерь*.

Ибо ино есть *себѣ*, и ино *себе*.

Ино же *ап'тѣлы*, и ино *ап'тѣлы*.

Ино *ѹродѣ*, и ино *юродѣ*.

Ино есть *кровѣ*, и ино *кровь*:

и прочая подобная симъ».

Указания такого рода находим и в более ранних рукописях, например, в грамматическом сборнике начала XVII в. из собр. Тихонравова (ГБЛ, ф. 299, № 336): «Вопрос. что есть орфографія. От[вет]. Орфографія есть се, еже учить право і непогрѣшно в' писмѣ ставити писма, да не поставим *аза* вмѣсто *а*: *своа люди*, но *своа люди*. и паки да не поставим *ы* вмѣсто *аза*: сиче, *Іаковѣ*. но *Іаковѣ*. І паки да не поставим *нѣта* вмѣсто *еста*: сиче *тебѣ* люблю, но *тебе* люблю. и паки да не поставим *еста* вмѣсто *нѣта*: сиче, *себе* хошу, но *себѣ* хошу. и паки да не впишем *и* вмѣсто *ы*: сиче *ѣлиц*, но *ѣлицы*. и паки да не пишем *ы* вмѣсто *иже*: сиче *грѣхы*, но да пишем *грѣхи*» (л. 82–82 об., ср. л. 2–2 об.). Итак, буквы *є* и *ѣ* оказываются здесь в точно таком же отношении, как *а* и *ѡ* (*ѡ*), *ѹ* (*оу*) и *ю*, *ы* и *и*, *ѣ* и *ь*. Совершенно очевидно, что речь идет здесь о том, что перед одним рядом гласных букв произносится мягкий согласный, а перед другим твердый.

Возникает вопрос: когда появился этот способ различения *ѣ* и *є* и с чем было связано его появление? Последовательное противопоставление набора букв *ѡ*, *ю*, *и*, *ѣ*, *ь*, обозначающих мягкость предшествующего согласного, набору букв *а*, *ѹ*, *ы*, *є*, *ѣ*, обозначающих твердость этого согласного, — то самое противопоставление, которое мы находим в старых грамматических руководствах и которое реализуется в чтении по складам, — могло возникнуть только после падения редуцированных и установления фонологической корреляции твердых и мягких согласных: только после этого в языковом сознании должно было происходить отождествление согласного в таких выучиваемых им складах, как *ва*, *вю*, *ви*, *въ* и *вѣ*, и этот мягкий согласный должен был противопоставляться твердому согласному складов *ва*, *вѹ*, *вы*, *вѣ* и *вє*. Фонологическая

корреляция твердых и мягких является необходимым условием такого обобщения; вне этого условия склады не должны были образовывать противопоставленных серий, но могли восприниматься как отдельные слоговые группы, противопоставленные не только по качеству согласного, но и по качеству гласного.

Связывая рассматриваемое явление с падением редуцированных, мы говорим лишь о фонологическом оформлении, но не о возникновении самого явления. Точно так же как возникновению фонологической оппозиции /ba/ — /b'a/ должно было предшествовать фонетическое различие типа [ba] — [b'ä], фонологической оппозиции /be/ — /b'e/ должно было предшествовать фонетическое различие типа [be] — [b'ë]. Поэтому можно предположить, что до падения редуцированных рефлексy *e и *ë различались в книжном произношении не стационарной частью гласного звука, а характером перехода от согласного к гласному, т.е. перед /ë/ согласный смягчался сильнее, чем перед /e/. Это предположение подтверждается рядом обстоятельств.

Во-первых, при таком характере противопоставления естественно ожидать, что оно будет нейтрализоваться после согласных, фонетически не варьирующихся по твердости—мягкости, т.е. после палатальных, а именно /c'/, /č'/, /s'/, /ž'/, /dž'/, /ĩ/, /ñ/, /j/. Древнейшие памятники действительно отражают такую нейтрализацию: в рукописях, где ѣ и є пишутся этимологически правильно, после соответствующих букв наблюдается смешение. Правда, такие случаи единичны, что, видимо, связано с наличием простых правил, позволяющих написать правильную гласную. Поэтому нас должны особенно интересовать те случаи, где эти правила не дают однозначного результата.

В положении после /j/ для большей части восточнославянских говоров уже к XI в. осуществляется, видимо, переход /e/ в /o/, если в последующем слоге стоит непередний гласный (Шевелев, 1979, с. 143 сл.). Соответственно, /e/ и /ë/ могут здесь нейтрализоваться только в других позициях, а именно если в последующем слоге стоит передняя гласная или же на конце слова. Для этих последних позиций трудно предложить простые правила, обеспечивающие этимологически правильное написание. И действительно, в этих позициях смешение ѣ и є в русских церковнославянских памятниках представляет собой достаточно обычное явление. Так, в первом почерке Арх. ев. 1092 г. мы находим такие формы, как кѣти (л. 2 об., 55, 74 об.), кѣать (л. 5, 71) и т.п.; в целом ряде рукописей на месте падежной флексии -ѣ (в соответствии со старославянским -а) мы находим написания с -є (-к), ср. в Тип. уставе XI—XII в. илѣк, марѣк, наѣалѣк, присноѣвѣк; в кириллической ча-

сти Реймского ев. XI—XII в. нее (л. 7), оное (л. 27); в Студ. уставе XII в. осмок (л. 23, 72), деватое (л. 26 об.), пороздьнок (л. 43 об.). По-видимому, данное явление вызвано не тем, что в распоряжении писцов не было йотированного ѣ (такая буква употребляется в Изб. 1073 и 1076 гг., ср. ѣда в Изб. 1076, л. 227), а нейтрализацией противопоставления в этой позиции. О такой нейтрализации свидетельствуют и данные южнорусских рукописей, отражающих «новый ять» (§ 7.8.2). После /j/ это изменение, видимо, не происходит, и поэтому в одних памятниках в этой позиции пишется ꙗ, а в других — ѣ (Дурново, 1924, с. 183).

В положении после шипящих буква ѣ не может стоять, поскольку возникшие после первой палатализации или из сочетания с /j/ последовательности *šě, *žě, *čě дали ša, ža, ča; ѣ после шипящих мог появляться только в результате морфологической аналогии (эти случаи для нас интереса не представляют). После ц, напротив, преимущественно должна была писаться буква ѣ, поскольку /с/ представляет собой результат второй палатализации в положении перед /ě/ и /i/. Однако /с/ могло иметь и другое происхождение, восходя к третьей палатализации; ц такого происхождения могло стоять и перед ѣ. Итак, для шумных палатальных могли быть сформулированы правила: (а) «после ш, ж, ч пиши ѣ, но не ѣ»; (б) «перед ѣ пиши ц и не пиши ч». Можно думать, что именно таким правилом объясняется исправление в форме императива в Стихираре XII в. (ГИМ, Син. 279): писец первоначально написал сѣчѣте (форма презенса вместо императива представляет обычную ошибку в русских церковнославянских текстах северного происхождения), затем исправил ѣ на ѣ (т.е. презенс на императив) и затем — автоматически — ч на ц (л. 68). Итак, что касается шумных палатальных, единственным местом, где возникал вопрос, что написать, ѣ или ѣ, было положение после ц. Здесь и наблюдаются случаи смешения. Ср., например, в Синай. патерике XI в. цѣлова и целова (л. 8); в Изб. 1076 целованик (л. 45 об.); в Мин. 1097 ицелении (л. 3 об.); в Минее XII в. (ГИМ, Син. 161) ицеленик (л. 225).

Такой же позицией нейтрализации является и положение после палатальных сонорных ĭ и ĭ. Из случаев смешения в этом положении можно отметить в Изб. 1073 гнѣвъ (л. 28в bis), г'нѣва (л. 32а), прогнѣваеши (л. 31в); в Ефр. кормчей XII в. понѣ ~ понѣ (л. 2 об., 107), о нѣмѣ (л. 93), понѣже (л. 269 об.); в Златостр. XII в. гнѣвъ; в Добрил. ев. 1164 г. нынѣ (л. 23 об.); в Выголект. сб. конца XII в. волѣзни (л. 165 об.), волѣсть (л. 139 об., 164, 165), огнѣви (л. 150 об.).

Другим случаем, где может сниматься противопоставление ѣ и ѣ, являются кондакарные написания с растяжением гласных: ѣ при растяжении может переходить здесь в ѣ, подобно тому как ѣ

[illegible]

ходит, видимо, к [ɣ] киевского диалекта, но представлено и в книжном произношении северной Руси, где оно противостоит [g] диалектного языка (§ 7.6).

Итак, на севере восточнославянской области, где было противопоставление [C'ě — C'e], в качестве книжного усваивалось южное произношение с противопоставлением [C'ě — Ce]. При обучении книжному произношению книжное противопоставление рефлексов *ě и *e, воспринимаясь через призму разговорного, связывалось здесь исключительно с согласным. Носителю северных диалектов, обучающемуся книжному произношению, прежде всего бросалось в глаза то, что в этом произношении перед звуком типа [e] произносится твердый согласный. Этим произношением приходилось овладевать специально, никакого соответствия складу *ѣ* [be] в разговорном языке не находилось. При таком положении вещей для другого склада — *ѣѣ* [b'e] — в разговорном языке оказывалось сразу два соответствия — [b'e] и [b'ě]. Таким образом, твердость или мягкость согласного оказывалась единственным релевантным признаком, противопоставлявшим *ѣ* и *ѣѣ* в книжном произношении представителя северных говоров; это оказывалось одной из важных черт, отличавших книжное произношение от разговорного.

Именно это расхождение книжного и разговорного произношения и приводит к смешению *ѣ* и *ѣѣ* на письме. Поскольку в разговорном произношении формы с *ѣ* (*сѣло*) произносятся так же, как в книжном произношении могут читаться формы с *ѣѣ* (*дѣло*), формы с *ѣ* могут записываться через *ѣѣ* (*сѣѣло*), а отсюда смешение может идти и дальше и формы с *ѣѣ* могут записываться через *ѣ* (*дѣло*). Характерно, что в ряде новгородско-псковских памятников постановка *ѣѣ* вместо *ѣ* встречается существенно чаще, чем обратная замена (Каринский, 1928, с. 236). Во избежание таких ошибок писец должен был пользоваться специальными правилами, соотносящими его разговорное произношение с написанием, т.е. правилами типа: «в тех случаях, когда в разговорном языке слышится [ě], пиши *ѣѣ*; в тех случаях, когда в разговорном языке слышится [e], пиши *ѣ*». Именно такие правила и обеспечивали грамотные написания. Неграмотный писец (не получивший специального образования или плохо его усвоивший) этими правилами не пользовался, что и приводило к смешению *ѣ* и *ѣѣ*, которое мы наблюдаем в берестяных грамотах и в ряде книжных текстов (см. выше).

Итак, так же как и в случае с ерами (ср. § 7.5.4), правильные написания обеспечивались разговорным произношением, т.е. орфографические правила предполагали ориентацию на живую речь; напротив, влияние книжного произношения, имевшее место у тех,

кто так или иначе исходил в своей орфографической практике из правил чтения, могло приводить к написаниям неправильным.

Необходимо оговориться, что смешение *ѣ* и *ѣ* наблюдается — в редких случаях — не только в северных, но и в южных рукописях (см. обзор таких написаний: Гальченко, 1996). Речь идет, как правило, о написаниях с *ѣ* вместо *ѣ*: случаи обратной замены — *ѣ* на *ѣ* — совсем немногочисленны и, как правило, объясняются морфологическими и графическими аналогиями. В частности, такое смешение наблюдается в специфически книжных формах, написание которых не могло ориентироваться на живое произношение. Так, на месте старославянского *тѣлѣсѣ* в русских памятниках находим *тѣлѣсѣ*, и это явно не противоречит норме русского церковнославянского языка; ср. затем характерное предупреждение в орфографическом трактате «Сила существу книжнаго писма» (XVI в.): «Се ѣ у нѣкихъ в'мѣсто е приемлется, егда *тѣлеснии* глаголють въ мѣсто *телеснии*» (Ягич, 1896, с. 429) — таким образом, форма *тѣлеснии* признается правильной. Написания с *ѣ* вместо *ѣ* наблюдаются также в окончаниях дат. и местн. падежей местоимений *тебѣ*, *себѣ* вместо *тебѣ*, *себѣ* и в суффиксе *-ѣль*, который может писаться как *-ель* в словах *гнѣль*, *обитѣль*, *коупѣль* вместо *гнѣль*, *обитѣль*, *коупѣль*; наконец, они наблюдаются в неполногласных сочетаниях, прежде всего с сонантом /т/, например *прѣдъ* вместо *прѣдъ*, *врѣмя* вместо *врѣмя*, реже — в сочетаниях с сонантом /л/, например *плѣнь* вместо *плѣнь*; ср. также написание *обрѣт-* вместо *обрѣт-*. Все эти слова являются книжными. На этом основании А. А. Шахматов и вслед за ним Н. Н. Дурново предполагали, что в книжном (церковном) произношении буква *ѣ* произносилась как [e], т.е. так же, как буква *ѣ* (см. Шахматов, 1895, с. 213–215; Шахматов, 1915, с. 162; Дурново, VI, с. 49–54; Дурново, 1933, с. 51, 55); возникновение такого произношения, по их мнению, объясняется тем, что русские воспринимали открытый [ѣ] южных славян как свой звук [e]. Как писал Н. Н. Дурново, «в русском литературном диалекте старославянскаго языка звук болгарскаго диалекта, передававшийся буквою *ѣ* и соответствовавший этимологически русскому *ѣ*, но отличавшийся от него по произношению, был заменен не этим звуком, а звуком *е*, надо думать, потому, что был по произношению ближе к русскому *е*, чем к *ѣ*, и воспринимался русскими как [e]» (Дурново, 1933, с. 55). Предлагаемая трактовка никак не связывает древнейшего книжного произношения *ѣ* и *ѣ* с последующей традицией книжного произношения. Тогда, в свою очередь, возникает вопрос, как создалась та традиция книжного произношения, которая сейчас сохраняется у старообрядцев. Чтобы ответить на этот вопрос, Н. Н. Дурново предполагал, что такая система чтения возникла в XIV–XV вв. Не приводя никаких аргументов, он в одном случае связывал ее со вторым южнославянским влиянием, а в другом — с процессом отвердения согласных перед /е/ в восточнославянских говорах (Дурново, 1924, с. 150; Дурново, 1924б, с. 610–612; Дурно-

во, VI, с. 52). Ни одна из гипотез не приемлема. У южных славян не было и не могло быть такой системы, что же касается процесса отвердения согласных перед /е/, то те украинские говоры, которые имел в виду Дурново (независимо от того, считать ли твердость согласных перед /е/ в них инновацией или исконным состоянием), не оказывали в XIV–XV вв. никакого влияния на русское литературное произношение.

Написания с *є* вместо *ѣ* в приведенных выше книжных формах, на которых основываются в своих выводах А. А. Шахматов и Н. Н. Дурново, в большинстве случаев могут иметь другое объяснение, не связанное с книжным произношением. Так, написание *телеє* вместо *тѣлѣє* может быть связано с тем, что соответствующая русская разговорная форма *тѣла* противопоставлялась книжной форме по другому признаку — по типу основы. Совершенно так же местоименные формы дат.-местн. падежа *тѣѣѣ*, *сѣѣѣ* замещаются в русских памятниках формами *тѣѣѣ*, *сѣѣѣ*, и это связано с тем, что соответствующими русскими разговорными формами были *тобѣ*, *собѣ*, т.е. и в этом случае противопоставление разговорной и книжной формы опиралось на другой признак. Одновременно при этом имела место контаминация специфически книжных форм дат.-местн. *тѣѣѣ*, *сѣѣѣ* с общими для книжного и разговорного языка формами род.-вин. *тѣѣѣ*, *сѣѣѣ*. Таким образом, когда противопоставление основывается на другом, более ярком признаке, противопоставление *ѣ* и *є* как бы нейтрализуется, и замена *ѣ* на *є* объясняется ассимиляцией (в одном случае регрессивной — *телеє*; в другом случае прогрессивной — *тѣѣѣ*, *сѣѣѣ*) (Дурново, 1924, с. 102; Дурново, VI, с. 43, 46, 49). Аналогичным образом, как мы увидим, могут объясняться и написания типа *прѣдѣ*, *врѣмя* и т.п., которые становятся нормативными для русского церковнославянского языка (§ 7.8.1).

Появление *є* на месте *ѣ* в южнорусских рукописях может быть обусловлено лексическим или же морфологическим фактором: написания такого рода характерны для ограниченного набора слов или морфем. В то же время подобные написания могут определяться графическим фактором: писцы могли писать *є* вместо *ѣ* на конце строки (это связано со стремлением оканчивать строку гласной буквой: буква *є* была значительно уже, чем буква *ѣ*); можно полагать в таких случаях, что буквы *є* и *ѣ* образовывали коррелятивную пару, причем буква *є* выступала для южнорусских писцов как немаркированный член оппозиции (Гальченко, 1996, с. 286–287, 291–294, 297). Случаи смешения *є* и *ѣ* в южнорусских рукописях, по-видимому, не сводятся к только что названным факторам, однако собственно фонетические причины такого смешения остаются неясными. Даже если предполагать возможность древнейшего книжного произношения, отражающего восприятие на Руси произношения южнославянских книжников, необходимо признать, что такая манера чтения не укоренилась в русской церковной традиции (в отличие от чтения еров, см. § 7.5.3).

Как уже говорилось, после падения редуцированных и установления корреляции твердых и мягких согласных противопоставление **ѣ** и **е** в книжном произношении становится в один ряд с противопоставлением произношения **а** — **ѧ** (**ѧ**), **Ѹ** — **ю**, **ы** — **и**, **ѣ** — **ѥ**. Судьба этой традиции оказывается разной в Московской и в Юго-Западной Руси. В Юго-Западной Руси, где книжное произношение совпадало в данном аспекте с живым, с изменением живого произношения меняется и книжное. Так, при сохранении различия по твердости — мягкости перед рефlekсами ***е** и ***ѣ**, книжное произношение отражает свойственный южноукраинским диалектам переход /ѣ/ в /и/. Соответственно, **ѣ** начинает читаться здесь как [и], причем это произношение закрепляется в качестве нормы церковного чтения, распространяясь и на ту территорию Юго-Западной Руси, где такого перехода не было в живой речи; это произношение сохраняется позднее в традиции униатской церкви.

На великорусской территории, где книжное произношение в данном аспекте изначально было противопоставлено живому, различие **ѣ** и **е** по твердости — мягкости предшествующего согласного сохранялось в церковном чтении по крайней мере до начала XIX в. В XVIII в. такое произношение отразилось и на орфоэпии высокого стиля, т.е. светское и церковное книжное произношение не были противопоставлены по данному признаку. Именно эту систему произношения описывают в качестве нормативной В. Е. Аодуров, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков и другие авторы XVIII в., писавшие о нормах русского литературного произношения (Успенский, 1968, с. 32; Успенский, 1975, с. 37–38, 176–177, 187). Так, например, А. П. Сумароков в статье «О правописании» 1768–1771 гг. говорит: «Все наши согласные литеры сугубое произношение имеют, то есть тупое и острое; *абѣ, абь; авѣ, авь...*»; установив, таким образом, противопоставление «тупых» (т.е. твердых) и «острых» (т.е. мягких) согласных, он продолжает: «Ежели *б* или *в* тупое, так литера гласная к ним ставится *а е ы о у*; ежели острое, так непременно должно ради голоса поставить *я ѣ и ю*» (Сумароков, X, с. 19–20).

Указанный принцип различения **ѣ** и **е** усваивался в XVIII в. не только при обучении церковнославянскому языку, но и при обучении русскому языку, которое также осуществлялось путем чтения по складам. Соответственно, книжные слова в русском литературном языке произносились с твердым согласным перед **е**. Поскольку заимствования из европейских языков принадлежали к словам книжным, они читались именно таким образом. Отсюда и возникает традиция особого произношения заимствованных слов с твердым согласным перед /е/, сохранившаяся до наших дней (ср.

§ 7.6 об отражении книжного произношения *ѣ* в орфографии заимствованных слов).

Любопытно отметить, что указанный принцип русского книжного произношения отразился в сербском церковнославянском произношении, обусловив здесь чтение *ѣ* как [je], которое, в свою очередь, повлияло и на произношение сербского литературного языка (см. Ивич, 1970, с. 286–287). Здесь проявляется влияние русской книжной культуры на сербскую, имевшее место в новое время (с начала XVIII в.), ср. выше (§ 7.4) о русском чтении *ѣ* в сербском церковнославянском языке. Таким образом, русское церковнославянское произношение *ѣ* и *ѣ* первоначально отличается от южнославянского произношения, но впоследствии южнославянская норма может подчиняться русской норме.

§ 7.8.1. Отражение *ег в межконсонантной позиции. Как уже говорилось, старославянскому сочетанию *рѣ*, восходящему к общеславянскому *ег между согласными, в русском изводе церковнославянского языка регулярно соответствует *ре*; в разговорном русском языке в этих случаях имеет место полногласие (*ере*). Таким образом, мы имеем соответствие:

общеславянский	старославянский	русский церковнославянский	русский
*CегC	CrѣC	CreC	CereC
*рег-	прѣ-	пре-	пере-
*бергъ	врѣгъ	брегъ	берегъ

В русских рукописях мы встречаем и написания с *ѣ*, соответствующие старославянской норме, однако это было чисто графическим явлением и формы *прѣ-*, *врѣгъ* и т.д. читались так, как если бы они были написаны с *е*. Об этом свидетельствует Тип. устав XI–XII в., где в ненотном тексте писец может написать *прѣчистага*, *прѣхвальне*, а в нотном тексте он пишет те же формы с тянувшимся *е* — *преееининни-стаага*, *пре-ееееехваааааальне* (л. 26–26 об., 74 об.–75).

Написания *рѣ* в данной позиции характерны для рукописей древнейшего периода, когда еще не установилась русская норма церковнославянской орфографии. Только такие написания представлены, например, в таких памятниках XI в., как Остр. ев. 1056–1057 гг., Сл. Гр. Бог., Чуд. пс.; они преобладают в первом почерке Арх. ев. 1092 г., тогда как во втором почерке, напротив, обычны написания *ре* при редких написаниях *рѣ* (Дурново, VI, с. 40).

Вместе с тем в случае рефлексов общеславянского *el между согласными русское церковнославянское правописание в общем и

целом не отличается от южнославянского: замена ѣ на е явно не имеет здесь нормативного характера и может закрепляться лишь в определенных лексемах: иначе говоря, написания с лѣ и с лѣ рас-
пределены лексически, к фонетике же это распределение отноше-
ния не имеет (Живов, 1999, с. 782).

Это отсутствие параллелизма в развитии неполногласных соче-
таний с рѣ и лѣ объясняется тем, что и в данном случае писцы
пользовались правилами, соотносившими написание и разговор-
ное произношение соответствующих форм. Мы видели, что для
того, чтобы соблюсти нормы правописания еров, русские писцы
должны были исходить из своего живого произношения (которое
отличалось от произношения книжного): они руководствовались
правилом, предписывающим писать ѣ и ѣ там, где в соответствую-
щих формах живой русской речи слышались звуки [ъ] и [ь], а о и е
там, где в соответствующих формах живой русской речи слыша-
лись звуки [о] и [е] (§ 7.5.4). Такие же проблемы возникали и с
написанием ѣ и ѣ, где также книжное произношение отличалось
от разговорного (§ 7.8): для того, чтобы выдержать орфографичес-
кую норму, писцы должны были руководствоваться правилом,
предписывающим писать ѣ там, где в разговорном произношении
слышалось [ѣ], тогда как ѣ должно было писаться там, где в разго-
ворном произношении слышалось [е]. В приложении к неполно-
гласным сочетаниям, восходящим к рефлексам *ег, такого рода
правила закономерно давали написание рѣ: если писец хотел вос-
произвести, например, неполногласную форму, соответствующую
южнославянской форме дрѣво, он обращался к своему произно-
шению полногласного коррелята, т.е. *дерево*; в этом случае он об-
наруживал, что следует писать ѣ. Вообще в случае противопостав-
ления книжного и разговорного произношения по двум призна-
кам писцы обычно сосредоточивались на одном из них, который
и становился релевантным; в данном случае таким признаком ока-
зывалось неполногласие (ср. § 7.8).

Иначе обстоит дело с воспроизведением неполногласных форм,
восходящих к рефлексам *еl, поскольку здесь не было возможности
такого рода проверки: писец мог обратиться к своему разговорному
произношению, выбирая между ѣ и е в словах млѣко и плѣнь, но там
он находил только *молоко* и *полонь*, что не давало ответа на постав-
ленный вопрос. Таким образом, «разные судьбы неполногласных со-
четаний с рѣ и с лѣ в восточнославянской книжной письменности
обусловлены теми механизмами воспроизведения книжного текста,
которые действовали в ней на протяжении по крайней мере всего
раннего периода (XI–XIV вв.). Во всех тех случаях, когда книжное
произношение, разговорное произношение и написание не соотно-

сились однозначно, писцы пользовались правилами, которые составляли часть их профессиональной выучки. В частности, они проверяли, где нужно писать **ѣ**, а где **е**, обращаясь к своему разговорному произношению. Такая проверка обуславливала замену **ѣ** на **е** в неполногласных сочетаниях с **рѣ**, но не давала оснований для выбора в случае неполногласных сочетаний с **лѣ**. Процесс формирования нормы был постепенным, написания, полученные по правилам, вытесняли написания, восходящие к южнославянским оригиналам, в течение многих десятилетий» (Живов, 1999, с. 786–788).

§ 7.8.2. «Новый ять». После падения редуцированных в южных восточнославянских (украинских) диалектах в новых закрытых слогах, образовавшихся из-за утраты еров, /e/ переходит в /ѣ/ перед мягкими согласными. Этот процесс находит отражение в книжном произношении и, соответственно, в орфографии южнорусских памятников письменности. Древнейшие примеры находим в надписи на кресте Ефросинии Полоцкой 1161 г. (**камѣньє**) и затем в Добрил. ев. 1164 г. (**камѣнь**, **оучитѣль**, **ремѣнь**, **шѣсть**, **пѣшь**, **можѣть** и т.д.).

Этот процесс может быть объяснен тем, что в закрытых слогах сохранялось противопоставление рефлексов редуцированных, которые здесь проявились и дали открытые /ε/ и /ɔ/, и рефлексов *ѣ, *е и *о. Эти последние гласные противопоставлялись рефлексам редуцированных как закрытые открытым, что давало здесь /δ/ в соответствии с *о и приводило к слиянию гласных переднего ряда — /ε/ и /ѣ/ — в одном закрытом гласном, т.е. /ѣ/ (ср. Гард, 1974).

«Новый ять» образуется, в частности, в окончаниях глагольных форм 3 л. ед. наст. времени (**придѣть**, **боудѣть**, **зовѣть** и т.п.). Интересно отметить, что «новый ять» в этих формах оказывается недолговечным: уже в XIII в. в южнорусских рукописях в этих формах вновь начинает писаться **е**, а не **ѣ** (Шевелев, 1979, с. 304). Повидимому, здесь отражается ориентация правописания **ѣ** и **е** на разговорное произношение. Действительно, в украинских говорах основной формой 3 л. ед. наст. времени была форма без **-ть**, т.е. *приде*, *буде* и т.п. В этих формах «новый ять», понятно, не возникал, поскольку конечный слог был здесь открытым. Можно полагать, что носители этих говоров, когда писали по-церковнославянски, исходили из форм своей живой речи, прибавляя к ним книжное окончание **-ть**. В эпоху, когда возникновение «нового ятя» было живым фонетическим процессом, он отражался при чтении, так же как и в разговорной речи. Поэтому формы наст. времени читались с «новым ятем», что и могло отражаться в их записи. Когда этот процесс завершился, прибавление конечного **-ть** перестало приво-

дять к изменению гласного, поэтому в окончаниях наст. времени стало вновь писаться *ѣ*, соответствующее гласному разговорных форм, что отразилось и на книжном произношении данных форм.

§ 7.9. Отражение противопоставления /ѡ/ и /ѣ/.

В восточнославянских диалектах в исторический период (после падения редуцированных) возникает противопоставление /ѡ/ — /ѣ/. Однако генезис этого противопоставления в разных говорах различен. В южных (украинских) говорах это противопоставление развивается в новых закрытых слогах, причем **о* дает здесь /ѡ/, а **ѣ* дает /ѣ/. Закрытое /ѡ/ развивается затем в южноукраинских диалектах в /і/, что усваивается впоследствии и нормой украинского литературного языка; в северноукраинских диалектах (так же, как и в южнобелорусских) /ѡ/ реализуется под ударением как [ʊo].

Противопоставление /ѣ/ — /ѡ/, закрепляясь в книжном произношении данного ареала, может закрепляться и в орфографии, причем /ѣ/ передается буквой *ѣ*, а /ѡ/ — буквой *ѡ*, т.е. противопоставление букв *ѣ* и *ѡ*, которое не соответствовало никакому фонетическому различию в старославянском языке (*ѡ* была введена в славянский алфавит в соответствии с *ω* греческого алфавита и употреблялась преимущественно в заимствованиях из греческого), получает совершенно иное функциональное наполнение. Такие написания находим в приписках конца XIII — начала XIV в. к Октоиху Венской национальной библиотеки (Sl. 37, J 62 — см. Шевелев, 1978), а также в Быбельском апостоле первой половины XIV в. (Львовская национальная библиотека, № 801; см. Князевская, 1996) и в галицко-волынском Евангелии середины XIV в. (МГУ, № 1367). Так, в Венской рукописи мы встречаем написания *гровѣъ*, *рвѣдѣъ*, *сѣврѣъ* и т.д. По-видимому, не случайно для передачи /ѡ/ была выбрана *ѡ*: /ѡ/ в результате заместительного удлинения было фонетически долгим, между тем как *ѡ* по крайней мере в одном случае произносилась как долгий (протяженный) гласный, а именно в случае зват. частицы, писавшейся обычно как *ѡ* и произносившейся протяжно (такое произношение сохраняется в старообрядческом церковном чтении).

Соответственно, иногда закрытое /ѡ/ может изображаться и двойным *ѡ*, т.е. последовательностью *ѡѡ*, ср. в Галицком ев. 1266—1301 гг.: *воѡвѣчнѣъ* (овчих); в Поликарповом ев. 1307 г.: *воѡца* (отца) (Соболевский, 1907, с. 51; Соболевский, 1884, с. 105). Можно предположить, что *ѡѡ* и двойное *ѡ* воспринимались вообще как варианты одного и того же графического начертания. Это совершенно очевидно в галицко-волынском Евангелии МГУ (№ 1367), где, как мы уже говорили, *ѡѡ* последовательно пере-

дает /ѡ/ в новых закрытых слогах; вместе с тем двойное о, образующееся на морфемном стыке (в словах типа *вооружение*), также передается здесь омегой. Не случайно в позднейшей церковнославянской традиции омега может называться «двойное он» (Соколов, 1907, с. 11).

На великорусской территории процесс проявления редуцированных также дает /ѡ/ из /ѡь/; /ѡ/ возникает здесь также из /е/ в результате перехода /е/ → /ѡ/ (§ 8.2.5). Судьба рефлексов *о отличается здесь, однако, от судьбы рефлексов *о в украинских диалектах. Если в украинских диалектах всякое *о в закрытом слоге дает /ѡ/, а в открытом слоге /ѡь/, то в великорусских диалектах /ѡ/ происходит из *о под автономным ударением, тогда как отражением безударного *о (включая сюда и *о под автоматическим ударением в энклиноменах) является /ѡь/. Развитие оппозиции /ѡ/ — /ѡь/ связано здесь, таким образом, с акцентными условиями.

В древнерусском языке слова могли либо иметь закрепленное за определенным слогом ударение (ортотонические словоформы), либо вовсе не иметь фонологического ударения (энклиномены). Будучи в изолированном положении, энклиномены получали усиление (фонетическое ударение, отличавшееся по своим характеристикам от ударения ортотонических словоформ) на первом слоге. Если перед ними стояли проклитики, усиление (фонетическое ударение) автоматически переходило на проклитики; такое усиление называют автоматическим ударением, отличая его от автономного ударения, т.е. ударения ортотонических словоформ. Эта передвижка автоматического ударения отражается в таких современных формах, как *по воду, из дому, за городом*. Автономное ударение было закреплено за определенным слогом и передвижке не подлежало, ср. *на дѡбр, по вѡле, из кѡжи*. Различие между автономным и автоматическим ударением теряется некоторое время спустя после падения редуцированных (по-видимому, в XIV в.), отражение этого различия сохраняется в противопоставлении /ѡ/ и /ѡь/, ср. *двѡ/р*, но *д/о/м* (Зализняк, 1985). Следует отметить, что в древнейший период русский церковнославянский язык и русский разговорный язык не противостояли друг другу по характеру акцентной системы.

Противопоставление /ѡ/ и /ѡь/ было усвоено и великорусским книжным произношением. Оно могло отражаться и в орфографии великорусских церковнославянских памятников. Рукописи, в которых последовательно проводится это различие, за одним исключением (о котором мы скажем ниже), дошли до нас только от XVI в., однако есть основания думать, что такая орфографическая система возникла раньше. Противопоставление двух о может передаваться в великорусских рукописях разными способами, а имен-

но, /ѡ/ передается через ѡ, а /ѡ/ через ѡ (ср., например, Травник ГБЛ, ф. 37, № 431, XVI–XVII в.); /ѡ/ передается через ѡ или ѡ, а /ѡ/ — теми же буквами со знаком каморы (̣) — такое правописание характерно для новгородско-псковского ареала и представлено в значительном числе рукописей XVI в.; /ѡ/ передается узким вариантом буквы ѡ, а /ѡ/ — широким вариантом — такое правописание наблюдается в книгах, напечатанных в анонимной типографии, которая работала, как предполагают, в Москве в 1553–1564 гг. (см. Васильев, 1929; Зализняк, 1978).

В Мер. Праведном середины XIV в., написанном, видимо, на территории Тверского княжества, наблюдаем противопоставление букв ѡ и ѡ, которое может отражать либо оппозицию /ѡ/ и /ѡ/ великорусского происхождения, либо — в первом слове формы — оппозицию /ѡ/ и /ѡ/ украинского происхождения (см. Зализняк, 1978; Зализняк, 1978а).

Как видим, применение ѡ для передачи /ѡ/, независимо от происхождения этого звука, наблюдается достаточно рано и встречается в самых разных ареалах. Великорусские книжники в грамматических сочинениях иногда констатируют особый характер звука, обозначающего ѡ. Они говорят о необходимости различать ѡа — ѡа, ѡе — ѡе, ѡы — ѡы, ѡѡ — ѡѡ, ѡѡ — ѡѡ, ѡѡ — ѡѡ и, вместе с тем, ѡѡ — ѡѡ, причем звук, передаваемый как ѡ, регулярно получает эпитет «логоватый», что означает ложбинчатый, вогнутый — по-видимому, здесь передается дифтонгичность закрытого /ѡ/ (Ягич, 1896, с. 348, 352, 367, 375, 408, 637; Петровский, 1888, с. 70; Зализняк, 1978, с. 94–96).

Таким образом, противопоставление /ѡ/ — /ѡ/ переходит из произношения разговорного в произношение книжное и закрепляется здесь. Поэтому оно отражается в орфографии и может подвергаться кодификации в грамматических руководствах.

§ 7.10. Произношение иностранных слов. Специфика русской традиции церковнославянского языка проявляется в произношении иностранных слов, а именно в произношении начального [e]/[je], поскольку оно отражается в написании, и в произношении ѡ (фиты) и ѡ (ижицы).

§ 7.10.1. Отсутствие йотации перед начальным /е/. Правописание большей части русских рукописей XI–XII вв. отражает противопоставление йотированного и нейотированного [e] в начале слова, передавая его соответственно буквами ѡ и ѡ. Отсутствие йотации наблюдается прежде всего в иностранных (греческих) словах, например, евангелѡк, едем-, елин- и т.п., а также в некоторых словах славянского происхождения, образующих замкнутую группу:

єтеръ, єда, єдѣва, єи (утвердительная частица — однако ки в местоименной форме дат. ед.), єже, єлма, єзеро, єлень. Спорадически отсутствие йотации имеет место и в некоторых других словах (см. Дурново, 1924а; Дурново, VI, с. 23–37).

Это явление, безусловно, не отражает живого произношения, поскольку оно наблюдается в заимствованных словах и в словах специфически книжных, отсутствовавших в разговорном языке (например, єтеръ). Вместе с тем его нельзя было бы объяснить как результат комбинации старославянских форм кєзеро, клєнь с русскими озеро, олень, так как тогда следовало бы ожидать написаний *єдинъ (а не кдинъ), *єлико (а не клико) и т.п.

Рассматриваемое явление восходит, возможно, к южнославянской традиции. Вместе с тем единственным старославянским памятником, где различаются начальные є и к, является Супр. рукопись, в ней наблюдаем начальное є в греческих словах, в утвердительной частице єи и в слове єтеръ; мы уже говорили о возможности особого значения этого памятника для формирования русской книжной традиции (§ 3.1.1). Существенно, что на Руси эту традицию отражают памятники, списанные с глаголических оригиналов (например, Сл. Гр. Бог., XI в.), в которых противопоставление йотированного и нейотированного є не могло быть выражено. Отсюда следует, что различие є и к в русских памятниках принадлежит к русской орфографической традиции, которая отражает, видимо, церковное произношение. Это русское церковное произношение, в свою очередь, по-видимому, восходит к южнославянскому церковному произношению (Дурново, VI, с. 36). Характерно, вместе с тем, что нейотированное произношение наряду с книжными словами свойственно междометиям, частицам, местоимениям, где вообще следует ожидать фонетических аномалий (ср. в современном русском языке, где в исконной лексике нейотированное /е/ в начале слова невозможно, такие слова, как *эй, это* — см. Живов и Успенский, 1973/1997). Таким образом, привнесенное извне церковное произношение ассоциировалось с периферийной фонетикой исконных слов.

По предположению Дурново, «первоначальное церковное произношение, различавшее начальные [е] и [je], уже в XI в. стало заменяться другим произношением, с начальным [je] во всех случаях, и это другое произношение и вызвало отступление от установившейся орфографии у менее грамотных писцов. Оно же легло в основание орфографии, употребляющей в начале слов только к. Эта последняя орфография возникла очень рано, так как засвидетельствована уже во втором почерке Изб. 1073 и в первом почерке Арх. ев. 1092 г., но не получила большого распространения» (Дур-

ново, VI, с. 37). Итак, уже с XI в. на Руси существует две нормы книжного (церковного) произношения начального *ε*: в одной из них различалось произношение иноязычных и славянских слов, которые были противопоставлены по признаку наличия йотации, тогда как в другой норме все слова без различия читались с йотацией. В дальнейшем первая норма была усвоена книжной традицией Юго-Западной Руси, а вторая — книжной традицией Московской Руси (§ 13.4).

В одном грамматическом сочинении XVI в. сообщаются фонетические различия между греческим и русским языками, причем отмечается, что славянской букве «есть» соответствует у греков «эсть» (Ягич, 1896, с. 409; Петровский, 1888, с. 14); имеется в виду протетическая йотация перед звуком [ε], которая отличает церковнославянский язык (московской редакции) от греческого.

Поскольку со второй половины XVII в. имеет место влияние юго-западнорусской книжной традиции на великорусскую (в частности, на светское литературное произношение), противопоставление по йотации начинает противопоставлять церковное и светское произношение одних и тех же слов, ср. церковные формы *еллин*, *екзарх*, *Еммануил*, *епистола* и соответствующие литературные *элли*, *экзарх*, *Эммануил*, *эпистола*. С этим противопоставлением связана кодификация буквы *э* в русской гражданской орфографии (ср. § 17.2.2).

§ 7.10.2. Чтение фиты. Церковнославянский язык русского извода и старославянский язык различаются характером произношения буквы *ϕ*, встречающейся лишь в заимствованиях из греческого. Наряду с этимологически правильным написанием этих грецизмов с *ϕ* в соответствии с греческой *ϑ*, мы встречаем вариантное написание этих слов в старославянских памятниках с *т*, в русских памятниках — с *ф*. Таким образом, в русском церковнославянском произношении *ϕ* читалась как *ф*, в старославянском произношении — как *т*. Отметим, что произношение *ϕ* как *ф* отражается в македонских памятниках; вообще такое произношение в южнославянском ареале характерно исключительно для Македонии (Будзишевская, 1969, с. 30; ср. Геров, 1938). Оно отражает, по-видимому, переход *ϑ* > *φ* в некоторых греческих говорах (Фасмер, 1909, с. 22–23). Таким образом, произношение *ϕ* как *ф* может в русском трактоваться как македонизм (ср. § 7.4; § 7.5.3). Косвенным отражением такого произношения являются греческие заимствования с *п* на месте *ϑ*, см., например, в Синай. патерике XI в. *каппилин* < *καυθίλλος*, *пермник* < *ϑέρμιον*; надо полагать, что *ϕ* произносилась как *ф*, и *п* появлялось в качестве одного из способов передачи чуждого русскому языку звука [п] (ср. Фасмер, 1909, с. 23).

§ 7.10.3. Чтение ижицы. Буква *ѵ* (ижица) выступала в славянской азбуке как соответствие греческому *υ* (ипсилону) и употреблялась прежде всего в грецизмах. В зависимости от позиции эта буква могла читаться по-разному: как гласная или как согласная. Как гласная ижица читалась между согласными или в начале слова перед согласным, в остальных позициях она читалась, вообще говоря, как согласная. Орфографически правильные написания ижицы на месте ипсилона не сообщают никаких данных о произношении этой буквы. Однако встречаются вариантные написания, в которых нарушается соответствие между ижицей и ипсионом (ижица стоит на месте другой греческой буквы, или же другая славянская буква находится на месте ипсилона), и они позволяют в какой-то мере судить о произношении этой буквы. Положение, однако, осложняется тем, что вариантные написания встречаются и в южнославянских памятниках, так что некоторые написания русских рукописей могут в принципе восходить к южнославянскому протографу.

Выступая как гласная, ижица могла смешиваться с оу (ю) или с и. Так, наряду со стандартными написаниями с ижицей, мы встречаем формы типа Ки́рнлѣ, Кю́рнлѣ и Коу́рнлѣ, Кни́рианъ и Коу́прианъ и т.д. (ср. передачу имени Ку́рос в Усп. кондакаре 1207 г.: кура в заголовке, но кѹѹѹѹѹѣ въ в соответствующем нотном тексте л. 90, 91). Такие же колебания мы наблюдаем и в южнославянских текстах (см. Геров, 1942). Это может свидетельствовать о том, что существовали разные нормы чтения этой буквы (как гласной), хотя в то же время не исключено, что колебания в написаниях отражают затруднения в передаче звука [j̥], т.е. того звука, который соответствовал букве ю (ср. вариантыные отражения немецкого [j̥] в именах Миллер ~ Мюллер, Шлиссельбург ~ Шлюссельбург и т.п.): в гречизмах этот звук мог находиться в тех позициях, в которых он не мог стоять в словах славянского происхождения. Действительно, для древнейших памятников характерно чередование ѡ и ю, что, по мнению Н. Н. Дурново (1926, с. 371), указывает на произношение ижицы как [j̥]. Вместе с тем в современном языке старые формы с ижицей произносятся как формы с [u] или с [i] в соответствующей позиции, ср. греч. Γλυκερία и рус. Гликерия и Лукерья, греч. Κυπρίανος и рус. Киприян и Куприян, греч. Ἀκυλίνα и рус. Акилина и Акулина и т.д. Такое отражение ижицы в современном языке побуждает думать, что в свое время ижица в книжном произношении могла читаться как [i] или [u]. При этом формы с [u] сейчас могут рассматриваться как просторечные, противопоставленные более книжным формам с [i]. Поскольку речь идет о специфически книжных словах (гречизмах), и то, и другое произношение несомненно восходит к произношению книжному. Таким образом, су-

греч. Βουκόλος отражается в русских текстах в форме *Вукул*, что предполагает посредствующую запись этого имени в форме *Вѣкѹлъ*, которую мы и находим в ряде месяцесловов (ср., например, *Вѣкѹла* в Мстисл. ев. начала XII в., л. 190в, *Вѣкѹла* в Геннад. библии 1499 г., л. 906). Аналогичным образом на месте греч. Ἄνδρουσα мы находим рус. *Анфиса*, что объясняется так же, как форма *Вукул*. Написание грецизмов с ижицей вне соответствия греческому ипсилону наблюдается и в южнославянских памятниках (Будзишевская, 1969, с. 21–22).

Архаическое произношение ижицы как [u] нашло отражение в орфографической практике, при которой ижица могла заменять оу в позиции после согласной (не только в грецизмах). Характерно, что древнейшее название ижицы «ик» стало затем обозначать лигатуру Ѹ (тогда как диграфф оу может называться «оник», т.е. «он» + «ик» — Успенский, 1968, с. 16–19; ср. § 11.1). Отождествление ижицы и Ѹ прослеживается в растяжном письме кондакарей. Так, например, в Усп. кондакаре 1207 г. гласная ю при растяжении регулярно переходит в Ѹ: юѸѸ... (например: ѸтвьържаюѸѸтъ, л. 168). Вместе с тем на л. 135 об. находим: мѹѹроносицаамъ, что ясно показывает тождество соответствующих букв.

После гласной ижица читалась так же, как буква в, что отражается в вариантных формах *евангеліе* и *евангеліе*. При этом, поскольку ижица непосредственно ассоциируется с ʸ (ou), вместо ижицы могут писаться эти буквы. Ср., например, в месяцеслове канонника 1331–1332 гг. написания типа *Юоупла*, *Юоулампла*, *Юоусегнина*, *Юоустафья*, *Юоустратыа*, *Юоугинны*, *Юоудокни*, *Юоуфимы*, *Юоуфимыа*, *Юоуфросины*, *Юоустафья*, *Юоутоухья*, а равным образом и *Аоуксентиа*, *Фооуста* и т.п. (Баар, 1968). В древнейший период написания такого рода имеют условный орфографический характер и предполагают чтение с согласной на месте ou. Об этом свидетельствует материал древнейших певческих текстов, где в заголовках мы нередко встречаем написание того или иного имени с ou на месте греческого u, но в относящемся к данному заголовку нотном тексте имеем соответствующую форму имени с согласной в. Ср. в Усп. кондакаре 1207 г. *Юоустафья* (л. 7 об.) и *Юевста-аааафни* (л. 8), *Ааоура* (л. 109) и *Аааааавра* (л. 110).

Исключение составляет имя *Павел*, где написание Паоуль отражается на произношении. Действительно, в певческих текстах, где встречается такое написание, над буквой Ѹ (ou) может стоять нотный знак, что свидетельствует о произношении здесь слогового звука (см. Лавр. кондакарь XII–XIII в., л. 103–103 об., или Стихиарь XII в. — РГАДА, ф. 381, № 145, л. 9 об.), и соответствующий звук может тянуться (ср. в Благ. кондакаре XII–XIII в.: Пааууууле,

л. 16 об.). При этом во всех приведенных случаях в заголовках нотного текста показана форма *Павла* (род. падеж), которая имеет, видимо, условный орфографический характер (ср. Лавр. кондакарь, л. 102 об., Благ. кондакарь, л. 16). Ср. также форму *Паѡѡъ* в надписи на иконе апостола Павла из деисусного чина XV в. собр. Архангельского музея. Такое произношение объясняется сближением с именем *Саул*. Ср. чередование *Саул* — *Савл* (отражающее греч. *Σαῦλ* и *Σαῦλ*, *Σαῦλος*), причем для древних памятников более характерна форма *Саул* — в тех случаях, когда в более поздних текстах стоит *Савл* (см. Геров, 1943, с. 7, 10 — о старославянских текстах; ср. чередование обеих форм в Чуд. Нов. Завете середины XIV в., л. 63, 64, 64 об., 67, 75, 78, 93 об., 159 об.). Содержательный параллелизм этих имен в новозаветном тексте обуславливал и их формальное уподобление.

В дальнейшем написания типа *Бѡѡлампи* могли обуславливать и соответствующее произношение, о чем говорит старообрядческое произношение имени *Евл* как *Еул* (ср. § 11.1). О том, что подобные формы могли отражаться на произношении, говорят как великорусские, так и белорусские и украинские формы *Елтуфий* ~ *Олтуфий* ~ *Олтух* (из *Еутихий*), *Елфим(ий)* ~ *Олфим* (из *Еуфимий*), *Олгенья* (из *Еугения*), *Елпатий* (из *Еупатий*), *Елсуфий* ~ *Олсуфий* (из *Еупсихий*) (Соболевский, 1907, с. 124; Хюбнер, 1966, с. 213). Подобные формы отразились в фамилиях *Алпатов*, *Елпатьевский* (от *Еупатий*), *Алтуфьев*, *Алтухов* (от *Еутихий*), *Елхимов*, *Елфимов* (от *Еуфимий*), *Олсуфьев* (от *Еупсихий*), *Елдокимов* (от *Еудоким*), а также в великорусской топонимике. Не менее показательны и случаи обратной замены — гиперкорректного характера — типа *Бѡѡпидифора* вместо *Блпидифора* (Срезневский, I, стлб. 563).

§ 7.11. Морфологические отличия русского церковнославянского от старославянского языка. Специфика русского церковнославянского языка ярче всего выявляется в рассмотренных фонетических признаках. Морфологические признаки, к рассмотрению которых мы переходим, имеют более частный характер. Адаптация южнославянского извода церковнославянского языка на русской почве, приведшая к созданию отдельного русского извода, проходила в основном на фонетическом уровне, тогда как морфологическая норма была усвоена в ее целостности и сближения с разговорным языком здесь почти не наблюдается. Это связано с характером обучения церковнославянскому языку: учили прежде всего читать, а не писать (§ 6.3). Морфологическая специфика русского церковнославянского языка обусловлена не столько адаптацией церковнославянского языка на русской почве, сколько особыми отношениями, которые возникали здесь между книжными и некнижными формами.

§ 7.11.1. Окончания тв. падежа ед. числа. Старославянским флексиям тв. ед. -омь, -емь соответствуют в церковнославянском языке русского извода флексии -ъмь, -ьмь. В первоначальных русских текстах формы -омь, -емь отражают влияние южнославянских протографов. Однако уже в XI в. написания -ъмь, -ьмь становятся орфографической нормой (Дурново, 1933, с. 64); только такую орфографию наблюдаем, например, в обоих почерках Арх. ев. 1092 г. (Соколова, 1930, с. 122). В Изб. 1073 первый писец предпочитает сохранять старославянское окончание -омь, а второй обычно пользуется уже окончанием -ъмь (Еленски, 1960, с. 633, 654). Показательно, что уже в начале XII в. окончание -омь может исправляться на -ъмь. Такую правку находим, например, в Минеях начала XII в. (ГИМ, Син. 160, 161), в Стихираре XII в. (ГИМ, Син. 279) (Живов, 1984, с. 287), в Выголекс. сб. XII в. (Судник, 1963, с. 196). Такая правка наглядно показывает, что в сформировавшейся орфографической норме русского извода церковнославянского языка окончания -омь, -емь признаются неправильными. Поскольку в книжном произношении ъ читался как о, а ь — как е (§ 7.5.3), такое изменение в написании не свидетельствует о каком-либо изменении в книжном произношении, но имеет чисто орфографический характер. Это изменение было обусловлено тем, что с избавлением от влияния южнославянских протографов писцы начинают ориентироваться на свое живое произношение и при порождении книжных форм исходят из правил, соотносящих церковнославянскую орфографию с их произношением (§ 7.5.4). Поскольку книжное произношение не позволяет различить о, е и ъ, ь, писцы ориентируются на свое живое произношение. Но в живом русском языке соответствующими окончаниями были -ъмь, -ьмь, которые тем самым и записывались в церковнославянском тексте как -ъмь, -ьмь. Имеем убедительные свидетельства того, что написания -ъмь, -ьмь предполагали такое же чтение, как -омь, -емь. Так, в Тип. уставе XI–XII вв. в неясном тексте находим вѣтъньцьмь, а в соответствующем месте нотного текста, где отражается реальное звучание данного слова, — вѣтъньцьемььььь (вѣтъньцьемь, л. 30–30 об.). В Усп. кондакаре 1207 г. орфографическое ъ может переходить в растяжном письме в данной флексии в о, что отражает реальное произношение: соѹшьствѣъомььььь (соѹшьствѣъомь, л. 43); ъ имеет в данном случае чисто орфографическое значение, поскольку над ним не проставлена музыкальная нотация — между тем тянувшееся о соответствует книжному произношению. Таким образом, здесь имеет место контаминация орфографической и произносительной формы, т.е. своеобразный компромисс между ор-

фографией и произношением: *соуѣществомъ* = *соуѣществѣмъ* × *соуѣществомъ* (Успенский, 1973/1997, с. 230–231).

§ 7.11.2. Флексия -ѣ вместо старослав. -а в мягкой разновидности склонений. В целом ряде форм именного склонения, а именно в мягких вариантах *о*-склонения (вин. мн.) и *а*-склонения (род. ед., им. и вин. мн.), старославянскому окончанию -а в русском церковнославянском языке может соответствовать -ѣ. Формы существительных с окончанием -ѣ входят в норму русского церковнославянского языка наряду с формами с окончанием -а, т.е. окончание -ѣ является допустимым вариантом, специфичным для русского извода церковнославянского языка. В памятниках, переписанных с южнославянских протографов, формы с окончанием -ѣ встречаются лишь спорадически, например, в Остр. ев. 1056–1057 гг. *каплѣ* (им. мн.), *мѣѣ* (род. ед.), в Арх. ев. 1092 г. *плѣ* (вин. мн.), *недѣлѣ*, *Захарѣ* (род. ед.). Редкость таких форм не говорит, однако, о том, что они нарушают норму церковнославянского языка — морфология (как и лексика) существенно более консервативна, чем орфография. Между тем, в церковнославянских памятниках, созданных на Руси (т.е. не переписанных с южнославянских протографов), формы на -ѣ встречаются достаточно часто, например, в Сказании о Борисе и Глебе (в Усп. сб. XII–XIII в.), в Слове о законе и благодати Илариона. Здесь формы на -ѣ и формы на -а распределены относительно равномерно, например, в Сказании о Борисе и Глебе и в Сказании о чудесах Романа и Давида из Усп. сб. формы на -ѣ зафиксированы 19 раз, а формы на -а — 23 раза, причем распределение этих окончаний произвольно, не мотивировано ни семантическими, ни стилистическими факторами (Левин, 1984).

Окончание -а может даже правиться на -ѣ: так, в Мин. 1095 (л. 136) во фразе «Ѡ дѣвницѣ бѣотроковицѣ» первоначально стояла форма *дѣвница*, которая — видимо, под влиянием последующего слова — была исправлена писцом на *дѣвницѣ* (Ягич, 1886, с. 0182). Писец в данном случае, по-видимому, руководствовался соображениями единообразия; тем не менее, сама возможность исправления такого рода, безусловно, говорит о том, что восточнославянская форма не воспринималась как менее правильная, чем форма южнославянская.

Соответствующие падежные формы на -ѣ в местоименном склонении (и в склонении членных прилагательных) выходят за рамки нормы русского церковнославянского языка (§ 8.3.5).

§ 7.11.3. Стяженные и нестяженные формы прилагательных. Старославянские нестяженные формы прилагательных могли писаться в русских памятниках так же, как в старославянском

языке, однако таким написаниям соответствовало, по-видимому, произношение, отвечающее стяженной форме. Указание на это находим в кондакарях. Так, в Тип. уставе XI–XII в. писец пишет в ненотном тексте *ѣтымь, воруѣагоса*, однако в нотном тексте передает те же формы иначе: *сѣтымь, во-оооооруѣагоса* (*боруѣагоса*) (л. 26–26 об., 73 об.–74). Ср. также такие формы в кондакарях, как *мрачньныхъ* (*мрачныхъ*), *неиздреченньныхъ* (*неиздреченныхъ*), *лѣѣниивыыыыыыыыыхъ* (*лѣнивыхъ*) и т.п. (Успенский, 1973/1997, с. 229); такие примеры тем более показательны, что в случае растяжения гласных мы бы ожидали, вообще говоря, сохранения полной формы (ср. сохранение полных форм прилагательного в былинах в зависимости от ритма).

§ 7.11.4. Окончания прилагательных в дат. падеже ед. числа. Старославянским окончаниям -оуемоу, -юемоу, -оуоуемоу, -оуемоу, -юемоу прилагательных в дат. падеже ед. числа муж./ср. рода в русском изводе церковнославянского языка соответствуют окончания -омоу, -емоу, ср. старослав. довроуемоу — рус. церковнослав. довромоу. Такие окончания становятся регулярными по крайней мере с XII в., тогда как в более ранних русских памятниках можно встретить и южнославянские написания. Необходимо, однако, отметить, что окончания -омоу, -емоу характерны и для церковнославянских памятников болгарского извода, т.е. в южнославянском изводе церковнославянского языка наблюдается тот же процесс, что и в русском изводе (Вайан, 1952, с. 147, 183). Если формы с южнославянскими окончаниями в русских текстах объясняются влиянием южнославянских протографов, то окончания -омоу, -емоу в южнославянских памятниках объясняются, напротив, как инновации.

§ 7.11.5. Окончание 3 л. наст. времени. Старославянскому окончанию -тъ у глаголов 3 л. наст. времени (ед. и мн. числа) соответствует в церковнославянском языке русского извода окончание -тъ, ср. старослав. *верѣтъ* — рус. церковнослав. *верѣтъ*, старослав. *вержтъ* — рус. церковнослав. *вержѣтъ*. Русская орфография явно отражает здесь книжное произношение, обусловленное в свою очередь формами разговорного языка. Отметим, что русское -тъ восходит к общеславянскому *тъ из индоевропейского *ti, т.е. русские формы представляются более архаичными. Южнославянское окончание -тъ объясняется не фонетическим развитием, а влиянием указательного местоимения *тъ*. Современные литературная и севернорусская диалектная формы на /т/ твердое развились позднее и независимо от старославянского влияния (в новгородских текстах такие формы отмечаются с XIII в., см. Дурново, 1924, с. 209); в южнорусских, а также в вос-

точноукраинских говорах сохранилось мягкое *-ть* (такого же происхождения и белорусское *-ць* в соответствующих глагольных формах). /t'/ мягкое осталось в литературном языке в реликтовых формах атематических глаголов (ср. *есть, суть, Бог весть*). Можно полагать, что отверждение *-ть* в великорусских говорах обусловлено той же причиной, что и в старославянском языке — влиянием указательного местоимения *тъ*. Как и в ряде других случаев (ср., например, падение редуцированных), мы наблюдаем в славянских языках одни и те же общие тенденции, которые сначала осуществляются в южнославянской, а потом в восточнославянской зоне.

§ 7.11.6. Окончания имперфекта. В отличие от старославянского языка в русском церковнославянском языке возможно окончание *-ть* в форме 3 л. имперфекта: старослав. *вѣдѣашѣ* — рус. церковнослав. *вѣдаашеть*, старослав. *вѣдѣахѣ* — рус. церковнослав. *вѣдаахуѣть*. Ср. в Остр. ев. 1056–1057 гг. *поуждашеть*, в Арх. ев. 1092 г. *оугнѣтахуѣть*. При этом форма имперфекта, по-видимому, была чисто книжной формой, отсутствовавшей в русской разговорной речи (§ 8.7.1). Поэтому в формах с окончанием *-ть* можно видеть результат контаминации церковнославянских форм имперфекта и русских форм настоящего времени. Поскольку при этом в разговорных формах 3 л. наст. времени *-ть* может отсутствовать (ср. формы типа *напише* — § 8.4.3), появление окончания *-ть* может объясняться гиперкорректным отталкиванием от разговорного языка; вместе с тем оно оправдано стремлением к разграничению омонимичных форм 2 и 3 л. имперфекта (ср. § 8.7.3; § 8.7.4).

§ 7.11.7. Окончания аориста. Подобное же явление, т.е. окончание *-ть* в 3 л. ед. числа, встречается и в формах аориста. Можно думать, что и в формах аориста окончание *-ть* возможно в пределах нормы церковнославянского языка (хотя оно встречается реже, чем в формах имперфекта). Так, например, в Житии Феодосия Печерского из Усп. сб. XII–XIII вв. мы находим аористные формы *прѣять* наряду с *прѣтъ* и *прѣа*, *начать* наряду с *начать* и *нача*. А. И. Соболевский (1907, с. 236) отмечает такие формы в целом ряде евангелий XIV в., например: *възложи на ня руцѣ и отъидеть* (Евангелие 1339 г.; БАН, Археогр. комис., л. 57 об.), *Илья прѣдетъ и створиша кму юлико хотѣша* (Евангелия 1355 и 1358 гг.; ГИМ, Син. 70, л. 89; ГИМ, Син. 69, л. 123) и т.п. Если форму *прѣять* можно рассматривать как модификацию формы *прѣтъ*, восходящей к старославянскому языку, то такая форма, как *прѣдетъ*, является собственно восточнославянской инновацией.

Так же как и в случае имперфекта, появление подобных форм оправдано стремлением к разграничению омонимичных форм 2 и

3 л. аориста. Как и в имперфекте, эти формы имеют, по всей видимости, гиперкорректное происхождение, поскольку в наст. времени книжные и некнижные формы могут противопоставляться именно по наличию **-ть**, т.е. наличие **-ть** выступает как признак книжности, который гиперкорректно может переноситься на формы аориста и имперфекта. Такие формы аориста могут возникать и в результате приложения правила, выработанного при сопоставлении южнославянских и русских церковнославянских форм наст. времени: старослав. **-тъ** — рус. церковнослав. **-ть**. Если в русских церковнославянских формах наст. времени на **-тъ** можно видеть результат адаптации, то формы аориста на **-тъ** возникают вполне искусственным путем. Аорист в принципе отсутствовал в разговорном языке (§ 8.7.1), и поэтому южнославянские формы аориста на **-тъ** могли трансформироваться в формы с **-ть**, причем это искусственное **-тъ** могло распространяться и на те классы глаголов, где **-тъ** было этимологически не оправданным.

С появлением грамматик церковнославянского языка формы аориста с окончанием **-тъ** в некоторых случаях подвергаются кодификации. Так, согласно грамматике Смотрицкого глаголы с инфинитивом на **-ати** оканчиваются в этой форме на **-ать**, а не на **-а**, т.е. следует говорить **заклатъ**, **запатъ**, **зачать**, а не **закла**, **запа**, **зача** (Смотрицкий, 1619, л. О/2), ср. также аористные формы **взать**, **ѡать** (там же). То же указание повторяется и в московской перепечатке 1648 г. (л. 190 об.); в позднейшей московской перепечатке 1721 г. формы эти квалифицируются как неупотребительные (л. 117). Ср. характерное заявление чудовского инок Евфимия в сочинении о исправлении Миней (1692 г.): «Обрѣтошася... в' тѣх правленыхъ книгахъ, не вѣдомо по какому случаю, реченія многая оставленна неисправлена, по грамматическому художеству во временахъ... времена помѣшена, мѣсто настояща[о] прешедшее...» (Никольский, 1896, с. 79).

В русских текстах чрезвычайно редки архаические формы сигматического аориста типа **вѣсь** (только **вѣдохъ**), **идъ** (только **идохъ**) и т.п. Спорадически встречающиеся формы такого рода объясняются как отражение македонского протографа (Лант, 1975, с. 279).

§ 7.11.8. Основа имперфекта. Старославянскому показателю имперфекта **-ѣа-** соответствует в церковнославянском языке русского извода **-аа-** (**-аа-**). Аналогичным образом, в стяженных формах старославянскому показателю **-ѣ-** соответствует **-а-** (**-аа-**), ср. старослав. **вѣахъ** — рус. церковнослав. **вѣдохъ**, старослав. **видѣхъ** — рус. церковнослав. **видѣхъ** (Дурново, VI, с. 57–60). Н. Н. Дурново считает, что «употребление **-аа-** вместо **-ѣа-** в памятниках русско-

го письма основано на известном русским писцам произношении южных славян», читавших в этих формах **ѣ** как [ä] (там же, с. 60). Итак, русское написание отражает, по-видимому, произношение, однако произношение южных славян, поскольку живой русской речи имперфект вообще не был известен (ср. § 8.7.1). Отметим, что нестяженные формы имперфекта встречаются в русских памятниках древнейшего периода весьма редко.

Нестяженные формы имперфекта появляются в более поздних текстах в процессе второго южнославянского влияния. Они фиксируются в грамматических описаниях, причем противопоставлению стяженной и нестяженной формы может искусственно придаваться какое-то грамматическое различие. См., например, в грамматике Лаврентия Зизания 1596 г. **ѡвѡах[ъ]** «протяженное» время, **ѡвѡах[ъ]** — «пресовершенное» время (Зизаний, 1596, с. 57–57 об.), в грамматике Смотрицкого **читах[ъ]** определяется как «прешедшее» время, **читаах[ъ]** — как «мимошедшее» время (Смотрицкий, 1619, л. О/2 об.—О/3; Смотрицкий, 1648, л. 190 об.—191 об.), и т.п.

§ 7.12. Словообразовательные отличия русского церковнославянского языка от старославянского языка: суффикс -ѡнъ ~ -ѡнъ. Старославянскому суффиксу прилагательных **-ѡнъ**, употребляемому для обозначения вещества, в русском церковнославянском языке соответствует **-ѡнъ** (**-ѡнъ**), ср. старослав. **мѣдѡнъ** — рус. церковнослав. **мѣдѡнъ**, старослав. **дрѣвѡнъ** — рус. церковнослав. **дрѣвѡнъ**. В старославянском языке этот суффикс может выступать и в форме **-ѡнъ ~ -ѡнъ**, но только в особой фонетической позиции, а именно после палатального (в частности, и в начале слога, т.е. после протетического *j*, — ср. **можданъ** от **мозгъ**, **оусниѡнъ** от **оусникъ**, см. Вайан, 1952, с. 236). Между тем в русском церковнославянском языке **-ѡнъ ~ -ѡнъ** употребляется во всех позициях. Только в этой форме представлен данный суффикс в Остр. ев. 1056–1057 гг., Сл. Кир. Иерус. XI–XII в., Синай. патерике XI в., Мин. 1095–1097, Мстислав. ев. начала XII в. и т.д. В некоторых памятниках XI в. иногда встречаются и формы с **-ѡнъ** (Изб. 1073, Слова Гр. Богослова, Чуд. пс., Панд. Антиоха), но эти случаи явно объясняются влиянием протографа. Характерно, что в Изб. 1073 с **ѡ** написаны слова, встречающиеся в Евангелии, кроме **роумѡнъ**, т.е. хорошо известные писцу, а с **ѣ** — слова, не встречающиеся в Евангелии, кроме **ѡагърѡници**, — при написании таких слов писец, вероятно, в большей степени следовал протографу (Дурново, VI, с. 54–55). Написания с **-ѡнъ ~ -ѡнъ** обусловлены фонетически, т.е. писец следовал здесь произношению — книжному, которое в данном случае совпадало, видимо, с живым.

§ 7.13. Некоторые обобщения. Рассмотрение признаков, отличающих церковнославянский язык русского извода от старославянского языка, позволяет констатировать, что русские писцы в своей орфографической практике, как правило, исходили из своего книжного произношения. Это книжное произношение по ряду признаков могло быть не противопоставлено разговорному. Так, исчезновение ж, новая орфографическая функция ѡ, написание ж в соответствии с общеславянским *dj, написание жд (жг, жч) в соответствии с общеславянскими *zdj, *zgj, *zg', написание шч в соответствии с общеславянскими *stj, *skj, *sk', отражение в орфографии нового ятя и /ѡ/ закрытого объясняются отражением книжного произношения, которое определялось живым произношением, т.е. представляют собой результат приспособления церковной орфоэпии к фонетике разговорного языка. В других случаях орфография русских писцов отразила книжное произношение, которое было противопоставлено разговорному: сюда относится, например, написание нейотированного ѣ в начале слова и т.п.

Вместе с тем книжное письмо было связано с рядом орфографических условностей, не опиравшихся на книжное произношение. Реализация таких чисто орфографических норм могла быть связана и с обращением к живому произношению. Так обстоит дело с различием ѣ и ѡ, ѡ и ѣ (которые в книжном произношении звучали одинаково), а также с различием ѣ и ѣ (которое в книжном произношении реализовалось иначе, чем в живом). В обоих случаях ориентация на книжное произношение приводила к орфографически неправильным написаниям, тогда как исходя из своего разговорного произношения писцы достигали правильной орфографии.

Если ориентация на произношение (книжное или живое), как видим, чрезвычайно характерна, то следование орфографической традиции как таковой в целом нетипично; оно может быть констатировано, например, в случае опущения еров в замкнутой группе слов.

Обзор признаков русской редакции церковнославянского языка позволяет, как мы видели, выделить локальные орфографические особенности. Так, для южных рукописей специфичны написания шч, жч, отражение нового ятя и нового ѡ украинского типа, для северных рукописей — написание жг, отражение нового ѡ великорусского типа. Эти отличия, однако, не определяют признаки самостоятельных редакций церковнославянского языка: они характеризуют варианты, допустимые (но не обязательные) в пределах единой нормы.

§ 8. Основные различия между церковнославянским и русским языком

§ 8.1. Наддиалектные фонетические явления. Если церковнославянский язык представлял собой определенную унифицированную норму, то книжный язык в древнейший период дан нам не как единая система, а как совокупность различных диалектов. Для носителя языка в этот период было актуальным не противопоставление церковнославянского и русского языка как таковых, но противопоставление книжного языка его родному диалекту. Понятно, что в разных диалектных условиях противопоставление книжного и книжного строилось по разным наборам признаков. Однако в некоторой своей части эти наборы совпадали — постольку, поскольку ряд явлений был свойствен всем восточнославянским диалектам. Обсуждая фонетические различия между церковнославянским и русским языком, мы рассмотрим сначала фонетические явления, имеющие наддиалектный характер, т.е. специфичные для восточнославянских диалектов в целом.

§ 8.1.1. Рефлексы *og, *ol перед согласным. В соответствии с общеславянскими *og, *ol в позиции перед согласным мы находим в церковнославянском языке *ра, ла*, в русском языке — *ро, ло*; исключение составляют лишь рефлексы данных сочетаний под восходящей интонацией, которые и в восточнославянских диалектах давали *ра-* и *ла-* (ср. *рало, лань*). Вне этих условий русский и церковнославянский языки противостояли, ср. церковнослав. *работа* — рус. *робота*, церковнослав. *лакѣтъ* — рус. *локѣтъ* и т.п.

В современном языке формы с *ра, ла* являются славянизмами, ср. соответствие *равный* — *ровный*, *работать* — *робить*, *ладья* — *лодка*. Формы с *ро, ло* можно найти и в церковнославянских текстах, однако такого рода русизмы представляют собой явное отклонение от книжной нормы. Так, например, во втором почерке Изб. 1073 можно встретить *роботати, робѣъ, лодити, локѣтъ*.

Соответствующее противопоставление относится и к приставке *раз-* ~ *роз-*, ср. в современном языке семантическое противопоставление *разный* — *розный*. В Изб. 1073 можно встретить *рославлениа* (1 почерк), *роспаса*, так же как и *розоумъ* (2 почерк), но это опять-таки явные отступления от церковнославянской нормы.

§ 8.1.2. Полногласие. Церковнославянские неполногласные формы противостоят русским полногласным. Таким образом:

CrāC — CōrōC	<i>градъ — городъ</i>
ClāC — ColoC	<i>гласъ — голосъ</i>
CreC — CereC	<i>брегъ — берегъ</i>
ClĕC — ColoC	<i>плѣнь — полонъ</i>

В современном русском языке неполногласие является ярким признаком славянизмов, которые обычно коррелируют с полногласными русизмами, противопоставляясь стилистически (*хлад* — *холод*), а иногда и семантически (*бремя* — *беременный*). В некоторых случаях славянизм полностью вытеснил в современном языке соответствующий русизм: так, *время* вытеснило *веремья*, которое зафиксировано в древнерусских памятниках, но не известно ни литературной, ни великорусской диалектной речи (ср. § 4.4). Употребление неполногласных форм в современном языке имеет активный характер, и неполногласие выступает как продуктивная черта при образовании неологизмов (ср. *млекопитающее*, *здоровохранение*, *вратарь* и т.п.).

Усвоению неполногласных форм русским церковнославянским языком могли способствовать исконные русские формы типа *братъ*; неполногласные церковнославянские лексемы могут вообще совпадать с омонимичными русскими (ср., например, *градъ* как неполногласный коррелят к *городъ* и *градъ* как обозначение дождевых осадков). В церковнославянских памятниках наряду с правильными неполногласными формами можно встретить и гиперкорректные образования типа *план-* — в Сл. Гр. Бог. XI в. (л. 360б) или в Чуд. пс. XI в. (л. 48 об.); *план-* вместо *плѣн-* указывает на то, что при порождении неполногласной формы писец исходил из формы живой речи (*полонъ*). Если при порождении *план-* из *полон-* говорящий исходит из коррелирующих пар типа *млат-* — *молот-*, то в других случаях гиперкорректные формы образуются иначе, ср. в Панд. Антиоха XI в. *хроминъ* вместо *храминъ*, в Синай. патерике XI в. *злотъникъ* вместо *златъникъ*, в Юрьев. ев. начала XII в. *тлоци* вместо *тлѣци* (эта форма образована из *толочи*) и т.п. (см. еще примеры: Шахматов, 1915, с. 155–156). При порождении таких форм просто устраняется лишнее *о* в полногласных сочетаниях. Подобные гиперкорректные написания представляют собой отклонение от нормы церковнославянского языка; показательно, что они могут подвергаться правке, ср. в Минее XII в. (ГИМ, Син. 162) исправление *злото* на *злато* (л. 211 об.), в другой Минее того же времени (ГИМ, Син. 161) находим исправление *злотоуברהзыне* на *златоуברהзыне* (л. 109). Приведенные гиперкорректные формы явно свидетельствуют о восприятии неполногласных форм как специфически книжных: порождая подобные формы, писец, как пра-

вило, отталкивался от соответствующих форм живой речи (в некоторых случаях такого рода формы могут быть объяснены иным образом, см. Зализняк, 1995, с. 35–36). Вместе с тем отношения между полногласными и неполногласными формами, по-видимому, могли строиться по-разному — в зависимости от условий написания рукописи (в частности, от времени и места написания), а также от выучки и ориентации писца. Если в древнейший период, как показывают приведенные примеры, при осознании корреляции между неполногласными и полногласными формами противопоставление коррелянтных форм могло строиться по принципу эквиполентной оппозиции, выступая как противопоставление форм специфически книжных формам специфически некнижным, то в дальнейшем — достаточно рано — это противопоставление могло переосмыслиться по принципу привативной оппозиции, когда неполногласные формы были маркированы как специфически книжные, при том что соотнесенные с ними полногласные формы не воспринимались как специфически некнижные. Характер противопоставления полногласной и неполногласной формы мог быть при этом неодинаковым у разных писцов и в разных коррелятивных парах.

Наряду с только что приведенными примерами гиперкорректного неполногласия известен по крайней мере один пример, когда, напротив, неполногласная форма правится на полногласную: в Захарьинском паремейнике 1271 г. (ГПБ, Q.п.1.13, л. 103) во фразе «проклѣтъ Ханаанъ рабъ хлапъ боудеть братома своимѧ» форма хлапъ исправлена на холопъ (Гиппиус, 1989, с. 94). Этот уникальный пример едва ли может рассматриваться как свидетельство того, что неполногласная форма воспринималась как неправильная: исправление хлапъ на холопъ, по-видимому, вызвано не стремлением избавиться от неправильной формы, а желанием сделать эпизод более наглядным, изобразительным, приблизив его к реалиям русской жизни, соотнести библейское повествование с повседневным опытом. Тем самым этот пример принципиально отличается от примеров гиперкорректного неполногласия: если гиперкорректные неполногласные формы свидетельствуют о стремлении писать правильно, то данный пример свидетельствует о стремлении писать понятно.

В одном специальном случае полногласные формы допускаются церковнославянской орфографической нормой, именно при переносе слова со строки на строку; это связано с тем, что писец при переносе должен оканчивать строку непременно гласной буквой и поэтому, не имея возможности перенести *ст-рана*, он может переносить *сто-рона* (Кандаурова, 1968, с. 8–10). Полногласные написания могут также закрепляться в определенных лексемах; к такого рода случаям следует относить, видимо, восточнославян-

ские собственные имена, которые, как правило, пишутся в своей полногласной форме. Так, например, имя *Владимир* регулярно пишется как *Володимиръ* ~ *Володимѣръ*, топоним *Новгород* регулярно пишется как *Новѣгородъ*, а не как *Новѣградъ*, и т.д.

§ 8.1.3. Рефлексы *tj, *kt'. Церковнославянское /šč/ из *tj, *kt' соответствует русскому /č/, ср. церковнослав. свѣща, рус. свѣча, церковнослав. хощеши, рус. хочеши, церковнослав. аще, рус. аче и т.д.; аналогичным образом церковнославянским причастиям на -ѡщ-, -ѡщ- соответствуют русские формы на -ущ-, -яч-. В современном русском языке формы с щ при наличии коррелянтных форм с ч свидетельствуют о церковнославянском происхождении, ср. *мощь* — *мочь*. В некоторых случаях славянизм полностью вытеснил соответствующий русизм. Так, до нас дошли только церковнославянские формы *пища*, *вещь* при том, что исконно русские формы **пича*, **вечь*, которые мы можем реконструировать на основании родственных форм других славянских языков, не зафиксированы ни в современном языке (литературном или диалектном), ни в письменных памятниках (§ 4.4).

Указанная закономерность может нарушаться в одном случае. В русский церковнославянский язык вошло *чѹж-* (*чѹжда-*, *чѹж-*, *чѹжа-*), при том что в старославянском языке этот корень представлен в форме *штѹжда-*. Основа *чѹж-* (*чѹжа-*) довольно часто встречается уже в Изб. 1073, и это единственный случай написания в этом памятнике ч в соответствии со старославянским *шт* (Дурново, IV, с. 78). В дальнейшем такое написание становится вполне обычным в русских церковнославянских текстах, хотя еще в Усп. сб. XII—XIII в. форма *цѹж-* (*цѹж-*, *цѹжа-*) преобладает над *чѹж-*. Надо полагать, что произошла контаминация основы *чуж-* и *чуд-*, причем такая же контаминация произошла в сербском и болгарском языке, ср. серб. церковнослав. *чѹждаъ*, болг. *чужд-*, *чудд-*. В свою очередь *чудо* могло писаться в церковнославянском языке как *штѹдо* (Фасмер, IV, с. 378—379). Таким образом, написание *чѹж-* появляется под влиянием слова *чудо*.

§ 8.1.4. Йотация перед /а/ в начале слова. Церковнославянское /а/ в начале слова соответствует русскому /ја/, ср., например, церковнослав. агнѧ, рус. ягня, или в современном языке пары типа *агнец* — *ягненок*. Следует иметь в виду, что в общеславянском языке слова не начинались с /а/, за исключением союза (частицы) *а* и производных форм (ср. рус. *аже*, *аче* и т.п.). В старославянских текстах мы наблюдаем колебания начальных *а* и *ѧ*. Слова, которые всегда имеют *а-*, это либо заимствования, т.е. специфически книжная лексика (например, *агнѧ*), либо слова, в которых общеславянские **ог*, **ол* дали не *ла*, *ра*, а *ал-*, *ар-*, например, *алкати* (ср. *лакати*), *алдѧ* (ср. *ладѧ*) (ср. § 8.1.1). Вместе с тем,

в южнославянских говорах в результате фонологического развития начальная йотация в некоторых словах исчезает, ср. отсюда *азъ, агода, агньць*. Соответственно, отсутствие начальной йотации перед /а/ и становится признаком церковнославянского языка.

Необходимо отметить, что йотация перед /а/ могла сохраняться и в некоторых южнославянских говорах. Так, для македонских говоров была характерна форма *jazъ* (Селищев, II, с. 112). Тем не менее на русской территории форма с йотацией воспринималась как русизм.

§ 8.1.5. Йотация перед /у/ в начале слова. Несколько иначе обстоит дело с /у/ в начальной позиции. Отсутствие йотации перед начальным /у/ для данного периода не является признаком, противопоставляющим церковнославянский и русский языки, однако наличие йотации таким признаком является. Если в русском языке /у/ в начальной позиции не имеет йотации, то в церковнославянском языке она может иметь место, причем йотированные и нейотированные формы предстают как варианты одного слова. Отсюда в церковнославянских текстах мы наблюдаем варьирование написаний с начальными *оу* и *ю*, ср. в Симон. пс. 1270–1296 гг.: «Многажды брашаса со мною ѿ юности моѿъ. да речеть нынѣ Изѣль. многажды брашаса со мною ѿ оуности моѿъ» (Пс. СХХVIII, 1–2). Итак, йотированные формы являются специфически книжными, при том что противостоящие им формы без йотации не являются специфически некнижными; можно сказать, таким образом, что формы с йотацией перед /у/ в начале слова маркированы как книжные, т.е. противопоставление йотированных и нейотированных форм образует привативную оппозицию. В дальнейшем же, а именно после второго южнославянского влияния, эта оппозиция перестраивается в эквиолентную, т.е. йотированные формы противопоставляются нейотированным как книжные некнижным (§ 11.3.5).

§ 8.1.6. Соответствие /е/ — /о/ в начале слова. Церковнославянскому /е/ или /је/ в начале слова соответствует в некоторых случаях русское /о/, ср. церковнослав. *ѣзеро* ~ *кѣзеро*, *ѣдѣва* ~ *кдѣва*, *ѣлень* ~ *клень*, *кдинь* и рус. *озеро*, *одѣва*, *олень*, *одинъ*. Любопытно отметить, что такого рода противопоставление может иметь место и в грецизмах, ср. *ѣктѣння* ~ *кктѣння* и рус. *октения* (форма *октѣння* встречается в Тип. уставе, а также в ряде других памятников, ср. Дурново, IV, с. 82; Срезневский, II, стлб. 654).

§ 8.1.7. Рефлексы *ъ, *ь. Этимологические *ъ, *ь в церковнославянском произношении предстают в виде /о/ и /е/,

тогда как в живом русском произношении им соответствуют особые звуки [ъ] и [ь]. Это противопоставление, как мы уже знаем, сохранялось до времени падения еров (§ 7.5.3; § 7.5.5).

§ 8.1.8. Рефлексы *sk: отсутствие эффекта второй палатализации. В восточнославянских говорах сохраняется /sk'/ перед гласными /ѣ/, /і/, возникшими из дифтонга *oi, в то время как в церковнославянском языке отразились позднейшие рефлексы общеславянского *sk: еще в общеславянский период *sk перед такими гласными изменялось в одних южнославянских говорах в /sc/, в других в /st/ — в старославянских памятниках встречается как *сц*, т.е. написания *нюденсѣмъ*, *людьсци* (Сав. книга; Зогр. ев.), так и *ст*, т.е. написания *дѣстѣ*, *чловѣчѣстн* (Супр. рукопись). В русских церковнославянских памятниках мы встречаем sporadические написания с *ск* вместо *ст* или *сц*: *золотѣ женскѣ*, *въ чловѣчскѣн доушн* (Изб. 1073), *глюбннѣ преданѣ выстѣ морьскѣн* (Тип. устав XI–XII в., л. 40), *земан роуьскѣн* (Сказание о Борисе и Глебе в Усп. сб. XII–XIII в., л. 176, ср. еще л. 18г). Нет оснований видеть здесь случаи нефонетической замены *ст* на *ск*, как думал Н. Н. Дурново (1924, с. 126, ср. с. 279; см., однако, иначе: Дурново, 1926а): эти формы должны трактоваться как русизмы. В результате возникает противопоставление типа *новгородьстн* (Новг. летописи, с. 54, 55) — *новѣгородьскѣ* (берестяная грамота № 562). В дальнейшем противопоставления типа *ангельстн* — *ангельскѣ*, *ангельстѣн* — *ангельской* и т.п. воспринимаются как типичные примеры коррелянтных церковнославянизмов и русизмов. При этом формы на *-ск-* могут быть нейтральными формами, тогда как противопоставленные им формы на *-ст-* выступают как маркированные книжные формы.

Рассматриваемое явление имеет наддиалектный характер, т.е. не связано с специфическими явлениями новгородско-псковских говоров, где не имела места вторая палатализация заднеязычных (§ 8.2.6); отсутствие палатализации в данном случае обусловлено предшествующим согласным /s/, который выполняет, так сказать, защитную функцию, т.е. предотвращает процесс палатализации. Таким же образом следует объяснять и форму *пасхѣ* в Остр. ев. (дат. ед., л. 220а, 256в) — при том, что в старославянских памятниках встречаем *пасѣ* или *пастѣ*.

§ 8.2. Диалектные фонетические отличия. Как мы уже говорили, для каждого диалекта имеется свой набор признаков, по которым он противопоставлен книжному языку. Все разнообразие таких признаков вряд ли поддается реконструкции. Для большинства ареалов мы не располагаем некнижными текстами

достаточно раннего времени; лишь из ограниченного числа центров доходят до нас и однозначно локализуемые книжные тексты. Диалектологические данные, относящиеся к существенно более позднему периоду, также недостаточно информативны, поскольку они могут отражать позднейшие процессы диалектной конвергенции, т.е. стирания определенных диалектных различий, имевших место в древности. Поэтому мы остановимся лишь на основных диалектных чертах, которые определяют дистанцию между книжной и разговорной речью.

§ 8.2.1. Рефлексы *g. Восточнославянские говоры различались, как мы уже упоминали, по произношению *g: в одних здесь был фрикативный звук, в других — смычный. Фрикативное произношение характерно для южных говоров, причем граница распространения такого произношения со временем продвигалась на север (Хабургаев, 1980, с. 118 сл.). В тех говорах, в которых было взрывное [g], оно было противопоставлено фрикативному [ɣ], свойственному книжному произношению. Таково, в частности, было положение во всех северных культурных центрах — Новгороде, Ростове, Владимире и т.д. (§ 7.6).

§ 8.2.2. Характер противопоставления /e/ и /ě/. В ряде русских говоров согласный перед /e/ произносился мягко, тогда как в книжном произношении он звучал твердо (ср. § 7.8). Мягкость согласного перед /e/ свойственна большей части великорусских и белорусских говоров. Поскольку в ряде современных великорусских говоров перед /e/ стоит твердый согласный, можно думать, считая это произношение реликтовым, что в прошлом произношение такого рода захватывало заметную часть великорусской территории; это произношение свойственно и основной массе украинских говоров.

У нас нет данных для реконструкции древнейшего диалектного произношения /ě/. Можно полагать, однако, что качество /ě/ зависело от характера противопоставления /ě/ и /e/: в тех говорах, где перед /e/ был твердый согласный, /ě/ произносилось иначе, чем в говорах, где перед /e/ произносился мягкий согласный. Дифтонгическое произношение /ě/ было, видимо, свойственно прежде всего тем говорам, где перед /e/ согласный смягчался и, следовательно, мягкость предшествующего согласного не служила для противопоставления рефлексов *e и *ě. О том, как живое произношение соотносилось с книжным, было сказано выше (§ 7.8).

§ 8.2.3. Характер противопоставления /i/ и /i̯/. В южных рукописях встречается смешение букв и и ы, которое также, безусловно, представляет собой отклонение от нормы. Фонетические причины этого явления не вполне ясны (ср. Шевелев, 1979,

с. 182 сл.), но оно имеется уже в древнейших памятниках и явно отражает диалектную основу. Мы наблюдаем его уже в Арх. ев. 1092 г. (написанном, как полагают, на юге): годыны, постыдытъся, в Добрил. ев. 1164 г.: бити (вместо быти), просыти, совѣтъныкъ. Менее показательны случаи, где смешение ы и и имеет место после р, так как здесь оно может быть обусловлено отражением протографа, ср. в Изб. 1073 прикрывае, рыба; в Арх. ев. рыбы, рызы (Шахматов и Крымский, 1922, с. 65).

§ 8.2.4. Характер противопоставления *v и *u. Другой особенностью южных (галицко-волинских) рукописей является смешение в и оу, см., например, в Добрил. ев. 1164 г. дооуѣкъ (л. 25 об.), в Тип. ев. XII–XIII в. навѣчиша (л. 84), навѣчнѣся кси (л. 216), въмыши, въмыю (л. 228; ср. здесь же: оумы, оумыхъ, оумыти, оумывати), оупрашаахутъ (л. 159 об.; ср. въпрашаахутъ, л. 126). Нужно думать, что в соответствующих говорах рефлексом *v был билабиальный полугласный звук типа [ɥ]. Смешение такого рода представляет собой явное отклонение от орфографической нормы, и мы находим в рукописях соответствующие исправления. Так, писец Тип. ев. XII–XIII в. начал писать оуторын вместо вторын; написав начало слова (оутор-), он заметил свою ошибку и переправил букву т на в, о на т, р на о, после чего дописал окончание слова, но забыл соскоблить оу в его начале: получилось оувторын (л. 126 об.).

§ 8.2.5. Переход /е/ в /о/. Переход /е/ в /о/, равно как и /ь/ в /ъ/, после шипящих и /ж/ (т.е. после палатальных) характеризует большую часть восточнославянских говоров (кроме, видимо, галицких — Шевелев, 1979, с. 155); этот переход осуществляется в тех случаях, когда в следующем слоге стоит непередний гласный, представляя собой, таким образом, своеобразное проявление гармонии гласных. Этот переход может спорадически отражаться в памятниках, хотя он является явным отклонением от нормы. Произношение гласной [e] (как на месте *е, так и на месте *ь, см. § 7.5.3) в этой позиции было, видимо, нормой книжного произношения, и орфография основывалась здесь именно на нем. Очевидно, у писца были определенные правила, по которым он писал е и ь там, где в разговорном произношении звучали [o] и [ɤ]. Эти правила и обеспечивали орфографическую норму. Тем не менее, встречаются ошибки против орфографии, обнаруживающие разговорное произношение. Так, в Изб. 1073 однажды встречается написание човѣѣка (род. ед., л. 179), при том что обычно это слово пишется здесь с начальным че-. В Сл. Ипполита XII в. находим: съкажомъ (л. 22), блажомъ (л. 99), моужомъ (дат. мн., л. 21), вывъшомъ (дат. мн., л. 24) и т.д., в Лобк. прологе 1262 г.: зъвавѣшомоу (л. 49), пришьдѣшомоу

(л. 54), *пославѣшомоу* (л. 67 об.), *сѣшѣшомоу* (л. 124), ср. многочисленные примеры у Соболевского (1907, с. 59–61). В тех же условиях /ь/ переходит в /ѣ/. Так, в Остр. ев. 1056–1057 гг. основа *шѣд-* 57 раз написана с ером (т.е. *шѣд-*), в Панд. Антиоха XI в. замена ь на ѣ после шипящих зафиксирована более чем в четырехстах случаях; спорадически такие примеры наблюдаются и в других памятниках XI–XII вв., ср. Изб. 1073 *чѣто* (л. 114в, 202г), *шѣстшѣды* (л. 142г) и т.д., ср. многочисленные примеры у Дурново (VI, с. 22). Особенно знаменательны данные Тип. устава XI–XII в., где в ненотном тексте в соответствии с орфографической традицией пишется *сѣцѣствѣмь*, а в соответствующем месте нотного текста тот же писец пишет *сѣцѣствѣтъѣмь-ѣ* (л. 44–44 об.); совершенно аналогично ненотной форме *просѣщѣша* соответствует здесь нотная форма *просѣщѣшааааго-о-о* (л. 49 об.–50 об.). Таким образом, в живом произношении писца Тип. устава в соответствующих позициях звучал /ѣ/, но это произношение, как правило, не оказывало влияния на орфографию. Аналогичный переход имел место и после /й/, ср. в Изб. 1073 *васианово*, в Луцк. ев. XIV в. *кого, комоу* (наряду с *вашего*) (Шевелев, 1979, с. 150–151).

Относительная редкость подобных примеров (хотя есть памятники, в которых они встречаются довольно часто) показывает, как уже говорилось, что писцы пользовались определенными правилами, позволявшими им соблюдать орфографическую норму. О наличии таких правил свидетельствуют гиперкорректные формы, где они применены к грецизмам, имевшим этимологически правильное /о/ после /й/ или /й/. Так, в новгородских текстах XII–XV вв. нередко встречается форма *Ѣванѣ*, ср. такую форму в грамотах Великого Новгорода, а также в берестяных грамотах (Бэклунд, 1959, с. 89–90, 101–102; Зализняк, 1995, с. 187 и по указателю). Такую форму мы находим и в надписи на новгородской иконе XIII в. с изображением свв. Иоанна, Георгия и Власия (собр. Русского Музея). Аналогичным образом имя *Иосиф* может в новгородских текстах писаться как *Ѣсифѣ* или *Ѣсипѣ* (Бэклунд, 1959, с. 151–156; Зализняк, 1995, с. 187 и по указателю). Таким же образом объясняется и распространенная форма *Иевѣ* от имени *Иов*, ср. производное отсюда *Евша* и т.п. (Успенский, 1969, с. 149–150). Наличие гиперкоррекции однозначно свидетельствует о том, что разговорное произношение входило в конфликт с книжной нормой.

Неясно, осуществлялся ли переход /е/ в /о/ и /ѣ/ в /ѣ/ после палатальных сонорных. Отсутствие специальных букв для палатальных сонорных практически исключало возможность отражения такого перехода на письме: если бы писец использовал буквы *ѣ* и *ѣ* вместо *ѣ* и *ѣ* и писал бы, например, *ѣѣлонѣ* вместо *ѣѣлонѣ* (страд. причастие),

форма должна была бы читаться с непалатальным сонорным (написание *ъ* и *о* после шипящих к такому результату, понятно, не приводило). Тем не менее отдельные (очень редкие) случаи таких написаний встречаются, ср. к *номѣу* в берестяной грамоте № 10 второй половины XIV в., ср. в той же грамоте *межѣу новѣмъ* и *землею*.

В тех говорах, в которых после падения редуцированных последовательно развивается корреляция мягких и твердых согласных (например, в ростово-суздальских и, видимо, в части новгородских), палатальные согласные функционально объединяются с мягкими (в случае палатальных сонорных это приводит к совпадению их с соответствующими мягкими сонорными, § 7.7). Отсюда переход /е/ в /о/, который раньше осуществлялся в позиции после палатальных, распространяется здесь на позицию после мягких. При этом переосмысляются и самые условия этого перехода: раньше он осуществлялся перед непередним гласным последующего слога, теперь, когда слабые редуцированные пали, те же условия обобщаются как положение перед твердым согласным. Таким образом, переход /е/ в /о/ в этих говорах имеет место после мягкого согласного перед твердым, причем в одних говорах он осуществляется безотносительно к ударению ([s'olo] «село»), а в других лишь под ударением ([s'ol] «сёл»). В тех говорах, где корреляция твердых и мягких не была проведена последовательно (такова, например, основная масса украинских говоров), палатальные не объединяются в один класс с мягкими, и поэтому на положение после мягких переход /е/ в /о/ не распространяется.

Переход /е/ в /о/ не отразился на русском книжном произношении. Отсюда возникает один из основных фонетических признаков, противопоставляющих церковнославянскую и русскую (украинскую, белорусскую) разговорную речь. По этому признаку могут определяться славянизмы в современном литературном языке, которые в ряде случаев семантически противопоставлены русизмам, ср. такие пары, как *надеж* — *надѣж*, *небо* — *нёбо*. Отсутствие перехода /е/ в /о/ в соответствующих фонетических условиях воспринимается как специфический признак книжности. Этим обусловлено его распространение уже в относительно недавнее время. Так, еще в XIX в. в литературной разговорной речи были приняты формы *нёбо*, *лёв*, *совре́мненный*; тем самым, семантическое противопоставление *небо* — *нёбо* представляет собой инновацию.

Характерно в этом плане современное ненормативное произношение *афе́ра*, *бле́ф* (нормативным является произношение *афе́ра*, *бле́ф*, которое отвечает исходной фонетической форме этих слов): будучи связаны с низким, вульгарным содержанием, слова эти никак не ассоциируются с абстрактной или высокой лексикой, как

это характерно для славянизмов в современном русском языке, — и, соответственно, оформляются как специфические русизмы. Такого рода формы могут рассматриваться, таким образом, как гиперрусизмы (см. Успенский, 1995а/1997, с. 129–130).

§ 8.2.6. Отражение второй палатализации. Вторая палатализация имела место не во всех восточнославянских говорах; незатронутыми ею остались говоры новгородско-псковского ареала (Зализняк, 1982). Для этого ареала, соответственно, были противопоставлены книжные формы типа *цѣлый, Лоуцѣ, на брѣзѣ* и т.д. и разговорные формы типа *кѣлый, Лоукѣ, на берегѣ* и т.д. Формы второго рода последовательно представлены в берестяных грамотах, встречающиеся здесь иногда случаи отражения второй палатализации объясняются исключительно как результат церковнославянского влияния.

В великорусских говорах, отразивших вторую палатализацию, в формах словоизменения имеет место процесс аналогического выравнивания, при котором уничтожается возникшее в результате второй палатализации чередование заднеязычных со свистящими (*руцѣ* → *рукѣ*, *друзи* → *други*, *послуси* → *послухи* и т.п.). Этот процесс отражается в некнижных памятниках с XIV в. Поскольку церковнославянский язык этому процессу не подвержен, образуется целый ряд новых противопоставлений церковнославянских и русских парадигм. Следует отметить, что в украинских и белорусских говорах подобного выравнивания не происходило.

Отсутствие эффекта второй палатализации в говорах новгородско-псковского ареала следует отличать от случаев сохранения /sk'/ перед гласными переднего ряда, которое, как мы уже отмечали, имеет наддиалектный характер (§ 8.1.8).

§ 8.2.7. Неразличение аффрикат (цоканье). Для северо-запада восточнославянской территории (новгородско-псковские, смоленско-полоцкие и тверские говоры) было характерно неразличение аффрикат, т.е. совпадение рефлексов *с и *ѣ в одном согласном (цоканье). Соответственно, в некнижных текстах, написанных на этой территории, наблюдается смешение букв *ц* и *ч*. В книжных текстах также может наблюдаться такое смешение, хотя здесь оно явно противоречит орфографической норме и несомненно должно рассматриваться как ошибка писца. Об этом определенно свидетельствуют встречающиеся в ряде памятников исправления, ср., например, в Стихираре XII в. (ГИМ, Син. 279) исправления *моуѣннице* на *моуѣннице* (зват. ед. муж., л. 41 об.), *вѣньца* на *вѣньча* (аор. 3 ед., л. 104 об.), в Минее XII в. (ГИМ, Син. 161) *творьча* на *творьца* (род. ед., л. 61) (ср. подробнее: Живов, 1984, с. 266).

Для того чтобы соблюсти орфографическую норму, предполагающую этимологически правильное написание *ц* и *ч*, носитель цокающего говора должен был, очевидно, прибегать к искусственным орфографическим правилам. На природу этих правил указывает характер ошибок, чаще всего совершаемых книжным писцом. Анализ случаев смещения *ц* и *ч* показывает, что оно преимущественно встречается после букв *ь* и *и*, т.е. в позиции, где были условия для третьей палатализации. В этой позиции на месте **с* может появляться *ч* (когда, например, пишут *лнча* вместо *лнца*, род. ед.), а на месте **ѣ* может появляться *ц* (когда, например, пишут *съконьца* вместо *съконьча*, аор. 2/3 ед.). Так, например, в первом почерке новгородской ноябрьской Минеи начала XII в. (ГИМ, Син. 161) всего сделано 47 ошибок (что составляет 1,7% от числа всех написаний аффрикат), из них 44 относятся к указанной выше категории и всего лишь 3 ошибки — к другим случаям. Такого рода распределение ошибок может быть отмечено и в целом ряде других новгородских рукописей. Как видим, писцы легко справлялись с правильным написанием в случае рефлексов второй палатализации и в случае рефлексов **ѣ*, находящихся не после букв *ь* и *и*. Исходя из этого, можно реконструировать правила, которыми руководствовался новгородский книжный писец. Поскольку на новгородско-псковской территории вторая палатализация не проходила и книжным формам с *ц*, отражающим вторую палатализацию, здесь соответствовали разговорные формы с /*k'*/, писец мог применять правило: «Если в разговорном языке слышится [*k'*], то в книжном письме пишется *ц*». Столь же просто регулировалось и написание аффрикаты не после букв *ь* и *и*, здесь могли стоять только рефлексы **ѣ*, т.е. писец мог применять правило: «Если в разговорном языке слышится аффриката, а предыдущая буква не *ь* или *и*, в книжном письме пишется *ч*». Сложнее обстояло дело с позицией после букв *ь* и *и*: аффриката, которая слышалась в соответствующих формах разговорного языка, могла быть как рефлексом **ѣ*, так и рефлексом **с* (в результате третьей палатализации). Чтобы соблюсти здесь орфографическую норму, писец должен был пользоваться грамматической характеристикой форм *и*, понятно, мог при этом делать большое число ошибок (см. подробнее: Живов, 1984). В принципе правила, использующие и грамматическую информацию, могли обеспечивать полное соблюдение орфографической нормы: есть целый ряд памятников, написанных, возможно, в Новгороде, в которых цоканье не отражается вообще (Остр. ев. 1056–1057 гг., Мстисл. ев. начала XII в., Юрьев. ев. около 1120 г. и т.д.). На другом полюсе лежат памятники, написанные недостаточно грамотными писцами. Процент ошибок может до-

стигать здесь 20% всех написаний аффрикат (как это имеет место, например, в Стихираре 1157 г., ГИМ, Син. 589).

Остается неясным, каким было книжное произношение аффрикат на цокающей территории, т.е. допускалось ли в книжном произношении их неразличение или же оно было присуще только произношению разговорному. Если неразличение аффрикат было присуще лишь разговорному произношению, то книжное различение аффрикат должно было опираться на орфографию, тогда как орфография основывалась на описанных выше правилах. Если же цоканье было свойственно и книжному произношению, то этимологически правильное написание *ц* и *ч* оказывалось чистой орфографической условностью (подобной этимологически правильному написанию *ъ* и *о* или *ь* и *е*, ср. § 7.5.4).

§ 8.2.8. Неразличение шипящих и свистящих. Для псковской территории характерно неразличение шипящих и свистящих: и *š, *ž, и *s, *z давали здесь одинаковые рефлексy, а именно, мягкие шепелявые [šʲ], [žʲ]. Соответственно, в псковских памятниках (которые фиксируются с XIV в.) мы наблюдаем смешение букв *ш* и *с*, *ж* и *з*. Так, например, в Псковском прологе 1383 г. (РГАДА, ф. 381, № 172) встречаем *помѣсати* вместо *помѣшати*, *зѣлаше* вместо *желаше*, в *затвѣ* вместо *жатвѣ*, *жимоу* вместо *зимоу*, до *шего дне* вместо до *сего дне* (Борковский и Кузнецов, 1965, с. 95; см. также: Соболевский, 1884, с. 128). Подобные написания должны рассматриваться как отклонения от нормы, обусловленные влиянием живого произношения, противопоставленного здесь произношению книжному.

§ 8.2.9. Аканье и яканье. Ярким признаком русского диалектного произношения, противопоставленного книжному церковнославянскому произношению и отражающегося в церковнославянских памятниках лишь в виде спорадического отклонения от нормы, является аканье. Отражение аканья отмечается в текстах с XIV в. (см. Соболевский, 1907, с. 76–78; Соболевский, 1884, с. 130, 137, 142; ср. Борковский и Кузнецов, 1965, с. 146). Впрочем, наиболее ранний из приводимых обычно примеров — *въ апустѣвшини зѣман* из записи на написанном в Москве Сийском евангелии 1339 г. — не свидетельствует об аканье (Зализняк, 1993, с. 262; ср. Дурново, 1924, с. 187); ср., вместе с тем, отражение аканья в новгородской берестяной грамоте № 580 середины XIV в.: *въ Здарѣвек* «в [деревне] Здоровье», где речь идет о названии деревни, находящейся ныне в акающей зоне (Зализняк, 1995, с. 60, 453). По крайней мере с конца XIV в. аканье спорадически отражается и в церковнославянских текстах, см., например, в московском Еванге-

лии 1393 г. (ГПБ, Ф.п.1.18): *прикаснуся*, л. 45, *неновидяхуть*, л. 107 об., наряду с другими, менее надежными примерами (Соболевский, 1907, с. 77). Ср. в псковском Прологе 1383 г.: *того же лѣтѣ взяшь татари Маскву городъ на Руси* (РГАДА, ф. 381, № 172, л. 98 об.).

Относительно происхождения аканья существуют разные мнения. Одни ученые связывают этот процесс с падением редуцированных и соответственно относят его к концу XII или XIII в. (см. Боровский и Кузнецов, 1965, с. 149). Более вероятным представляется мнение, согласно которому аканье обусловлено балтийским субстратом и связано с тем, что индоевропейское **ā* переходило в **o* под ударением и не переходило в **o* в безударном положении (Шевелев, 1964, с. 386 сл.; Чекман, 1975; Лекомцева, 1978; Лекомцева, 1980). При такой гипотезе возникновение аканья относится к существенно более раннему времени, и в принципе не исключено, что книжное оканье в ряде диалектов противостояло разговорному аканью со времени появления литературного языка. То обстоятельство, что аканье сравнительно поздно отражается в памятниках, может объясняться тем, что до нас не дошли в сколько-нибудь широком объеме тексты, написанные на акающей территории.

Приблизительно так же обстоит дело с противопоставлением книжного произношения и разговорного яканья, которое также может объясняться либо как относительно поздний процесс, либо как явление, обусловленное балтийским субстратом. Отражение яканья встречается в новгородской берестяной грамоте № 528 второй половины XIV в. (Зализняк, 1995, с. 60, 485).

§ 8.3. Морфологические явления именного и местоименного склонения. Отличия книжного языка от некнижного в сфере именного и местоименного склонения ограничены лишь небольшим набором признаков. При этом необходимо отличать признаки, изначально специфичные для восточнославянских говоров, от тех признаков, которые развились в них позднее. Ряд явлений, развившихся в диалектах, никак не отразился в книжной норме, и это обусловило возникновение новых противопоставлений между книжным и разговорным языком. Тем не менее, вне определенного набора признаков, противопоставлявших книжный и некнижный язык (на них, видимо, книжники обращали специальное внимание), явления живого языка могли отражаться в книжных текстах. Нас, естественно, будут прежде всего интересовать признаки, на которых основывалась оппозиция книжного и некнижного языка.

§ 8.3.1. Перегруппировка типов склонения и ее последствия. Создание славянской книжной традиции относится к тому

периоду, когда во всех славянских диалектах шла перегруппировка типов склонения, поскольку типы основ не были уже актуальным для славянского языкового сознания принципом. Такая перегруппировка типов склонения происходит и в восточнославянских говорах. Поскольку для церковнославянского именного словоизменения нет четко фиксированной нормы, восточнославянские диалектные процессы могут отражаться и в церковнославянских памятниках, не обязательно выходя при этом за пределы книжной нормы. Однако в результате перегруппировки типов склонения в русском языке со временем появляются особые падежи (так называемые второй родительный и второй местный). Соответствующие формы с окончанием *-у/-ю* спорадически встречаются и в церковнославянских памятниках, ср. *отъ льноу* (Изб. 1073), *отъ бою* (Усп. сб. XII–XIII в.), *въ гноу* (Паремейник 1271 г.) и т.п. (Дурново, 1924, с. 272–273). Это явление сводится, однако, к окказиональному внесению в книжный текст отдельных форм, нарушающих книжную норму; самые категории второго родительного и второго местного в дальнейшем остаются полностью исключенными из книжного языка. Мы не будем специально останавливаться на других преобразованиях форм именного словоизменения (таких, например, как развитие род. мн. с окончанием *-ов/-ев* и т.п.), поскольку неясно, в какой мере они были актуальны для противопоставления книжного и некнижного языка; этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.

§ 8.3.2. Основы на *s. Падежные формы существительных ср. рода с основой на *-ес-* типа *тѣлесе, словесе, небесе* и т.п. являются специфически книжными, поскольку в живом русском языке им соответствуют формы с основой, равной основе им. падежа — *тѣла, неба, слова* и т.п. Вместе с тем, в рассматриваемый период эти последние формы допускаются в церковнославянских текстах (см., например, в Мин. 1095–1097); таким образом, если формы с основой на *-ес-* предстают как маркированные книжные формы, то противостоящие им формы с основой, равной основе им. падежа, по-видимому, не воспринимаются как некнижные.

В дальнейшем варианты формы *слова* ~ *словесе, словоу* ~ *словеси* и т.п. могут противопоставляться в церковнославянском языке по своему употреблению, а именно регламентируется особое склонение лексемы *слово* как обозначения Бога (второй ипостаси Троицы — «Бога Слова»), отличное от склонения той же лексемы в иных значениях (§ 12.5). Для рассматриваемого периода это противопоставление нехарактерно.

§ 8.3.3. Местоимения в дат. и местн. падеже ед. числа. Церковнославянским местоимениям *тѣбѣ, себѣ* соответствуют рус-

ские местоимения *тобѣ, собѣ*. Последние формы встречаются в церковнославянских памятниках, например, в первом почерке Изб. 1073, однако представляют собой отклонения от книжной нормы.

§ 8.3.4. Прилагательные в им. падеже ед. числа. Церковнославянским окончаниям прилагательного на *-ый, -ий* в русском языке соответствовали окончания с редуцированными, причем русские формы можно считать более архаическими, непосредственно сохраняющими структуру *добрѣ + и, синь + и* с основной формой краткого прилагательного. В результате прояснения редуцированных в сильной позиции в русском языке появляются окончания *-ой, -ей*, противопоставленные церковнославянским *-ый, -ий*. Написания с *-ой, -ей* отмечаются со второй половины XIII в.

На основании этого различия возникают семантические противопоставленные пары, такие как *чудный — чудной* и т.п. Показательно оформление слов *благий* «блаженный, святой» — *благой* «дурной, придурковатый», о которых мы уже говорили выше (§ 4.4). До начала XX в. эти слова противопоставлялись не только по окончанию, но и по фриктивному или взрывному произношению согласного, соответствующего букве *з*. Ср. запись Ломоносова в подготовительных материалах к «Российской грамматике»: «Благій (blahjī) — bonus. Благой (blagoi) — fatuus» (Ломоносов, VII, с. 619).

§ 8.3.5. Прилагательные в косвенных падежах. В русском языке парадигма прилагательного испытывает влияние местоименного склонения, в силу чего появляются соответствия:

	церковно-славянский	русский	ср. русское местоимение
род. ед.	-ым	-ѣ	тоѣ
жен. рода	(добрым)	(добрѣ)	
дат. и местн. ед.	-ѣи	-ои	тои
жен. рода	-ии (добрѣи)	-еи (добрѣи)	сеи
местн. ед.	-ѣ(е)мь	-омь	тамь
муж. и ср. родов	(добрѣ(е)мь)	(добрѣмь)	
род. и местн. дв. ч. всех родов	-ую (добрѣую)	-ою (добрѣою)	тою сею
род. ед. муж. и ср. родов	-ааго, -аго -яаго, -яго (добрѣаго)	-ого -его (добрѣого)	того

Следует отметить, что противопоставление церковнославянского *-аго* и русского *-ого* (род. ед.) появилось, по-видимому, не сразу. Еще в XI–XII вв. формы с *-аго* не были чужды живой речи, как это стало впоследствии, когда склонение членных прилагательных в русском языке полностью подчинилось влиянию склонения указательных местоимений. Позднее, с развитием в русских диалектах окончания *-ово* (*-ова*), формы с *-ого* могут фигурировать в церковнославянских текстах в качестве допустимых вариантов: окончания *-ого* и *-аго* объединяются в этом случае в противопоставлении маркированному книжному окончанию *-ово*.

Что касается окончания род. ед. жен. рода, то здесь следует отметить, что эти формы имеют то же происхождение, что и окончания существительных мягкой разновидности в род. ед. (*-ѣ*): в обоих случаях *ѣ* во флексии является отражением так называемого «третьего носового», называющегося также «носовым ятем». Тем не менее, если формы существительных на *-ѣ* допустимы в пределах книжной нормы (§ 7.11.2), то соответствующие формы местоимений и прилагательных явно выходят за рамки нормы. Русские формы встречаются уже в древнейших церковнославянских памятниках, однако всегда представляют собой отклонение от нормы, ср., например, в Арх. ев. 1092 г. *ѣтоѣ*. В начале слога */ѣ/* может переходить в */е/*, и соответственно вместо буквы *ѣ* может писаться *е*. Так, в Чуд. пс. XI в. мы встречаем: *ѣдиноу, ѣдинок, ѣразличных*.

§ 8.3.6. Некоторые диалектные особенности. Для древнейшего периода морфологические особенности отдельных восточнославянских диалектов почти не восстанавливаются. Это обусловлено прежде всего отсутствием книжных текстов древнейшего периода для большей части восточнославянской территории и позднейшими процессами перестройки морфологической системы, которая не дает возможности реконструировать древнейшее состояние, исходя из современных диалектологических данных. Особое положение занимает новгородская территория. Берестяные грамоты позволяют восстановить ряд особенностей морфологической системы древненовгородского диалекта. В именном склонении к таким особенностям относится окончание *-е* в им. ед. муж. твердой разновидности *о*-склонения; при этом в вин. ед. муж. твердой разновидности *о*-склонения окончанием является *-ѣ* — таким образом, формы им. и вин. ед. здесь не совпадают (им. ед. *хлѣбе* — вин. ед. *хлѣбѣ*). Окончанием род., дат., местн. ед., им., вин. мн., им., вин. дв. имен *а*-склонения является *-ѣ*; это же окончание и в местн. ед. имен *о*-склонения. Такие формы довольно последовательно представлены в древнейших берестяных грамотах XI–XII вв. Так, например, в грамоте № 247 XI в. читаем: «а замѣке кѣле а двѣри

кѣль» (т.е.: а замок цел, а двери целы); здесь замѣкѣ и кѣлѣ — это формы им. ед., а кѣлъ — форма им. дв. или мн. а-склонения (Зализняк, 1982, с. 61–62; Зализняк, 1984, с. 129 сл.). Такие формы могут встречаться и в новгородских пергаменных грамотах, ср. в грамоте Варлаама Хутынского, написанной между 1192 и 1210 г.: «Въдале Варламе...» (Зализняк и Янин, 1993, с. 186). Такие формы отражаются и в летописях, ср. в Погодинском списке I Псковской летописи такие формы им. ед., как городе, Иванке, дворе; род. ед. а-склонения, как ѿ римскаго папѣ, стѣго Николѣ (Каринский, 1909, с. 87). Книжная орфография не допускала таких форм, и в книжные тексты они проникают только как ошибочные написания, которые могут подвергаться исправлению, ср. в Мин. 1095 исправление видѣлѣ еси на видѣлъ еси (РГАДА, ф. 381, № 294, л. 32 об.).

Ср. любопытный пример обыгрывания книжной формы (с окончанием -а) и соответствующей разговорной (с окончанием -е): библейский рассказ о том, как Бог дает Авраму новос, высокое имя Авраам (Быт. XVII, 5), который в современной церковнославянской Библии читается как «и не наречется к томѹ има твое Аврамъ, но бѣдетъ има твое Авраамъ», в новгородском паремейнике первой половины XIV в. выглядит так: «и не наре[че]тсѣ к тому има твоѣ Авраме, но да бѣдетъ има твоѣ Аврамъ». Новгородский книжник вставил бытовую форму *Авраме* в книжный текст, представив весь эпизод как замену бытовой формы *Авраме* на книжную *Аврамъ* (Зализняк, 1995, с. 84).

§ 8.4. Морфологические явления глагольного словоизменения, не относящиеся к системе прошедших времен. Церковнославянский и русский языки противопоставлялись прежде всего в системе прошедших времен. Эти различия будут специально рассмотрены ниже (§ 8.7). Вне этих различий противопоставление церковнославянского и русского спряжения сосредоточено всего лишь на нескольких формальных признаках, на которых мы сейчас остановимся.

§ 8.4.1. Показатель инфинитива. Церковнославянскому показателю инфинитива *-ти* соответствует русский показатель *-ть*. В русских письменных памятниках инфинитивы на *-ть* засвидетельствованы с XI–XII в., древнейшие примеры в Арх. ев. 1092 г., Добрил. ев. 1164 г. (Соболевский, 1907, с. 165–166).

Необходимо отметить, что противопоставление церковнославянского окончания инфинитива *-ти* и русского *-ть* установилось не сразу: в новгородских берестяных грамотах до второй половины XIII в. представлены исключительно формы на *-ти*. В дальнейшем такое противопоставление становится достаточно отчетливым, хотя степень отчетливости оказывается разной в разных диалектных ус-

ловиях. Во всяком случае формы на *-ти* еще и в XVIII в. не были чужды разговорному языку: А. А. Барсов в грамматике 1783–1788 гг. рассматривает подобные формы как черту «городского выговора», который он противопоставляет при этом московскому произношению (Барсов, 1981, с. 592; ср. Успенский, 1984/1996, с. 384).

§ 8.4.2. Показатель 2 л. ед. числа наст. времени. Церковнославянскому показателю 2 л. ед. числа наст. времени *-ши* соответствует русский показатель *-шь*, который спорадически отражается в памятниках. В русских текстах (новгородских берестяных грамотах) окончание *-шь* фиксируется со второй половины XII в., в церковнославянских текстах — с XIII в. По мнению А. И. Соболевского (1907, с. 159), древнерусскому языку изначально было свойственно окончание *-шь* (аналогичное окончание представлено и во всех других славянских языках, исключение представляют лишь некоторые карпатские говоры — Дурново, 1924, с. 314). Вместе с тем окончание *-шь* ближе к формам других индоевропейских языков, чем старославянское окончание *-ши*. Тем не менее, ряд исследователей видит здесь результат эволюции *-ши* → *-шь*, которая, по их мнению, имела место в древнерусском языке. В пользу этого мнения свидетельствует материал берестяных грамот, по данным которых в XI–XII вв. формы на *-ши* были представлены в разговорном языке.

§ 8.4.3. Некоторые диалектные особенности: показатель 3 л. наст. времени. В ряде восточнославянских говоров в окончаниях 3 л. ед. и мн. числа наст. времени могло отсутствовать *-ть*. Это характерно, в частности, для новгородско-псковских говоров, и соответствующие формы широко представлены в новгородских берестяных грамотах, ср., например, в приведенной выше (§ 7.5.3) грамоте № 531 форму 3 л. мн. числа *соудуѣ* (ср. Зализняк, 1984, с. 147–150). Подобные формы встречаются и в записях и приписках к книжным текстам, например, в записи Остр. ев. 1056–1057 гг. (*напише*), в записи Мин. 1095 (*обраще*), в записи Мстисл. ев. начала XII в. (*вѣдак*). Рассматриваемое явление было, видимо, характерно и для южных восточнославянских говоров (ср. соответствующие глагольные формы в современных украинских диалектах); поэтому в качестве отступления от нормы они могут употребляться и в церковнославянских памятниках южного происхождения, ср. в Изб. 1073 к, *бжде*, *нарицак*, *бывак*, *боли*, *соу*; в Изб. 1076 к, *соу*; в Арх. ев. 1092 г. к, *приде* и т.п. (Соболевский, 1907, с. 249; Дурново, 1924, с. 316). Таким образом, формы 3 л. наст. времени без *-ть* весьма широко представлены в восточнославянских говорах. Вместе с тем нельзя думать, что это явление было повсеместным: окончание *-ть* в этих формах наблюдается в современных говорах, и нет

оснований считать это инновацией, поскольку оно соответствует общеславянскому *-тъ (§ 7.11.5). То обстоятельство, что русские писцы последовательно заменяли южнослав. -тъ в формах 3 л. на рус. церковнослав. -ть, объясняется, видимо, не ориентацией на те говоры, где законсервировалось это окончание, а ориентацией на архаическое состояние языка: можно думать, что утрата конечного -тъ была относительно недавним процессом и формы с -тъ сохранялись в пассивной памяти языкового коллектива. Следует иметь в виду, что формы 3 л. наст. времени без -тъ были свойственны и южнославянским диалектам и окказионально могли встречаться в старославянских памятниках (см., например: Вайан, 1952, с. 249), однако в русском контексте такие формы воспринимались как отступления от нормы, связанные с влиянием некнижного языка.

Утрату окончания -тъ в 3 л. наст. времени следует сопоставить с обратным процессом — наращением окончания -тъ в 3 л. имперфекта и аориста (§ 7.11.6; § 7.11.7). Появление -тъ в окончаниях имперфекта и аориста, которые представляют собой специфически книжные категории, может в какой-то степени объясняться отталкиванием от живого языка (этому способствует, видимо, тенденция к разграничению омонимичных форм 2 и 3 л. ед. числа аориста и имперфекта, ср. § 8.7.3).

Отсутствие показателя -тъ в окончании 3 л. в живом языке является, видимо, причиной наблюдающегося в ряде памятников появления -ти вместо -тъ в формах 3 л. Так, в псковской Палее 1494 г. (ГБЛ, ф. 256, № 453) находим: «Дѣша оубо члѣка силоу прѣати ѿ бѣа дѣновѣа и животворить и править» (л. 44 об.), ср. между тем тот же текст в псковской Палее 1477 г. (ГИМ, Син. 210): «... силѣ приѣ^т... и животворить и править» (л. 50 об.); в Палее 1494 г.: «Ничто* смысли-ти... члѣкъ тѣ^т» (л. 2 об.; в Палее 1477 г. смыслить); в Палее 1494 г.: «Егда же ли оузрити ѿца или мѣръ великъ вопль испоущае^т» (л. 51; в Палее 1477 г. оузритъ), ср. еще другие примеры у Каринского (1909, с. 40). Появление -ти на месте -тъ имеет явно гиперкорректный характер и обусловлено двумя факторами: с одной стороны, отсутствием в живом языке показателя -тъ в 3 л. наст. времени, с другой же стороны, соответствием книжного -ти некнижному -тъ в окончании инфинитива (§ 8.4.1). В перспективе разговорного языка показатели -ти и -тъ объединяются, поскольку в разговорном языке в формах наст. времени окончание -тъ утрачено; при этом -ти воспринимается как специфически книжный вариант окончания -тъ, что и побуждает перенести этот показатель из форм инфинитива в формы 3 л. наст. времени.

§ 8.5. Морфологические признаки причастий.

Церковнославянские и русские причастия с самого начала отличались рядом формальных признаков. В ходе развития русского языка целый ряд причастных форм вышел из употребления, в то время как другие изменили свою функцию и стали употребляться как деепричастия (*бегаючи, будучи*) или как перфектные личные формы (*он пришедши*). Тем самым употребление причастий становится одним из самых ярких признаков книжности. Сейчас мы остановимся на некоторых формальных отличиях церковнославянских и русских причастий.

§ 8.5.1. Причастия наст. времени действит. залога. Церковнославянские причастия на *-ы* (наст. времени действит. залога в им. падеже ед. числа муж. и ср. рода), образованные от глаголов с основой на твердый согласный, типа *несы*, соответствуют русским причастиям на *-а* типа *неса*. Это соответствие отражает противопоставление южной и северной диалектной зоны славянского языкового ареала: формы на *-ы* — южнославянского происхождения, тогда как соответствующие формы на *-а* объединяют восточнославянские и западнославянские диалекты. Исследователи расходятся в толковании этого явления. Одни исследователи рассматривают флексию *-у/* (соответствующую написанию *-ы*) как единственно возможный рефлекс праславянской флексии *-*onts*; соответственно, они видят в древнерусских формах типа *неса* результат аналогического влияния со стороны основ на мягкий согласный, трактуя эти формы как генетически тождественные южнославянским причастиям на *-а/*.

/а/ — носовая гласная, являвшаяся в южнославянских диалектах в им. падеже муж. и ср. рода причастий наст. времени с основой на твердые и передававшаяся частью особой буквой Ѣ — при том, что глаголическое Ѣ равняется Ѧ (в кириллической транслитерации эта буква обычно изображается как Ѧ), — частью безразлично буквами ж и ѧ; см. об этом звуке: Селищев, II, с. 187. Щепкин видел в этой глаголической букве звук [ɛ], т.е. звуковое обозначение Ѧ, без предшествующей мягкости (Щепкин, 1901, с. 89 сл.).

Другие исследователи считают флексию *-а/* исконной для северной диалектной зоны, а не сменившей здесь древнюю *-у/*. В любом случае причастия на *-а* представляют собой несомненные русизмы, которые отразились в некоторых пословицах и идиомах, ср. *како мога* («непременно, чрезвычайно, как можно, всеми силами»), *кто кого мога, тот того в рога*. Современный русский язык не знает причастных форм ни на *-ы*, ни на *-а*, при том что в древнерусской деловой письменности формы на *-а* встречаются

достаточно часто; напротив, соответствующие формы на *-ы* здесь практически отсутствуют (Соболевский, 1907, с. 164–165, 259–260; ср. Шахматов, 1957, с. 136–138).

В русских церковнославянских текстах, наряду с формами на *-ы*, встречаются и формы на *-а* (Изб. 1073; Мин. 1095–1097; Добрил. ев. 1164 г.; Выголекс. сб. XII в.; Усп. сб. XII–XIII в.), причем статус этих форм оказывается различным в разных памятниках: если формы на *-ы* являются маркированными книжными формами, то соответствующие формы на *-а* могут осмысляться либо как не книжные (в этом случае противопоставление строится по принципу эквиполентной оппозиции), либо как нейтральные (в этом случае противопоставление строится по принципу привативной оппозиции). Та или иная трактовка причастных форм на *-а* могла зависеть от диалектных условий: в некоторых диалектных зонах достаточно рано формы на *-а* сменились формами, образованными по аналогии с основами на мягкий согласный, и в текстах XII–XIV вв. наряду с формами типа *жива* встречаются формы типа *жива* (Гиппиус, 1990, с. 59–60). В таких условиях формы на *-а* могли восприниматься как книжные формы, будучи противопоставлены формам на *-я* живой диалектной речи; при этом формы на *-а* могли объединяться с формами на *-ы* или даже вытеснять эти последние.

Рассматриваемое противопоставление в принципе проявляется в кратких формах причастий. Если южнославянские краткие формы на *-ы* находили соответствие в живой русской речи XI–XII вв. в виде форм на *-а*, то для полных форм такого соответствия не было: полные формы с начала письменной эпохи были принадлежностью книжного языка, и потому единственно возможной для них была южнославянская флексия *-и* (Гиппиус, 1990, с. 59). Характерным образом в русских церковнославянских памятниках можно встретить искусственные формы на *-аи* типа *живаи*, *могаи* и т.п., обнаруживающие механизм порождения текста: в подобных случаях, вместо того чтобы использовать готовую церковнославянскую форму полного причастия, книжник искусственно создает ее, исходя из формы живой речи (Ларин, 1975, с. 61).

§ 8.5.2. Причастия прош. времени действ. залога.

Причастия прош. времени действ. залога на *-ъ* из *jъ от глаголов с основой на *-і* типа *любь*, *хваль*, *моль* являются специфически книжными формами, отсутствующими в живом языке. В русском языке им соответствовали причастные формы на *-ивъ* типа *любивъ*, *хваливъ*, *моливъ*. Следует, однако, иметь в виду, что формы на *-ивъ* не являются специфически разговорными, поскольку они возможны и в церковнославянском языке; они встречаются и в старославян-

ских памятниках (в Супр. рукописи это нормальное явление — Лант, 1974, с. 93). Таким образом, причастные формы на -ѣ маркированы как книжные.

§ 8.5.3. Упрощение причастных форм. В рассматриваемый период в причастных формах типа *могль, неклъ* происходит упрощение сочетания согласного с плавным, ставшего конечным в результате падения редуцированных в конце слова. Старые формы остаются, однако, в церковнославянском языке. Этот процесс отражается в памятниках с XIII—XIV вв. (Соболевский, 1907, с. 113).

§ 8.6. Утрата некоторых грамматических категорий (не относящихся к системе прошедших времен). В истории русского языка происходит утрата ряда категорий. Соответственно, употребление этих категорий становится специфической характеристикой церковнославянского языка, противопоставляющей его языку некнижному.

§ 8.6.1. Утрата дв. числа. В русском языке исчезает категория дв. числа, что отражается в памятниках начиная с XIII в. (Дурново, 1924, с. 265). Это относится как к формам имени и местоимения, так и к согласуемым с ними глагольным формам. Замена дв. числа на мн. число для церковнославянских памятников рассматриваемого периода не характерна.

§ 8.6.2. Утрата зват. формы. В великорусских говорах утрачивается славянская зват. форма. Этот процесс спорадически отражается в церковнославянских памятниках — в качестве отступления от нормы (ср. Соболевский, 1907, с. 190—191). Вместе с тем процесс утраты зват. формы был медленным: в новгородском диалекте эта форма могла сохраняться во всяком случае до XIV в.

§ 8.6.3. Утрата супина. В ряде восточнославянских диалектов утрачивается супин. Следует отметить между тем, что правильное употребление супина наблюдается в новгородских, смоленских и западнорусских некнижных текстах (грамотах) еще в XIV в. (Соболевский, 1907, с. 257—258; ср., вместе с тем, примеры утраты супина в списке I Новгородской летописи второй половины XIII в.: Зализняк, 1995, с. 193). Неясно, насколько обязательной категорией был супин в церковнославянском языке, он может заменяться инфинитивом или свободно варьировать с ним уже в самых ранних текстах (см. в Остр. ев.: *идѣ оуготовати мѣсто вамъ*, л. 45в, *посъла... призъвати*, л. 80в, *не придохъ разорити нѣ напѣл'нѣти*, л. 213б; Изб. 1073: *придѣяхоу иноплеменици почръпати*, л. 257; Юрьев. ев.: *не придохъ положити мира*, л. 41). При этом если в формах инфи-

нитива могут варьироваться окончания *-ти* и *-ть* (§ 8.4.1), то в формах супина варьируются окончания *-тъ* и *-ть* — таким образом, окончание на *-ть* оказывается общим для инфинитива и супина, в этом случае их формы совпадают. По-видимому, несмотря на утрату супина в ряде восточнославянских говоров, его употребление не становится специфическим признаком книжности.

§ 8.7. Система прошедших времен. Наиболее существенное различие между церковнославянским и русским языком наблюдается в системе прошедших времен, и это заставляет специально остановиться на данном вопросе. Именно здесь образуются наиболее значимые признаки книжного языка, так что употребление таких форм, как аорист или имперфект, может однозначно свидетельствовать о церковнославянском характере текста, сколь бы сильной ни была его русификация по другим признакам.

§ 8.7.1. Употребление аориста и имперфекта. Можно полагать, что такие категории, как имперфект и, вероятно, аорист, отсутствовали в русском языке уже в период первого южнославянского влияния. Во всяком случае, эти формы почти не засвидетельствованы в тех текстах, по которым мы могли бы судить о разговорной речи. Формы имперфекта, как правило, отсутствуют в грамотах, что же касается форм аориста, то они встречаются в них чрезвычайно редко. Так, по подсчетам Ц. Г. Янакиевой, обследовавшей тексты 85 грамот на пергаменте и бересте и текст Русской Правды пространной редакции по древнейшему списку, из 364 форм прошедшего времени 331 форма приходится на перфект, 24 — на аорист и 9 — на плюсквамперфект (Янакиева, 1977, с. 6). О единичных формах аориста и имперфекта, которые встречаются в новгородских берестяных грамотах, будет сказано ниже.

Место аориста в грамотах и Русской Правде, как правило, бывает занято формами перфекта (со связкой или без нее). Так, например, в Мстисл. грамоте около 1130 г. нет ни одной формы аориста, но вместо аориста последовательно употребляются формы перфекта (как мы увидим, эти формы не имеют в русских текстах обязательного перфектного значения — тем самым, термин «перфект» употребляется условно). Такое положение типично и для других грамот. Ср. преамбулу Смоленской грамоты 1229 г., где рассказывается об обстоятельствах заключения договора между Смоленском и Ливонским орденом: «...*хздумалъ* князь смольнескый Мьстиславъ Дбѣвь бнѣ *прислалъ* въ Ригу своего лоучышего попа Юрьмея и съ нимъ оумьна моужа Пантелья... Та два *была* послѣмъ оу Ризѣ, из Ригы *ехали* на Гочкыи берѣго тамо твердити

миръ... Пре сеи миръ *троудили* сѧ дѣбрии людикѧ» (Смоленские грамоты, с. 20–21). Совершенно ясно, что глагольные формы обозначают здесь не действие, сохраняющее свое значение в настоящем — тогда был бы оправдан перфект, — но ряд последовательных действий в прошлом: это типичный случай аористного значения. То, что они передаются формами перфекта, свидетельствует как о несвойственности аориста живой речи, так и о том, что формы перфекта не имели в живом языке ограниченного перфектного значения (ср. Горшкова и Хабургаев, 1981, с. 307). Аналогичным образом, формы перфекта имеют аористное значение в новгородской берестяной грамоте № 531 (XII–XIII вв.): «Како еси возложило пороукоу на мою сестроу и на доцере еи назовало еси сѣтроу мою коровоу и доцере бладею. А нынеча Ѡедо прѣхаво, оуслышаво то слово и *выгонало* сѣтроу мою и хотело потати». Если в последней фразе форма перфекта оправдана, поскольку имеет перфектное значение (оно соотносится с настоящим временем), то в первой фразе те же формы перфекта имеют аористное значение. В самом деле, речь идет о действиях, относящихся к предыстории тяжбы. См. еще примеры такого рода из новгородских берестяных грамот: Зализняк, 1995, с. 154–155, 298.

Вместе с тем формы аориста, хотя и редко, но встречающиеся в грамотах, могут иметь перфектное значение. Так, в договорной грамоте Александра Невского и новгородцев с немцами 1262–1263 гг. читаем: «Се азъ князь Ѡлександръ и сѣнъ мои Дмитрии с посадникомъ Михаилѣмъ и с тысяцкымъ Жирославомъ и съ всѣми новгородци *докончахомъ* миръ с посломъ нѣмьскымъ...» (Обнорский и Бархударов, I, с. 51). Текст явно требует формы перфекта, а не аориста, и форма аориста здесь — безусловно, дань книжной традиции. Функционирование форм аориста с перфектным значением свидетельствует о семантической недифференцированности форм аориста и перфекта.

Такое же употребление аористных форм с перфектным значением наблюдается и в летописи. Характерным образом оно может встречаться здесь в прямой речи, где формы аориста явно представляют собой результат искусственной славянизации не книжного текста; славянизация при этом касается лишь форм, а не значений, и поэтому аористные формы оказываются в неаористном значении: через оболочку книжных форм явно просвечивает разговорный субстрат. Так, в эпизоде с приходом древлян к Ольге Ольга обращается к древлянам со словами: «“Добри гостѣ придоша”, и рѣша деревляне: “Придохомъ княгине”» (ПСРЛ, I, стлб. 55). В обоих случаях в прямой речи аористные формы употреблены в значении перфекта, т.е. в том перфектном значении, в котором

мы сейчас говорим: «Гости пришли», или: «Вот, мы пришли» (ср. Кузнецов, 1953, с. 233; Исаченко, II, с. 362).

Не менее показательно употребление глагольных форм в рассказе Владимира Мономаха о своей жизни: «А се в Черниговѣ *дѣльхъ* ксмѣ конь диких своима рукама связалъ ксмѣ. въ пушахъ ·ѣ· и ·ѣ· живых конь. а кромѣ того иже по Рови ѣзда *ималъ* ксмѣ своима рукама тѣ же кони дикиѣ. тура ма ·ѣ· метала на розѣхъ и с конемъ. ѡлень ма ѡдинъ *болъ*. а ·ѣ· лоси ѡдинъ ногами *топталъ*. а други рогома *болъ*. вепрь ми на бедръ мечъ *ѡталъ*. медвѣдь ми у колѣна подъякла *оукусилъ*. лютыи звѣрь *скочилъ* ко мнѣ на бедра. и конь со мною *поверже*. и Бѣ неврежена ма *сблуде*. и с конѣ много *падах*. голову си *розбих* дважды. и руцѣ и нозѣ свои *вередих*. въ оуности своем *вередих* не блюда живота своего. ни щадѣ головы своеѣ» (ПСРЛ, I, стлб. 251). Мы видим, что перфектные и аористные формы употреблены здесь без всякой попытки их семантической дифференциации. С помощью перфектных форм описывается последовательность действий в прошлом, т.е. перфектные формы употребляются в типичном аористном значении. Отдельные употребления аористных форм оказываются в этом контексте семантически немотивированными (ср. «лютыи звѣрь *скочилъ*... и... *поверже*...»). В отдельных случаях употребление аориста оказывается скорее мотивированным стилистически, как более книжной формы (ср. «Бѣ неврежена ма *сблуде*»). Все это указывает на отсутствие грамматического противопоставления аориста и перфекта в разговорном языке автора.

Редкий случай функционирования аориста с аористным значением в грамотах зарегистрирован в списке «В» готландской редакции смоленского договора 1229 г. (список 1297–1300 гг.): «того лѣѣ коли Альбрахтъ... оумерлъ... князь смоленьскѣи Мѣстиславъ... *присла* в Ригоу своего лоучышего попа...» (Смоленские грамоты, с. 25). Однако в более древних списках «А» и «С» той же готландской редакции, а также в списках рижской редакции (списки «Д», «Е», «F») употреблена форма перфекта: *прислалъ* или *послалъ*. Таким образом, форма аориста была, видимо, внесена переписчиком в силу тенденции к окнижнению текста договора; во всяком случае употребление формы перфекта с аористным значением гораздо более типично для языка деловой письменности, чем правильное употребление формы аориста (Янакиева, 1977, с. 12–13). В новгородских берестяных грамотах формы аориста, как и имперфекта, почти не встречаются (разумеется, речь не идет сейчас о грамотах с церковнославянским текстом). Исключение составляет лишь грамота № 605 конца XI — начала XII в., где представлены как форма аориста, так и форма имперфекта, а также грамота № 487 первой половины XII в. с тремя формами имперфекта; обе грамоты написаны, по-видимому, духовными лицами (Зализняк, 1995, с. 123–124, 247, 261). Формы

аориста встречаются и в более поздних грамотах, однако каждый раз объясняются особыми причинами. Такова, в частности, грамота № 46 (первой половины XIV в.), которая представляет собой зашифрованную школьную шутку: «Невъѣжа писа, недума каза, а хто се [ч]ита» (конец текста отсутствует, однако, основываясь на позднейшей школьной традиции — весьма устойчивой, — мы можем предположить, что далее следует нелестная характеристика того, кто читал). Эта надпись явно связана с процессом школьного обучения, и поэтому появление в ней церковнославянских форм никак не удивительно. Формы аориста можно встретить в грамотах в начале текста, во фразах типа *се купи, се заложи* и т.д. (см. в отношении новгородских берестяных грамот: Зализняк, 1995, с. 124; наиболее ранний из известных на сей день примеров — в грамоте № 842, XII в.), однако мы имеем здесь дело со стереотипными дипломатическими формами, способными сохранять архаизмы и испытывающими особую сильное книжное влияние, т.е. церковнославянские формы представляют собой здесь явление текста, а не языка (ср. § 5.4).

А. М. Селишев полагал, что нехарактерность форм аориста в деловом языке представляет собой не особенность системы этого языка, а особенность его содержания: так, в юридическом документе речь идет обычно об установлении факта, сохраняющего силу в момент создания документа, а потому он и должен быть выражен именно перфектом (Селишев, 1957/1968, с. 131–132). Однако это не всегда так: часто возникает необходимость изложить события, предшествующие возникновению данного дела, но и в этих случаях мы, как правило, не встречаем форм аориста (ср. приведенные примеры).

По мнению Л. П. Якубинского, аорист уже в XI в. выходит из употребления, сохраняясь, однако, в языке фольклора. В качестве типологической параллели Якубинский ссылается на употребление в современном французском языке форм *passé simple*, которые являются грамматическими признаками литературного языка, будучи невозможны в живой разговорной речи (Якубинский, 1953, с. 313–314). Ср.: «Аорист был не позднее XII в. (возможно, и раньше) оттеснен в сферу пассивного знания: в обыденной устной речи он уже не употреблялся — его заменял перфект, ставший уникальным выразителем прошедшего времени. Однако носители языка все еще без труда понимали аористы при чтении или слушании читаемого текста и правильно (с морфологической и семантической точки зрения) их употребляли, когда писали летописный или официальный текст. Аналогией здесь может служить статус *passé simple* (весьма близкого по функции к аористу) в современном французском языке; это время полностью отсутствует в разговорной речи, но свободно используется в литературных и сходных с ними текстах, не вызывая при этом трудности у читателя. Точно такой же статус имеет *passato remoto* (форма с той же самой функцией) в итальянском языке жителей северной Италии (в отличие от центральной и в особенности южной Италии, где эта форма свободно употребляется также и в живой речи)» (Зализняк, 1995, с. 155–156).

Взаимозаменяемость аориста и перфекта, обусловленная их семантической недифференцированностью, наглядно проявляется при сопоставлении разных списков летописного текста. Ср. в списках I Новгородской летописи:

бесѣдовавши, *рече* к неи;
А бои *бысть* мѣсяца февраля;
понеже бо *слышахомъ* от
отець своихъ;
а иное *помре* голодом

бесѣдова к неи, *рекъ*;
А бои сии *быль* мѣсяца февраля;
понеже *слышалъ есмь* от отецъ
своихъ;
а иное *помрѣло* голодом

(Лопушанская, 1975, с. 271–274).

В виду приведенных примеров то обстоятельство, что форма аориста изредка попадает — обычно в традиционных формулах — еще в грамотах XIV–XV вв. (новгородских, псковских и двинских — Дурново, 1924, с. 327; Соболевский, 1907, с. 235), не говорит о сохранении категории аориста в живом русском языке. Если аорист и был известен живому языку после появления письменности, то это относилось лишь к самому началу данного периода и при этом носители русского языка скорее всего владели формами аориста не активно, а пассивно.

На то обстоятельство, что в свое время аорист все же был в разговорном русском языке, могли бы указывать следы его в современном языке. Формы аориста в фольклоре весьма редки и объясняются непосредственным влиянием книжного языка, см. примеры аориста в былинах, сказках, пословицах и загадках: Шмелев, 1960, с. 86; в дополнение к приведенным здесь примерам сошлемся на употребление форм аориста в заговорах, ср.: «Прогнахъ и прогоняю Калуса, Пира, Маруса, Лурама, Рахана прогнахъ...» (Виноградов, II, с. 21), «встахомъ завтра и помолихсе Господу Богу и дьнище» (Афанасьев, I, с. 73). Формы аориста в современном литературном языке могут быть представлены в цитатах и клишированных выражениях, которые также должны быть отнесены на счет влияния книжного языка (таких, например, как *Христос воскрес, своя своих не позабав*, ср. также формы *умре, помре*, которые в разговорной речи получают шутивно-иронический смысл). Все эти формы — книжные по своему происхождению и, следовательно, не могут свидетельствовать о бытовании аориста в разговорной речи.

Более показательным в этом плане может быть употребление императивов в значении прош. времени, например, *брат и вскрики от боли, а он возьми и скажи* и т.п. По предположению Шахматова (1941а, с. 200–201), подобное употребление императивов «вызвано влиянием аориста» и обусловлено тем, что формы 2 и 3 л. аориста от ряда глаголов омонимически совпадали с формами повелит. наклонения 2 л. ед. числа (ср., например, *скачи, уступи, отложи, постави, прослави, увѣри, замѣти, побѣди, заложи, пусти* и т.п.).

Характерно при этом, что формы повелит. наклонения могут употребляться в условных предложениях типа *Случись он там, все было бы по-другому*. Такое употребление следует сопоставить с образованием древних форм сослагат. наклонения: причастие прош. времени на -л + форма аориста от глагола *быти*; к форме аориста от глагола *быти* в этой конструкции и восходит современная частица *бы*. То обстоятельство, что аорист принимал участие в образовании сослагат. наклонения, указывает, что в его синтаксические функции могло входить выражение условности в придаточном предложении. Отсюда, возможно, и объясняется употребление форм повелит. наклонения — если считать их генетически соотнесенными с формами аориста — в условном значении. Если согласиться с шахматовской трактовкой, связывающей повелит. наклонение в современном языке с аористом, следует полагать, что аорист был некогда свойствен разговорному языку; однако это могло быть в глубокой древности, и тот факт, что реликты аориста сохраняются в разговорной речи, никак не свидетельствует о новизне данных процессов. Во всяком случае, употребление форм повелит. наклонения и в значении прош. времени, и в значении условного наклонения известно и другим славянским языкам (Шахматов, 1941а, с. 200), и это заставляет предположить, что сближение семантики аориста и повелит. наклонения могло иметь место достаточно рано.

Другим случаем реликтового отражения аориста в современном разговорном языке, по мнению Шахматова, являются междометия, произведенные от глагольных основ, типа *хлоп*, *трах*, *бух* и т.п.; отмечая, что обычным значением таких междометий является значение прош. времени соверш. вида, Шахматов допускает их родство «с древними образованиями несигматического или частью и сигматического аориста» (Шахматов, 1941а, с. 6).

§ 8.7.2. Аномальные формы прошедших времен. О том, что формы аориста и имперфекта в рассматриваемый период отсутствовали в живом русском языке, могут свидетельствовать многочисленные неправильные образования этих форм, указывающие, что у писца не было возможности при употреблении этих форм опираться на соответствующие формы живого языка. Таким образом, возникали разнообразные загрязненные формы как аориста, так и имперфекта. Некоторые из этих форм были адаптированы книжной нормой. Так, формы аориста и имперфекта с окончанием *-тъ* в 3 л., перенесенным из парадигмы наст. времени, закрепились в церковнославянском языке русской редакции (§ 7.11.6; § 7.11.7). Если бы имперфект и аорист существовали в живой речи, такая контаминация была бы невозможна, поскольку правильное образование аориста и имперфекта должно было бы обеспечиваться в этом случае живым противопоставлением систем окончаний наст. времени и прошедших времен.

На исключительную принадлежность аориста и имперфекта к книжной речи указывают и случаи смешения окончаний аориста и имперфекта, наблюдающиеся по крайней мере с XIV в. Так, в 3 л. мн. числа аориста вместо окончания *-ша* нередко появляется окончание *-ше*, т.е. окончание 3 л. ед. числа имперфекта, ср., например, в новгородском Евангелии XIV в. (ГПБ, Ф.п.1.8, л. 1 об.) *придоша* и *позоваши*, ср. примеры у Соболевского (1907, с. 236). В менее явной форме смешение данных окончаний представлено уже в Тип. уставе XI–XII в., где в неотном тексте дана форма *оустоупаша*, а в соответствующем месте нотного текста — форма *остоупаше* (л. 49 об.—50); морфологическая вариация осложняется здесь вариацией лексической и может быть связана с переосмыслением текста. Уже к XV в. смешение окончаний *-ше* и *-ша* становится для некоторых текстов обычным явлением. Ср., например, в псковской Палее 1494 г. (ГБЛ, ф. 256, № 453): «ѡни плакашас[я] зань и глше емоу» (л. 58 об.), «моужи исхождаше» (л. 292), «но оумныма очима прозреше велиции патріарси» (л. 90 об.) и т.п. Н. М. Каринский, анализируя этот памятник, замечает: «Замена *е* через *а* и обратно в аористе и имперфекте настолько часто, что здесь не может быть и речи о случайных описках, а ясна орфографическая тенденция. Писец, видимо, даже не задавался мыслью о возможном отличии данных форм» (Каринский, 1909, с. 14). Аналогичные примеры приводит Н. М. Каринский и из других псковских памятников XIV–XVI вв., ср. в Евангелии Типографской библиотеки второй половины XIV в. (РГАДА, ф. 381, № 18) *свинны бѣжаше* (л. 61), *прѣѣхаша* (3 ед., л. 60 об.), в Палее 1477 г. (ГИМ, Син. 210) *хлѣби... каше похсан* (л. 262) и т.п. (Каринский, 1909, с. 49, 146, ср. еще с. 67, 80, 100–101, 114, 132). Ср. еще любопытный пример из II Новгородской летописи по списку XVII в.: «Садъ весь *изгорѣша*, овому тима [= тѣма] *изгорѣша*, а иному чрево *погорѣша*, иные въ воде *потопаше*»; в этом примере встречаем как окончание *-ша* вместо *-ше* в ед. числе, так и окончание *-ше* вместо *-ша* во мн. числе (см. Соболевский, 1907, с. 237); формы аориста на *-ше* при подлежащем во мн. числе очень часто встречаются и в югозападнорусских печатных изданиях Франциска Скорины (там же, с. 236) — таким образом, это явление достаточно широко распространено и отнюдь не сводится к новгородско-псковской традиции. Знаменателен в этом смысле упрек инок Савватия в его челобитной 1660-х годов в адрес никоновских спрашчиков: «А въ 98м псалмѣ гла Дѣлъ от лица Моисеова и Аронова и Самуилова к лицу же Бѣію множественною рѣчью: яко *бываше* имъ мѣтивъ... А нѣнѣ напечатали единьственнойю рѣчью: *бываль еси* имъ мѣтивъ» (ГИМ, Увар. № 497/102, л. 8 об.; Три челобитные, с. 27). По всей видимости, Савватий отождествляет формы *бываше*

и *бываша*, т.е. трактует 3 л. ед. числа имперфекта как 3 л. мн. числа аориста.

Окончание *-ша* sporadически встречается и в других лицах, ср., например, в предисловии к печатному московскому Апостолу 1644 г.: «мы слухи наши *отвратиша*» (3 л. мн. числа аориста вместо 1 л. мн. числа).

Совершенно так же могут смешиваться окончания 1 л. ед. числа аориста (*-хъ*) и 3 л. мн. числа имперфекта (*-ху*). Наиболее ранний из известных случаев такого смешения представлен в московском Евангелии 1393 г. (ГПБ, Ф.п.1.18, л. 93): «послании *обрѣтохъ* болящаго раба ищѣливша» (Соболевский, 1907, с. 237). Равным образом в упоминавшейся уже псковской Палее 1494 г. читаем: «не азъ *предстоихоу*» (л. 120 об.), «апли издалеча *зрахъ* и ко гробоу *идохъ*» (л. 107), «се азъ *стоихоу*» (л. 46 об.), «вси ѿко Бѣ *чтахъ* златица» (л. 117) (Каринский, 1909, с. 6).

Окончание *-ху* sporadически встречается и в других лицах; так, в Житии Геннадия Костромского XVI в. (ГИМ, Син. 929) читаем: «мы на конехъ *яздоху*» (3 л. мн. числа имперфекта вместо 1 л. мн. числа), «а онъ никакоже *требовашу*» (3 л. мн. числа имперфекта вместо 3 л. ед. числа), ср. в то же время здесь же: «старецъ *сотвори хъ* молитву» (1 л. аориста вместо 3 л.) (Соболевский, 1907, с. 237).

Если смешение окончаний *-ше* и *-ша*, *-ху* и *-хъ* является более или менее устойчивой чертой ряда памятников, то смешение других окончаний аориста и имперфекта носит более или менее окказиональный характер. Тем не менее, и оно достаточно показательно, определенным образом свидетельствуя о статусе этих форм как признаков книжного текста: в каждом случае существенна их противопоставленность живому языку, а не их конкретное грамматическое значение. В дополнение к приводившимся примерам отметим еще в Повести о Карпе Сутулове: «Азъ *был* у друга своего Афанасия и *би* челом ему о тебе» (2/3 л. ед. числа аориста вместо 1 л. ед. числа) (Адрианова-Перетц, 1977, с. 90). Ср. такое же смешение в фольклоре, где сказочный герой говорит про себя: «Одним махом сто побивахом», — употребляя окончание 1 л. мн. числа аориста вместо 1 л. ед. числа (Афанасьев, 1957, № 432). Такая вариантность окончаний, основанная на безразличии к их грамматическому значению, могла, по-видимому, отражаться даже при чтении молитвы. В «Детстве» М. Горького (гл. IX) рассказывается, как его дед спорил с другим начетчиком о правильном тексте Покаянного канона: дед утверждал, что следует читать «согрешихом, беззаконовахом, неправдовахом», тогда как его оппонент настаивал на чтении «согресиша, беззаконоваша, неправдоваша», — как видим, устная традиция произнесения церковнославянского текста обна-

руживает те же явления, которые отражаются в письменных памятниках.

В дальнейшем, с появлением грамматик церковнославянского языка, смешение форм аориста и имперфекта (в одном и том же лице) может закрепляться в этих грамматиках в качестве нормы. Так, в «Донатусе» Дмитрия Герасимова (1522 г.) в «минувшем совершенном» и в «минувшем пресовершенном» времени формы аориста и имперфекта даются как варианты формы 3 л. мн. числа: «*учаху или учиша*», «*читаху, читаша*» (Ягич, 1896, с. 572, 575). Аналогично, в грамматике Зизания в «пресовершенном» времени в 3 л. мн. числа показаны варианты формы: *являху и являша* (Зизаний, 1596, л. 57 об.), в грамматике Смотрицкого в «прешедшем» времени в 3 л. мн. числа в качестве вариантов даны формы «*читаху или читаша*», а в «мимошедшем» времени — формы «*читаху или читааша*» (Смотрицкий, 1619, л. О/3; Смотрицкий, 1648, л. 190 об.—191 об.). Точно так же в грамматике Иустина Вишневого (конца XVIII в. — РГИА, ф. 834, оп. 3, № 3374, л. 136 об.) формы имперфекта и аориста даются как варианты как в 3 л. ед. числа («*трясе или трясоше*»), так и в 3 л. мн. числа («*трясоша или трясаху*»).

Равным образом аорист и имперфект могут смешиваться с причастиями; этому смешению может способствовать совпадение по форме аориста 2–3 л. ед. числа с окончанием *-тъ* и им. ед. муж. страдат. причастий, ср. формы типа *приятъ, нить* и т.п. Так, например, в списках I Новгородской летописи мы наблюдаем смешение имперфекта и причастных форм на *-вши*: в одном списке *бесѣдоваши к нимъ*, в другом — *побѣсѣдовавшие...*, в одном списке *говорящеть Новгороду*, в другом — *глаголавше...* (Лопушанская, 1975, с. 279). Аналогичным образом, в качестве замены имперфекта может выступать и причастие на *-ущ-*, *-ащ-*, ср. в разных списках той же летописи:

и събрачеся чернь, и
волочаху добрые мужи,
думающе с ними, кого
цесаря поставять

Новгородьци же много
моляхуся

и събрашася чернь, и
волнующеся добрыа мужи,
думающе с ними, кого
цесаремъ поставят

Новгородци же много
молящеся ему

(Лопушанская, 1975, с. 280).

В поздних текстах употребление причастий в функции личных форм получает иногда широкое распространение, ср. в переводе басен Эзопа Федора Гозвинского (XVII в.): «Лисица же неминующую беду видев, пришед ко лву, обещааяся предати ему осла на съядение» (Тарковский, 1975, с. 58–59); здесь в качестве личных

форм последовательно выступают одни причастия, и можно думать, что такое употребление обусловлено их изначальным смешением с формами аориста и имперфекта. Подобное же употребление причастий в функции личных глагольных форм находим и в сочинении Котошихина «О России...»; в церковнославянском фрагменте этого текста читаем: «Црю ж і великому кнѣзю Михаїлу Θεодоровичю от кроворазлитія хрстіанского успокоившуся правивше гбдрство свое тихо и блгополучно» (л. 5). Для поздних текстов такое употребление воспринимается, по-видимому, как разновидность нормы, допустимая в определенных жанрах книжной письменности. Вместе с тем чудовский инок Евфимий в сочинении о исправлении миней (1692 г.) отмечает это явление как типичное нарушение норм книжного языка: «Глаголи личніи во временехъ и лицехъ и начертаніихъ премного помѣшано, а индѣ причастіе мѣсто гла, индѣ глѣ мѣсто причастія» (Никольский, 1896, с. 114).

Прецеденты такого смешения можно найти уже в Тип. уставе XI–XII в., где в ненотном тексте находим причастную форму, тогда как в соответствующем месте нотного текста стоит форма аориста (в соответствии с греческим оригиналом), например, *ѡсѣтитъ* — *освати* (л. 55 об.), *ѡцѣлѣтъ* — *ѡцѣлѣтъ* (л. 74 об.–75), *сѣдѣтъ* — *сѣде* (л. 84 об.). В результате такого смешения могут появляться предложения без личных глаголов, ср. кондак на Рождество Богородицы: «Іоакимъ и Анна поношениѣ бещадѣи и Адамъ и Ева ис тѣхъ смъртѣныхъ избавѣшасѣ прѣчистѣмъ стѣимъ рожствѣмъ твоимъ и то прѣздноующе людиѣ твои вини грѣховъ избавитѣся выпіюще ти неплоды ражаѣтъ Бгю и питательницю жизни нашеѣ» (л. 26); в нотном тексте на месте причастной формы (дв. числа) *избавѣшасѣ* стоит форма аориста *избавѣшасѣ* (л. 26 об.).

Ассоциация причастных форм с формами аориста или имперфекта может отражаться даже в грамматических сочинениях. Так, в трактате «О множестве и о единстве» (по рукописи ГПБ, Соф. 318) говорится: «Вѣжд[ь] ж[е] и се, ꙗко еже реши *ста*, *добродѣтел'на*, *тѣрдна*, *жадна*, *алчна*, сѣи рѣчь настоѣща суѣща, а еже реши *алчюща онѣ* или *блѣвѣща* или *зрѣща* или *ѡбщающа* или *славаща*, сѣи рѣчь пребывѣща суѣща, сирѣчь издавна зрѣща и блѣвѣща и ѡбщающа и славаща. сѣице и прочѣя такова. множ[е]ственаѣ рѣчь мужскаго і женскаго імени сѣице *алчѣща ѡнѣ*, *блѣвѣща ѡнѣ*, *глаголюща ѡнѣ*, *зрѣща ѡнѣ*, *ѡбщающа* і *славаща ѡнѣ*, сѣи рѣчь множ[е]ствена і ѡбща суѣща всему» (Ягич, 1886, с. 435). Автор этого рассуждения противопоставляет прилагательные и причастия, приписывая причастным формам специальное значение прошедшего времени; он явно исходит при этом из сходства причастного окончания *-ща* (во мн. числе *-ща*) — соответствующее окончание, по-видимому, воспринимается им как основное, исходное для форм причастий — и аористного окончания *-ша*.

Не менее показателен трактат «Книга глаголема буквы грамматичнаго учения», где утверждается, что формы *бѣ* и *бѣаше* различаются по роду подобно тому, как различаются по роду формы причастий, а именно форма *бѣ* считается формой муж. рода, форма *бѣаше* — формой жен. рода: «Различіе рѣчей мужских от женских; *бѣ* — муж[ска], *бѣаше* — женска. *блгодаря*, *блгодарящи*. *брана*, *бранищи*. *боас[а]*, *боащиса*. *бораса*, *борющиса*. *бѣгал*, *бѣгающи*» (ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 28–28 об.). Итак, автор отождествляет книжные претеритные формы с причастными формами, ассоциируя их именно по признаку книжности и перенося на личные формы те различия, которые имеются в причастиях: аористная форма *бѣ* воспринимается как причастная форма типа *благодаря*, а имперфектная форма *бѣаше* — как причастная форма типа *благодарящи*.

Разные типы смешения, которые были разобраны выше, а именно смешение форм аориста и имперфекта, смешение форм в рамках парадигм этих времен, смешение простых прошедших времен с причастиями, — свидетельствуют об отталкивании от живого русского языка как принципе построения церковнославянского текста: в перспективе русского языка все эти формы объединяются по признаку книжности. То обстоятельство, что у русского прош. времени нет различения по лицу, способствует, в частности, неразличению личных показателей в рамках парадигмы аориста или имперфекта. Что касается неразличения по числу, оно объясняется фонетической ассоциацией окончаний *-ша* и *-ше*, с одной стороны, *-хъ* и *-ху*, с другой.

§ 8.7.3. Введение перфектных форм в парадигмы аориста и имперфекта: грамматическая традиция. Как было показано, формы аориста и перфекта могут употребляться в одном и том же значении, выступая как варианты способы выражения прош. времени. Между тем различия аориста и имперфекта оформляются как видовые различия. Поэтому для аориста и имперфекта создаются противопоставленные возможности вариации: если аорист варьируется с перфектом типа *дал есть*, то имперфект варьируется с перфектом типа *давал есть*.

Таким образом, в плане содержания внутри прош. времени имеет место противопоставление по виду: церковнославянский язык испытывает здесь влияние русского не книжного языка. В плане выражения каждому из членов видовой оппозиции соответствует не один, а два набора средств выражения, т.е. соверш. вид выражается формами аориста и формами перфекта типа *дал есть*, а несоверш. вид выражается формами имперфекта и формами перфекта типа *давал есть*. Тем самым для каждого из значений образуются две параллельные парадигмы, дублирующие друг друга. В обоих случаях

при этом «перфектная» парадигма (имеется в виду «перфектность» в плане выражения, а не в плане содержания, т.е. формы на *-л* или, иначе говоря, *л*-перифраза со связкой или без нее) выступает как более близкая к разговорной речи, тогда как парадигмы аориста или имперфекта выступают как специфически книжные. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что «перфектная» парадигма ассоциируется с формами прош. времени разговорной речи (т.е. с теми же формами на *-л*, но без связки), с другой же стороны, тем, что формы аориста и имперфекта закономерно появляются в текстах, отражающих влияние протографов, т.е. связываются с авторитетной книжной традицией. Такая дублетность создает возможности для сосуществования двух вариантов церковнославянского языка — более простого и более книжного (§ 14.3; § 18.2.1).

Приводя церковнославянские глагольные формы прошедших времен (аориста и имперфекта), Смотрицкий оговаривается в своей грамматике, что прошедшие времена «Руска иногда языка на-выкомъ» образуются, а именно,

преходящее: *чель есмь, чель еси, чель есть*

прешедшее: *читаль есмь* и проч.

мимошедшее: *читааль есмь* и проч.

непредѣльное: *прочель есмь* и проч.

(Смотрицкий, 1619, л. О/3 об.; Смотрицкий, 1648, л. 192–192 об.).

Итак, дублетные формы прошедших времен могут восходить либо к формам аориста или имперфекта, либо к формам перфекта, причем последние формы ассоциируются с «русским языком».

Наличие дублетных парадигм приводит к их контаминации. Это ясно проявляется при кодификации церковнославянского языка. В появляющихся с XVI в. грамматиках даются контаминированные парадигмы, объединяющие формы аориста, перфекта и имперфекта. Так, в «Донатусе» Дмитрия Герасимова (1522 г.), т.е. в описании церковнославянского языка, составленном по схеме латинской грамматики Доната, мы находим следующие парадигмы:

Минувшее совершенное время

возлюбих

возлюбил ты

возлюбил тои

возлюбихомъ

возлюбисте

возлюбиха или возлюбити

Минувшее пресовершенное

любивах

любиваше

любиваль

любивахомъ

любивасте

любиваху

Минувшее совершенное

<i>учихъ</i>	<i>учихомъ</i>
<i>учил еси</i>	<i>учисте</i>
<i>учил</i>	<i>учаху или учиша</i>

Минувшее пресовершенное

<i>учивах</i>	<i>учивахом</i>
<i>учиваше или ты учивалъ</i>	<i>учивасте</i>
<i>учивал</i>	<i>учиваху</i>

Минувшее совершенное

<i>чтох</i>	<i>чтохомъ</i>
<i>челъ еси</i>	<i>чтосте</i>
<i>чел</i>	<i>чтоша или чести</i>

Минувшее пресовершенное

<i>читах</i>	<i>читахом</i>
<i>читаше</i>	<i>читасте</i>
<i>читалъ</i>	<i>читаху, читаша</i>

Минувшее несовершенное

<i>услышах</i>	<i>услышахом</i>
<i>услышал еси</i>	<i>услышасте</i>
<i>услышал есть</i>	<i>услышаху</i>

Минувшее свершенное

<i>слышах</i>	<i>слышахом</i>
<i>слышал еси</i>	<i>слышасте</i>
<i>слышалъ</i>	<i>слышаша или услышати</i>

Минувшее пресвершенное

<i>слыхах</i>	<i>слыхахомъ</i>
<i>слыхалъ еси</i>	<i>слыхасте</i>
<i>слыхалъ</i>	<i>слыхаху</i>

Минувшее свершенное

<i>хотѣхъ</i>	<i>хотѣхомъ</i>
<i>хотѣл еси</i>	<i>хотѣсте</i>
<i>хотѣлъ</i>	<i>хотѣша или хотѣти</i>

Минувшее пресвершенное

<i>хачивах</i>	<i>хачивахомъ</i>
<i>хачивал еси</i>	<i>хачивасте</i>
<i>хачивал</i>	<i>хачивали</i>

В этих парадигмах (которые мы приводим выборочно) отражается как смешение форм аориста и имперфекта с перфектом, так и смешение аориста и имперфекта между собой. Заслуживает внимания также частое отсутствие связки в «перфектной» форме. Аналогичным образом, в другом грамматическом описании XVI в. — «Простословии» старца Евдокима — мы находим парадигмы:

Минувшее съвершенное

<i>любих</i>	<i>любихомъ</i>
<i>любилъ еси</i>	<i>любиста</i>
<i>любилъ</i>	<i>любшия</i>

Минувшее несовершенное

<i>полюбих</i>	<i>полюбихом</i>
<i>полюбилъ еси</i>	<i>полюбисте</i>
<i>полюби</i>	<i>полюбишия</i>

(Ягич, 1896, с. 655).

Такие парадигмы фиксируются в югозападнорусских печатных изданиях. Так, например, в грамматике «еллино-славенского» языка (᾽Αδελφότης) 1591 г. даются парадигмы глагольных форм ед. числа:

Непредѣльное

познахъ
позналъ еси
позна

молотихъ
молотилъ еси
молотилъ

Пресовершенное

оукрѣпляхъ
оукрѣплялъ еси
оукрѣпля

(Аделфотес, л. 160, 164, 174).

Те же явления наблюдаем и в грамматике Лаврентия Зизания 1596 г.:

Мимошедшее

навихъ
навилъ, ла, ло еси
нави

навихом
нависте
навиша

Протяженное

навляхъ
навлялъ, ла, ло еси
навляше

(формы мн. числа
не показаны)

Пресовершенное

навляхъ
навлялъ еси
навляше, навляал

навляхом
навлясте
навляху, навляша

(Зизаний, 1596, л. 57–57 об.).

Эта традиция закрепляется и в грамматике Мелетия Смотрицкого, где даются следующие парадигмы:

Преходящее

<i>чтохъ</i>	<i>чтохомъ</i>
<i>чел (чла, чло)</i>	<i>чтосте</i>
<i>чте</i>	<i>чтоша</i>

Прешедшее

<i>читах</i>	<i>читахомъ</i>
<i>читаль (читала, читало)</i>	<i>читасте</i>
<i>читаше</i>	<i>читаху или читаша</i>

Мимоедшее

<i>читаах</i>	<i>читаахомъ</i>
<i>читааль (читаала, читаало)</i>	<i>читаасте</i>
<i>читааше</i>	<i>читааху или читааша</i>

(Смотрицкий, 1619, л. О/2-3; Смотрицкий, 1648, л. 190 об.-191 об.).

Отражение такой нормализации глагольной парадигмы можно видеть в Кратком катехизисе Петра Могилы, изданном в Москве в 1649 г. (эта книга была переведена в Москве с «простой мовы» на церковнославянский язык, ср. § 16.3). Здесь читаем: «Вопросъ: Понеже *воспомянуль еси ѿ крѣтъ...* научи мене... Отвѣтъ: Понеже *ѿ крѣтъ воспомянухъ, подобаетъ...*» (л. 16). Как видим, перфектная и аористная форма соотнесены здесь как формы 2 и 1 л. одной глагольной парадигмы.

Такое же отношение к формам аориста, имперфекта и перфекта наблюдается и в более поздних грамматических сочинениях. Так, например, в грамматике церковнославянского языка Иустина Вишневецкого (РГИА, ф. 834, оп. 3, № 3374) конца XVIII в. дается следующая парадигма глагола *трясти*:

Прошедшее несовершенное

<i>трясохъ</i>	<i>трясохомъ</i>
<i>тряслъ, ла, ло еси</i>	<i>трясосте</i>
<i>трясе или трясоше</i>	<i>трясоша или трясаху</i>

Прошедшее совершенное

<i>тряснухъ</i>	<i>тряснухомъ</i>
<i>тряснуль, ла, ло еси</i>	<i>тряснусте</i>
<i>трясну или трясне</i>	<i>тряснуша</i>

или

<i>тряснуль, ла, ло есмь</i>	<i>тряснули есмы</i>
<i>тряснуль, ла, ло еси</i>	<i>тряснули есте</i>
<i>тряснуль, ла, ло есть</i>	<i>тряснули суть</i>

(л. 136 об. и сл.).

Особенно характерно появление «перфектной» формы в «аористной» парадигме во 2 л. ед. числа, что обусловлено омонимией форм 2 и 3 л. ед. числа аориста в его этимологически правильной парадигме.

§ 8.7.4. Введение перфектных форм в парадигму аориста и имперфекта: книжная справа. Тот же процесс, т.е. смешение парадигмы аориста и перфекта, наблюдается и в книжной справе, при которой формы аориста (во 2 и иногда 3 л.) постепенно вытесняются «перфектными» формами. Как в приводившихся выше случаях кодифицированного описания церковнославянского глагола, так и в случаях книжной справы речь идет не о спонтанном смешении, но о сознательной нормализации, т.е. соответствующие процессы имеют вполне эксплицитный характер.

В первой половине XVI в. в этом направлении правит глагольные формы Максим Грек со своими помощниками (мы говорим о нем ниже, § 13.2). В переводе Толковой Псалтыри 1519–1522 гг. они последовательно употребляют во 2 л. ед. числа перфектную форму там, где в предшествующих переводах употреблялась форма аориста. Приведем для сопоставления перевод Максима (ГИМ, Син. 236, конец XVI в.) и предшествующий Максиму текст Псалтыри по рукописи XV в. (ГИМ, Епарх. 137):

Предшествующий перевод	Перевод Максима	Греческий текст
сѣдѣла 14 об.	содѣлалъ еси 85 об.	εἰργάσω
ωзлюбѣ 14 об.	ωзлюбилъ еси 85 об.	ἐκάκωσας
ѡринѣл 15	ѡринѣлъ еси 91	ἀλώσω
не восхотѣ 11 об.	не восхотѣлъ еси 40	οὐκ ἤτησας

Точно так же в 1525 г. Максим правит Цветную Триодь и производит здесь аналогичные замены (ср. рукопись ГИМ, Щук. 309, с исправлениями, сделанными помощником Максима по его указаниям: Кравец, 1991, с. 249–250). В частности, он заменяет *сѣде одесную Отца* на *сѣдѣлъ одесную Отца* (значение этой фразы определяется тем обстоятельством, что она соответствует 5-му члену Символа веры, т.е. имеет догматический смысл). Это вызывает протесты книжников традиционалистского направления, которые обвинили Максима в кощунственном искажении содержания церковных книг. Обвинение это сыграло важную роль в суде над Максимом Греком в 1525 г. С точки зрения противников Максима Грека, «Максим говорил, и учил, и писал о Христе, яко сидение Христо-во одесную Отца мимошедшее есть, и где было в здешних книгах написано *и седе одесную Отца*... и он то зачернил, а иное выскреб и вместо того написал: ...инде *седел есть*, а инде *седел еси одесную*

Отца написал» (Покровский, 1971, с. 126, ср. с. 90, 94, 105, 109, 120, 140, 158, 160). Следует иметь в виду, что «мимошедшее время» есть грамматический термин, означающий одно из прошедших времен. При этом митрополит Даниил, председательствовавший на суде, велел спросить Максима: «Что ради Христова седение одесную Отца мимошедшее писал еси и говорил и учил многих сему». Максим отвечал: «В том разньства никоторого нет, а то мимошедшее и минувшее...» (там же, с. 90, ср. с. 109, 126, 140, 158, 160). Обвинители Максима неоднократно возвращаются к этой проблеме, в ходе судебного разбирательства этот вопрос поднимался по крайней мере трижды. Позднее в «Исповедании православныя веры» 1534–1539 гг. Максим, вспоминая об этих обвинениях, писал, что его противники утверждали: «Се Максимъ явѣ отлучаетъ еже одесную сѣдалища Бога и Отца сопрестольна и соприсносушна Сына Его; сие бо: *сѣдѣль еси*... помимошедшаго времени естъ, глаголютъ сказательна, а не настоящаго и всегдашняго» (Максим Грек, I, с. 32).

Максим между тем настаивал на своей правоте. Весьма характерно, что хотя замена «аористной» формы на «перфектную» была одной из причин обвинения Максима на суде в 1525 и в 1531 гг., в позднейшем переводе Псалтыри 1552 г. Максим не только сохраняет эту правку, но и распространяет ее далее в том же направлении, например, *насади* заменяется на *насадила*, *насыти* — на *насытил*, *положи* — на *положил*, *основа* — на *основал еси*, *сѣкруши* — на *сѣкрушил*, *сложи* — на *сложил*, *възгнушася* — на *възгнушалася*, *избави* — на *избавил* (Ковтун и др., 1973, с. 108–109). Особенно показательны в этом смысле собственноручные исправления Максима на рукописи Следованной Псалтыри конца XV в. (ГБЛ, ф. 304, № 315); исправления Максима относятся, видимо, к 1540-м годам (Синицына, 1977, с. 13). Формы аориста во 2 л. ед. числа достаточно регулярно правятся здесь на перфектные формы: *оуслыша* на *оуслышала еси* (л. 67 об.), *сотвори* на *сотворил еси* (л. 76 об.), *избави* на *избавил еси* (л. 119), *разсѣче* на *разсѣклъ еси* (л. 181) и т.д. До нас дошла также греческая Псалтырь, переписанная Максимом Греком в 1540 г. (ГПБ, Соф. 78), с многочисленными славянскими глоссами, сделанными как самим Максимом, так и его помощником: глоссы эти демонстрируют ту же тенденцию (см. Кравец, 1991, с. 249–250).

Мы видим, что одни и те же языковые явления воспринимаются существенно различным образом. Максим Грек явно хотел приблизить русские церковнославянские тексты к их греческим оригиналам, передать в церковнославянском тексте всю ту информацию (в частности, грамматическую), которая содержалась в греческом первоисточнике. Это выражалось, в частности, в стремлении уподобить церковнославянскую глагольную парадигму греческой парадигме;

поскольку в греческом нет омонимии форм 2 и 3 л. аориста, ее не должно было быть и в церковнославянском. Передавая греческий аорист церковнославянскими глагольными формами, Максим разрешал омонимию 2 и 3 л. введением перфектной формы 2 л. ед. числа в аористную парадигму. Таким образом, перфектные и аористные формы оказывались у него не противопоставленными по значению.

Необходимо иметь в виду, что ближайшим помощником Максима в переводе Псалтыри был не кто иной, как Дмитрий Герасимов, автор цитированного выше церковнославянского Донатуса. На первых порах Максим недостаточно свободно владел церковнославянским языком, и мы знаем, как происходила работа над переводом Псалтыри: сначала Максим переводил с греческого языка на латынь, а потом Дмитрий Герасимов вместе с Власием (другим помощником Максима) переводил с латыни на церковнославянский язык (описание этой процедуры содержится в «Исповедании православных веры», написанном Максимом между 1534 и 1539 гг., а также в письме Дмитрия Герасимова к дьяку Мисюрю Мунехину — Максим Грек, I, с. 33; Иванов, 1969, с. 41). Далее Максим, надо думать, корректировал получившийся перевод.

В процессе такой работы Максим, видимо, спрашивал своих помощников: что соответствует на церковнославянском языке той или иной греческой форме, например, 2 л. аориста, 3 л. аориста и т.д. О том, что мог ответить на подобные вопросы Дмитрий Герасимов, мы знаем из его Донатуса, который был написан приблизительно в то же время, когда Дмитрий работал с Максимом над переводом Толковой Псалтыри, и где, как мы видели, очень наглядно представлена контаминация аористных и перфектных форм. Именно от Дмитрия Герасимова Максим и мог узнать, что греческим формам аориста могут соответствовать церковнославянские перфектные формы.

При таком подходе было естественно стремиться к разрешению омонимии 2 и 3 л. аориста, поскольку ее нет в греческом языке, а Максим искал точных соответствий между церковнославянским и греческим текстом. При этом языком-посредником служила латынь: на греческую систему прошедших времен (где различаются аорист, имперфект и перфект, а также плюсквамперфект) накладывалась латинская система, где нет аориста, а есть только имперфект и перфект (а также плюсквамперфект). При таком наложении аорист и перфект естественно соединялись: аористу и перфекту в греческом языке соответствовал перфект в латинском. Это могло способствовать контаминации соответствующих парадигм и в церковнославянском языке.

В «Исповедании православных веры» Максим прямо говорит: «егда бываше мною грѣшнымъ исправленіе тріодное, латынскою бесѣдою сказахъ..., толмачемъ вашимъ Митѣ да Власу, занеже не у совершеннѣ изучившу ми ся вашей бесѣдѣ; аще убо хульно нѣчто мнитсѣ вамъ въ реченіихъ тѣхъ: *сѣдѣлъ еси...* имъ праведно естъ вмѣни-

ти сиевое нелѣпотное презрѣніе, а не мнѣ, понеже азъ тогда не вѣдахъ различія сиевыхъ реченій» (Максим Грек, I, с. 33): как видим, Максим Грек вполне определенно связывает употребленные им глагольные формы с процедурой перевода.

Итак, Максим Грек явно ориентируется в своей языковой практике на греческую языковую модель. Такая система предполагает активное владение церковнославянским языком, когда текст порождается на основании определенных грамматических правил и парадигм — в данном случае соотнесенных с греческой грамматикой. Усвоенные таким образом правила и определили представления Максима Грека о церковнославянском глаголе. Между тем противники Максима Грека воспринимают его правку совершенно иначе. В основе их представлений о церковнославянском языке лежит не церковнославянская грамматика, а корпус церковнославянских текстов, из интерпретации которого они и исходят в своих языковых представлениях. Интерпретируя текст, они естественным образом исходят из языковой интуиции, сложившейся на основе родного, т.е. живого русского языка. Соответственно, они исходят не из парадигмы в церковнославянской грамматике, а из видовой оппозиции типа *сѣлъ* — *сѣдѣлъ*, определяющей в русском языке два основных значения прош. времени: завершенность или незавершенность в прошлом. Прош. время глагола несоверш. вида означает завершенность действия в прошлом, т.е. то, что в настоящее время оно уже не имеет места. Именно поэтому Максима обвиняют в том, что согласно его учению Христос некогда сидел одесную Отца, а теперь перестал сидеть; или что Господь был нам прибежищем, а теперь им не является. Вместе с тем аорист *сѣде* в исходном тексте Триоди воспринимается ими в противопоставлении форме *сѣдѣлъ* по модели глагола соверш. вида, который может означать актуальность действия для настоящего.

Одновременно, поскольку перфектные формы соотносились с формами прош. времени русского языка, замена аористной формы на перфектную должна была восприниматься как коллоквиализация церковнославянского языка, приближение его к разговорной речи, т.е. его обмирщение. Так это действительно и понималось — не только оппонентами Максима Грека, но и его сторонниками. Так, Зиновий Отенский, последователь Максима, указывал: «Мняше бо Максим, по книжнѣи рѣчи у нас и обща рѣчь», — и объяснял это тем, что Максим как иностранец не познал «опаснѣ языка русскаго», т.е. церковнославянского языка (Зиновий Отенский, 1863, с. 967). Зиновий вообще очень четко противопоставляет «язык свой», т.е. русский церковнославянский язык, и «народа общую речь», т.е. русский разговорный язык.

Необходимо иметь в виду, что уже в древнейшей славянской письменности, т.е. в старославянских памятниках, наблюдается вариативность форм аориста и перфекта, особенно во 2 л. ед. числа. Там, однако, это явление было вызвано иными причинами, поскольку аорист был живой категорией в южнославянских языках и соответственно грамматические значения аориста и перфекта были дифференцированы. Вместе с тем, в ряде контекстов оппозиция аориста и перфекта могла нейтрализоваться; это имело место, в частности, в контекстах, связанных с обращением (сюда относится и вся Псалтырь) — в этих контекстах и оказывается возможной вариативность соответствующих глагольных форм. Ср., например, в Зогр. ев.: «Бже мои въскжж ма *остави*» (Мф. XXVII, 46), — тогда как в соответствующем месте Мар. ев., Ассем. ев., Сав. книги: «Бже мои въскжж ма *еси оставилъ*». В Сав. книге (Мф. VIII, 29): «Сноу Бжи *приде* прѣжде врѣмене нась мжчить» — в Зогр. ев., Ассем. ев., Мар. ев.: «Сне Бжии *пришелъ* ли *еси* сѣмо прѣжде врѣмене мжчить нась». В Зогр. ев. (Лк. XV, 30): «Егда же бнѣ твои... *приде* і *закла* емоу телець питомы» — Ассем. ев.: «Егда же бнѣ твои... *приде* и *закылаъ* емоу *еси* телець питомъ». Равным образом аористные и перфектные формы могут выступать в старославянских памятниках в качестве однородных сказуемых, например, в Зогр. ев. и Ассем. ев. находим: «Бли есте хлѣбы и насытитсе са» (Ин. VI, 26); в Зогр. ев., Ассем. ев., Сав. книге: «*Оуташъ еси... і открыъ*» (Лк. X, 21); ср. еще в Синай. пс.: «*Взлюбилъ еси* правдыж и *възненавидѣ* безаконеніе» (Пс. XLIV, 8). Распределение форм аориста и перфекта в церковнославянском тексте никак при этом не соответствует распределению этих форм в греческом оригинале.

Как показал А. Н. Троицкий, вариации такого рода отражают деятельность книжных справщиков X–XI вв., редактировавших древнейший церковнославянский перевод св. Писания. Редакторы церковнославянского текста стремились при этом избавиться от омонимии 2 и 3 л. ед. числа аориста в тех случаях, когда она приводила к двусмысленности, заменяя в этих случаях формы аориста на формы перфекта; при этом они, как правило, не ориентировались на греческий источник, а исправляли церковнославянский перевод в согласии со своей интерпретацией (иногда ошибочной). Итак, если в России Максим Грек (а вслед за ним и справщики XVII в., см. ниже) руководствовались стремлением последовательно различать 2 и 3 л. ед. числа в формах прошедших времен, подражая языку греческих оригиналов (где формы 2 и 3 л. различались во всех временах), то справщики X–XI вв. стремились ликвидировать омонимию лишь в отдельных случаях, чтобы сделать текст более понятным (однозначным), причем они могли исправлять церковнославянский текст без всякой сверки с греческим источником. Иначе говоря, формы аориста заменялись на формы перфекта не из подражания греческому языку, а только для того, чтобы избавиться от омонимии в тех случаях, когда она могла помешать пониманию текста. Характерно, что в контекстах, однозначно указывающих на лицо (например, при наличии

местоимения *ты* или формы вокатива), когда двусмысленность не возникала, аористные формы 2 л. сохранялись без изменений.

Отсюда — различие между русской и южнославянской справой, которая может приводить к отчасти сходным результатам. В России мы наблюдаем стремление уподобить структуру церковнославянского языка греческой языковой структуре, т.е. имеет место ориентация на греческую языковую модель. Здесь актуальной является проблема *п р а в и л ь н о с т и* (языка). Максим Грек и Дмитрий Герасимов не только правят текст, но и устанавливают новую языковую норму, в которой 2 л. ед. числа перфекта вводится в парадигму аориста — это явление *я з ы к а*, а не *т е к с т а*. В южнославянской справе основной является проблема *п о н я т н о с т и* (текста). Таким образом, соответствующие изменения мотивированы здесь требованиями *т е к с т а*, они не имеют системного характера — правка предстает здесь как явление *т е к с т а*, а не *я з ы к а*.

Понятно, что условием изменения нормы является отсутствие семантической дифференциации форм аориста и перфекта в русском изводе церковнославянского языка, тогда как в старославянском языке, где такая дифференциация имела место, изменения могли касаться только текста, а не языковой системы.

То, что языковая практика Максима Грека обусловлена именно ориентацией на греческую языковую модель, а не стремлением внести разговорный элемент, видно из того, что совершенно так же поступают сто лет спустя никоновские справщики (ср. § 17.3): и они также последовательно заменяют 2 л. ед. числа аориста и имперфекта перфектной формой. Подобные исправления, так же как и в случае с Максимом Греком, вызывают решительный протест книжников традиционного направления, в данном случае старообрядцев. Замечательно, что их возражения против новых форм буквально совпадают с критикой в адрес Максима Грека (§ 8.7.5).

Представление о характере никоновской справы в интересующем нас отношении можно получить из сопоставления одного и того же текста в дониконовской и современной редакции, ср. текст службы Вознесению, стихира на стиховне:

Дониконовская редакция

Родися ѿко самъ восхотѣ, ѿвился еси ѿко самъ изволи, пострада плотию Бже нашъ. из мртвѣхъ воскресе, поправъ смерть, вознесеса во славъ, иже всяческая исполняяй, и послалъ еси намъ Дхъ бжественный, во еже воспѣвати и славити твое бжество.

Современная редакция

Родился еси ѿко самъ восхотѣль еси, ѿвился еси ѿко самъ изволилъ еси: пострадахъ еси плотию Бже нашъ, из мертвыхъ воскрѣхъ еси поправъ смерть. вознеслся еси во славъ, всяческая исполняяй, и послалъ еси намъ Дха бжественнаго, еже воспѣвати и славити твое бжество.

(Алипий, 1964, с. 207).

Как уже говорилось, основным стимулом такой sprawy было стремление устранить омонимию глагольных форм 2 и 3 л. в парадигме аориста и имперфекта: за «генетическими» формами аориста и имперфекта оставлялось исключительно значение 3 л., тогда как значение 2 л. выражалось перфектной формой. Такое восприятие соответствующих форм прослеживается уже у киевских книжников начала XVII в. (которые могли исходить при этом из грамматик Лаврентия Зизания или Мелетия Смотрицкого, см. § 8.7.3). Так, Иосиф Кириллович в предисловии к киевской Псалтыри 1624 г. отмечает: «Прочая же къ исправленію искуснѣйшимъ оставихъ, идеже преводитель славенскій въ превожденіи свойства діалекта не съхрани, и многажды... третее лице вмѣсто втораго полагаше, и в' сочиненіи реченій Еллинскій зря Діалект, Славенскому ничтоже внимаше» (Титов, 1918, прилож., с. 89). Очевидно, что имеются в виду те случаи, когда «генетические» формы аориста или имперфекта употреблены в значении 2 л.; теперь они воспринимаются исключительно как формы 3 л. и поэтому их употребление во 2 л. рассматривается как ошибка, отступление от «свойства» церковнославянского языка. Характерно вместе с тем, что, восставая против подобного употребления, Иосиф, тем не менее, не решается править данные формы.

Такая справа в широком масштабе началась только со второй половины XVII в. после реформ патриарха Никона. Ее теоретическое обоснование было таким же, как у Иосифа Кирилловича. Так, известный справщик конца XVII в. чудовский инок Евфимий говорит в своем трактате о исправлении миней 1692 г.: «Обрѣтошася... в' тех правленнѣхъ книгахъ [минейхъ], не вѣдомо по какому случаю, реченія многая оставленна неисправлена, по грамматическому художеству во временехъ и лицехъ. втораго лица глы премножайшіи, третіимъ лицемъ писаны, еже зѣло не лѣпо тако быти» (Никольский, 1896, с. 79). И далее Евфимий пишет: «Глаголи личниіи во временехъ и лицехъ и начертаніихъ премоного помѣшано», — и приводит примеры такого смешения в минейхъ. В частности, обсуждая фразу «Что ти принесемъ Хрѣте ѿко ѿвися на земли» (из службы на Рождество, десятая стихира на «Господи, воззвах»), Евфимий замечает: «*Что ти Хрѣте, стіхъ глеть ко второму лицу; ѿвися же (ѿко члкъ) глѣ третего лица. и въ единомъ лицѣ Хрѣтовѣ два лица стіхъ оный поеть: и сіе зѣло вредословно. Кто бо инъ ѿвися, ѿко члкъ насъ ради, токмо самъ единъ Хрѣтосъ Бгъ, а не инъ кто, ѿко стіха погрѣшеніе показуеть второе лице мѣстоименіемъ, и именемъ, еже тебѣ Хрѣте. Глаголомъ же еже ѿвися, показуеть третіе лице. Подобаеть же пѣти весь стіхъ ко единому второму лицу Хву сице: *Что ти принесемъ Хрѣте, ѿко ѿвился еси ѿко члкъ**

по просту тако реши: Ты *Хрѣте Бгъ сый явился еси тако члкъ, въ единомъ лицѣ, или тѣстаси. и тебѣ что за сіе принесемъ*» («по просту реши» означает в данном случае толкование, а не перевод на простой язык). Обсуждая другой пример «*Въ нслѣхъ насъ ради безсловесныхъ положися долготерпѣливе Спсе*» (из службы на утреню, первый седален), Евфимий пишет: «*Долготерпѣливе и Спсе* имена, звательнаго суть падежа. звательный же падежъ вездѣ пишется и глется ко второму присущему лицу. никто бо не присуша или отсуша кого зоветь. Глѣ же [*положися*]... лица есть трете҃го, време҃не прешедшаго, сочиняти же подобаетъ къ имени звательнаго падежа глѣ втораго лица, сице: *положился еси долготерпѣливе Спсе. тако же и в' первомъ стіѣ, явился еси. а не положися Спсе, ниже явился Хрѣте*». Приводя еще один пример такого рода «*Изліяся блгѣть во устнахъ твоихъ отче (Васіліе) и бысть пастырь Хвы цркви*» (из службы на 1-е января, стихира на славнике), Евфимий утверждает, что по точному грамматическому смыслу данной фразы пастырем оказывается не *Василій*, а *благодать*: «*Два глѣ, изліяся и бысть, и време҃не прешедшаго, и лица трете҃го. Блгѣть же и пастырь, имена именителнаго падежа. отче же звательнаго падежа. Вопросительно [т.е.: спрашивается]. Кто быст[ъ] пастырь... блгѣть, или обѣцъ, рекше Васілій; глѣ бо трете҃го лица, быст[ъ], относит имя пастыря на блгѣть, а не на отче. И кто блгѣторазсудных не зазрит сицевой грубости. Стіхъ сей написа творецъ ко второму лицу ста҃го Васіліа. повѣствуя трете҃го лица глом [т.е. называя его], блгѣти наполненіе, и тоя ради (рекше блгодати) отче Васіліе *былъ еси* пастырь, а не *бысть*. Аще убо написано будетъ третимъ лицемъ, и *бысть пастырь*. то не Васілій быст[ъ] пастырь, но блгодать изліявшаяся, по глѣ трете҃го лица, *бысть*. И сіе зѣло вредословно*». Евфимий при этом отмечает, что подобные тексты исправлены «в мінеахъ общихъ послѣднихъ изданій», однако не исправлены в служебныхъ мінеяхъ (Никольский, 1896, с. 114–116). Таким образом, Евфимий воспринимает старые формы 2 л. аориста и имперфекта, совпадающие с формами 3 л., именно как формы 3 л. — форма *явился* для него соотносится исключительно с 3 л., поскольку во 2 л. должно быть *явился еси*, и т.п.

И последующие справщики продолжают ту же тенденцию. Особенно показательна в этом отношении работа над Елизаветинской библией (1751 г.): справщики регулярно меняют во 2 л. аорист на перфект. Так, например, фраза «и обрѣте я ложны» (Апок. II, 2) исправляется на «и обрѣлъ еси ихъ ложныхъ», причем этому исправлению сопутствует помета: «Глѣ in secunda persona», в подтверждение чего приводится греческий текст (РГИА, ф. 796, оп. 4, № 38, ч. III, л. 310 об.); фраза «поминай убо, како приять и слыше» (Апок. III, 3) исправляется на «...приялъ еси и слышалъ еси» с пометой

справщиков «Глы in 2 pers» и греческим текстом (там же, ч. III, л. 312 об.), фраза «ты бо рече» (Исайя, XXXVII, 24) исправляется на «ты бо рекль еси» (там же, ч. II, л. 117 об.); аналогичным образом *спаде* исправляется на *спаль еси* (Апок., II, 5), *пріяять, воцарися* — на *пріяль еси, воцарился еси* (Апок., XI, 17), *добрь рече* — на *добрь рекла еси* (Ин. IV, 17), причем каждый раз справщики указывают, что в греческом тексте глагол стоит во 2 л. (там же, ч. III, л. 310 об., 323 об., 132). Здесь же встречаем и случаи, когда в 3 л. перфектная форма исправляется на аористную, например: «и пожерль есть телцы» (III Царств, I, 19) исправляется на «и пожре телцы» (там же, ч. I, л. 183), «яко пришель есть Оарака, црь Мурскъ» (Исайя, XXXVII, 9) исправляется на «И изыде Оарака црь Еѣѡпскій» (там же, ч. II, л. 167). Итак, если в свое время аористная и перфектная парадигма употреблялись параллельно, т.е. смещение было возможно во всех трех лицах, то теперь в соответствии с рекомендациями грамматики Смотрицкого устанавливается четкая дифференциация: во 2 л. появляется перфектная форма, в 3 л. — аористная.

Работа над Елизаветинской библией не отразилась непосредственно на церковной службе, поскольку она не затронула напрестольных евангелий, по которым евангельский текст читается в церкви: новоисправленный евангельский текст (тетроевангелие) восходит к Елизаветинской библии 1751 г., тогда как напрестольные евангелия (апракос) отражают предшествующую языковую норму. Вообще, с появлением Елизаветинской библии начинает различаться богослужебный церковнославянский язык и церковнославянский язык церковных книг, предназначенных только для чтения (§ 18.2.1). Таким образом, замена старых форм аориста и имперфекта на перфектную форму во 2 л., осуществленная справщиками Елизаветинской библии, не распространилась на богослужебные книги. Ср. один и тот же текст (Ин. XXI, 18) в богослужебном и небогослужебном варианте современного церковнославянского языка:

Богослужебное издание

Егда бѣ юнѣ, поясаеша самѣ, и
ходдаше, аможе хотяше...

Небогослужебное издание

Егда былъ еси юнѣ, поясался еси
самѣ, и ходилъ еси, аможе хотѣлъ
еси...

(Алиппий, 1964, с. 207).

§ 8.7.5. Введение перфектной формы в парадигму аориста и имперфекта: глагол *быти*. Рассмотренный процесс имел место и в отношении форм глагола *быти*. Здесь также 2 л. ед. числа

аориста и имперфекта могло замещаться перфектной формой (*был еси*). Замены такого рода вызвали особенно бурную полемику в XVI–XVII вв. в силу специальной семантики глагола *быти*. Эти споры начинаются опять-таки с Максима Грека и продолжаются в ходе полемики старообрядцев с новообрядцами, вызванной никоновской справой. Позиция Максима, равно как и никоновских справщиков, совершенно ясна и не нуждается в особых комментариях: они исходят из греческой языковой модели, т.е. из необходимости различать 2 и 3 л. аориста и имперфекта. Их подход — грамматический, они идут от грамматики к тексту и ориентируются на активное употребление. Для них несущественна семантическая дифференциация прошедших времен, постольку поскольку она не закреплена в грамматике. Их подход к глаголу *быти* ничем не отличается от их подхода к другим глаголам.

Иначе обстоит дело с книжниками традиционного направления. Они ориентируются не на грамматику, а на тексты. Поэтому вносимые исправления заставляют их задуматься над тем, не изменился ли смысл текста. Тем самым они оказываются вынужденными сопоставлять разные варьирующиеся формы, определяя их смысловые различия. Правка актуализирует для них семантические различия конкурирующих друг с другом форм прошедших времен. Эта актуализация особенно ярко проявляется в отношении глагола *быти*, поскольку разные интерпретации форм этого глагола непосредственно связаны с богословским пониманием текста. Богословские рассуждения дают в данном случае картину языкового сознания традиционных книжников (к дальнейшему см. подробнее: Живов и Успенский, 1986/1997).

Так, одни формы глагола *быти* соотносятся с «всегдашним» временем, другие — с временем преходящим, одни формы этого глагола могут расцениваться как относящиеся к Богу в противопоставлении другим, приличествующим только людям, и т.п. При этом разные значения этого глагола связываются с разными его формами, т.е. его полисемия распределяется по разным парадигматическим формам. В этом распределении участвуют два фактора. Один из них — текстовая традиция, т.е. традиция употребления тех или иных форм в церковнославянских текстах, которая теперь получает эксплицитное осмысление. Другой фактор — ассоциации с книжным языком, т.е. интерпретация тех или иных форм церковнославянского глагола как эквивалента определенных форм разговорного языка.

В плане выражения прошедшие времена глагола *быти* реализуются в следующих формах (приводим формы 2 и 3 л.):

	Аорист	Имперфективный аорист	Имперфект	Перфект
2 л.	<i>бысть</i>	<i>бѣ</i>	<i>бѣаше (бѣше)</i>	<i>быль еси</i>
3 л.	<i>бысть</i>	<i>бѣ</i>	<i>бѣаше (бѣше)</i>	<i>быль есть</i>

В плане содержания эти формы могут различаться по следующим признакам:

1) отмеченность/неотмеченность начала состояния. Глагол *быти* как в церковнославянском, так и в живом языке может означать либо состояние, либо возникновение этого состояния; в последнем случае отмечено начало этого состояния и данный глагол означает «стать»;

2) отмеченность/неотмеченность конца состояния. По существу это видовое различие типа различия между формами *приходили* и *пришли*: *приходили* значит «пришли и ушли», *пришли* значит «пришли и, возможно, остались»;

3) отмеченность/неотмеченность процесса, т.е. указание на то, что состояние имело место, или на то, что состояние имело место и какое-то время продолжалось.

Указанные формы могут соотноситься с данными значениями следующим образом (описываем языковое сознание книжников традиционного направления, обуславливавшее восприятие книжной справки; плюсом обозначаем отмеченность, минусом — неотмеченность):

	Начало состояния	Конец состояния	Продолженность состояния
<i>бысть</i>	+/-	—	—
<i>бѣ</i>	—	—	—
<i>бѣше</i>	—	—	+
<i>быль еси (есть)</i>	—	+	+/-

Итак, форма *бысть* может рассматриваться как специальное обозначение начала состояния (в этом случае *бысть* означает «стал»), а может рассматриваться и как форма, синонимичная форме *бѣ*, ср. для первого значения «и о томъ бысть[ъ] межю ими ненависть» (ПСРЛ, I, стлб. 74), т.е. «между ними возникла вражда». Форма *быль еси* может рассматриваться как обозначение продолженного состояния (аналогично форме *бѣше*), а может рассматриваться как простое указание на то, что состояние имело место (аналогично форме *бѣ*). В рамках этих возможностей интерпретации и действуют русские книжники, старающиеся установить семантические различия данных форм.

Споры о значении разных форм глагола *быти* сосредоточиваются прежде всего вокруг интерпретации одного стиха из 89-го псалма — «Господи, прибѣжище бысть намъ» (Пс. LXXXIX, 2). Максим Грек в своем переводе Толковой Псалтыри 1519–1522 гг. передает эту фразу, введя в нее перфектную форму: «Господи, прибѣжище *быль еси* намъ». Это изменение вызывает нарекания не только врагов, но и друзей Максима. Так, тверской епископ Акакий, вообще говоря, покровительствовавший Максиму, обвинил его (между 1531 и 1548 гг.) в том, что, произведя это изменение, Максим будто бы ограничил вечное пребывание Бога, исключая его из настоящего. Мы знаем об этом из «Послания брату Григорию» Максима Грека, в котором он протестует против этого обвинения и защищает свои позиции: «...Слышал есмь стороною, что государь наш владыка тѣрской смущается о мнѣ бедном пословицею сею: *Господи, прибѣжище был еси нам* и говорит оглаголюя мене напрасно: восе-де Максим писаніем сицевым своим мудръствует, что нам ужъ нѣсть прибѣжище к Богу. Избави мя, Господи, от таковыа хулы... А сіа пословица: *был еси* не отлучает нас Божіаго Промысла и прибѣгства, якоже владыка толкует, но наипаче исповѣдует и твердо являет Божій, иже о нас Промысл, явѣ глаголя, яко не точію нынѣ прибѣжище *еси* нам Господи, но искони челоувѣческаго рода *бысть* или *был еси* прибѣжище нам. Сіе бо сказует нам еже в род и род, еже есть выну, сирѣчь изначала и нынѣ еси прибѣжище нам и до скончанія вѣка будещи...» (Максим Грек, II, с. 421–422). Как видим, для Акакия формы *бысть* и *был еси* противопоставлены по признаку отмеченности—неотмеченности конца состояния: «*был еси* прибѣжище» означает для него, что Бог в настоящее время таким прибежищем не является. Для Акакия, так же как ранее для митрополита Даниила, протестовавшего против замены *сѣде* на *сѣдѣль еси* (§ 8.7.4), в форме *быль еси* актуализируется значение русских глаголов несовершенного вида в прош. времени: он воспринимает церковнославянский текст в перспективе своего живого языка.

Если для Максима, который исходит из греческой языковой модели, формы *бысть* и *быль еси* различались только по лицу, а не по времени, то для его ученика и последователя Зиновия Отенского, ориентировавшегося на церковнославянскую книжную традицию, дело обстоит не так. Однако его позиция существенно отличается от позиции Акакия. Зиновий Отенский считает, что форма *бысть* неуместна, когда речь идет о Боге. Так, в слове о св. Ипатии он говорит: «Сын же Божий едиnorodный всегда присно есть, а не бысть, яко Сын бяше всегда и не бяше никогда же, егда не бяше, но всегда бяше Сын у Отца Бога Сын едиnorodный...», «...Не бяше времени никогда же, егда не бе Сына, но в начале бе

Слово с Отцем, и Слово бе у Отца присно, искони, и вся Тем быша, и без Сына ничто же бысть еже бысть» (Корецкий, 1965, с. 175). В своем понимании форм *бѣше*, *бѣ* и *бысть* Зиновий основывается на интерпретации одного из самых важных в христианском вероучении текстов, на начале Евангелия от Иоанна (Ин. 1, 1–3), который он при этом и цитирует, ср.: «искони бѣ слово и слово бѣ отъ Бѣ, и Бѣ бѣ слово. се бѣ искони оу Бѣ. и тѣмъ вса быша. и без него ничто же не бысть еже бысть» (Остр. ев. 1056–1057 гг., л. 1а). Именно отсюда выводит он противопоставление форм *бѣ* и *бысть*: *бысть* означает становление, а *бѣ* — пребывание, т.е. в наших терминах для *бысть* отмечено начало состояния, а для *бѣ* — не отмечено. Зиновий, таким образом, понимает евангельский текст так: «Слово было у Отца всегда, с самого начала, и без Сына не возникло ничего из того, что возникло». Отметим, что греческий текст Евангелия не дает оснований для такой именно актуализации значений (поскольку форма аориста *ἔγενετο* может относиться как к глаголу *γίνομαι* 'быть, становиться', так и к глаголу *εἶμι* 'быть, существовать'). Вместе с тем, формы *бѣше* и *бѣ* выступают для Зиновия как синонимичные в данном аспекте, обе эти формы для Зиновия не отмечают начала состояния (ср. «всегда бѣше Сын у Отца» и «Слово бѣ у Отца присно»). Таким образом, оказывается, что к Богу приложимы формы *бѣше* и *бѣ*, но не *бысть*; между тем Акакий, как мы видели, считал, напротив, что к Богу приложима форма *бысть*, но не *былъ еси*. Хотя Зиновий никак не упоминает форму *былъ еси* и ничего не говорит о споре Акакия и Максима, можно думать, что этот спор был ему известен и что он, не высказываясь прямо против Акакия, приводит дополнительные аргументы в защиту позиции Максима.

Очень четко семантическое различие аористных форм с основой *бѣ-* и с основой *бы-* проводится в азбучовнике XVII в. из библиотеки Соловецкого монастыря: «Ино же есть *бѣхъ* и ино *быхъ*. По изгнаніи из рая рекъ себѣ Адамъ: увы мнѣ, что *бѣхъ* и что *быхъ*: *бѣхъ* бо царь всѣмъ сущимъ на земли и *быхъ* рабъ грѣху, — *бѣхъ* прежде и *быхъ* послѣ» (Карпов, 1878, с. 188). В современном русском переводе слова Адама звучали бы следующим образом: «Горе мне, кем я был и кем я стал: был я царем над всем существующим на земле, а стал рабом греха — вот каким я был и вот каким я стал». Таким образом, оппозиция форм *бѣхъ* и *быхъ* осмысливается как противопоставление немаркированного обозначения состояния в прошлом и маркированного обозначения начала состояния.

Изменение *бысть* на *былъ еси* в тексте псалма, сделанное Максимом, не было принято. Тем не менее, столетие спустя никоновские справщики правят Псалтырь в точности так же, как это делал

Максим, т.е. они заменяют в цитированной фразе форму *бысть* на *быль еси*. Одновременно они заменяют на *быль еси* и форму имперфекта *бѣаше* в пасхальном тропаре («Еже въ гробѣ съ плотію»), ср. в дониконовской редакции «И на престолѣ бѣаше Христе со Отцемъ и Духомъ», в новой исправленной редакции «И на престолѣ *быль еси* Христе со Отцемъ и Духомъ». Эти исправления вызывают решительный протест старообрядцев. Здесь как бы вновь повторяется полемика Максима и Акакия: никоновские справщики действуют из тех же побуждений, что и Максим Грек, т.е. они ориентируются на греческую грамматическую модель (различение 2 и 3 л. аориста или имперфекта), тогда как для старообрядцев это актуализирует вопрос о семантической дифференциации форм прошедших времен.

Так, священник Лазарь, осуждая такие исправления, писал: «Да в' новыхъ... книгахъ напечатано: Гди приѣжише *быль еси* намъ. Еще же и в' тропарѣ напечатано: На прѣтолѣ *быль еси* Хрѣте со Оцемъ. И тѣ рѣчи Хрѣу в' похуленіе и отметны, сею рѣчію сказуютъ намъ Гдне приѣжише, и на прѣтолѣ его бытіе мимошедшее» (Симеон Полоцкий, 1667, л. 133). То же самое пишет в своей челобитной 1670 г. и старец Авраамий: «А инде врази Божиимъ напечатала во псалме: Господи, прибежише *быль еси* нам. А в старыхъ печатахъ положено: Господи, прибежише *бысть* нам» (Субботин, VII, с. 277). Наиболее обстоятельно останавливается на этом вопросе инок Савватий в челобитной 1660-х годов. Он пишет: «...сами справщики совершенно грамматики не умѣютъ и обычай имѣютъ тою своею мѣлкою грамматикою Бга опредѣляти мимошедшими времени и страшному и неопisanному Бжѣтву его гдѣ не довлѣетъ лица налагаютъ. В воскресномъ, гдѣрь, тропарѣ на пасху еже “во гробѣ съ плотію” прежде сего печатали: и на престолѣ *бѣаше* Хрѣте со Оцемъ и Дхомъ вся исполняя неописанный. А нѣтъ в новой треоди напечатала мимошедшимъ временемъ: “...на прѣтолѣ *быль еси* Хрѣте со Оцемъ и Дхомъ”, якоже бы иногда был а иногда нѣсть. А сего неразумѣютъ яко по бгословнымъ кнѣгамъ при Бжѣ бытіе не глется якоже при тварехъ но предбытіе понеже всякого существа и бытія прежде Бгъ. И лѣпо Бгу присно быти, зданію же [т.е. созданию, творению] бывати. Тѣлеса члчская преходятъ от мѣста в мѣсто, сего ради и временемъ множицею к лицу члчскому глется, яко здѣ или ондѣ быть. А Бгъ не яко тѣлеса през мѣсто не преходить ни предѣлу ни мѣсту не подпадаетъ, само опредѣляетъ вся. И како удобно глати к лицу Хрѣтову временемъ яко к лицу члчскому: *быль еси* на прѣтолѣ; тою своею глупостию разлучаютъ Его от Оца и Дха, и от прѣтола не всегда глѣютъ Его со Отцемъ и Дхомъ на прѣтолѣ быти... Тамо в тропарѣ еже “во гробѣ съ плотію” за *бѣаше* — *быль еси* поло-

жили не дѣломъ. А индѣ за *бысть* — *был* же *еси* печатають не гораздо. Яко же во псалтырѣ... прежде сего печатали: Гди приѣѣжище *бысть* намъ, а ннѣ печатают: Гди приѣѣжище *был еси* намъ. А в октае 4^{го} гласа в' нлю на утренѣ на хвалитѣх во втором стисѣ о женах мироносицах глет, яко со слезами дошедше гроба Гдня вопіяху глюше: увы намъ, Спсе ннѣ црю всѣхъ, како украден *бысть*. А ннѣ в' треоди напечатали: како украденъ *был еси*, якож бы самому ему в лицо глали. А во евліи в Лукѣ в зачалѣ 113 глет, яко самого Гда тогда мироносицы не видѣша, от аггль слышаху яко живъ есть. Или в треоди же, гдрь, в нлю 4^ю по пасцѣ, в синоксарѣ было напечатано: егда обрѣте Ісѣ по исцѣленіи разслабленнаго во стлищи и гла ему, се здоровъ *бысть*, к тому не согрѣшаи. А ннѣ в синоксарѣ напечатали: се здоровъ *был еси*, к тому не согрѣшаи; якобы паки по исцѣленіи не здоровъ *бысть* разслабленный. А индѣ и глупіе того учинили... в субботу на вечернѣ на стиховнѣ в' славникѣ еже “в притворѣ соломоновъ”, егда первое обрѣте Ісѣ разслабленнаго при купѣли на одрѣ лежаща и сотвори его здрава, такоже соврали, напечатали, яко гла ему Ісѣ: возми одрѣ свои и ходи, се здоровъ *былъ еси*, къ тому не сгрѣшай; а онѣ до Хрѣта здоровъ не бывалъ, а по исцеленіи боленъ не бѣ. Не явная ли, гдрь, в сем глупость их. Гдѣ ту грамматикѣ потреба и какому лицу тамо удобно быти. Или в ырмосѣ 8^{го} гласа еже “установъ преиде естества”, прежде сего печатали от лица Бцы: и дверь спсѣнія мирови *бысть*. А ннѣ в ырмолоех тиснѣнія 165^{го} году тое же рѣчь к лицу ея напечатали: *была еси* мирови спсѣніе; якоже бы древле спсѣла, а ннѣ нѣсть. А *дверь* и *бысть*, блуденъ ради своих, оставили. Тако же, гдрь, и стыхъ многихъ в тропарѣх и в кондакѣх печатають: *был еси* помощникъ, *былъ еси* заступникъ. Еи, гдрь, смутились и кнѣти портятъ и впред будутъ портить, аще не уимут ихъ от такова безумія. А учили такъ плутати недавно. Прежде сего и они такъ не печатавали. А свела их с ума несовершенная их грамматика да приѣѣжии нехай [т.е. украинцы]. В' бѣгословныхъ, гдрь, кнгахъ пишетъ, яко *бѣяше* непредѣльная рѣчь при Бзѣ глется искони и присносушное, а *бысть* при Члвцѣ и при иныхъ тварѣхъ, отнележе наста что, обачѣ от начатка и то присносушное же. А *был еси* всегда глется мимошедшее, яко здѣ или ондѣ был... Непшуютъ себе, яко по грамматикѣ втораго ради лица за *бѣяше* и за *бысть* удобно глати *был еси* и *бывалъ еси*. И грамматика в сихъ не потреба» (ГИМ, Увар. 497/102, л. 6–8 об., ср.: Три челобитные, с. 22–27).

Итак, инок Савватий считает, что формы *бѣяше*, *бысть* и *былъ еси* различны по своему значению. Форма *бѣяше* является «непредѣльной рѣчью», т.е. обозначает состояние без начала и без конца; поэтому эта форма должна употребляться, когда говорится о

Боге. Форма *бысть* обозначает состояние, отмеченное в своем начале («отнележе наста что», т.е. когда что-то возникло), хотя и не отмеченное в своем конце («обаже от начатка и то присносущное же», т.е. состояние мыслится как раз начавшееся и затем пребывающее вечно). Поэтому эта форма должна употребляться, когда говорится о том, что Бог сотворил, в частности, о человеке. Наконец, *быль еси* относится к «мимошедшему» времени и означает состояние, отмеченное в своем конце, — то, что случилось, но больше не имеет места. Исходя из этой семантической дифференциации, Савватий показывает, к каким смысловым искажениям приводит никоновская правка текстов. По мнению Савватия, в новых книгах получается, что святые были некогда помощниками и заступниками и перестали ими быть, что Богородица была спасением миру, но больше мир не спасает. С точки зрения Савватия, никоновские справщики вкладывают в уста Иисуса, обращаясь к исцеленному им больному, совершенно бессмысленные слова: если прежний текст *се здравъ бысть* означает «ты стал здоровым», то исправленный текст *се здравъ былъ еси* означает «ты побыл здоровым», т.е. «был здоровым и перестал им быть». Равным образом, когда жены-мироносицы говорят Христу *како украденъ был еси*, это означает, по мнению Савватия, что Христос был украден и возвращен и что жены-мироносицы расспрашивают его, как это случилось, «якоже бы самому ему в лицо глаголали»; это делает соответствующий текст бессмысленным; между тем в предшествующей редакции стояло *како украденъ бысть* — здесь маркируется начало состояния, а не его конец, — и текст имеет значение риторического вопроса: «Как это могло случиться, что тебя украли?».

В то же время Савватий вполне отдает себе отчет в аргументации своих противников. Он понимает, что они основываются на грамматических правилах, позволяющих отличить 2 л. от 3 л. Однако он считает, что эти искусственные грамматические правила применимы лишь тогда, когда человек пишет новый текст и может сам распоряжаться его смыслом. Эти искусственные правила не могут, однако, прилагаться к уже существующим боговдохновенным текстам; в них смысл задан, и применение подобных правил приводит к искажению этого смысла. Никоновские справщики, говорит Савватий, на Божество «гдѣ не довлѣет, лица налагають», т.е. к Божественной сущности прилагают человеческую грамматику, тогда как «грамматика в сих не потреба»; равным образом, по утверждению Савватия, Бога нельзя ограничивать временем, тогда как Бог создал человеческое время, в котором мы живем, пребывая сам вне времени и над временем. Следует иметь в виду, что никоновские справщики исходят, по-видимому, из грам-

матики церковнославянского языка как она была кодифицирована к тому времени, т.е. прежде всего из грамматики Смотрицкого. Именно это и подразумевает скорее всего Савватий, когда пишет о справщиках: «Свела их с ума несовершенная их грамматика, да приезжие нехай». Савватий несомненно знал, что грамматика Смотрицкого украинского происхождения, и он воспринимал никоновскую справу в контексте югозападнорусского влияния (ср. § 16).

Эта полемика отражает конфликт двух языковых сознаний — одно ориентируется на грамматику и на активное употребление, другое — на текст и его интерпретацию. Этот конфликт продолжается затем в спорах старообрядцев и новообрядцев. Та интерпретация форм прошедших времен, которую изложил Савватий, характерна вообще для старообрядческой традиции. Так, еще в конце XIX в. в антистарообрядческом сочинении иеромонаха Филарета читаем: «Глаголемые старообрядцы, преимущественно из малограмотных, обвиняют православных в том, что они, аки бы неправильно читают в означенном стихе [имеется в виду все тот же стих из Псалтыри], вместо *бысть* — *был еси*, так как выражение *был еси* означает прошедшее время, а слово *бысть* означает, по их мнению, всегдашнее время, и что таким чтением православные будто бы проповедуют, что Господь некогда был, а не всегда есть наше прибежище». Здесь же Филарет заявляет, что форма *бысть* является формой 3 л., а *был еси* — соотнесенной формой 2 л., т.е. он трактует, в сущности, *был еси* как аористную форму (Ильминский, 1886, с. 6).

Как видим, старообрядцев обвиняют в малограмотности. В основе этого обвинения — постоянного в антираскольничьей полемике — отказ старообрядцев признать универсальное значение грамматики и их обращение к традиционному каноническому тексту как к источнику грамматической информации. Этот подход чужд, между тем, новообрядческой традиции — употребление определяется грамматическими правилами, а семантические различия, не зафиксированные в грамматике, объявляются несуществующими. Об этом очень ясно писал Афанасий Холмогорский, отвечая на обвинения старообрядцев: «Имѣяй умная очеса, видить добръ быти преведено: *Гди, прибѣжище былъ еси*, в' мѣсто: *бысть намъ*. ибо звательный падежь выну полагается со вторымъ лицомъ, никогда же с третимъ; второе же лице есть, *был еси*, *бысть* же третіе паче неже второе. Убо имать быти: *Гди, прибѣжище былъ еси*, а не *бысть намъ*. Во времени же несть погрѣшеніе, ибо яко *бысть*, тако и *былъ еси*, есть време, прешедшаго» (Афанасий Холмогорский, 1682, л. 220 об.—221; ср. наборную рукопись РГАДА, ф. 381, № 413, л. 73).

Ориентация новообрядцев на грамматические правила имеет в то же время искусственный характер. Языковое сознание остается

прежним, и это очень ясно проявляется в рассуждениях чудовского инока Евфимия, который был одним из главных теоретиков никоновской книжной sprawy и который, как мы уже видели, настаивал на необходимости введения перфектных форм в аористную парадигму (во 2 л. ед. числа). В трактате о превосходстве греческого языка над латынью (1684—1685 гг.) Евфимий заявляет: «Латины... мѣсто *сый*, причастія единыя части, глаголють двѣ части — мѣстоименіе и глаголѣ: *иже есмь*, *иже есть*, *иже бысть*. Подобнѣ и поляки отъ латинскаго языка и ученія глаголють мѣсто *сый* — *который есмь*, *который есть* и *быль*, иже не знаменуетъ вѣчности, но наченшееся что и кончушееся, *сый* же и *бѣ* являютъ Божественное существо безначальное и безконечное» (Сменцовский, 1899, прилож., с. XIII). Итак, формы *был* и *бѣ* противопоставляются по своему значению: *был* означает состояние, которое имеет начало и конец, а *бѣ* — состояние «безначальное и безконечное», поэтому эта глагольная форма соответствует Божественному существу. Как видим, проводимая Евфимием семантическая дифференциация форм прош. времени глагола *быти* вполне сходна с той, которую утверждают Савватий и другие старообрядцы. Евфимий в данном случае полемизирует не со старообрядцами, а с латинофилами (последователями Симеона Полоцкого), и при отсутствии антистарообрядческой полемической установки выходит наружу естественное для русского книжника XVII в. языковое сознание.

§ 8.7.6. Перфектные формы: наличие или отсутствие связки. Поскольку в русских текстах формы аориста и имперфекта практически не встречаются и в соответствии с ними выступают причастные формы на *-л* со связкой или без связки, последние не имеют здесь специального значения перфекта, но выражают прошедшее время вообще. В то же время в разговорном языке появляется новый способ выражения перфектного значения при помощи причастий на *-вши*. Такое употребление характерно прежде всего для новгородской территории (Обнорский, 1953, с. 156—157).

Соответственно, образуется противопоставление церковнославянского перфекта и русского прошедшего времени, которое формально выражается в отсутствии или наличии вспомогательного глагола. В русских текстах, особенно древнейшего периода, прош. время может выражаться и причастной формой на *-л* со связкой, наряду с бессвязочным употреблением; наличие связки факультативно, и она чаще появляется в формах 1 и 2 л. (Соболевский, 1907, с. 239—240); характерно, что в Смоленской грамоте 1229 г., где отсутствуют глагольные формы 1 и 2 л., нет ни одной формы со вспомогательным глаголом. Однако в церковнославян-

ских текстах опущение связки представляет собой явное отклонение от нормы. Следует оговориться, что опущение связки в формах перфекта представляет собой очень древнее явление и зафиксировано уже в Супр. рукописи, где оно встречается несколько раз; это явление наблюдается и в древнейших русских церковнославянских памятниках, например, в Панд. Антиоха XI в., в Изб. 1073 (Соболевский, 1907, с. 239–241); в Изб. 1076 это явление встречается 18 раз (Лопушанская, 1975, с. 255).

В дальнейшем отсутствие связки в формах прошедших времен будет кодифицировано в церковнославянском языке, см. выше примеры из «Донатуса» Дмитрия Герасимова, а также из «Простословия» старца Евдокима, где соответствующие формы могут появляться во 2 и 3 л. (§ 8.7.3). В некоторых случаях наличие связки различает формы 2 и 3 л. ед. числа, например, в «Донатусе» 3 л. *хотѣлъ, хачивалъ, чель, слышалъ, слыхалъ*, 2 л. — *хотѣлъ еси, хачивалъ еси, чель еси, слышалъ еси, слыхалъ еси*; в «Простословии» 3 л. — *любиль, 2 л. — любиль еси*. Отсутствие связки во 2 л. ед. числа аориста и имперфекта дается в качестве нормы в грамматике Смотрицкого 1619 и 1648 гг.: *чель, читалъ*; любопытно, однако, что при переиздании этой грамматики в 1721 г. (переиздание осуществлено Федором Поликарповым) соответствующие формы даны со связкой: *чель еси, читалъ еси*. Между тем в грамматике Федора Максимова 1723 г. формы 2 л. ед. числа опять-таки не имеют связки (*питалъ, напیتالъ*).

О том, что отсутствие связки воспринималось как отклонение от книжной нормы, могут свидетельствовать гиперкорректные глагольные формы со связкой. Это явление раньше фиксируется для форм 3 л. (ед. числа) и лишь позднее — для форм 1 и 2 л., что отвечает хронологии утраты связки в некнижном языке. Так, например, у Епифания Премудрого в Повести о Стефане Пермском встречаем: «*Бяше же естъ епископъ Стефанъ искусенъ сый кнѣгами...*» (Кушелев-Безбородко, IV, с. 154). Аналогично в Ипатьевской летописи находим: «*Ркоша ѿко Кии естъ перевозникъ быст[ъ]*» (ПСРЛ, II, стлб. 7); в соответствующем месте Лаврентьевской летописи представлена правильная форма перфекта («*Рекоша ѿко Кии естъ перевозникъ былъ*» (ПСРЛ, I, стлб. 9), и мы можем видеть в Ипатьевской летописи либо гиперкорректное добавление связки к форме аориста, либо появление аористной формы *бысть* вместо *былъ* в перфектной конструкции. Последняя интерпретация как будто находит соответствие в берестяных грамотах, где можно встретить такие формы, как *вза ксме* (№ 482 — конец XIII в.), *посла кси* (№ 99 — XIV в.), *кси посла* (№ 135 — XV в.), *кси ѿдода* [т.е. *отъда*] (№ 311 — XIV–XV в.); неясно, однако, восходят ли соответствующие формы берестяных грамот к формам аориста или же представляют собой результат усечения суффикса -л- вместе с окончанием

причастной формы (Зализняк, 1995, с. 125). Гиперкорректную связку необходимо отличать при этом от случаев, когда форма 3 л. глагола *быти* является самостоятельным предикатом с экзистенциальным значением, ср. в современных диалектах: *ребята есть курят, есть вернулись после плена*, и т.п. (Шевелева, 1993). Предполагается, что подобные конструкции характерны для северо-западной диалектной зоны; таким образом, вне этой зоны соответствующие формы имеют, по-видимому, гиперкорректный характер.

В более поздних текстах гиперкорректный характер связки (как признака книжности) может выражаться в том, что формы вспомогательного глагола могут употребляться без согласования по лицу и числу. Это явление отражает, с одной стороны, отсутствие различения по лицу в формах прош. времени не книжного языка, с другой же стороны, употребление связки как искусственный прием окнижнения текста. Так, в «Римских деяниях», переводном церковнославянском тексте XVII в., находим: «Азъ сия ночи *ловил еси* рыбу и *обрел еси* пильгрима вкинута в море» (с. 185 — 2 л. ед. числа вместо 1 л. ед. числа), «[он] ѣдучи через лѣсы *погубилъ еси* тридесать сребреникъ» (с. 204 — 2 л. ед. числа вместо 3 л. ед. числа). Как видим, формы вспомогательного глагола употребляются безразлично по отношению к согласованию по лицам, подобно тому как безотносительно к согласованию по лицам могут употребляться формы аориста и имперфекта (§ 8.7.2) — в обоих случаях это объясняется тем, что в основе книжного текста лежит разговорный субстрат. Наличие связки оказывается таким образом своеобразным сигналом книжности.

Итак, одним из формальных отличий русского церковнославянского языка древнейшего периода является наличие обязательной (нефакультативной) связки в сочетании с причастиями на -л. Другое отличие состоит в том, что в русском языке связка всегда выступает как энклитика и в принципе присоединяется к первому слову фразы, имеющему автономное ударение, в церковнославянском же языке эта закономерность не соблюдается, и связка может помещаться в иных позициях (§ 8.9.13; ср. § 7.9).

§ 8.7.7. Перфектные формы в сослагат. наклонении.

Как мы видели, связка может выступать как специфически книжный элемент и употребляться поэтому гиперкорректным образом. Особенно характерно гиперкорректное употребление связки в сослагательных конструкциях. Такие конструкции несколько раз встречаем в новгородских берестяных грамотах: «чоби *есте поихали* во городо» (№ 497 — XIV в.), «тобы еси масло тобы *еси продале*» (№ 528 — XIV в.; ср. в этой же грамоте сочетание связки с усеченной причастной формой, см. § 8.7.6: «продава дабы еси»); «стобы еси, господине. *окупили*» (№ 102 — XIV в.); «цобъ *еси прислало* востьку» (№ 129 — XIV–XV в.); «цобы *еси... пересмотреле*» (№ 413 — XV в.).

Ср. также в других новгородских и псковских грамотах: «а к намъ бы *есте* вѣсти *слать*» (1410–1411 гг.), «чоби *еси* имъ *вельѣ*» (1417 г.) (Грамоты Новгорода и Пскова, с. 88, 92). Такая конструкция регулярно встречается и в духовном завещании Ивана Грозного 1572–1578 гг.: «А людей бы *есте*, которые вамъ прямо служатъ, *жаловали* и *любили* ихъ», «и *были* бы *есте*, ты Иванъ и Федоръ, по моему наказу, оба заедин и во всемъ бы себя *берегли* и *жили* по Бозе во всякихъ делахъ» (Доп. к АИ, I, с. 372, 377, ср. еще 373, 374).

В середине XVII в. сослагательные конструкции с гиперкоррективной связкой становятся нормой в церковнославянском языке: исправители Елизаветинской библии (1751 г.) вводят такую конструкцию в церковнославянские книги. Так, если в старопечатной Псалтыри, предшествующей никоновской справе, читаем: «*яко* аще бы *восхотѣ*лъ жертвы, далъ быхъ убо», Пс. L, 18 (ср. такой же текст и в более ранних Псалтырях, например, в Симон. пс. 1270–1296 гг.: «*яко* аще бы *восхотѣ*лъ жертве далъ убо быхъ»), то в позднейшей редакции этот текст предстает в таком виде: «*яко* аще бы *восхотѣ*лъ *еси* жертвы, далъ быхъ убо» (см. Ильминский, 1886, с. 45). В старопечатном дониконовском Евангелии читаем: «Аще бы *вѣдала* даръ Бѣи..., ты бы просила у него, и далъ ти бы воду живу» (Ин. IV, 10); в послениконовской редакции — «Аще бы *вѣдала* *еси* даръ Бѣи..., ты бы просила у него, и далъ ти бы воду живу». Аналогичным образом, в старопечатном Евангелии: «Гѣ, аще бы здѣ *былъ*, не бы братъ мой умерлъ» (Ин. XI, 32); в новой редакции — «Гѣ, аще бы *еси* *былъ* здѣ, не бы умерлъ мой братъ». Именно такая конструкция сослагат. наклонения фиксируется в грамматике Смотрицкого — во всех трех изданиях, 1619, 1648 и 1721 гг.: 1 л. ед. числа — *аще бымъ чель*, 2 л. ед. числа — *аще бы еси чель*, 3 л. ед. числа — *аще бы чель* и т.п. (Смотрицкий, 1619, л. О/5; Смотрицкий, 1648, л. 194; Смотрицкий, 1721, л. 119 об.) — таким образом, внесение связки в сослагательную конструкцию кодифицировано здесь лишь во 2 л. (что связано, вероятно, с введением аналогичной формы 2 л. в парадигмы прошедших времен, см. § 8.7.3). Между тем, в грамматике Федора Максимова 1723 г. внесение связки в формы сослагат. наклонения распространяется и на 1 л., ср. здесь: 1 л. ед. числа — *аще бы есмь питаль*, 2 л. ед. числа — *аще бы еси питаль*, 3 л. ед. числа — *аще бы питаль* (Максимов, 1723, с. 38).

Появление связки в формах сослагат. наклонения может быть объяснено и иначе: *бы* со временем перестает восприниматься как аористная форма и начинает функционировать как частица, обозначающая условность предложения и не отождествляясь с вспомогательным глаголом; в результате такого переосмысления причаст-

ная форма на *-л* воспринимается как самостоятельная глагольная форма, причем отсутствие связи (вспомогательного глагола) при этой форме расценивается как отступление от грамматической нормы; отсюда происходит окнижение данной конструкции.

§ 8.7.8. Плюсquamперфект. Церковнославянская форма плюсквамперфекта, состоящая из аориста или имперфекта вспомогательного глагола *быти* и причастия на *-л*, противостоит русской форме выражения этой временной категории, состоящей из перфекта вспомогательного глагола *быть* и причастия на *-л*. Так, в церковнославянском имеем «приведоша разбоиницы съвазаны, ихъ же *бѣша* *или* въ *ѣдиномъ* селѣ манастирьскѣ» (Усп. сб. XII—XIII в., л. 50г), «всѣхъ приимаше съ всякимъ оусърдикъмъ *бѣ* бо и самъ въ искушении томъ *былъ*» (там же, л. 37в). Ср. русские формы плюсквамперфекта: «Ярославъ *былъ* *установилъ* и *убилъ*» (Рус. Правда), «дали ксеме *былъ*» (Договор Новгорода с Тверью 1305 г.). Церковнославянская форма плюсквамперфекта представлена в новгородской берестяной грамоте № 510 XII—XIII в. «Съ *сталь* *бѣшь* Коузма на Здылоу и на Домажировица...» (т.е.: «Вот предъявил обвинение Кузьма против Сдылы и Домажировича...»), где *бѣшь* (= *бѣше*) — имперфект вспомогательного глагола. Появление церковнославянской конструкции обусловлено в данном случае тем, что она появляется в начале судебной (исковой) грамоты с формулировкой обвинения; таким образом, это тот же случай, что и формы аориста в начале грамот с перформативной функцией, о которых мы уже говорили выше (§ 5.4; § 8.7.1), — например, *се купи* в зачине купчей грамоты, *се заложи* в зачине закладной и т.п. Личная форма глагола *быть* как вспомогательная связка обычно опускается в русском плюсквамперфекте, особенно в поздних текстах, и соответственно плюсквамперфект образуется из прош. времени глагола *быть* (*былъ* — без изменения по лицам) и причастия на *-л* от соответствующего глагола. См., например, в Смоленской грамоте 1229 г.: *ишлъ* *былъ* (= *ишло было*), в грамоте новгородского архиепископа Геннадия 1490 г.: «которые еретики *были* *покаалися*, ...всѣхъ сбѣжали» и т.п., подобные формы мы встречаем в московских текстах еще в XVII в. (Соболевский, 1907, с. 164, 242–243). Таким образом, при различии формального выражения плюсквамперфекта в церковнославянском и русском языках сама эта категория была представлена в обоих языках. В современном литературном языке остатком плюсквамперфекта является, возможно, конструкция прош. времени с неизменяемым словом *было* (*пошел было*, *хотел было* и т.п.), которое называют иногда прерванным прошедшим (ср. Шмелев, 1960, с. 82–83).

Случаи замены плюсквамперфекта перфектом, т.е. формой простого прошедшего времени, наблюдаются достаточно рано. Так, в договорной грамоте Новгорода с вел. князем Ярославом Ярославичем 1264–1265 гг. читаем: «на семь кнѣже цѣлоуи хъ [хрестъ] къ всемоу Новоугородоу, на цѣмъ то *цѣловали* дѣди и бѣи и бѣхъ твои Ярославъ» (Обнорский и Бархударов, I, с. 52–53). Здесь речь идет о том, что уже не сохраняет силы и целиком относится к прошлому, т.е. здесь была бы уместна форма плюсквамперфекта. Ср. у Ивана Грозного в первом послании Курбскому: «Тако же потом... изменники на нас *подыгаша* и с теми изменники *пошел был* к Новугороду... и те в те поры от нас *отступили*...» (Переписка Грозного с Курбским, с. 27); формы аориста, плюсквамперфекта и перфекта (некнижного прошедшего времени) служат для обозначения последовательных действий, совершавшихся в прошлом, — в значении плюсквамперфекта. Подобные замены, однако, не говорят об отсутствии плюсквамперфекта как глагольной категории в древнерусском языке, поскольку употребление формы плюсквамперфекта маркировано по отношению к употреблению формы прош. времени и, таким образом, сама фиксация и выражение плюсквамперфектного значения носит необязательный характер. Такое же необязательное употребление плюсквамперфекта мы наблюдаем и в современном разговорном английском языке.

§ 8.8. Явления словообразования. Определенные отличия между церковнославянским и русским языком наблюдаются и в области словообразования, они объясняются прежде всего как диалектные отличия южнославянских и восточнославянских диалектов. Совсем не все эти различия, однако, образовывали четко осознаваемые противопоставления, поскольку они могли осмысливаться как различия лексические, а для лексического уровня, как уже говорилось (§ 4.4), противопоставленность церковнославянского и русского языков выражена в наименьшей степени. Вместе с тем определенные словообразовательные средства могли ассоциироваться с соответствующими греческими, что определяло их особую продуктивность в церковнославянском языке. К таким средствам относится прежде всего словосложение: появление сложных слов в церковнославянском языке прямо обусловлено ориентацией на греческие словообразовательные модели. Здесь же можно назвать и образования с приставкой *без-* в соответствии с греч. α- и т.д. (ср. § 3.2.5). Образования этого рода составляют специфику книжного языка, однако не всегда конституируют коррелянтные признаки, т.е. книжным формам в этих случаях, как правило, не находится соответствующих некнижных.

Вместе с тем отталкивание книжного языка от некнижного приводит к использованию определенных словообразовательных

средств для получения пар специфически книжных и неспецифически книжных слов; производные слова получают в этом случае маркированный книжный статус. Такой процесс имеет место уже в старославянском языке, ср. дублетные пары типа *вдова* — *вдовица*, *любодѣи* — *любодѣиць*, которые противопоставляются в старославянском не семантически, а стилистически: производное слово является как бы специфически книжным (Цейтлин, 1977, с. 286–289). Процесс вытеснения непроеводных слов производными продолжается в церковнославянском языке и на последующих этапах.

Примеры противопоставления церковнославянских и русских словообразовательных средств, которые приводятся ниже, носят иллюстративный, а не исчерпывающий характер.

§ 8.8.1. Именное словообразование. Различие словообразовательных средств в церковнославянском и русском языках в некоторых случаях обуславливает появление коррелянтных пар, ср., например, церковнослав. *сѣтъникъ* (*сотьникъ*) — рус. *сѣтскими* (*сотскими*), церковнослав. *тысящъникъ* — рус. *тысячскими* и т.п. Специфическими церковнославянскими суффиксами, отсутствовавшими в живом языке, были, видимо, *-тель* (*оучитель*), *-ание*, *-ение* (*преображение*, *рукописание*). Напротив, специфически русскими суффиксами являются *-ыщкъ* (*доводыщкъ*) и *-ѣкъ* (*нѣвка*, *дѣвка*).

§ 8.8.2. Глагольное словообразование. Церковнославянская приставка *из-* регулярно соответствует русской *вы-*. В русском языке приставка *из-* употреблялась в особом значении, выражая не пространственно-временные отношения, а полную действительность, ср. *исходити* (весь город), *исписати* (весь лист), *изорати* (все поле) и т.д. Вне этого значения приставки противопоставлялись, однако, как книжная и некнижная, ср. в современном литературном языке такие стилистически или семантически противопоставленные пары, как *избирать* — *выбирать*, *исходить* — *выходить* и т.п. (таким образом, слово *исходить* в значении «выходить» является славянизмом, а в значении «обойти всё» — нейтральным по отношению к книжному и некнижному элементу).

Отметим, что глаголы с *вы-* встречаются иногда и в старославянском (Славский, 1966), например, в Синай. пс., где они объясняются как моравизм. Следует иметь в виду, что *вы-* представлено как в восточнославянских, так и в западнославянских языках, тогда как *из-* характерно для южнославянских языков. Таким образом, в русском языке образования с *из-* (в соответствующем значении) маркированы как стилистически книжные лексемы, тогда как образования с *вы-* необязательно представляют собой русизмы.

§ 8.9. Синтаксические явления. Едва ли не ярче всего книжный язык противопоставляется некнижному в области синтаксиса. Это и не удивительно, поскольку в литературном языке всегда имеется целый ряд синтаксических конструкций, связанных с письменным изложением и не характерных для разговорной речи. В области синтаксиса дистанция между литературным языком и разговорной речью является универсальным явлением, независимым от типа литературного языка. Эта дистанция становится особенно значительной, когда литературный язык не ориентируется на разговорную речь, как это имеет место в случае церковнославянского языка. Особенности церковнославянского синтаксиса в большой степени связаны с греческим влиянием: церковнославянский язык как язык литературный образуется в результате переводов с греческого, и это откладывает неизгладимый отпечаток на его синтаксическую структуру. Многие синтаксические конструкции, будучи по происхождению синтаксическими кальками с греческого, употребляются затем и в оригинальных церковнославянских текстах; тем самым они оказываются не явлениями переводных текстов, но явлениями церковнославянского языка. Таким образом, греческое влияние в существенной мере определяет противопоставление церковнославянского и русского синтаксиса. Вместе с тем некоторые синтаксические признаки могут иметь и другое, а именно южнославянское происхождение, т.е. отражать различия не между греческим и славянским синтаксисом, но между южнославянским и восточнославянским синтаксисом. В частности, такие признаки могут возникать за счет синтаксических конструкций, развившихся в восточнославянских диалектах. Рассмотрение синтаксических признаков мы начнем с тех, которые обусловлены греческим влиянием. При этом мы будем приводить примеры как из переводных, так и из оригинальных русских церковнославянских памятников; для сопоставления будут привлечены Мстисл. ев. начала XII в. (отчасти и Остр. ев. 1056–1057 гг.) и Житие Феодосия по Усп. сб. XII–XIII в.

§ 8.9.1. Причастные конструкции: дательный самостоятельный. Синтаксис причастий подвергся особенно сильному греческому влиянию, что, видимо, обусловило особую роль причастий в книжном языке; неслучайно в формах причастий отчетливо проявляется противопоставление книжного и некнижного языка (§ 8.5). Специфически книжным оборотом является дательный самостоятельный, который калькирует родительный самостоятельный греческого языка; греческий род. падеж передается при калькировании дат. падежом, поскольку славянский дательный соот-

ветствует вообще греческому родительному в ряде основных значений (прежде всего посессивном, ср. § 17.3.1). Ср., например:

Ἦ τε θάλασσα, ἀνέμου μεγάλου . . . Море же вѣтроу великоу дыхающую
πνέοντος, διηγεῖρετο . . . вѣстааше

(Ин. VI, 18)

(Мстисл. ев., л. 8г)

О распространении этой конструкции в оригинальных церковнославянских памятниках могут свидетельствовать примеры из Жития Феодосия: «И тако многашды молящю ся кмоу. и се приидоша страньници въ градъ тъ» (Усп. сб., л. 28в); «Да не пастоухоу оубо ѿшьдышю да опоустѣжъ пажить юже Бѣ благослови» (Усп. сб., л. 28г). Дательный самостоятельный укореняется в книжном языке, и о интенсивности его использования может свидетельствовать тот факт, что он 415 раз встречается в Лаврентьевской летописи и 227 раз — в Ипатьевской (Кедайтене, 1968, с. 280).

§ 8.9.2. Причастные конструкции: причастие при личном глаголе. В греческом языке при глаголах речи (*verba dicendi*) обычным является сочетание глагола в личной форме с глаголом в причастной форме. Эта синтаксическая конструкция калькируется церковнославянским языком и становится одной из примет книжного языка. Ср.:

Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν

(Мф. XV, 13)

Онъ же отвѣщавъ рече

(Мстисл. ев., л. 42в)

Ср. такие же конструкции и в непереводном Житии Феодосия: «Отвѣщавааше мѣри своки глагола» (Усп. сб., л. 29в); «И запрети кмоу глши» (Усп. сб., л. 30а).

§ 8.9.3. Причастные конструкции: субстантивированное причастие. В греческом языке нередко имеет место субстантивация причастий (там, где в других языках можно ожидать относительного придаточного предложения). Эту характеристику наследует и церковнославянский синтаксис, ср.:

Ἦνάς δει ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ
πέμψαντός με

(Ин. IX, 4)

Мнѣ подобаѣтъ дѣлати дѣла
посылавшааго ма...

(Мстисл. ев., л. 18г)

Это же употребление находим и в непереводных текстах, ср. в Житии Феодосия: «И тако идыи трѣми недѣльми. доиде прежде рече-нааго» (Усп. сб., л. 31а).

§ 8.9.4. Причастные конструкции: причастия после глаголов восприятия. В греческом языке при глаголах восприятия то действие, которое является предметом восприятия, выражается действительным причастием в вин. падеже, а субъект этого действия — согласованным с причастием именем. Эта конструкция утверждается и в церковнославянском языке (Исаченко, I, с. 86), ср.:

Εἶδεν δύο ἀδελφούς... βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν	Видѣ два брата... вѣмещюща мръжю въ море...
(Мф. IV, 18)	(Мстисл. ев., л. 31г)

Аналогичные примеры находим и в непереводном Житии Феодосия: «Видѣвши юго пекоуща проскоуры» (Усп. сб., л. 29г); «Властелинь же видѣвы и тако ходыща» (Усп. сб., л. 30б); «Видѣвши сѣна своѣго въ таковѣи скърби соуша» (Усп. сб., л. 32в).

§ 8.9.5. Причастные конструкции: причастия в сочетании с глаголами состояния. В греческом языке распространены аналитические перифрастические конструкции, состоящие из глагола «быть» в сочетании с причастной формой. Эти конструкции калькируются в церковнославянском языке (Исаченко, I, с. 87), ср.:

ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων	Бѣ Иованъ крѣста
(Ин. I, 28)	(Мстисл. ев., л. 3а)
Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη	Бѣ же далече отъ нихъ стадо свинии много пасомо.
(Мф. VIII, 30)	(Мстисл. ев., л. 38г)

Такие конструкции становятся органической принадлежностью церковнославянского синтаксиса, ср. в Житии Феодосия: «И се по приключая Божию бѣша идоуще поутыть тѣ коупци» (Усп. сб., л. 31а); «Градъ ꙗсть ѿстоѣ отъ Кыѣва града стольнааго ·Н· попрышь» (Усп. сб., л. 27а).

§ 8.9.6. Конструкции с инфинитивом: винительный падеж с инфинитивом. Типичной калькой с греческого является оборот «винительный с инфинитивом» (*accusativus cum infinitivo*) после глаголов говорения и восприятия: действие, которое является предметом речи или восприятия, выражается инфинитивом, а его субъект стоит в вин. падеже. Ср.:

Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι	Кого ма ꙗють члвци быти
(Мк. VIII, 28)	(Мстисл. ев., л. 127б)

Такую конструкцию находим и в Житии Феодосия: «О стаѣ своимъ мола Ба и того призываа помощника имъ быти о вьсакомъ подвиѣ ихъ» (Усп. сб., л. 576). Ср. еще в первом послании Ивана Грозного к Курбскому: «Или мниши сие быти свѣтлость благочестивая» (Переписка Грозного с Курбским, с. 70).

§ 8.9.7. Конструкции с инфинитивом: дательный падеж с инфинитивом в значении результата. В греческом языке в функции придаточного следствия (результата) после союза ὥστε употребляется синтаксическая конструкция, в которой результирующее действие выражается инфинитивом, а субъект этого действия — именем в вин. падеже. Эта конструкция в церковнославянском языке калькируется оборотом дательного с инфинитивом, причем союз ὥστε передается как *яко*. Несоответствие в падеже обусловлено, возможно, тем, что в церковнославянском языке данные конструкции испытывают влияние со стороны опативных конструкций типа *а ему идти* или *дабы ему идти* (в самостоятельном употреблении или в функции придаточного цели, ср. § 8.9.12). Ср.:

‘Ο δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη,
ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλάτον

(Мк. XV, 5)

Ісь же къ нимъ ничо же не
отъѣща *яко* дивити сѧ Пилатю

(Мстисл. ев., л. 115г)

Эта конструкция органически входит в церковнославянский язык и употребляется в непереводных памятниках, ср. в Житии Феодосия: «И вьскорѣ извыче всѧ граматикѧ. и ако же всѣмъ чюдити сѧ о премоудрости и разоумѣ дѣтища» (Усп. сб., л. 28а); «Отъиде мѣи юго на село и *яко* же пребыти кѧ тамо дѣни многы» (Усп. сб., л. 30г); «И паки имъ лѣющею оукропѣ въ нѣ. и се обрѣте сѧ тоу жаба. *яко* же тои варенѣ быти въ таковѣи водѣ» (Усп. сб., л. 52г).

§ 8.9.8. Конструкции с инфинитивом: дательный с инфинитивом в модальном значении. В греческом языке имеется модальная конструкция со значением приличествования или долженствования, в которой после глагола εἶναι употребляется инфинитив в сочетании с именем в вин. падеже. Так же как и в предшествующем случае, этот оборот калькируется церковнославянской конструкцией, где после формы глагола *быти* стоит инфинитив и имя в дат. падеже (Исаченко, I, с. 87–88). Ср.:

τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ ἐξ
ἐναντίων οὐκ εἶστιν ἐμὸν δοῦναι

(Мк. X, 40)

А еже сѣсти одеснѣхъ мене
и о лѣвѣхъ. нѣсть мнѣ дати.

(Остр. ев., л. 136а)

Аналогичные примеры находим и в непереводном Житии Феодосия: «Бы^с же родителема бл̑женаго преселити сѧ въ инѣ градъ Коурьскъ нарицаемыи» (Усп. сб., л. 27в).

§ 8.9.9. Пассивные конструкции с *от*. В пассивных конструкциях субъект действия в церковнославянском языке может обозначаться именем в род. падеже с предлогом *от*; эти обороты являются кальками с греческих пассивных конструкций с предлогом *ὅπο* + имя в род. падеже. Ср.:

διεπλάσθαι ὅπ' αὐτοῦ τὰς ἀλύσεις Претьрзаахж сѧ отъ него веригы
и поуѧ съкроушаахоу сѧ

(Мк. V, 4)

(Мстисл. ев., л. 59г)

Эта схема управления употребляется в церковнославянских текстах вне зависимости от их переводного или непереводного характера, ср. в Житии Феодосия: «Оумоленъ бысть отъ людий тѣхъ. преити къ Стославоу князю» (Усп. сб., л. 41в); «И се рекъ невидимъ бысть отъ него» (Усп. сб., л. 46а). Эту же конструкцию находим и в летописях, ср., например, во II Псковской летописи: «Взята бысть Москва от царя Тартаныша» (Пск. летописи, II, с. 29). Из церковнославянского языка в XVIII в. эта конструкция переходит и в русский литературный язык нового типа (Йордалъ, 1973, с. 150).

§ 8.9.10. Конструкция «*еже* + инфинитив». В греческом языке номинализация глагола может осуществляться прибавлением артикля в ср. роде (τὸ) к инфинитиву. В церковнославянском языке эта конструкция передается оборотом «*еже* + инфинитив», где *еже* выступает в соответствии с греческим артиклем. Примеры такого оборота можно найти как в переводных церковнославянских текстах (ср. выше пример из Остр. ев., § 8.9.8), так и в оригинальной церковнославянской литературе. Так, в «Слове о законе и благодати» Илариона читаем: «Помилова ны Бг̑ и въся и въ насъ свѣтъ разжма еже познати его. по пр̑борочьствж» (Молдован, 1984, с. 89); «И потыкающемсѧ намъ въ пжтех погыбели. еже бѣсомъ въслѣдовати» (там же, с. 89).

§ 8.9.11. Прилагательные и местоимения ср. рода в обобщенно-субстантивированном значении. Как в греческом, так и в церковнославянском языке имена прилагательные и местоимения обладают способностью выражать обобщенно-субстантивированное значение в форме мн. числа ср. рода, ср.:

καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σὰ ἔστιν καὶ τὰ И моя вса твоя сжть и твоя моя.
сὰ ἐμὰ

(Ин. XVII, 10)

(Мстисл. ев., л. 148г)

На врѣмненна (прѣсказа) възирають.

(Панд. Антиоха, XI в. — Срезневский, I, стлб. 319).

Такое же употребление находим и в непереводах памятниках, ср., например, в Житии Феодосия: «Никонъ... пришедъ въ манастырь великааго бѣа нашего Феодосиа и вса своа бѣлаа предавъ бѣженуоуоумоу...» (Усп. сб., л. 41г). Отражение этой конструкции находим и в пословице XVII в. «Крадый чужая не обогатеет» (Буслаев, 1959, с. 425).

§ 8.9.12. Конструкция «да + индикатив». До сих пор мы говорили о тех синтаксических признаках церковнославянского языка (по сравнению с книжным русским языком), которые обусловлены греческим влиянием. Необходимо иметь в виду, что приведенный перечень этих признаков не является исчерпывающим (ср. о других возможных признаках: Исаченко, I, с. 86–88; Йордаль, 1973, с. 164). В то же время ряд синтаксических грецизмов, характерных для церковнославянского языка, появляется в нем позднее (в результате второго и третьего южнославянского влияния) и не свойствен его древнейшему состоянию (ср. § 11.6; § 17.3). В отдельных случаях различия в синтаксисе церковнославянского и русского языков имеют иной источник и возникают за счет диалектных различий славянских языков. В этих случаях могут устанавливаться параллельные соответствия между книжными и не книжными конструкциями.

Так, церковнославянская конструкция «да + индикатив» в функции оптатива или придаточного цели (*да идетъ*) соответствует книжной конструкции «дат. падеж + инфинитив» (*а ему идти*). Ср. различие синтаксических конструкций в типичных формулировках церковнославянского и русского юридических кодексов:

Церковнослав. перевод Эклоги

Русская Правда

Аще жсть имовить растлѣвыи.
да вдасть растлѣнѣи двѣ злата
литру кдину. аще ли жсть
неимовить... *да затычень*
будеть

Паки ли будеть что татебно купить
в торгу... то выведеть свободна
мужа два. или мытника. аже
начнеть не знати оу когѣ купить.
то *ити* по немь *темь видокомъ*
на роту. а *истыцю* свок лице *взати*

(Мер. Праведное, л. 191)

(Мер. Праведное, л. 335)

Следы конструкции «*да* + индикатив» с оптативным или целевым значением обнаруживаются и в восточнославянских диалектах, а именно в современных полесских говорах (Толстая, 1985), а также в древненовгородском: в новгородских берестяных грамотах в соответствующей функции выступает союз *дати* (*дать*), генетически связанный с союзом *да* (Зализняк, 1986, с. 160–161, § 67). Таким образом, данная конструкция не является специфически книжной; вместе с тем, противопоставленная ей конструкция «дат. падеж + инфинитив» является специфически некнижной. В то же время в тех диалектах, в которых данная конструкция отсутствует, она может восприниматься как явление книжного синтаксиса.

В современном русском литературном языке конструкция «*да* + индикатив» объясняется церковнославянским влиянием — обороты типа *да здравствует* представляют собой синтаксические славянизмы.

§ 8.9.13. Порядок слов: место вспомогательного глагола. В некнижном языке, поскольку он отражает разговорную речь, употребление энклитик (в том числе и форм вспомогательного глагола *быти*) и проклитик отражает фонетические закономерности живой речи. В частности, вспомогательный глагол (*есмь*, *еси* и т.д.) в принципе — если не считать специально оговариваемых случаев — ставится здесь после первого слова фразы, имеющего автономное ударение (об автономном ударении см. § 7.9). В церковнославянском языке, поскольку он не связан непосредственно с живой речью, эти закономерности не обязательно соблюдаются; соответственно, здесь оказывается возможной свободная постановка вспомогательного глагола (Зализняк, 1986, с. 154–158, § 63–64). Ср., например, закономерный для русских текстов порядок слов в духовной грамоте Ивана Калиты 1327–1328 гг.: «А что есмь придобьль золото что ми дал Бѣ и коробо[ч]ку золотую а то есмь даль кнагини своки с меншими дѣтми» (Обнорский и Бархударов, I, с. 91); ср. в то же время специфический церковнославянский порядок слов в Усп. сб. XII–XIII в.: «Извѣсто разоумѣли ксте ѡко Хѣа раба ксмь» (л. 70б) — в соответствии с русской структурой предложения должно было бы быть: «Извѣсто ксте разоумѣли ѡко Хѣа ксмь раба».

Таким образом, нарушение соответствующих закономерностей является специфическим (маркированным) признаком церковнославянского синтаксиса — при том, что их соблюдение вполне возможно в церковнославянском тексте. Любопытно, что никоновские справщики в середине XVII в. в ряде случаев вводят именно особый церковнославянский порядок слов. В «Росписи вкратце нововводным церковным раздором...» священника Лазаря (1660-х гг.)

отмечается, между прочим, что в новых книгах напечатано «Яко Спаса родила еси душъ наших», тогда как в старых, дониконовских книгах стояло: «Яко родила еси Спаса, избавителя душамъ нашимъ» (Субботин, IV, с. 197). Как видим, новая редакция противопоставлена старой, в частности, и по порядку слов.

§ 8.9.14. Некоторые специфические синтаксические русизмы. Противопоставление книжного и некнижного синтаксиса осуществляется не только за счет специфически книжных конструкций, которые, как правило, не встречаются в некнижных текстах, но также за счет специфически некнижных конструкций, имеющих восточнославянскую диалектную основу и не встречающихся в текстах книжных. Так, специфическим русизмом является конструкция типа *косить трава (взяти гривна, взяти куна и т.п.)*, представленная в современных диалектах; в современном литературном языке эта конструкция отразилась только во фразеологизме *шутка сказать*. Не менее характерно для русского разговорного языка повторение предлогов, опять-таки сохраняющееся в диалектной речи, так же как и в языке фольклора (см. Гринкова, 1948; Собинникова, 1954). Повторение предлогов характерно и для делового языка, ср., например, в двинских грамотах: «Раднаа с шоуриею съ его съ игуменомъ съ Игнатемъ и съ братомъ его с Маноуилою» (Шахматов, 1903, с. 136); о повторении предлогов в берестяных грамотах см. Зализняк, 1995, с. 145–147, ср. с. 228–229, 475. Типичным синтаксическим русизмом является также употребление союза *а* в соединительном значении.

Иначе строятся, по-видимому, отношения между конструкциями с двойным винительным (*нарицати его князя*) и с творительным предикативным (*нарицати его князем*). Конструкция с двойным винительным представлена как в книжных текстах (где она коррелирует с аналогичной греческой синтаксической конструкцией), так и в текстах некнижных (Потебня, 1888, с. 508–509; Булаховский, 1950, с. 256); в частности, она встречается и в новгородских берестяных грамотах (Зализняк, 1995, с. 139). Напротив, конструкция с творительным предикативным в старославянских памятниках отсутствует и, вероятно, первоначально могла восприниматься как русизм; тем не менее достаточно рано она осваивается русским церковнославянским языком и становится, таким образом, его синтаксической характеристикой.

§ 8.10. Лексические явления. Остается сказать о лексических различиях между церковнославянским и русским языком. Собственно лексических различий, видимо, не было, поскольку

границы церковнославянского словаря не были строго фиксированы (ср. § 4.4); об особом рода противопоставлениях в сфере юридической терминологии мы говорили выше (§ 5.3). Однако были различия лексико-семантические, т.е. совпадающие по форме слова церковнославянского и русского языков могли иметь в них разное значение. Так, например, слово *животъ* в церковнославянском языке означает «жизнь», а в русском языке — «имущество» (обычно движимое, но также и недвижимое; ср. § 5.3); слово *гривна* означает в церковнославянском языке «ожерелье, кольцо», а в русском языке — «вес, денежная единица»; *губа* в церковнославянском означает «губка», а в русском — «губа» (в этом значении рус. *губы* соответствует церковнослав. *устынь*), «гриб», «залив», «уезд». Количество противопоставлений такого рода, очевидно, не может быть большим — в условиях тесного взаимодействия книжного и некнижного языков подобные примеры могут быть только единичными. Вместе с тем приведенные противопоставления не отличаются абсолютной четкостью и представляют собой результат известного обобщения. Так, лексемы со специфически русским значением могут встретиться в книжных текстах и в этом случае должны, видимо, рассматриваться как семантические русизмы (наличие таких лексем в книжном тексте может рассматриваться, вообще говоря, и как признак русского извода церковнославянского языка, ср. § 6.1), ср., например, *гривна* в значении «деньги» в Житии Феодосия (Усп. сб. XII–XIII в., л. 45а, 45б, 47г). Напротив, лексемы со значением, характерным для церковнославянских текстов, могут встретиться в некнижных текстах и в этом случае должны рассматриваться как семантические славнизмы.

Слово *животъ* встречается в русских текстах в значении «жизнь», но, кажется, только в составе устойчивых формул; на идиоматический характер такого рода употребления может указывать новгородская берестяная грамота № 519 конца XIV — начала XV в., представляющая собой завешание («рукописание»): «Се азъ рабъ Бжїи Мосии пишу рукописаниѣ при своѣмъ животѣ а приказываю животь свои дѣтемъ своимъ...»; слово *живот* употреблено здесь — в пределах одной фразы! — в разных значениях, означая в первом случае «жизнь», во втором «имущество».

Церковнослав. *рабъ* коррелирует с рус. *робъ*, причем церковнославянская и русская формы естественно ассоциируются в языковом сознании: в церковнославянских текстах можно встретить форму *робъ* (§ 8.1.1), в русских — форму *рабъ*. Поскольку слово *рабъ* характеризует отношения как в социальной, так и в религиозной сфере (§ 5.3), оно постепенно вытесняется в русском языке словом *холодъ*, не имеющим религиозных коннотаций (ср. в новгородской

берестяной грамоте № 109, конца XI — начала XII в.: «коупить еси робоу Пльскове... е ли оу него роба...»).

Если в приведенных выше примерах русское и церковнославянское значения взаимно противопоставлены друг другу, то в других случаях в церковнославянском языке имеет место специфическое значение, которое не характерно для русского языка. Так, церковнослав. *цѣловати* означает «приветствовать» и «целовать», тогда как в русском языке соответствующий глагол означает «целовать». В церковнославянском *пиво* означает «напиток» и «пиво», в русском же — только «пиво». Характерно, что в обоих случаях современный литературный язык отражает русскую, а не церковнославянскую семантику.

Уже в древнейший период мы встречаем попытки регламентировать употребление того или иного слова, что, видимо, соотносится с противопоставлением книжного и некнижного языка. Так, Феодосий Печерский, отвечая на вопрос князя Изяслава Ярославича, специально предупреждает, что слово *недѣля* следует употреблять в значении «воскресенье», но не в значении «неделя»: «...Недѣля не наричется недѣля, яко же вы глаголете, нѣ первый день всея недѣль наричется. Понеже Христосъ Богъ нашъ в тотъ день въскресе изъ мертвыхъ и наричется въскресный день. А понедѣльникъ наричется второй день...» (Еремин, 1947, с. 168). Слово *недѣля* уже в старославянском языке может употребляться в обоих указанных значениях (ср. употребление этого слова как в том, так и в другом значении как в Ассем. ев., л. 1b, 4a, 7d, 8b, 14la, так и в Остр. ев., л. 3a, 4a, 6a, 10b, 19b, 22g, 246a), однако Феодосий Печерский противопоставляет в данном случае правильное употребление — неправильному.

Отметим, что Феодосий Печерский называет воскресенье как «неделей», так и «воскресным днем» (это выражение калькирует греч. Ἀναστάσιμος ἡμέρα); это предвосхищает появление в русском языке слова *воскресенье*. В церковнославянском языке было при этом слово *седмица* (калька с греч. ἑβδομάς), представляющее собой специальное книжное обозначение недели, ср. в Богосл. Дамаскина XII—XIII в.: «седмицоу, рекыше недѣлю» (с. 334); что же касается слова *воскресенье*, то оно появляется в Московской Руси как некнижное обозначение воскресного дня (§ 13.1).

§ 8.11. Некоторые обобщения. Мы рассмотрели признаки, определяющие специфику книжного языка по сравнению с языком некнижным, — иначе говоря, те признаки, которые определяют противопоставление между церковнославянским и русским языком. Эти признаки могут иметь соотносительный или несоотносительный характер: в случае соотносительных признаков устанавливается

корреляция между элементами книжного и некнижного языка, в случае несоотносительных признаков такая корреляция отсутствует. В первом случае носитель языка может исходить из разговорной речи при порождении книжного текста, заменяя определенные формы живого языка на соотнесенные с ними книжные формы. Однако в случае несоотносительных признаков носитель языка не может поступать таким образом, и он вынужден исходить не из естественных для него речевых навыков, а из готовых образцов книжной речи. Так обстоит дело с большинством синтаксических признаков — здесь работают специальные синтаксические модели, на которые ориентируется писец при создании книжного текста.

Отношения книжных и некнижных элементов могут строиться по-разному. В одних случаях мы можем говорить о специфически книжных элементах, т.е. элементах, маркированных по признаку книжности, а в других случаях — об элементах специфически некнижных, т.е. маркированных по признаку некнижности. Соответственно и признаки, определяющие противопоставление книжного и некнижного языка, делятся на два класса: одни признаки выделяют специфически книжные элементы, другие выделяют элементы специфически некнижные. Так, например, формы аориста и имперфекта воспринимаются как безусловно книжные элементы, они заведомо не могут ассоциироваться с некнижным языковым полюсом, в то время как противостоящие им перфектные формы (причастие на -л со связкой или без связки) не обязательно соотносятся с разговорной речью и могут восприниматься как формы нейтральные. Таким образом, систематическое введение в текст форм аориста и имперфекта однозначно указывает на его книжный характер. Вместе с тем другие элементы выступают в языковом сознании как специфически некнижные. Так, например, формы с /ѣ/ на месте *tj ассоциируются исключительно с некнижным полюсом. Заметим, что несоотносительные признаки всегда выделяют специфически книжные элементы. Таким образом, рассматриваемое сейчас подразделение относится исключительно к признакам соотносительным. И в дальнейшем мы будем говорить только о соотносительных признаках.

Противопоставление книжного и некнижного языка не является стабильным, поскольку живой язык находится в непрерывном изменении (не говоря уже о том, что в разных диалектных условиях книжный и некнижный языки противопоставляются разным образом), и это сказывается на том, как книжный язык противопоставляется некнижному. В результате эволюции живого языка могут создаваться новые противопоставления и переосмысляться старые (такие же процессы могут быть обусловлены и изменением

нормы книжного языка, но мы не будем на них сейчас останавливаться, поскольку изменение нормы книжного языка является предметом дальнейшего рассмотрения).

Так, например, в русском языке окончания дат., тв., мест. мн. числа *а*-склонения *-амъ/-ами/-ахъ* распространяются на другие типы склонения. Возникающие в результате этой инновации формы типа *столамъ, столами, столахъ* могут восприниматься как специфические русизмы, противопоставленные формам на *-омъ/-ы/-ѣхъ* (которые в зависимости от перспективы рассмотрения могут расцениваться либо как книжные, либо как нейтральные). Другой случай представляет история окончаний прилагательных род. ед. муж. и ср. рода. Для определенного периода здесь устанавливается оппозиция церковнослав. *-аго* — рус. *-ого*. В ходе развития русского языка окончание *-ого* вытесняется в значительной части говоров окончанием *-ово* (*-ова*). Возникающие в результате этой инновации формы с окончанием *-ово* (*-ова*) выступают как специфически некнижные. Вместе с тем этот процесс имеет и другой результат, а именно, формы с окончанием *-ого* перестают соотноситься с разговорной речью и поэтому могут переосмысливаться как формы книжные или во всяком случае как нейтральные. Что же касается форм с окончанием *-аго*, то они оказываются в положении специфически книжных форм (ср. § 8.3.5). Наконец, в условиях церковнославянского влияния на русский язык некнижный язык осваивает определенные церковнославянские формы, и это также меняет характер отношений между книжным и некнижным языком. Так, усвоение некнижным языком целого ряда неполногласных форм приводит к тому, что соответствующие формы перестают осмысливаться как специфически книжные, при том что противопоставленные им полногласные формы могут осмысливаться как формы специфически некнижные. Таким образом, в результате изменений живого языка соотношение книжных и некнижных элементов может переживать весьма разнородные перестройки.

Итак, в условиях инновации новые формы закономерно воспринимаются как специфически некнижные (т.е. создаются признаки, выделяющие специфически некнижные элементы); в то же время старые, вышедшие из живого употребления формы начинают функционировать как формы нейтральные, что может приводить к переосмыслению противопоставленных им церковнославянских форм как форм специфически книжных (т.е. создаются признаки, выделяющие специфически книжные элементы). К аналогичным результатам приводит и усвоение некнижной речью книжных элементов: эти элементы начинают восприниматься как нейтральные, а противопоставленные им элементы живого языка — как элементы

специфически некнижные. Следует отметить, что последний процесс имеет принципиально более сложный характер, поскольку он затрагивает прежде всего отдельные формы, а не признаки, — соотнесение этого процесса с признаками имеет вторичный характер и предполагает специальное преобразование языкового сознания.

Как мы видим, набор признаков, противопоставляющих книжный и некнижный язык, и характер противопоставления по тем или иным признакам достаточно изменчивы. Вместе с тем эта изменчивость неодинаково характеризует разные признаки. Одни противопоставления носят стабильный характер, а другие — нестабильный. Действительно, можно выделить ряд признаков, которые последовательно противопоставляют книжный и некнижный язык на всех этапах развития и во всех ареалах. К таким признакам относятся, например, формы аориста и имперфекта — их употребление выступает как постоянный признак книжности. Другие признаки, как было показано, возникают в результате эволюции некнижного языка. Наконец, возможен и такой случай, когда какие-то признаки перестают противопоставлять книжный и некнижный язык: например, окончание *-e* в им. ед. **o*-склонения, свойственное новгородскому диалекту и противопоставлявшее в новгородско-псковском ареале некнижный язык книжному (§ 8.3.6), в результате конвергентных процессов исчезает из диалектного языка, а тем самым перестает функционировать соответствующий признак.

Остается сказать, что противопоставление по тем или иным признакам может нейтрализоваться при создании тех или иных текстов на книжном языке: автор сосредоточивает свое внимание на одном наборе признаков, тогда как признаки, стоящие вне этого набора, оказываются в данном случае нерелевантными; в случае нерелевантных признаков здесь может наблюдаться свободная вариация тех форм, которые в других текстах противопоставляются как книжные и некнижные. Для определения статуса языка важны здесь, естественно, только релевантные признаки. Нейтрализации такого рода можно наблюдать, в частности, в летописях. Можно предположить, что существует определенная иерархия признаков, которая проявляется в том, что противопоставления по одним признакам нейтрализуются более свободно, чем по другим. Вопрос этот подлежит специальному исследованию.

Часть II

**ВТОРОЕ
ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ ДВУХ
РЕДАКЦИЙ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА**

§ 9. Культурно-исторические предпосылки

§ 9.1. Из историографии вопроса. Второе южнославянское влияние имеет место с конца XIV в. На второе южнославянское влияние как на кардинальное событие истории русского литературного языка первым обратил внимание А. И. Соболевский (Соболевский, 1894). Открытие Соболевского получило широкое признание. Сам факт второго южнославянского влияния можно считать бесспорно установленным; тем не менее, со времени Соболевского наши знания об этом событии увеличились ненамного. Как и в случае первого южнославянского влияния, очень четкие и несомненные языковые показания, свидетельствующие о влиянии южнославянской книжной традиции на русскую, сочетаются с почти полным отсутствием прямых исторических свидетельств относительно южнославянского-русских культурных контактов (ср. § 3.1.3). В результате как для того, так и для этого периода мы имеем много недоказанных предположений и недостоверных утверждений, которые, повторяясь из книги в книгу, приобретают характер наукообразной мифологии (следует отметить, что Соболевский не несет ответственности за те мифы, которые создались вокруг второго южнославянского влияния, — все его выводы относятся к филологической стороне проблемы и полностью сохранили свою значимость).

Одним из таких мифов, создавшихся вокруг второго южнославянского влияния, является положение о массовой иммиграции южных славян на русскую территорию, которая была обусловлена, как полагают, турецким завоеванием Балканского полуострова. Однако следует иметь в виду, что завоевание Балканского полуострова не было мгновенным, а длилось почти целое столетие, завершившись лишь в середине XV в. Таким образом, этот процесс, захвативший несколько поколений, ни в коей мере нельзя рассматривать как внезапную катастрофу, вызвавшую поток беженцев в другие страны. Мнение о том, что борьба Балкан против турецкого нашествия была борьбой христиан против мусульман

или же славян против турок, в известной мере преувеличено. Эта борьба отнюдь не была сплоченной, осложняясь междоусобными распрями, при которых турки могли выступать не только как противники, но и как союзники (ср. поведение русских князей во время татаро-монгольского нашествия). Как длительность процесса, так и междоусобный характер столкновений приводили к тому, что миграция населения, вызванная турецким нашествием, если вообще принимала сколько-нибудь значительные размеры, имела место главным образом в пределах Балканского полуострова; незачем было бежать в Москву или Новгород, когда можно было уйти в соседний монастырь или в соседний город. Возможна была и эмиграция в соседние Молдавию или Валахию, которые сохранили политическую автономию; характерно, что на этой территории сохраняется среднеболгарский извод церковнославянского языка, исчезнувший в самой Болгарии. Иногда полагают, что в условиях турецкого завоевания стало невозможным продолжение книжной деятельности. И это предположение вряд ли обосновано; книжная деятельность продолжалась и под турецким владычеством, прежде всего на Афоне и в других монастырях, и до нас дошли сотни болгарских рукописей XV в. (точно так же и татарское владычество на Руси никак не препятствовало такой деятельности) (см. Талев, 1973, с. 67–77).

Как бы то ни было, у нас нет никаких исторических свидетельств, которые подтверждали бы факт массовой эмиграции южных славян в Россию (см. Талев, 1973, с. 75 сл.). Мы можем говорить лишь о нескольких выходцах из южнославянских земель, которые при этом совсем не были эмигрантами, — правда, выдающихся по своему авторитету и по тому положению, которое они занимали в России. Это прежде всего два болгарина — митрополиты Киприан и Григорий Цамблак; кроме того, в середине XV в. на Руси подвизался серб Пахомий Логофет, афонский инок, агиограф и литургист — он переработал целый ряд уже существовавших житий святых и составил ряд новых, в частности, житие Кирилла Белозерского; он занимался также составлением служб русским святым. Из этих трех фигур только первые две могли иметь отношение к началу второго южнославянского влияния, поскольку Пахомий Логофет действовал уже в период расцвета этого влияния.

Киприан (около 1330–1406) впервые прибыл в Москву в 1374 г. в качестве посла константинопольского патриарха. В 1375 г. он был поставлен в митрополиты Киевские и Литовские (с резиденцией в Киеве), с тем чтобы после смерти митрополита Алексия стать митрополитом Киевским и всея Руси (с резиденцией в Москве). Поставление Киприана в митрополиты (призванное удовлетворить политические претензии великого князя литовского Ольгерда)

фактически означало разделение митрополии, возглавлявшейся митрополитом Алексием, — при том, что формально митрополия оставалась единой: за Алексием оставались великорусские епархии, тогда как Киприан возглавил епархии Литовской и, возможно, Галицкой Руси. Определение «киевский» в первоначальном титуле Киприана предусматривало возможность перехода в Москву без нарушения канонического правила, запрещающего перемещение епископов с одной кафедры на другую; таким образом, это определение, которое входило в титул обоих митрополитов, имело разное значение: в случае Киприана оно означало непосредственно киевскую кафедру, в случае Алексия — преемственную связь московской кафедры с киевской (см. Успенский, 1998, с. 381–386, 402). Итак, поставление Киприана в митрополиты, с одной стороны, отражало фактическое разделение единой некогда русской митрополии (обусловленное политическим размежеванием Руси), с другой же стороны, было призвано положить конец этому разделению. После смерти митрополита Алексия (1378 г.) Киприан в 1381 г. вступил на московскую кафедру как митрополит Киевский и всея Руси, однако в 1382 г. был изгнан из Москвы великим князем Дмитрием Ивановичем (Донским), что привело к новому разделению митрополии. После смерти Дмитрия Донского (1389 г.) Киприан добивается своего восстановления на московской кафедре и занимает эту кафедру с 1390 г. до своей смерти в 1406 г.

Григорий Цамблак (1360-е гг. — 1419/1420) воспитывался в Тырновне в кругу тырновского патриарха Евфимия, которого он считал своим духовным учителем (см. его «Похвальное слово» патриарху Евфимию: Русев и др., 1971). В дальнейшем он принадлежал к константинопольскому клиру, а одно время был игуменом сербского Дежанского монастыря. Первые известия о пребывании Григория Цамблака на Руси относятся к 1406 г., когда он был вызван Киприаном, но на пути, находясь в Литовской Руси, получил известие о смерти Киприана. В 1409 г. Цамблак пишет «Надгробное слово» митрополиту Киприану (Леонид, 1872); по-видимому, он находился в это время на Руси (скорее всего, в Литовской Руси). Во всяком случае он был в Литовской Руси в 1414 г., когда возник вопрос о его поставлении в митрополиты.

После смерти митрополита Киприана (1406 г.) Витовт, великий князь литовский, послал в Константинополь полоцкого епископа Феодосия для поставления на митрополию Киевскую и всея Руси, мотивируя это тем, что митрополит должен находиться в Киеве, а не в Москве; при этом Киев находился во владениях Витовта, что и давало ему основание предложить кандидата в митрополиты. Одновременно в Константинополь было отправлено посольство великого князя московского, Василия Дмитриевича, который просил, чтобы патриарх и император избрали и прислали митрополита в Москву «по старой пошлине», т.е. следуя уже установленной традиции. В соответствии с последней просьбой в Константинополе был поставлен грек Фотий, который должен был

управлять русскими епархиями, находясь в Москве, в области московского великого князя; Фотий был поставлен на митрополию в 1408 г. и прибыл в Москву в 1410 г. После этого в 1414 г. собор епископов Литовской Руси, созванный Витовтом, избрал Григория Цамблака киевским митрополитом и отправил его в Константинополь для поставления. Поскольку митрополитом Киевским и всея Руси был в это время Фотий, имелось в виду, по-видимому, образование особой митрополии для Литовской Руси, т.е. разделение общерусской митрополии; возможно, предлагалось повторить то, что имело место в 1375–1378 гг., когда два митрополита, Алексей и Киприан, именовались «киевскими», разделяя при этом свои полномочия. Патриарх (Евфимий II) отказался поставить Цамблака, и тогда в 1415 г. епископы Литовской Руси поставили его в митрополиты Киевские и всея Руси, ссылаясь при этом как на канонические правила, так и на прецеденты поставления митрополита или патриарха без санкции Константинополя (см. Успенский, 1998, с. 31–38); поставление Цамблака в митрополиты состоялось в Новогрудке (Новогрудок или Новгородок, Новгород Литовский, наряду с Киевом, Владимиром, а также Москвой, являлся седалищем митрополита киевского). Поскольку Григорий Цамблак был поставлен независимо от патриарха, теоретически его власть распространялась на все епархии, принадлежащие к митрополии Киевской и всея Руси; характерно в этом плане послание Цамблака тверскому великому князю 1416 г. (ГИМ, Муз. 1209, л. 226–227; ср. Макарий, III, с. 525–526). Иными словами, номинально он возглавлял все русские епархии, фактически же ему подчинялись те епархии, которые входили в область Великого княжества Литовского (равным образом и Фотий номинально возглавлял в это время все русские епархии, но фактически он мог управлять лишь частью общерусской митрополии). Поставление Григория Цамблака означало разрыв как с Москвой, так и с Константинополем, и он был предан анафеме. В дальнейшем (в 1418 г.) Цамблак принял участие в Констанцском соборе католической церкви, где обсуждался вопрос о соединении церквей, и встречался с папой (Мартин V). Цамблак поехал на Констанцкий собор, видимо, по инициативе Витовта, но вполне вероятно, что идея объединения церквей была ему близка; отметим, что сторонником унии с католиками был и митрополит Киприан.

Как митрополит Киприан, так и митрополит Григорий Цамблак были хорошо образованными людьми, в совершенстве владевшими греческим языком. Оба они занимались литературной деятельностью. Так, митрополит Киприан написал житие митрополита Петра, перевел служебник (ср. запись писца в рукописном служебнике конца XIV в., ГИМ, Син. 601, л. 72: «Сии служебник переписал от грецких книг на руский язык рукою своею Киприан смиренный митрополит киевский и всея Руси...», а также аналогичную по содержанию запись на л. 132 об.). Он переписывал книги (ср. свидетельства летописей о его приверженности «книжному писанию»: ПСРЛ, VI, 2, стлб. 16; ПСРЛ, VIII, с. 78; ПСРЛ, XI, с. 195;

ПСРЛ, XVIII, с. 151); как мы знаем, переписывание в Древней Руси предполагало редактирование и рассматривалось как неотъемлемая часть литературной деятельности (§ 5.1). В частности, в 1387 г., находясь в константинопольском Студийском монастыре, он переписал Лествицу Иоанна Лествичника, которая дошла до нас в автографе (ГБЛ, ф. 173, № 152; ср. запись писца на л. 279 об.). Существуют и другие тексты, которые традиция связывает с именем Киприана, однако они дошли до нас в более поздних списках (Князевская и Чешко, 1980). Литературной деятельностью занимался и митрополит Григорий, который был очень плодовитым автором, в частности, выдающимся проповедником, ср. известие о его смерти в Никоновской летописи: «Тоѡ же зимы умре Григорей митрополитъ Цамблакъ на Кіевѣ, родомъ болгаринъ, книженъ зѣло, изученъ убо бѣ книжней мудрости всяцей изъ дѣтства, и много писаніа, сотворивъ остави» (ПСРЛ, XI, с. 235). Судьба этих двух болгарских деятелей сложилась по-разному: Киприан был признан святым, а Григорий — анафематствован. Вплоть до середины XVII в. в чин поставления епископа в Московской Руси входило проклятие Цамблака (Успенский, 1998, с. 34–35). Тем более любопытно, что сочинения Григория Цамблака пользовались большой популярностью в Московской Руси; уже в XV в. здесь появляются сборники его слов (Турилов, 1986, с. 163, 224, 292, №№ 1500, 2317, 3206, 3207), которые могут называться его именем: «Книга глаголемая Цамблакъ» и т.п., а в XVI в. московский митрополит Макарий ввел его сочинения в свои Четыи Минеи под названием «Книга Григория Самвлака». Можно предположить, что авторитет Цамблака в Московской Руси объясняется деятельностью Пахомия Логофета.

Итак, массовой иммиграции южных славян в Россию не было. Вместе с тем, второе южнославянское влияние имело исключительно широкий характер: оно отражается на всем, что связано с книжной и — шире — с церковной культурой: на языке, на палеографии, на оформлении книги, на иконописании. Даже если считать, что митрополиты Киприан и Григорий приехали на Русь не одни, а со своим окружением (что очень вероятно), и что в их окружении были какие-то южнославянские книжники, это никак не объясняет того масштаба, который приняло второе южнославянское влияние.

Другим мифом, связанным со вторым южнославянским влиянием, является утверждение, что это влияние было непосредственным продолжением южнославянской sprawy — тырновской, под которой понимаются книжные реформы патриарха Евфимия Тырновского, и ресавской. В настоящее время доказано, что тырновской sprawy, т.е. языковой реформы Евфимия Тырновского, не было вообще. Хотя патриарх Евфимий действительно был известным литературным деятелем (писателем и переводчиком), который пользовался необычайно высоким авторитетом среди южно-

славянских книжников — ср. панегирические отзывы Григория Цамблака в «Похвальном слове» Евфимию (Русев и др., 1971, с. 164–168) и Константина Костенечского в сказании «О писменех» (Ягич, 1896, с. 102–103, ср. с. 81–82, 202), — с его именем нельзя связать сколько-нибудь заметной нормализации церковнославянского языка: церковнославянский язык в Болгарии приобрел нормализованную орфографию, грамматику и лексику задолго до того, как Евфимий стал патриархом (Талев, 1973, с. 162, 174, 178, 181, 183). Что же касается так называемой ресавской sprawy, то с ней также много неясного и во всяком случае нет оснований рассматривать ее как фактор второго южнославянского влияния (ср. § 9.2 об отношении русских книжников к рукописям сербского извода).

Важно отметить, что ко времени второго южнославянского влияния болгарская и сербская письменность были в значительной степени нормализованы, т.е. подверглись книжной справе. У южных славян эта справа могла связываться с теми или иными авторитетными именами или центрами. Так, болгарский книжник Константин Костенечский (XV в.) ссылается на авторитет патриарха Евфимия Тырновского (Ягич, 1896, с. 102–103, ср. 81, 202) и называет «добрым» «извод ресавский или трънов'ский» (там же, с. 249, ср. с. 230), ср. еще позднейшую ссылку на авторитет «старых прѣводникъ ресавскихъ» в хиландарском Апостоле 1660 г. (Богданович, 1978, с. 83). Для русской книжности, однако, имели значение не те или иные имена или центры, а самый прецедент нормализации. Действительно, значение второго южнославянского влияния заключается именно в начале последовательной книжной sprawy на Руси. В этом смысле второе южнославянское влияние связано с позднейшими реформами патриарха Никона и его последователей в процессе третьего южнославянского влияния (§ 17.1). Знаменательно, что во второй половине XVII в. справщики могут апеллировать к авторитету митрополита Киприана, подчеркивая преемственность своей деятельности (§ 16.1).

Об авторитете митрополита Киприана свидетельствует тот факт, что его духовная грамота (см. текст: ПСРЛ, XI, с. 195–197; ср. ПСРЛ, IV, 2, с. 400–404; ПСРЛ, V, с. 254–256; ПСРЛ, VI, 1, с. 527–530; ПСРЛ, VI, 2, с. 17–22; ПСРЛ, VIII, с. 79–80; ПСРЛ, XVIII, с. 152–153) послужила моделью для других завещаний духовных лиц, в частности для духовной грамоты Кирилла Белозерского 1427 г. (см. текст: АИ, I, № 32); в летописи сказано: «По отшествіи же сего митрополита и прочіи митрополити русїи и донынѣ, переписывающе сію грамоту, повелѣваютъ, въ преставленіе свое въ гробъ въскладающея, также прочитати въ услышаніе всѣмъ» (ПСРЛ, VIII, с. 80; ПСРЛ, XI, с. 197; ПСРЛ, XVIII, с. 153; ср. ПСРЛ, VI, с. 133). Существенно отметить, что для своего времени грамота митропо-

лита Киприана явно была необычной, ср. рассказ о кончине Киприана в летописи: «...и преже преставленіа своего за 4 дни написа грамоту незнаему и страннотѣпну яко прошалную и ако въ образъ прошеніа...» (ПСРЛ, VIII, с. 78; ПСРЛ, IV, 1, с. 400; ПСРЛ, V, с. 254; ПСРЛ, VI, 1, с. 526; ПСРЛ, VI, 2, с. 17; ПСРЛ, XVIII, с. 151; ср. ПСРЛ, XI, с. 195).

§ 9.2. Второе южнославянское влияние: пурификаторские и реставрационные тенденции. Поскольку второе южнославянское влияние не связано с иммиграцией южных славян и не может рассматриваться как непосредственное перенесение южнославянских книжных реформ на русскую почву, причины его возникновения следует искать в самой России. Этой внутренней, а не внешней причиной явилось стремление русских книжников обновить свою письменность, очистить свой литературный язык от всего того, что могло бы рассматриваться как порча этого языка. Основная роль в этом процессе принадлежала, таким образом, не южнославянским учителям, а самим русским книжникам. Южнославянский извод церковнославянского языка послужил той моделью, на которую ориентировались русские книжники, однако специфические орфографические, грамматические и лексические признаки, относящиеся к той или иной локальной редакции, более или менее тщательно устранялись в русских копиях. Как правило, южнославянские рукописи копировались русскими писцами в международных центрах православной церковной жизни — в Константинополе и на Афоне, — и при этом локальные признаки устранялись уже в первых копиях.

Необходимо различать субъективный и объективный аспекты второго южнославянского влияния. В субъективном плане действовало стремление очистить церковнославянский язык, возвратив его к первоначальному, исходному состоянию. Объективно же имело место влияние южнославянской культурной традиции. В результате осуществляется искусственная архаизация языка через призму южнославянской книжной традиции.

Влияние именно южнославянской традиции обусловлено тем, что она воспринимается как архаичная, а тем самым и как наиболее авторитетная. Поскольку церковнославянский язык пришел на Русь от южных славян, специфические южнославянские черты воспринимаются на Руси как архаические. Другим фактором, определяющим престиж южнославянской редакции церковнославянского языка, является представление о более тесной связи южнославянской и греческой культурных традиций. У южных славян были постоянные живые контакты с греками, у них постоянно осуществлялись переводы с греческого на церковнославянский язык, и

это накладывало отпечаток на характер южнославянского извода церковнославянского языка (насыщенность заимствованиями, кальками с греческого, сохранение некоторых черт греческой орфографии). Наконец, как уже говорилось, важную роль должно было играть и то обстоятельство, что у южных славян с XIII в. имела место книжная справа, т.е. последовательная тенденция к нормализации церковнославянского языка.

Таким образом, речь шла не о специальном заимствовании чужой нормы, а о возвращении к общей церковнославянской норме, к исходному состоянию церковнославянского языка, которая, по мысли русских книжников того времени, была и на Руси в начальный период русского христианства. Разумеется, эти представления были утопическими, однако именно эти утопические представления и оказали влияние на формирование новой нормы церковнославянского языка. Стремление русских книжников не заимствовать чужую норму, а воссоздать свою определяет их ориентацию не на балканские страны, а на интернациональные и, в частности, межславянские культурные центры, такие как Константинополь и Афон. В этих центрах книжники из разных южнославянских стран находились в непосредственном общении (Дуйчев, 1963; Мошин, 1963; Вздорнов, 1968). Понятно, что в таких центрах стремились к выработке единых общеславянских норм церковнославянского языка, а не к усовершенствованию его частных изводов.

Следует отметить, что это центры межславянские, но одновременно и славяно-греческие; как мы увидим ниже, второе южнославянское влияние непосредственно связано с византинизацией церковнославянского языка и церковной культуры. Тексты, переписанные в Константинополе и на Афоне, вообще пользовались определенным престижем в славянском мире. Так, в некоторых южнославянских рукописях второй половины XIV в. можно встретить утверждение о правильности афонской редакции церковнославянского языка — «извода светогорского правога» (запись на сербской Триоди 1374 г. — Стоянович, I, с. 47, № 144).

Такое же отношение к афонским рукописям наблюдается затем и на Руси: так, в описи Иосифо-Волоколамского монастыря 1545 г. значится «Лъствица... святогорская словеть», которая служит для изготовления списков (Георгиевский, 1911, прилож., с. 14; Турилов, 1977, с. 72).

Соответственно объясняется и устранение специфических черт той или иной локальной редакции. Если первостепенное значение сначала приобретает болгарская редакция церковнославянского языка, то это происходит именно потому, что эта редакция не была связана исключительно с болгарскими культурными центрами

ми, но в значительной степени обслуживала и других славян. К первой половине XIV в. болгарский церковнославянский язык приобрел характер междиалектного и в большой степени межнационального (прежде всего межславянского) способа коммуникации (помимо славян, этот язык обслуживал православных романцев на территории Молдавии, Валахии и т.п.). Вместе с тем, болгарское и сербское влияние последовательно чередуются, что соответствует, по-видимому, меняющейся роли болгар и сербов в афонских монастырях (Вздорнов, 1968, с. 181–183; Талев, 1973, с. 193). В целом же приходится говорить об общем болгаро-сербском влиянии (следует иметь в виду, что разница между болгарским и сербским изводами церковнославянского языка была в это время незначительной и проявлялась главным образом в орфографии, тогда как грамматических различий почти не наблюдается; во многих случаях крайне трудно определить болгарское или сербское происхождение южнославянского памятника XI–XIV вв.; это различие тем более нивелировалось при пересадке южнославянской традиции на русскую почву).

Особая роль болгарского извода церковнославянского языка обусловлена двумя факторами. С одной стороны, этому способствовала ревизия среднеболгарских текстов в соответствии с греческими оригиналами, т.е. книжная справа у болгар, которая начинается еще в XIII в. и длится затем на протяжении почти всего XIV в. С другой стороны, этому способствовало то, что орфография среднеболгарских текстов особенно близка к орфографии старославянских памятников и, вместе с тем, приближается — при написании гречизмов — к греческой орфографии; отсюда она может восприниматься как архаическая, исконная (Талев, 1973, с. 366–370).

Характерно, что сербское происхождение рукописи — в отличие от болгарского — обычно отмечается в описях русских монастырских библиотек: по-видимому, рукописи сербского извода воспринимались на Руси как нечто необычное (Турилов, 1977, с. 69; ср. Сперанский, 1921/1960, с. 13).

Об интернациональном характере второго южнославянского влияния говорит и тот факт, что это влияние имело двусторонний характер. Наряду с южнославянским влиянием на русскую книжную традицию мы наблюдаем и обратное — русское культурное влияние в южнославянских странах (Сперанский, 1960, с. 55–103; Лихачев, 1958, с. 14–15). Правда, у нас здесь меньше фактов, но это объясняется как историческими обстоятельствами (турецкое завоевание Балканского полуострова), так и вообще тем, что болгарское и сербское письменное наследие сохранилось несравненно хуже, чем русское. Показательно во всяком случае, что в то время, как русские книжники сознательно ориентируются на южнославянскую книжную традицию, южнославянский книжник

Константин Костенечский (XV в.) восхваляет русский язык, утверждая, что в основание церковнославянского языка лег не «дебелѣйший» болгарский язык, не «высокий» сербский, но «тънчаишии и краснѣишии роушкии кзыкъ» (Ягич, 1896, с. 108–110, ср. с. 88–89; о форме *роуш(ь)кыи* «русский» см. Лавров, 1928, с. 40–41). Сходное мнение высказывает в середине XVII в. хорват Юрий Крижанич (Крижанич, 1859, предисловие «К читателю», а также с. I–II; об аналогичных взглядах других хорватских книжников XVII–XVIII вв. см. Засадкевич, 1883, с. 192–204). Из того же источника, вероятно, объясняется утверждение Матвея Стрыйковского (XVI в.) о том, что «древнейшим языком славянским был, кажется, русский, московский» (Стрыйковский, 1582, с. 109).

Можно предположить, что это мнение так или иначе восходит к Житию Кирилла Философа, в VIII главе которого говорится о том, как Кирилл обрел в Херсоне Евангелие и Псалтырь, написанные «рускими» буквами («роуьскими писмены писано» — Лавров, 1930, с. 12). Таким образом, «русский» язык согласно авторитетному для славянских книжников Житию Кирилла оказывается у истоков славянской письменности. В настоящее время можно считать доказанным, что слово «русский» стоит здесь на месте «сирский» (т.е. сирийский), представляя собой результат неправильного прочтения (скорее всего, за счет метатезы *сур-* ~ *рус-*); характерно в этом смысле, что в XVI главе Жития вместо обычного *соури* читается в ряде списков *роуи* (Ягич, 1896, с. 3, примеч. 49; ср. Вайан, 1935, с. 76); ср., вместе с тем, проложное житие Кирилла Туровского по списку XIV–XV в., где вместо *руския* значителся, напротив, *сурьския* (Никольский, 1907, с. 64; ср. Якобсон, 1944, с. 183). Таким образом, Кириллу приписывается знакомство с сирийским переводом св. Писания, однако в результате неправильного прочтения «сирский» был переосмыслен как «русский». Это же переосмысление прослеживается и в сербских списках «Сказания о писменех» черноризца Храбра, где вместо *асиреомь* стоит *роусомь* и утверждается, что Адам говорил не «сирским» (сирийским), а «роушшкимъ езикомъ», т.е. и здесь «сирский» заменяется на «роушшкий» (Стипичевич, 1964, с. 53, 54, 56; ср. Иванова, 1969, с. 74); об особом отношении к сирийскому языку в славянской письменности и вообще в христианской традиции см. Успенский, 1979/1996, с. 59–64. Константин Костенечский был несомненно знаком с этими памятниками — его трактат обнаруживает вообще непосредственную зависимость от сочинения черноризца Храбра — и писал, явно основываясь на традиции указанного переосмысления. Эта традиция получила новую значимость в условиях, когда Россия воспринималась как хранительница православного благочестия, что естественно распространялось и на представления о чистоте сохранившегося здесь языка.

Необходимо иметь в виду, что церковнославянский язык представляет собой по своей функции язык интернациональный, и по-

этому периодически возникает тенденция к устранению локальных признаков национальных редакций. Практически эта тенденция выражается, как правило, в экспансии наиболее авторитетного (по тем или иным причинам) извода на всю территорию православного славянства. В этом смысле история церковнославянского языка (охватывающая разные его изводы) «есть довольно последовательная смена периодов централизации... и децентрализации... в плане структурно-нормативном и миграция центров... в плане экстралингвистическом» (Толстой, 1963, с. 232).

§ 9.3. Второе южнославянское влияние: грекофильские тенденции. Наряду с тенденцией к реставрации в процессе второго южнославянского влияния действовала тенденция к византинизации русской книжной культуры. Обе эти тенденции органически объединялись. Южнославянская традиция в большой степени выступает как авторитетный и практически доступный проводник греческого влияния (то же самое имело место, как мы видели, в период первого южнославянского влияния); между тем в период третьего южнославянского влияния в соответствующей роли будет выступать югозападнорусская традиция, кстати, в значительной степени развивающая второе южнославянское влияние (ср. § 13.4). Как мы уже говорили, одной из причин авторитета южнославянской книжной традиции в глазах русских книжников послужила именно большая близость южнославянских (болгарских и сербских) изводов церковнославянского языка к греческому языку, которая объясняется, в свою очередь, относительно более тесными контактами южных славян с греками. Необходимо иметь в виду, что в период, предшествующий второму южнославянскому влиянию, у балканских славян наблюдаются «архаизаторские и декадентские тенденции на византийский манер» (Винокур, 1959, с. 60). Сочинения южнославянских книжников часто производят впечатление перевода с греческого — хотя бы это и были оригинальные произведения — ввиду следования греческим грамматическим конструкциям, насыщенности грецизмами, элементов греческого правописания и т.п. (так, например, у Евфимия Тырновского или Константина Костенечского). Показателен в этом отношении трактат Константина Костенечского «О писменех», в котором особо подчеркивается значение греческого языка и греческого правописания. И. В. Ягич писал о Константине: «Он сам был по воспитанию и образованию скорее грек, чем славянин; его уступчивость авторитету греков не знала пределов, он смотрел на них как на естественных посредников между евреями и славянами в отношении церковно-христианской письменности... Поэтому первым и главным правилом для Константина существовало —

безусловное подражание всему греческому... Эта зависимость от греков доходила у Константина до того, что он даже принятому порядку букв славянского алфавита не сочувствовал, считая более разумным познакомить мальчика сначала с 24 буквами алфавита греческого» (Ягич, 1896, с. 84–85). Эта связь южнославянского и греческого влияния обусловлена тем, что возрождение церковнославянского языка органически объединяется в русском культурном сознании с ренессансом православной идеологии. То и другое представляет собой два аспекта единого культурного процесса. В XIV в. явно делается попытка восстановить *Slavia Orthodoxa* как единое культурно-политическое целое, возглавляемое Византией и способное противостоять экспансии ислама. Это возрождение требовало единой культуры, т.е., среди прочего, единого культурного языка и единой идеологии. Таким единым культурным языком и должен был стать унифицированный церковнославянский, тогда как роль единой идеологии предназначалась исихазму как комплексу богословских и социально-политических воззрений (см. об исихазме: Мейендорф, 1974; Мейендорф, 1974а). Именно это и связывает исихазм со вторым южнославянским влиянием. Иногда полагают (Лихачев, 1958; Талев, 1973, с. 184–194), что исихазм и обусловил второе южнославянское влияние как культурное явление. С этим трудно согласиться: не исихазм как идеологическое течение принес второе южнославянское влияние, но второе южнославянское влияние как струя, связанная с Византией, принесло в Россию ту идеологию, экспансия которой входила в задачи Византии.

Вообще, византийское влияние в период так называемого второго южнославянского влияния проявилось отнюдь не только в письменно-языковой традиции, но в самых разнообразных аспектах культуры. Однако «если для письменности византийское влияние в XIV–XV вв. составляло в основном как бы часть южнославянского, то для живописи, напротив, южнославянское входило составной частью в объединяющее его византийское влияние» (Лихачев, 1958, с. 7–8). Здесь очевидным образом сказывается различие между словесными и изобразительными средствами выражения: изобразительное искусство воспринимается непосредственно, тогда как словесное нуждается в переводе. В обоих случаях церковнославянская культура подчиняется греческой — как дочерняя материнской, — но в одном случае греческий язык воспринимается через призму церковнославянского, в другом же случае церковнославянское искусство функционирует как часть греческого.

Следует иметь в виду, что болгарское искусство и литература XIV в. лишены национальной специфики. Они являют собой часть византийской культуры, и именно эта сторона привлекала русских.

Отсюда южнославянские образцы служили способом для приближения русской культурной жизни к византийскому уровню.

Возрождение в рассматриваемый период византийско-русских культурных связей было тем более актуально, что связи эти в XIII в. пришли в упадок. Это было обусловлено, с одной стороны, татаро-монгольским нашествием (хотя татары непосредственно и не вмешивались в церковную жизнь), с другой же стороны, завоеванием Константинополя крестоносцами (1204–1261 гг.). В дальнейшем, как мы увидим, Россия берет на себя миссию сохранения и продолжения византийской культуры (§ 16.2).

В виду связи второго южнославянского влияния с византизацией русской культуры представляется неслучайной та роль Константинополя и Афона, о которой мы говорили выше. Начало работы русских книжников в Константинополе предшествует второму южнославянскому влиянию. Оно обозначено появлением таких памятников русской письменности, как Чудовский Новый Завет середины XIV в. (предположительно 1354 г.), а также Евангелие 1383 г. (ГИМ, Син. 742) и Диоптра 1388 г. (ГИМ, Чуд. 15). Эти памятники были написаны в Константинополе; относительно Евангелия и Диоптры мы знаем это из записей писцов, где обозначено как время, так и место написания рукописи (ГИМ, Син. 742, л. 281; ГИМ, Чуд. 15, л. 90 об.—91), что же касается Чуд. Нов. Завета, то на место его написания указывает палеографическая близость к глоссам на рукописи Венской библиотеки, о которой мы скажем ниже.

По преданию, зафиксированному в XVII в. в ряде рукописей, которые могут быть так или иначе связаны с деятельностью чудовского инока Евфимия — см. Житие Алексия, отредактированное Евфимием (ГИМ, Син. 596, л. 16); предисловие к переводу Евангелия, осуществленного Епифанием Славинецким (ГБЛ, ф. 310, № 1291, л. 6 об.—8, ср. Евгений, I, с. 182–183, см. также ниже, § 17.4); Увещание патриарха Адриана против хулителей книжных исправлений (ГИМ, Син. 423, л. 21, ср. Горский и Невоструев, II, 2, с. 598, Поляков, 1990, с. 271), — Чуд. Нов. Завет был написан митрополитом Алексием в то время, когда он был в Константинополе в связи со своим поставлением на митрополию (1353–1354 гг., см. Мейендорф, 1967, с. 283). В рукописи несколько почерков, но Четвероевангелие написано одним почерком (Корнеева-Петрулан, 1938, с. 3), что, вообще говоря, не противоречит указанному преданию. О принадлежности Чуд. Нов. Завета митрополиту Алексию говорит запись на л. 2 об., сделанная рукой митрополита Афанасия (Воскресенский, I, с. 37): «Тетро, евангеліе чюдотворца Алеѣѣ Чюдова монастыра. Совѣт даю: в сем евангеліи чести за з'дравіе над болашими»; Афанасий, занимавший московскую кафедру в 1564–1566 гг., после оставления митрополии был иноком Чудова монастыря, где

хранилась и данная рукопись; он был, по-видимому, автором Сказания о чудесах митрополита Алексия.

Чуд. Нов. Завет представляет собой перевод с греческого: новозаветный текст был переведен заново, а не списан с какого-то славянского протографа. Возможно, этот перевод был осуществлен под руководством митрополита Алексия или же по его инициативе во время его пребывания в Константинополе. Тот факт, что Новый Завет заново переводится с греческого, очень характерен, он свидетельствует о критическом отношении русских книжников к имеющимся у них переводам и о стремлении привести эти переводы в соответствие с принятыми у греков текстами. Чуд. Нов. Завет резко отличается от более ранних древнерусских рукописей, хотя здесь и не прослеживаются еще черты второго южнославянского влияния. Здесь, однако, наблюдается непосредственное греческое влияние, которое проявляется в начертаниях букв α , ϵ , υ , ω , ω , в употреблении греческих лигатур, в увеличении нагрузки i , в употреблении греческих окончаний в грецизмах. Замечательной чертой этого памятника является последовательная постановка ударений, и это также несомненно объясняется греческим влиянием, поскольку в греческих текстах ударения передавались (знаменательно в этом смысле, что когда Петр I вводит гражданский шрифт, отражающий ориентацию на латинскую культурную традицию и отталкивание от традиции византийской, он считает необходимым устранить надстрочные знаки — Живов, 1986, с. 57–59). Чуд. Нов. Завет — первый русский памятник с обозначенными ударениями, и это делает его исключительно ценным материалом для русской исторической акцентологии; если иметь в виду, что от XV в. у нас практически нет памятников с русскими ударениями, поскольку в русских рукописях показаны южнославянские ударения (см. § 10.3), то Чуд. Нов. Завет оказывается единственным сколько-нибудь крупным акцентуированным памятником до XVI в. (спорадические русские ударения обозначены еще в нескольких рукописях конца XIV в.).

Ударения обозначены также на русских глоссах к греческому словарю из собрания греческих рукописей Венской национальной библиотеки (Vindob. phil. gr. 171). Эти записи хронологически совпадают со временем создания Чуд. Нов. Завета, причем они также были сделаны в Константинополе; можно полагать даже, что они написаны одним из писцов Чуд. Нов. Завета (Соболевский, 1903, с. 28; Ушаков, 1971а, с. 55). Русские глоссы на венской рукописи и Чуд. Нов. Завет представляют одну школу письма: русские записи в греческом лексиконе, возможно, отражают работу над переводом Нового Завета, в результате которой и появился Чуд. Нов. Завет. Венская рукопись была вывезена из Константинополя в середине

XVI в., и то, что русские записи на ней были сделаны именно в Константинополе, не вызывает сомнения; это, в свою очередь, позволяет считать, что там же был написан и Чуд. Нов. Завет.

Кроме того, спорадически — преимущественно в словах иноязычного происхождения — акцентные знаки ударения встречаются еще в двух рукописях конца XIV в., а именно в Четвероевангелии Никона Радонежского 1399 г. (ГБЛ, ф. 304, III, № 6/М. 8652) и в Четвероевангелии из собрания Ф. А. Толстого (ГПБ, О.п.1.1). Оба этих памятника испытали сильное влияние Чуд. Нов. Завета — это влияние, в частности, и проявилось в расстановке акцентных знаков (см. Ушаков, 1971; Ушаков, 1975, с. 263–268).

Итак, Чуд. Нов. Завет отражает, видимо, непосредственное греческое влияние. Позднее — несколько десятилетий спустя — это влияние станет опосредствованным, т.е. будет осуществляться через южнославянскую книжную традицию. Однако субъективно и в этом случае имеет место византинизация церковнославянского языка и церковнославянских текстов. Греческое влияние сливается с южнославянским: одно переходит в другое. Можно сказать, таким образом, что Чуд. Нов. Завет знаменует собой предысторию второго южнославянского влияния.

В других рукописях, написанных русскими писцами в Константинополе, о которых мы упоминали выше — Евангелии 1383 г. и Диоптре 1388 г., — в отдельных случаях уже прослеживаются написания на южнославянский манер, хотя в основном писцы еще продолжают следовать нормам предшествующего периода (Гальченко, 2000, с. 70–71, 78–79, 83–86, 92, ср. с. 88–89).

Итак, второе южнославянское влияние связано с ориентацией на греческую культуру. И в этом случае необходимо различать субъективный и объективный аспекты второго южнославянского влияния. Наряду со стремлением к реставрации церковнославянского языка имело место непосредственно с ним связанное стремление к реставрации византийской православной культуры на Руси. Объективно же как то, так и другое стремление обуславливало влияние южнославянской культурной традиции, поскольку южные славяне воспринимались и как носители архаической церковнославянской традиции, и как авторитетные посредники в греческо-русских культурных контактах. В результате стремление к архаизации языка органически сочетается в период второго южнославянского влияния с тенденцией к его византизации. Последняя проявляется прежде всего в написании грецизмов: в частности, вводятся греческие буквы, уже вышедшие из употребления в русском изводе церковнославянского языка (§ 11.1). Вместе с тем в это же время в русских рукописях появляется и «греческое» лига-

турное письмо, т.е. имеет место влияние греческого минускульного письма и, таким образом, русская палеография оказывается под прямым воздействием греческой (Сперанский, 1932). Это непосредственное (а не через южнославянскую традицию) греческое влияние объясняется в данном случае так же, как и влияние в живописи (см. выше) — здесь языковой барьер не имел значения, поскольку речь идет об и з о б р а з и т е л ь н о й, а не о собственно языковой сфере. Византийское влияние проявляется и в орнаменте русских рукописей: в рассматриваемый период в них появляется неовизантийский геометрический орнамент (который сменяет тератологический орнамент, характерный для предшествующего периода); естественно, что и в этом случае греческое влияние могло быть непосредственным.

Есть основания полагать, что именно в результате второго южнославянского влияния на Руси появляется троеперстие (троесперстное крестное знамение), которое, впрочем, в это время здесь не укореняется — по крайней мере в Московской Руси — и которое в дальнейшем вводит патриарх Никон (§ 16.2); известно, во всяком случае, что Григорий Цамблак крестился тремя перстами (Успенский, 1998а). Таким образом, троеперстие представляет собой, по-видимому, один из случаев проявления второго южнославянского влияния в литургической сфере.

§ 9.4. Некоторые типологические характеристики второго южнославянского влияния как культурного явления. Итак, второе южнославянское влияние определено связано с реставрационными тенденциями: с одной стороны, речь идет о реконструкции первоначального состояния церковнославянского языка, с другой стороны — о возрождении православной духовности. И тот, и другой процесс объединяются в рамках общего возрождения церковной культуры, существенное место в которой занимает, несомненно, и церковнославянский язык. Говоря о возрождении (иногда говорят для данного периода о предвозрождении), необходимо подчеркнуть, что речь не идет о ренессансе как культурно-типологической категории, сопоставимой с тем, что имело место в то же время на Западе. Мы можем говорить лишь об отдельных чертах сходства между западным Ренессансом и вторым южнославянским влиянием в России: внимание к книжной культуре, к критике текста и т.п. (см. Пиккио, 1975, с. 168–169). Гораздо заметнее, однако, отличия. Ренессанс как комплексная категория характеризуется прежде всего гуманистическими и рационалистическими идеями (пересмотр места Человека во Вселенной) на почве обращения к античному наследию (причем обращение осуществляется с новых позиций и в новой перспективе). Здесь же, в

России, на первом месте оказываются не рационалистические или гуманистические идеи, но мистические идеи, воплощенные в учении исихастов (Григория Паламы, Григория Синаита и др.).

В Византии эти два направления — гуманистическое и созерцательно-мистическое — были противопоставлены друг другу и непосредственно сталкивались, в частности, в ходе так называемых паламитских споров (середина XIV в.). Весьма показательно, что если противники Паламы (Варлаам Калабрийский, Никифор Григора) культивировали светскую образованность и стремились к определенному синтезу христианства и античного культурного наследия, то для Паламы и его сторонников основным стремлением было сохранить чистоту православного учения, оградив его от смешения с какими бы то ни было посторонними элементами. Эти два направления, столкнувшиеся на византийской почве, получили дальнейшее развитие в противопоставлении русской и западноевропейской культуры: если в России были усвоены в ходе второго южнославянского влияния идеи исихастов, то на Западе получили распространение идеи их противников (знаменательно, что учителем Петрарки был Варлаам Калабрийский).

Общим для Запада и России является интерес к культурному наследию, однако в одном случае это интерес к наследию дохристианскому, в другом же — к Византии, к началу русской (христианской) традиции. Это в какой-то степени связано с тем различием церковнославянского языка и латыни, о котором мы уже говорили выше (§ 2.3). Церковнославянский язык становится языком культуры постольку, поскольку он до этого является языком церкви (т.е. функции культового языка являются у него первичными, а функции литературного языка в широком смысле — вторичными); между тем латынь становится языком церкви постольку, поскольку до этого она была языком культуры (т.е. функции литературного языка являются для латыни первичными, а функции культового языка — вторичными). И в России, и на Западе имеет место интерес к началу соответствующей культурной (литературно-языковой) традиции, — однако в России этот интерес оказывается интересом к церковной традиции, а на Западе — к традиции светской. Соответственно в России на первый план выступает обновление связей с Византией, а на Западе — возрождение античного культурного наследия. Таким образом, если и можно говорить о возрождении применительно ко второму южнославянскому влиянию, необходимо отдавать себе отчет в том, что дело идет о возрождении христианской и, уже, православной традиции.

§ 10. Перестройка отношений между книжным и некнижным языком

§ 10.1. Возрастание различий между книжным и некнижным языком. Помимо внешних — экстралингвистических — причин, обусловивших второе южнославянское влияние, существовали и причины внутриязыковые. Ко времени установления письменной традиции на Руси русский и церковнославянский языки были очень близки друг другу (§ 3.1.4) — настолько, что понимание церковнославянского языка в принципе не вызывало никаких трудностей (затруднение, естественно, мог вызывать тот или иной церковнославянский текст — например, текст, буквально переведенный с греческого, — однако затруднения такого рода относятся не к языку, а к тексту).

Между тем к концу XIV в. произошли существенные изменения русского языка, обусловившие перестройку отношений между церковнославянским и русским языком. Были утрачены целые грамматические категории (дв. число, зват. форма), произошло падение редуцированных и целый ряд связанных с ним перестроек фонологической системы; выровнялись основы на заднеязычные согласные в тех формах, где в свое время имело место их чередование со свистящими; произошла существенная перегруппировка типов склонений; изменилось употребление нечленных форм прилагательных и особенно причастий; генетически причастные формы либо полностью утратили процессуальное значение, перейдя в разряд прилагательных, либо закрепились при предикате в функции сказуемого и т.п. (ср. § 8). В результате этих процессов в целом ряде случаев нейтральные ранее формы становятся специфически книжными, т.е. образуются новые противопоставления церковнославянского и русского языка, которые ранее не имели места. Так, например, такие формы, как *руцѣ*, *нозѣ*, *помози* и т.п. (с чередованием свистящих и заднеязычных в основах), *могъ*, *некаъ*, местоимения *мя*, *тя*, *ся* ранее были нейтральными, т.е. отнюдь не являлись исключительной принадлежностью церковнославянского языка, однако теперь оказываются противопоставленными формам живого русского языка. Соответственно, увеличивается дистанция между книжным (церковнославянским) и некнижным (русским) языком, что способствует тенденции к четкому размежеванию книжного и разговорного языка, которые осмысляются как правильный и неправильный. При этом то обстоятельство, что те или иные признаки церковнославянского языка (например, дв. число, чередование заднеязычных и т.п.) еще относительно недавно были свойственны и русскому языку — а память об

этом сохраняется в языковом сознании, поскольку соответствующие формы представлены в фольклорных текстах, во фразеологических оборотах и т.д., — в принципе способствует архаизаторским и регрессивным тенденциям.

Соответственно изменяется восприятие книжного (церковнославянского) языка: если в древнейший период книжный язык мог восприниматься в качестве кодифицированной разновидности живого языка, то теперь он оказывается ощутимо противопоставленным живой речи. Как мы уже знаем, в основе второго южнославянского влияния лежат пурификаторские и реставрационные тенденции; его непосредственным стимулом было стремление русских книжников очистить церковнославянский язык от тех разговорных элементов, которые проникли в него в результате его постепенной русификации (т.е. приспособления к местным условиям). Это обуславливает сознательное отталкивание от живого языка; соответствующие процессы особенно наглядно проявляются на лексическом уровне.

§ 10.2. Перестройка лексических отношений. До второго южнославянского влияния имеет место активное взаимодействие церковнославянского и русского языков. Хотя сохраняется дистанция между книжным и разговорным языком, книжный язык испытывает непосредственное влияние со стороны живого. При конструировании оригинальных текстов на книжном языке носитель языка может исходить из соответствующих форм живой речи. Именно так обстоит дело в сфере лексики. Так, русский книжник, которому не доставало слова для выражения того или иного понятия, в принципе мог заимствовать это слово из живого языка. Если это слово не соответствовало формальным критериям, предписываемым языковой нормой, оно более или менее автоматически преобразовывалось в соответствии с этими предписаниями — например, полногласная форма превращалась в неполногласную и т.п. (об этом наглядно свидетельствуют гиперкорректные формы типа *злото*, *планъ* вместо *злато*, *плѣнь*, наблюдаемые в церковнославянских памятниках русской редакции, которые явно образованы из *золото*, *полонь* и т.п., ср. § 8.1.2). Если же русское слово не противоречило формальным критериям церковнославянского текста, оно просто заимствовалось в том виде, в каком оно представлено в русском языке. Строго говоря, на этом этапе вообще нет лексических различий между церковнославянским и русским языком: церковнославянские и русские формы противопоставлены в данном случае не на лексемном, а на морфемном уровне (по форме корня, флексии или словообразовательного форманта), т.е. на

том уровне, который выражается в виде общих правил (образующих бинарные ряды соотнесенных друг с другом элементов), а не в виде конкретных противопоставлений отдельных лексем (ср. § 4.4). Соответственно, церковнославянские и русские формы воспринимаются и функционируют как одно слово. Это проявляется, во-первых, на содержательном уровне, где имеет место взаимное влияние семантики русской и церковнославянской формы (так, *власть* может употребляться в значении «волюсть», подобно тому как *волюсть* может употребляться в значении «власть»); во-вторых, на формальном уровне, где церковнославянский текст в определенных условиях допускает русские элементы как нормативное явление, а не как отклонение от нормы (так, на конце строки может появляться полногласная форма, т.е. противопоставление полногласных и неполногласных форм нейтрализуется в этой позиции, см. § 8.1.2).

После второго южнославянского влияния в результате сознательного отталкивания от разговорной речи прямые лексические заимствования из русского в церковнославянском языке в принципе не допускаются. Теперь противопоставление русского и церковнославянского языка распространяется и на сферу лексики; при этом отношения между двумя языками строятся на лексемном уровне и образуются коррелятивные пары соотносительных книжных и некнижных лексем. Русский книжник, которому недостает слова для выражения своей мысли, не может теперь заимствовать это слово из разговорного языка и потому вынужден образовывать неологизм, используя средства выражения церковнославянского языка. Таким образом, стремление к архаизации и реставрации, являющееся одним из главных стимулов второго южнославянского влияния, фактически вызывает удаление от исходного состояния и стремительную эволюцию книжного языка (как это и вообще характерно для реставрационных, пуристических движений).

Отсюда объясняется активный характер процессов, связанных со вторым южнославянским влиянием. Из южнославянского церковнославянского языка берутся, главным образом, не формы, а *м о д е л и*, которые стимулируют производство новых слов и выражений, — в частности, модели словообразовательные, стилистические (так называемое «плетение словес», т.е. особый витийственный стиль, широко использующий риторические украшения, синонимические повторы, параллелизм и т.д.), орфографические (ср. ниже о форме *всєа* — § 11.3.1), и т.п. Особенно характерна активизация словообразовательных средств, в результате которой в церковнославянском языке появляется огромное количество неологизмов, внешне имеющих приметы церковнославянского происхождения, но в действительности никогда не употреблявшихся в

церковнославянских текстах. Этот процесс развивается в двух направлениях.

Во-первых, непродуктивные аффиксы становятся продуктивными, участвуя в порождении новых слов; примером может служить суффикс *-тель*, который чрезвычайно активизируется в это время (Кайперт, 1970, с. 151 сл.), а также связанный с ним суффикс *-тельн-* (Кайперт, 1977, с. 39 сл.). В этот период появляются такие слова, как *читатель*, *хвалитель*, *основатель*, *разсудитель* и т.д., а также *оболгательный*, *разсудительный* и др. Подобным же образом активизируются приставки *со-* и *воз-*.

О продуктивности суффикса *-тель* можно судить по тому, что он выступает как средство номинализации глагольных конструкций с сохранением у имени деятеля модели глагольного управления. Такая трансформация была еще возможна в XVII — начале XVIII в., ср., например, в «Службе кабаку»: «Нагие, веселитесь, се бо вам *подражатель* явися, голоду *терпитель*» (Адрианова-Перетц, 1977, с. 38); ср. еще характеристику Ф. Ю. Ромодановского в «Гистории о царе Петре Алексеевиче...» Б. И. Куракина: «Превеликой *нежелатель* добра никому» (Архив Куракина, I, с. 65).

Во-вторых, появляется огромное количество сложных слов, состоящих из двух и более элементов. Например, у Епифания Премудрого мы встречаем сочетание *младорастущая ветвь*; элементы *млад-*, *раст-* и *-ущ-* являются обычными церковнославянскими морфемами, однако слово *младорастущий* не заимствовано из какого-либо церковнославянского текста, а представляет собой неологизм. Равным образом, появляются такие новообразования, как *всегорделивый*, *каменноградный*, *благоумильный*, *зловѣрный*, *мудросложный*, *многоукрепленный*, *бѣсояростный*, *свѣтлозрачный*, *благодатноименный*, *каменносердечен*, *злораспаляемый* и т.д. (Левин, 1964, с. 81). Появление сложных слов непосредственно обусловлено ориентацией на греческий язык. Мы уже говорили, что этот процесс характерен вообще для церковнославянского языка (§ 8.8.1), и в этом смысле мы можем констатировать дальнейшее развитие той тенденции, которая наблюдается при самом его образовании. Подобные неологизмы нередко имеют окказиональный характер; в ряде случаев они могут состоять из большого числа компонентов. Одно грамматическое сочинение («Технология» Федора Поликарпова, 1725 г.) приводит примеры таких сложных слов в церковнославянском языке: *всепокорнослужимый*, *всепресвѣтлосіятелный*, *щедроотцемилосерднѣйшій*, *высокоправдолюбнпріятнѣйшій*, *пастыреначалоправителствующій*, *славенороссійскоотцемилосерднѣйшій*, *православновсероссійскомудролюбнѣйшій*, *самопремудроправдовселюбнпріятнѣйшій*, *премудростенаставляющебогатадарователь*, *славено-*

российскосилаобраннодидиновсеополчитель, славенороссийскопреславно-мироблагодаятель, славенороссийсковсепремилосердновразумитель, православновсеросийскофлотоначалопремудродѣлатель, хвалебно-чинонебесноземнотрисвятовоспѣваемый (ГПБ, НСРК F 1921.60, с. 8–9; Поликарпов, 2000, с. 244). Только что приведенные примеры представляют собой окказиональные образования, созданные в XVIII в. (часть из них относится к Петру I), однако они следуют традиции, идущей от второго южнославянского влияния. Вместе с тем, во многих случаях сложные слова, возникшие в этот период, закрепляются в языке. Из церковнославянского языка такие слова попадают в русский. Такие слова современного русского литературного языка, как *драгоценный, суевер, рукоплескание, гостеприимство, плетворный, вероломство, первоначальный, любострастие, громогласный* восходят к неологизмам, появившимся в период второго южнославянского влияния (Виноградов, 1958, с. 109–110; относительно *драгоценный* см. Цейтлин, 1974 — с неточной интерпретацией).

Создаваемые таким образом книжные неологизмы призваны заменить собственно русские лексемы. Отсюда на лексемном уровне образуются парные противопоставления книжных и некнижных элементов, создается как бы двуязычный церковнославянско-русский словарь. Этот процесс обуславливает появление словарей «произвольников» («произвольных речений»), в которых наряду с иноязычными словами толкуются и церковнославянские слова; характерно, что такое толкование получают и общеизвестные слова (Ковтун, 1963) — таким образом, целью подобных указаний является установление именно соответствия между церковнославянским и русским словом. Эта тенденция соотнесения лексем церковнославянского и русского языка находит отражение в рассуждении Зиновия Отенского о глаголах *чаю* и *жду* в последнем члене Символа веры (*чаю воскресения мертвым* или *жду воскресения мертвым*). Зиновий возражает тем, кто считает, что *чаю* и *жду* отличаются семантически, полагая, что *чаю* выражает неполную уверенность; с его точки зрения, *чаю* относится к книжной речи, а *жду* — к народной (Зиновий Отенский, 1863, с. 967). Действительно, в Символе веры, цитируемом в послании патриарха Фотия князю Михаилу Болгарскому (по списку XVI в. — ГБЛ, ф. 113, № 488), в тексте читаем «чаю въскресение мертвым», но на полях дается глосса «ожидаю» (Синицына, 1965, с. 102). Аналогичная корреляция устанавливается в этот же период между словами *око* и *глаз* и т.п., ср. в Толковой Псалтыри перевода Максима Грека (по списку ГИМ, Син. 233, 1692 г.) вынесенную на поле глоссу *глаз*, относящуюся к слову *око* (Горский и Невоструев, II, 1, с. 100). Во

всех этих случаях устанавливается семантическое тождество этих слов, но при этом подчеркивается, по существу, их разная языковая принадлежность.

Характерен, вместе с тем, анонимный комментарий (XVI в.) к Псалтыри, переведенной Максимом Греком в 1552 г., где говорится о смысловых различиях слов *успение* и *смерть*. Здесь утверждается, что смерть святых следует именовать *успение*, поскольку праведники — не умершие, а *усопшие*, они пробудятся, воскреснут (Ковтун, 1975, с. 37). Как видим, это аргументация того же порядка, что и мнение, против которого выступает Зиновий Отенский; между тем с противоположной точки зрения *успение* и *смерть* не различаются по значению, будучи соотнесены как книжное и некнижное или как книжное и нейтральное слово. Существенно при этом, что как слово *жду*, так и слово *смерть* представлены не только в церковнославянском, но и в русском языке, тогда как *чаю* и *успение* принадлежат по преимуществу церковнославянскому языку, т.е. маркированы как книжные элементы. Оттапливание от разговорного языка и заставляет воспринимать *жду* и *смерть* как непригодные для высокой книжной речи слова, соотнося их со специфическими церковнославянскими эквивалентами. Таким же в точности образом могут противопоставляться *житие* и *жизнь* и т.п.

Это особое внимание к книжной лексике отчетливо проявляется, например, у Курбского, который пишет в предисловии к «Новому Маргариту»: «И аще гдѣ погрѣшихъ въ чемъ, то есть, не памятаючи к н и ж н ы х ъ п о с л о в и ц ѣ словенскихъ, лѣпотами украшенныхъ, и вмѣсто того буде п р о с т у ю пословицу введохъ, пречитающими, молюся съ любовію и хриstopодобною кротостію да исправятся» (Архангельский, 1888, прилож., с. 13—14; *пословица* означает здесь «слово»). Ср. также характерные извинения писца Евангелия 1506 г. в том, что «многія пословицы прихотили новгородскія» (Симони, 1899а, с. 1).

Установлению корреляции между церковнославянским и русским языком на лексемном уровне способствует также следующее обстоятельство. В ходе второго южнославянского влияния осуществляется ревизия церковнославянского языка русской редакции, в результате чего книжные и некнижные лексемы начинают противопоставляться по новым признакам, по которым они не противопоставлялись ранее. Так, например, на месте общеславянского *dj в церковнославянском языке начинает писаться и произноситься *жд* (а не *ж*, что было нормой в предшествующий период, см. § 7.2) и т.п. Слова церковнославянского происхождения, соответствующие старой, а не новой норме, объявляются некнижными и тем самым причисляются к русизмам. Таким образом, слово

одежда, которое ранее соответствовало норме церковнославянского языка, противопоставляется теперь церковнославянскому *одежда* и воспринимается как специфический русизм. Итак, те лексемы, от которых отказывается церковнославянский язык, оказываются в фонде русской лексики; соответственно, они образуют лексические корреляты к новым (исправленным) церковнославянским лексемам, т.е. устанавливается однозначное соответствие между церковнославянским и русским словом (церковнослав. *одежда* — рус. *одежда*).

Отталкивание от разговорной речи распространяется и на акцентные характеристики лексем. Специфически книжные лексемы, коррелирующие с лексемами не книжными и им противопоставленные, могут получать в это время особое книжное ударение (обычно неподвижное предфлексийное); отсюда появляются акцентные противопоставления типа *прѣняли* — *прѣяли*, *прѣнял* — *прѣяла*, *чужой* — *чуждый* и т.п. (ср. Зализняк, 1985, с. 188 сл.).

Все это очевидным образом свидетельствует о перестройке отношений между церковнославянским и русским языком: создаются предпосылки для перехода от церковнославянского-русской диглоссии к церковнославянско-русскому двуязычию. Диглоссия сохраняется постольку, поскольку сферы употребления церковнославянского и русского языков остаются прежними, но словари этих языков образуют параллельные ряды, что в принципе определяет возможность перевода с языка на язык (невозможного при диглоссии, но естественного при двуязычии).

Отталкивание от русского языка приводит к осознанию его как самостоятельной системы, своего рода антинормы: русский язык начинает фиксироваться в языковом сознании как особая языковая система, противопоставленная церковнославянскому языку. Соответственно, если раньше носитель языка при порождении книжного текста исходил из естественных для него речевых навыков и процесс порождения сводился к трансформации отдельных элементов текста, то теперь при переходе с не книжного языка на книжный может иметь место переключение языковых механизмов. Иначе говоря, если раньше мы наблюдали корреляцию церковнославянских и русских текстов, то теперь эта корреляция может осуществляться на уровне кодов (т.е. механизмов языка): книжный и не книжный языки противопоставляются в этом случае не по отдельным признакам (фонетическим или грамматическим), а в целом.

Именно поэтому различия между церковнославянским и русским языком в значительной степени осознаются теперь как различия лексические — при том что ранее эти различия проявлялись

главным образом на фонетическом и грамматическом уровне. Отношения между двумя языками выражаются на данном этапе не в виде общих закономерностей, которые могут быть сформулированы и усвоены как правила, позволяющие производить соответствующую трансформацию (т.е. осуществлять преобразование не-книжного текста в книжный), а в виде конкретных соответствий, устанавливающих корреляции между элементами одного и другого языка. Как мы уже говорили (§ 4.4), если фонетические и грамматические соответствия могут быть сформулированы в виде общих правил, доступных для усвоения, то лексические соответствия всегда имеют конкретный характер и в принципе не сводимы к правилам.

Таким образом, если в свое время церковнославянский язык был маркирован по отношению к русскому, выступая как его кодифицированная разновидность, — тогда как русский язык не был маркирован по отношению к церковнославянскому, — то теперь оба языка оказываются взаимно маркированными по отношению один к другому, т.е. церковнославянский и русский языки, которые раньше образовывали привативную оппозицию, образуют теперь оппозицию эквиполентную. Соответственно изменяется способ отождествления церковнославянского и русского языков в языковом сознании. Церковнославянский и русский языки, поскольку они сосуществуют в ситуации диглоссии, по-прежнему воспринимаются как две разновидности одного языка — правильная и неправильная, — однако они объединяются как две самостоятельные системы. Иными словами, происходит не структурное, а чисто функциональное объединение (за счет того, что они не употребляются в одних и тех же ситуациях).

§ 10.3. Изменение соотношения орфографии и орфоэпии. Отталкивание от русского языка в период второго южнославянского влияния имеет место и в сфере орфографии, которая приобретает вообще принципиальное значение в этот период, поскольку именно здесь наиболее наглядно проявляется связь с южнославянской традицией. Влияние чужой (в данном случае южнославянской) традиции закономерно способствует повышению роли орфографии и размежеванию произносительной и орфографической нормы.

Ранее написание в значительной мере ориентировалось на книжное произношение; при этом книжное произношение в целом ряде случаев не было противопоставлено живому произношению и, соответственно, в той или иной степени могло отражать реальные фонетические процессы, происходившие в разговорном языке (§ 7.14). В результате второго южнославянского влияния писцы

начинают ориентироваться на собственно орфографическую традицию, привнесенную извне и резко расходящуюся с произносительными навыками. Поскольку этот процесс, как правило, не затрагивает книжного произношения, происходит обособление орфографии и, отсюда, размежевание орфографической и орфоэпической традиции (ранее непосредственно связанных). Таким образом, увеличивается дистанция между церковнославянским и русским языками, которые и в этой сфере начинают противопоставляться друг другу.

Действительно, усилия справщиков были направлены преимущественно на орфографию, и лишь в отдельных случаях вводимые ими написания вторичным образом влияют на книжное произношение (так происходит в случае группы жд, написания начального ю). Так, в соответствии с греческим образцом появляется написание типа *Маріа*, *Матѣѣа* (род. пад.) и т.п., т.е. не обозначается йотация в начале слога. Однако подобные формы, по-видимому, читались, как и раньше, с йотацией; иначе говоря, они воспринимались как чисто орфографическая условность. Об этом говорит как традиция церковного произношения подобных форм, так и тот факт, что впоследствии писцы могут возвращаться к орфографии, передающей йотацию и отражающей, тем самым, непрерывную традицию книжного произношения (йотация, однако, передается теперь не буквой ѣ, а буквой ѧ).

Другим примером такого же рода служат знаки акцентов, которые в данный период не несут фонетической информации: в русских текстах этого периода показаны южнославянские ударения или имитирующие их. Вместе с тем, с концом второго южнославянского влияния в русских церковнославянских текстах появляются такие же ударения, какие были и до него (т.е. примерно такие же ударения, которые представлены в Чуд. Нов. Завете). Надо полагать, что в период второго южнославянского влияния сохранялась традиция книжного произношения (акцентуации), существовавшая независимо от орфографии; в отдельных случаях новое ударение закрепилось в специфически книжных формах, не соотносившихся с формами живого языка (ср. § 10.2; см. также о южнославянских ударениях в грецизмах, отразившихся в книжном произношении: § 13.4). Чисто орфографическое значение имеют знаки придыханий, которые появляются в данный период в подражание греческим написаниям.

Специфическая южнославянская орфография в большинстве случаев оказалась скоропреходящей. В Московской Руси она исчезает в середине XVI в. Тем не менее какие-то черты этой орфографии закрепляются в церковнославянском языке (см. § 11.7).

§ 10.4. Скоропись как особый тип письма и ее функциональная значимость. Перестройка отношений церковнославянского и русского языков проявляется и в области палеографии. Вообще второе южнославянское влияние непосредственно связано с палеографической реформой: старший полуустав сменяется младшим полууставом, обнаруживающим явную зависимость от южнославянских почерков (Щепкин, 1967, с. 129); вместе с тем, как мы уже отмечали, наряду с южнославянским влиянием в палеографии наблюдается и непосредственное греческое влияние на русское письмо. Особенно же важно, что в этот период появляется скоропись как особый тип некнижного письма, противопоставленный книжному письму (уставу и полууставу): если книжное письмо ассоциируется с церковнославянским языком, то некнижное письмо соотносится с русским языком.

Поскольку это касается собственно графики, скорописное письмо появляется еще до второго южнославянского влияния (в XIV в.), но в этот период скоропись противопоставляется полууставу лишь в начертании букв: «По своим начеркам русская скоропись XIV в. есть в сущности тот же древнейший русский полуустав, но только значительно ускоренный полной свободой нажимов и взмахов. Не только отдельные начерки этой древнейшей скорописи все принадлежат русскому полууставу, но также и орфографическая система» (Щепкин, 1967, с. 136). Между тем в XV–XVII вв. скоропись противопоставляется книжному письму с и с т е м н о — противопоставление строится не только на начертании букв, скоропись обладает своим инвентарем букв, своей орфографией. Характерно, например, расхождение скорописи и книжного письма в отношении употребления букв *i* и *и*: если в книжном письме после второго южнославянского влияния буквы *i* и *и* всегда сочетаются в последовательности *иi* (т.е. буква *и* не употребляется перед буквой *i*, но лишь после нее — см. § 11.3.3), в скорописи, напротив, эти буквы регулярно образуют последовательность *иi* (т.е. буква *i*, как правило, не употребляется перед буквой *и*, но лишь после нее); при этом в скорописи сохраняется в данном случае древнейшее употребление этих букв, предшествующее второму южнославянскому влиянию (Щепкин, 1967, с. 125, 136). Другим примером может служить написание прилагательных в род. падеже муж. рода ед. числа: окончанию *-аго/-яго* в книжном письме закономерно соответствует окончание *-ого/-его* в письме скорописном; подобно тому как окончание *-аго*, в принципе, является нормой для церковнославянского языка, окончание *-ого* является нормой для русского приказного языка (Барсов, 1981, с. 58, 147, 468; ср. у Сумарокова в статье «О правописании» 1768–1771 гг. — Сумароков, X, с. 31; подробнее см.: Живов и Успенский, 1983, с. 151 сл.).

Скоропись обнаруживает явную зависимость от южнославянского влияния. Это проявляется прежде всего в начертаниях букв: такие скорописные начертания, как *п* («треножное твердо»), одностороннее *ч*, *в* четырехугольное, округлое или с круглыми раздельными петлями (*л*, *ѣ*), *ѣ*, приближающееся к *ѣ* (*ѣ*), *з*, уподобляющееся по начертанию цифре 3, — соответствуют южнославянским почеркам (Щепкин, 1967, с. 130, рис. 58; ср. Беляев, 1911, с. 16 сл.). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в ряде случаев такие же начертания характерны в XVIII в. для русского гражданского шрифта (см., например, соответствующее начертание буквы *т*, принятое в гражданской печати до середины XIX в., курсивное написание буквы *ѣ* и т.п.); это объясняется генетической связью гражданского шрифта со скорописью — и та, и другая графическая система соотносится с русской языковой стихией; иначе говоря, в русском гражданском письме прослеживаются рефлексy второго южнославянского влияния. Можно предположить, что и характерное для скорописи неразличение букв *ѣ* и *ѣ* восходит к южнославянскому смешению этих букв.

Как полагают, южнославянское влияние отразилось в характере оформления деловых бумаг. Так, делопроизводственная манера склеивать документы в столбцы (противопоставлявшая деловую письменность, представленную в виде столбцов, церковной письменности в виде книг), по-видимому, пришла к нам от южных славян, у которых наиболее ранний документ в форме столбца датируется последней четвертью XIV в. (до 1382 г.) — грамота Иоанна Шишмана Витошскому монастырю (Тихомиров, 1947, с. 177; Лихачев, 1958, с. 5). Этот обычай существовал в России до 1700 г., когда Петр I распорядился вести приказное делопроизводство не в столбцах, а в тетрадах (ПСЗ, IV, № 1803, ср. еще №№ 1797, 1817, 1901; РГАДА, оп. I, № 133, ч. 4, д. 355).

То обстоятельство, что скоропись как специальный тип письма для деловых документов появляется практически одновременно со вторым южнославянским влиянием (возможно, под влиянием южнославянской канцелярской скорописи), представляется неслучайным: противопоставление книжного письма некнижному соответствует общему стремлению отделить книжный язык от народного.

Появление и распространение скорописи может быть также связано и с греческим влиянием. В византийских школах учили тахиграфии (оксиграфии) — искусству сокращенного письма под диктовку; это обучение ориентировалось на подготовку будущих чиновников. Таким образом, скорописное письмо изначально связано с бюрократической сферой: оно присуще деловой письмен-

ности и может восприниматься как характеристика правильно организованной бюрократии. В этом качестве, видимо, утверждается скоропись и у южных славян — показательно, что она исчезает на Балканах в эпоху турецкого владычества (ср. Мошин, 1973, с. 44—45, 49, 64), т.е. с исчезновением здесь славянской государственности и, следовательно, административного аппарата. Напротив, у русских по мере усиливающейся ориентации на Византию (в частности, и в сфере бюрократической организации) возникает необходимость в особом деловом письме как элементе правильной бюрократической организации. Надо полагать, что само название *скоропись* калькирует греческое *ὀξύγραφία* или *ταχύγραφία*; действительно, в переводах с греческого *скорописецъ* соответствует *ὀξύγράφος* или *ταχύγράφος* — так, например, в Псалтыри (Пс. XLIV, 2, ср. Бычк. пс. XI в., л. 24; этот стих в данной редакции цитирует Даниил Заточник — Зарубин, 1932, с. 5, 53) или в Хронике Георгия Амартола (Истрин, I, с. 311, 312; Истрин, III, с. 133, 181).

Итак, книжное письмо связывается с книжным языком, а скоропись, поскольку она противопоставлена книжному письму, в принципе соотносится с языком некнижным, т.е. с русским, а не церковнославянским языком. «Скоропись появляется на Руси прежде всего в памятниках, кои служат практическим целям: в документах дипломатических (грамоты и договоры), административных (писцовые и переписные книги, делопроизводство в приказах), судебных (следственные дела и тяжбы, челобитные и судебные решения), хозяйственных (описи имущества, книги приходные и расходные). В таком употреблении скоропись довольно распространена уже в XV в., а в XVI и XVII вв. господствует. Кроме того, в XVI в. реже, а в XVII в. чаще скорописью пишутся и литературные памятники. Однако до XVIII в. литературные памятники (кроме черновиков) несравненно чаще пишутся полууставом, а церковные — почти всегда» (Щепкин, 1967, с. 136). Встречаются сборники, где тексты церковного или литературного в широком смысле содержания написаны книжным письмом, а тексты делового содержания — скорописью. Так, в сборнике, написанном в конце XVI в. и содержащем «судный список» по делу Максима Грека, единственная глава, написанная скорописью, — это «собор на Максима Грека Святогорска», т.е. протокол суда над Максимом Греком; остальные главы написаны полууставом. Вместе с тем это единственная глава, представляющая собой деловой документ, между тем как все остальные главы сборника посвящены святоотеческой или вообще религиозной литературе; существенно, что данная рукопись объединяется единым содержанием и несомненно не является конволютом, т.е. не может рассматриваться как

позднейшее объединение разнородных текстов. Таким образом, противопоставление полуустава и скорописи имеет здесь функциональное значение (Покровский, 1971, с. 15).

Функциональный характер противопоставления полуустава и скорописи, несомненно, осознавался. В немецко-русском разговорнике Т. Фенне 1607 г. содержится характерное указание: «Только если желаешь писать о божественных или царских или господских вещах, употребляй *ε, s, y, φ*. Но если ты хочешь писать об адских и низменных вещах, то пиши *ε, z, 8, φ*» (с. 23). Таким образом, противопоставление начертаний букв с одним фонетическим значением непосредственно связывается с высоким или низким содержанием. Между тем в записках Даниила из Бухау, бывшего в Москве в 1576–1578 гг., говорится: «алфавит [русские] имеют двойкий. Один употребляют в священных книгах, другой в обыкновенных» (Даниил из Бухау, 1877, с. 32). Равным образом, в букваре Георгия Давида 1690 г. мы встречаем различие и противопоставление букв двух родов: «*Character Biblicus*» и «*Character usualis, profanus et communis*», причем во втором случае имеются в виду начертания, принятые в скорописи (Давид, 1690, с. [7]; Унбегаун, 1958, с. 100). Фактически это предвосхищает дифференциацию церковного и гражданского письма после введения Петром I гражданского алфавита (гражданский шрифт при этом по своему происхождению непосредственно связан со скорописью, см. Успенский, 1994, с. 115–116).

Итак, скоропись может восприниматься как специальное не-книжное письмо и в этом своем качестве связываться с русским языковым полюсом. Характерно в этом смысле противопоставление «книжного писания» и «скорописного писания» в предисловии к Азбуковнику XVII в. (ГПБ, Q.XVI.12, л. 1), где писец в числе причин, побудивших его писать скорописью, ссылается на свое «ненаучение» (Пруссак, 1915, с. 14). Эта ссылка относится, может быть, не столько к особенностям графического изображения, сколько к особенностям языка, которые могут быть оправданы именно применением скорописи, но были бы неуместны при ином написании. Этот некнижный характер скорописного письма парадоксальным образом сочетается с тем обстоятельством, что владение скорописью представляло определенную трудность (для читающего) и скорописи специально учились. Так, в предисловии к одной азбуке («буковнице») говорится: «Сего ради построена бысть сіа буковница, рекше азбука... словеньскія грамоты, росіискія области, московскаго державства... да бы съдѣи во училищи ученикъ імена буквамъ і лица ихъ по начертанію ізящно в различыхъ вѣдалъ, какъ которую зовуть и какъ коа написана буква в

книжномъ писмѣ і какъ та же пишется в метномъ писмѣ і в скорописи. Вся сіа подобаєть со всяцѣмъ навывковеніємъ твердо учить. Мнози бо неискусниі по книгамъ говорят по гладкому писму, а по скорописи і по метному писму устѣ разверсти не умѣють. А иніи по скорописи и по метному говорят і они по книгамъ по гладкому писму не умѣють. понеже бо учатся грамотѣ у невѣгласовѣ, у худыхъ грамотиковѣ, у неискусныхъ мастеровѣ, которые грамотѣ сами отнюдѣ не умѣють і не вѣдаютъ что грамота именуєтсѣ» (Ягич, 1896, с. 400). О том, что среди русских имеются люди, которые понимают книжное письмо, но не понимают скорописи, и наоборот — понимающие скоропись, но не понимающие книжного письма, — свидетельствует Давид в предисловии к своему букварю 1690 г. (Давид, 1690, с. [5]; Флоровский, 1961, с. 488, 493). Характерно, что когда в 1680 г. в Киево-Печерскую Лавру были высланы из Москвы минеи (в скорописном списке Типографской библиотеки), то их пришлось возвратить назад ввиду «трудности скорописного писания» (Шляпкин, 1891, с. 38; ср. Архив Ю.-З. России, I, 5, с. 278). В цитированном предисловии к Азбуковнику XVII в. говорится: «Бедно и нужно и тягостно скорописное писание к прочтанию и вницанию мало навывшим и худо умеющим грамматическаго здраваго учения...» (Пруссак, 1915, с. 14), т.е. для того, чтобы понимать скоропись, требуется знание «грамматическаго здраваго учения» — скоропись предполагает специальное обучение. Особенно красноречиво в этой связи свидетельское показание по делу, слушавшемуся в Витебском суде в 1540 г. Поскольку возникло сомнение в подлинности расписки, которая якобы была написана более 10 лет назад неким дяком Клином (к тому времени уже умершим), в суд был вызван священник, «в которого тотъ исты' Клинец училсѣ грамоте». Этот священник, между прочим, показал, что «тотъ Клинецъ... будучы выросъкомъ молодымъ учылъсѣ в мене а ле скорописи не вмелъ ани сѣ учылъ, бо ѿ и самъ скорописанаго писма писати не умеѣ...» (Булыко, 1970, с. 142). Итак, знание скорописи предполагает прохождение специального курса, причем учились, как можно видеть, не только читать, но и писать скорописью.

Существенно, что обучение скорописному письму становится распространенным явлением. Что касается книжного письма, то здесь грамотность предполагала прежде всего умение читать (§ 6.3.1): умение писать книжным письмом было более или менее профессиональным — если читать учили повсеместно, то писать учили в специальных скрипториях. Между тем при обучении скорописи учат именно писать, и, таким образом, скоропись становится обычным непрофессиональным способом письменной фиксации речи.

Это связано с тем, что скоропись соотносится с русским языком: церковнославянским языком владеют обычно пассивно, а русским — всегда активно; поскольку скорописное письмо ассоциируется с русским языком, владение скорописью предполагает активные навыки. По свидетельству Котошихина, при обучении царских детей грамоте в XVII в. «в учителя выбирают учителей людей [т.е. специальных учителей]... а писать учить выбирают из посольских подячих» (л. 25); существенно, что для обучения письму выбирались не духовные лица, а подьячие, которые обучали, несомненно, скорописному письму.

Коль скоро скоропись связывается с русским языком, обучение скорописи может рассматриваться — под определенным углом зрения — как начальный этап обучения русскому языку; тем самым закладываются предпосылки для кодификации русской речи.

Отношения между книжным и скорописным письмом обнаруживают те же тенденции, что и отношения между церковнославянской и русской лексикой (§ 10.2). Так, в скорописи могут писаться под титулом русские (некнижные) эквиваленты церковнославянских подтительных слов: если, например, в церковнославянских текстах принято сокращение *нѣб* (*нынѣ*), то в скорописи, соответственно, встречаем соотносящуюся по значению форму *тѣсѣ* (*тогда*) и т.п. (ср. Беляев, 1911, с. 30–31); характерно, между тем, что в древнейшей русской скорописи (XIV в.) сокращения те же, что в уставе или полууставе. Здесь, очевидно, проявляется та же тенденция к установлению корреляции между церковнославянским и русским языком, которую мы прослеживали выше на лексическом материале, т.е. специфические скорописные формы и соответствующие формы книжного письма оказываются в отношении эквивалентного перевода.

Уместно отметить, что когда в XVIII в. появляются первые опыты кодификации русского языка, в них предписываются те же сокращения, которые свойственны скорописи, и вообще здесь встречаются неоднократные ссылки на скорописную орфографию (Успенский, 1975, с. 41–42). Итак, противопоставление скорописного и книжного письма в известной мере определяет характер представлений о русском языке.

Мы столь подробно остановились на проблемах функционирования скорописи, поскольку здесь отчетливо отражаются основные изменения языковой ситуации. С одной стороны, оформляется противопоставление русского и церковнославянского языка, отразившееся в противопоставлении книжного и скорописного письма. С другой стороны, появление и распространение скорописи знаменует становление специальной нормы особого приказного языка, кото-

рый отчетливо противопоставляется языку церковнославянскому и связывается с русской языковой стихией — при том, что этот язык обнаруживает элементы искусственного нормирования, отличающего его от разговорной речи. Это нормирование было связано с деятельностью канцелярий и, следовательно, с определенной письменной традицией, которая, вместе с тем, подготавливает почву для последующей секуляризации литературного языка. Связь с письменным началом и определяет специфику приказного языка по отношению к русской разговорной речи. Указанное обстоятельство объясняет, между прочим, борьбу с подьяческим языком в XVIII в. в условиях ориентации литературного языка на русскую разговорную языковую стихию (ср. выступления Сумарокова, Новикова и др.): в перспективе разговорной речи приказной язык начинает восприниматься как книжный и в этом смысле может даже ассоциироваться с церковнославянским языком. Приказной язык, традиция которого сохраняется до XIX в., не имел (на великорусской территории) прямого отношения к литературному языку, однако его стабилизация и функционирование имеют самое непосредственное отношение к языковой ситуации изучаемого периода.

§ 10.5. Возникновение грамматической традиции.

Перестройка отношений между книжным и некнижным языком приводит к появлению грамматической традиции. До второго южнославянского влияния грамматические описания церковнославянского языка в России отсутствуют, и нет оснований полагать, что существовали какие-то не дошедшие до нас описания. В условиях взаимодействия книжного и некнижного языка в таких описаниях не было необходимости, поскольку книжный язык воспринимался как кодифицированная форма языка некнижного. Основой владения церковнославянским языком был пересчет некнижного языка в книжный. Правила такого пересчета преподавались при обучении письму, и именно на этих правилах строились знания грамотного книжника. Кодификация книжного языка в этот период осуществлялась не через грамматические описания церковнославянского языка как целого, а через опирающееся на некнижный язык обучение, которое строилось на соотносительных признаках (ср. § 8.11). Дополнительным моментом оказывалось владение синтаксическими конструкциями, основывающимися на несоотносительных признаках (§ 8.9), которое определялось начитанностью книжника и его индивидуальными способностями.

В условиях второго южнославянского влияния, напротив, нужны грамматические описания церковнославянского языка, поскольку этот язык мыслится как самостоятельная система, в целом про-

тивостоящая языку некнижному. Книжный язык не может быть теперь получен из некнижного, а должен осваиваться как самостоятельное и независимое целое. Этим и обусловлена потребность в грамматических описаниях. Со временем такие описания становятся все более полными — не только потому, что они совершенствуются, но также и потому, что все больше осознается противопоставленность книжного и некнижного языков.

Наряду с внутренними процессами, о которых мы сейчас говорили, появление грамматических описаний было, видимо, стимулировано и причинами внешними. У южных славян подобные описания появляются раньше, чем у славян восточных, и ряд русских грамматических сочинений в той или иной степени несомненно восходит к южнославянским источникам. В частности, на Руси распространяется трактат «О осмих частех слова» (Ягич, 1896, с. 38 сл.), а также рассуждение Константина Костенечского «О писменех» (там же, с. 247 сл.; Никольский, 1924, с. 398); влияние этого последнего сочинения прослеживается, между прочим, в букваре Ивана Федорова 1574 г. (Быкова, 1955, с. 471; ср. Лукьяненко, 1960); южнославянское происхождение приписывается и «Простословию» старца Евдокима (Ягич, 1896, с. 629–661; Соболевский, 1903, с. 34–36). Южнославянские источники на Руси могут перерабатываться и видоизменяться, они так или иначе отражаются во многих оригинальных сочинениях и таким образом составляют первоначальное ядро русской грамматической традиции.

Наряду с южнославянскими источниками русская грамматическая традиция может использовать и источники иноязычные — как греческие, так и латинские. Так, в 1522 г. в Московской Руси появляется русский перевод «Доната», принадлежащий Дмитрию Герасимову, где грамматика церковнославянского языка строится по латинской модели (Ягич, 1896, с. 524–623); Дмитрий Герасимов исходил при этом из латинско-немецкого «Доната», где латинский текст грамматики (в том числе и базисные парадигмы) сопровождался переводом на немецкий язык — соответственно, его грамматика обнаруживает непосредственную зависимость от немецкого перевода (Захарьин, 1991). Грамматика была предназначена, по-видимому, для обучения латыни, однако при этом возникала необходимость кодификации церковнославянского языка. Между тем в Юго-Западной Руси в XVI в. появляется грамматика «еллино-словенского» языка, где грамматическое описание церковнославянского языка строится по греческой модели (Аделфотес, 1591). Особого упоминания заслуживают грамматики Лаврентия Зизания 1596 г. и Мелетия Смотрицкого 1619 г., изданные в Юго-Западной Руси, а также великорусские грамматические со-

чинения: «Простословие» старца Евдокима, использующее южно-славянские источники (Ягич, 1896, с. 629–661), и «Буковница» старца Герасима Ворбозомского (ГБЛ, ф. 173, I. № 35, л. 134–234), где делается попытка для каждого слова дать полный набор его словоформ — «Буковница» представляет собой, таким образом, грамматический (словоизменятельный) словарь (см. Аксенова, 1981; Живов, 1995).

Авторство Герасима Ворбозомского устанавливается предположительно на основании следующих данных. Дошедший до нас список этого сочинения был сделан в 1592 г. в Благовещенском Ворбозомском монастыре (на озере Ворбозом в 22 км юго-восточнее Белозерска). Вместе с тем, в ряде грамматических сочинений XVII в. упоминаются «Буквы» старца Герасима Ворбозомского (Петровский, 1888, с. 17; Карпов, 1878, с. 62; Ягич, 1896, с. 349, 683, 698); в одном рукописном сборнике второй четверти XVII в. (ГБЛ, ф. 310, № 628, л. 443–453 об.) помещена статья «Избрание букв», приписанная «старцу Герасиму зовомому Пал'ка» (Ягич, 1896, с. 442, 683); можно полагать, что это одно и то же лицо. К «Буковнице» Герасима Ворбозомского очень близка «Книга глаголемая буквы грамматичного и осмочастного учения», дошедшая до нас в списке первой четверти XVII в. (ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 23 об.—58 об.); возможно, это вариант (переделка) того же сочинения.

§ 11. Реформа церковнославянского языка

§ 11.1. Орфография: написание грецизмов. Для второго южнославянского влияния характерно стремление привести написание грецизмов в соответствие с греческим правописанием, что явно отвечает общей эллинофильской направленности происходящих в этот период культурных процессов. Начинают вновь употребляться буквы џ и ѡ, которые были введены в славянскую азбуку именно для передачи грецизмов, но в орфографической практике, сложившейся в конце XIII — XIV в., фактически больше не применялись (оставляем в стороне цифровое значение этих букв). Эти буквы, равно как и буквы ѣ, ѵ, ѡ, начинают писаться в грецизмах в полном соответствии с правописанием исходных греческих слов.

Особого комментария требует употребление буквы ѵ (ижицы). В предшествующей традиции эта буква писалась так же, как вторая часть диграфа оу, и в позиции после согласных могла выступать в той же функции, что и данный диграф, т.е. для обозначения фонемы /u/, — следует помнить, что славянский диграф оу восходит к греческому диграфу ου, где славянское ѵ (ижица) соответствует греческому υ (ипсилону). Выступая в XIII—XIV вв. как эквивалент диграфа оу, буква ѵ (ижица) теряет свою первоначальную функцию специальной буквы, передающей υ (ипсилон) в грецизмах; именно поэтому название этой буквы («ик») начинает выступать как название Ѣ, которая по происхождению является лигатурным написанием оу, но может пониматься как отдельная буква (§ 7.10.3). После второго южнославянского влияния появляется новое начертание ижицы (ѵ), которое употребляется практически исключительно в грецизмах и может противопоставляться букве ѹ (т.е. старому начертанию ижицы); в свою очередь эта последняя буква может отождествляться с лигатурой Ѣ.

Равным образом, в соответствии с греческими орфографическими правилами начинают писаться и сочетания букв, что предполагает и греческие правила чтения этих сочетаний. Именно так обстоит дело с написанием гг вместо нг, гк вместо нк. Так, например, под влиянием греческой орфографии вместо *ангелъ* начинает писаться *аггелъ* (ср. греч. ἄγγελος), вместо *евангелие* — *εὐαγγέλιε*, вместо *Панкратин* — *Παγκράτιν* и т.п. При этом по правилам греческого произношения γγ и γκ читается с первым носовым согласным: [ng], [nk]. Аналогичное произношение предполагается теперь и для русского двойного гг и гк, т.е. как написание, так и произношение входят в соответствие с греческим образцом. Таким образом, произношение соответствующих слов не меняется, а меняется только

их написание (что может служить еще одной иллюстрацией расхождения орфографии и орфоэпии, характерного для второго южнославянского влияния, см. § 10.3). В случае слова «ангел», однако, новое написание (аγγελъ) может влиять на произношение, т.е. появляется произношение [aŋ:elʲ], обусловленное прочтением данного написания не по греческим, а по русским правилам; этому произношению усваивается особый смысл (§ 12.4).

Другим случаем, когда орфография оказывает влияние на произношение, т.е. греческое написание, переданное славянскими буквами, читается по славянским, а не по греческим правилам, является форма имени собственного Евѣл. В период второго южнославянского влияния это имя начинает писаться как *Еѣѣлѣ* в соответствии с греческим написанием *Εὐβλος*, *Εὐβλους*. Согласно греческим правилам чтения такое написание предполагает произношение *Еѣѣл*, и действительно, в Юго-Западной Руси сохраняется эта форма. Однако в Московской Руси появляется форма *Еѣѣлѣ*, которая соответствует греческому написанию, но не произношению, т.е. обусловлена прочтением формы *Еѣѣлѣ*, где *ѣ* (ижика) отразилась в виде гласной (ср. § 7.10.3); о полемике по поводу этих форм см. Успенский, 1969, с. 158.

В некоторых случаях в написаниях грецизмов непосредственно отражается греческое произношение, которое может не соответствовать греческой орфографии. Это наблюдается при написании групп согласных, а именно пишется *нд* вместо *нт* (*Андонѣн* вместо *Антонѣн*) и *мѣ* вместо *мп* (*Олѣмѣѣ* вместо *Олѣмпѣѣ*).

§ 11.2. Орфография: отдельные буквы. В целом ряде случаев книжная орфография претерпевает изменения, так или иначе отражающие влияние южнославянской нормы. Это сказывается прежде всего на употреблении отдельных букв.

Так, вновь вводится буква *юс* большой (*ѣ*), которая ко времени второго южнославянского влияния совершенно исчезла из русской орфографической практики (§ 7.1). Речь идет о чисто орфографическом нововведении, поскольку эта буква употребляется русскими писцами вне зависимости от этимологии. В дальнейшем, с прекращением второго южнославянского влияния, буква эта постепенно исчезает из русской письменности: с началом книгопечатания она употребляется еще в югозападнорусских изданиях, но практически не встречается в книгах московской печати; она показана, впрочем, в московских букварях XVII в. — вероятно, под влиянием югозападнорусских букварей. После никоновских реформ эта буква не представлена в церковнославянском языке и употребляется лишь в ключе границ пасхалии (для обозначения Пасхи 24 апреля), т.е. по существу функционирует уже не как буква.

Буква зело (з), употреблявшаяся ранее главным образом в числовом значении («б»), начинает регулярно писаться в определенных словах, например, зѣлау, зело. Если в южнославянской орфографии противопоставление букв з и з могло иметь фонетическое значение, то в России оно является орфографической условностью.

В некоторых словах пишется ѿ (о очное). Так, в частности, может писаться слово «око» (ѿко), что имеет идеографический характер — это видно уже по тому, что слово «очи» может писаться ѿочи или ѿчи; соответственно, в слове «многоочитый», передающем греч. πολυόχματος, в этой букве может появляться много точек (так, например, в сборнике произведений Дионисия Ареопита, который традиция связывает с именем митрополита Киприана и который представляет собой, возможно, список с рукописи Киприана: ГБЛ, ф. 173/1, № 144, л. 34 об.).

Буква еры начинает писаться как ѣ, а не как ѣ, и такое написание прочно усваивается церковнославянской традицией. Это обусловлено влиянием южнославянской графики и косвенно связано с меной еров в южнославянских рукописях, поскольку ѣ осмыслялось как диграф и, соответственно, в старославянских и русских текстах вместо ѣ могло писаться ѣи, ѣи, ѣи, ѣи (где ѣ выступал как графический эквивалент ѣ). Ср. характерный перенос со строки на строку в надписи царя Самуила 993 г.: съ-нна. Показательно, что в Мин. 1095, равно как и в ряде других памятников, первоначальные написания с ѣ на месте ѣ последовательно исправляются на ѣ (ср. Корнеева-Петрулан, 1917, с. 30), что соответствует правке ѣ на ѣ на месте *ѣ в тех же памятниках (ср. § 7.5.4).

В результате второго южнославянского влияния число 900 начинает обозначаться буквой ц, а не буквой ѣ, как это имело место в предшествующий период; это цифровое значение закрепляется за буквой ц и в дальнейшем. Это различие соответствует разнице кириллицы и глаголицы: в кириллице числовое значение 900 передается буквой ѣ, в глаголице — буквой ц; таким образом, ц в цифровом значении может рассматриваться как рефлекс глаголицы, принесенный вторым южнославянским влиянием.

Со вторым южнославянским влиянием в русских памятниках исчезает к. Отсюда теряется графическое различие между [je] и [e] в начале слова. Как мы уже отмечали (§ 7.10.1), древняя произносительная традиция, различающая [e] и [je] в начале слова, сохраняется в Юго-Западной Руси, но не сохраняется в Московской Руси, где в начале слова автоматически перед ѣ появляется йотация. Соответственно, в Юго-Западной Руси с утратой к ощущается необходимость в адекватных графических средствах для этого различия. Отсюда здесь появляется буква э, которая наблюдается в

югозападнорусской письменности с конца XV в. (Карский, 1928, с. 186; Булыко, 1970, с. 40–43). В великорусской письменности буква э встречается только в одном специальном значении, а именно в певческих рукописях демественного и путевого распева (известных с XVI в.); эта буква стоит здесь в начале музыкальной строки (например: «Э на рѣцѣ вавилонстѣи...» и т.п.), причем функция ее остается неясной — возможно, она играла роль звукового настроя, задающего определенный тон всему следующему за ней песнопению. Так или иначе над буквой э всегда стоит в этом случае нотный знак, и, следовательно, она несомненно выпевалась, а не представляла собой какой-либо технической пометы. Можно думать, что эта буква передавала тянувшийся звук [e] без йотации, которым начиналось песнопение: действительно, старообрядцы, которые сохранили демественный распев, произносят э в певческих рукописях именно таким образом, т.е. выпевают ее в виде чистого гласного [e], не имеющего начальной йотации. Если отвлечься от этого специального случая, буква э появляется в великорусских церковнославянских текстах лишь спорадически — как правило, в тех случаях, когда они восходят к югозападнорусскому источнику (Успенский, 1975, с. 188; Шоберг, 1975, с. 22). Буква э приходит на Русь из южнославянской письменности, где она встречается в памятниках XIII–XIV вв. (Карский, 1928, с. 186). Обычно считают, что она восходит к глаголической Э, хотя она может трактоваться и просто как перевернутое кириллическое є. Под югозападнорусским влиянием буква э появляется в XVIII в. в гражданской письменности.

Особым случаем является написание э в наименовании Бога в апокрифическом Откровении Иоанна, входящем в Сильвестровский сб. второй половины XIV в. (РГАДА, ф. 381, № 53): «Прѣвѣчне крѣпче бѣе Эль. Бѣ кдиневластне самородене нетлѣжме... вѣчныи крѣпче бѣе Саваофе преславне. Эль. Эль. Эль. Эль. Іа билъ. ты ѿси ѿгоже възлюби дѣша моѣ» (Тихомиров, I, с. 43). Характерно, что буква э появляется в иностранном слове (гебраизме), при том что отсутствие йотации могло бы быть выражено здесь и буквой є. Употребление буквы э связано, по-видимому, в данном случае с сакральным характером имени. Сильвестровский сб. написан до второго южнославянского влияния, однако уже здесь могут наблюдаться тенденции, окончательно оформившиеся несколькими десятилетиями позже (как это имеет место и в отношении Чуд. Нов. Завета, написанного примерно в то же время, — § 9.3).

§ 11.3. Орфография: изменение орфографических правил. Со вторым южнославянским влиянием из южнославянской письменности усваиваются определенные орфографические принципы дистрибуции букв, которые у южных славян могли быть

мотивированы фонетически, в России же они выступали как чисто орфографическая инновация. Как правило, эти орфографические инновации не имеют никакого отношения к русскому книжному произношению.

§ 11.3.1. Дистрибуция букв -а и -я, -ѣ в поствокальной позиции. Со вторым южнославянским влиянием после гласной пишется а там, где раньше писалось ѣ, например, моа, своа, добраа, спасеніа и т.п. Это зияние, возникшее фонетически в говорах болгарского языка, в России графически распространилось и на такие случаи, где болгарский язык никогда не имел звука [а]. Так, регулярно пишется всеа Рѹсѣи (ср. старославянское *всьєа*, среднеболгарское *всьєа*, *всьєж*, *всьєж* — Щепкин, 1967, с. 130). Такой орфографический принцип мог ассоциироваться с написанием грецизмов, в которых и до второго южнославянского влияния могли писаться нейотированные буквы, например, Марна, Иаковъ, диаконъ, днаволъ и т.п. Таким образом, южнославянские и греческие орфографические принципы естественно сливались в глазах русского книжника (ограничение в употреблении йотированных букв, характерное вообще для второго южнославянского влияния, может быть связано с отсутствием подобных букв в греческом алфавите; это заставляло воспринимать такие буквы как локальную инновацию). С прекращением второго южнославянского влияния правописание такого рода как принцип не удерживается, но закрепляется в определенных формах и категориях слов. Так, форма всеа часто встречается в титулах царей (князей) и патриархов (митрополитов), представляя собой сознательный архаизм. В некоторых текстах форма всеа может употребляться только в титуле умерших царей и правителей России — примером может служить Уложение 1649 г. (Черных, 1953, с. 333–334). В дальнейшем соответствующие написания удерживаются только при передаче грецизмов, что, вообще говоря, соответствует практике, имевшей место и до второго южнославянского влияния; в новое время эта практика приобретает, однако, нормативный характер. Как мы уже говорили, соответствующие написания, по-видимому, не отражались на произношении.

Уже в древнейший период русской письменности написание грецизмов с буквой а после гласной может распространяться и на косвенные формы собственных имен: соответственно, написания на греческий манер спорадически появляются в собственно славянских флексиях, ср. в Остр. ев. 1056–1057 гг.: *отъ Матѣѣа*, л. 81в, 83б, 86в, 204в, *Тимоѣѣа* и *Анастасѣа*, л. 263б, *Варѣоломѣа*, л. 276а, *Елисѣа*, л. 276б, и др. Этот принцип закрепляется в церковнославянском языке, и в новое время мы регулярно встречаем формы типа ѿ Матѣѣа, Николаа. При этом в одном и том же тексте могут встречаться формы

типа Николаа и Николаа, ср. в Служебнике (СПб., 1905) Николаа Чюдотворца (с. 349, 391), но (императора) Николаа (с. 129, 131) — характерно, что южнославянская форма применена к имени святого.

В рукописях эпохи второго южнославянского влияния можно встретить также и написания с *оу* (Ѹ) вместо *ю* в поствокальной позиции, т.е. такие формы, как *сѣданіоу*, *трѣпѣніоу*, *питіоу* и т.п. (Гальченко, 2000, с. 80–81), однако такие написания представляют собой относительно редкое явление.

§ 11.3.2. Правописание еров. В соответствии с одной из южнославянских орфографических традиций в русских церковно-славянских текстах написание еров подчиняется дистрибуционным правилам: на конце слова всегда пишется *ь* (на месте *ь* и *ѣ*), в середине слова пишется *ѣ* (на месте *ѣ*, *ѥ*, а также на месте *о* и *ѡ*, восходящих к **ъ*, **ь*). В южнославянской орфографии это искусственное правило было обусловлено совпадением рефлексов **ъ* и **ь* в одной фонеме, что делало буквы *ѣ* и *ѥ* омофоничными и взаимозаменяемыми; между тем в русских рукописях орфография вступала здесь в явное противоречие с произношением. В отдельных случаях смешение *ѣ* и *ѥ* в памятниках XV–XVI вв. отразилось на произношении. Таким образом объясняется слово *стогна*, где *о* заменяет этимологический *ь* (ранее это слово пишется как *стъгна* или *стѣгна*, ср. родственные слова *стежа*, *достигать*), а также слово *зодчий*, где имеет место то же явление (ср. древнюю форму *зѣдчи*, а также глагол *зѣдати*, родственный современному *созидать*); в этих случаях *ѥ* в середине слова заменился на *ѣ*, который в свою очередь был заменен на *о* (Соболевский, 1894а, с. 218). В грамматическом сочинении «Книга глаголемая буквы грамотичного и осмочастного учения», автором которого является, возможно, уже упоминавшийся выше (в § 10.5) старец Герасим Ворбозомский, — это сочинение дошло до нас в грамматическом сборнике первой четверти XVII в. (ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 23–58 об.) — читаем: «Зданъ, сотворенъ... По ельин'ски бо сотвореніе наричет'ся зодъ, а еже по руски, с'данъ глется, свер'ху в'низ поданъ» (л. 36 об.–37). Итак, специфическая церковнославянская форма, отражающая второе южнославянское влияние (ср. *зодчий*), объявляется «еллинской» (не исключено, что здесь имеет место и ассоциация с греч. ζῶ «жить»), она противопоставляется «русской» форме — южнославянское и греческое естественно объединяются на русской почве.

Восстанавливается южнославянское написание в группах типа *СѣгС*, т.е. слова, которые в предшествующий период писались *вѣрхъ*, *тѣргъ*, начинают писаться как *врѣхъ*, *трѣгъ* и т.п., ср. характерный гиперкоррективизм *пль* вместо *полъ* (т.е. «половина»); это слово

было осмыслено как восходящее к сочетанию редуцированного с плавным, в результате чего в новой орфографии ѣ оказывается после плавного (л) и, попадая в позицию конца слова, автоматически заменяется на ь (Щепкин, 1967, с. 130). В редких случаях такое написание отражается на произношении; именно таким образом объясняются формы *брение, бренный* — до XIV в. мы имеем *бърник, бърникъ, бърньнь, бърненъ*.

§ 11.3.3. Дистрибуция букв і и и. В результате второго южнославянского влияния складывается орфографическое правило, согласно которому перед гласными пишется і, а не и (такое правило было усвоено затем и гражданской орфографией и сохранялось до 1917 г.). Подобная орфография обусловлена в конечном счете ориентацией на греческую модель, поскольку в греческом сочетании *ia, io, ie, iη* встречаются существенно чаще, чем *qa, qo, qe, qi* и т.п. (слав. и восходит к греч. η и естественно ассоциируется с этой буквой, а слав. і восходит к ι и ассоциируется с нею). Ср. в орфографическом трактате «Написание языком славенским о грамоте...» специальное предписание: «Гдѣ случится в началѣ реченіи два і, то в' послѣдняг[о] мѣсто *иже*. а гдѣ прилучится в' среди реченіи *иже*, а по нем і, то во *ижа* мѣсто і, а въ і мѣсто *иже*» (Ягич, 1896, с. 368), т.е. здесь указывается, что там, где раньше писалось сочетание *ni*, следует писать *in*. Написание и в позиции перед гласной сохраняется лишь там, где возникает необходимость орфографического различения омонимов, ср. противопоставление *влагѣа* (им. мн. женск.) — *влагѣа* (род. ед. женск.) в грамматике Смотрицкого (1619, л. А/7; ср. § 12.2).

§ 11.3.4. Употребление диграфа оу (ѣ). Диграф оу или лигатура ѣ последовательно используются теперь для передачи фонемы /u/. Ранее обычно оу писалось в начале слога, тогда как в середине слога писалось у (ср. § 11.1). Это орфографическое правило прочно усваивается церковнославянской традицией.

§ 11.3.5. Буквы ю- и оу- (ѣ) в начале слова. Со вторым южнославянским влиянием в определенных словах закрепляется написание с начальным ю, при том что раньше те же слова могли писаться как с ю, так и с оу (ѣ). В старославянских памятниках одни и те же слова могут писаться то с оу, то с ю; так, в Мар. ев., Синай. пс., Сав. книге встречаем оуже и юже, оутро и ютро. Вместе с тем в позднейших южнославянских памятниках одни слова пишутся с оу, другие — с ю. Так, в Евангелии Иоанна Асенья середины XIV в. регулярно пишется оуже, однако югъ, южска, юности, юноше, юнци и т.п. (Талев, 1973, с. 285–286). Йотация невозможна при этом в следующих словах с начальным *u: 1) в словах с приставкой

оу- типа оуѡгій, 2) в определенной группе слов, таких как оуѡшн, оуѡста, оуѡдъ, оуѡмъ, оуѡчити и некоторых других. В русских церковнославянских текстах до второго южнославянского влияния мы встречаем как формы оуѡдоль, оуѡродивын, так и формы юѡдоль, юѡродивын, т.е. это колебание не выходит за пределы церковнославянской языковой нормы (ср. § 8.1.5). В результате второго южнославянского влияния устанавливается нормативное правописание определенных слов с начальным ю, а именно пишется юѡдоль, юѡродивын, союзъ (ср. старое съѡзъ); при этом те слова, которые не могут принимать протетическую йотацию в южнославянских языках, не принимают ее и в русском церковнославянском языке. В грамматическом сочинении «Сила существу книжнаго писания» читаем: «Да нѣѡи пишутъ от неискуства. *юѡроба, юѡродивын...* ты же, возлюбленне, пиши. *ѡѡроба, ѡѡродивын...* Да нѣѡи пишутъ не вѣдая *ѡѡзъ юѡзами...* а инѣи пишутъ не вѣдая. *соѡзъмъ любве*, ты же пиши *соѡзъмъ любве*» (Ягич, 1896, с. 439–440). Подобные написания отражаются на произношении, причем противопоставление формы с йотацией и формы без йотации начинает восприниматься как противопоставление книжной и некнижной формы. В некоторых случаях противопоставленные таким образом формы получают семантическое различие, ср., например, юѡдъ и оуѡдъ (§ 12.4), причем в этом специальном значении форма без йотации может входить в норму церковнославянского языка.

§ 11.3.6. Смешение букв под влиянием южнославянских протографов. Под влиянием южнославянской письменной традиции в русских памятниках, написанных в период второго южнославянского влияния, встречается смешение ѡ и ю, ѡ и ж, а также ѡ и ѡ. Такое смешение широко представлено в южнославянских памятниках, где оно обусловлено фонетически. В русских памятниках оно встречается лишь окказионально, отражая влияние южнославянских протографов.

§ 11.3.7. Рефлексы *ег между согласными. Под влиянием южнославянской орфографии рефлексы *ег между согласными снова начинают писаться как рѣ, а не как ре (что входило в орфографическую норму предшествующего периода, § 7.8.1), например, *прѣдъ, врѣмѡ, врѣгъ* и т.п. Эти написания оказываются, однако, скоропреходящими и не удерживаются в русской церковнославянской орфографии. Судя по этому, правописание не оказало здесь влияния на книжное произношение.

§ 11.3.8. Рефлексы *dj. После второго южнославянского влияния в соответствии с общеславянским *dj может регулярно писаться не ж, а жд, ср. в сочинении «Сила существу книжнаго

писма» порицание тех, кто «пишут и говорят» рожѣшю вместо рождѣшю (Ягич, 1896, с. 425, примеч. 4). Старое правописание с ж может, однако, спорадически встречаться в церковнославянских текстах вплоть до настоящего времени. Так, в современных богослужебных книгах мы встречаем Тѣнство странное виждѣ (вместо виждѣ — Рождественский ирмос), Хвалите его во оутверженіи силы егѣ (вместо оутверженіи — стих на хвалитех) (Алипий, 1964, с. 31, примеч. 2). Подобные случаи следует рассматривать как отражение старой нормы церковнославянского языка, предшествующей второму южнославянскому влиянию: в процессе книжной sprawy в период второго южнославянского влияния книжники регулярно заменяли ж, соответствующее *dj, на жд, однако отдельные случаи при справе могли быть пропущены, и такие случаи закрепились затем в церковных книгах. Написание жд соответствует южнославянской норме, и, тем самым, орфография русских книг приближается к южнославянской орфографии.

Написание жд отражается на произношении, чтение жд как [žd] входит в норму книжного произношения. Вместе с тем исчезает графическое различие между /žd/ и /ždž/, поскольку и то и другое сочетание одинаково передается на письме как жд (ср. § 7.2; § 7.3). Поскольку книжное произношение ориентировано на орфографию, данное различие утрачивается и в произношении: в соответствии с написанием в обоих случаях — как в случае рефлексов *dj, так и рефлексов *zdj, *zgj, *zg' — читается [žd]. Такое написание и произношение с этого времени закрепляется в церковнославянском языке.

§ 11.3.9. Написание отдельных слов. В новую норму церковнославянской орфографии входит и южнославянское написание отдельных слов, например, цѣѣтѣ вместо цѣѣтѣ. К орфографическим инновациям такого рода можно отнести, видимо, и написание прѣѣзъ вместо чрѣѣзъ, нѣѣ вместо нѣѣ, но. С концом южнославянского влияния такие формы исчезают.

§ 11.4. Орфография: надстрочные знаки и знаки препинания. Второе южнославянское влияние особенно заметно проявляется в правописании разного рода надстрочных знаков и знаков препинания, которое в ряде моментов приводится в соответствие с греческими нормами.

§ 11.4.1. Знаки акцентов и придыханий. В рукописях, написанных в период второго южнославянского влияния, регулярно ставятся знаки акцентов и придыханий. Как мы уже говорили (§ 10.3), они, по-видимому, не имеют фонетического значения и

свидетельствуют о греческой ориентации. Знаки придыхания в славянских рукописях ставятся в начале слова или слога (в последнем случае постановка этих знаков не соответствует греческому образцу). В одном случае знак придыхания получает в дальнейшем фонетическое значение, а именно знак придыхания над и: получающаяся в результате графема ѣ начинает означать [j], т.е. и неслоговое. После размежевания югозападнорусской и великорусской традиций буква ѣ («и с краткой») была усвоена традицией Юго-Западной Руси (об истории этой буквы в югозападнорусской письменности см. Булыко, 1970, с. 53–56), но была нехарактерна для Московской Руси. В грамматическом сочинении XVI в. «О еже како просодия достоит писати и глаголати» сообщается: «Краткая полагается в сих рѣчех. *пойдѣ, дойдѣ, поймѣ, ай несетъ, айнененаини* [глоссо-лалическая попевка], *свойство, пойте, і в' подобных сим, ѣкож се. мой, сей, твой, той.* но великая Росія москов'скія рѣчи не полагается краткая над таковыми писмены, но таковая писмена без просодія полагаются. пачеж в' выдрукованных книгах» (Ягич, 1896, с. 457).

Необходимо оговориться, что знаки придыханий sporadически встречаются и в древнейших памятниках, например, в Остр. ев. 1056–1057 гг., в Изб. 1073, в Мстисл. ев. начала XII в. (Карский, 1928, с. 227–228); они регулярно появляются в Чуд. Нов. Завете, что объясняется непосредственным греческим влиянием. Однако в период второго южнославянского влияния их постановка входит в орфографическую норму. Это может быть поставлено в связь с тем, что надстрочным знакам придавали большое значение южнославянские книжники: Константин Костенечский в своем трактате «О писменех» посвящает этому вопросу две главы (Ягич, 1896, с. 139–143). Эта черта церковнославянской орфографии прочно закрепляется в церковнославянском языке: с введением кинопечатания большинство надстрочных знаков вошло в печать.

Связь надстрочных знаков с греческой культурной ориентацией могла, по-видимому, осознаваться еще и в XVIII в. Характерно, что когда Петр I вводит гражданскую азбуку (1710 г.), он специально настаивает на том, чтобы в гражданском письме не было надстрочных знаков (Живов, 1986, с. 57–59). Как уже отмечалось, по своему происхождению гражданский шрифт связан со скорописью, т.е. с тем типом письма, который ассоциировался с русским, а не с церковнославянским языком (§ 10.4); вместе с тем начертания гражданских букв оказываются приближенными к латинице, как это естественно вообще в условиях западной культурной ориентации (Успенский, 1994, с. 115–116). Противопоставление церковного и гражданского письма по признаку наличия или отсутствия надстрочных знаков соотносится, таким образом, с противопоставлением греческого и латинского письма.

§ 11.4.2. Знак титла. В период второго южнославянского влияния упорядочивается написание сакральных слов под титлом. Подтительное написание является, как правило, сокращенным, однако значимым оказывается прежде всего постанова титла. Если до второго южнославянского влияния могли появляться сокращенные написания без титла, то теперь, напротив, могут появляться несокращенные написания под титлом, например, слово «ангел» может писаться как *аѣгъ*, так и *аѣгѣлъ*. Изменение состоит в том, что само написание титла семиотизируется: написания одних и тех же слов под титлом и без титла начинают противопоставляться по значению. Так, слово «ангел» в подтительном написании (*аѣгъ*, *аѣгѣлъ*) обозначает ангела, т.е. благого вестника, а в написании без титла (*аггѣлъ*) — беса, т.е. падшего ангела (ср. § 12.4). Слово «Бог» в подтительном написании обозначает христианского Бога, а в написании без титла — бога языческого. Сам принцип написания сакральных слов под титлом восходит к греческому источнику (см. Чермошник, 1925; Гранстрем, 1954; Траубе, 1907; Паап, 1959). Противопоставление полного и сокращенного написания, связанное с противопоставлением доброго и злого начала, спорадически встречается уже в старославянских текстах: так, в Зогр. ев. противопоставляется сокращенное написание под титлом Духа Святого полному написанию духа нечистого (ср. Мф. VIII, 16; X, 1). Однако подобное противопоставление до определенного времени, кажется, не характерно для русских памятников, где можно встретить написания корня *бог-* под титлом в том случае, когда речь идет о языческом божестве, см., например, в Чуд. Нов. Завете: «великиа бѣгѣна Артеміды» (л. 72 об.), в Паисиевском сб. начала XV в.: «проклятому бѣгу Перуну» (ГПБ, Кир.-Бел. 297/1081, л. 40 сл.). Вместе с тем, после второго южнославянского влияния противопоставление полного и сокращенного (подтительного) написания становится орфографическим принципом, который прочно усваивается церковнославянским языком. Этот принцип специально оговаривается в грамматических сочинениях: «Титла пишется над Гѣдскими, і Бгородичными имены, вся бо Хѣва бѣтвенная імена, и Бѣы, и Крѣтва и стѣхъ прѣркъ і апѣлъ, и стѣи, и сѣино мѣнки, і прѣбныхъ, і прѣвѣныхъ, и блѣгихъ, и блѣженныхъ, и блѣгочѣивыхъ цѣрей, и цѣрѣцъ, и кѣнзей, і кѣнгъ, и вѣдѣки, і еѣкпы, и сѣѣнники, і оучѣтли, і стрѣсти стѣхъ, і проста рѣщи всако стѣое именованіе писати под покрѣтіемъ; Також всяко имя отпадшее писати складом, а не под покрѣтіемъ; ѣкожъ сѣтъ сія, ангѣлы лѣкавыя, лѣжеапостолы, лѣжепророки, дѣхъ лѣкавыи, антихриста, и предотечю его, и злочѣивыя цари і князи, і епископы, и владыки, и оучител[и], і священники, і боги, и цѣркви идольскія, и страсти, рекше похоти, і по-

добная симъ» («Грамматика» по списку начала XVII в. — ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 105 об.—106; ср. еще аналогичные предписания: Ягич, 1896, с. 419—428, 433, 459, 498). В одном из сочинений, специально посвященных данному вопросу, читаем: «Аше ли кто... сопротивляется о таковыхъ глѣ: едино си есть и сѣо и отпадшое... и несть грѣха одинако писати. Оувы такового неразуміа и погибели дѣшевная... о такомемъ что и глати, но точію молимъ Гѣ Бѣа, да избавить насъ от такового мужа» (Ягич, 1896, с. 726). Ср. в словаре Памвы Берынды: «БЛАГ(Ѡ): гды пишется без титлы, в русской мовѣ значить: не гараздъ, мдле, недобре, оуломне, зимно, лѣнливо, гнѣосне, не охотне, блѣдо, сине, що трупѣю фарбу мает» (Берында, 1627, с. 5—6; см. выше о противопоставлении *благой* — *благий*, § 4.4). Принцип написания сакральных слов под титлом получает затем дальнейшее развитие. Так, в Библии, напечатанной в 1891 г. в Петербургской синодальной типографии, мы встречаем: *гла ѿ Іисъ* (Ин. II, 4), *бѣгола мѣти Іисова къ немѣ* (Ин. II, 3), *бѣгола к немѣ Никодимъ* (Ин. III, 4) — здесь слово *бѣгола* напечатано три раза и каждый раз различно (предельно кратко, с меньшим сокращением и вовсе без сокращения) — в зависимости от того, относится ли оно к Христу, Богородице или Никодиму; сакральность обозначена в данном случае как знаком титла, так и сокращением слова (Соколов, 1907, с. 24).

Итак, титло становится знаком сакральности и признаком его. Это отчетливо проявляется в XVII в. в полемике старообрядцев против никоновской sprawy. Так, Никита Добрынин протестует против замен в никоновских книгах *церковь* на *храм* и *крест* на *древо* и мотивирует недопустимость такого исправления тем, что *церковь* и *крест* — сакральные слова, поскольку они пишутся под титлом, тогда как *храм* и *древо* под титлом не пишутся и, следовательно, сакральными словами не являются (Румянцев, 1916, прилож., с. 337, 351).

Принцип семантической дифференциации подтительных и неподтительных написаний выходит за рамки церковных книг. Любопытно в этом плане свидетельство Тредиаковского в «Разговоре об орфографии» 1748 г.: «...почитай всякъ у насъ в досаду себѣ приметь, читая начальный и обыкновенный титулъ въ письмѣ, наприкладъ, написанный всѣми складами такъ, *Государь мой*», вместо *Гѣдрь мой* (Тредиаковский, III, с. 165), — написание с титлом противопоставляется написанию без титла как более вежливая форма.

§ 11.4.3. Употребление паерка. В период второго южнославянского влияния в русских рукописях восстанавливается употребление паерка, т.е. надстрочного знака, заменяющего букву ѣ

или ѣ (Гальченко, 2000, с. 86–87). Паерок часто встречается в рукописях XI–XII в., однако на протяжении XIII–XIV вв. практически исчезает из древнерусской письменности. Он продолжает употребляться, однако, в письменности южнославянской, и таким образом его восстановление, подобно восстановлению буквы ж, отвечает реставрационным тенденциям, характерным для рассматриваемого периода. Одновременно оно может отвечать и греческой ориентации, поскольку в греческих рукописях аналогичный надстрочный знак — не имеющий фонетического значения — может разделять стечение согласных или же появляется после согласной в исходе слова (Райл, 1910, с. 496–498; Томпсон, 1966, с. 72–73; Гардтгаузен, II, с. 397–398; ср. Карский, 1928, с. 228). Употребление паерка закрепляется в русской церковнославянской письменности; с появлением книгопечатания паерок начинает употребляться и в церковной печати. В советское время, когда после орфографической реформы 1917 г. начинается борьба с буквой ѣ, вместо этой буквы употребляется апостроф (в качестве разделительного знака), т.е. появляется правописание типа *под'езд* и т.п. (такое правописание предлагал в свое время еще Тредиаковский, см. Успенский, 1975, с. 178–179). Употребление апострофа в этой функции восходит к употреблению паерка в церковнославянской письменности, и таким образом мы можем видеть здесь своеобразный рефлекс второго южнославянского влияния.

Термин *паерок* является условным термином при обозначении общего надстрочного знака, который пишется вместо буквы ѣ или ѣ. Наряду с этим в старых грамматических сочинениях встречаются дифференцированные обозначения для отличающихся по своей форме надстрочных знаков, которые заменяют ту или иную из этих букв. Так, в первом издании грамматики Смотрицкого надстрочный знак, заменяющий букву ѣ, называется *ерик*; он противопоставляется другому знаку, который заменяет букву ь: этот последний знак носит название *паерк*; в московском переиздании грамматики Смотрицкого это противопоставление исчезает (Смотрицкий, 1619, л. Б/2, Б/6 об.; Смотрицкий, 1648, л. 59 об., 63; см. подробнее: Успенский, 1970/1997, с. 267, 288). Таким образом, название *паерок* следует отличать от названия *паерк* (к сожалению, в косвенных падежах эти названия совпадают — неудобным образом! — по своей форме). Надстрочный знак, заменяющий буквы ѣ и ѣ, может называться также *паирчик*; между тем знак, заменяющий букву ѣ, может еще называться *ерок*, знак, заменяющий букву ь, — *паерик* или *кендема* (Ягич, 1896, с. 458, 689, 706). В том или ином значении могут употребляться и названия *ер(ь)тица*, *ерица*, *воос* (*овос*), *рѣч(ь)ник* и др. (с. там же, с. 275, 355, 357, 369, 405, 443, 453, 454, 458, 497). Как видим, здесь не было общепринятой терминологии. Характерно, что наряду со славянскими названиями мы встречаем и названия

греческие — такие как *кендема* (ср. *κέντημα* как обозначение точки в византийской музыкальной нотации) или *воос* (ср. *βοός* — род. падеж от *βοῦς* «бык»).

§ 11.4.4. Знаки препинания. В период второго южнославянского влияния появляются новые знаки препинания, в частности, запятая (которая противопоставляется точке в качестве разделительного знака), точка с запятой (которая означает знак вопроса), знак переноса и кавычки. Все эти знаки рассматриваются Константином Костенечским в его трактате «О писменех» (Ягич, 1896, с. 140 сл.), т.е. были установлены южнославянскими книжниками по образцу греческой письменности. Эти знаки входят в русскую церковнославянскую орфографическую норму и не исчезают с прекращением второго южнославянского влияния (см. об истории церковнославянской пунктуации: Абакумов, 1948).

§ 11.5. Морфологические инновации. Второе южнославянское влияние не внесло существенных изменений в морфологию церковнославянского языка. Влияние собственно южнославянское сказывалось преимущественно в орфографии, в изменении условных орфографических правил. Влияние греческое сказывалось прежде всего в синтаксисе и по самому существу не могло сказаться в морфологии (в Чуд. Нов. Завете у отдельных грецизмов сохраняются греческие окончания при словоизменении, однако это не становится нормой церковнославянского языка). Морфология оказывается, таким образом, наименее податливым материалом для внешних влияний. Тем не менее имеют место отдельные морфологические инновации.

§ 11.5.1. Зват. форма в функции им. падежа. Наиболее заметным морфологическим признаком второго южнославянского влияния является употребление зват. формы собственных имен в значении им. падежа, например, *Василіе* в качестве им. ед. и т.п. По-видимому, такие формы воспринимались как правильные корреляты греческих имен, поскольку они часто встречаются в надписях на иконах, где вообще нередко наблюдаются греческие и псевдогреческие написания. Характерно, что если с концом второго южнославянского влияния такие формы практически исчезают из памятников, они закрепляются в иконных надписях, где могут встречаться еще в XVII в. Точно так же они закрепляются в качестве специальных форм иноческих имен, которые противопоставлены обычным формам соответствующих имен; поскольку монастыри были непосредственно связаны с византийской церковной традицией, специализация данных форм собственных имен

как иноческих указывает на то, что они воспринимались как грецизмы. Иначе говоря, южнославянская форма имени воспринималась как чужая, но при этом приближенная к греческой форме, что и способствовало ее сохранению как на иконных надписях, так и в монастырском обиходе. Так, в списке иноческих имен, приведенных в печатном иноческом Потребнике (М., 1639), мы встречаем такие формы, как *Авксентіе, Амфилохіе, Арсеніе, Николае*; при этом в обычном месяцеслове, входящем в данную книгу, употребляются обычные формы тех же имен, являющиеся исконной формой им. падежа (ср. Успенский, 1969, с. 217–219).

§ 11.5.2. Формант -ов- в именном и местоименном склонении. Другой морфологической чертой является формант -ов- в парадигме мн. числа основ на *-и: например, *сыновомъ, сыновѣхъ* и т.п. Соответственно, в грамматике Смотрицкого даются варианты парадигмы мн. числа:

Им.:	<i>сыны</i>	или <i>сынове</i>	<i>жерци</i>	или <i>жерцеве</i>
Род.:	<i>сынѣ</i>	или <i>сыновѣ</i>	<i>жерцѣ</i>	или <i>жерцевѣ</i>
Дат.:	<i>сыномъ</i>	или <i>сыновомъ</i>	<i>жерцѣмъ</i>	или <i>жерцевѣмъ</i>
Вин.:	<i>сыны</i>	или <i>сыновы</i>	<i>жерцы</i>	или <i>жерцевы</i>
Твор.:	<i>сыны</i>	или <i>сынами</i>	<i>жерцы</i>	или <i>жерцами</i>
Местн.:	<i>сынѣхъ</i>	или <i>сыновѣхъ</i>	<i>жерцѣхъ</i>	
	(<i>сынѣхъ</i>)	(<i>сыновѣхъ</i>)		

(Смотрицкий, 1619, л. Е/7 об.—8; Смотрицкий, 1648, л. 113 об.—114).

Признаком второго южнославянского влияния являются также новые формы притяжательных местоимений: *еговъ, тоговъ*. Подобные формы в дальнейшем в принципе исчезают из русского церковнославянского языка, хотя sporadически могут встречаться в церковнославянских текстах относительно поздно. Так, А. А. Барсов упоминает в своей «Российской грамматике» (1783–1788 гг.), что в церковных книгах встречаются притяжательные местоимения *еговъ, егова, егово* (Барсов, 1981, с. 527). Такого рода случаи представляют собой реликты второго южнославянского влияния, следы которого sporadически сохраняются несмотря на позднейшую справу.

§ 11.6. Синтаксические инновации. В области синтаксиса происходящие в разбираемый период изменения связаны с греческим влиянием. Определенные синтаксические грецизмы закрепляются в это время в норме церковнославянского языка. Понятно, что в качестве окказиональных явлений они могут появляться и ранее в переводных текстах. Со вторым южнославянским влиянием такие грецизмы из явлений текста становятся явлениями языка.

§ 11.6.1. Одинарное отрицание. Важной синтаксической чертой, появившейся в результате второго южнославянского влияния и определившей еще один признак, по которому противопоставляются церковнославянский и русский языки, является одинарное отрицание. Как известно, в славянских языках имеет место двойное отрицание, т.е. отрицание в любом из членов предложения (кроме сказуемого) требует повторения отрицания и в составе сказуемого (*никто не пришел, ничего не хочу, нигде не был*). Между тем целому ряду других языков, в том числе греческому, свойственно одинарное отрицание, т.е. отрицание в любом из членов предложения (кроме сказуемого) предполагает отсутствие отрицания в сказуемом (ср. в английском *Nobody has come* и т.д.). В церковнославянском языке со времен Кирилла и Мефодия принято было двойное отрицание; соответственно, в старославянских памятниках мы читаем, например, в Евангелии от Иоанна (I, 3): *ничѣтоже не бысть. еже бысть* (Зогр.); *ничесоже не бѣсть. еже бысть* (Ассем.); или в другом стихе (Ин. I, 18): *Ба никѣтоже не видѣ. николже* (Зогр.); *Ба никтоже не видѣ. никѣдеже* (Ассем.). Ту же конструкцию находим в древнейших среднеболгарских памятниках, например, в Добромир. ев. начала XII в.: *ничѣтоже не бысть. еже быст*; *Ба никѣтоже не видѣ никѣдеже*. Совершенно такие же конструкции характерны и для русских церковнославянских памятников периода первого южнославянского влияния. Так, в Остр. ев. имеем: *ничѣтоже не бысть. еже бысть; Ба никѣтоже никѣдеже не видѣ*. В русских памятниках встречается иногда, наряду с двойным отрицанием, и отрицание одинарное, явно под влиянием греческого синтаксиса (см., например, в Остр. ев.: *ни Оѣъ вашъ отъпуститъ вамъ съгрѣшении вашихъ*, л. 123г—124а; ср. еще примеры: Цакалиди, 1982). Однако уже в Чуд. Нов. Завете одинарное отрицание становится нормой (для данного памятника), и это объясняется его непосредственной связью с греческим оригиналом: *бы* ничто* еже бы**; *Ба никто* видѣ когда*. В результате второго южнославянского влияния одинарное отрицание становится нормативным в церковнославянском языке, и эта черта удерживается им до настоящего времени (ср. в принятом в настоящее время тексте Евангелия *ничтоже бысть, еже бысть; Бга никтоже видѣ нигдѣже*). Исключительные случаи двойного отрицания в церковнославянских текстах нового периода (см., например, в принятом в настоящее время тексте Евангелия: *и ничесѡже емѡ не глаголютъ*, Ин. VII, 26) представляют собой с точки зрения церковнославянского языка архаизм, т.е. должны рассматриваться как реликтовые явления, отражающие предшествующую языковую норму.

Нормативный характер одинарного отрицания в церковнославянском языке нового периода подчеркивает в своей грамматике Смотрицкий, по мнению которого двойное отрицание дает положительное утверждение (Смотрицкий, 1619, л. Щ/2 об.—3; Смотрицкий, 1648, л. 320—320 об.); Смотрицкий при этом может исходить из латинской грамматики, где двойное отрицание используется для выражения утверждения. В середине XVII в. этот вопрос становится предметом обсуждения в полемике старообрядцев со сторонниками реформ патриарха Никона. Так, старообрядец священник Лазарь упрекал никониан в том, что в их книгах напечатано «Хрѣтъ воскресе никто же не вѣруеть», замечая: «Се же есть велій соблазнъ; ибо вси вѣруемъ» (см. об этом также у дьякона Федора в «Сказании о церковных догматах» и в челобитной архимандрита Антония царю Алексею Михайловичу — Субботин, VI, с. 296; Субботин, VIII, с. 115—116). Отвечая на этот упрек, Симеон Полоцкий возражает Лазарю: «Никто же не вѣруеть; тождо знаменуеть еже всякъ вѣруеть», — и советует своему оппоненту: «Иди прежде научисъ грамматичесовати» (Симеон Полоцкий, 1667, л. 100 об.—101; ср. Субботин, IV, с. 214—215). Таким образом, нормы книжного церковнославянского языка оказываются радикально противопоставленными естественным речевым навыкам.

Обсуждаемая фраза представлена в печатном московском Шестодневе 1660 г., отредактированном никоновскими справщиками, см. здесь: «Яко Хрѣтъ воскресе, никтоже да не вѣрѣтъ» (л. 248 об.). Между тем в предшествующих изданиях Шестоднева в соответствующем месте значится: «Яко Хсѣ воскресе, никтоже не не вѣрѣй» (Шестоднев 1650 г., л. 282 об.; ср. также Шестоднев 1625 г., л. 310; Шестоднев 1635 г., л. 185—186). Как видим, двойное отрицание в значении утверждения имеет место и в дониконовских текстах, хотя наличие отрицательного местоимения противоречит этому принципу; вопрос, таким образом, сводится не столько к функции двойного отрицания, сколько к трактовке местоимения *никто*. Никоновские справщики устраняют это противоречие, но порождая имми фразу, отвечая грамматическому правилу (сформулированному Смотрицким), входит в конфликт с речевым узусом: если в русском языке фраза *никто не верует* означает отрицание, то в церковнославянском языке она же, напротив, выражает утверждение. Несмотря на протесты старообрядцев, данная фраза осталась без изменения и в последующих изданиях Шестоднева (см., например, издания 1663, 1695, 1700 гг. и др.).

О нормативном характере одинарного отрицания в церковнославянском языке свидетельствует и его последующее использование в качестве средства, изменяющего стилистический регистр повествования, ср. в письме Петра I к царевичу Алексею (1716 г.): «Ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не точию бранил, но и

бывал, к тому же сколько лет почитай не говорю с тобою; но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь...» (Устрялов, VI, с. 348).

§ 11.6.2. Родительный восклицания. Другим синтаксическим грецизмом, появляющимся в результате второго южнославянского влияния, является *Genetivus exclamationis*, т.е. родительный восклицания: в сочетании с частицами *о*, *оле*, а также *увы* существительное (именная группа) ставится в род. падеже. После частицы *о* в церковнославянском языке может стоять либо зват. форма (*о славо*), либо им. падеж (*о слава*), либо род. падеж (*о славы*). Частица *о* при этом выступает в разных функциях; в грамматике Смотрицкого различаются «*о* звания и восклицания», «*о* сетования» и «*о* удивления», которые, между прочим, противопоставляются и по начертанию надстрочных знаков: в изд. 1619 г. противопоставляются «ѿ званія и восклицанія», «ѿ сѣтованія» и «ѿ удивленія» (Смотрицкий, 1619, л. III/7об.), в изд. 1648 г. — «ѿ званія и восклицанія» и «ѿ сѣтованія и... удивленія» (Смотрицкий, 1648, л. 325 об.); при этом здесь сообщается, что «*о* звания и восклицания» сочетается со звательным, а «*о* сетования и удивления» — с родительным падежом.

«*О* звания» всегда сочеталось в церковнославянском языке со зват. формой, тогда как после «*о* сетования и удивления» до второго южнославянского влияния предполагался им. падеж; в результате второго южнославянского влияния здесь появляется вместо именительного род. падеж, что и кодифицируется в грамматике Смотрицкого. Такое же изменение произошло и в случае частиц *оле*, *уф*, *увы*, близких по значению к «*о* сетования». Так, в сборнике патристических переводов Епифания Славинецкого, изданных в Москве в 1665 г., находим: «Оуфѣ купльства, Оуфѣ, возданія» (с глоссой: *увы, увы* — л. 26 об.), ср. также у протопопа Аввакума: «Увы разсѣченія тѣла Христова» (РИБ, XXXIX, стлб. 17) (Чельберг, 1959). Это изменение обусловлено ориентацией на греческие синтаксические конструкции.

В греческом языке после частицы *ω* также возможны три формы — им., род., зват. При этом конструкция с род. падежом отсутствует в Новом Завете, но характерна для патристической литературы (Иоанн Златоуст, Григорий Богослов). В поздних греческих грамматиках (XVI в.) можно встретить различие «*о* звания», которое обозначается как *ω* и сочетается с зват. формой, и «*о* удивления или сетования», которое обозначается как *ὦ* или *ω* и сочетается с им. или род. падежом. Очевидно, что Смотрицкий заимствовал свою классификацию из греческих источников. Конструкция с род. падежом встречается параллельно с конструкцией с им. падежом в

старославянском языке (несомненно под греческим влиянием), но только в Супр. рукописи (*ω ωσλѡушлѡушнѡушъ ѡтѡцѡ* — с. 323 и др.). Тем не менее, как правило, мы встречаем в этих конструкциях им. падеж, и так же обстоит дело с русскими церковнославянскими памятниками старшего периода.

После второго южнославянского влияния «родительный восклицания» становится одним из признаков, различающих русский и церковнославянский языки. Ломоносов отметит в своей грамматике 1755 г. (§ 570): «Восклицательное *о!* у славян полагается с родительным падежом: *о чуднаго промысла!* Но россиянам свойственное именительный: *о чудный промыслъ!*» (Ломоносов, VII, с. 574).

В качестве славянизма подобные конструкции в XVIII в. встречаются и в русских текстах. Ср., например, в речи Советника в «Бригадире» Фонвизина (действ. II, явл. 2): «О, грехов моих тяжести!» Такое противопоставление может давать повод для языкового обыгрывания, когда синтаксический славянизм макаронически сочетается с лексическим русизмом. Так, у Н. А. Львова мы встречаем в «Послании к А. М. Бакунину» (1797 г.): «Ай, батюшки, беды, беды!» — или в «Львином указе» (1775 г.): «Ах! кумушка! беды!». На том же макаронизме основывается реакция Ломоносова на стихи Тредиаковского в «Новом и кратком способе сложения российских стихов» 1735 г. («Ода вымышлена в славу правды, побеждающия ложь...»):

О раза преблагополучна!
О побѣда! О слава звучна!

(Тредиаковский, 1735, с. 65).

Ломоносов против слов «О раза [т.е. случая] преблагополучна» написал «О!!! велелѣпнѣйшія оплеухи» (Берков, 1936, с. 59, 63 — с неверным прочтением). Таким образом, Ломоносов переводит лексику Тредиаковского в просторечный стилистический план, где *раз* синонимично слову *оплеуха*, ср. *дать раза*, однако сохраняет славянскую синтаксическую конструкцию, которая приобретает в этом контексте пародийный смысл (следует иметь в виду, что Ломоносов в этот период активно выступает против славянизмов в русском литературном языке, ср. Успенский, 1985, с. 88–89).

§ 11.7. Некоторые обобщения. Мы видим, что ряд признаков второго южнославянского влияния восходит к греческому языку, т.е. обусловлен стремлением воссоздать славянскими языковыми средствами особенности греческого языка и орфографии, сблизить, насколько это возможно, греческий и церковнославянский языки: южнославянская традиция оказывается связующим звеном между русской церковнославянской и греческой традици-

ями. Это проявляется в палеографии (влияние греческого письма на русское; появление неовизантийского орнамента); в написании грецизмов с усиленным соблюдением греческих орфографических правил; в отражении греческого произношения (формы типа *Фавмъ*); в употреблении надстрочных знаков (акцентов и придыханий) на греческий манер; в употреблении титл; в употреблении знаков препинания, сходном с греческим; в написании *і* перед гласной; в введении одинарного отрицания; в появлении родительного восклицания; в образовании сложных слов по греческим моделям. В этой связи становится понятным, что и чисто южнославянские формы могут восприниматься как грецизмы (например, так воспринимаются формы собственных имен типа *Николае, Антоние* в им. падеже).

В других случаях новые признаки русского церковнославянского языка не объясняются из греческого, но восходят к соответствующим чертам южнославянских изводов церковнославянского языка. Так объясняется появление *ж*, употребление *а* вместо *ѡ* (*моа*); мена еров; написание *ы* вместо *ѣ*; южнославянские написания в группах типа *СѣгС* с постановкой еров после буквы плавного; употребление буквы *ѕ*; употребление *ѡ* (*ѡѣ*); введение *э*; введение *о* очного; придание *ц* числового значения «девятьсот»; написание *жд* на месте **dj*; нормативные написания некоторых слов с начальным *ю*; смешение *ѡ* и *ю*, *ѡ* и *ѣ*, *ѡ* и *ж*; такие написания, как *цѣфтѣ*, *прѣзѣ*, *нж*; употребление *зват.* формы в значении им. падежа; появление форманта *-ов-* в парадигме мн. числа основ на **-и*; местоименные формы типа *еговъ*.

Появление и распространение признаков второго южнославянского влияния представляет собой достаточно длительный процесс. На великорусской территории раньше всего они отмечаются в северо-восточных рукописях, в первую очередь написанных московскими писцами, затем в тверских рукописях, и лишь постепенно они распространяются на северо-запад: в Новгороде их распространение наблюдается со второй четверти, а в Пскове — лишь с середины XV в. (о хронологии появления графико-орфографических признаков второго южнославянского влияния в великорусских рукописях конца XIV — первой половины XV в. см.: Гальченко, 2000).

Признаки второго южнославянского влияния, как правило, отражаются в русских текстах с большей или меньшей непоследовательностью. Вместе с тем само наличие тех или иных признаков в тексте может быть достаточно показательным, свидетельствуя о стремлении книжников перестроить орфографию по южнославянскому образцу. Таким образом, соответствующие признаки могут

иметь сигнальный характер, что само по себе предполагает вариативный характер формирующейся нормы. Такая норма в целом ряде моментов может быть неустойчивой, и в дальнейшем отказ от ориентации на южнославянские образцы (§ 13.2) естественно приводит к предпочтению сохраняющихся старых вариантов. В самом деле, второе южнославянское влияние было временным явлением в истории литературного языка на Руси. С прекращением этого влияния некоторые признаки исчезают, другие же, напротив, оказываются прочно вошедшими в норму церковнославянского языка. Следует к тому же иметь в виду, что второе южнославянское влияние по-разному и в разной степени усваивалось в Московской и Юго-Западной Руси, что в значительной мере и определило различие их книжных традиций (§ 13.4). Скажем о признаках церковнославянского языка, появившихся с вторым южнославянским влиянием, которые были усвоены как той, так и другой традицией, определив дальнейшее развитие церковнославянского языка. Сюда относится написание *ы*, употребление *ѣ* (*ѣ*), употребление *ѡ*, употребление букв *ѵ*, *ѣ*, *ѡ*, *ѣ*, *ѡ* и вообще правописание грецизмов, употребление надстрочных знаков (акцентов и придыханий), употребление титл, употребление паерка, употребление знаков препинания, употребление буквы *ѣ* в значении «девятсот», употребление *ѣ* на месте **dj*, употребление *ѣ* перед гласной, употребление начального *ю*, одинарное отрицание, родительный восклицания. Характерно, что с введением гражданского шрифта и гражданской орфографии некоторые черты южнославянского влияния отражаются и здесь, ср. написание *ѣ* и употребление *ѣ* перед гласной, а также введение в азбуку букв *ѣ* и *ѣ*.

§ 12. Семиотизация формальных различий

§ 12.1. Принцип антистиха и его славянская трансформация. Ориентация на греческую грамматическую традицию у славянских книжников приводит к усвоению ими принципа антистиха. В византийский период греческая орфография была построена по этимологическому принципу, т.е. в орфографии сохранялись те этимологические различия, которые потеряли фонетическую значимость. Соответственно, при обучении грамоте особое внимание обращалось здесь на правописание омофоничных слов, т.е. слов, совпадающих в звучании, но расходящихся в написании и в значении. Составлялись списки таких пар и для их заучивания употреблялась мнемоническая техника, когда запоминались соответствующие пары слов — антистихи (греч. ἀντίστοιχον, т.е. противостояние). Максим Грек специально учил славянских книжников: «Пословицы у насъ такожде ины двѣ подобнѣ к' себѣ по гласу, а по писмени и разуму много зѣло раз'ликующе» (Ковтун, 1975, с. 56).

Этот принцип усваивается славянскими книжниками, но здесь при фонологическом в своей основе характере славянской орфографии он переосмысливается; он приобретает здесь не этимологический, а чисто функциональный смысл: предполагается, что если есть какое-то семантическое различие, то для него следует найти орфографическое выражение. Таким образом, если в греческом пары типа χεῖρα «рука» (вин. ед.) — χήρα «вдова» получились в процессе исторического развития (орфография отражает здесь более раннее произношение), то славянские книжники устанавливают это различие искусственно, т.е. различие в написании делается принципом дифференциации омонимов. Принцип антистиха становится, таким образом, активным принципом церковнославянской орфографии, который приводит к последовательному орфографическому противопоставлению ранее не различавшихся форм. Этот принцип кладется в основу кодификации церковнославянского языка.

В русскую книжность данный принцип приходит через южнославянское посредство. Константин Костенечский посвящает ему специальный трактат «О писменех», он обозначает противопоставления такого рода терминами *антистихо*, *антистихое*, *антистихие*. Так, рассуждая о формах *мѣрно* (от *мѣро*, «священное масло») и *мирно* (от *миръ* «мир, покой»), он пишет: «Сице *мѣр'но* *мир'но*. се едина писмена въ ѡбоихъ, кромѣ антистихихъ ѿ *нѣ* иже сѣуть соупротивна дрѣгъ дроугѣ. соупротивит' бо се едина дрѣгонъ явлѣе инъ глѣ. еда ли ты р[е]чеши, ѡ вѣсѣ писче, ѡко единъ глѣ ес[ть] ѡбое; то вѣнми кѣде како коеждо свои поутъ въземлетъ» (Ягич, 1896, с. 124). Таким образом, Константин распространяет принцип

антистиха на славянский языковой материал. Основная мысль данного трактата в том, что смешение букв может приводить к изменению смысла, что особенно опасно для церковнославянского языка как языка сакральных текстов. Константин постоянно иллюстрирует этот свой тезис, показывая, к чему приводит неразличение орфографически противопоставленных форм. Все буквы имеют для него смыслоразличительную функцию. При этом в славянском алфавите имелись избыточные омофоничные буквы, которым при таком подходе также приписывается смыслоразличительная функция; соответственно, омофоничные буквы закрепляются в формах, противопоставленных по своему значению, — и сам факт этого противопоставления оправдывает существование данных букв. Следование этому принципу вытекает, согласно Константину, из самой задачи построения церковнославянского языка по образцу греческого: «Мы ж образъ даемъ о антистихыхъ. и аще невѣр'но мниг' ти се, свѣд[ѣ]теля привождѣ ти мѣрѣ твою грѣхъскыя глѣи и писмена» (Ягич, 1896, с. 125).

§ 12.2. Орфографическая дифференциация грамматических форм. Как уже было сказано, принцип орфографической дифференциации используется при кодификации церковнославянского языка. Использование орфографических признаков для различения омонимичных грамматических форм впервые отчетливо проведено в том же трактате Константина Костенечского, где предлагается, например, отличать форму ед. числа «динаа от формы дв. числа «динаа (Ягич, 1896, с. 128). Этот принцип получил дальнейшее развитие в распространенном на Руси трактате «О множестве и о единстве», в котором предлагается последовательно различать правописание омонимичных форм ед. и мн. числа. Так, здесь говорится: «Множество же пиши во всем с трѣхърѣжымъ ѡномъ, да ерь да еры пишется» множественно же. внимай ѡ семь разѣмно, да не во т'ше бѣдетъ трѣдѣ нашѣ. а едѣнственное пиши он крѣглои да иже да ерь во всѣхъ рѣчехъ... множество а, а едѣнство а. множество оу, а едѣнство ѡ» (Ягич, 1896, с. 431). Таким образом, автор этого трактата противопоставляет буквы ш, ѣ, ы, а, оу, которые пишутся в формах мн. числа, буквам о, ѡ, н, а, ѡ, которые пишутся в формах ед. числа. Он приводит соответствующие примеры:

им. ед. жен.	аѣльскаа	им. мн. ср.	аѣльскаа
род. ед. жен.	аѣльскіа	им. мн. жен.	аѣльскыа
тв. ед.	аѣломъ	дат. мн.	аѣломъ
тв. ед.	аѣльскимъ	дат. мн.	аѣльскимъ
род. ед.	азбѣки	им. мн.	азбѣкы
им. ед.	азбѣчникъ	род. мн.	азбѣчникъ и т.д.

(Ягич, 1896, с. 432–433).

На этих примерах мы видим, как вполне искусственным образом грамматическая омонимия разрешается при помощи орфографических средств, при этом соответствующие противопоставления применяются не только в случае омонимичных форм, но закрепляются за теми или иными грамматическими категориями вообще. Таким образом, происходит кодификация грамматических форм, которая оказывается непосредственно связанной с их орфографическим оформлением.

В этой кодификации отчетливо прослеживаются как греческие, так и южнославянские источники. Так, например, использование противопоставления *o* — *ω* для различения форм ед. и мн. числа ориентировано на образец греческой парадигмы, где в именах третьего склонения в окончании род. ед. *-ος* стоит *o*, а в окончании род. мн. *-ων* стоит *ω* (ср. еще во втором склонении им.-вин. ед. ср. *μικρόν* — род. мн. *μικρῶν*). Таким же образом на греческую модель ориентировано написание наречий с *ω*, которое может противопоставляться написанию омофоничных прилагательных с *ο*, ср. прилагательное *εἰς* — наречие *εἰς* (ср., например, в грамматике Смотрицкого, 1619, л. И/2, X/7): в греческом языке прилагательные оканчиваются на *-ος*, а производные от них наречия качества оканчиваются на *-ως*.

Другой принцип, проводимый русскими книжниками, связан не с греческой, а с южнославянской ориентацией. В результате второго южнославянского влияния в русских церковнославянских текстах появляются южнославянские написания, которые конкурируют с принятыми ранее русскими церковнославянскими написаниями. При этом южнославянские написания в одних случаях вытесняют предшествующие, а в других вступают с ними в дополнительную дистрибуцию, при которой возникающие варианты распределяются по разным грамматическим формам. Показательно, что за формами ед. числа закрепляются новые (южнославянские) формы, тогда как старые формы остаются на долю мн. числа: по-видимому, формы ед. числа воспринимаются как первичные, а формы мн. числа — как вторичные, ср. ед. ч. *аѣльскаа*, *аѣльскіа*, *азѣучникъ* — мн. ч. *аѣльскаа*, *аѣльскыа*, *азѣучникъ*.

Аналогичная кодификация орфографических различий в формах ед. и мн. числа наблюдается в целом ряде русских грамматических сочинений XVI—XVII вв., в частности, в «Буковнице» Герасима Ворбозомского (ГБЛ, ф. 173, I, № 35, л. 130, 132), ср. здесь, например, тв. ед. *вогомь* — дат. мн. *вогѣмъ*. Дальнейшее развитие этот принцип получает в грамматике Мелетия Смотрицкого 1619 г., где формы ед. и мн. числа различаются с помощью противопоставления *ѣ* и *ѣ*, *о* и *ω* и т.п. — в ед. числе пишется *ѣ*, *о*, во мн. числе —

е, ѡ, ср. им. ед. *клеветѣ* — род. мн. *клеветѣ*, им. ед. *творецѣ* — род. мн. *творецѣ*, тв. ед. *клеветомѣ* — дат. мн. *клеветѣмѣ*, тв. ед. *творцемѣ* — дат. мн. *творцемѣ*, им. ед. *пророкѣ* — род. мн. *пророкѣ*; таким же образом может реализоваться противопоставление и — *і*, а также надстрочных знаков оксии (варии) и каморы, ср., например, им. ед. *сынѣ* — род. мн. *сынѣ*, им. мн. *благіа* — род. ед. *благіа* (Смотрицкий, 1619, л. А/6 об.—7, Д/8, Е/3 об.—4, Е/7—7 об.).

Соответствующие правила воспринимались как необходимые условия грамотного письма и несомненно преподавались при обучении письму. Характерен в этом плане диспут московских книжников игумена Ильи и справщика Григория с Лаврентием Зизанием по поводу Катехизиса, который Лаврентий привез в Москву в 1627 г. с намерением здесь его издать: «Да мыж молвили Лаврентію, что надобно въ божественныхъ титлахъ писания тонкостию ума разсматривати, чтобы вмѣсто лица не написат[ь] образа і вмѣсто образа лица, потому что лица в Троицѣ три, а образ един и сего ради имя *лице* свойство во Троицѣ являет, а *образ* существо едино в Троицѣ. И Лаврентіи молвил: Есть разнь между лица и существа. И потомъ Лаврентіи от грамотики почел говорити орфографією: Есть де иная разнь в писменахъ между *образа* и *образов*, инде де надобно оник маленькоі а инде де большой. И мы ему отказали: Та, Лаврентіе, дѣцкая рѣчь учащихся буквам, что писменами разумѣти единство и множество, а мы ныне не о таковомъ дѣле упраздняемся» (Прения Лаврентія Зизанія..., с. 87; ср. Заседание в Книжной палате..., с. 17). Итак, Лаврентий говорит о противопоставлении ед. и мн. числа слова «образ» с помощью *о* и *ѡ*. Из возражений же московских книжников видно, что они расценивают это как элементарные школьные сведения («детская речь учащихся буквам»), которые смешно обсуждать на ученом богословском диспуте.

§ 12.3. Орфографическая дифференциация лексических омонимов. Те же принципы, действие которых мы наблюдали в грамматической кодификации, проводятся для дифференциации лексических омонимов. Если в одних случаях русские книжники следуют здесь за южнославянской нормой, то в других они являются новаторами.

Примером может служить противопоставление форм *языкъ* (в значении «часть тела, речь») — *языкъ* (в значении «народ»). Это противопоставление, по-видимому, восходит к южнославянской орфографии. Так, Константин Костенечский предлагает в своем трактате «О писменех» различать *къзыкъ* в значении греч. γλῶσσα («часть тела, речь») и *языкъ* в значении греч. ἔθνος («народ») (Ягич, 1896, с. 117—118, ср. комментарий на с. 237). Ориентация на греческий язык предполагает, вообще говоря, дифференциацию между значениями «часть тела, орган речи» и «наречие, речь», с одной

стороны, и «народ, племя», с другой; тем не менее, русские книжники обычно не расчлениют значения «народ» и «наречие». Итак, различая **языкъ** «народ» и **языкъ** «часть тела», книжники, как правило, объединяют значения «народ» и «наречие», употребляя в обоих случаях форму **языкъ**; соответственно, форма **языкъ** употребляется тогда только в анатомическом значении. Противопоставление **языкъ** — **языкъ** прочно усваивается в церковнославянском языке и фиксируется в XVII в. в грамматических сочинениях. Это противопоставление, как кажется, более свойственно языку Московской Руси, нежели языку Юго-Западной Руси, поскольку оно отмечено в московском издании грамматики Мелетия Смотрицкого (1648, л. 55–55 об.) и не отмечено в предшествующем югозападнорусском издании (Евье, 1619) — иначе говоря, оно было внесено московскими справщиками (Иваном Наседкой и др.) при перепечатке грамматики Смотрицкого. Тем не менее оно не вполне чуждо и Юго-Западной Руси, поскольку отмечается в словаре Памвы Берынды (1627, стлб. 312, 314; 1653, с. 209, 210). В дальнейшем данное различие неукоснительно соблюдается в московских изданиях, включая послениконовские. Так, московские справщики Сильвестр Медведев, инок Иосиф, священник Никифор «с товарищи» правят в 1679 г. Апостол, изданный в Москве в 1671 г., и вносят исправление: **языкъ** вместо **языкъ** в значении «народ» (см. «ковычный», т.е. правленный, экземпляр «Апостола» 1671 г. — РГАДА, ф. 1251, № 14, л. 103 об.). Позднее соответствующее различие фиксируется у Кариона Истомина — в букваре 1690-х гг., составленном для царевича Алексея Петровича (БАН, собр. Петровской галереи, № 61, л. 45 об.; Браиловский, 1902, с. 446), и в гравированном букваре 1694 г. (л. [37]), — у Федора Поликарпова (в словаре 1704 г., в грамматике около 1724 г. и в «Технологии» 1725 г., см. ниже), в грамматике Федора Максимова 1723 г. (с. 3), а также в грамматике Иакова Блоницкого 1754 г. (РГИА, ф. 834, оп. 3, № 3372, л. 11), которая не была издана из-за слишком большой приверженности автора к украинскому изводу церковнославянского языка (см. Чистович, 1858; Никольский, II, 2, с. 345–350, № 3372–3373). Наконец, это же различие фиксирует и Тредиаковский в «Разговоре об орфографии» 1748 г. (Тредиаковский, III, с. 41, примеч.). Вплоть до настоящего времени оно является нормативным в церковнославянском языке (Соколов, 1907, с. 16). При этом в новое время форма **языкъ** начинает регулярно обозначать как орган речи, так и самое речь — в соответствии с семантикой греч. *ῥῶσση*, или лат. *lingua*.

Семантическая неопределенность интересующего нас противопоставления нашла отражение в указаниях Федора Поликарпова. В своем трехязычном словаре 1704 г. Поликарпов противопоставляет

азыкъ «племя, род» и азыкъ «орудіе глаголанія» (Поликарпов, 1704, л. 179 об., 180 об. третьей фоліаціи). Между тем в грамматике, написанной около 1724 г., азыкъ означает «свойство разглаголства», т.е. речь, наречіе, и, вместе с тем, «страну невѣрія или безбожія»: форма азыкъ как обозначеніе страны и, соответственно, народа, в ней обитающего, ее населенія, ассоциируется в данном случае не с любым народом, но именно с язычниками; что касается формы азыкъ, то ей приписывается значеніе «уд тѣлесный чловѣка... и животных» (РГАДА, ф. 201, № 6, л. 61; Поликарпов, 2000, с. 158–159). Наконец, в «Технологии» 1725 г. противопоставляются формы азыкъ, означающая «кую-либо страну... или государство либо народ», и языкъ «уд тѣлесный» (ГПБ, НСРК F 1921.60, с. 24; Поликарпов, 2000, с. 251; буква ѡ отсутствует в «Технологии», и ей соответствует буква я).

Подобным же образом вводится дифференціация форм миръ («покой») — міръ («вселенная»). Необходимость различенія этих слов подчеркивал Максим Грек в посланіи к русскому митрополиту: «Понеже... по старому преводу вашему, священницы же и діакони, в началѣ святыя литургіи велят благовѣрным молитися о свышнем мирѣ, и нѣцыи толкуют то о ангелех [т.е. некоторые понимают слова “свышний мир” как Небесное Царство, в значеніи “вселенная”, тогда как речь идет о даруемом от Бога покое], — вѣдомо да есть твоему преподобію, яко пословица сія мир у вас двое что знаменует, сирѣчь и тварь всю видиму же и невидиму, да еще союз любовен, им же чловѣцы межи себе мир имѣют; а у греков пословицы розни: мир бо, рекше вся тварь, козмос [κόσμος] именуется, а союз любовен ирини [εἰρήνη] нарицается» (Максим Грек, III, с. 92–93). Максим, как видим, различает эти слова, поскольку они соотносятся с разными греческими словами; он констатирует различіе в их значеніи, однако это различіе не отражается у него на письме (ср. цитированный текст в сборнике сочиненій Максима Грека середины XVI в., собственноручно правленном автором, — ГБЛ, ф. 173, I, № 42, л. 303; в обоих случаях здесь пишется миръ). То же говорит и старец Арсеній Глухой в посланіи боярину Б. М. Салтыкову 1619 г.: «Множицею глѣ бывает единообразен, но различна в нем обрѣтается разумѣнія. Апѣтль убо пишет: не любите мира, ни яж[е] в мирѣ [II Ин. II, 15]. Дѣдъ же вѣщаеть: взыщи мир и пожени [Пс. XXXIII, 15]. Се убо имя едино есть мир, но разумѣніе в нем нѣсть едино... срамен в нашемъ языке глѣ сей, но и прикровень зело и различна имат разумения» (ГБЛ, ф. 304, № 700, с. 319 об.; ср. неточное воспроизведеніе: Скворцов, 1890, с. 437). Наконец, в сочиненіи «Буквы грамотичнаго ученія», представленном в сборнике 1620-х гг., читаем: «Вѣждь

же и се, ꙗко есть нѣкая во единѣхъ слозехъ і просодіохъ пишемая, по два же разума імуша, а ни писмом ни просодією различія разумъ обмытити не могушая. ꙗко... іно *миръ* члцы; и паки *миръ*, тишина і безмолвіе» (ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 46, ср. еще л. 41).

Итак, русские, по-видимому, в свое время не различали указанных двух значений. Они начинают обращать внимание на это различие лишь после второго южнославянского влияния в результате ориентации на греческий язык. Соответственно, в это время появляется и дифференциация форм *миръ* и *міръ*, отражающая данное семантическое противопоставление. Эта дифференциация появляется, однако, в качестве локальной орфографической нормы, которая закрепляется в традиции Юго-Западной Руси. Она фиксируется в словаре Лаврентия Зизания 1596 г. (Зизаний, 1596а, л. В/1об.; Нимчук, 1964, с. 56), в словаре Памвы Берынды (1627, стлб. 119; 1653, с. 79), в рукописной грамматике Гербовецкого монастыря первой половины XVII в. (Курдиновский, 1907, с. 316). В первой половине XVII в. это орфографическое противопоставление прослеживается и в текстах киевского книжника Тарасия Земки (Отроковский, 1921, с. 109, 116). Между тем московским печатным изданиям до никоновской справки оно, кажется, неизвестно. После никоновской реформы это противопоставление кодифицируется и в московском церковнославянском языке, см., например, последовательное различение соответствующих форм в московском печатном Евангелии 1653 г. До нас дошел «ковычный», т.е. правленный экземпляр московского печатного Апостола 1648 г. с пометами справщиков для издания 1653 г.: написание *миръ* в значении «вселенная» регулярно правится здесь на *міръ* (РГАДА, ф. 1251, № 44, л. 121, ср. л. 36 и др., см. Хегедюш, 2000, с. 350). Совершенно так же, редактируя Требник Петра Могилы для московского издания 1658 г., справщики последовательно исправляют те случаи, где формы *миръ* и *міръ* употреблены неправильно, например, прошение «ω *миръ* всего мира» исправляется на «ω *міръ* всего міра» (см. «ковычный» экземпляр Требника 1646 г. — РГАДА, ф. 1251, № 978, ч. I, л. 916, ср. еще л. 444, 503 и др.). Московский справщик Евфимий пишет в сочинении «О исправлении в преждепечатных книгах Минеях...» (1692 г.): «*Миръ*, пишемое чрез *и*, гречески *Ιριни*, знаменуеть любовь между члѣки, согласіе, покой отъ вражды всякія, соединеніе. *Міръ*, пишемое чрез *і*, гречески *κόσμος*, знаменующее красоту, чинъ, народъ, селенную, *міръ*» (Никольский, 1896, с. 82–83). В дальнейшем это противопоставление фиксируется в грамматиках — в частности, в грамматике Федора Максимова 1723 г. (с. 3), в грамматике Федора Поликарпова около 1724 г. (РГАДА, ф. 201, № 6, л. 58 об.—59;

Поликарпов, 2000, с. 158) и в его же «Технологии» 1725 г. (ГПБ, НСРК F 1921.60, с. 18; Поликарпов, 2000, с. 248), в грамматике Иакова Блоницкого 1754 г. (л. 11). Вплоть до настоящего времени оно является нормативным в церковнославянском языке (ср. Соколов, 1907, с. 10). Из церковнославянского языка оно усваивается и русской гражданской орфографией; необходимость такого различия отмечает Сумароков в статье «О правописании» 1768–1771 гг. (Сумароков, X, с. 26–27), а также Каржавин (1791, тетрадь 5, л. 2).

В Юго-Западной Руси, по-видимому, данное различие было не только графическим, но и фонетическим, поскольку согласный перед и читался твердо, а перед *i* — мягко (§ 13.4), ср. польскую транскрипцию униатского богослужения (униаты, вообще говоря, сохранили югозападнорусскую церковнославянскую традицию): О мирѣ всего міра, и мира мірови. О myrѣ wseho міra, i tугa міrowy (Чин униатской литургии, 1932, с. 6, 54) или английскую транскрипцию: o miree vseho meera, i mira meerovi (Чин униатской литургии, 1954, с. 7, 107). Между тем, на великорусской территории это различие приобрело чисто графическое значение, поскольку н и і никак не различались в произношении.

На то, что *мирѣ* и *мірѣ* различались в произношении Юго-Западной Руси, имеем достаточно определенные указания, хотя характер этого различия остается не вполне ясным. В славяно-польском словаре, составленном в 1641 г. ученым доминиканцем Марианом с Яслиск (словарь был составлен в Жовкве около Львова и отражает украинскую традицию церковнославянского языка), где славянские слова даны в польской транскрипции или транслитерации, различаются *miir* «swiat» и *mir* «poкою» (Карась и Карасева, 1969, с. 68); вероятно, здесь отражается различие в произношении слов *мирѣ* (*miir*) и *мірѣ* (*mir*), хотя не исключено, что двойное *ii* передает н а п и с а н и е буквы *и*. Любопытно, что и Сковорода, который также различает *мирѣ* «покой» и *мірѣ* «вселенная» — он пишет «Диалог или разглагол о древнем мірѣ» и «Разговор дружескій о душевном мирѣ» (Сковорода, I, с. 308, 324), — возможно, противопоставляет эти слова по произношению. Имея в виду первое из названных своих сочинений, он пишет М. Коваленскому 26 сентября 1790 г.: «“Древній мыр” (пишу *ы*, ut differat ab illo мир)», но затем исправляет *мыр* на *мір*; равным образом и в автографе данного сочинения («Диалог... о древнем мірѣ») слово «мир» в значении «вселенная», как и производные от него слова, было первоначально всюду написано как *мыр*, но затем последовательно исправлено на *мір* (Сковорода, II, с. 357, ср. с. 363, 371, 373 и др.; Сковорода, I, с. 513, примеч. 1). Итак, Сковорода соотносит написания *мір* и *мыр* (в значении «вселенная»), противопоставляя их написанию *мир* (в значении «покой»); к этому времени традиция украинского церковнославянского произношения была в восточной Украине в ка-

кой-то мере утеряна, и Сковорода, по-видимому, не придавал фонетического различия буквам *и* и *і*; однако он мог помнить, что произношение этих слов различалось по твердости-мягкости первого согласного, и искусственно передает это различие (неправильно, с исторической точки зрения), пользуясь великорусскими орфографическими средствами, т.е. различием *и* и *ы*. Украинское произношение *мыр* «покой» отразилось в записках архимандрита Леониды Зеленого, настоятеля русской посольской церкви в Константинополе в конце XVIII в. (ср.: «мыр і благословеніє» — Попов, 1911, с. 127). Отметим вместе с тем, что И. Огиенко (1942, с. 5) в своих практических указаниях по украинскому церковному произношению, предназначенных для западноукраинских церквей, предписывает произносить *миръ* и *міръ* одинаково — со смягчением согласного.

В этот же период находит формальное выражение противопоставление существительного *т(ь)ма* «темнота» и числительного *т(ь)ма* «десять тысяч». Это противопоставление проявляется прежде всего в орфографии, которая, в свою очередь, могла отражаться и на произношении. В Юго-Западной Руси это противопоставление проявляется лишь в акцентных знаках: существительное *т̑ма̑* пишется с каморой (знак циркумфлекса), числительное *т̑ма̑* — с варией (знак грависа), см. такое противопоставление в словаре Памвы Берынды (1627, стлб. 256; 1653, с. 170); такое же предписание мы находим и в одном из вариантов грамматического сочинения «Сила существу книжнаго писма» (Ягич, 1896, с. 426, примеч. 2). Между тем в Московской Руси оформляется другое противопоставление, а именно существительное *тма* противопоставляется числительному *тьма*. Как раз это противопоставление и может отражаться на произношении. В одном грамматическом руководстве мы встречаем указание: «Есть слово б̑лється едино надвое. *тьма̑*, *тьма̑*. говорити *т̑ма̑* то есть число а говорити *т̑ма̑*, то мученое м̑сто *тьма̑*» (ГБЛ, ф. 299, № 380, л. 78 об.—79). Итак, здесь предписывается произносить данное слово с палатализацией согласного, если имеется в виду числительное, тогда как в основном своем значении это слово должно звучать с твердым согласным; противопоставление надстрочных значков здесь соответствует противопоставлению букв *ѣ* и *ь*, т.е. знак *ѣ* («ерик») выступает вместо ера, а знак *ь* («паерк») — вместо еря (ср. § 11.4.3). Некоторые старообрядческие чтецы, действительно, читают существительное *тма* с твердым согласным, противопоставляя это слово в произношении числительному *тьма*. После никоновских реформ происходит смешение традиций. Если у старообрядцев это противопоставление сохраняется (как на письме, так и в чтении), то у новообрядцев теряется различие в произношении соответ-

ствующих форм (возможно, под югозападнорусским влиянием). В грамматике Федора Поликарпова, написанной около 1724 г., указывается: «Произносити подобает по свойству діалекта и реченія, ибо аще на примѣръ и не пишется *тъма*, но *тма*, а употребляется в произношеніи *тъма*, понеже не может писмя перемѣнить свойства рѣчи» (РГАДА, ф. 201, № 6, л. 68; неточное воспроизведение: Поликарпов, 2000, с. 161) — таким образом, здесь утверждается, что различие между *тма* и *тъма* чисто орфографическое (а не фонетическое).

§ 12.4. Семантизация фонетических вариантов. В ходе второго южнославянского влияния в русском церковнославянском языке появляются фонетически варианты формы, и сосуществование подобных форм ставит перед книжниками задачу их семантического осмысления, т.е. противопоставления вариантных форм генерируют противопоставления в плане содержания. Здесь имеются разные возможности: новая форма может противопоставляться старой как правильное неправильному, как сакральное — профанному, или как более сакральное — менее сакральному. Появляющиеся при этом семантические различия специфичны для русского извода церковнославянского языка и не находят непосредственного соответствия ни в южнославянских изводах церковнославянского языка, ни в греческом языке — при том что одна из вариантных форм обусловлена вторым южнославянским влиянием, самое противопоставление развивается на русской почве.

Наиболее яркое выражение этот процесс находит в противопоставлении форм [ányelʲ] — [áɥ:elʲ]. Как мы уже упоминали (§ 11.1), в период второго южнославянского влияния слово «ангел» начинает писаться *аггелъ* (*аггль*) в согласии с греческим написанием соответствующего слова. Такое написание предполагало и греческое прочтение данного слова с [ng]. Таким образом, произношение данного слова не изменилось, изменилось лишь его написание. Однако под влиянием грецизированного написания появляется и неправильное произношение, обусловленное побуквенным чтением, т.е. произношение [áɥ:elʲ]. Этому неправильному произношению усваивается специальный смысл: прочтенное таким образом, *аггелъ* начинает означать не ангела, а беса, павшего ангела; в этом специальном значении данное слово входит в норму церковнославянского языка. Таким образом, неправильная форма не отвергается нормой книжного языка, но служит для дифференциации смыслов, которые прежде не различались формальным образом. На письме этому противопоставлению соответствует написание с титулом или без титула. Данное противопоставление по-

является в процессе второго южнославянского влияния, однако у самих южных славян произношение с заднеязычным, а не с носовым не имеет отрицательного значения (ср. сербохорв. *aggel* «ангел» — Фасмер, 1944, с. 44). Иначе говоря, рассматриваемое противопоставление представляет собой явление чисто русское. Любопытно отметить, что форма, соответствующая южнославянской, оказывается в данном случае неправильной и связывается с бесовским началом.

Другим примером семантизации различия между формой, соответствующей исходной греческой форме, и формой, ей не соответствующей, служат формы имен *Мария*, *София*. Ранее эти имена имели ударение на первом слоге; в соответствии с греческим произношением в период второго южнославянского влияния появляются формы с ударением на втором слоге *Марѣя*, *Софѣя*, однако такое ударение усваивается лишь при специальном — сугубо сакральном — значении этих имен, а именно при наименовании Богородицы и Софии Премудрости Божией. Таким образом, начинает противопоставляться *Марѣя* при наименовании Богородицы и *Мáрия* при наименовании таких святых, как Мария Египетская, Мария Магдалина и т.п.; точно так же противопоставляются *Софѣя* при наименовании Премудрости Божией и *Сóфия* при наименовании святой. Это соответствует правилу, предписывающему писать имя *Мария* под титулом, если оно относится к Богородице, и «складом», если имеются в виду другие святые (см., например: Ягич, 1896, с. 437, 440, 718). В русской переделке сочинения Константина Костенечского «О писменех» читаем: «Всѣх Мáреи без възмѣта пиши складом, аще и Ёты суть. едѣну Бѣцу пиши под възметом: М́рія, М́рие...» (Ягич, 1896, с. 278); наряду с противопоставлением полного написания и написания под титулом здесь прослеживается и противопоставление по ударению: *Марѣя* (когда речь идет о Богородице) — *Мáрия* (в остальных случаях).

Таким образом, как новые формы *Марѣя*, *Софѣя* (появляющиеся в процессе второго южнославянского влияния и соответствующие греческому произношению), так и старые церковнославянские формы *Мáрия*, *Сóфия* входят в норму церковнославянского языка, хотя и противопоставляются семантически; в результате книжных реформ патриарха Никона в середине XVII в. грецизированные формы распространяются как единственно возможные в церковнославянском языке, т.е. начинают употреблять формы *Марѣя*, *Софѣя* во всех случаях, тогда как формы *Мáрия*, *Сóфия* признаются неправильными; старая форма *Сóфья* закрепляется при этом в литературном произношении, тогда как *Мáрья* остается в

разговорной речи (Успенский, 1969, с. 39–51; Успенский, 1969а/1997, с. 327–332).

Поскольку детей не называли в память Богородицы или Софии Премудрости (как не называли и в память Христа), применительно к людям до раскола применялись исключительно формы с ударением на первом слоге: *Мáрия* (*Мáрья*), *Сóфия* (*Сóфья*). После раскола при крещении даются имена *Марíя* и *Софíя*; при этом форма *Марíя* соответствует как церковнославянской, так и русской орфоэпической норме, тогда как форма *Софíя* является специфически церковнославянской.

Сходным образом в период второго южнославянского влияния появляется противопоставление формы *Никола* как православной канонической формы имени «Николай» и формы *Николай*: последняя форма применяется по отношению к иноверцам или еретикам и в этом значении также принадлежит церковнославянскому языку — таким образом именуется, например, апостол-еретик в Деяниях Апостолов (VI, 5), между тем как в Чуд. Нов. Завете он еще именуется «Николой» (л. 62), т.е. так же, как и святые (Успенский, 1969, с. 14–16, 220–221); указанное разграничение форм (*Никола* — *Николай*) регулярно прослеживается как в Московской, так и в Юго-Западной Руси (см., например, старопечатные издания Апостола — московские 1564 и 1644 гг., киевский 1630 г., львовский 1639 г.). Ср. характерное противопоставление русской (православной) и иноязычной (неправославной) формы данного имени в пределах одной фразы в Московском летописном своде под 1428 г.: «И пришедшу ему [Витовту] под град Порхов и тоа пушкы мастер Н и к о л а и [имеется в виду “немчин пушечник”, т.е. пушечный мастер] похвалився Витовту: не токмо, княже, пушкою сею пиргос разбью, но и церковь иже Н и к о л у в градъ разздражу» (ПСРЛ, XXV, с. 247).

Любопытно отметить, что в данном случае с сакральным началом оказывается связанной старая форма, тогда как новая форма, соответствующая греческой канонической форме данного имени (*Νικόλαος*), получает отрицательный смысл. Здесь могли сказаться разные факторы: во-первых, канонической формой у южных славян была форма *Никола*, и южнославянское влияние могло способствовать здесь удержанию традиционной русской формы; во-вторых, форма *Николай* в отличие от формы *Никола* ассоциировалась не только с греческим, но и с латинским языком, а следовательно, не с православной, а с инославной традицией; в-третьих, наконец, сохранению традиционной формы должно было способствовать особое почитание св. Николая на Руси (ср. Успенский, 1982, с. 6–16). В результате книжных реформ патриарха Ни-

кона в середине XVII в. каноническая форма *Никола* была заменена на *Николай* (впервые такую замену находим во втором издании Служебника 1656 г.) — грекофильская ориентация патриарха Никона шла здесь дальше, чем у предшествовавших книжников. Это вызывает протест протопопа Аввакума, который, ориентируясь на дониконовскую норму, пишет, что «Николу чюдотворца Николаем еретиком назвали...» (Демкова, 1965а, с. 230). Никониане, по словам Аввакума, «не токмо святыя книги измѣнили, но и ризы, и мирскія обычаи, и вещи, и пословицы, и имена преложили: глаголют бо... Николу Чюдотворца Николаем — той бо Николай при апостолах еретик бысть, а великій чюдотворец Никола бысть при царѣ Константинѣ» (Бороздин, 1900, прилож., с. 32). И в другом месте Аввакум восклицает: «Русь, чего-то тебѣ захотѣлося нѣмецкихъ поступовъ и обычаевъ! А Николь Чюдотворцу имя нѣмецкое написали: Николай. В нѣмцахъ нѣмчинъ былъ Николай [имеется в виду Николай Булев, к которому адресован ряд сочинений Максима Грека], а при Апостолѣхъ еретикъ былъ Николай, а во святыхъ нѣтъ нигдѣ Николая. Только съ ними [т.е. никонианами] стало. Никола Чудотворецъ терпить, а мы немощни...» (РИБ, XXXIX, стлб. 284).

Есть основания думать, что зват. форма от имени *Никола* образовывалась по-разному — в рамках церковнославянского языка — в зависимости от того, имелся ли в виду святой или обычный человек. В отношении святых употреблялась форма *Никóлае*, тогда как при наименовании людей выступала форма *Никóло* (Успенский, 1969, с. 15; Успенский, 1969а/1997, с. 253).

Еще одним примером семантизации фонетических различий, появляющихся в результате второго южнославянского влияния, могут служить формы *юрод* ~ *урод*. Как мы говорили (§ 11.3.5), после второго южнославянского влияния в ряде слов фиксируется написание начального у- или начального ю- (тогда как раньше в этих словах имела место свободная вариация), при этом фиксируется не только написание, но и произношение. В отдельных случаях, однако, в литературном языке сохраняются и формы с начальным у-, и формы с начальным ю-, однако эти формы получают теперь разное значение. Так обстоит дело с формами *урод* и *юрод*. Форма, соответствующая новой норме церковнославянского языка (*юрод*), означает духовное юродство, тогда как противопоставленная ей форма *урод* соотносится исключительно с физическим уродством (или вообще с биологической нестандартностью); в этом специальном значении форма без йотации входит в норму церковнославянского языка по крайней мере в его великорусской редакции. Так, в филологическом рассуждении, известном под назва-

нием «Алфавит духовный», указывается: «вѣждь же и се: яко ино есть оуродъ. и ино юродъ. Оуродъ есть, иже естеством уродится что каково; еже есть благообразно или злообразно, или мало, или велико тѣлесно. а юродъ наричется буй и несмыслень» (ГБЛ, ф. 218, № 714, л. 185 об.—186 — рукопись середины XVII в.). Для югозападнорусской традиции такое противопоставление кажется нехарактерным; так, в словаре Памвы Беринды (1627, стлб. 272, 311; 1653, с. 181, 208) представлены обе формы: Ъродъ и юродъ, однако они не противопоставляются по значению.

§ 12.5. Семантизация грамматических вариантов.

Аналогичный процесс может наблюдаться и в отношении грамматических вариантов, которые также могут противопоставляться по своему значению. Примером может служить склонение лексемы *слово*. Ранее, как мы знаем, формы косвенных падежей у этой лексемы могли образовываться как от основы с формантом *-ес-* (*словесе, словеси* и т.п.), так и от основы, совпадающей с основой им. падежа (*слова, слову* и т.п.); соответствующие формы выступают как варианты для церковнославянского языка, хотя формы с основой на *-ес-* и отмечены как специфически книжные (см. § 8.3.2). После второго южнославянского влияния употребление этих вариантов регламентируется — они оказываются семантически дифференцированными. В обычном случае норма церковнославянского языка предполагает, вообще говоря, склонение лексемы *слово* с основой на *-ес-*. Вместе с тем предписывается особое склонение лексемы *слово* как обозначения Бога (второй ипостаси Троицы — «Бога Слова»), отличное от склонения той же лексемы в иных значениях: основа косвенных падежей совпадает здесь с основой им. падежа. *Слово* выступает в данном случае как собственное имя, и на него не распространяются закономерности, относящиеся к имени нарицательному, т.е. здесь проявляется тенденция формально противопоставить собственное и нарицательное имя. Соответствующее правило фиксируется в грамматике Смотрицкого (1619, л. Ж/2 об.; 1648, л. 116–116 об.).

§ 12.6. Некоторые обобщения. В период второго южнославянского влияния ясно прослеживается стремление привести в однозначное соответствие план выражения и план содержания: с одной стороны, различающиеся по значению формы получают разное орфографическое оформление, с другой же стороны, вариантным средствам выражения приписываются разные значения. Эта тенденция является частью более общего процесса кодификации церковнославянского языка как особой системы. Однозначное

соответствие между планом выражения и планом содержания становится характеристикой книжного языка, противопоставляющей его как целое языку некнижному: безразличное употребление вариантов, присущее некнижному языку, недопустимо, вообще говоря, в языке книжном.

В процессе кодификации актуализируются представления книжников о правильном языке, в частности, о неконвенциональном характере языкового знака, о безусловности связи между означающим и означаемым. Именно эти представления и обуславливают направление деятельности русских книжников, их стремление однозначно соотнести план выражения и план содержания. Книжный язык, устроенный таким образом, мыслится как правильное отражение онтологического порядка. В соответствии с этим церковнославянский язык начинает восприниматься как икона православия. В этих условиях изменения церковнославянского языка не могут быть безразличными по отношению к содержанию, отступления от языковой нормы могут в принципе восприниматься как отступления от православия. Такое отношение к языковой норме со всей отчетливостью проявляется в дальнейшем в отношении старообрядцев к книжным реформам патриарха Никона (§ 17.4) — таким образом, второе южнославянское влияние подготавливает реакцию на третье южнославянское влияние.

§ 13. Судьба второго южнославянского влияния в Московской и Юго-Западной Руси: образование особых изводов церковнославянского языка

§ 13.1. Культурно-исторические предпосылки. Второе южнославянское влияние совпадает с размежеванием культурных традиций Московской и Юго-Западной Руси. При этом если в Юго-Западной Руси продолжается общение с южными славянами и греками (Юго-Западная Русь входит в юрисдикцию константинопольского патриарха), то в Московской Руси в XVI в. наблюдается реакция на второе южнославянское влияние, т.е. тенденция к культурному обособлению. Если второе южнославянское влияние связано со стремлением установить единый литературный язык для всего православного славянства, то теперь в Московской Руси действует обратная тенденция — определить свой национальный извод церковнославянского языка. Таким образом, эпоха унификации сменяется эпохой обособления и размежевания.

Эти процессы исторически связаны, с одной стороны, с падением Византийской империи (1453 г.), и, с другой стороны, с окончательным свержением в России татарского господства (1480 г.). Эти два события, которые приблизительно совпадают по времени, связываются на Руси; таким образом, в то время как в Византии имеет место торжество мусульманства над православием, в России совершается обратное — торжество православия над мусульманством. При этом русские соотносят падение Константинополя (1453 г.) с принятием греками флорентийской унии (1439 г.): падение Константинополя и завоевание турками Византии рассматриваются как Божья кара, наказание за измену православию, см., например, послание митрополита Ионы литовским епископам 1459 г. (РИБ, VI, стлб. 623, № 81) или послание митрополита

Филиппа в Новгород 1471 г. (АИ, I, стлб. 513–514, № 280). После падения Константинополя в глазах русских Византия завершила свою историю — и это относится не только к падению византийской государственной власти, но и к авторитету константинопольского патриарха. Политическая катастрофа воспринималась русскими как следствие повреждения веры, в силу чего русские отказываются от подчинения константинопольскому патриарху и явочным порядком образуют свою автокефальную церковь.

С падением Византии великий князь московский оказывается единственным православным правителем (если не считать Грузии, находящейся на далекой периферии), т.е. единственным независимым монархом православной ойкумены. Предполагалось вообще, что есть только один царь в православном мире (РИБ, VI, прилож., стлб. 274 сл., № 40; ср. Дьяконов, 1889, с. 14, 25–26; Савва, 1901, с. 200 сл.); это место, которое ранее занимал византийский император, занимает теперь русский князь. Отсюда великий князь московский начинает осмысляться по модели византийского императора. Прежде всего, это проявляется в наименовании его «царем», т.е. он называется так, как называли на Руси византийского василевса (а также татарского хана). Уже Василий Темный более или менее последовательно именуется «царем» и «самодержцем» (Попов, 1875, с. 379, 384, 394; РИБ, VI, стлб. 673, № 90; АИ, стлб. 107, № 60; об истории наименования русских князей «царями» см. Водов, 1978; Водов, 1988), и с таким пониманием статуса русского великого князя связывается установление автокефальной русской церкви. Важно отметить, что царем называет великого князя Василия уже первый — *de facto*, если не *de jure* — глава этой церкви, митрополит Иона.

Таким образом, с падением Византийской империи Византия и Русь как бы меняются местами, в результате чего Московская Русь оказывается в центре православного (а тем самым, и христианского) мира. Соответственно, Москва осмыляется как новый Константинополь или третий Рим, причем утверждение Москвы в этом качестве одновременно означает отрицание Константинополя, как и Рима, в качестве центра христианского мира, поскольку всякий раз предполагается существование одного Константинополя или одного Рима. К этому необходимо добавить, что вторая половина XV в., когда происходят все эти перемены, окрашена эсхатологическими и мессианистическими настроениями, поскольку в 1492 г. по завершении 7000 от сотворения мира ожидался конец света. Как раз в этом году глава русской церкви митрополит Зосима составляет «Изложение пасхалии» на новую, восьмую тысячу лет, где официально объявляет Москву Новым Константино-

полем, а московского великого князя (Ивана III) «государем и самодержцем всея Руси, новым царем Константином новому граду Константинову — Москве и всей русской земле и иным многим землям государем» (РИБ, VI, стлб. 799, № 118).

При этом издавна пророчество о конце света связывалось на Руси с представлением о том, что Россия и Греция поменяются местами: «Повесть временных лет» под 1071 г. сообщает о появлении волхва, который предвещал, что реки потекут вспять, земли перейдут с места на место, и греческая земля станет там, где стоит русская, а русская окажется на месте греческой (ПВЛ, I, с. 116). Поскольку эсхатологические переживания закономерно переплетаются с мессианистическими, падение Константинополя, воспринятое на фоне пророчеств такого рода, понимается как указание на мессианистическую роль России как оплота православия и предводительницы христианского мира (см. Успенский, 1996).

С эсхатологическими ожиданиями конца XV в. связано, возможно, появление в русском книжном языке Московской Руси слова *воскресенье* как обозначения воскресного дня (см. Флаер, 1984; ср. § 8.10). Таким образом, здесь образуется корреляция: церковнослав. *недѣля* — рус. *воскресенье*. В русском языке — единственном из всех славянских языков — обозначение Пасхального воскресенья становится обозначением главного дня недели.

§ 13.2. Реакция на южнославянское влияние в Московской Руси. В соответствии со сказанным московские книжники, начиная с XVI в., стремятся обособиться от южнославянского влияния. Это стремление со всей отчетливостью проявляется, например, у Нила Курлятева, ближайшего сотрудника и помощника Максима Грека, который писал в предисловии к Псалтыри, переведенной Максимом Греком в 1552 г.: «А прежнии перевод'цы нашего языка извъстно не знали, и онѣ перевели ино гречески, ово словенски і ино сербьски і другаа болгар'ски, их же не удоволишася преложити на рускїи языкъ. А Кипріан митрополит по гречески гораздно не разумѣль и нашего языка довольно не зналь же. Аще і с нами един наш язык, сїрѣчь словенскїи, да мы говорим по своему языку чисти и шумно [вариант: и наша рѣчь руская чиста и шум'ка], а онѣ говорят моложаво и в' писании рѣчи наши с ними не сходятся. І онѣ мнїть ся что поправить псал'мов по нашему а болши неразумїе в них написать в рѣчех и в' словах [т.е. в словах и в буквах], все по сербьски написать. І Ннѣ многіа у нас і в ся времяна книги пишут, а пишут от неразумїа все по сербьски. И говорити по писму, по нашему языку прямо не умѣют. И многія неразумныя смущаются. Гдѣ надобет по нашему а, а по сербьски ѣ, или ж по нашему ю, а серб'ски љ, по нашему о, а сер'бьски ж, у нас ы, а серб'ски и. А рѣчи по нашему *незамедли*, а серб'ски *или*

буде бол'гарски не замуди, по нашему *косно медлено язычен* или *гугнивъ*, а серб'ски *муд'ноязычен* і проція рѣчи нам неразумны: *бохма*, *васнь*, *рѣснотивіе*, *цѣщи*, *ашут* и много таковых мы не разумѣем іно серб'ски, а іно бол'гарски. І сіа доселѣ не достанет лѣто на повѣствованіе» (Ковтун, 1975, с. 96–97). Говоря о «русском» языке, Нил Курлятев имеет в виду церковнославянский язык русской редакции (такое употребление слова *русский* известно и ранее, по крайней мере с XIII в., — ср., например, Ковтун, 1963, с. 398). Русский извод церковнославянского языка противопоставляется при этом южнославянским изводам. Показательно, что по утверждению Нила Курлятева русские говорят по-церковнославянски «чисто», а южные славяне — «моложаво», т.е. русский извод признается более правильным и вместе с тем более древним.

Приведенное рассуждение Нила Курлятева содержит цитаты из словаря к Лествице Иоанна Синайского в редакции XV в., который называется «Глѣкованіе неудобъ познаваемомъ въ писаныхъ рѣчехъ, понеже положены суть рѣчи въ книгахъ отъ начальныхъ прѣводникъ ово словѣнски и іно срѣбски и другаа блѣгарски, их же не удоволишася прѣложити на рускии»; равным образом, называя славянские слова непонятными русскому читателю, Нил берет их из того же словаря, ср. здесь: «*васнь* — *мню*, *прѣно*, *цѣща* — *ради*, *бѣхма* — *весма*, *рѣснотивіе* — *истин'но*, *ашуть* — *туне*, рекше *даромъ*» (Ковтун, 1975, с. 68, 70; ср. Ковтун, 1963, с. 421 сл.). Характерно, однако, что в цитируемом словаре не содержится еще отрицательного отношения к сербским и болгарским речениям, столь очевидного у Нила Курлятева.

Московские книжники игумен Илья и справщик Григорий в своих прениях с Лаврентием Зизанием в 1627 г. заявляют: «Вѣдаем сербским языком *купина*, а по рускиі *кустъ*» (Прения Лаврентия Зизания..., с. 88; ср. Заседание в Книжной палате..., с. 19). Итак, церковнославянское слово *купина* признается сербизмом; «русский» язык не противопоставляется здесь церковнославянскому, и, таким образом, эпитет *сербский* указывает на противопоставление русского извода церковнославянского языка и его южнославянских изводов.

Осмысление русского извода церковнославянского языка как наиболее «чистого» непосредственно связывается при этом с особой миссией России. Россия воспринимается как единственная хранительница православной и вместе с тем славянской культурной традиции, от которой в той или иной мере и по разным причинам отпали все другие славянские народы. В грамматических сочинениях XVI–XVII вв. констатируется, что если ранее у славян была одна вера и одна грамота, то теперь эта вера и эта грамота сохраняются только у русских. Так, в одном таком сочинении читаем: «егда вси единокупно бѣша славяне, пріяша крещеніе і пис-

мена от грѣкъ, тогда вси единые грамоты держащяся. і ꙗко минувшим многым лѣтом, и паки разлучишяся на части ради держав'ства і несоединеніа вѣроу и грамотоу». Наряду с славянами-католиками, которые приняли «писмена і вѣру от римлянъ», здесь называются и православные славяне («сербы, словяне и бол'гары»), которые приняли «писмена грѣческые». Всем прочим славянам противопоставляются русские как хранители истинной веры и церковнославянского языка: «а русіа даже и до нѣе держать писмена словен'ская, а вѣра у нихъ едина грѣческаа, ꙗкоже і сперва предана всѣмъ словяномъ» (Ягич, 1896, с. 409).

Со второй половины XVI в. в грамматических сочинениях встречаются протесты против южнославянской орфографии. Так, в «Грамматике» начала XVII в. читаем: «Да не в'пишем *аза* вмѣсто *а*, хотяше единственный разумъ в рѣчь тѣм љвити в сицевых: *моа дѣша*; но да пишем: *моа ѣша*» (ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 2, ср. еще л. 21–21 об.) — как видим, здесь отвергается тот способ противопоставления ед. и мн. числа, который развивается на русской почве в результате второго южнославянского влияния (§ 12.2). В другом сочинении («Сила существу книжнаго писма») южнославянская форма *бѣхѣ* признается «нелѣпой»: «Ты же пиши *бѣхѣ*. и се есть блѣгољпно употребленіе» (Ягич, 1896, с. 430).

Важная роль в процессе обособления русского извода церковнославянского языка от южнославянских изводов принадлежит Максиму Греку — ученому книжнику, приглашенному в Московскую Русь в 1518 г. с Афона для перевода Толковой Псалтыри (этот перевод был завершён к 1521–1522 гг.). Максиму Греку принадлежит и ряд других переводов с греческого (он переводил также и с латыни): в период работы над переводом Толковой Псалтыри он перевел также часть Апостольских Деяний с толкованиями (в 1519–1520 гг.). Позднее Максим Грек перевел Псалтырь без толкований (в 1552 г.), Житие Богородицы Симеона Метафраста и некоторые другие тексты. После окончания работы над Толковой Псалтырью, в 1522 г., Максиму было поручено исправление богослужебных книг, и он исправил Цветную Триодь, Праздничную Минею, Часослов, Псалтырь, Евангелие и Апостол; до нас дошла рукопись Следованной Псалтыри конца XV в., в которой находятся многочисленные исправления лексического, синтаксического, а также орфографического характера, сделанные рукой Максима Грека (ГБЛ, ф. 304, № 315), а также рукопись Цветной Триоди (ГИМ, Шук. 309) с аналогичными исправлениями, сделанными рукой Михаила Медоварцева, помощника Максима Грека, по указаниям Максима (см. Кравец, 1991) (ср. о русских автографах Максима Грека: Синицына, 1977, с. 12–18). Таким образом, Максим

Грек оказал существенное влияние на нормализацию русского извода церковнославянского языка. Максим Грек был связан с такими известными русскими книжниками, как Вассиан Патрикеев, Дмитрий Герасимов (переводчик Посольского Приказа), Курбский; он обучал русских книжников греческому языку (в частности, Нила Курлятева и старца Сильвана).

Естественно, что Максим Грек выступал против южнославянизмов — идея ориентации на греческий язык через южнославянское посредство ему, как греку, была, конечно, чужда, и он пытался писать языком, принятым у русских. Соответственно, характеризуя перевод Псалтыри 1552 г., Нил Курлятев в упомянутом уже предисловии противопоставляет Максима Грека митрополиту Киприану и утверждает, что в переводе Максима «отнюд нѣтъ рѣчей по серб'ски или болгарски, но все по нашему языку прямо з' греческаго языка и без украшеніа» (Ковтун, 1975, с. 97–98). Правда, в автографах Максима Грека мы наблюдаем южнославянизмы: так, он этимологически правильно употребляет ж, он нередко распределяет ѣ и ѥ в соответствии с южнославянской орфографией (ѣ в середине слова, ѥ — в конце) и пишет ѣ после плавного (Соболевский, 1903, с. 263; Ковтун, 1975, с. 189–190). Это объясняется тем, что еще до приезда в Москву Максим был знаком с церковнославянским языком южнославянского извода, а возможно, знал и болгарский разговорный язык (Иконников, 1915, с. 147; Соболевский, 1903, с. 263; Сперанский, 19606, с. 178). Тем не менее, оказавшись в Москве, он увидел отличия русского извода церковнославянского языка от южнославянских изводов и, естественно, захотел переводить именно на русский извод. Иногда он отказывается при этом от высокой книжной лексики, поскольку она совпадает с лексикой южнославянского церковнославянского языка, т.е. это объясняется именно отталкиванием от южнославянизмов и стремлением писать на собственно русском литературном языке (ср. цитированные выше слова Нила Курлятева о том, что Максим Грек перевел Псалтырь «по нашему языку... без украшеніа»).

§ 13.3. Реакция на греческое влияние в Московской Руси. Итак, Максим Грек выступает против южнославянизмов, стремясь писать на русском церковнославянском языке. Одновременно он выступает и против грецизмов, т.е. заимствований из греческого и буквального калькирования греческих слов и выражений, как это характерно для русских книжников, ориентирующихся на греческую культурную стихию: понятно, что просвещенному греку такой буквализм казался бессмысленным. Эта тенденция также находит поддержку у русских книжников.

Характерно, что в это время широко расходуется в списках рассуждение Иоанна Экзарха болгарского (X в.) в предисловии к его переводу «Богословия» Иоанна Дамаскина. В этом рассуждении Иоанн говорит о несходстве грамматических структур церковнославянского и греческого языков, иллюстрируя их различие прежде всего несовпадением рода у греческих и славянских слов с одним и тем же значением (Ягич, 1896, с. 35). Протестуя против дословных переводов с греческого, Иоанн призывает исходить из смысла («разума») переводимого текста, а не из его формы: церковнославянский язык не должен быть слепком с греческого языка. Тем самым, в сущности, утверждается право церковнославянского языка на самостоятельное существование. Именно это и делает актуальным данное сочинение для русских книжников XVI–XVII вв.: это рассуждение попадает в множество рукописей этого периода (Ягич, 1896, с. 670). Непосредственное влияние сочинения Иоанна Экзарха усматривается и в ряде оригинальных русских сочинений, в которых эксплицитно утверждается автономность церковнославянской языковой нормы. Так, ученик и последователь Максима Грека старец Сильван заявляет: «Нѣсть бо, нѣсть лѣтъ по истиннѣ всячески премудрѣйшему оному послѣдовати языку [имеется в виду греческий], понеже обращаетъ сопротивно; ни же бо роды, ни же времена, ни же скончанія подобна ея имѣють, но вся пременена. Сего ради разума паче всего искати подобаетъ, егоже ничтоже честнѣйше» (Ягич, 1896, с. 342). Таким образом, для Сильвана (как и для Иоанна Экзарха) важным является именно точная передача смысла («разума»), и при этом он утверждает, что церковнославянский язык, не копируя греческого, способен адекватно передать то же содержание. Сочинение Иоанна Экзарха отражается и в челобитной инока Савватия (1660-х гг.). Вслед за Иоанном Экзархом Савватий утверждает: «Еллинской рекше греческой языкъ в' своемъ діалекте красенъ и честенъ, а во иномъ языкѣ не красенъ и безчестенъ» (ГИМ, Увар. 497/102, л. 13–13 об.; Три челобитные, 1862, с. 35–36).

Вполне закономерно, что в это время в России появляются первые протесты против иностранных заимствований, т.е. впервые обнаруживаются пуристические тенденции. Так, Досифей Топорков (племянник Иосифа Волоцкого) говорит в предисловии к отредактированному им в 1528–1529 гг. Синайскому Патерику (в скобках указываем варианты): «По благословенію (и повелѣнію) пресвященнаго архієпископа великаго Новограда и Пскова, владыки Макарія, азъ грѣшный Досифеѡсъ Ѡсифитіе (Досифеосъ Осифитись) [т.е. Досифей Иосифлянин — он называет себя так по-гречески], преписахъ таковыя повѣсти и чюдеса, преже списавшихъ (спасавшихся) отецъ, ихъ же обрѣтохъ, яко солнце покровено

потемненіємъ облакъ, или злато покровено прахомъ, старыми и иностранными пословицами, иная же смѣшана небреженіемъ и неисправленіемъ переписавшихъ. И сего ради ни малу зарю не подаваху сладости прочитающимъ, того ради небрегоми и непрочитаеми бяху. Азъ же много время и прочитая многожды, едва возмогахъ познати силу лежащую въ нихъ иностранныхъ пословицъ, переписавъ и преведохъ чисто, яко же отъ поселянскихъ рѣчей, неученая и неискусная (наученая и искусная) словеса, и Божиємъ поспѣшеніемъ отогнавъ (отъ нихъ) таковое потемненіе, и показавъ въ нихъ первые (прѣвыя) сладости зарю, яко да прочитающе таковыя (таковая) къ своей ползѣ приложить (приложить), и о моемъ оказанствѣ да вспомануть къ Богу. Яко да не точію не поставитъ ми таковая въ грѣхъ, но и к(ъ) пользѣ (къ) моей приложить; яко же (бо) они блаженіи отци написаша таковая словеса, не за что ино, но точію пользы ради прочитающимъ, тако и азъ грѣшный понудивъся, обѣтшавша таковая словеса поновити, не за что ино, (но) точію пользы ради читающихъ, и елици погрѣшиша в(ъ) писаніи семъ в(ъ) жизни своей, потщимся отъ таковыхъ сохранять себе» (Смирнов, 1917, с. 149). Итак, Досифей протестуетъ противъ «старыхъ и иностранныхъ пословицъ», затемняящихъ смыслъ текста, т.е. противъ южнославянизмов и грецизмов; Досифей позналъ значение такихъ слов («силу, лежащую въ нихъ») и перевелъ ихъ «чисто», т.е. на чистый русский литературный (церковнославянский) языкъ. Одновременно онъ перевелъ «отъ поселянскихъ рѣчей на ученая и искусная словеса», т.е. «чистый» языкъ отталкивается отъ разговорного.

Сходные заявления мы встречаемъ в это время и в другихъ предисловіяхъ или послесловіяхъ. Такъ, в «Изложеніи о верѣ» (предваряющемъ русский Хронографъ 1512 г.) авторъ говоритъ о своихъ попыткахъ свести воедино различные летописные источники: «Многъ же подъяхъ трудъ за разгласіе речей в тѣхъ книгахъ, изыскуя правду и за разгласіе многихъ пословицъ. Елици же хотятъ сіа переписувати и прочитати и отъ сихъ ползу обрѣсти, сію благодать прошу у нихъ: внемла прочитають, да глаголють: „Сыне Божій, спаси душу потрудившагося в сиецехъ и не постави в грѣхъ, елико неразуміа ради рѣчи силу пременихъ, или за неудобь разумна старая иностранная рѣчи, не точію же сихъ недостатокъ, Христе милостивый, наведи, но и къ пользѣ и душа его приложи“» (ПСРЛ, XXII, 1, с. 18); какъ полагаютъ, «Изложение о верѣ» написано темъ же Досифеемъ Топорковымъ (Седельниковъ, 1929, с. 755–773; Клоссъ, 1980, с. 169). Равнымъ образомъ и митрополитъ Макарий говоритъ в предисловіи къ «Великимъ Минеямъ Четиимъ» (1541–

1542 г.): «А писал есми сіа свѣтѣя великіа книги в' Великом Новѣгородѣ как есми тамо был архіепископом. А писал есми и събирал и въ едіно мѣсто их совокуплял дванадесѣтъ лѣтъ многим имѣніем и многими различными писари, не щедя сребра и всяких почастей. Но и паче ж многи труды и подвиги под[ъ]ях от исправленія иностранных и древних пословицъ, преводя на русскую рѣчь [ъ], и сколько нам Богъ дарова уразумѣти, толико и възмогахом исправити. Иная же и до днѣш[ъ] в' них не исправлена пребысть, и сіа оставихом по нас могущим съ Божіею помощію исправити. А и гдѣ буду погрѣших от своег[о] неразумія о тѣх странских древних пословицъ, или будет где посредѣ тѣх свѣтѣх книг написано ложное и отреченное слово свѣтѣми отцы, а мы того не възмогахом исправити и отставити, и о том' от Господа Бога прошу прощенія за молитв всѣх свѣтѣх...» (Иосиф, 1892, стлб. 3). Наконец, и «Повесть о взятии Царьграда» завершается словами: «И всяк, прочитай сѣа, полезным да ревнует, елици же нерадением погрѣшиша, такоже и от сих может пользоваться, хотѣй, яко да и не сам в тая же впадет... и о нас да воспомянет ко всесилному Богу, яко да и нам в полезная таковая вменит и навершит недостаточное моего худаго разума старых ради и иностранных пословицъ» (Идея Рима..., с. 132). Заявления о «старых и иностранных пословицах» становятся, таким образом, общим местом.

Как это ни парадоксально, процесс отталкивания от греческого эталона также может быть связан со вторым южнославянским влиянием. С одной стороны, южнославянское влияние, как мы уже говорили, связано с ориентацией на греческую культуру, южнославянская традиция служит посредником в греческо-русских культурных контактах, и именно это обстоятельство является исходным фактором для русских книжников (§ 9.3). С другой же стороны, из южнославянской книжности в России заимствуется представление о самостоятельном достоинстве церковнославянского языка, независимом от греческого.

Если в свое время — в эпоху полемики с триязычной ересью, столь актуальной для Кирилла и Мефодия, — обсуждалось само право на существование церковнославянского языка, т.е. его допустимость в богослужении, то теперь на повестке дня его достоинство (*dignitas*), т.е. то, что он никак не уступает греческому и может даже превосходить его. Церковнославянский язык рассматривается при этом не просто как система коммуникации, но как средство выражения богооткровенной истины.

Такое восприятие обусловлено процессами стабилизации языковой нормы; вместе с тем оно усваивается русскими от южных

славян, приходя с вторым южнославянским влиянием. В частности, в это время на Руси распространяется рассуждение «О писмех» черноризца Храбра, где содержится полемика с триязычной ересью и одновременно утверждается, что церковнославянский язык святее греческого, поскольку церковнославянский язык создан святыми апостолами (Кириллом и Мефодием), а греческий — язычниками: «Тѣм же словѣн'скаа писмена стѣвиши сѣт[ь] и чѣстнѣиша. стѣ бо мжѣ створити на кс[тъ], а грѣчьскаа елини погани... Аще бо въпросиши книгъчиа грѣчьскаа гл҃а. кто вы естѣ писмена створити, или книги прѣложити, или въ кое врѣмѣ, то рѣд'циѣ ѿ нихъ вѣдати. аще ли въпросиши словѣн'скаа боукара гл҃а. кто вы писмена створити естѣ, или книги прѣложити, то вси вѣдати. и ѿвѣщавше режѣтъ. стѣи Кѡнстантинъ Философъ нарицаемый Кирилъ. тѣ намъ писмена створи и книги прѣложи. и Мефодіе братъ его» (Ягич, 1896, с. 11; Куев, 1967, с. 190–191). В «Слове святого Кирилла Философа учителя словеньску языку», представляющем собой болгарскую переделку сочинения Храбра и дошедшем в рукописи XIII–XIV в., говорится, что если сойдутся два священника, болгарский и греческий, литургия не должна совершаться по-гречески, но либо на церковнославянском языке, либо на двух языках, «понеже стѣ естѣ българска литоургия, стѣ бо мжѣ ставы ж» (Ягич, 1896, с. 17; Куев, 1967, с. 170). Точно так же и представления о Москве — Третьем Риме имеют южнославянские корни, т.е. южнославянская идея получает русскую реализацию: в южнославянских апокрифических сочинениях говорится, что «първо цр҃тво грѣчьско, вѣ [второе] алеманско, трѣ [третье] цр҃тво българско» (Поуп, 1975; о специфике русской реализации см. Успенский, 1996, с. 478, 493).

Сочинение Храбра получает необычайную популярность на Руси и широко расходуется в списках. Его цитируют русские книжники как в Московской, так и в Юго-Западной Руси. Так, уже Епифаний Премудрый в Житии Стефана Пермского утверждает вслед за Храбром: «Русская грамота чѣстнѣиши естѣ Еллинскіѣ: святѣ бо мужь сътворити ю естѣ, Кирила реку Философа; а Греческую алфавиту Елині некрещени, погани суще, составливали суть»; соответственно, он считает, что и пермская грамота, составленная св. Стефаном Пермским, по тем же причинам святее греческой (Кушелев-Безбородко, IV, с. 153). Аналогичные рассуждения находим и в других древнерусских сочинениях о языке, см., например, предисловие к греческо-русскому и татарско-русскому словарям XV–XVI вв. (Симони, 1908, с. 6), трактат «О свитци книг» в рукописи начала XVI в. (Куев, 1967, с. 223–225, ср. еще с. 178–179), а также «Книжку» Иоанна Вишенского (Вишенский, 1955, с. 24). При этом

если черноризец Храбр говорит о «словенской» грамоте, то Епифаний Премудрый и следующие ему русские книжники говорят о «русской» грамоте, имея в виду церковнославянский язык русской редакции.

Отголоски сочинения Храбра мы встречаем и в русском рассуждении «О еже како просодия достоит писати и глаголати», дошедшем до нас в рукописях XVI в., где говорится: «многом бо греческий языкъ в' пословицахъ скуднѣиши словен'скаго языка, и свидѣтель сему азбука, в' греческой азбукѣ .ѿѿ. [24] писмен, а в словенской азбукѣ .лї [38] писмен. и греческой с численными і двоегласными .лї. [38] писмен, а словенской с прикладными .мѣ. [42]... от сего есть всяко ѿвѣ, ѿко словенский языкъ пространнѣиши есть греческаго» (Ягич, 1896, с. 457). Совершенно так же инок Савватий, противник никоновских реформ, противопоставляет затем в своей челобитной царю Алексею Михайловичу (1660-х годов) «природный и пространный», «широкий и велесловный» церковнославянский язык «греческому тесному» языку (ГИМ, Увар. 497/102, л. 13–13 об.; Три челобитные, 1862, с. 35–36). В основе данного рассуждения лежит мысль Храбра, который говорит, что Кирилл создал славянскую азбуку из 38 букв, по образцу греческой азбуки, включающей дифтонги (двоегласные) и числительные (буквы, обозначающие цифры), — Храбр пишет, что в греческой азбуке 24 простых буквы, 11 двоегласных и 3 буквы, обозначающие числа 6, 90 и 900. Ср. риторический вопрос Савватия: «Некли [т.е. негли] ѿдръ туне грамота з' греческаго языка на славенской преложена и счинена своя азбука, прибавлены в ней потребы ради перед греческою азбукою многие лишние буквы» (ГИМ, Увар. 497/102, л. 13 об.; Три челобитные, 1862, с. 36).

Эпитет «тесный» в применении к греческому языку, возможно, восходит к эпитету «скупой», который мог употребляться в значении «лаконичный, насыщенный, информативный». Так, «скупым» называется греческий язык афонский инок Исаия, серб по происхождению и явный грекофил. Говоря в предисловии к своему переводу Псевдо-Дионисия Ареопагита (1371 г.) о «тяжести прелаяния» «от многопремудраго и художнаго, зѣло скупаго ел'линскаго языка в нашъ языкъ», Исаия замечает: «Греческий бо языкъ ово убо от Бога исперва художень и пространъ быс[тъ] ово ж[е] и от различных по временехъ любомудрець ухыщрень бысть. Нашъ ж[е] словен'скы языкъ от Бога добръ сътворень быс[тъ], понеж[е] вся елика створи Богъ зѣло добра, нъ улишеніемъ любоученія любоѣствыхъ слова мужей хытрости якож[е] онъ не удостои ся» (Востоков, 1842, с. 161; ВМЧ, октябрь, стлб. 263). Итак, по мысли Исаии, церковнославянский язык не уступает греческому языку в достоинстве, но уступает ему в нормированности — ему недостает лишь «хитрос-

ти» (греч. τέχνη), чтобы быть совершенно равноправным с греческим. Эпитет «скупой» означает, таким образом, в этом контексте «униженный», и именно эта характеристика греческого языка может отрицаться в цитированном заявлении инока Савватия, где она подвергается переосмыслению. Как бы то ни было, у Савватия эпитет «тесный» явно употребляется в отрицательном значении.

Сходным образом и протопоп Аввакум цитирует Храбра, обращаясь к царю Алексею Михайловичу: «Вѣдаю разумъ твой; умѣешь многи языки говорить: да што в том прибыли?... воздохни-тко по старому... и рцы по рускому языку: Господи, помилуй мя грѣшнаго! А *кирьелеисон*-отъ оставь; так елленя говорятъ; плюнь на нихъ! Ты вѣдь, Михайлович, русакъ, а не грекъ. Говори своимъ природнымъ языкомъ; не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах. Какъ насъ Христосъ научилъ, такъ и подобаетъ говорить. Любить насъ Богъ не меньше греков; предал намъ и грамоту нашимъ языкомъ Кириломъ святымъ и братомъ его. Чево же намъ еще хочется лутче тово? Развѣ языка ангельска? Да нѣтъ, нынѣ не дадутъ, до общаго воскресенія» (РИБ, XXXIX, стлб. 475). То, что церковнославянские книги переведены святыми, является для Зиновия Отенского аргументом против исправлений Символа веры, предложенных Максимом Греком (Зиновий Отенский, 1863, с. 961–967).

С сочинением Храбра перекликается оригинальное русское сочинение, известное под названием «Сказание о славянской письменности», которое вошло в состав Палеи (см. о нем: Живов, 1992). Это сочинение появилось, по-видимому, в домонгольский период — скорее всего, в XII в., — однако оно дошло до нас в многочисленных списках XV–XVII вв.; несомненно, оно воспринимается в этот период как особенно актуальное. Русская грамота, наряду с православной верой, признается здесь богооткровенной, независимой от греческого посредства: «еже вѣдомо всѣмъ людемъ буди, ꙗко рускій љзыкъ ни откуду приѧ вѣры сѣтя сеѧ, и грамота руская нѣкимъже ѧвѣленна. но токмо самимъ Бѣгомъ вседержителемъ, Оцѣмъ и Сѣномъ и сѣымъ Дѣомъ. Володимеру Дѣхъ сѣтый вдохнулъ вѣру приѧти. а крещеніе отъ грекъ... а грамота руская ѧвѣленна Бѣгомъ и дана въ Корсунѣ русину. отъ негоже научисѧ Костѧнтинъ Философъ. отъуду же сложивъ и написавъ книги рускимъ љзыкомъ... той же мужъ живѧше благовѣрно. постомъ мѣтвѧми в чистой вѣры. единъ отъ рускаго љзыка ѧвисѧ прежде хрѣстіѧны. невѣдомъ же никимъ отинюд [т.е. откуда] естъ» (Мареш, 1963, с. 174–175; Живов, 1992, с. 122). Соответственно, наряду с «русскимъ» (т.е. церковнославянским) языкомъ появляется и «русская» (т.е. православная) вера — поскольку Русь воспринимается как хранительница православия, православная вера называется русской.

Так, казначей Иверского монастыря Никон, донося в середине XVII в. об уходе из монастыря прежней братии и о поселении там кутейнских иноков, замечает: «А священника у насъ в монастыре нашья русския вѣры нѣту ни единого» (Каптерев, II, с. 10). Итак, понятие русской веры ограничивается православием Московской Руси: даже представители Юго-Западной Руси не принадлежат «русской вере».

В другом сочинении читаем: «*Вопросъ*: Рече Евангелистъ Лука: да открыеться отъ многихъ сердець по мысли челоувѣкомъ. *Толкъ*: Откройся разбойнику на крестѣ рай, а Логину сотнику и Клеопѣ и Луцѣ въ преломленіи хлѣба. Стефану и Петру во отверженіи, Фомѣ въ осязаніи, Павлу идуще въ Дамаскъ, и прочимъ всѣмъ языкомъ вѣровати во Христа; и открийся послѣди всѣхъ Русскому языку вѣровати во Отца и Сына и Святаго Духа, а не бывшу никому же апостолу въ Русской земли, но по истинѣ Русскому языку милость Божія открься» (Цветник XVI в., ГИМ, Син. 687, л. 25 об., см. Буслаев, 1859, с. 76). Слово «язык» в данном случае имеет, по видимому, прежде всего этнический смысл, однако мысль об избранности русского народа ближайшим образом соответствует мысли об избранности «русского» (церковнославянского) языка, которая звучала в приводившихся выше цитатах: то и другое в принципе неразлично.

Об отрицательном отношении к греческому языку говорит характерное обвинение, выдвинутое в Москве в 1650 г. против Федора Ртищева, когда москвичи «меж себя шептали: учится де у киевлян Федор Ртищев греческой грамоте, а в той де грамоте и еретичество есть» (Каптерев, 1913, с. 145, примеч.; см. подробнее ниже, § 16.3). Котошихин (л. 25) свидетельствует, что в Московской Руси царевичей не учили греческому языку, как не обучали и языкам западным: «а иным языком, латинскому, греческого, немецкого и некоторых кромѣ руског[о] научения в Російском г[о]с[т]и[н]н[ом] д[ѣ]лѣ не бывает». Попытки организовать в Москве преподавание греческого языка вплоть до реформ патриарха Никона успеха не имели (см. о таких попытках: Белокуров, 1888, с. 22 сл.; Каптерев, 1914, с. 477 сл.; Каптерев, 1889; Каптерев, 1913, с. 100–104; Бороздин, 1900, с. 27–29).

Это отношение к грекам распространяется на все области книжной и вообще церковной культуры. Так, подобно тому как грамота признается возникшей на Руси самостоятельно, независимо от греческого посредничества, и церковное пение осмысливается теперь как явление собственно русского, а не греческого происхождения. Безымянный автор «Предисловия, откуда и от коего времени начася быти в нашей Русей земли осмогласное и на оба лика в церкви пети», дошедшего до нас в рукописи XVII в., говорит: «Аше убо рекут к нам прочии иноязычницы, от прочих окрестных

правоверных стран — откуда убо вы взясте сие осмогласное пение? — мы же к ним отвечаем... при нем же [князе Ярославe] убо, еже написано в нашей русской Степенной книге... приидоша из грек в Киев три певцы искусни вельми знаменному и троестрочному прекрасному демественному пению и от них разсеяся по всей русской земли. Нам же убо мнится, яко и се не истинна есть, понеже во всех греческих странах и в Палестине, и в Киеве, и во всех тамошних великих обителях пение от нашего пения отлично, поют по подобию мусикийского согласия... А нашему русскому пению и погласице они дивятся, что с их пением и погласицею не сходится... А мним мы грешни, что наше русское осмогласное знаменное и троестрочное пение своею погласицею изложено некими премудрыми русскими риторами... А еже реши о сих трех греческих певцах, осмогласного знаменного и путного и демественного и троестрочного их пения, русские философы у них не приняли и не училися, из их знаменных переводов ничего не писали. Потому их греческие и киевские погласицы и переводы с нашими русскими попевками и с погласицею, и с переводы не сходятся» (Бражников, 1974, с. 126–127). Не менее показательны прения о вере, которые в 1650 г. вел с греками Арсений Суханов. На вопрос греков «откуда жъ вы [русские] вѣру приняли? Ведь от нас?», Арсений отвечал: «мы вѣру приняли от Бога, а не от вас». Затем «паки греки рекли: крещение вы приняли от нас греков? И Арсений говорилъ: мы крещение изначала приняли от апостола Андрѣя, а не от вас». В свою очередь, и Арсений спрашивает греков: «скажите ми вы, греки, про себя: от ково вы крещение приняли? И архимарит Олимонъ говорилъ: мы крещение прияли от Христа, и от апостоль и от Якова брата Божия. Арсений говорилъ: то вы неправду говорите... А крещение вы прияли... от апостола Андрѣя и от прочих... и мы крещение в тож время прияли от апостола, какъ и вы, а не от вас греков» (Белокуров, II, прилож., с. 40–42). Следует подчеркнуть, что такое отношение к грекам характерно именно для Московской Руси, но отнюдь не присуще Юго-Западной Руси. Знаменательно в этом смысле, что в цитированном выше рассуждении о происхождении русского церковного пения Киев относится к греческой культуре и противопоставляется Москве. Такое восприятие приобретет особую актуальность в период третьего южнославянского влияния (§ 16.2).

Еще более показателен диалог грека Ивана с неким Пахомом, о котором мы знаем из письма Ивана к князю В. В. Голицыну (конец XVII в.): «И прошлого года говорил я Пахому: смотри, бедные греки, которые под агаряны, хранят веру свою честно и догматы православия, которое постановили святые отцы, держат непоколебимо...

И он мне говорил так: я де накладу на веру греческую пред многими людьми» (Доп. к АИ, XII, с. 201, № 17). Показательно, что православие у греков именуется «греческой верою», явно противопоставляясь при этом подлинному православию русских, т.е. «русской вере».

В соответствии с таким восприятием церковнославянский язык признается теперь полностью — во всех отношениях — равноправным греческому и именуется сладчайшим и т.п. Так, старец Сильван (XVI в.), ученик и сотрудник Максима Грека, называет последнего мужем мудрым «во всѣхъ трехъ языцѣхъ, въ еллинскомъ глаголю и римскомъ и въ сладчайшемъ мнѣ рускомъ» (Ягич, 1896, с. 340) — тем самым русский (церковнославянский) язык оказывается в числе основных священных языков; если раньше таковыми считались еврейский, греческий и латынь, то теперь в этом качестве выступают греческий, латинский и «русский». Тот же эпитет (*сладчайший*) мы находим затем у Спафария, который также говорит о «сладчайшем ми русском языке» (Спафарий, 1978, с. 143, 147). Если в свое время инок Исаия (серб) считал, что церковнославянский язык, не уступая греческому языку в достоинстве, уступает ему в нормированности (см. выше), теперь ставится вопрос именно о нормированности церковнославянского языка, что естественно связано с его кодификацией.

Мысль о том, что церковнославянский, греческий и латынь являются тремя сакральными языками, развивает впоследствии Федор Поликарпов в предисловии к славяно-греко-латинскому «Трехязычному лексикону»: «Три языки повѣствуетъ писаніе бжѣственное бывшія на кртѣ Спсителя нашего Хр҃га Іаѣ, еврейскій, греческій и латинскій. Тайна поистиннѣ сокровенна в' семь трехъязычїи. Ибо еврейскій языкъ есть языкъ стѣ, греческій языкъ есть языкъ премудрости, латинскій языкъ есть языкъ единоначалствїя». Поликарпов ссылается на трехязычную надпись на кресте, на котором распят Христос, определяющую сакральный характер еврейского, греческого и латинского языков. Вместе с тем он считает, что в настоящее время еврейский язык уступил место «славенскому», т.е. церковнославянскому языку: «Юже древле Бжѣвленное писаніе воспѣ похвалу Вифлеемскому граду: и ты (рече) Вифлееме земле Іудова, ничимже менши еси въ влѣкахъ Іудовыхъ [Мф. II, 8]. Тую похвалу мало нѣчто измѣнше, о языкѣ нашемъ славенскомъ, славѣ соименитомъ [имеется в виду этимология слова *славенский*], можемъ проповѣдати. И ты роде и языке славенскій, ничимже менши еси въ начальныхъ родѣхъ и языкѣхъ. Сей убо языкъ нашъ славы сѣна, или паче реши бѣа, вмѣсто третїаго еврейскаго, в' семь лексиконѣ (рекше именѣ собранїи) предпоставихомъ, и прочїимъ двоимъ, сіестъ греческому и латинскому присовокупихомъ, яко да

по подобію онаго надписанія, и крѣтнаго титула, тремя языки тріпостасный и единосущный Бгъ прославляется» (Поликарпов, 1704, предисловие, л. 2—2 об.). Итак, Поликарпов исходит, в сущности, из триязычного учения (с которым когда-то полемизировали Кирилл и Мефодий): в трех языках он видит манифестацию Троицы. Поэтому церковнославянский язык заменяет еврейский, объединяясь с ним по признаку святости.

В других случаях может сохраняться та же трехязычная схема, однако церковнославянский язык ставится не на место еврейского, а на место латыни. Так, в приветствии учеников Московской академии патриарху Адриану по случаю его вступления на патриарший престол (24 августа 1690 г.) говорилось: «...радуется и нашъ языкъ, и праведно, зане аше еврейскій языкъ превозносится, ибо имъ Богъ Адаму глагола и Божественное Писаніе написася; аше еллинскій языкъ славится, ибо имъ прекрасншія науки и художества написася; точнѣ можетъ и нашъ славенскій языкъ хвалитися нынѣ, зане имъ прославляется святѣйшее подлежащее блаженства твоего» (Смирнов, 1855, с. 31). Церковнославянский язык выступает здесь вместо латыни — если латынь является языком римского папы, то церковнославянский является языком патриарха.

§ 13.4. Размежевание культурно-языковых традиций Московской и Юго-Западной Руси: великорусский и югозападнорусский изводы церковнославянского языка. Второе южнославянское влияние имеет неодинаковую судьбу в Московской и Юго-Западной Руси. Если в Московской Руси мы наблюдаем реакцию на второе южнославянское влияние, которая во многом возвращает московский церковнославянский язык к его прежнему состоянию, то в Юго-Западной Руси, где продолжался непосредственный контакт как с южными славянами, так и с греками (§ 13.1), второе южнославянское влияние имеет гораздо более органический характер; соответственно, «в московской письменности первой половины XVI в. югославянские особенности представлены уже непоследовательно, как пережиток. Во второй половине XVI в. московская письменность уже свободна от югославянской орфографии, между тем как западная и югозападная страдает ими весь XVI в. и еще в начале XVII в.» (Щепкин, 1967, с. 133). Так, например, в великорусской письменности в XVI в. совершенно исчезают ж, сочетания рѣ, лѣ вместо ор, ол, сочетание аа вместо аа; между тем, в Юго-Западной Руси еще и в XVII в. мы встречаем в печатных книгах написания типа Срѣгій (Сергий), прѣвѣый и т.п. Равным образом, в Юго-Западной Руси закрепляется особая традиция произношения иноязычных слов (включая сюда и грецизмы), а именно произношение начального [e] без йота-

ции, которое в результате второго южнославянского влияния может передаваться особой буквой э; произношение взрывного [g], противопоставленного фрикативному [ɣ] в прочих церковнославянских формах, которое передавалось на письме сочетанием кг или особой буквой г̑ (последняя буква встречается с конца XVI в. и называется греческим именем «гамма» в отличие от буквы г, называемой «глаголь»; сочетание кг наблюдается со второй половины XIV в.); особым образом читалась здесь и ѣ, а именно как сочетание [ft], что также, видимо, обусловлено вторым южнославянским влиянием; наряду с этим на Украине существовало и специфически книжное (ученое) произношение фиты в виде спиранта, более или менее приближающееся к греческому произношению теты (Успенский, 1969, с. 250–252; Успенский, 1975, с. 182–183).

Различия церковнославянской традиции в Московской и Юго-Западной Руси, таким образом, в значительной степени обусловлены характером рецепции второго южнославянского влияния. Это различие удобно проиллюстрировать на материале акцентуации специфически книжной лексики — например, церковнославянских форм собственных имен. Рассмотрение собственных имен дает вообще особенно наглядную картину в связи с предельно отчетливым противопоставлением здесь канонических (церковнославянских) и неканонических форм. Действительно, если в именах нарицательных ударение обусловлено обычно этимологическими рефлексам и лишь отчасти позднейшими нормами произношения, то в личных собственных именах, вследствие их специфики, а также ввиду обычного отсутствия здесь непосредственных этимологических связей (как это характерно вообще для заимствованной лексики), ударение определяется главным образом нормой произношения, имеющей более или менее условный характер. Канонические, т.е. церковнославянские, формы собственных имен в Московской и Юго-Западной Руси обнаруживают вообще значительные различия в ударении (см. Успенский, 1969; Успенский, 1969а/1997). Эти различия очень часто обусловлены именно различным отражением второго южнославянского влияния: в целом ряде случаев югозападнорусская форма имени отражает южнославянскую акцентовку, тогда как великорусская форма сохраняет ударение, свойственное древнейшему периоду (т.е. периоду первого южнославянского влияния). Так, например, в XVI–XVII вв. в Московской Руси мы встречаем ударения *Миха́ил, Саму́ил, Ману́ил, Исма́ил, Миса́ил, Нафана́ил, Ио́иль, Иезеки́иль*, а в Юго-Западной Руси *Миха́йл, Саму́йл, Ману́йл, Исма́йл, Миса́йл, Нафана́йл, Ио́иль, Иезеки́иль*; в Московской Руси показаны формы *Пантеле́имон, Трифо́н, Соломо́н*, а в Юго-Западной Руси — *Пантелеи́мон, Трифо́н, Соломо́н*; в Московской

Руси каноническими являются формы *Козма́, Прóхор, Макси́м, Ники́фор, Йо́в*, тогда как в Юго-Западной Руси — формы *Ко́зма, Прохóр, Макси́м, Никифо́р, Йо́в*; в Московской Руси имена *Петр, Флор* и *Лавр* имели в косвенных падежах ударение на флексии (например, в род. падеже: *Петра́, Флора́, Лавра́* и т.п.), а в Юго-Западной Руси — ударение на основе (например, *Пе́тра, Флóра, Ла́вра* и т.п.). Во всех этих случаях великорусская церковнославянская форма соответствует старой норме произношения, предшествующей второму южнославянскому влиянию, тогда как соответствующая югозападнорусская форма появилась в процессе второго южнославянского влияния и совпадает с южнославянской формой (необходимо оговориться, что в Юго-Западной Руси, где не было единой церковнославянской нормы, могут встретиться и формы с ударением, соответствующим великорусскому произношению; мы приводим специфические югозападнорусские акцентные формы). Подчеркнем, что южнославянская форма может расходиться с греческой — так, формы *Ко́зма, Фо́ма, Иоáким*, появляющиеся на Руси в процессе второго южнославянского влияния, не соответствуют по ударению греческим формам тех же имен, но, тем не менее, именно южнославянская, а не греческая форма воспринималась на Руси как правильная.

Существенно отметить, что в Юго-Западной Руси южнославянские по своему происхождению акцентные формы отразились в ряде случаев и в живой разговорной речи, явно пройдя через церковнославянское посредство; это опять-таки указывает на более органический характер второго южнославянского влияния в Юго-Западной Руси — если в Московской Руси акцентные знаки, появляющиеся в церковнославянских памятниках в результате второго южнославянского влияния, были чисто орфографическим явлением (поэтому после реакции на второе южнославянское влияние в великорусских памятниках появляются примерно те же акценты, которые были до него, т.е. орфография приводится в этом отношении в соответствие с орфоэпией; ср. § 10.3), то в Юго-Западной Руси акцентные знаки в каких-то случаях могут иметь фонетический характер. Так, следы южнославянского влияния могут быть обнаружены в таких разговорных формах, как белорус. *Трыпóн*, укр. *Микихóр*, белорус. *Прахóр* и т.д.: подобные формы соответствуют по ударению как южнославянским формам, так и церковнославянским формам Юго-Западной Руси. В других случаях украинские или белорусские формы могут соответствовать южнославянским формам, при том, что мы не находим для них соответствия в церковнославянских формах Юго-Западной Руси XVI—XVII вв. (сюда относится, например, укр. *Хо́ма* ~ *Фо́ма*, белорус. *Тимі́ш* ~ *Тимóх*, *Сви́рид*, ср. южнослав. *Фо́ма, Тимóфей, Спи́ридон*); это указы-

вает на тот глубокий след, который оставило второе южнославянское влияние в Юго-Западной Руси — даже в тех случаях, когда церковнославянская норма не сохранила южнославянских ударений, эти ударения проникли в народную речь (Успенский, 1969).

В одной группе имен мы наблюдаем обратное явление: южнославянское влияние отражается в великорусских формах канонических имен и не отражается в югозападнорусских формах XVI–XVII вв. Речь идет о некоторых именах на *Θεο-*, которые в великорусской традиции имеют ударение на втором слоге от начала (*Θεόфан*, *Θεόφил*, *Θεόгност*), а в югозападнорусской традиции — на последнем слоге (*Θеофѧн*, *Θеофѧл*, *Θеогноѧст*). Ударение на *Θεό-*, так же как и ударение на *-ѧл*, появляющееся со вторым южнославянским влиянием, определяется тем, что соответствующие компоненты (*Θεό-*, *-ѧл*) означают «Бог» (в одном случае по-гречески, в другом — по-еврейски); соответственно, данные формы представляют собой результат искусственного грамматического осмысления иноязычной формы славянскими книжниками. Точно так же в южнославянских текстах, как и в текстах, окрашенных непосредственным южнославянским влиянием, мы встречаем — по той же причине — ударение на сочетаниях *Діо-*, *Іоа-* в именах, начинающихся таким образом, что объясняется аналогичным значением соответствующего элемента (*Діонисіе*, *Іоакимъ* и т.п.). Следует отметить, что исходная греческая форма в этих случаях может отличаться от южнославянской (ср. греч. *Θеоφάνης*, *Διονύσιος*, *Ἰωαχέμ*), т.е. данные формы искусственно образованы славянскими книжниками.

Различие между церковнославянскими редакциями Московской и Юго-Западной Руси не объясняется, однако, исключительно за счет второго южнославянского влияния. Еще до второго южнославянского влияния существовали, как мы уже знаем, региональные варианты церковнославянского языка на Руси, которые, однако, не составляют особых изводов церковнославянского языка, а являются вариантной реализацией одной и той же нормы. Для периода первого южнославянского влияния мы можем выделять специфические признаки, характерные для рукописей того или иного региона и не являющиеся при этом отклонениями от церковнославянской нормы, — таковы, например, написание жч, отражение «нового ъ» или «нового о» в галицко-волинских памятниках и т.д. (§ 7.3; § 7.8.2; § 7.9). Однако соответствующие признаки не являются обязательными в рукописях данного региона, и вместе с тем признаки, характерные для одного региона, не связаны между собой (в том смысле, что наличие одного признака не предполагает с обязательностью наличия другого), т.е. не складывают-

ся в особую местную норму, противопоставленную какой-либо другой норме в пределах русского церковнославянского языка.

Между тем после второго южнославянского влияния оформляются особые нормы Московской и Юго-Западной Руси, и сам факт этого размежевания обусловлен вторым южнославянским влиянием. Таким образом, региональные признаки оказываются связанными между собой в пределах одной местной нормы, и второе южнославянское влияние выступает как катализатор этого процесса. Так, из регионального признака в конституирующий признак югозападнорусского извода церковнославянского языка превращается произношение *ѣ* как [i] и *и* как [y] (в силу чего *и* и *ы* не различаются в чтении), между тем в Московской Руси сохраняется старая традиция чтения *ѣ*, состоящая в различении *ѣ* и *е* по палатализованности предшествующего согласного (§ 7.8), и различение *и* и *ы*. Другим различием московской и югозападнорусской нормы было произношение *еро*: *еры* произносились в виде редуцированных гласных звуков в Московской Руси (§ 7.5.5), но никак не читались в Юго-Западной Руси. Соответственно, одно из отличий великорусских и югозападнорусских букварей состоит в том, что в первых в числе слогов (складов), осваиваемых в процессе обучения чтению, фигурируют, наряду со слогами *ба, ва, еа, ве* и т.п., слоги *бѣ, вѣ, бѣ, вѣ*; между тем в югозападнорусских букварях склады с *ерами* отсутствуют (Успенский, 1970/1997, с. 266). Как видим, древняя орфоэпическая традиция в каких-то случаях представлена в церковнославянской норме Московской Руси (например, различение *ѣ* и *е*), в других же случаях она может сохраняться в традиции Юго-Западной Руси (ср., например, различение йотированного и нейотированного *е* в начале слова — § 7.10.1). О книжном произношении Юго-Западной Руси можно, в частности, судить по изданиям богослужебных книг, в которых церковнославянский текст передается в польской транскрипции (см., например: Огилевич, 1671).

Различие между великорусским и югозападнорусским изводами церковнославянского языка проявлялось и во фразовом ударении. Церковное произношение Московской Руси сохраняет старые акцентологические закономерности, по которым в фонетических словах с энклитомеми (ср. § 7.9) ударение падает на проклитику, т.е. здесь читалось *во вѣки, во имя, на землю, на небеси* и т.п. Между тем в Юго-Западной Руси произносилось *во вѣки, во имя, на зѣмлю, на небеси* и т.п. (Дурново, 1969, с. 41). Это различие в произношении отражается и в простановке акцентов в великорусских и югозападнорусских книгах, как рукописных, так и печатных: в московских книгах показан перенос ударения на предлог

(во *ѡ*ки и т.п.), тогда как в книгах Юго-Западной Руси ударение в предложном сочетании стоит либо на имени (во *ѡ*ки), либо как на имени, так и на предлоге (во *ѡ*ки). Можно полагать, что за обоими написаниями, принятыми в Юго-Западной Руси, скрывается одно и то же произношение, однако в одном случае оно отражается на постановке акцентов, в другом — не отражается (поскольку постановка акцента подчиняется в этом последнем случае условным автоматическим правилам, вообще не ориентированным на произношение). Если в случае обозначения ударения только на предлоге (во *ѡ*ки) или только на знаменательном слове (во *ѡ*ки) акцентуация отмечает ударение на фонетическом слове, то в случае постановки ударения как на предлоге, так и на знаменательном слове акцентуация соответствует разделению слов по грамматическому принципу, отмечая ударение на слове как грамматически значимой единице; постановка ударений в последнем случае полностью обусловлена, по-видимому, графическим разделением слов, обозначенным пробелами, т.е. выступает как производное от графического слогаделения.

Смотрицкий специально предписывает в своей грамматике «безпросодійна полагаема бывати» частицам *бо*, а также местоимениям *ми*, *мя*, *ти*, *тя*, *се*, *зѡ*б и т.п., т.е. предписывает не ставить ударения над такими словами (Смотрицкий, 1619, л. Б/5—5 об.; Смотрицкий, 1648, л. 62 об.). Тем не менее в югозападнорусских книгах можно встретить ударение и над такими словами, равно как и над предлогами (примером может служить киевская Цветная Триодь 1631 г., изданная Тарасием Земкой). Относительно ударения в предложных конструкциях Смотрицкий не дает каких-либо указаний.

Церковнославянская норма Юго-Западной Руси представляет менее унифицированной, чем великорусская норма. Это объясняется наличием одного культурного центра в Московской Руси (культурное значение Новгорода в это время сходит на нет), но нескольких центров — в Юго-Западной Руси. Это обстоятельство приобретает особенно большое значение с началом книгопечатания, которое вообще играет существенную роль в стабилизации церковнославянских языковых норм: в Московской Руси книгопечатание сосредоточено в Москве, где все издания проходят специальное редактирование, в том числе и языковое (книжная справа), а в Юго-Западной Руси книги печатаются в различных культурных центрах (в Киеве, Вильне, Львове, Остроге и др.) и, таким образом, редактирование не носит сколько-нибудь последовательного и унифицированного характера; кроме того, они не обязательно издаются здесь с санкции церковных властей, что обуславливает большое число вариантов. В самом общем виде можно было бы гово-

речь об украинской и белорусской церковнославянских традициях, которые, однако, отчетливо друг другу не противопоставлены.

Таким образом, после второго южнославянского влияния общерусская церковнославянская норма распадается на две, внутри которых также допустимы определенные вариации. Однако специфические локальные признаки, допустимые в пределах той или иной нормы, не образуют системного целого, позволяющего выделять в этих пределах отдельные микронормы. Противопоставляются друг другу два крупных единства — церковнославянский язык Московской Руси и церковнославянский язык Юго-Западной Руси.

Ввиду того, что церковнославянский язык Московской Руси был унифицированным в большей степени, чем это можно сказать о церковнославянском языке Юго-Западной Руси, отношение между двумя изводами не было симметричным. Великорусская норма церковнославянского языка была допустима и в Юго-Западной Руси, но не наоборот. Соответственно, в Юго-Западной Руси могли буквально воспроизводиться московские издания без каких-либо исправлений в языке. Так, *Постная Триодь*, изданная в Вильне (у Мамониной) около 1609 г., в точности повторяет московское издание 1589 г. (печати А. Т. Невежи); точно так же святцы, изданные в Киеве в 1680 г., представляют собой точную перепечатку московских святцев 1648 г. Между тем в Московской Руси подобная перепечатка книг югозападнорусского происхождения — т.е. перепечатка с сохранением особенностей языка оригинала — была невозможна. Так, в Москве в 1641 г. был переиздан острожский *Маргарит* 1595 г.; в 1639 г. в приложении к мирскому *Требнику* было воспроизведено второе издание киевского *Номоканона* 1624 г. — в обоих случаях при переиздании была произведена правка языка.

Такое неравноправие церковнославянских норм Московской и Юго-Западной Руси обусловлено той тенденцией к культурному обособлению, о которой специально говорилось выше (§ 13.1). Московская Русь воспринимает себя как единственную хранительницу православной традиции, что выражается, в частности, в отношении к церковнославянскому языку. Это отношение к традиции Юго-Западной Руси как к иноязычной традиции отчетливо проявляется, между прочим, в прениях игумена Ильи (московского Богоявленского монастыря) и справщика Григория с протопопом Лаврентием Зизанием, видным книжным деятелем Юго-Западной Руси, автором церковнославянской грамматики и словаря. Зизаний в 1627 г. предложил издать в Москве составленный им «*Катехизис*», текст которого вызвал возражения московских книжников. По этому поводу состоялись прения в Московской книжной палате, которые были тогда же запротоколированы (Пре-

ния Лаврентия Зизания...; Заседание в Книжной палате...). В частности, москвичи упрекали Лаврентия Зизания в неправильном употреблении слова *собра* вместо *изведе*, искажающем, по их мнению, смысл в соответствующей фразе. На это Зизаний отвечал: «То де перевотчик погрешил, а не я; я де [т.е. Зизаний] писал: Отец Сына і Духа Святаго *изведе*, а не *собра*. И князь Иван Борисович [И. Б. Черкасский, председательствующий на заседании] спросил Лаврентея: По литовскому де языку как вы говорите *собра*? И Лаврентіи сказал: тож и по литовскому языку *собра*. И потом спросил: А *изведе* как? И Лаврентей сказал: по нашему и *изведе*» (Прения Лаврентия Зизания..., с. 81; ср. Заседание в Книжной палате..., с. 4). Таким образом, оказывается, что «литовский» язык в данном случае вообще ничем не отличается от «русского», при этом очевидно, что формы *собра* и *изведе* относятся к церковнославянскому языку ввиду приставок *из-* и *со-* и аористной формы.

В «Грамматике» начала XVII в. (ГБЛ, ф. 299, № 336, л. 1–22 об.) отмечается различие великорусской и «литовской» редакций церковнославянского языка, причем здесь же критикуется грамматика Лаврентия Зизания 1596 г. (л. 3–3 об., 21–22 об.), ср.: «В' просодіохъ і в' слозѣхъ литов'скія граммотичныя книгѣ словен'скаго ѱзыка тон'костному разуму не согласны. пишет бо в' граммотикахъ тѣхъ сиче, в' *кон'ци* или на *кон'цѣ* строки [вместо в' *концѣ*], і паки в' мѣсто *црѣю* пишет *црѣ*. в' мѣсто *прю* пишет *прѣ*. в' мѣсто *совѣтъю*, і *пол'зѣю*, і в' *торой*, пишет *совѣтъю*, *пол'зѣю*, в' *торой*, і ина многа не согласна словенску ѱзыку. не укоряя жъ Лаврен'тія, ниже себе мѣѣйши того хотя ѱвити, в' сичевыхъ рекохъ здѣ. но да точію истиннѣйшее блгоѣтивымъ ѱвѣ будетъ» (л. 22–22 об.). Таким образом, различие между великорусской и югозападнорусской нормой церковнославянского языка четко осознавалось в Московской Руси.

Противопоставленность двух норм церковнославянского языка — великорусской и югозападнорусской — отчетливо проявилась при перепечатке в Москве в 1648 г. грамматики Мелетия Смотрицкого, первое издание которой вышло в Евье около Вильны в 1619 г. Московские справщики (Иван Наседка и др.) последовательно исправляли первое издание, приводя его в соответствие с великорусской нормой. Таким образом, сопоставление изданий 1619 и 1648 гг. дает полную картину различий между двумя изводами (см. анализ этих различий: Булич, 1893; Горбач, 1964; до нас дошел «ковычный» экземпляр грамматики Смотрицкого, т.е. экземпляр первого издания этой грамматики с пометами московских справщиков — РГАДА, ф. 1251, № 141).

Расхождение между церковнославянскими традициями Московской и Юго-Западной Руси иллюстрирует, между прочим, сле-

дующий эпизод. Осенью 1627 г. московским книжникам игумену Илье (участвовавшему в том же году в прениях с Лаврентием Зизанием) и Ивану Наседке (выступившему впоследствии как редактор московского издания грамматики Смотрицкого) было поручено рассмотреть сочинение югозападнорусского автора — «Учительное евангелие» Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого, изданное в Рохманове в 1619 г. Автор этой книги, Кирилл Транквиллион, рассуждая на тему о воскресении Лазаря, цитирует Евангелие от Иоанна (XI, 14): «Тогда имъ рече Їсъ не обинѣаса, Лазарь оумрѣтъ» (Кирилл Транквиллион, 1619, ч. I, л. 63 об.). Форма оумрѣтъ представляет собой при этом форму аориста, которая нередко встречается (наряду с оумрѣ ~ оумре) в древнейших церковнославянских текстах (ср. оумрѣтъ ~ оумрѣтъ в Остр. св. 1056–1057 гг., л. 17в, 33в, 33г, 66а, 96г, 101г; оумрѣтъ ~ оумрѣтъ в Мстисл. св. начала XII в., л. 9б, 16г, 26а). Существенно, что эта форма сохраняется в югозападнорусской письменности. В частности, она представлена в югозападнорусской редакции евангельского текста, который цитирует Кирилл Транквиллион; ср., например, именно такой текст в Новом Завете с Псалтырью, изданном в Вильне около 1600 г. (л. 144), в Новом Завете с Псалтырью, изданном в Евье в 1611 г. (л. 183–183 об.), во львовском напрестольном Евангелии 1636 г. (л. 345 об.) (в изданиях Ивана Федорова представлена аористная форма оумрѣтъ или оумрѣтъ, не отличающаяся от формы наст. времени, — см. острожский Новый Завет с Псалтырью 1580 г., л. 245 об., или острожскую Библию 1581 г., л. 50 об. евангельской фолиации). Между тем, московским книжникам подобная форма аориста оказывается совершенно неизвестной (в московских печатных евангелиях XVI–XVII вв. в соответствующем месте фигурирует форма оумре); они принимают ее за форму наст. времени, и это дает им основание обвинить Кирилла Транквиллиона в ереси: «В субботу Лазареву во евангеліи превращал Кирил Христовы словеса: гдѣ надобно Лазар[ъ] ѿмре, а Кирил печатал Лазар[ъ] умрет. И по сему его мудрованию, ушто в то время какъ бесѣдовал Христосъ ко ученикомъ, Лазар[ъ] жив былъ? А вселенский благовѣстникъ Богослов Иоанн ушто не истинствовал? Блудивый Кирил свою правду из[ъ]яснил, противяся Богослову, и прочимъ богоноснымъ отцемъ» (ГИМ, Син. V, л. 53–53 об.; ср. Горский и Невоструев, II, 3, № 294, с. 439; Маслов, 1984, с. 176; неточное воспроизведение у Голубцова, 1890, с. 557). Книга Кирилла Транквиллиона в 1627 г. была предана в Москве огню «за слог еретический» (Харлампович, 1914, с. 111–112, 449–450; Маслов, 1984, с. 177; Голубцов, 1890, с. 565); вообще после прений 1627 г. (с Лаврентием Зизанием и Кириллом Транквиллионом-Ставровецким) последовали грамоты патриарха об изъятии из церквей книг литовской печати и запрет на их покупку и привоз (Харлампович, 1914, с. 111–112; АМГ, I, с. 224–225, № 201). Как видим, размежевание культурно-языковых традиций Московской и Юго-Западной Руси может приводить к трагическим недоразумениям.

В 1689 г. киевский митрополит Варлаам Ясинский спрашивает московского патриарха Иоакима, которому он теперь подчиняется (после перехода киевской митрополии в юрисдикцию московского патриарха в 1685 г.), как печатать Псалтырь: «Усумневаемся, како зде в Малой России печатати, по коему зводу? Ибо аще по Московску, то не обыкоша сии людие тако читати и не имут куповати, разве аще бы особый на то был монарший указ и патриарший всенародный; аще ли по Киевскому зводу, то мощно ли прилагати яко за повелением или изволением православных монархов и за благословением святейшества вашего [т.е. можно ли поставить благословение патриарха]; разве: “при державе государской и при патриаршестве вашей святыни”, умолчавше изволение и благословение» (Архив Ю.-З. Руси, I, 5, с. 287, № 80). Варлаам Ясинский имеет в виду различия московской и киевской редакций церковнославянского языка — знаменательно, что этим различиям придается такое значение. О борьбе с югозападнорусским изводом церковнославянского языка в XVIII в. будет сказано ниже (§ 16.5).

§ 14. Языковая ситуация Московской Руси

§ 14.1. Сохранение церковнославянско-русской диглоссии. Итак, второе южнославянское влияние определяет перестройку отношений между церковнославянским и русским языком и в принципе способствует переходу церковнославянско-русской диглоссии в церковнославянско-русское двуязычие. Однако эта возможность по-разному осуществляется в Московской и в Юго-Западной Руси, политическое и культурное размежевание которых приблизительно совпадает со временем второго южнославянского влияния.

В Московской Руси по-прежнему имеет место ситуация церковнославянско-русской диглоссии, что проявляется в распределении функций двух языков. Характерно, что Зиновий Отенский видел основную ошибку Максима Грека именно в том, что тот, будучи иностранцем и не ориентируясь в русской языковой ситуации, не проводил различия между книжным и простым языком: «мняше бо Максимъ по книжнѣй рѣчи у насъ и обща рѣчь»; в этой связи он протестует против тех, кто уподобляет и низводит «книжные рѣчи отъ общихъ народныхъ рѣчей» (Зиновий Отенский, 1863, с. 967, ср. еще с. 964–965). В другом своем сочинении Зиновий писал о современных ему еретиках, что те «безсловеснейши свиней суть», поскольку не могут прочесть не только книжный текст, но и народную грамоту: «не токмо грамотических не ведяху словес, неже и поборников мужей философов, но ниже народных грамот ведут или умеют прочитати» (Корецкий, 1965, с. 175–176). Итак, церковнославянский, т.е. литературный, язык четко противопоставляется народным грамотам, подобно тому как «книжные речи» противопоставляются «народным речам». Отметим еще противопоставление книжного церковнославянского языка и «простой речи», которой владеют «от дѣтства своего», в упоминавшемся выше (§ 10.5) «Простословии» старца Евдокима (Ягич, 1896, с. 635).

Различие между книжной и некнижной речью было совершенно очевидно для иностранных наблюдателей — гораздо в большей степени, чем для самих русских, которые в условиях диглоссии склонны были отождествлять церковнославянский и русский языки, воспринимая их как правильную и неправильную разновидность одного и того же языка. Так, Матвей Меховский, польский историк XVI в., писал в своем «Трактате о двух Сарматиях», что «в русских церквах при богослужении читают и поют на сербском, то есть славянском языке», отмечая вместе с тем, что в русских землях говорят «по-русски или по-славянски», что «речь там повсюду русская или славянская» (Матвей Меховский, 1936, с. 98,

109, 112, 116, 175, 185–186, 188–189, 192; ср. Толстой, 1976, с. 189–190). Название «славянский» выступает при этом как родовое понятие, объединяющее разные славянские языки; таким образом, Матвей Меховский констатирует различие между церковнославянским языком, принятым в русской церкви (он называет его «сербским»), и русским разговорным языком (который он называет «русским»). Точно так же и Юрий Крижанич, описывая русскую языковую ситуацию (в 1661 г.), различает «Рускиѣ [језік] ѿбщиѣ, и подлинниѣ: коим на вѣликоѣ Рѹси говорѣют» и «Кнѣжнѣиѣ, или Прѣвѣдническиѣ [језік]: кѣѣ тако же јест мѣшанина изъ Грѣческогѣ да Рѹскогѣ дрѣвнѣего» (Крижанич, 1891, с. 28). Таким образом, противопоставляется собственно русский (разговорный) язык и книжный (церковнославянский) язык; Крижанич полагает, что русский язык является основой славянских языков, и видит в церковнославянском языке ненужное напластование на этот язык. Между тем иерусалимский патриарх Досифей в письме в Москву (до 1671 г.) говорит, что Спафарий знает славянский (т.е. церковнославянский) язык и «русский может скоро выучить» (Голубев, 1971, с. 296). То же различие констатирует позднее и Лудольф в своей грамматике 1696 г., где церковнославянский и русский языки описываются как два разных языка. Лудольф здесь же отмечает, что церковнославянским языком не пользуются в обиходных ситуациях, т.е. этот язык не является средством разговорного общения: «...Точно так же как никто из русских не может писать или рассуждать по ученым вопросам, не пользуясь славянским языком, так и наоборот, — в домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка... Так у них и говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски» (Лудольф, 1696, предисл., л. 2); по существу это достаточно точное описание ситуации диглоссии. Важно отметить, что замечание Лудольфа о русской языковой ситуации приводится не как собственное наблюдение, а со ссылкой на мнение самих русских («так у них и говорится...»). Различие между церковнославянским и русским языком достаточно четко осознавал и И.-Г. Спарвенфельд, шведский филолог, посетивший Россию в 1684–1687 гг. и составивший позднее большой церковнославянско-латинский словарь; Спарвенфельду, между прочим, была известна грамматика Лудольфа (Биргегорд, 1985, с. 95). При этом Спарвенфельд отличает «язык славянский чистый или ветхий [т.е. ветхий]» от «славено-российских-московских словесъ немало глаголимых по вседнѣвному обычаю в' синклитѣ дворском царей и великихъ князей московских и во всехъ тѣхъ странахъ и удѣлехъ к' посполитому и пос' солскому дѣлѣ удобных и уживаемых» (там же,

с. 78), т.е. различает церковнославянский и приказной язык, противопоставляя их и по функционированию.

§ 14.2. Активное употребление церковнославянского языка: ориентация на грамматику. Итак, в Московской Руси сохраняется диглоссия, но церковнославянский язык осознается теперь как вполне самостоятельная система (§ 10). Это может отражаться на характере активного пользования церковнославянским языком. Ранее пишущий на церковнославянском языке в большой степени мог исходить из коррелянтных форм живой речи, производя необходимую поэлементную перекодировку. Теперь, с появлением грамматических описаний, он может основываться на имманентных грамматических правилах, более или менее независимых от естественных речевых навыков. Итак, активное употребление в принципе предполагает теперь ориентацию на грамматику, на грамматические правила. Естественно, наряду с этой новой установкой может иметь место и старая практика перекодировки, которая теперь, однако, осознается как неискusstное владение книжным языком.

Традиция активного употребления церковнославянского языка, ориентированного на грамматику, идет в Московской Руси от Максима Грека. Не случайно, когда в 1648 г. в Москве переиздается грамматика Мелетия Смотрицкого, в нее включаются грамматические сочинения Максима Грека; имя Смотрицкого здесь вообще не называется, но фигурирует имя Максима Грека, поэтому авторство данной грамматики может приписываться Максиму. Максим, как мы видели, переводил церковнославянские тексты с греческого заново и основывался при этом именно на грамматике, соотнося греческие и церковнославянские парадигмы (§ 8.7.4). Это приводило к отказу от тех специфически книжных средств выражения, которые по преимуществу принадлежали пассивной памяти носителей языка и могли употребляться как стилистическое украшение. Именно поэтому его ученик Нил Курлятев в предисловии к переведенной Максимом в 1552 г. Псалтыри утверждает, что Максим перевел Псалтырь «по нашему языку прямо з' греческаго языка и без украшеніа» (Ковтун, 1975, с. 97–98). Обратившись к этому переводу, мы находим здесь местоименные формы *ихъ* вместо *я* (Пс. II, 9), *всѣхъ* вместо *вся* (Пс. III, 8; V, 6; XVII, 40); равным образом, Максим устраняет здесь формы дв. числа (ср. *подъ ноги мои* вместо *подъ ногама моима* — Пс. XVII, 39; *рукъ моихъ* вместо *руку мою* — Пс. XVII, 21), а также архаические формы местоимений (ср. *поработаша мнѣ* вместо *поработаша ми* — Пс. XVII, 44) (Порфирьев и др., I, с. 13–15). Таким же образом может быть

истолкована и контаминация аористной и перфектной парадигмы, о которой мы говорили выше (§ 8.7.4), т.е. замена аористных форм на перфектные.

Переводческая деятельность Максима Грека носила экспериментальный характер, и он мог предлагать разные варианты перевода одного и того же текста, различающиеся своими стилистическими параметрами. В одном из своих сочинений Максим Грек учит, как поступать с «пришельцами философами», т.е. с людьми, подобными ему самому, приглашаемыми на Русь для книжного дела, и предлагает для испытания их два параллельных перевода с греческого языка, отчетливо различающиеся по степени книжности:

Инока Максима Грека о томъ,
како подобаетъ входить во святыя
Божія храмы

Егда же въ божественный сей
храмъ ходиши, о иже рачитель бла-
говѣрю неблазненому еси! въ са-
мѣхъ Вышняго мни дворехъ пречи-
стыхъ ходити, ангельска пѣснь не-
престанна въ нихъ же; блюди убо,
како входиши. Аще убо отнюдь отъ
лжи и зависти и злопамятныя мыс-
ли и беззаконныхъ похотей душа
твоя чистотуетъ, божественнымъ
освятися страхомъ же и любовію и
смирненными одежами и христіа-
нолѣпными украшаешися, гнуша-
яся отъ души всякое поганское
одѣяніе.

Аще сице входиши тшишися,
блаженъ еси ты и живой и пришедъ
къ иже послѣди жизни.

Другіи преводъ тѣхъ же срокъ
по собранію рѣчей

Егда же входишь въ божествен-
ный сей храмъ, о иже еси рачитель
божественному и неблазненому
благовѣрю! мни въ самѣхъ ходити
Вышняго пречистыхъ дворехъ, въ
нихъ же непрестанна есть ангельс-
ка пѣснь. Блюди убо, како входишь,
сирѣчь аще отнюдь душа твоя чист-
отуетъ отъ лжи, зависти же и мыс-
ли злопамятныя и беззаконныхъ
блудныхъ похотей, божественнымъ
же страхомъ освятися и любовію и
смирнеными одежами и христіа-
нолѣпными украшаешися гнушаяся
отъ души всякое поганское одѣяніе.

Аще сице входиши тшишися, ты
еси блаженъ и живой и пришедъ
къ яже послѣди жизни.

(Максим Грек, III, с. 286–289).

В основе этих двух переводов лежит не дошедший до нас греческий текст, написанный героическим и элегическим стихом («ирийскою и элегийскою мерою»): левая колонка соответствует героическому, а правая элегическому стиху. Основное и, может быть, даже единственное различие между двумя переводами заключается в порядке слов, другие отличия незначительны и имеют, по-видимому, вторичный характер. Специфически книжный гречизированный порядок слов в переводе героического стиха противопоставляется нормальному для славянских языков словорасположению в переводе элегического стиха. Максим Грек основывает

ся в данном случае на древней риторической традиции переработки одного вида стиха в другой, при которой изменение метра связано с изменением порядка слов. Так, Дионисий Галакарнаский приводит стихи Гомера (написанные героическим стихом — гекзаметром) и переделывает их в песенный стих (тетраметры), не меняя слов, но меняя их расположение (Античные риторика, с. 172). По-видимому, это обычный учебный прием в греческих риториках, который приспосаблиется Максимом к церковнославянскому материалу. Поскольку в церковнославянской традиции нет стихотворных размеров, эта переработка касается исключительно порядка слов. Таким образом, демонстрируется возможность вариантного порядка слов — более книжного и менее книжного, — причем разные варианты осмысляются в стилистических категориях (сами стилистические категории заимствуются из греческой риторики). Коль скоро «элегический» текст оказывается менее книжным, здесь могут спорадически появляться вторичные языковые признаки, связанные с тем же противопоставлением (ср. *ходиши* — *входишь* и т.п.).

Как видим, Максим Грек принципиально допускает вариативность в употреблении церковнославянского языка, причем он сам склоняется, по-видимому, в своей переводческой практике к отказу от специфически книжных средств выражения: преследуя задачи адекватной передачи переводимого содержания и максимальной ясности текста, он может отвлекаться от собственно стилистических задач и, говоря словами Нила Курлятева, переводит «без украшения». Такая практика может вызывать отрицательную реакцию. Зиновий Отенский, последователь Максима, указывал, как уже упоминалось, что Максим не соблюдал дистанции между книжной и некнижной речью («мняше бо Максимъ по книжнѣй рѣчи унасъ и обща рѣчь»), объясняя это тем, что Максим как иностранец не познал «опаснѣ языка русскаго» (Зиновий Отенский, 1863, с. 967). По существу, Зиновий обвиняет Максима не в незнании языка как такового, а в том, что Максим не отдавал себе отчета в специфике русской языковой ситуации, предполагающей дифференцированное употребление «книжных» и «народных речей».

На примере Максима Грека ясно видно, что ориентация на грамматику не устраняет вариативности в книжном языке. Более того, она может ее усугублять, поскольку грамматики могут предписывать новые нормы, создающие дополнительный выбор средств выражения. Следует иметь в виду, что доступные русскому книжнику грамматические описания, появившиеся после второго южнославянского влияния, носят фрагментарный характер; они, как правило, не содержат исчерпывающего описания церковнославян-

ского языка (по крайней мере, до грамматики Смотрицкого), приводимый в них материал в большинстве случаев фигурирует в качестве иллюстрации, демонстрирующей различные возможности правильного или же неправильного употребления. В этом виде они, понятно, не могут обеспечить унификации языковой практики. К тому же ориентация на грамматику вообще не представляет собой повсеместного явления, так что тексты, написанные исходя из новой «грамматической» установки, соседствуют с текстами традиционного типа.

При пассивном восприятии церковнославянского языка варианты могут вообще не осознаваться, т.е. вариантные формы не противопоставляются друг другу. При активном употреблении вариантные средства выражения ставят перед пишущим задачу выбора, и этот выбор может иметь вполне осознанный характер. Сопоставление вариантных форм актуализирует их стилистическую значимость. Таким образом, свойственная церковнославянским текстам вариативность начинает осмысляться в стилистических категориях: если какие-то варианты связываются с основным противопоставлением книжного и некнижного языков, то другие варианты оказываются стилистически маркированными в рамках книжного (церковнославянского) языка.

§ 14.3. Развитие стилистических оппозиций в рамках книжного языка. Как мы видели, в результате второго южнославянского влияния оппозиция книжного и некнижного языка распространяется и на лексический уровень, т.е. образуются противопоставления книжных и некнижных лексем. Эти противопоставления могут реализоваться по-разному: в одних случаях специфически книжная лексема противопоставляется нейтральной, тогда как в других нейтральной лексеме противопоставляется специфически некнижная лексема (иными словами, могут выделяться маркированные книжные и маркированные некнижные лексемы). Лексические оппозиции включаются, таким образом, в ту систему противопоставлений, которая представлена на грамматическом и фонетическом уровне (в случае соотносительных признаков, § 8.11).

Соответственно, отталкивание от живого языка может приводить в этих условиях как к отказу от специфических некнижных форм (поскольку они отсутствуют в церковнославянском языке, т.е. в принципе нехарактерны для церковнославянских текстов), так и к отказу от нейтральных форм (поскольку они представлены в русском языке). В последнем случае формы, возможные как в живом, так и в книжном языке, могут осмысляться как некнижные, иначе говоря, одна и та же форма может относиться — в зави-

симости от перспективы рассмотрения — либо к церковнославянскому языковому полюсу (ввиду ее употребляемости в церковнославянском языке), либо к русскому языковому полюсу (ввиду ее употребляемости в русском языке). Так, мы видели, что в качестве некнижных могут восприниматься такие лексемы, как *жду*, *смерть*, *умерший*, поскольку они противопоставляются специфически книжным лексемам *чаю*, *успение*, *усопший* (§ 10.2). Совершенно так же строятся отношения между словами *правда* и *истина*, *жизнь* и *житие*: *правда* и *жизнь* могут восприниматься как русизмы, несмотря на то что они в равной мере принадлежат и церковнославянскому языку, входя в нейтральный лексический фонд, обший для русского и церковнославянского языка.

Лудольф, приводя в своей грамматике 1696 г. примеры лексических различий между церковнославянским и русским языком, противопоставляет церковнослав. *истина* и рус. *правда* (Лудольф, 1696, с. 5), и это объясняется тем, что первая лексема является специфически книжной, вторая же — нейтральной: будучи нейтральной, она воспринимается как некнижная. Вполне вероятно, что Лудольф основывается в своей трактовке на мнении своих русских информантов.

Это создает возможность для развития стилистических оппозиций в рамках книжного, церковнославянского языка; в результате формируются стилистические разновидности книжного языка, так что если ранее вариации по соотносительным признакам характеризовали индивидуальные тексты, то теперь они становятся чертой стиля. Специфически книжные элементы функционируют теперь не как изолированные сигналы книжности, а объединяются в единую систему специфически книжных средств выражения, присущих высокому книжному стилю. Можно думать, что объединение разнообразных специфически книжных элементов в одну стилистическую систему было стимулировано именно переосмыслением лексических оппозиций, поскольку с включением лексики в систему оппозиций специфически книжных и неспецифически книжных элементов это противопоставление может осмысляться как глобальное.

Развитие стилистических оппозиций в книжном языке может приводить к сознательному и последовательному «окнижнению» церковнославянского текста, когда из него не только изгоняются окказиональные специфические русизмы, но вместе с тем и нейтральные элементы заменяются специфически книжными. Одним из выражений этого процесса является стилистическая правка в ходе редактирования отдельных текстов. Именно это имеет место в Степенной книге (официальном царском летописце), составлен-

ной в 1560-х гг., куда включается ряд текстов из предшествующих источников, которые подвергаются при этом целенаправленной лингвистической обработке. Так, при заимствовании из Никоновской летописи рассказа о новгородских событиях 1471 г. (восстание Марфы Посадницы) язык этой летописи в ряде отношений подвергается правке. С одной стороны, устраняются формальные русизмы, представленные в исходном тексте в административных терминах и названиях местных реалий (*король* заменяется на *краль*, *тысяцкие* на *тысяцские*, *Новгород* на *Новъ градъ*). С другой стороны, специфически некнижная лексика заменяется на нейтральную (например, *мужыкъ* на *человѣкъ*, *чинити* на *содѣвати*, *наймиты* на *наемьници*), а нейтральная на специфически книжную (например, *отъчина* на *отъчство* или на *держава*, *зватися* на *именоватися*, *который* на *иже*, *нѣкоторые* на *нѣции*), ср., например, такой отрывок:

Никоновская летопись

Тѣмъ же измѣнници начаша наймовати худыхъ мужыковъ вѣчниковъ, иже на то завсе готови суть по ихъ обычаю, и, приходяще на вѣче ихъ, звоняху завсе въ колоколы и, кричаще, глаголаху: «за короля хотимъ»; инѣи же глаголаху имъ: «за великого князя хотимъ Московскаго по старинѣ, какъ было прежде сего».

(ПСРЛ, XII, с. 126)

Степенная книга

Враждотворнѣи же измѣнници наймствоваху худѣишихъ челоуѣкъ, иже суть готови на всякое неистовство; и ти, приходяще на вече и не престающе, въ колоколы звоняху и кричаще, глаголаху: «Краля хоцемъ, да владѣть нами!» Инѣи же: «Великаго князя Московскаго, его же хоцемъ, есмы держава отъ древнихъ лѣтъ и до нынѣ».

(ПСРЛ, XXI, с. 530–531)

Такой же правке подвергается при включении в Степенную книгу и Устав Владимира. При сопоставлении с текстом Устава по списку XIV в. (ГИМ, Син. 132, л. 628–630; ср. Шапов, 1976, с. 22–24) выявляется целый ряд исправлений формального характера; так, *ропусты* заменяется на *распусты*, *роздавить* на *раздавить*, *суди* на *судове*, *пошибанье* на *пошибание*, *сватѣство* на *сватовство*, *вѣдѣство* на *вѣдовство*, *дчи* на *дщи*. Наряду с этим, как и в предшествующем фрагменте, подвергается правке и лексика, причем здесь также специфически некнижное заменяется на нейтральное (ср. *промежи* — *межу*, *въ племени* — *во сродствѣ*, *поимуться* — *бракъ*, *блядня* — *блудничество*, *зядьница* — *имѣние*, *потка* — *птица*, *дѣвка* — *дѣвица*, *подѣть* — *содѣть*, ср. еще замену *живот* «имение» на *сожитство* в результате неправильного понимания текста), а нейтральное — на специфически книжное (ср. *татѣба* — *украденіе*).

Во всех этих случаях мы видим сознательное окнижнение текста, проводящееся на разных языковых уровнях и призванное сообщить тексту отчетливо выраженный книжный статус.

Подобная редактура, обусловленная задачей окнижнения текста, в каких-то моментах может приближаться к переводу с русского языка на церковнославянский, который, вообще говоря, как мы знаем, невозможен при диглоссии, ср. прямую речь восставших новгородцев в Никоновской летописи и в Степенной книге:

Никоновская летопись

Не хотимъ за великого князя Московского, ни зватися отчиною его: волные есмы люди Великий Новгородъ, а Московской князь великий многи обиды и неправду надъ нами чинить; но хотимъ за короля Полского и великого князя Литовскаго Казимира.

(ПСРЛ, XII, с. 126)

Степенная книга

Не хошемъ быти владомы великимъ княземъ Московскимъ, ни именоватися отчествомъ его, понеже велики обиды и неправды содѣваетъ намъ. Мы есмы вольнии людие — Великий Новъ градъ! Хошемъ быти владомы кралемъ Казимеромъ Польскимъ!

(ПСРЛ, XXI, с. 530)

Следует, однако, иметь в виду, что в данном случае имеет место не перевод как таковой, а редакционная обработка текста, выравнивание его по одним стилистическим параметрам. Перерабатываемый текст безусловно не воспринимается как текст на русском языке (даже в отдельных своих фрагментах), вкрапленные в него русские фразы трактуются так же, как трактуются отдельные не книжные словоформы, т.е. как проявления вариативности в рамках книжного текста — вариативности, которая и подвергается устранению в процессе редактирования. Действительно, о переводе речь могла бы идти только в том случае, если бы имело место сознательное и последовательное соотнесение двух языков, противопоставленных как самостоятельные системы.

Задача такой стилистической обработки обусловлена тем, что со вторым южнославянским влиянием выделяются два типа книжного языка: риторически украшенный и грамматически нормированный книжный язык и обычный книжный язык, не выдерживающий последовательно стилистических и грамматических норм. Отталкивание от разговорного языка как общий принцип построения новой книжной традиции распространяется и на сферу книжного языка: тому, что в книжном языке совпадает с разговорным, противопоставляются специфически книжные элементы. Эти специфически книжные элементы и образуют основу риторически украшенного и грамматически нормированного «высокого» книжного языка. Сюда включаются как чисто риторические элементы, так и элементы лексические и грамматические. В плане риторическом этот язык отли-

чает «плетение словес» как особая стилистическая модель, противопоставляющая риторически украшенную и риторически неукрашенную речь; в результате второго южнославянского влияния риторические ухищрения перестают быть характеристиками отдельных текстов и становятся нормативным явлением. В плане лексическом для этого языка характерна тенденция использовать специфически книжную лексику там, где есть выбор между нейтральными и специфически книжными средствами выражения (ср. оппозиции типа *успение* — *смерть*, *житие* — *жизнь* и т.п., о которых было сказано выше). Такая же тенденция характеризует, наконец, и грамматический уровень, где в случае соотносительных признаков избирается специфически книжный, а не нейтральный элемент.

Так, в сочинении «Наказание ко учителем», помещенном в качестве предисловия к учебной Псалтыри 1645 г., сообщается: «А по просторѣчию молвится вмѣсто, *и, его*»; здесь же указывается, что в вин. падеже мн. числа вместо *ихъ* следует говорить *я*: «принеси *я* вмѣсто *ихъ* речется» (Буслаев, 1861, стлб. 1086). Следует подчеркнуть, что формы *его* и *ихъ*, вообще говоря, не противоречат норме церковнославянского языка и регулярно встречаются в церковнославянских текстах: формы *его* и *и* даются в грамматике Смотрицкого как варианты (Смотрицкий, 1648, л. 178; ср. Смотрицкий, 1619, л. М/7 об.); форма *ихъ* у Смотрицкого отсутствует, однако она широко представлена в канонических церковнославянских текстах московской печати, отредактированных московскими справщиками. И в других грамматических сочинениях XVI–XVII вв. формы *и* и *его*, *я* и *ихъ* рассматриваются как варианты (Ягич, 1896, с. 479, 640, 723). Таким образом, «просторечие» оказывается противопоставленным высокому стилю речи.

То обстоятельство, что «просторечие» выделяется в рамках книжного языка, весьма показательно. Оно свидетельствует о развитии стилистических оппозиций в книжном языке: просторечие противопоставляется красноречию, а не вообще церковнославянскому языку. Соответственно, Зиновий Отенский предваряет свой богословский трактат («Истины показание...») следующим заявлением: «...Иже аще волишь кто коея ради потребы преписати что от книжиць сихъ: молю не премѣняти простыхъ рѣчей на краснѣйшая пословицы и точки и запятыя... молю тя преписовати тако, якоже лежать рѣчи и точки и запятыя, да будутъ не внѣ истины книжицы сія» (Зиновий Отенский, 1863, с. XI–XII). При этом, как мы видели, тот же Зиновий считал необходимым различать «книжную речь» и «общую речь» (там же, с. 967). Очевидно, таким образом, что, говоря о «простых речах», он имеет в виду книжный, церковнославянский язык.

То же, по-видимому, имеет в виду и протопоп Аввакум, когда говорит в предисловии к своему житию: «Не позазрите просторѣчю нашему, понеже люблю свой русской природной языкъ, виршами философскими не обыкъ рѣчи красить, понеже не словесъ красныхъ Богъ слушаетъ, но дѣлъ нашихъ хошетъ» (РИБ, XXXIX, стлб. 151). О том, что вообще понимает Аввакум под «русским природным языком», можно судить по уже упоминавшемуся (§ 13.3) обращению его к царю Алексею Михайловичу: «...рцы по рускому языку: Господи, помилуй мя грѣшнаго!.. Говори своимъ природнымъ языкомъ; не уничай ево и в церкви, и в дому, и в пословицахъ... Любить насъ Богъ не меньше грековъ; предать намъ и грамоту нашимъ языкомъ Кириломъ святымъ и братомъ его» (там же, стлб. 475). Для нас важно в данном случае, что Аввакум цитирует церковнославянскую молитву и ссылается на Кирилла и Мефодия — ясно, что «природный русский язык» не противопоставляется у него церковнославянскому языку. Он может противопоставляться, однако, риторически украшенному стилю церковнославянского языка, развитие которого Аввакум связывает с внешним (греческим) воздействием, осуществляющимся через югозападнорусское посредство (§ 16.2) — на югозападнорусский контекст указывает полонизм *вирши* в приведенной цитате Аввакума.

Не менее показательно в этом смысле предисловие к книге «Статир» 1683–1684 гг. (ГБЛ, ф. 256, № 411; ср. Востоков, 1842, с. 629–633), представляющей собой сборник поучений, написанных неизвестным священником городка Орел (Орлов) Пермской епархии. Автор сообщает здесь, что когда ему приходилось читать в церкви книги проповедей Симеона Полоцкого, «тая простѣйшимъ людемъ за высоту словесъ тяжка бысть слышати, и грубымъ разумомъ не внимательна». Столь же «зѣло неразумително, не точію слышашимъ, но и чтущимъ» оказались беседы и поучения Иоанна Златоуста: «велми бо препросты страны сея жители в' ней же ми обитати, — поясняет автор, — не точію от мирян' но і от бѣсѣнникъ, иностраннымъ языкомъ, тая Златоустаго писанія нарицаху». «По таковой винѣ, — заключает автор «Статира», — азъ грубый начахъ простѣйшія бесѣды издавати, ово устно, овоже написаніемъ...» (предисл., л. 5–5 об.). При этом «Статир» определенно написан на книжном, церковнославянском языке и не обнаруживает каких-либо сознательных от него отступлений. Очевидно, что речь здесь идет не о некнижном языке, а о книжном языке без специальных риторических ухищрений (более подробный комментарий к этому тексту см.: Успенский, 1994, с. 196–199).

Выделение «простого» церковнославянского языка получает теоретическое обоснование в сочинениях русских книжников. Так,

в XVI в. появляется грамматическое сочинение «Простословие, некнижное учение грамоте», которое приписывается старцу Евдокиму (Ягич, 1896, с. 629–661). Это сочинение упоминается наряду с грамматикой Мелетия Смотрицкого, «Буковницей» Герасима Ворбозомского и львовской грамматикой «еллинославенского» языка 1591 г. в качестве основного пособия по церковнославянскому языку (Петровский, 1888, с. IV). «Простословие» здесь отнюдь не обозначает некнижного языка, а слова о «некнижном учении» отсылают к риторически неукрашенному церковнославянскому языку, допускающему свободную вариацию специфически книжных и нейтральных средств выражения, ср. в этом трактате о допустимой вариации местоимений вин. падежа: «Идѣже глѣтся мужско имя “въспомяни его”, и тож глѣють “возспомяни и”. А идѣже глѣтся жен’ско имя “въспомяни ея”, и тож глѣтся “въспомяни ю”. А идеж глѣтся посреднее имя, не мужьско, ни женско, яко же нбо, слнце, море, “въспомяни его”, и тож глѣють “въспомяни е”. А идѣже глѣтся множественному имени “въспомяни их”, и тож глѣють “въспомяни я”» (Ягич, 1896, с. 640, ср. с. 723). Под «простотой» автор данного сочинения имеет в виду элементарные сведения о книжном церковнославянском языке, которые являются необходимым условием для овладения высоким церковнославянским языком, т.е. языком риторически и грамматически изощренным — «для искуснѣшаго умения книжнаго» (там же, с. 630). Так, он пишет: «Слышах невѣжду глѣуща, рече: что ми учити бук’ва: треба ми учити книги. Не ступя первыя стопы, вторыя не ступити; невозможно, первыя стопы не положив’ше, вторыя положить. Також не лѣтъ не умѣа начала учения, и в конец извѣстну быти гораздымъ. Кто сначала не учится изрядно, сей много мятется. Мнози спѣшат учити книги, отлагають различны учения буквы и всяку простоту, хотяще скоро мудрѣ иных быти, и того ради не получают искуснаго учения» (там же, с. 633–634).

Естественно, что в условиях диглоссии стилистическая дифференциация возможна только внутри литературного (книжного) языка; соответственно, отнесение термина «просторечие» («простословие») к одному из стилей церковнославянского языка показывает, что лишь церковнославянский язык мыслится как литературный.

Таким образом, внутри книжного языка формируются две разновидности. Соблюдение элементарных грамматических правил, противопоставляющих книжный язык некнижному, определяет характер «простого» книжного языка — «простота» означает здесь не некнижность, а отсутствие дополнительных стилистических усложнений, характерных для высокого книжного языка. Этому последнему свойственно сознательное отталкивание от нейтраль-

ных средств выражения, общих для книжного и некнижного языка; так в рамках церковнославянского языка происходит стилистическая дифференциация специфически книжных и неспецифически книжных средств выражения. «Простой» книжный язык выступает вместе с тем как необходимый минимум, обеспечивающий правильное владение церковнославянским языком. Противопоставление «простого» книжного языка и языка некнижного определяется в терминах правильного и неправильного, противопоставление «простого» и высокого книжного языка — в терминах искусного и неискусного, изысканного и элементарного.

Необходимо отметить, что высокий книжный язык отличается от «простого» книжного языка большей нормированностью, поскольку он стремится исключить вариации специфически книжных и нейтральных элементов. Между тем для «простого» книжного языка характерна вариативность, поскольку здесь допустимы как специфически книжные, так и нейтральные элементы. Если высокий язык стремится избавиться от всех точек соприкосновения с разговорным языком, то «простой» книжный язык отличается от разговорного лишь по ограниченному числу признаков. Вне этих признаков он оказывается подвержен влиянию живого языка. Соответственно, в рамках «простого» книжного языка осуществляется консолидация книжных и некнижных средств выражения, т.е. создаются возможности для включения в сферу книжности определенных элементов живого языка.

§ 14.4. Изменение отношения к не книжному языку.

В период диглоссии основным для языкового сознания является противопоставление книжного и некнижного языка. Выделение высокого языка в рамках языка книжного имеет вторичный характер. Высокий язык оказывается маркированным по отношению к «простому» книжному языку, и это актуализирует значимость специфически книжных языковых средств. Одновременно может актуализироваться и значимость специфически некнижных языковых средств. Поскольку высокий книжный язык отталкивается от разговорного, разговорный язык попадает в сферу языкового сознания: он оказывается негативно значимым (к дальнейшему см. подробнее: Успенский, 1989/1996).

Исключительно знаменательны в свете сказанного указания древнерусских книжников относительно написания сакральных слов под титлом (ср. § 11.4.2). Так, в одном грамматическом сборнике первой четверти XVII в. говорится, что титло пишется «над **б**ыми аггелы і архагглы» и т.п., но предписывается писать складом «лже пророки і апосталы, і оучители священъники, отца лжи...» (ГБЛ,

ф. 299, № 336, л. 15 об.—16). И в другом случае тот же писец противопоставляет написание под титулом *аѡкоѡ*, уместное и необходимое в том случае, когда речь идет об истинных апостолах, и написание складом *апосталы ложнаѡ* (л. 92 об.). Мы видим, что, говоря о лжеапостолах, писец пишет слово «апостол» с отражением аканья (*апосталы*), и это, конечно, не случайная описка в этой исключительно грамотно написанной рукописи: наряду с противопоставлением написания под титулом и написания складом, здесь противопоставляется церковнославянское «окающее» и русское акающее произношение, причем специфическое русское произношение соотносится с дьяволом как «отцом лжи». Здесь же противопоставляются формы прилагательных, производные от слова *бог*, — в том случае, когда речь идет об истинном Боге, употребляется прилагательное *бѣжѣное*, которое необходимо писать под титулом, в противном же случае употребляется прилагательное *воскоѡ*, которое необходимо писать складом (л. 92 об.).

Аналогичным образом в сочинении «Сила существу книжного писма» (XVI в.) читаем: «Аггль стыхъ и стыхъ апль і сщенных архіепкль покрыто пиши, сирѣчь под в'зметомъ, понеже что покрыто пишется, то сто. Ангелов' же сопротивниковъ і апостоловъ не богодохновенных і архіепископовъ не священных отнюдъ не покрывай, но складомъ пиши, понеже вражебно бжтву и чело-въческому естеству». Ср. еще здесь же: «Бл҃гаго уч҃тля Хр҃та Б҃га і его стыхъ уч҃нкъ... покрыто пиши, ѿкожъ подобаетъ. Посредних же учи-телеи і внѣшнихъ вѣдущихъ искусь нѣкоихъ художествъ і ихъ учени-ковъ... отнюдъ не покрывай, но складомъ пиши внѣшнее» (Ягич, 1896, с. 419–420, 426–427). Итак, четко противопоставляются фор-мы: святыхъ *ангел*, но злыхъ *ангелов*, святыхъ *апостол*, но ложныхъ *апостолов*, священныхъ *архіепископ*, но *архіепископов* не священ-ныхъ, святыхъ *ученик*, но мирскихъ *учеников* — при этом церковно-славянская (нулевая) флексия род. падежа мн. числа связывается с сакральным началом, а противопоставленная ей русская флексия — со злым, бесовским началом.

В том же сочинении («Сила существу книжного письма») указывается, что противопоставление написания с *ж*д и написания с *ж* — имеется в виду рефлекс общеслав. **dj* — аналогично противопоставлению написания одних и тех же слов под титлом (под «взметом») и без титла («складом»). Соответственно, здесь предписывается в определенных случаях писать сакральные слова, «покрывая во взмета мѣсто добромъ [т.е. буквой *д*]». Отсюда, в частности, вытекает рекомендация не писать *враждебно*, но *вражебно*, поскольку слово *враг* означает дьявола: «врага пиши вражебно сушо без добра: *вражебно*» (Ягич, 1896, с. 421). Итак, поскольку данное прила-

гательное образовано от слова, которое нельзя писать под титулом, оказывается неуместным церковнославянское написание с *жд* — церковнославянская орфография отчетливо предстает как сакральная, и отступления от нее имеют вполне сознательный характер. Совершенно так же здесь противопоставляются по написанию «рѣтво Хрѣто і прѣггыя Бѣцы, рѣтво Іванна прѣчи Гдѣня» и «рожество... беззаконнаго Ірода» — в первом случае явно предполагается чтение *рождество*, во втором же случае — чтение *рожство*; ср. здесь предписание писать «въ бл҃годарьственном стисѣ прѣстѣи Бѣцы “безистлѣнїа Б҃га Слова *рождѣшю*” а не ꙗкоже нѣцыи иже внѣ ума пишут и говорят *рожешю*» (там же, с. 425).

Во всех этих случаях противопоставление церковнославянского и русского языков рассматривается как противопоставление Божественного и Сатанинского, хотя в одних случаях это проявляется на уровне фонетики, в других — на уровне морфологии.

Не менее характерно, что речь Сатаны в книжном церковнославянском тексте может передаваться русскими языковыми средствами, ср., например, в «Повести об убогом человеке како от диавола произведен царем», а также в старообрядческом «Собрании от Святого Писания об Антихристе» (Успенский, 1989/1996, с. 48–49). Равным образом, халдеи в Пешном действе, исполнявшемся до середины XVII в. в кафедральных соборах Москвы, Новгорода, Вологды и др., говорили — в церкви! — на русском, а не на церковнославянском языке, и это отвечает ассоциации халдеев с нечистой силой. Речь халдеев оказывается противопоставленной таким образом речи других участников Пешного действия, как и церковнославянскому языку православного богослужения — вообще это уникальный случай использования русского языка в церкви. Примечательно, что в вологодском Пешном действе халдеи могли говорить с яканьем (например, *чаво* «чего»), при том что яканье не характерно для вологодских говоров, — т.е. с подчеркнутыми русизмами, на сугубо неправильном русском языке (см. там же). Русский язык осмысливается в подобных случаях как греховное искажение сакрального церковнославянского языка, которое приписывается дьявольскому умыслению. Неслучайно Зиновий Отенский, протестуя против порчи книжного языка, его русификации, приписывает это дьявольскому наущению, «умыслению лукавого»: «Мню же и се лукаваго умысленіе въ христорѣцѣхъ или въ грубыхъ смысловѣ, еже уподобляти и низводити книжныя рѣчи отъ общихъ народныхъ рѣчей. Аще же и есть полагати приличнѣйши, мню, отъ книжныхъ рѣчей и общія народныя рѣчи исправляти, а не книжныя народными обезчещати» (Зиновий Отенский, 1863, с. 967 — здесь же Зиновий Отенский противопоставляет «языкъ

свой», т.е. русский церковнославянский язык, и «народа общую рѣчь», т.е. русский разговорный язык), ср. сходные заявления Иоанна Вишенского о борьбе дьявола с церковнославянским языком, цитированные выше (§ 5.2).

Таким образом, по отношению к «простому» книжному языку маркированными оказываются как высокий книжный язык, так и язык разговорный. «Простой» книжный язык занимает, тем самым, как бы промежуточное положение между этими двумя полюсами. И это опять-таки может рассматриваться как предпосылка разрушения диглоссии. Действительно, для превращения диглоссии в двуязычие достаточно того, чтобы высокий книжный язык и «простой» книжный язык перестали отождествляться языковым сознанием (как разновидности единого книжного языка) и «простой» книжный язык начал противопоставляться высокому как отдельный книжный язык. Как бы то ни было, «простой» книжный язык оказывается в центре языковой практики, и это не зависит от его осмысления. Поскольку в нем консолидируются нейтральные средства выражения, которые не являются ни специфически книжными, ни специфически некнижными, здесь образуется та нейтральная языковая сфера, которая служит в дальнейшем основой для русского литературного языка нового типа.

§ 14.5. Отношение к грамматике и риторике. «Простой» книжный язык определяет элементарные нормы грамотной речи, на которые могут накладываться дополнительные стилистические усложнения. Эти усложнения определяются прежде всего риторикой, владение которой оказывается необходимым для искусного ученого книжника. Ориентация на грамматику, столь характерная для рассматриваемого периода, сочетается с интересом к риторике, поэтике и т.п. — все эти дисциплины входят в единый комплекс гуманитарных знаний, который нужен как для адекватного (ученого) понимания традиционных текстов, так и для сочинения новых текстов по их образцу. Только при этих условиях церковнославянский язык может функционировать на тех же правах, что и греческий, удовлетворяя разнообразные потребности высокой книжной культуры. Таким образом, необходимость обращения к риторике, а также поэтике и философии восходит в конечном итоге к грекофильской ориентации, идущей от второго южнославянского влияния. В самом деле, еще черноризец Храбр в своем рассуждении «О писменех» — столь авторитетном для русских книжников — приписывал грекам создание грамматики, риторики и философии. Максим Грек, говоря о греческом языке, подчеркивал: «Еллинска... бесѣда много и неудобь разсуждаемо имать

различіе толка реченій, і аще кто не довольнѣ и совершеннѣ научился будетъ, ѡже грамматикѣи и пиитикѣи и риторикѣи самыя философїи, не можетъ прямо и совершенно ни же разумѣти писуемая, ни же преложити я на ихъ ѡзыкъ» (Ягич, 1896, с. 301; Максим Грек, III, с. 62). В другом месте, отвечая на вопрос какого-то русского корреспондента, Максим писал: «Грамматікіа ес[ть]... ученіе зѣло хытро у еллинех... Сего ради требуем мы грекы длго сѣдѣти у учителя добра[о] и учитис[я] со многым трудом и бїенїемъ, доколѣ внидетъ въ умъ нашъ» (Ягич, 1896, с. 306); ср., наконец, панегирические высказывания о пользе грамматики, риторики, диалектики, философии в приписываемых Максиму Греку статьях, опубликованных в московском издании грамматики Смотрицкого 1648 г. (Смотрицкий, 1648, л. 3—3 об., 24, 40, 42, 348; ср. Ягич, 1896, с. 327, 329). Равным образом и Курбский, считающий себя последователем Максима Грека, с похвалой отзывается о Юго-Западной Руси, где «некоторые человецы обретаются, не токмо в грамматических и риторских, но и в диалектических и философских ученые» (Переписка Грозного с Курбским, с. 101). Положительный отзыв о «грамматичном и риторском и философском учении» мы встречаем и в рассуждении «О буквах, сиречь о словах» по рукописи XVII в. (Петровский, 1888, с. 17). Ср. еще такой же отзыв о риторике и других высших гуманитарных науках в предисловии В. М. Тучкова к переработанному им Житию Михаила Клопского (XVI в.): «Что же реку, и что възглаголю, и како началу слова коснуса, разума нищетою обьяту ми сушу? Ниже риторикѣи навѣкшу, ни философїи учену когда, ниже паки софистикѣи прочетшу...» (Дмитриев, 1958, с. 144). Это традиционный прием авторского самоуничижения; ср., например, такое же в точности авторское самоуничижение («ниже риторикѣи навѣкъ, ни философїи учився») в предисловии к «Книге о вере» (М., 1648, л. 2 об.; относительно автора этой книги см. § 16.2). Комментируя цитированную фразу В. М. Тучкова, Л. А. Дмитриев пишет: «Из этих слов следует, что Тучков на самом деле был и философии “учен”, и читал “софистику”, и “навык” риторики» (там же, с. 73). В начале XVII в. Антоний Подольский (по свидетельству другого русского книжника — Ивана Наседки) утверждал, что «никто... совершенно против него грамотикѣи и диалектики в России не знает» (Скворцов, 1890, с. 274). Связь грамматического учения со всем комплексом гуманитарных знаний тогда же (около 1619 г.) подчеркивал справщик Арсений Глухой — сотрудник известного грекофила Дионисия Зобнинского — в послании к протопопу Ивану Лукьяновичу: «...І извыкох осмим частем слова кромѣ малых дробей по граматикѣи, иже і сѣя разумна сѣ[ть], к тому ж роды і

числа, времена і лица, и залози, і в них же воля души содержится пяти словех, рекше в повелѣном, в молитвенном, в вопросном, во звателном, в повѣстном, яж[е] изложения наричются. К тому ж и священную философию до сотиу [sic!] проидох... Есть государь Иван Лукьянович і таковы іныя которыя на нас вину возлагают, кое и азбуки едва умѣют, а то вѣдаю что незнают кои во азбучѣ гласныя писмена і согласныя, а родов и времен і лиц и числ, того и не поминаи, священная ж философия и в руках не бывала. Без нея ж никтоже может право разсудити не точию в Божественных писаниих но и в земских дѣлех...» (Огнев, 1880, с. 65–66; ср. также сходный текст в послании Арсения Глухого к боярину Б. М. Салтыкову 1619 г. — Скворцов, 1890, с. 426). Грекофильская ориентация Арсения ясно отразилась в предисловии (1616 г.) к отредактированному им каноннику (ГБЛ, ф. 304, № 283): «Аз грѣшный инок Арсений Селижаровец написах сію книгу... Писах же с разных переводов, и в них обрѣтох многа не исправлена, паче же в тѣх, яже суть въ Русѣй земли составлены службы и каноны неискусными творцы грамотичному учению. И елика возможна моему худому разуму, сіа исправлях...» (Иларион и Арсений, II, с. 58, № 283, ср. с. 57, № 281; ср. еще там же, III, с. 48, № 684). Связь обращения к грамматике и риторике с грекофильской ориентацией отчетливо видна и в словах Епифания Премудрого, в написанном им житии Стефана Пермского: «Азѣ... есмь умою грубѣ, и словомъ невѣжа, худъ имѣя разумъ и промыслъ предоумень, не бывавшю ми во Афинѣхъ отъ уности, и не научихся у философовъ ихъ ни плетения риторьска, ни вѣтиских глаголь, ни Платоновыхъ, ни Аристотелевыхъ бесѣдъ не стяжахъ, ни философѣя, ни хитрорѣчия не навыкохъ» (Кушелев-Безбородко, IV, с. 119–120). Здесь же Стефан Пермский характеризуется как «чюдный дидаскаль, исполнь мудрости и разума, иже бѣ измлада научился всѣй внѣшнѣй философи, книжнѣй мудрости и грамотнѣй хитрости» (там же, с. 134).

Соответственно, в Московской Руси распространяются риторические руководства, построенные по греческим образцам (Соболевский, 1903, с. 371 сл.); позднее здесь появляются риторики западного происхождения (Лахман, 1980; Аннушкин, 1984). Характерно, что знание грамматики и риторики указывается как необходимое требование к книжному справщику в царской грамоте 1616 г., направленной в Троицкий монастырь: исправление Требника предписывалось поручить здесь тем монахам, которые «подлинно и достохвално извычни книжному учению и грамотику и риторию умеют» (ААЭ, III, с. 483, № 329). На основании этой грамоты исправление Требника было поручено архимандриту Дионисию Зобниновскому и иноку Арсению Глухому, о которых

мы уже говорили, — Арсений, как мы знаем, оставил специальное рассуждение о пользе грамматики и философии.

Итак, обращение к грамматическому и риторическому учению возникает как естественное следствие грекофильской культурной ориентации. Однако в плане гуманитарного образования греческая культура не отличалась здесь от латинской. Тем самым такое обучение могло восприниматься и как характерный признак латинства — там, где борьба с латинским языком и латинской образованностью была актуальна. Соответственно, одни и те же понятия (грамматика, риторика и т.д.) могут приобретать положительный или отрицательный смысл в зависимости от ориентации — положительной (на греков) или отрицательной (против латинян).

Князь Курбский писал: «Молю и совѣтую, аще кто языка словенскаго братіи нашихъ хошетъ прочитати книгу его [Иоанна Дамаскина] и оныхъ древнихъ учителей премудрыхъ церковныхъ, да первое учатьсѧ трудолюбне и тщательно прочитають со прилежаніемъ божественные писанія, потомъ и внѣшнымъ поучаються, сирѣчь философскимъ искуствамъ (аще ли не обрящуть въ землѣ своей таковыхъ, учителей, да не лѣнятся ѣздити и до чужихъ странъ...)» (Оболенский, 1858, слб. 361). В этой цитате обращает на себя внимание стремление сочетать текстологический и грамматический подход к церковнославянскому языку, т.е. подход, основывающийся на изучении текстов, и подход, основывающийся на овладении грамматикой (ср. Толстой, 1976). Понятно, что для традиционной культуры такой путь мог быть принципиально неприемлем.

Действительно, уже старец Елеазарова монастыря Филофей в послании к дьяку Мисюрю-Мунехину «на звездочетцы и латыны» первой трети XVI в. говорит о греховности изучения риторики и философии (Малинин, 1901, прилож., с. 37–38); этот текст почти дословно повторяется затем в азбучных прописях 1643 г. (Восток, 1842, с. 463, № 326). Гуманитарные науки ассоциируются здесь с языческой мудростью и вместе с тем с латинством (Мисюрь-Мунехин, который первым, кажется, поднимает этот вопрос, был московским эмиссаром в Пскове и боролся там с западным культурным влиянием). Филофей, правда, не упоминает о грамматике, но очевидно, что имеется в виду весь комплекс гуманитарных знаний; во всяком случае уже во второй половине XVII в. соответствующие высказывания могут эксплицитно распространяться и на грамматику (к дальнейшему см. подробнее: Успенский, 1988а/1996). В XVI в. такие высказывания характерны, главным образом, для представителей Юго-Западной Руси — мы встречаем их у Иоанна Вишенского в «Книжке», а также в послании старице Домникии и в «Зачапке мудраго латынника с глупым русином» (Вишен-

ский, 1955, с. 10, 23, 162—163, 175—176, 194), у старца Артемия в его послании к «люторским учителям» второй половины XVI в. (РИБ, IV, стлб. 1325; ср. идентичный текст в «Списании против люторов» 1580 г. — РИБ, XIX, стлб. 174), у острожского священника Василия в его антикатолическом сочинении «О единой истинной православной вере» 1588 г. (РИБ, VII, стлб. 673) и в анонимных «Вопросах и ответах православному з папезнику» 1603 г. (РИБ, VII, стлб. 108). Эти высказывания могут пониматься в связи с протестом против латинского языка и латинского образования, что было особенно актуально в Юго-Западной Руси; характерно, что совершенно аналогичные заявления могут быть встречены и у представителей польской реформации — таких, например, как Мартин Чехович (Перетц, 1926, с. 44), — что также связано, конечно, с борьбой против латинского языка. Речь идет при этом о программе так называемых семи свободных наук, принятых в латинских (и протестантских) школах, куда входили грамматика, риторика и диалектика, составляющие вместе первый раздел данной программы (тривиум).

Такая программа усваивалась постепенно и православными школами Юго-Западной Руси (Архангельский, 1888, с. 39—42), что и вызывало протесты представителей традиционной православной культуры. Характерно, что в 1590 г. киевский митрополит Михаил Рагоза в своей клятвенной грамоте на львовских мещан Рудька и Бидагая отлучил их от церкви за противодействие деятельности братских школ и, в частности, «грамматическому, диалектическому и риторическому учению» (Акты Зап. России, IV, с. 33, № 24).

Семь свободных наук преподавались и в греческих школах, однако на Руси они могли ассоциироваться, по-видимому, с латинской системой образования: более того, здесь могли считать, что сами греки находятся под латинским влиянием. Иными словами, поскольку в плане гуманитарного образования греческая культура не отличалась от латинской, обучение такого рода могло восприниматься как характерный признак латинства.

С середины XVII в. совершенно такие же протесты мы встречаем и у великорусских книжников, а именно у представителей старообрядческой партии — например, в «Книге о правой вере» архимандрита Спиридона Потемкина (Бороздин, 1900, с. 100—101), у протопопа Аввакума в «Житии», в «Книге толкований и нравоучений» и в различных посланиях (РИБ, XXXIX, стлб. 67, 133, 151, 214, 547—548; Демкова, 1974, с. 388—389; Демкова и Малышев, 1971, с. 178—179; Кудрявцев, 1972, с. 196—197; ср. Субботин, I, с. 486—488), в «Житии» старца Епифания (Пустозерский сб., с. 81), а также в прениях старообрядцев — диакона Федора с иконийским митрополитом Афанасием в 1668 г. (Субботин, VI, с. 54) и

инока Авраамия с рязанским архиепископом Иларионом в 1670 г. (Субботин, VII, с. 395, ср. с. 266). Это объясняется тем, что старообрядцы видели в никоновских реформах латинизацию русской культуры (что связано с экспансией югозападнорусской образованности в период третьего южнославянского влияния, см. § 16.4). Вообще в целом ряде случаев выступления такого рода непосредственно сочетаются с протестами против латинского учения (так, например, у старца Филофея, у Иоанна Вишенского, у священника Василия, у Спиридона Потемкина; в «Вопросах и ответах...» 1603 г. утверждается именно разобщенность латинской науки с «верхней диалектикой» и с «внутренней Богом дарованной церковной философией»).

Протест против грамматики, риторики и философии как частей латинского учения мог обуславливать переоценку высокого книжного языка у представителей старообрядческой партии. В условиях югозападнорусского влияния язык этот оказывался в их восприятии дискредитированным как язык нетрадиционной образованности, как нечто искусственное и навязанное извне. Именно это может обуславливать демонстративное обращение протопопа Аввакума к «просторечию», т.е. к «простому» книжному языку (§ 14.3), противопоставление этого языка языку ученой книжности как естественного искусственному, духовного — культурному. Весьма показательно в этом плане, что Никита Добрынин, разбирая исправления никоновских справщиков, осуждает между прочим замену местоимения вин. падежа *ихъ* на *я* (в Пс. LXXII, 18), т.е. нейтральной церковнославянской формы на специфически книжную (Румянцев, 1916, прилож., с. 355).

§ 15. Языковая ситуация Юго-Западной (Литовской) Руси

§ 15.1. Историко-культурные сведения. В течение XIII–XIV вв. древние южнорусские и западнорусские княжества, за исключением Галицко-Волынского княжества, Буковины и Карпатской Руси, стали частью Великого княжества Литовского. При князе Ольгерде (1345–1377) границы этого княжества простирались до Черного моря на юге, на востоке они охватывали Витебск, Киев, Чернигов и Брянск (позднее сюда присоединяется и Смоленск), на западе часть Волыни с Острогом. Галицко-Волынское княжество (Галичина и другая часть Волыни) вошло в состав Польши, Буковина оказалась под властью молдавского господаря, а Карпатская Русь вошла в состав Венгрии (к дальнейшему см. подробнее: Целунова, 1998).

Литовское княжество было многоязычным государством, во главе его стояли литовские князья, наследники Гедимина, при этом статус государственного языка выполнял (вплоть до XVII в.) язык, который назывался русским (и который в настоящее время обычно определяют как старобелорусский). Вплоть до XIV в. большое число литовцев были язычниками, в то время как русское (восточнославянское) население исповедовало православие. Естественно поэтому, что русская культура играла в Литовском государстве доминирующую роль, что и обусловило пользование русским языком как государственным. В 1386 г. великий князь литовский Ягайло вступает в брак с польской королевой Ядвигой и занимает польский королевский престол. С этого времени Литовское княжество, сохраняя автономию, входит в состав Польско-Литовского государства. Процесс слияния Литвы и Польши завершается Люблинской унией 1569 г.

Подобно тому как Литовское княжество было многонациональным государством, оно было и многоконфессиональным: здесь сосуществовали православие, католицизм, протестантство, иудаизм. После польско-литовской унии 1385 г., когда Ягайло принял католичество, начинается процесс латинизации населения Литовского государства; латинизации в конфессиональном отношении соответствует полонизация в языковом отношении. И тот, и другой процесс затрагивает прежде всего социальные верхи (шляхту). В свою очередь, для православного населения становится актуальной борьба с распространением католицизма и католической пропагандой. Эта борьба особенно обостряется после церковной Брестской унии 1596 г., в результате которой появляются униаты, сохраняющие православный обряд, но признающие главенство папы и католическое вероучение. Борьба с католицизмом обуслов-

ливают появление православных братств в XVI в., т.е. городских корпораций православных, ставивших своей задачей поддержание и защиту православной веры. Для нас важно, что при братствах существовали школы, в которых поддерживалось знание церковнославянского языка. Эти школы ставили перед собой задачи воспитания образованных православных, которые могли бы противостоять католической пропаганде. Они давали общее образование, включавшее обучение греческому, а иногда и латинскому языку. В отличие от Московской Руси в Юго-Западной Руси совсем не было грекофобии, напротив, для нее характерны живые контакты со всем православным Востоком, равно как и с южными славянами (Молдавия, в которую входила Буковина, сохраняла болгарскую традицию церковнославянского языка). Показательно в этом смысле появление здесь славяно-греческих учебников с параллельным текстом на двух языках — таковы Букварь 1578 г., изданный в Остроге Иваном Федоровым, и «Ἀδελφότης. Грамматика добροглаголиваго еллино-славенскаго языка», изданная во Львове в 1591 г. (эта грамматика была предназначена для Львовской братской школы).

Несмотря на то противостояние, которое православные оказывали католицизму, западное культурное влияние в Юго-Западной Руси было исключительно сильным, распространяясь на самые разные аспекты культуры и, в частности, сказываясь на языке. Культурные деятели Юго-Западной Руси обычно владели польским языком как родным: так, например, польский язык был основным для Петра Могилы. Характерное для югозападнорусской культуры многоязычие находит отражение в макаронических текстах, составленных из фраз на церковнославянском, польском и латинском языках, которые пишутся такими, например, православными деятелями, как Лазарь Баранович или Димитрий Ростовский. Этому многоязычию (и вообще западному влиянию) способствовало и то, что православные, желавшие получить высшее образование, получали его обычно в католических университетах.

Наряду с православием и католицизмом, большую роль в Юго-Западной Руси играли и протестанты различных направлений, в частности, так называемые социниане («ариане»). Деятельность протестантов обусловила появление первых переводов Св. Писания на «русский» язык (об этом языке будет специально сказано ниже — перевод Св. Писания и богослужения на национальные языки вообще был характерен для Реформации).

§ 15.2. Различие в языковой ситуации Московской и Юго-Западной Руси. Как мы знаем, второе южнославянское влияние определяет потенциальную возможность преобразо-

вания церковнославянско-русской диглоссии в церковнославянско-русское двуязычие. Однако эта возможность по-разному осуществляется в Московской и в Юго-Западной Руси (политическое и культурное размежевание которых приблизительно совпадает со временем второго южнославянского влияния). Если в Московской Руси после второго южнославянского влияния сохраняется ситуация диглоссии, в Юго-Западной Руси появляется церковнославянско-русское двуязычие. Иными словами, в то время как в Московской Руси функционирует один литературный язык (церковнославянский язык великорусской редакции), в Юго-Западной Руси сосуществуют два литературных языка: наряду с церковнославянским языком (специальной югозападнорусской редакции) в этой функции выступает здесь так называемая «проста или руска мова».

Это различие в языковой ситуации наглядно отражается, между прочим, в номенклатуре наименований, принятых для соответствующих языков: в Московской Руси эпитет «русский» при обозначении литературного языка относился к церковнославянскому языку, т.е. «русский» и «словенский» были синонимами; напротив, в Юго-Западной Руси этот эпитет обозначал язык, противостоящий церковнославянскому языку, т.е. «рус(с)кий» и «словенский» выступали как антонимы. В свою очередь, слово «русский» синонимично в Юго-Западной Руси слову «простой»: если в Московской Руси эпитет «простой» в принципе не противопоставлен «словенскому» (см. § 14.3), то в Юго-Западной Руси «простым» именуется язык, находящийся в оппозиции к церковнославянскому языку. Характерно, что «просту мову» в Московской Руси могут называть «литовским» или «белорусским» языком, но, естественно, не называют этот язык ни «простым», ни «русским», поскольку эти термины имеют здесь иное семантическое наполнение.

Что касается терминов «словенский» и «словенороссийский», то они служат для обозначения церковнославянского языка как в Московской, так и в Юго-Западной Руси. Специфической югозападнорусской формой является «славенский», которая встречается здесь наряду с «словенский», тогда как в Московской Руси употребительна только последняя форма.

§ 15.3. «Проста (руска) мова» как особый литературный язык Юго-Западной Руси. «Проста мова» отнюдь не совпадает с живой диалектной речью, представляя собой до некоторой степени искусственное образование. Само название *проста* ни в коем случае нельзя понимать буквально, поскольку выражение *проста мова* восходит к латинскому *lingua rustica* (вместе с тем, как мы увидим, оно может сближаться также и с соответ-

388

ствующими греческими наименованиями, см. § 15.4) — иначе говоря, это книжное по своему происхождению выражение.

Отличия «простой мовы» от диалектной разговорной речи очень четко осознавались в Юго-Западной Руси. Так, в грамматике Иоанна Ужевича (1643 г.) *lingua sclavonica*, т.е. «проста мова», с одной стороны, противопоставляется *lingua sacra sclavonica*, т.е. церковнославянскому языку, а с другой стороны — *lingua popularis*, т.е. украинской диалектной речи (Кудрицкий, 1970, с. 39–42). В словаре Памвы Берынды (1627 г.) «руская» речь (т.е. «проста мова») противопоставляется «волынської» (т.е. украинской) и «литовської» (т.е. белорусской): церковнославянскому *пѣтель* здесь соответствуют «руски, когутъ, волински, пѣвень. литовски, петухъ» (Берында, 1627, стлб. 199; Берында, 1653, с. 133). В рукописной «Науке христианской», составленной в 1670 г. неким священником Симеоном Тимофеевичем, говорится, что книга эта изложена «барзо простою мовою и диялектом, иж и напростѣйшому челоуѣковѣ snadно понятая» (Белодед, 1958, с. 77); при этом «барзо простая мова» противопоставляется обычной «простой мове». В львовском букваре 1790 г. мы встречаем характерное предупреждение: «Старайся, абы не мовити по простацку» (Букварь, 1790, л. Е/2). Поскольку сам букварь написан на «простой мове», очевидно, что речь идет не о ней, а о языке простонародья, т.е. «проста мова» противопоставляется «простацкой мове».

О книжном (литературном) характере «простой мовы» свидетельствует ее сложный синтаксис, явно искусственный и противопоставленный синтаксису разговорной речи. На синтаксическом уровне «проста мова» может быть вообще не противопоставлена церковнославянскому языку. Соответственно, Симеон Тимофеевич в только что упоминавшейся «Науке христианской» 1670 г., ратуя за применение «барзо простой мовы и диалекта», специально обосновывает необходимость говорить с церковной кафедры «простой и короткой мовой», а не «широкой и узловатой» (Белодед, 1958, с. 78), т.е. «проста мова» как книжный язык противопоставляется «барзо простой мове» именно по синтаксическому критерию. Следует при этом иметь в виду, что югозападнорусские книжники нередко именуют церковнославянский язык «широким» (Памва Берында), «широкоглагольным» (Памва Берында), «пространным» (Тарасий Земка) (Титов, 1918, прилож., с. 185, 84, 251) — таким образом, в отношении синтаксиса церковнославянский язык и «проста мова» получают одинаковую оценку.

Приведем несколько произвольных примеров. В посвящении Захарии Копыстенского в изданной им книге бесед Иоанна Златоуста (Киев, 1623) читаем: «и дал' Митрополіту Неофиту з' Еписко-

пы и благородным' посломъ розказуючи донести Великому Князю Володімеру Всеволодовичу, и просиль его мовячи: прийми от насъ о Боголюбивый Княже тыи зацнии дары, которые твоему Благородству предназначены сут[ь], и поклонение Царскихъ жребій пало, на Славу и честь и на вѣнчаніе Твоего Самовольного и Самодержавного Царства» (Титов, 1918, прилож., с. 70). В «Мессии Праведномъ» Иоанникия Галытовского (Киев, 1669): «посредѣ облака видѣли всѣ Ха Збавителя поступающаго, и великою свѣтлостію блискающаго, который сталъ на оболочку противъ Архієппа и мовиль: для мѣтвы Епѣкповои, ульчаєтъ васъ на Крѣтъ прибитый отъ отцовъ вашихъ» (л. 117 об.).

Соответственно, может обсуждаться вопрос о степени владения «русским» языком («простой мовой»), т.е. знание этого языка не предполагается как нечто само собой разумеющееся — как это в общем имеет место в случае живой диалектной речи, — но оказывается связанным с культурно-ценностным началом, как это и характерно вообще для литературного языка. Так, например, современники говорят о Тарасии Земке (известном книжнике начала XVII в.) как о человеке, сведущем в греческом, латинском, церковнославянском и русском языках («człowiek uczony w Graeckim, Łacińskim, Słowiańskim, y Ruskim Dialekcie» — Отроковский, 1921, с. 9, 11).

Статус литературного языка, противопоставленного живой разговорной речи, отчетливо выражен в орфографии «простой мовы». Так, например, здесь не получает отражения переход /о/ в /у/ или /і/ в новых закрытых слогах, причем оказывается возможной гиперкоррекция (*сосодѣ* вместо *сосудѣ*); здесь употребляется буква *ѣ*, означающая звук, еще и сегодня чуждый украинской речи, и т.п. Таким образом, орфография «простой мовы» не отражает фонетических явлений живой речи. Вместе с тем она может противопоставляться орфографии соответствующих церковнославянских слов. Так, Лаврентий Зизаний в грамматике 1596 г. явно стремится противопоставить орфографический облик слов, совпадающих в церковнославянском языке и в «простой мове»: церковнослав. *четыри* — рус. *четыри*, церковнослав. *колико* — русское *колько* и т.п. (см. § 15.4).

Таким образом, «проста мова» противопоставляется как церковнославянскому языку, так и диалектной украинской или белорусской речи. Однако в отличие от церковнославянского языка этот язык обнаруживает несомненный разговорный субстрат, который подвергается искусственному окнижению за счет, во-первых, славянизации и, во-вторых, полонизации. Соответственно могут быть выделены два варианта «простой мовы» — украинский и белорус-

ский: украинский вариант более славянизирован, белорусский в большей степени полонизирован. Границы между «простой мовой» в ее белорусском варианте и польским языком оказываются при этом весьма нечеткими: в предельном случае тексты на «простой мове» могут приближаться к кириллической транслитерации польского текста (ср. Соболевский, 1980, с. 65); в других случаях эти тексты могут отличаться лишь по ограниченному набору признаков (см. § 15.4).

В основе «простой мовы» лежит актовый канцелярский язык Юго-Западной Руси, официально признанный в Польско-Литовском государстве как язык судопроизводства. Этот язык, постепенно теряя функции делового языка, становится литературным языком в широком смысле, т.е. употребляется и вне деловых текстов. Став языком литературы (в том числе и конфессиональной литературы), этот язык подвергся нормированию (главным образом на уровне орфографии и морфологии). Таким образом, «проста мова» представляет собой книжный (литературный) язык, возникший на основе делового государственно-канцелярского языка Юго-Западной Руси. В Московской Руси, как мы знаем, также есть особый приказной язык, но там он не конкурирует с церковнославянским языком; это различие в судьбах делового языка в Московской и Юго-Западной Руси отражает различие в языковой ситуации на этих территориях: в Московской Руси деловой язык вписывается в ситуацию диглоссии, в Юго-Западной Руси — в ситуацию двуязычия.

В Литовском Статуте специально оговорено право применения «русского» языка в законодательстве — см. об этом как в рукописной редакции 1566 г. (Аниченко и др., I, с. 145), так и в печатном виленском издании 1588 г. (с. 122); о том же говорится и в других югозападнорусских документах конца XVI в. (см. Нимчук, 1980, с. 35–36, 40). Характерно при этом, что Литовский Статут был напечатан (в 1588 г.) курсивом, который представляет собой типографский эквивалент скорописи — скоропись же, как уже упоминалось, ассоциируется с деловым языком (§ 10.4).

Статус государственного языка способствовал кодификации «простой мовы». В то время как язык частных и местных актов и грамот в силу своей ограниченности, локальной направленности носит следы местного говора, иногда доходя почти до транскрипции живого произношения и отражения живых форм речи, канцелярский язык тяготеет к стандартизации и кодификации. Однако он базируется на живом языке, изменяясь вместе с ним, а униформность ему нужна для связи в пространстве, а не во времени. В этом существенное отличие «простой мовы» от церковнославян-

ского языка. Это литературный язык нового типа по сравнению с церковнославянским языком: будучи связан с живой речью, он обнаруживает тенденцию к эволюции. Именно поэтому мы наблюдаем в Юго-Западной Руси характерное терминологическое противопоставление церковнославянского языка — «простой мове»: «язык» противопоставляется «речи» («мове»), т.е. тому, что находится в непрерывном движении; позднее «просту мову» будут называть «язычием». При этом подчеркивается различие в самой природе сопоставляемых явлений, разная степень их оформленности. Соответственно, «проста мова» обнаруживает определенную свободу варьирования, и это определяет специфику ее описания: если церковнославянский язык может быть описан как независимая и самостоятельная языковая система, то признаки «простой мовы» определяются в ее противопоставленности церковнославянскому, диалектному или польскому языку (иначе говоря, если церковнославянский язык может быть описан как система правил, то «проста мова» может быть описана как система запретов).

«Проста мова» в дальнейшем почти бесследно исчезает. В частности, она не обнаруживает связей с современными украинским и белорусским литературными языками, которые всецело базируются на живом говоре. В XVIII — начале XIX вв. «проста мова» сохраняется лишь в униатских монастырях. Тем не менее сам факт ее существования оказывает, как мы увидим (§ 18.3), значительное влияние на русскую языковую ситуацию; можно сказать, что «проста мова» имеет существенно большее значение для истории русского литературного языка, чем для истории украинского и белорусского литературных языков.

§ 15.4. Характер сосуществования церковнославянского языка и «простой мовы». Церковнославянско-русское двуязычие в Юго-Западной Руси калькирует латинско-польское двуязычие в Польше; функциональным эквивалентом латыни выступает здесь церковнославянский язык, а функциональным эквивалентом польского литературного языка — «проста мова». По мере становления польского литературного языка латинский и польский языки употребляются параллельно, причем постепенно польский язык вытесняет латынь. В точности то же самое мы наблюдаем в Юго-Западной Руси, где «проста мова» постепенно вытесняет церковнославянский язык, оставляя за ним лишь функции культового языка.

Эта аналогия языковой ситуации в Юго-Западной Руси и в Польше была совершенно ясна современникам. Так, например, Афанасий Филиппович подчеркивал в своем «Диариуше» (первая

половина XVII в.) одинаковое соотношение «русского» и «словенского» языков, с одной стороны, и польского и латыни, с другой, — отмечая, что «Русь словенским и руским, а поляки латинским и полским языком ведлуг народу и потребы литеральной книг» пользуются (РИБ, IV, 1, стлб. 125; Аниченко, 1969, с. 232). Важно при этом подчеркнуть, что «простым» может называться и польский язык (см., например: Клеменсевич, II, с. 23, 25, 29; Карский, 1896, с. 75), т.е. данный эпитет объединяет польский литературный язык и литературный язык Юго-Западной Руси.

Соответственно, например, киевский митрополит Михаил Рагоза в окружном послании 1592 г. противопоставляет «свершенный Словенский язык» — «п р о с т о м у несвершенному Лядскому писанію» (Акты Зап. России, IV, стлб. 42, № 32). Ср. затем такое же противопоставление совершенного «словенского» и простого «лятского» языка в «Книге о вере», изданной в Москве в 1648 г. и приписываемой Нафанаилу, игумену киевского Михайловского монастыря (л. 3—3 об.); это место «Книги о вере» дословно повторяет во второй половине XVII в. старообрядец инок Авраамий (Субботин, VII, с. 14—15) — при этом если в Юго-Западной Руси противопоставление «словенского» и «простого лядского» языка явно понималось как противопоставление церковнославянского и польского, то на великорусской территории это противопоставление могло пониматься, возможно, как противопоставление церковнославянского языка и «простой мовы».

Вполне естественно в этих условиях, что произведения, написанные на «простой мове», в целом ряде случаев являются переводами с польского. Югозападнорусские книжники нередко пишут сначала по-польски, а затем переводят на «просту мову» (например, Мелетий Смотрицкий, Петр Могила и др.). Даже Краткий катехизис Петра Могилы и Исаяи Козловского, преследующий учебные цели и предназначенный, очевидно, прежде всего для православных читателей, был напечатан в Киево-Печерской лавре в 1645 г. сначала по-польски, а затем уже в переводе на «просту мову» — «первѣй языкомъ Полским, а теперъ Діалектомъ Рускимъ»; в предисловии при этом подчеркивается, что данная книга предназначается не только для служителей церкви, но и для умеющих читать светских лиц, что, по-видимому, и определяет выбор языка (Голубев, II, прилож., с. 358—359, 470—472; Титов, 1918, с. 254—255, 307). Особенно знаменательно, что и такой памятник, как Киево-Печерский патерик, переводился на «просту мову» не с церковнославянского языка, а именно с польского (этот перевод остался в рукописи — Перетц, 1926, с. 92—100; Перетц, 1958). В предисловии к своему переводу (1581 г.) «с полского языка на

речь рускую» сочинианского евангелия М. Чеховича (польское издание вышло в 1577 г.) В. Негалевский заявляет, что его перевод предназначен для тех «учоныхъ, богобойных... людей, которые писма полского читати не умеют, а языка словенского читаючи писмом рускимъ выкладу з словъ его не розумеют» (Назаревский, 1911, с. 119). Таким образом, польский понятнее этим «учоным богобойным людям», чем церковнославянский язык, смущает их лишь польская (латинская) графика; соответственно, как уже говорилось, тексты на «простой мове» могут приближаться к кириллической транслитерации польского текста.

Тексты на «простой мове» могут при этом непосредственно коррелировать с соответствующими текстами на польском языке, отличаясь от них лишь по ограниченному набору маркированных признаков — совокупность таких признаков и определяет в подобных случаях специфику «простой мовы», способствуя тем самым ее кодификации. Особенно показательно в этом отношении «Казанье св. Кирилла патриарха Иерусалимского о антихристе...» Стефана Зизания, напечатанное в Вильне в 1596 г. на двух языках — с параллельным текстом на польском языке и на «простой мове», ср., например:

A co Hereticy bioro sobie
nā te swoje herezye dowody.
Pierwby od Ewanyeliey, co
Chrystus napomina: Aby každy
poki tu na swiecie żywie
rozprāwil sye koniecznie
z przeciwnikiem swym

А што еретици берѣ^ѣ собѣ
на свою ер^с доводы,
первы^и ѿ ев^лиа, што
Хс напоминае^ѣ, абы кажды^и
поки на свѣтѣ живе^ѣ
розправилсѣ конечно
с противнико^м свои^м

Ср. еще примеры параллельных текстов на польском и на «простой мове»: Толстой, 1963, с. 250–253.

Таким образом, мы можем констатировать перенесение в Юго-Западную Русь польской языковой ситуации, которая и приводит к становлению церковнославянско-русского двуязычия по модели латинско-польского двуязычия: церковнославянский язык непосредственно коррелирует с латынью, а «проста мова» — с польским литературным языком. Это прямо отражается на функционировании обоих литературных языков Юго-Западной Руси.

Подобно латыни, церковнославянский язык становится языком ученого сословия: знание церковнославянского языка, как и знание латыни, связано, таким образом, с социальной дифференциацией. Если на Западе образованность предполагает знание латыни (ср. *homo litteratus* как наименование человека, который владеет книжной латынью), то в Юго-Западной Руси образован-

ность предполагает знание церковнославянского языка. Напротив, польский язык и коррелирующая с ним «проста мова» выступают в значительной мере как языки шляхты: вообще появление «простой мовы» было в большой степени обусловлено билингвизмом социальных верхов Украины и Белоруссии. В Польше в XVI в. шляхтич стыдится знания латыни (Майенова, 1955, с. 87, № 101), и надо полагать, что такое же отношение к церковнославянскому языку могло иметь место у православной шляхты Юго-Западной Руси. Это весьма существенно отличается от ситуации диглоссии, когда одни и те же нормы книжного (литературного) языка охватывают все слои общества (см. § 2.2.2). Вообще ситуация двуязычия в значительной степени переводит проблему литературного языка в социолингвистический план, поскольку владение тем или иным языком может связываться в этих условиях с социолингвистическим расслоением общества. Роль того или другого из сосуществующих друг с другом конкурирующих языков определяется тогда престижем социума, с которым он ассоциируется.

В качестве языка ученого сословия церковнославянский язык может выступать как средство разговорного общения. Очевидно, что и в этом случае функции церковнославянского языка не отличаются от функций латыни; вместе с тем они разительно отличаются от функций церковнославянского языка в условиях диглоссии (например, в Московской Руси). Так, в братских школах церковнославянский язык сознательно вводился как способ устной коммуникации — фактически на тех же правах, что и латынь в польских католических школах: согласно уставу Львовской братской школы (1587 г.), детям запрещалось разговаривать между собой на «простой мове», и они должны были разговаривать по-церковнославянски или по-гречески («...Также учать на кождый день, абы дѣти единъ другого пыталъ по грецку, абы ему отповѣдалъ по словенску, и тыжъ пытаются по словенску, абы имъ отповѣдалъ по простой мовѣ. И тыжъ не мають з собою мовити простою мовою, ено словенскою и грецкою» — Голубев, 1886, с. 198; тот же текст дословно повторяется в уставе Луцкой школы 1624 г. — Архангельский, 1888, с. 39–40). Впрочем, Мелетий Смотрицкий протестует против этого и специально предупреждает в предисловии к своей грамматике 1619 г., что учителя должны под угрозой наказания пресекать попытки разговаривать на «славенском диалекте»: «Діалектъ в' звыклой школной розмовѣ Славенскій межѣ тшательми под каран'емъ захованъ» (Смотрицкий, 1619, предисл., л. 3) — однако сам протест красноречиво свидетельствует о практике такого рода. Итак, церковнославянский язык оказывается уподобленным по своей функции латыни: церковнославян-

ский или греческий в православном мире призваны играть ту же роль, что и латынь в католических странах.

Поскольку церковнославянский язык при двуязычии не ограничен в своем употреблении, закономерно возникает пародийное использование церковнославянского языка, недопустимое при диглоссии (см. § 2.2.1). Наряду с пародиями, в которых несерьезное содержание выражается подчеркнуто книжным языком, здесь появляются и пародии обратного типа — в которых, напротив, серьезное (в частности, библейское) содержание выражается подчеркнуто низкими языковыми средствами; оба типа текстов явно связаны между собой и появляются в одной и той же — школярской — среде (см. вообще о пародиях в Юго-Западной Руси: Возняк, III, с. 251–252, 266 сл.). Пародии на церковнославянском языке явно отражают пародийные тексты на латинском языке, которые часто и служат для них непосредственным источником.

Различие в отношении к церковнославянскому языку в Московской Руси (в условиях диглоссии) и в Юго-Западной Руси (в условиях двуязычия) отчетливо проявляется во взгляде на языковые ошибки. Характерное для диглоссии неконвенциональное понимание знака (ср. § 12.5) обуславливает восприятие языковых ошибок в сакральных текстах как греховного искажения истины, при двуязычии же ошибки относятся к выражению, но никак не затрагивают содержания. Ср. специальную молитву разрешения писарям, входившую в русские Требники, где писец каялся в том, что он непреднамеренно исказил священный текст: «Съгрѣшихъ преписываа святаа и божественнаа писания. святыхъ апостолѣ и святыхъ отецъ. по своей воли и по своему недоразумію, а не яко писано» (Горский и Невоструев, III, 1, с. 219; ср. Петухов, 1888, с. 45–46; Алмазов, III, с. 209–216; Никольский, 1896, с. 58, 62). Искажение в выражении в принципе связывалось с искажением в содержании. Подобное отношение к ошибкам устной или письменной речи совершенно нехарактерно для католического Запада: невольная ошибка там не связывается с искажением содержания и, тем самым, не рассматривается как грех (ср. между тем рус. *погрешность* в значении «ошибка»). Равным образом и в Юго-Западной Руси непреднамеренная ошибка не считалась грехом. Петр Могила специально подчеркивал в предисловии к Требнику 1646 г., что если в Требнике и встречаются какие-либо погрешности или ошибки, то они нисколько не вредят нашему спасению, ибо не уничтожают числа, силы, материи, формы и плодов святых таинств: «...если суть яковыя погрѣшенія, албо помылки в... Требникахъ, тые Спасенію нашему нѣчого нешкодят, поневажъ Личбы, Моци, Матеріи, Формы и Скутковъ святыхъ Таинъ незносятъ» (Титов, 1918, с. 286; прилож., с. 371).

Функционирование «простой мовы» также свидетельствует о ситуации двуязычия. Это проявляется уже в переводе Св. Писания на этот язык. Как мы знаем, перевод сакральных книг на низкий язык в условиях диглоссии невозможен, и это явление представляет собой яркий диагностический признак двуязычия (§ 2.2.1).

К XV в. относят перевод библейских книг Ветхого Завета с еврейского языка, связанный, как полагают, с «жидовствующими», который дошел до нас в сборнике XVI в. (Карский, 1921, с. 18–19). С XVI в. появляются переводы (как ветхозаветных, так и новозаветных книг), выполненные православными, причем некоторые из них сделаны непосредственно с церковнославянского текста; так, например, Пересопницкое евангелие было переведено «изъ языка блгарского на мову русскую», т.е. с церковнославянского языка на «просту мову» (Житецкий, 1905, с. 13; Житецкий, 1878).

Не менее характерно, что со второй половины XVI в. в Юго-Западной Руси появляются параллельные тексты на церковнославянском и «русском» языках (см. Толстой, 1963, с. 248–249). Такие тексты появляются как у протестантов, так и у православных — см., например, Евангелие сочинянина Василия Тяпинского (1570–1580 гг.) и православное острожское издание «Лекарства на оспалый умысл чоловечий» Д. Наливайки (1607 г.); оба текста напечатаны в две колонки, причем в предисловии к Евангелию Василий Тяпинский говорит, что оно напечатано «двема езыки за раз, и словенским и при нем тут жо рускимъ, а то наболшии словенскимъ, а злаша слово от слова» (Владимиров, 1889, с. 2). Таким же образом в две колонки располагаются церковнославянский и «русский» тексты в «Тестаменте царя Василия» в рукописном сборнике XVII в. (Перетц, 1926, с. 65–72). В других случаях двуязычные тексты на церковнославянском языке и на «простой мове» располагаются иначе, а именно, сначала идет церковнославянский текст, а после него соответствующий текст на «простой мове»; см., например, собрание изречений, составленное Д. Наливайко, в рукописном сборнике второй половины XVI в. (ГБЛ, ф. 96, № 3; Копержинский, 1928).

Именно таким образом написаны, между прочим, некоторые части церковнославянской грамматики Лаврентия Зизания (1596 г.), где текст на церковнославянском языке сопровождается переводом на «просту мову». Эта особенность грамматики Зизания отражает, по-видимому, школьную практику Юго-Западной Руси. Действительно, в предисловии к грамматике Мелетия Смотрицкого (1619 г.) сообщается, что грамматика «научить... и читати по Славенску и писати роздѣльне и чтомое вырозумѣвати лацно, гды при

ней за повинным потшаніємъ вашимъ читаны будутъ звыклымъ школь способомъ Славенскіи лекціи и на Рускіи языкъ перекладаны» (Смотрицкий, 1619, предисл., л. 2 об.—3).

Так, в грамматике Зизания читаем: «Что есть Грамматика; Грамматика есть из'вѣст'ное вѣж'ство, Еже бл҃гоу блати и писати. То л'к о в а н і е. Грамматика есть пев'ное вѣдане, жебысмы добре мовили и писали. Коликоу есть частіи грамматіки; четири, орфографія, просодія, Етимологія, и Синтаксисъ. То л'к о в а н і е. Колкоу есть частій грамматіки; чотири, правописаніе, припѣло, истин'нословіе, и съчиненіе» (Зизаний, 1586, л. 1—1 об.). Уже в этом небольшом отрывке наглядно проявляется противопоставление церковнославянского языка и «простой мовы» на разных уровнях — фонетико-орфографическом (*коликоу* — *колкы*, *четири* — *чотири*), грамматическом (*еже писати* — *жебысмы писали*), лексическом (*вѣж'ство* — *вѣдане*, *извѣстное* — *певное* и т.п.). Любопытно отметить, что коррелирующим эквивалентом к церковнославянским словам греческого происхождения выступают в «простой мове» калькирующие их сложные слова, которые по своей структуре могли бы, вообще говоря, расцениваться как славянизмы: противопоставление церковнославянского языка и «простой мовы» выступает в одних случаях как противопоставление книжного и разговорного, в других — как противопоставление греческого и славянского; инвариантной остается противопоставленность двух языков.

Итак, соответствующий параллелизм текстов — церковнославянского и «русского» — имеет место и в этом случае, но в сфере устного общения: «проста мова» выступает как средство интерпретации церковнославянского текста. Точно так же в львовском букваре 1790 г. молитвы на церковнославянском языке сопровождаются следующим предписанием: «Когда отрок послѣдующимъ молитвамъ читати учится... [учитель] должень... сія славенскія реченія простымъ рускимъ языкомъ ему истолковати» (л. В/1 об.). Вообще в богослужебных книгах Юго-Западной Руси церковнославянский текст может сопровождаться пояснениями («рубриками»), руководственными указаниями и всевозможными сопроводительными рассуждениями на «простом» языке (Титов, 1918, с. 227—231; прилож., с. 15; Огиенко, 1931а, с. 201).

Другим показательным признаком ситуации двуязычия является кодификация «простой мовы», выражающаяся, в частности, в том, что она становится предметом обучения. Так, по уставу Могилевской братской школы (1597 г.) учителя «языка и письма словенского, руского, греческого, латиньского и польского... учити повинны» (Акты Зап. России, IV, с. 172). Наряду с обучением появляется и грамматика «простой мовы», а именно грамматика Иоанна Ужевича 1643 г. (Ужевич, 1970); правда, грамматика эта написана на

латыни, и это свидетельствует о том, что кодифицированность «простой мовы» не достигает кодифицированности церковнославянского языка. Вместе с тем элементы кодификации «простой мовы» можно обнаружить уже в грамматике Мелетия Смотрицкого, который переводит отдельные грамматические конструкции на «просту мову», тем самым определенным образом ее кодифицируя.

См., например, устанавливаемые здесь соответствия глагольных времен:

Наклоненія сослагательнаго вида совершенна

Настоящее:	<i>аще бымъ творилъ</i>	<i>гды бымъ чинилъ</i>
Преходящее:	<i>аще быхъ творилъ</i>	<i>гды бымъ былъ чинилъ</i>

Наклоненія сослагательнаго вида учащательна

Настоящее:	<i>аще бымъ творялъ</i>	<i>гды бымъ былъ чинивалъ</i>
Прешедшее:	<i>аще быхъ творялъ</i>	<i>гды бымъ былъ чинивалъ</i>
Мимошедшее:	<i>аще быхъ творялъ</i>	<i>гды бымъ былъ часто чинивалъ</i>
Непредѣльное:	<i>аще быхъ сотворилъ</i>	<i>гды бымъ былъ учинилъ</i>
Будущее:	<i>аще бымъ сотворилъ</i>	<i>гды бымъ учинилъ напотомъ</i>

(Смотрицкий, 1619, л. Р/8-С/1 об., С/6; ср. также л. О/5-О/7 об., П/5 об.-П/8 об., Т/7, У/2).

Любопытно, что при переиздании грамматики Смотрицкого в Москве в 1648 г. формы *гды*, *абымъ* и т.п., поскольку они были чужды разговорной речи московских справщиков, были восприняты как книжные и сохранены в тексте (см. Смотрицкий, 1648, л. 194-197, 205-208 об., 217-219, 224 об., 236 об., 240 об.). Таким образом, формы «простой мовы», которые призваны пояснять церковнославянские формы у Смотрицкого, были переведены в ранг нормативных церковнославянских форм. В условиях диглоссии московские книжники не могли представить себе возможности параллельных церковнославянско-русских текстов.

Наряду с этим, в XVI в. появляются церковнославянско-«русские» словари (чтобы оценить значимость этого явления, достаточно указать, что в великорусских условиях подобные словари появляются только во второй половине XVIII в., ср. ниже § 19.2). Так, к одному из экземпляров Острожской библии 1581 г. приложен рукописный словарь, толкующий церковнославянские слова «просто» (Амфилохий, 1884; Нимчук, 1964, с. 177-194). Другим таким словарем является печатный «Лексис» Лаврентия Зизания, опубликованный в приложении к его букварю 1596 г. (Зизаний, 1596а; Нимчук, 1964, с. 23-89), а также словарь Памвы Берынды, выдержавший два издания (Киев, 1627; Кутейн, 1653); ср. еще рукописные «Синонима славеноросская» (Житецкий, 1889, прилож.; Нимчук, 1964, с. 91-172).

Отметим еще рукописный разговорник собрания Парижской Национальной библиотеки, озаглавленный «Розмова». Рукопись написана параллельно на двух языках, которые обозначены как *popularis* и *sacra*, причем под первым названием выступает «проста мова», под вторым — церковнославянский язык; составителем этого разговорника является, по-видимому, Иоанн Ужевич, уже знакомый нам как автор грамматического описания «простой мовы» (Кайперт, 2001; ср. Жовтобрюх, 1978, с. 191 сл.). Появление подобного разговорника в принципе говорит о возможности использования церковнославянского языка в качестве разговорного; вместе с тем оно отвечает параллельному употреблению церковнославянского языка и «простой мовы».

Югозападнорусские книжники настойчиво подчеркивают достоинство (*dignitas*) «простой мовы». Так, Мелетий Смотрицкий, говоря, что грамматика должна читаться по-церковнославянски и переводиться затем на «руский» язык, т.е. на «просту мову» (см. выше), ссылается в обоснование этого на то, что и библейские книги были переведены в свое время с греческого на церковнославянский язык (Смотрицкий, 1619, предисл., л. 2 об.—3). Иначе говоря, перевод с греческого языка на церковнославянский служит прецедентом, оправдывающим теперь перевод с церковнославянского языка на «просту мову», — тем самым «руский» язык («проста мова») оказывается в том же ряду, что греческий или церковнославянский, по своему достоинству он не уступает церковнославянскому языку. Аналогичным образом в предисловии к Учительному Евангелию, изданному в Евье в 1616 г., Смотрицкий (тогда еще носивший мирское имя Максим) говорит, что текст этой книги при переводе на «язык наш простой Русский» как бы воскрешается из мертвых, подобно тому как в свое время он ожил для славян, будучи переведен с греческого на церковнославянский (Титов, 1918, прилож., с. 329; Карский, 1921, с. 38; Нимчук, 1979, с. 15). Это высказывание подчеркивает равноправное положение «простого русского» и церковнославянского языка и одновременно констатирует, что церковнославянский язык является как бы мертвым. Наконец, и Памва Берында в послесловии к киевской Постной Триоди 1627 г. оправдывает перевод определенных частей Триоди (синаксарей и некоторых других) с греческого «на російскую бесѣду общую», ссылаясь на перевод Евангелия от Матфея с еврейского на греческий язык, а прочих трех Евангелий — с греческого на церковнославянский (Титов, 1918, прилож., с. 178). И в этом случае «российская беседа общая» признается в принципе равноправной греческому или церковнославянскому — мнение, которое в Московской Руси должны были бы счесть кошунством.

Замечательно, что Памва Берында при этом добавляет, что желающие могут читать соответствующие места и по-церковнославянски, если им это угодно, и заключает свое рассуждение словами апостола Павла (I Кор. XIV, 39): «Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками» («Извольяй же в'зем Синаксаріа Словенская прочитавай себѣ, яже удобнѣ имѣти възможеши. Таже, цѣлуемъ [приветствуем] васъ съ Апостоломъ. Ревнуйте же пророчествовати, а еже глаголати ъзыки не възбраняйте» — Титов, 1918, прилож., с. 179). При этом апостол Павел в соответствующем месте противопоставляет пророчество как сообщение людям на понятном им языке глоссолалическому общению не с людьми, а с Богом, и ставит пророчество (проповедь) выше глоссолалии. Тем самым церковнославянский язык приравнивается у Памвы Берынды глоссолалии, и использование «простой мовы» оказывается предпочтительным по сравнению с использованием церковнославянского языка.

Отметим, что выражение «беседа общая» как обозначение «простой мовы» у Памвы Берынды представляет собой, по-видимому, не что иное, как кальку с греческого $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma\ \kappa\omicron\iota\nu\eta\ \gamma\lambda\acute{\omega}\sigma\sigma\eta$: в контексте перевода с греческого — переводчиком с греческого на «простую мову» в киевской Постной Триоди 1627 г. был образованный книжник Т. Л. Земка, известный своими познаниями как в том, так и в другом языке (Отроковский, 1921, с. 9, 11; ср. § 15.3), — церковнославянский язык может ассоциироваться с книжным греческим языком, а «проста мова» — с разговорным греческим. Позиция югозападнорусских книжников непосредственно смыкается при этом с позицией южнославянских книжников, которые также могут калькировать соответствующие греческие выражения, говоря об «общем» или «простом» языке (Лавров, 1899, с. 321, 344–345; Дель-Агата, 1983, с. 92–94; Дель-Агата, 1983а; Дель-Агата, 1984; Петканова-Тотева, 1965, с. 17; Селищев, 1929, с. 166; Василев, 1972, с. 299).

Аналогичный смысл имеет, по-видимому, и наименование церковнославянского языка «славеноросским», которое встречаем у югозападнорусских авторов и, в частности, у того же Памвы Берынды (в заглавии его словаря). Название «славеноросский» или «славеноросский» было образовано по аналогии с названием «еллиногреческий» как наименованием книжного греческого языка: подобно тому как «еллиногреческий» язык противопоставлен «простому» или «общему» греческому языку, «славеноросс(ийс)-кий» противостоит «простому» или «общему» российскому языку; при этом в соответствии с тем, как книжный греческий язык мог называться как «еллинским», так и «еллиногреческим», церков-

нославянский язык мог именоваться как «славенским», так и «славеноросс(ийс)ким».

Совершенно так же великорусские книжники в конце XVII в. — в условиях югозападнорусского влияния (см. § 16.4) — могут говорить о «латиноиталианском» языке (Каптерев, 1891, с. 166; Сменцовский, 1899, с. 309) или «латинопольском» (Шляпкин, 1891, с. 70; ср. Соловьев, VI, с. 521) — видимо, противопоставляя книжный латинский язык «простому» итальянскому или польскому. В то же время они могут называть польский язык «славенопольским» — явно по аналогии со «славенороссийским» (Лызлов, 1990, с. 357–358): форма *словено-* означает в этом контексте статус книжного (литературного) языка.

Итак, языковая ситуация Юго-Западной Руси в принципе может соотноситься не только с польской, но и с греческой языковой ситуацией, хотя соотношение с греческим имеет, вообще говоря, искусственный характер.

В результате легитимации «простой мовы» и признания за ней прав книжного (литературного) языка этот язык не только занимает равноправное положение с церковнославянским языком, но и постепенно вытесняет последний в области гомилетической, агиографической, дидактической и т.п. литературы (Толстой, 1963, с. 254–258; Витковский, 1969, с. 8), иногда вторгаясь и в сферу церковного богослужения. Восставая против этого, Иоанн Вишенский писал: «Евангелиа и Апостола в церкви на литургии простым языком не выворочайте; по литургии ж для зрозумения людского по просту толкуйте и выкладайте. Книги церковные всѣ и уставы словенским языком друкуйте» (Вишенский, 1955, с. 23). Точно так же и униатский архиепископ Иоасафат Кунцевич должен был наставлять священников, чтобы те, читая во время богослужения Евангелие, молитвы или ектении, не переводили церковнославянских слов на «русский» язык, но читали бы, как написано; между тем, учительные Евангелиа и житийные тексты переводить дозволялось: «Кгды тежѣ читают Евангеліе, албо якую молитву в голос, або ектеніи, не мають выкладат словенских словъ по руску, але такъ читати яко написано. учитанное зас Евангеліе або житіе бѣтых читаючи людем, могут выкладати...» (Карский, 1921, с. 143). В конце XVI в. некоторые основатели церквей (ктиторы) могут выдвигать специальное требование, чтобы священники этой церкви и их преемники совершали богослужение именно на церковнославянском языке (Харлампович, 1898, с. 417; Мартель, 1938, с. 98); очевидно, это совсем не было общим правилом.

Показательно, что Кирилл Транквилион-Ставровецкий считает нужным специально объяснять в предисловии к своему «Зер-

цалу богословии» (1618 г.), «для чого покладолос в той книзѣ простый язык и словенскій; а не все по просту» (л. [5]). Фактически о том же идет речь и в предисловии Г. А. Ходкевича к Учительному Евангелию, изданному в 1569 г. в Заблудове Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем (Щепкина, 1959, рис. 12, ср. с. 233). Жанровая обусловленность «простого» языка в гомилетической литературе была настолько велика, что и цитаты из Св. Писания в проповедях нередко давались не в церковнославянской редакции, а в переводе (Титов, 1918, прилож., с. 12–14).

Если вопрос о переводе наиболее важных частей богослужения на «просту мову» оставался дискуссионным, то для каких-то частей церковной службы «проста мова» была принятым языком. Так, чтение на «простом» языке проповедей и синаксарей было широко распространенным явлением (Огиенко, 1930, с. 78–80; Огиенко, 1931, с. 27–28; Перетц, 1929, с. 20–55). Знаменательно, что в 1620-е гг. даже в Киево-Печерской Лавре, которая выступала вообще в качестве оплота церковнославянского языка в Юго-Западной Руси, на этот язык были переведены некоторые церковные молитвы и определенные части богослужения, например, в Постной Триоди 1627 г., где, как уже говорилось, содержится специальное оправдание использования «простой мовы», а также в «Книге о вере» Захарии Копыстенского, изданной около 1620 г. (Титов, 1918, прилож., с. 180–182, 34); в Кратком катехизисе Петра Могилы и Исайи Козловского, изданном в Киево-Печерской Лавре в 1645 г., на «просту мову» переведены Отче наш и заповеди (Голубев, II, прилож., с. 432–469).

Так, в «Книге о вере» возглас священника перед чтением Отче наш на литургии дается в таком переводе: «Здари намъ Пане доброволне и без наганы взывати тебе небного Ба Оца мовячи: Оче нашъ, который естес[ь] на нбсехъ...» (с. 92 второй пагинации; Титов, 1918, прилож., с. 34). Ср. принятый церковнославянский текст: «И сподоби насъ, Владыко, со дерзновениемъ неосужденно смѣти призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати: Отче нашъ, Иже еси на небесѣхъ». Здесь же представлен и Символ веры в переводе на «просту мову» (с. 165–167 первой пагинации).

Тенденция распространить «просту мову» на богослужебные тексты наглядно проявляется, между прочим, при перепечатке во Львове в 1646 г. Краткого катехизиса Петра Могилы и Исайи Козловского. Львовское издание, вообще говоря, довольно точно воспроизводит киевское. Тем более показательно, что текст Символа веры, который в киевском издании приводится по-церковнославянски, во львовской перепечатке дается отчасти в переводе на «просту мову». Так, если в киевском издании 3-й член Символа веры представлен в следующем виде: «Насъ дѣля члѣвъ, и нѣшего ради сѣбеніа съшедшаго съ нбсъ, и въплотившагося от Дѣа Сѣа, и Мріа Дѣвы, и въчловечшася», — то во львовском издании этот же

текст читается таким образом: «который для нас Члковъ и для на-
шег[о] спсѣнія з'ступилъ з' нба, и тѣло принял от Дха Сгого из'
Мріи Дбы и Члком' статься» (Голубев, II, прилож., с. 380). Приве-
дем для сравнения тот же член Символа веры из «Книги о вере»
Захарии Копыстенского: «Который для насъ чловѣковъ и для на-
шего збавенія зышоль з' небесъ и втелился з' Духа святог[о] и Маріи
Дѣвици...» (с. 165).

В богослужебных книгах Юго-Западной Руси могут даваться и
указания об использовании в церкви «простой мовы». Так, напри-
мер, в той же киевской Постной Триоди 1627 г. говорится: «Вѣстно
же, яко от сеа ^Дили начинаем чести Діалектом домаш-
ним, по отпустѣ Литіи в' Притворѣ Катѣхизас, си ест оглашенія
ст. бца Θεодора Студита. И аще ту ест Игумен, чтутся от него, ащеж
ни, то от Екклісіарха...» (с. 15). В киевском Требнике Петра Моги-
лы 1646 г. мы читаем в разделе, посвященном последованию вен-
чания: священник «впрашаєть жениха... Рускимъ языкомъ,
глаголя: Маєш' Имк' неотмѣнный и статечный умысл' заручити
собѣ тепер тую Имк' которую тут перед собою видиш' в' стан'
Малженскій» (ч. I, с. 397). И далее: «По скончаніи... Слова, впра-
шаєть Іереи Жениха Рускимъ языкомъ, глаголя: Маєш'
Имк' волю добрую и не принушону и постановлений умыслъ
поняти собѣ за малжонку тую Имк' которую тутъ передъ собою
видишъ» (с. 407); «Женихъ... свойственнымъ Рускимъ
языкомъ глєть, рекшу Іерею: мовъ за мною [т.е. после того,
как священник говорит жениху: "повторяй за мной"]»: а Имк' беру
собѣ тебе Имк' за малжонку и шлюбую тобѣ милост, вѣру и учти-
вость малженскую...» (с. 416).

§ 15.5. Упадок знания церковнославянского языка в Юго-Западной Руси. Поскольку «проста мова» вытесняет церковнославянский язык, знание церковнославянского языка в Юго-Западной Руси приходит в упадок; это естественно при двуязычии, где имеет место не функциональный баланс языков, а их конкуренция. Правда, поскольку этот язык может культивироваться в ученых кругах, им больше здесь занимаются, чем в Московской Руси: именно здесь появляется наиболее полное описание церковнославянской грамматики (Мелетия Смотрицкого). Тем не менее вне этих кругов его знание становится все более и более ограниченным. Итак, хотя в условиях двуязычия на употребление церковнославянского языка не накладывается специальных ограничений, как это имеет место при диглоссии, владение им распространено в существенно меньшей степени, чем при диглоссии.

О слабом знании церковнославянского языка в Юго-Западной Руси в XVI–XVII вв. имеем прямые свидетельства современников (см. Засадкевич, 1883, с. 19 сл.; Архангельский, 1888, с. 8–9; Карский, 1896, с. 4–7; Харлампович, 1898, с. 417 сл.; Харлампович, 1924, с. 14 сл.; Титов, 1918, с. 281–282; Огиенко, 1929, с. 534 сл.; Огиенко, 1930, с. 93 сл.; Мартель, 1938, с. 68 сл.). Нередко польский язык оказывается здесь более доступным для понимания, чем церковнославянский. Характерно, например, что когда князь Курбский послал князю Константину Острожскому — известному ревнителю православия — «Беседы Иоанна Златоуста», переведенные Курбским на «вождельный и любимы, праотец... прирожденный язык словенский», князь Константин, высоко оценив присланный перевод, «лѣпшаго ради выразумѣнія на Польшизну приложити далъ» (РИБ, XXXI, стлб. 412–413). Ср. сходное свидетельство Петра Скарги: по его словам, когда православные священники хотят понять церковнославянский текст, они отдают его для перевода на польский язык (РИБ, VII, с. 486); по-видимому, такая практика была достаточно обычной в Юго-Западной Руси. Митрополит Михаил Рагоза в послании 1592 г., которое мы уже цитировали выше, сетует на то, что «Ученіе святых писаній зѣло оскудѣ, паче же Словенскаго Россійскаго языка, и вси челоувѣцы приложишася простому несъвершенному Лядскому [т.е. польскому] писанію...» (Акты Зап. России, IV, стлб. 42, № 32). В середине XVII в. игумен Исайя Трофимович Козловский констатировал, что многие православные священники, не понимая церковнославянских книг, обращались к книгам «на польском, легком для понимания языке» (Титов, 1918, с. 281–282). О том же говорится в униатском церковнославянско-польском лексиконе, изданном в Супрасле в 1722 г., в предисловии к которому мы встречаем сетования о том, что «сотный Іерей едва славенскій разумѣть языкъ, невѣдая что чтеть в божественной службѣ». Это обращение к польским книгам, собственно говоря, и вызывает появление переводов на «просту мову», которая выступает в той же функции, что и польский язык.

В свете приведенных высказываний обращает на себя внимание то обстоятельство, что составленный Исайей Козловским совместно с Петром Могилой Краткий катехизис был первоначально издан в Киево-Печерской лавре именно по-польски (см. § 15.4). Особенно показательны в этом отношении богослужебные книги на польском языке, издающиеся в Юго-Западной Руси для православного населения, — такова Псалтырь, изданная монахами виленского Святодуховского монастыря в переводе с церковнославянского языка на польский: *Psalterz Бл҃женнаго Прѣка й Цр҃а Дѣда: z Graeckiego na Słowien̄ski á z Słowien̄skiego na Polski język przelożony. Приданы сѣтъ й величѣа на прѣднѣи Гд҃іа Б҃гродичны й всѣмъ Сѣтымъ*.

Соответственно, в предисловиях к церковнославянским словарям, так же как и к переводам духовной литературы на «простую мову», мы регулярно встречаем ссылку на слабое знание церковнославянского языка, которое и мотивирует появление подобного рода книг. «Широкий и великославный языкъ Славенскій... — писал, например, Памва Берында в посвящении к своему словарю 1627 г., — трудности... словъ до вырозумѣня темныхъ многи в' собѣ мае', зачимъ и самаа цѣрквъ Россійскаа многимъ власнымъ сыномъ своимъ в' огиду [т.е. в противность] приходитъ» (Берында, 1627, предисл., л. 2). Точно так же в предисловии к Учительному Евангелию 1569 г. (так называемому Евангелию Ходкевича) говорится о замысле издателя «сию книгу, вырозумения ради простыхъ людей преложити на просту молву» (Щепкина, 1959, рис. 12, ср. с. 233). В одном из следующих изданий Учительного Евангелия (Евъе, 1616) в предисловии (написанном М. Смотрицким) отмечается, между прочим, «незнаемость и неуметность языка словенского многих», чем и оправдывается переложение текста «на язык наш простой русский», ср.: «Теперъ зась (през незнаемость и неумѣтность языка Словенсково многих) многимъ мало потребен и непожиточен ставшися, знову переложенемъ его на языкъ нашъ простой Русскій, ꙗкобы змертвыхъ вскрешон... А за тымъ тотъ который тыхъ часовъ хотѣ в' зацнѣйшомъ, пенкнѣйшомъ, звязнѣйшомъ, суптелнѣйшомъ и достаточнѣйшомъ языку Словенскомъ, презъ неспособность слухачовъ, не многимъ пожиточенъ былъ: теперъ тотъ в' подлѣйшомъ и простѣйшомъ языку, многимъ, албо рачей всѣмъ Руского языка ꙗко колвекъ умѣтнымъ, потребенъ и пожиточенъ быти мogle» (Титов, 1918, прилож., с. 329). Равнымъ образом в предисловии «До читальника» к «Духовнымъ беседамъ» Макария Египетского, «з грецкого на руский языкъ ново преложенымъ» (Вильна, 1627), сообщается, что переводчики много трудились над переводомъ данной книги на «простую рускую мову», так как «словенский языкъ» многие считаютъ труднымъ и непонятнымъ. Ссылку на понимание «простыхъ» людей — чтобы «всякий человекъ простой и посполитый, чтучи ихъ [книги] или слухаючи можетъ поразумети что есть потребно к душному спасению его» — еще ранее можно найти у Франциска Скорины (Скорина, 1969, с. 62), Библия которого — изложенная, по собственному его выражению, «русскими словами [т.е. кириллическими буквами], а словенскимъ языкомъ» (тамъ же, с. 11, 154) — представляетъ собой не перевод на «простой» языкъ, а результатъ сознательнаго упрощения церковнославянскаго языка.

Ссылки на недоступность церковнославянского языка для «простых» людей не имеют в виду неграмотное население. Что касается словарей типа лексиконов Лаврентия Зизания или Памвы Берынды, то они вообще были предназначены исключительно для образованных людей и в первую очередь, видимо, для клириков. Вместе с тем, и переводы духовной литературы предназначаются для тех, кто недостаточно владеет церковнославянским языком, — прежде всего, по-видимому, имеется в виду православная шляхта (мещанство в большей степени знало церковнославянский язык, поскольку он преподавался в братских школах — братства же были городскими ремесленными корпорациями).

Уместно отметить в этой связи, что и переводы с латинского на польский могут мотивироваться необходимостью «простого» языка для «простых людей» (см., например: Клеменевич, II, с. 25, 29), что совсем не обязательно предполагает ориентацию на низшие социальные слои. «Простой человек» выступает в подобном контексте как калька с *homo rusticus*, т.е. означает человека, не владеющего книжной латынью. Именно в этом смысле эпитет «простой» прилагается как к польскому языку, так и к его функциональному корреляту — «простой мове». Итак, подобно тому как выражение *homo rusticus* определяет смысл выражения *lingua rustica*, «простой язык» оказывается соотнесенным с «простыми людьми».

Необходимо в то же время подчеркнуть, что заявления представителей югозападнорусской культуры о непонятности церковнославянского языка, о недостаточном знании его ориентируются на западную концепцию знания языка и понимания текста. В этой концепции, восходящей к Ренессансу, понимание текста предполагает возможность его интерпретации (пересказа своими словами), а знание языка — активное им владение. Между тем в условиях диглоссии неконвенциональное отношение к языковому знаку в принципе исключает перевод как интерпретацию текста; толкование текста, его филологическая критика здесь очень ограничены; одновременно основным типом знания церковнославянского языка является при диглоссии пассивное владение этим языком. Таким образом, то, что при диглоссии считается знанием, при двуязычии знанием не считается. Двуязычие приводит, с одной стороны, к упадку знания церковнославянского языка (поскольку «проста мова» успешно с ним конкурирует и постепенно вытесняет его на периферию), с другой же стороны — к переосмыслению самой системы требований, предъявляемых к литературному языку.

Противопоставленность указанных концепций и лежит в основании конфликта между культурами Московской и Юго-Западной Руси. С югозападнорусской точки зрения, в Московской Руси учат

не читать книги. Так, в югозападнорусском предисловии к сочинениям Иоанна Дамаскина говорится: «А Бга ради не потакаем безумным, пачеж лукавым мнящимся быти учителями, паче же прелестником, нако сам аз от них слышах еще будучи во оной русской земли под державою московского цря. Глють бо они прелшаючи юношъ тшаливых к науце хотящих навывати писанія, понеже во оной земли еще многие обрѣтаются пекущиеся о своем бѣсеніи, и с прешеніем заповѣдывают им глюще не читайте книг многих и указуют на тѣх, кто ума изступил, и онсица во книгах зашолся, а онсица въ ересь впал» (Востоков, 1842, с. 557, № 376). Эти слова принадлежат Курбскому (ср. Айзман, 1972, с. 17–18), но Курбский выступает в данном случае как представитель югозападнорусской культуры, ср. примечание Курбского на полях перевода Иоанна Дамаскина: «Сія ерес[ь] в Московской землі носится между нѣкоторыми безумными, блядословят бо, непотреба рече книгам много учітис[я] понеж[е] в книгах заходятся чловѣцы, сиреч, безумеют або в ерес[ь] упадают» (Архангельский, 1888, прилож., с. 121). То же говорит и другой эмигрант из Московской Руси — старец Артемий — в «Послании к царю»: «И ина словеса глаголются от нѣкихъ мнящихся быти учителей: “грѣхъ простымъ чести апостоль и евангеліе”! И мнози отъ ненаказанныхъ боятся и въ руки взяти. И паки: “не чти много книгъ, да не во ересь впадеши”! И аще кому прилучится недугъ, отъ негоже чловѣкъ естественнаго смысла испадеть, тоже прелшающе глаголютъ: “зашелся есть в книгахъ”!» (РИБ, IV, стлб. 1283–1284). Подобные высказывания можно сопоставить с фразой из письма XVI в. о «нелюбках (неприязни) старцев Кириллова и Иосифова монастырей»: «Мнение — второе падение... Всем страстям мати — мнение» (Иосиф Волоцкий, 1959, с. 369).

Часть III

**ТРЕТЬЕ
ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ
И РАЗРУШЕНИЕ ДИГЛОССИИ
В МОСКОВСКОЙ РУСИ**

§ 16. Югозападнорусское влияние на великорусскую книжную традицию

§ 16.1. Общий характер третьего южнославянского влияния. Как это ни парадоксально, значение «простой мовы» для истории русского литературного языка не меньше, если не больше, чем значение этого феномена для истории украинского и белорусского литературных языков. Действительно, «проста мова» не оказала почти никакого влияния на современные украинский и белорусский литературные языки. Однако на историю русского литературного языка «проста мова» как компонент югозападнорусской языковой ситуации оказала весьма существенное влияние. Достаточно указать, что если сегодня мы говорим об антитезе «русского» и «церковнославянского» языков, т.е. о «русском» языке как об антиподе «церковнославянского», то мы следуем именно югозападнорусской, а не великорусской традиции, принимая номенклатуру обозначений, отражающую языковую ситуацию Юго-Западной Руси XVI–XVII вв. (ср. § 15.2).

Это связано с тем, что называется иногда «третьим южнославянским влиянием», т.е. влиянием книжной традиции Юго-Западной Руси на великорусскую книжную традицию в XVII в. Третье южнославянское влияние — термин в известной мере условный, поскольку само название «южнославянское» имеет в виду южных славян не в этническом, а в географическом смысле (равным образом условным является и термин «русский», который со временем меняет свое содержание).

Таким образом, если в случае первых двух южнославянских влияний речь шла о влиянии балканских славян, в данном случае речь идет о влиянии представителей Юго-Западной Руси. Тем не менее, применение этого термина представляется удобным и в целом оправданным, поскольку третье южнославянское влияние обнаруживает разительное сходство с первыми двумя. И это влия-

ние обусловлено стремлением к восстановлению единого литературного языка православного славянства. Оно, так же как и предыдущие, определяется ориентацией на греческую культуру, причем югозападнорусская традиция выступает как авторитетный — с великорусской точки зрения — посредник в греческо-русских культурных контактах; тем самым, третье южнославянское влияние приводит к новой волне эллинизации русской книжности. Субъективная ориентация на греков приводит, как и раньше, к объективной роли языка-посредника. Соответствующее восприятие югозападнорусской традиции определяется тем, что в Юго-Западной Руси поддерживаются контакты с греками, что и естественно в условиях подчинения киевской митрополии константинопольскому патриарху (§ 13.1).

Третье южнославянское влияние проявилось прежде всего в книжных реформах патриарха Никона в середине XVII в. Таким образом, как и второе южнославянское влияние, третье южнославянское влияние непосредственно связано с книжной správой. Никоновская и послениконовская книжная справа существенно изменила облик церковнославянского языка великорусского извода, приблизив его к югозападнорусскому изводу. Старая традиция великорусского церковнославянского языка сохраняется у старообрядцев. Вообще никоновские реформы разделили русское общество на старообрядцев и новообрядцев (никониан). Следует подчеркнуть, что если второе южнославянское влияние связано одновременно со стремлением к эллинизации и к архаизации (оба эти стремления органически сливаются в данный период, см. § 9.3), то в эпоху третьего южнославянского влияния эти два стремления разобщены. Одна часть общества, а именно новообрядцы, является сторонниками эллинизации, другая часть, т.е. старообрядцы, — архаизации. Поскольку старообрядцы оказываются в оборонительной позиции, поскольку им принадлежит пассивная, а не активная роль, они прежде всего призывают к сохранению старины, а не к ее восстановлению, и, тем самым, фактически (объективно) оказываются скорее консерваторами, чем архаизаторами. Старина для них важна как оправдание их традиции и доказательство неправоты никониан. Тем не менее, если не на практике, то в идеологии (субъективно) они именно архаизаторы.

Консерватизм старообрядцев определяется их ориентацией на текст: древнейший перевод Св. Писания (на церковнославянский язык) служит для них, как и для многих предшествующих поколений славянских книжников, безусловным авторитетом в лингвистических вопросах. Иную позицию занимают новообрядцы, сторонники никоновских реформ. Для них древнейший перевод Св. Писания есть не абсолютный образец правильного текста, а то, что

подлежит изменению и совершенствованию (об этом прямо заявляет Афанасий Холмогорский в своей полемике со старообрядцами — Афанасий Холмогорский, 1682, л. 271 об.—272). Акцент делается при этом на грамматической правильности, которая призвана обеспечить адекватную передачу греческого текста Св. Писания в церковнославянском переводе. Таким образом, изменение отношения к первоначальному переводу Св. Писания может рассматриваться как развитие той ориентации на активное грамматическое употребление, о которой шла речь выше (§ 14.2). Совершенствование текста может идти при этом по целому ряду параметров и предполагает его обновление. Реформаторы церковнославянского языка могут подчеркивать свое критическое отношение к традиционному тексту. Так, в предисловии к Евангелию, переведенному Епифанием Славинецким во второй половине XVII в. (автором предисловия обычно считают чудовского инока Евфимия, о котором нам придется говорить ниже, см. Соболевский, 1903, с. 289—291; Флоровский, 1950, с. 103), обосновывается необходимость отказа в целом ряде случаев от традиционного словоупотребления. Например, по поводу аористной формы *чухъ* (Лк. VIII, 46) здесь говорится: «Чухъ въ Луки сѣго еѵѣлиста еѵѣліи в' главѣ ѿ с^х мѣ, реченіе велми грубое. Чухъ, у простаго бо всего народа, наипаче у поселянь знаменующе гласъ призванія животныхъ, свиней» (ГБЛ, ф. 310, №1291, л. 9); соответственно, предлагается использовать вместо данной формы форму *познахъ* или *разумѣхъ*. Здесь же критикуется употребление глагола *лаяти* в значении «подстергать» (Лк. XI, 54), а также *чесати* в значении «собирать плоды» (Лк. VI, 44) (л. 8 об.—9 об.). Таким образом, значение слова в церковнославянском языке не выводится из его употребления в авторитетных переводных текстах, а закрепляется за словом постоянно, вне зависимости от традиции книжного употребления. Очевидно, что такой подход непосредственно связан с активным употреблением церковнославянского языка, когда необходимо исходить из лексикографического значения того или иного слова, а не толковать отдельные случаи его употребления.

В результате книжных реформ патриарха Никона и его последователей на великорусской территории может кодифицироваться югозападнорусский вариант церковнославянского языка. Знаменательно, что когда Федор Поликарпов (великорус по происхождению) переиздает в 1721 г. грамматику Смотрицкого, он кладет в основу своей публикации первое издание этой грамматики, вышедшее в Юго-Западной Руси в 1619 г., а не второе московское издание 1648 г., специально отредактированное московскими справщиками и приведенное ими в соответствие с великорусской нормой церковнославянского языка (в «ковычном» экземпляре граммати-

ки Смотрицкого 1619 г., о котором мы упоминали выше, наряду с пометами московских справщиков, работавших над ее переизданием в 1648 г., представлен и другой слой правки, принадлежащий Поликарпову и отражающий работу над изданием 1721 г.; см. § 13.4). Равным образом и Тредиаковский учился церковнославянскому языку по югозападнорусской грамматике, а именно по грамматике 1638 г., изданной в Кременце и представляющей собой в свою очередь сокращение грамматики Смотрицкого 1619 г. (экземпляр этой грамматики, собственноручно переписанный Тредиаковским в 1721 г., находится в собрании ГИМ, Чертк. 337, см. Успенский, 2001, с. 246–247). Вместе с тем и ранее книжники-никониане могли ориентироваться на югозападнорусское, а не на московское издание грамматики Мелетия Смотрицкого. Так, отвечая на критику старообрядцев, протестующих против замены словоформы *тельца* на *тельцы* в заключительной фразе 50-го псалма («тогда возложат на altarь твой тельца»), Симеон Полоцкий мотивирует эту замену тем, что форма *тельца* восходит к форме *тельця*, которую он рассматривает как форму винительного падежа мн. числа, вариантную к *тельцы*. При этом он ссылается на грамматику Смотрицкого, где в качестве вариантных форм вин. падежа мн. числа даются *отцы* и *отця*. «Сей убо падеж винительный множественный кончащийся на *ця* неискуснии списателие измѣниша на *ца*, и тако сотвориша винительный падежъ единственного числа» (Симеон Полоцкий, 1667, л. 146). Однако Симеон Полоцкий ссылается именно на первое издание грамматики Смотрицкого, где, действительно, приводятся варианты формы *отцы* и *отця*; между тем в московском издании Смотрицкого формы с флексией *-я* исключены из числа нормативных (Сиромаха, 1979, с. 9). Таким образом, именно это издание оказывается авторитетным для никонианских книжников.

Поскольку второе южнославянское влияние было более органично усвоено в Юго-Западной Руси (§ 13.4), третье южнославянское влияние может рассматриваться как регенерация на великорусской территории второго южнославянского влияния: то, от чего в Московской Руси отказались, приходит вновь через соседнюю традицию. Дьякон Федор (известный старообрядческий деятель середины XVII в.) ссылается на уверения никоновских справщиков, утверждающих, что они пользовались книгами сербской редакции при исправлении русских книг (Субботин, VI, с. 33, 148–150). Действительно, в ковычных (корректирных) экземплярах книг, правленных при патриархе Никоне, можно встретить ссылки на сербские служебники (венецианские издания Божидара Вуковича), такие ссылки мы встречаем в ковычном экземпляре первоисправленного нико-

новского служебника 1655 г. (Дмитриевский. О исправлении книг., л. 3, 14, 16 об.). Таким образом, южнославянские книги были авторитетны для никоновских справщиков. Не менее показательна апелляция к высказываниям митрополита Киприана в сочинении «О исправлении в преждепечатанных книгах Минеах» (1692 г.) известного справщика, чудовского инок Евфимия (см. изд.: Никольский, 1896, с. 61–62; относительно авторства Евфимия см.: Браиловский, 1898; Сиромеха, 1979, с. 12–13; Протасьева, 1980, с. 164).

§ 16.2. Культурно-исторические предпосылки третьего южнославянского влияния. Грекофильство и украинофильство приобретают особую актуальность в связи с государственной политикой царя Алексея Михайловича (следует иметь в виду, что именно царю Алексею Михайловичу, а не патриарху Никону принадлежит основная роль в культурных реформах этого периода — Каптерев, I–II). Алексей Михайлович продолжает те тенденции, которые были усвоены в период второго южнославянского влияния: он осознает себя царем всего православного мира, естественно, ориентируясь при этом на византийский образец. Такой взгляд может рассматриваться как развитие идеи Москвы — Третьего Рима. Если, однако, ранее эта идея связывалась с культурным изоляционизмом, то теперь она связывается с универсализмом, т.е. предполагается единая культурная норма для всего православного мира.

Это изменение идеологии предполагает изменение отношения к грекам. После Флорентийской унии (1439 г.) греки стали рассматриваться как повредившиеся в вере, от них надо было отмежеваться (§ 13.1). С этим связано установление автокефалии русской церкви (1461 г., см. Успенский, 1998, с. 232–233). Процесс церковного обособления был завершен учреждением патриаршества в России (1589 г.). С учреждением патриаршества Московское царство получило ту же структуру, что и Византийская империя, — Византийская империя как бы целиком переместилась в границы Московской Руси. Эта концепция подчеркивала религиозную и политическую самодостаточность Московской Руси и вела к культурному изоляционизму.

Со стабилизацией русской государственной власти в середине XVII в. политические концепции меняются. Политическая программа царя Алексея Михайловича предполагала создание православной империи, выходящей за рамки Московской Руси. Соответственно, православный мир не замыкался для него в Московском царстве, но снова — по крайней мере, в идеале — приобретал масштабы Византийской империи; во главе этой империи призван был теперь стоять не константинопольский василевс, а московский царь. При этом современные Алексею Михайловичу греки представля-

лись ему носителями византийской традиции. При изменившемся взгляде на греков создается парадоксальная ситуация: русский царь стоит во главе православного мира, тогда как русская церковь в силу своих традиций и обычаев занимает в нем периферийное положение. Иначе говоря, осознается несоответствие между политическим и культурным местом России в православном мире. Культурные реформы времен Алексея Михайловича и призваны это несоответствие исправить.

Эти различия в культурных тенденциях периода второго и периода третьего южнославянского влияния — при общей для них ориентации на Византию — обусловлены и разницей исторической ситуации. После Флорентийской унии и падения Константинополя имеет место полемика с греками о месте и значении Руси в православном мире. Постепенно Москва добивается признания своего доминирующего положения. Поскольку Русь занимает центральное положение в православном мире, эта полемика перестает быть актуальной. Алексей Михайлович согласен признать ведущую роль восточных патриархов в культурно-религиозной сфере, поскольку его роль как единственного православного монарха в церковно-государственной сфере представляется теперь несомненной.

Ориентация Алексея Михайловича на византийского василевса проявляется в целом ряде аспектов. Так, например, Алексей Михайлович выписывает из Константинополя яблоко и диадему, сделанные «против образца благочестивого греческого царя Константина» (Барсов, 1883, с. 138). При Алексее Михайловиче царя начинают титуловать святым, как это было принято в Византии. До этого так могли называть русского царя или великого князя только греческие иерархи, но не сами русские (Савва, 1901, с. 147; Живов и Успенский, 1987/1996, с. 235–239). Византинизация царской власти обусловливает и изменение чина венчания на царство, который приближается к византийскому. Со времени Федора Алексеевича (1676 г.) царь при венчании причащается в алтаре по священническому чину, как это делали византийские императоры (Успенский, 1998, с. 153–161). Как подражание деятельности византийских императоров может быть рассмотрено и издание Уложения (1649 г.), т.е. официальное введение нового свода законов (Живов, 1988, с. 67). Такое введение нового законодательства характерно и для многих византийских императоров (Феодосий Великий, Юстиниан, Лев и Константин и т.д.).

Итак, византинизация царской власти при Алексее Михайловиче обусловливает византизацию всей русской жизни. Москва должна стать не только политическим, но и культурным центром всего православного мира. Эта византизация создается в ущерб

старой московской традиции. При этом московская церковная традиция также имеет византийские корни и может сохранять те византийские обряды, которые претерпели изменение у самих греков. Так обстоит дело, например, с двуперстным крестным знаменем. Как известно, вопрос о крестном знамении был одним из основных моментов, обусловивших раскол русской церкви: двуперстное знамение было усвоено в свое время от греков, т.е. было принято в Византии, однако позднее оно было там заменено троеперстным (Каптерев, 1913, с. 73 сл., 231 сл.; Голубинский, II, 2, с. 470—476; что же касается троеперстия, то оно, по-видимому, приходит на Русь со вторым южнославянским влиянием, § 9.3); таким образом, старообрядцы, которые сохраняют двуперстное крестное знамение, продолжают исконную византийскую традицию. Между тем, новообрядцы (последователи патриарха Никона), ориентируясь на современные им греческие обряды, принимают троеперстное знамение, а старое двуперстное знамение рассматривают как местное нововведение. Существенно, что троеперстное крестное знамение было в какой-то мере принято в XVII в. не только у греков, но и в Юго-Западной Руси (ср. свидетельства Павла Алеппского и Арсения Суханова: Павел Алеппский, III, с. 137; Белокуров, II, с. 39), что и естественно ввиду подчинения Юго-Западной Руси константинопольской церкви (напротив, в Московской Руси троеперстие было осуждено Стоглавым собором 1551 г.). Таким образом, югозападнорусское влияние неотлично в данном случае от греческого.

На примере крестного знамения мы видим, что о византинизации приходится говорить лишь условно: речь идет об ориентации на Византию, но поскольку Византии к этому времени уже не существовало, современные греки воспринимались как носители византийской культурной традиции. В результате усваиваемые формы и нормы могли очень существенно отличаться от византийских, и это особенно заметно в области церковной культуры. Так, русское духовенство при патриархе Никоне переодевается в греческое платье и вообще уподобляется в своем облике духовенству греческому (переодевание духовенства в греческое платье при Никоне предшествует переодеванию гражданского русского общества в западноевропейское платье при Петре I). Однако новая одежда русского духовенства соответствует при этом не той одежде, которую греческие духовные лица носили в Византии, а той, которую они начали носить при турках, после падения Византийской империи: так появляется камилавка, форма которой восходит к турецкой феске, и ряса с широкими рукавами, также отражающая турецкий стиль одежды. Вслед за греческим духовенством русские священнослужители и монахи начинают носить длинные волосы. Однако греческое духовенство в Османской империи носило длинные

волосы не потому, что так было принято в этой среде в Византии, а по другой — противоположной причине. Длинные волосы в Византии были знаком светской, а не духовной власти, и греческие священнослужители стали носить их только после турецкого завоевания — поскольку на Константинопольскую патриархию в Османской империи была возложена административная ответственность и таким образом священнослужители оказались облечены светской властью (см. Мейендорф, 1991, с. 55). В результате исчезает тонзура, принятая в свое время в Византии; на Руси тонзура (“гуменцо”) была принята до никоновских реформ (позднее она сохраняется у старообрядцев).

§ 16.3. Начало югозападнорусского влияния. Как и в случае второго южнославянского влияния, третье южнославянское влияние началось с обращения к греческой культуре: непосредственное обращение к греческой традиции в обоих случаях сменяется привлечением соседней славянской традиции в качестве посредника. Второе южнославянское влияние началось с появления грецизированных текстов типа Чудовского Нового Завета (§ 9.3). Третье южнославянское влияние начинается с грекофильских настроений в 1640-е гг. Подобные настроения характерны для кружка московских «боголюбцев» во главе с протопопом Стефаном Вонифатьевым, духовником царя Алексея Михайловича (с 1645 г.) и настоятелем московского Благовещенского собора. В этот кружок входили лица, которые впоследствии оказались в разных лагерях при расколе русской церкви, а именно Аввакум и Иоанн Неронов, ставшие апологетами старообрядчества, и будущий патриарх Никон. Важную роль в этом кружке играл боярин Федор Ртищев, активный грекофил. В 1649 г. по благословению Стефана Вонифатьева царь обращается к киевскому митрополиту с просьбой прислать в Москву сведущих в книжном деле людей, которые были бы «Божественного писания ведущи и еллинскому языку навичны», «для справки Библии греческие на словенскую речь», т.е. для приведения церковнославянской Библии в соответствие с греческим текстом. В Москву приезжают Епифаний Славинецкий и Арсений Сатановский, позднее, в 1650 г., к ним присоединяется Дамаскин Птицкий. Еще до этого, в 1640 г., киевский митрополит Петр Могила в грамоте к царю Михаилу Федоровичу предлагал соорудить в Москве особый монастырь, в котором бы киевские старцы обучали русских юношей (детей боярских и простого чина) «греческой и славянской грамоте» (Архив Ю.-З. России, III, стлб. 39, 47, №№ 33, 44; Соловьев, V, с. 458; Белокуров, 1888, с. 24–25) — киевские монахи мыслились как естественные учителя греческой грамоты. Ртищев устраивает в 1648 г. в двух верстах от Москвы Ан-

древесный училищный монастырь, заселив его югозападнорусскими монахами, которые преподают греческий язык. В частности, и сам Ртищев учит греческий язык, и характерно, что это вызывает протесты в Москве. Так, в 1650 г. москвичи «меж себя шептали: учиться де у киевлян Федор Ртищев греческой грамоте, а в той де грамоте и еретичество есть» (Каптерев, 1913, с. 145). Это обучение строилось по принятым в Юго-Западной Руси моделям — монахи Андреевского монастыря учили «грамматике славенской и греческой, даже до риторики и философии» (ср. § 14.5 об отношении к риторике и философии). Наряду с этим, выходцы из Юго-Западной Руси учили и латыни, но преподавание латыни на первых порах вызывает сопротивление (Каптерев, там же). Ртищев не только приглашает югозападнорусских ученых, но и посылает москвичей завершать свое образование в Киев (там же, с. 146).

По непосредственной инициативе Стефана Вонифатьева (Каптерев, I, с. 17—18) в Москве в 1640-е гг. переиздаются югозападнорусские книги, как, например, «Кириллова книга» (1644 г.), грамматика Смотрицкого (1648 г.), Краткий Катехизис Петра Могилы (опубликован в 1649 г. в сборнике «Собрание краткия науки об артикулах веры»). В Кормчую книгу, изданную в Москве в 1650 г., была включена статья «о тайне супружества», взятая из Требника Петра Могилы 1646 г. (Павлов, 1887). В этот же период в Москве издается «Книга о вере» (1648 г.), приписываемая игумену киевского Михайловского монастыря Нафанаилу; хотя игумен с таким именем неизвестен (предполагают даже, что это вымышленная фигура), югозападнорусское происхождение данной книги не оставляет никаких сомнений — она действительно восходит к сочинению какого-то киевского автора (Роте, 1983, с. 421—422). Не случайно наиболее строгие старообрядцы в дальнейшем не принимают последних книг «иосифовской печати», т.е. книг, изданных при патриархе Иосифе (предшественнике Никона) в последние годы его правления.

Югозападнорусские книги начинают играть определенную роль в книжной справе. Так, в послесловии к Учительному Евангелию 1652 г. справщики отмечают, что они пользовались для «свидетствования и справления» и книгой острожской печати. Это предвосхищает широкое обращение к югозападнорусским книгам в процессе никоновской и послениконовской sprawy. Об авторитете югозападнорусских книг свидетельствует такой эпизод. В 1649 г. красноярский воевода Михаил Дурново присылает в Сибирский приказ «отписку», в которой сообщает: «В нынешнем, государь, во 157-м году, объявился внове еретик — сын боярской Елизарий Розинков: чернил псалтырь, печать московскую, в Давидовых псалмах и в песнях пророческих, во многих статьях и приписы-

вал...» В своем объяснении Розинков между прочим отвечал: «...псалтырь была в речах неисполнена и я... исполнял — чернил и приписывал, а расколу во псалтыри никакова не сделал». При этом «приписывал» Розинков в московской псалтыри «с литовския псалтыри»; иначе говоря, он правил московское издание Псалтыри по соответствующему изданию Юго-Западной Руси (Оглоблин, 1892, с. 682). Как мы увидим, Розинков оказывается провозвестником никоновских реформ.

Югозападнорусское влияние сказывается в это время и на оформлении книги (см. Киселев и Немировский, 1964, с. 56–58). Уже в 1641 г. появляется первая московская печатная книга с титульным листом (канонник печати В. В. Бурцева), затем титульный лист мы видим в 1649 г. в «Собрании краткия науки об артикулах веры» и в «Учении и хитрости ратного строения пехотных людей»; в югозападнорусских книгах титульный лист был принят начиная с острожских изданий Ивана Федорова. Широкое применение титульного листа начинается лишь с 1660 г. и объясняется тем же югозападнорусским влиянием. При патриархе Иосифе публикуется сборник его поучений под его именем (1642 г.) — вещь, дотоле неслыханная, поскольку ранее авторское имя могло стоять только на произведениях отцов церкви (ср. § 5.1). В дальнейшем, с 1660-х годов, указываются и переводчики (Арсений Грек, Епифаний Славинецкий).

Наряду с выходцами из Юго-Западной Руси в Москву приезжают и греки, причем некоторые из них жили до этого в Юго-Западной Руси и там, видимо, выучились церковнославянскому языку. Таким образом, они связывают московичей одновременно и с греческой, и с югозападнорусской традицией. Так, в 1632 г. в Москву приезжает протосинкелл александрийского патриарха Иосиф, ранее несколько лет живший в Юго-Западной Руси и изучивший там церковнославянский язык. Он переводил книги с греческого языка на церковнославянский (Каптерев, I, с. 40). В 1649 г. в Москву прибывает Арсений Грек, впоследствии бывший справщиком при Никоне; до своего приезда в Москву он также провел некоторое время в Киеве (там же, с. 484).

§ 16.4. Югозападнорусское влияние и культурные реформы второй половины XVII в. Приведенные выше факты являются единичными примерами. Между тем с середины XVII в., со времени патриарха Никона, имеет место экспансия югозападнорусской культуры, которая принимает массовые формы. Эта экспансия совершается на фоне все той же грекофильской ориентации. При Никоне в Москве появляются греческие амвоны, греческие архиерейские посохи, греческие клобуки и мантии, греческие живопис-

420

цы, греческие церковные напевы, греческие монастыри, даже патриаршая кухня — греческая. Как видим, византинизация касается прежде всего архиерейского и монашеского обихода, что идет в одном русле с византинизацией царской власти (§ 16.2). То, что византинизация касается прежде всего как светских, так и духовных верхов, указывает на ее элитарный и искусственный характер, на насильственность ее введения (ср. подобные же характеристики в первом южнославянском влиянии). Существенно подчеркнуть вместе с тем, что греческие и югозападнорусские культурные стихии органически сливаются в русском культурном восприятии. Примечательно, например, что Арсений Грек слывет в Москве за «киевлянина» — так он именуется в приходно-расходных книгах Московского печатного двора (№ 36, л. 3; № 38, л. 1 об. — Дмитриевский, О исправлении книг..., л. 7). Характерно также, что в основанном патриархом Никоном Воскресенском (Новый Иерусалим) монастыре пели на греческом языке киевским распевом (Гиббенет, II, с. 314).

В отличие от второго южнославянского влияния третье южнославянское влияние связано с широкой иммиграцией в Москву югозападноруссов, носителей книжной культуры. Эта иммиграция непосредственно связана с присоединением Украины в 1654 г. Выходцы из Юго-Западной Руси играют большую роль в культурной жизни, они занимаются книжной справой, из них вербуются учителя. Это ясно определяет их значение для развития книжной культуры. Поэтому югозападнорусское влияние сказывается на школьной (книжной) терминологии. Именно из югозападнорусской традиции приходят к нам такие слова, как *школа*, *букварь*, *ерик* (надстрочный значок, заменяющий букву ъ). Что касается слова *букварь*, то оно ранее обозначало не учебную книгу, а лицо, т.е. выступало в значении «книжник, грамотей». Начиная с 1657 г. московские буквари выходят с титульными листами под названием «Букварь языка словенска» (до этого московские буквари назывались «азбуками»). Новое название было принесено в Москву из Юго-Западной Руси, где такое употребление слова *букварь* было принято, см. «Букварь языка славенска», изданный в Евье в 1618 г., а также буквари с тем же названием, изданные в Кутеине в 1631 и 1653 гг., в Могилеве в 1636, 1648 и 1649 гг., в Вильне в 1640, 1645 и 1652 гг. (Надсон, 1973; Надсон, 1973а; Аннушкин, 1978; Клеминсон, 1988, с. 68).

Эта традиция восходит, по-видимому, к Мелетию Смотрицкому: Букварь 1618 г. обнаруживает сходство с грамматикой Смотрицкого, изданной годом позже в той же типографии виленского Святодуховского братства в Евье; по этому букварю должны были учиться дети, прежде чем приступить к изучению грамматики. В предисловии к грамматике Смотрицкого, обращенном к «учителем школным»,

сказано: «Дѣткамъ учиться починающимъ Букварь, звыкле рекше Алфавитарь, з' той ж[е] грамматики вычерпненный, абы склоненіямъ грамматичнымъ з' лѣтъ дѣтинныхъ з' мовою заразы привыкали, до выучен'я подаванъ нехай будетъ», см. Смотрицкий, 1619, предисл., л. 3 об.). Смотрицкий, видимо, имел ближайшее отношение к составлению данного букваря.

Отметим, что в великорусских букварях под влиянием югозападнорусских букварей исчезают склады с ерами типа *бѣ, бѣ, брѣ, брѣ* и т.д. Это отражает влияние книжного произношения Юго-Западной Руси, где еры не читались (§ 13.4). В соответствии с этим на югозападнорусский манер изменяется и система чтения по складам, принятая при обучении грамоте (Успенский, 1970/1997, с. 263–267). О распространении югозападнорусского книжного произношения будет сказано ниже (§ 17.2.2).

Влияние книжной традиции Юго-Западной Руси на великорусскую книжную традицию сказывается и на наименовании церковнославянского языка, который со второй половины XVII в. начинает называться в Москве на югозападнорусский манер — «славенским», а не «словенским», как было принято до того времени (ср. § 15.2). Этот процесс наглядно отражается в книжной справе. Так, московские справщики, работающие над изданием Учительного Евангелия 1662 г., пользуются предшествующим московским изданием 1652 г., производя в нем необходимые исправления; в частности, *словенскаго языка* правится здесь на *славенскаго языка* (см. «ковычный» экземпляр Учительного Евангелия 1652 г. с исправлениями справщиков — РГАДА, ф. 1251, № 237/2, л. 539). Таким образом, форма «славенский», югозападнорусская по своему происхождению, воспринимается теперь в Москве как нормативная. Правомерность такого именно наименования обосновывается при этом специальными этимологическими рассуждениями, связывающими «славенский» и «слава», — ср. рассуждения такого рода у Паисия Лигарида (Субботин, IX, с. 240–241), у Федора Поликарпова (1704, предисл., л. 2–2 об.) и, наконец, у Тредиаковского (III, с. 319); Тредиаковский вообще воспринимает прилагательные «словенский» и «славенский» как разные слова, противопоставленные по своему значению.

Югозападнорусское влияние сказывается и на духовных школах. Они устраиваются непосредственно по югозападнорусским образцам, и, вместе с тем, там преподают представители Юго-Западной Руси. В частности, московская Славяно-Греко-Латинская Академия была точной копией Киево-Могилянской Академии (Верховской, I, с. 100); само название «Славяно-Греко-Латинская Академия» восходит к названию братских школ, которые в XVII в. часто именовались «греко-латино-славянскими» (ср. Архангельский,

1888, с. 38, 40). Существенно, что выходцы из Юго-Западной Руси преподают грамматику (Харлампович, 1914, с. 633–740).

Югозападнорусское влияние через духовные школы распространялось и на вероучение. В свою очередь югозападнорусское богословие находилось под явным католическим влиянием (несмотря на ожесточенную полемику католиков и православных в Юго-Западной Руси), и поэтому югозападноруссы могли выступать как его проводники (ср. распространение учения о непорочном зачатии Божией Матери и о времени преложения св. Даров). Соответственно, прошедшее через югозападнорусское посредство католическое влияние прослеживается с середины XVII в. и в богословской терминологии.

Так, например, в русскую богословскую терминологию входит выражение *пресуществление св. даров*, представляющее собой кальку с лат. *transsubstantiatio*, тогда как традиционным было выражение *преложение св. даров*, калькирующее греч. μεταβολή. Еще более характерна история латинизма *сакрамент*. В Московской Руси слово *сакрамент* означало причастие у католиков, т.е. — с московской точки зрения — неистинное таинство. Таким образом, православное *причастие* противостояло здесь католическому *сакраменту*; противопоставление этих слов входило в ту же систему оппозиций, что и *епископ* — *бискуп*, *церковь* — *костел* и т.д. Так, Арсения Грека, которого подозревали в униатстве, спрашивали в Москве в 1649 г., приобщался ли он, будучи в Риме, святым таин или же «принимал сакрамент», при этом москвичи говорили, что папа всем выходцам из православных земель, чтобы обратить их в католичество, «сакрамент дает»; Арсений же настойчиво утверждал, что он приобщался св. таин у православного митрополита, «а сакраменты не принимал» (Каптерев, 1914, с. 211). Точно так же Костка Конюховский, соратник самозванца Тимошки Акундинова, в 1652 г. под пыткой показал: «А из Царя-города Тимошка ушел и был у папы в Риме и сакрамент принимал» (Соловьев, V, с. 609). Аналогичным образом старообрядец Федор Трофимов в 1666 г. утверждал, что римский папа «кесаря Генриха подаванием сокрамента уморил» (Субботин, IV, с. 290) — очевидно, что *сокрамент* здесь означает не подлинное причастие, а нечто ему противоположное. Между тем в Юго-Западной Руси такого противопоставления не было, и *сакрамент* означал здесь «таинство» в соответствии со значением лат. *sacramentum*. Ср. в словаре Памвы Берынды 1627 г.: «Сакраментъ: святости» (Берында, 1627, стлб. 213; Берында, 1653, с. 142), в анонимном словаре «Синонима славеноросская» второй половины XVII в.: «Сакрамент: тайна» (Житецкий, 1889, прилож., с. 79; Нимчук, 1964, с. 154). Соответственно, Иван Вишенский говорит о «сакраменте таинственной вечери» (Акты Юж. и Зап. России, II, с. 156), а Сильвестр Косов издает книгу под названием «Дідаскаліа, альбо наука... о седми сакраментах, албо ли тайнах» (Кутейн, 1637). В результате югозападнорусского влияния слово *сакрамент* в Московской Руси теряет свое специфическое значение католического причастия и начинает

обозначать вообще «таинство» или «причастие». Так, уже протопоп Аввакум называет причастие «сакраментом»: «Богъ тебя благословить, причастися святаго сакрамента» (РИБ, XXXIX, стлб. 422, 838). В дальнейшем такое употребление становится достаточно обычным, ср., например: «Зѣло насилуютца Греческого закона какъ духовные, такъ и мирскіе, и не волно имъ ниже сокраментъ явно въ дома носити» (Письма и бумаги Петра, III, с. 1049). Это всего лишь один пример, который, понятно, не может продемонстрировать масштабы югозападнорусского влияния, однако он показывает, насколько это влияние было глубоким.

Под югозападнорусским влиянием в Московской Руси вновь появляется церковная проповедь. Обычай проповедовать в церкви прекратился здесь в XV в.; при этом ранее проповедь могли произносить только архиереи (когда проповедь прекратилась, она была заменена чтением учительной литературы), с середины же XVII в. начинают проповедовать не только епископы, но и священники (в дальнейшем — по крайней мере, в XVIII в. — также и миряне; так, например, А. Д. Меншиков сам читал проповеди в Березове). Проповедь за литургией в Московской Руси была введена Елифаном Славинецким с разрешения Никона; вне литургии проповедовать начинали уже «боголюбцы», в частности Иоанн Неронов (Субботин, I, с. 257). Во второй половине XVII в. проповедники, как правило, — югозападнорусского происхождения. Таким образом устанавливается традиция, продолжающаяся еще и в первой половине XVIII в., когда «должности придворных и епархиальных проповедников замещались... почти исключительно [юго]западноруссами» (Харлампович, 1914, с. 420). Сами принципы построения проповеди были заимствованы в Юго-Западной Руси у католиков, и югозападнорусская проповедь XVII в. ближайшим образом напоминает барочную проповедь польских авторов. Та же традиция переносится и в Московскую Русь, где стиль проповеди оказывается, тем самым, в разительном контрасте со стилем традиционной церковной литературы.

В Иверский монастырь на Валдае, заселенный при Никоне кутеинскими (югозападнорусскими) монахами, по поручению Никона были перевезены «печать книжная со всяким нарядом... и печатные мастера» (Харлампович, 1914, с. 437—438). Типография действовала с 1655 по 1665 г., когда по указанию Никона типографский станок с принадлежностями был отправлен в Воскресенский («Новый Иерусалим») монастырь для снятия с него копии. Станок возвращен не был, и впоследствии с 1678 г. на нем печатал свои книги Симеон Полоцкий в Верхней типографии (находившейся в царском дворце). Попутно заметим, что сама децентрализация типографского дела копирует практику Юго-Западной Руси (ср. § 13.4).

Отпечаток югозападнорусского влияния накладывается на все аспекты культуры, так или иначе связанные с церковной жизнью. Изменяется характер иконописи, церковного пения, появляется

школьная драма (пьесы на сакральные темы), распространяются псалмы, преобразуется быт духовенства, — во всех этих изменениях переносится югозападнорусский образец. Это же влияние отражается и на фамилиях великорусского духовенства, которые в дальнейшем входят в традицию специфических семинарских фамилий, поскольку ученикам духовных училищ принято было давать новые фамилии (Шереметьевский, 1908; Унбегаун, 1942; Успенский, 1989а/1996, с. 206, 225–228).

Югозападнорусское влияние существенно преобразует и литературу. Оно проявляется прежде всего в распространении стихотворных текстов. Тексты такого рода появляются в первые десятилетия XVII в., и их появление уже в этот период может быть связано с началом третьего южнославянского влияния (см., в частности, стихи И. А. Хворостина, явно ориентированные на югозападнорусскую и польскую поэтическую традицию). С середины XVII в. стихотворство принимает широкие размеры. Югозападнорусское влияние здесь совершенно очевидно, оно проявляется прежде всего в Воскресенском («Новый Иерусалим») монастыре, основанном Никоном, где значительную роль играют украинские монахи. Здесь возникает целое поэтическое направление. В дальнейшем в распространении стихотворной традиции большую роль играет белорус Симеон Полоцкий, причем поэтическое творчество так прочно связывается со своим югозападнорусским источником, что в XVII–XVIII вв. даже великорусские авторы в своих стихах могут ориентироваться на украинское произношение (например, рифмовать *ѣ* и *и*). Югозападнорусское влияние обуславливает специфические формальные признаки стихотворной речи. Под этим влиянием возникает рифма (с начала XVII в.) и равносложность силлабических стихов (с середины XVII в.) (см. Панченко, 1973). Югозападнорусское влияние обусловило и появление новых жанров, прежде всего панегирической литературы. Именно как развитие традиций, связанных с третьим южнославянским влиянием, в XVIII в. в русской литературе возникают такие жанры, как придворная торжественная ода, похвальное слово и т.д.

Специально следует отметить югозападнорусское влияние на русскую скоропись. Во второй половине XVII в. в Москве появляются украинские почерки. «Еще в первой половине XVIII в. югозападные почерки отзываются в почерках великорусских семинарской науки» (Шепкин, 1967, с. 142–143; ср. Костюхина, 1974, с. 42). Наряду с украинизацией письма имеет место проявление греческого и латинского влияния, которые также осуществляются через посредство Юго-Западной Руси. Так, во второй половине XVII в. отдельные славянские буквы в русском письме часто заме-

няются греческими и латинскими: Σ вместо C , N вместо H и т.п. (Костюхина, 1974, с. 41–42).

Итак, мы видим, что югозападнорусское влияние распространялось на всю культурную жизнь, включая сюда всю сферу книжной культуры. На этом фоне проявления того же влияния в языке представляются совершенно закономерным явлением.

Для понимания характера третьего южнославянского влияния и природы тех конфликтов, которые оно вызывало на великорусской территории, необходимо иметь в виду, что оно было проводником не только греческой, но и западной латино-польской культуры. В самом деле, третье южнославянское влияние было обусловлено, как мы видели, грекофильской ориентацией. Однако Юго-Западная Русь находилась под сильным западным влиянием и, соответственно, выступала не только как посредник в контактах с греческой культурой, но и как посредник в контактах с культурой западноевропейской. Тем самым третье южнославянское влияние приводит к значительной латинизации русской книжной культуры: субъективная ориентация на греческую традицию приводит к объективному влиянию традиции латинской. Во второй половине XVII в. этот момент обуславливает борьбу грекофильской и латинофильской партии (к партии грекофилов относятся Епифаний Славинецкий, его ученик чудовский инок Евфимий, братья Лихуды, патриарх Иоаким; к партии латинофилов — Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев); грекофильская партия группируется вокруг патриарха (Иоакима), тогда как партия латинофилов находит поддержку при дворе (при Федоре Алексеевиче и царевне Софье). Таким образом, югозападнорусское влияние закладывает основы для того антагонизма светской и духовной культуры, который в значительной степени определил культурную и языковую политику последующего периода. Целый ряд моментов югозападнорусского влияния, о которых мы говорили выше, связан именно с западноевропейским (латино-польским), а не греческим компонентом культурной традиции Юго-Западной Руси; сюда относится структура образования, характер литературы (силлабическая поэзия, школьная драма, псалмы) и т.п.

§ 16.5. Великорусское влияние на Украине. В свою очередь, и великорусская книжная культура оказывает влияние на югозападнорусскую. Устанавливается единая норма церковнославянского языка, и, таким образом, постепенно исчезает специфический югозападнорусский извод этого языка. Уже в 1685 г. украинское духовенство жалуется гетману Самойловичу, что уничтожены «книги наши киевские, а насланы московские» и что «церковное

пение и чтение отменено, а то все по московски поставлено, до чего наши люди не скоро могут привыкнуть» (Архив Ю.-З. России, I, 5, с. 59–61). В 1686 г. киевская митрополия переходит в юрисдикцию московского патриарха (до этого киевский митрополит подчинялся патриарху константинопольскому), и вопрос о различиях в языке богослужебных книг, издаваемых в Москве и в Юго-Западной Руси, приобретает особую актуальность, ср., в частности, обсуждение этого вопроса в переписке патриарха Адриана с архимандритом Киево-Печерской лавры Мелетием Вуяхевичем в 1692 г. (Архив Ю.-З. России, I, 5, с. 358–364, 371–373). В 1720 г. следует указ Петра I относительно богослужебных книг киевской и черниговской печати: Петр приказывает их «для совершенного согласия с великороссийскими, с такими же церковными книгами справливать прежде печати с теми великороссийскими печатми, дабы никакой розни и особого наречия во оных не было» (ПСЗ, VI, с. 244–245, № 3653). В течение XVIII в. Синод в ряде случаев предписывает переводить книги с церковнославянского языка украинской редакции на церковнославянский язык великорусской редакции. Так, в 1726 г. киевский митрополит Иоасаф Кроковский сложил акафист св. Варваре; Синод разрешил напечатать этот акафист лишь с условием, чтобы он был переведен «на великорусское наречие». Такие же распоряжения были даны в 1755 г. в отношении четых миней Дмитрия Ростовского и Киево-Печерского патерика (Огиенко, 1923, с. 161).

В 1780-х гг. киевский митрополит Самуил Миславский издает ряд указов, направленных против украинского церковного чтения. Отмечая в указе от 26 ноября 1784 г., что многие студенты Киевской духовной академии «являются вовсе неисправны в чтении по церковным книгам», митрополит требует — под страхом исключения из духовного ведомства — в церковном чтении «приобретения хорошего и чистого произношения, особливо с наблюдением ударения и силы, в книгах напечатанных, то есть оксии, что всего нужнее» (Акты Киевской академии, II, 5, с. 81–82); разница в ударениях осмыслялась как основное различие великорусского и специфически югозападнорусского церковного произношения (ср. § 13.4). Тот же митрополит Самуил в 1785 г. приказывает, чтобы богослужение в украинских церквях отправляли «голосом, свойственным российскому наречию» (Акты Киевской академии, V, с. 114). В 1787 г. он обращает внимание на то, чтобы и дети духовенства «учились дома и в церквях читать по ударениям, в книгах напечатанным, то есть по оксиям неотменно» (Акты Киевской академии, II, 5, с. 211). Этот приказ особенно важен потому, что дети

духовных лиц обычно и сами становились затем церковнослужителями. Таким образом, здесь устанавливается новая традиция церковного произношения; старая традиция украинского церковного чтения сохраняется в униатской церкви, поскольку она относительно независима от московского влияния.

Вообще с образованием общерусского извода церковнославянского языка — единого для великорусской и югозападнорусской территории — старые языковые традиции сохраняются в церковных общинах, которых по тем или иным причинам не коснулись данные преобразования: если великорусская церковнославянская традиция сохраняется у старообрядцев, то югозападнорусская церковнославянская традиция сохраняется у униатов.

§ 16.6. Югозападнорусское влияние и проблема конвенциональности знака. В результате экспансии югозападнорусской культуры на великорусскую территорию здесь сталкиваются два отношения к языковому знаку. Одно отношение, конвенциональное, характерно для представителей югозападнорусской образованности, оно восходит в конечном счете к латино-польской барочной культуре. Другое отношение, неконвенциональное, характерно для носителей великорусской традиции (ср. § 15.4). Одни и те же тексты могут функционировать в двух ключах и — в зависимости от культурной позиции читателя — восприниматься либо в буквальном, либо в переносном смысле. Это различие в понимании в целом ряде случаев приводит к культурным конфликтам и вызывает ожесточенную полемику.

Характерна в этом плане полемика старообрядца Никиты Добрынина, носителя традиционного для Московской Руси отношения к тексту, и Симеона Полоцкого, выступающего как представитель новой барочной культуры. Так, Никита Добрынин и Симеон Полоцкий спорят по поводу фразы «Тебѣ собесѣдуютъ звѣзды» при обращении к Богу в одной из молитв чинопоследования крещения по никоновской редакции Требника; в дониконовской версии соответствующее место читается «Тебѣ молятся звѣзды». Согласно Никите Добрынину, такого рода тексты должны пониматься в безусловном смысле. По его мнению, звезды — это ангелы, однако ангелы могут лишь молиться Богу, но не беседовать с ним, в силу своего подчиненного положения (Румянцев, 1916, прилож., с. 258, 339). Отвечая на эти возражения, Симеон Полоцкий писал: «Нѣсть бо слово здѣ о собесѣдованіи устномъ или умномъ, ибо звѣзды ни устъ ниже ума имѣють, суть бо вещь неодушевленная... якоже написася в тойжде молитвѣ, “Тебе поеть солнце”, “Тебе славить луна”... убо яко здѣ метафорически [к этому слову дана

гlossa: преноснѣ] полагается “поеть”, “славить”... и тѣмъ подобная, тако и еже собесѣдуютъ. Вся же сія мѣста не суть безмѣстна, но лѣпо умствующимъ лѣпа же и блага: самому безумному Никитѣ со единомысленники его соблазнѣ и претыканіе» (Симеон Полоцкий, 1667, л. 55–55 об.). Таким образом, Симеон здесь прямо указывает на возможность двух восприятий одного текста. Вместе с тем отсюда видно, как новая концепция языкового знака связана с метафорическим употреблением.

Точно так же и Стефан Яворский специально обосновывает необходимость понимания слов в переносном значении. Более того, он считает возможным подходить таким образом к тексту Св. Писания. Так, в своем рассуждении о том, что «вселенский» в титуле константинопольского патриарха не означает «владеющий вселенной» (1721 г.), он пишет: «...сие имя вселенная не всегда свойственнѣ разумѣтся за вся мѣста всего мира, но иногда имат свой толк за многа мѣста и за знатную часть мира тропическим разумом. Тако в евангелии Луки [в главе] 2 глаголетсѣ: изыде повелѣніе от Августа Кесаря написати всю вселенную. Едали вся весма вселенная со всѣми своими обителми, землями, градами, царствами бысть в владѣнии Августа Кесаря? Никакоже. Ибо Новый Свѣтъ недавно обрѣтенный, Хинское Царство, Тартария большая, и прочая, власти его кесаревой не знали... Суть и прочія повсемственная глаголы [т.е. обобщающие наименования], но глаголы точію, а не самая истинна, и повсемственное имя за часть вземлетсѣ тропице [лат. tropice]. Якоже и сей глаголь апостольский: Подобаѣт непрестанно молитися. То *непрестанно* вземлетсѣ за *час-то*» (ГИМ, Увар. 1728/378/588, л. 2 об.—3).

Таким образом, носители югозападнорусской образованности отделяют слово от его содержания, что и обуславливает возможность употребления слова в переносном смысле («тропическим разумом»). Так, для Стефана Яворского евангельский текст не есть истина («глаголы точію, а не самая истинна»); истиной считается содержание этого текста, поэтому текст оказывается открытым для разных интерпретаций, а истина устанавливается лишь через правильную интерпретацию (это определяет значение филологической экзегезы для послеренессансного мировоззрения). Напротив, для носителей великорусской традиции Евангелие и вообще Св. Писание, будучи богооткровенным текстом, есть само по себе истина, которая принципиально не зависит от воспринимающего субъекта. Сакральная форма и сакральное содержание по самому своему существу не могут быть расчленены, одно предполагает другое. С этой точки зрения истина связывается не с правильной интерпретацией, а с правильным воспроизведением текста.

Характерное обоснование невозможности каких бы то ни было отступлений от канонической формы сакрального текста содержится в ответах старообрядцев дяконовского согласия на вопросы нижегородского архиепископа Питирима 1719 г. (так называемые «Керженские ответы»; автором этого сочинения считают Андрея Денисова). Говоря об изменениях текста и, в частности, об изменениях языка, вызвавших раскол, старообрядцы заявляют: «Не дивно же ти буди и о сомнѣніи нашемъ, еже имѣемъ о новоположеніихъ вашихъ. Аще бо священный отецъ Спиридонъ, епископ Тримифійскій и не стерпѣ единыя рѣчи премѣненія, егда Трифилій епископъ, уча въ церкви, премѣни рѣчь евангельскую в сказаніи юже рече Христосъ къ разслабленному, *возми ложе свое* [ср. Мф. IX, 6; Мк. II, 9; Лк. V, 24; Ин. V, 8, 11–12]. Тогда святой Спиридонъ разгнѣвася на него и обличи его рекъ: или ты мнишися лучши быти глаголавшаго: *возми одръ свой*, и то рекъ, избѣжалъ от ревности изъ церкви, ревнуя о Христовомъ словеси, хитростію ритор Трифилія премѣненномъ... Колями паче намъ сомнительно есть о толикихъ множайшихъ возновствованіихъ, боящимся церковныхъ запрещений, еже приложити не премѣнити, ниже отложить что, крѣпцѣ утвержающихъ» (Керженские ответы, 1906, с. 179–180).

Итак, с усвоением западной барочной культуры в России появляется возможность двоякого прочтения одного и того же текста, и то, что для одной стороны представляет собой условную фигуру речи, для другой является кощунством. Вместе с тем традиционное понимание текста, основывающееся на неконвенциональном понимании знака, с точки зрения новой культуры является примитивным и объясняется простым невежеством. Это отчетливо проявляется, например, в употреблении таких слов, как *крест* и *крыж*. Для представителей традиционной культуры *крест* означает православный (восьмиконечный) крест, а *крыж* — католический (четыреконечный), ср. аналогичное противопоставление слов *причастіе* и *сакрамент* в первой половине XVII в. (§ 16.4). Представители новой образованности протестуют против такого разграничения, считая, что оба слова являются наименованиями одного и того же предмета и что только невежество старообрядцев не позволяет им понять условность любого из этих наименований; слово и его денотат оказываются связанными при таком восприятии произвольной, а не безусловной связью (ср. рассуждение об этом у Афанасия Холмогорского, 1682, л. 111 об.).

Конвенциональное восприятие языкового знака сознательно насаждается в России как необходимый элемент просвещенной культуры. Этот момент органически входит в культурную политику конца XVII — начала XVIII в. Так, Иосиф Туробойский, префект

московской Славяно-Греко-Латинской Академии, объясняя значение аллегорических изображений и основываясь на метафорической интерпретации Св. Писания, говорит в своем панегирике «Преславное торжество свободителя Ливонии» (1704 г.): «Известно тебе буди, читателю любезный, и сие, яко обычно есть мудрости рачителем инем, чуждым образом вещь вообразити. Тако мудролюбцы правду изобразуют мерилom, мудрость оком яснозрителным, мужество столпом, воздержание уздою, и прочая безчисленная. Сие же не мни быти буйством неким и кичением дмящагося разума, ибо и в писаниих божественных тожде видим. Не сучец ли масличный и дуга на облацех сияющая бяше образ мира; не исход ли израилтянов из Египта бяше образ нашего исхода от работы вражия; не прешествие ли чрез море образ бяше крещения; не змий ли, на древе висящий, образ бяше Иисуса распята... Рцы же ми, что являет писание святое сими словесы: *дщи Сиона, дщи Иерусалима, дщи Вавилона*. Видиши ли, яко чрез сих дщерей разумеются ово сонмище жидовское, ово грады, ово государства, ово души человеческия... Аще убо сия тако суть, и аще писание божественное различные вещи в различных образах являет, и мы, от писаний божественных наставление восприемше, мирскую вещь мирскими образами явити понудихомся и славу торжественников наших, в образе древних торжественников, по скудости силы нашае потщяхомся прославити». Обосновав таким образом закономерность метафорических образов, Иосиф указывает, что не понимающие этого — закоснелые невежды: «Ты убо, благочестивый читателю, написанным нами не дивися, ниже ревнуй невегласом, ничтоже ведущим, ничтоже нигде не видевшим, но яко желв под своею клетию неисходно пребывшим, и егда ново что у себе видят, удивляющимся и различия блядословия отрыгающим» (Гребенюк, 1979, с. 155–156). Ср. подробнее: Живов и Успенский, 1983а; Успенский, 1992/1996.

Конфликт конвенционального и неконвенционального понимания знака проявляется не только в языковой сфере. Так, сакрализованные театральные представления, которые появляются в Москве при Алексее Михайловиче, воспринимаются традиционалистами как кошунство — условность театрального изображения принципиально ими отвергается. Протопоп Аввакум прямо обвиняет царя как инициатора и устроителя этих представлений в том, что тот уподобляет себя Богу. Сравнивая Алексея Михайловича с Навуходоносором, который считал себя равным Богу («Богъ есмь азъ! Кто мнѣ равенъ? Развѣ Небесной! Онъ владѣть на небеси, а я на земли, равенъ Ему!»), Аввакум говорит: «Такъ-то и нынѣ близко тово. Мужика наредя архангеломъ Михайломъ и сверху в полатѣ предъ него спустя, вопросили: кто еси ты и откуда? Онъ же рече: азъ есмь архистратигъ силы Господня, посланъ к тебѣ, великому государю. Такъ ево заразила сила

Божія, мраковиднова архангела, — пропаль и душею и тѣломъ» (РИБ, XXXIX, стлб. 466). Соответственно, в анонимном старообрядческом «Возвещении от сына духовнаго ко отцу духовному» (1676 г.), извещающем о смерти Алексея Михайловича — адресатом послания был, видимо, протопоп Аввакум, — болезнь и смерть царя связываются, в частности, и с тем, что тот «тешился всяко, различными утешениями и играми» на сакральные темы: «Поделаны были такие игры, что во ум человеку неуместно; от создания света и до потопа, и по потопе, до Христа, и по Христе житии, что творилось чудотворение его, или знамение кое, и то все против писма [т.е. согласно Св. Писанию] в играх было учинено: и распятие Христово, и погребение, и во ад сошествие, и воскресение, и на небеса вознесение. И таким играм иноверцы удивляясь, говорят: “Есть, де, в наших странах такие игры, комидиями их зовут, толко не во многих верах. Иные, де, у нас боятся и слышати сего, что во образ Христов да мужика ко кресту будто пригвождать, и главу тернием венчать, и пузырь подделав с кровию под пазуху, будто в ребра прободать. И вместо лица Богородицы — панье-женке, простерши власы, рыдать, и вместо Иоанна Богослова — голоусово детину сыном нарицать и ему ее предавать”» (Бубнов и Демкова, 1981, с. 143). Очевидно, что речь здесь идет о театральной мистерии с изображением страстей Христовых, представления такого рода были приняты в Киево-Могилянской академии и отсюда перенесены в Москву; эта традиция восходит в свою очередь к польскому иезуитскому театру.

Во всех этих случаях ясно проявляется неконвенциональное отношение к знаку, характерное для традиционной русской культуры, переживание знака как чего-то безусловного, внеположного, от нас не зависящего. При таком понимании, если человек управляет знаками, играет ими, придает им новый смысл, вводит их в новые сочетания, это ему только кажется — на самом же деле здесь проявляются более глубокие связи между знаком и значением, и человек сам оказывается игрушкой у потусторонних сил. Представления на сакральные темы, какими бы благочестивыми они ни казались, являются с этой точки зрения дьявольскими кознями.

§ 17. Реформа церковнославянского языка

§ 17.1. Никоновская и послениконовская книжная справа. Третье южнославянское влияние в своем языковом аспекте проявилось прежде всего в книжной справа — начиная с книжных реформ патриарха Никона. Как известно, эта справа вызвала раскол русского общества, разделившегося на старообрядцев (приверженцев московской традиции) и новообрядцев (последователей никоновских реформ). Протест старообрядцев против никоновских и послениконовских книжных реформ в значительной степени может рассматриваться как результат конфликта великорусской и югозападнорусской церковной культуры.

Начало раскола относится к 1653 г. Первой книгой, вызвавшей недовольство приверженцев старой традиции, была Псалтырь, вышедшая в свет 11 февраля 1653 г., где были опущены статьи о двуперстии и о поклонах, занимавшие видное место в предшествующих изданиях Псалтыри. Вскоре вслед за тем, перед началом великого поста 1653 г., была разослана по церквам «память» патриарха Никона, в которой устанавливалось троеперстие и сокращение земных поклонов при чтении молитвы Ефрема Сирина (Смирнов, 1895, с. 37). За этим последовало исправление всех основных богослужебных книг; особое значение имела публикация Служебника 1655 г. После того как Никон оставил патриарший престол в 1658 г., работа по исправлению богослужебных книг не была прекращена, но продолжалась в начатом направлении.

Вообще во второй половине XVII в. можно выделить два основных этапа книжной справа — никоновский и иоакимовский. Иоакимовская справа (при патриархе Иоакиме — 1674–1690 гг.) основана на тех же принципах, что и никоновская; во всяком случае югозападнорусское влияние при Иоакиме не прекращается, а скорее усиливается. Обе справа составляют единый процесс, в результате которого и определяется облик общерусской редакции церковнославянского языка (о значении иоакимовской справа свидетельствует тот факт, что исправленный в 1679 г. текст Апостола без изменений дошел до наших дней). Преимущество иоакимовской справа в отношении никоновской обеспечивалась длительной работой на московском печатном дворе ряда видных справщиков — таких, как Захарий Афанасьев (с 1641 по 1678 г.), чудовский инок Евфимий (с 1653 по 1690 г. — с возможными перерывами), Иосиф Белый (с 1657 по 1689 г.), см. Сиромеха, 1980, с. 9, ср. также Сиромеха, 1999.

Сам Никон и его сторонники утверждали, что они правят книги по греческим текстам. Этого мнения придерживались обычно и позднейшие исследователи, что и не удивительно, поскольку эти

исследователи находились в русле никонианской традиции. Между тем в настоящее время найдены «ковычные», т.е. корректурные, книги московских справщиков (см. Сиромеха и Успенский, 1986), которые указывают прежде всего на югозападнорусское, а не греческое влияние, т.е. на югозападнорусские книги как на основной источник никоновских справщиков. А. А. Дмитриевский показал, что никоновские справщики исправляли книги, главным образом, не по греческим оригиналам и не по древним рукописям, как они дипломатически заявляют в своих предисловиях (см., например, предисловие к Служебнику 1655 г.), а по югозападнорусским печатным изданиям, правленным с греческих оригиналов (Дмитриевский, 1895, с. 30; Дмитриевский, 1909, с. 2; Дмитриевский, 1912, с. 250–260; Дмитриевский, О исправлении книг..., ср. Успенский, 1994, с. 87). К аналогичным выводам пришел и Н. Н. Дурново, хотя его статья об этом до нас, к сожалению, не дошла. В письме от 20 июня 1931 Р. О. Якобсон сообщал Н. С. Трубецкому: «Дурново написал статью о русском расколе. Он установил, что никакого никоновского исправления книг на деле не было, а просто Никон хотел ввести общероссийский канон, в основе которого положил почти без изменения украинские издания церковных книг. Это вызвало отпор» (Трубецкой, 1975, с. 291). К сожалению, мы не знаем аргументации Н. Н. Дурново, и нам доступны только его выводы. Между тем аргументация А. А. Дмитриевского нам известна. Дмитриевский основывается именно на рассмотрении ковычных экземпляров, отражающих работу никоновских справщиков, и прежде всего на первоисправленном никоновском Служебнике 1655 г., представляющем собой, как обнаружил Дмитриевский, правленный московскими справщиками экземпляр югозападнорусского Служебника, изданного в Срятине в 1604 г. (РГАДА, ф. 1251, № 852/2). «Ковычные или корректурные экземпляры церковно-богослужебных книг... — утверждает Дмитриевский, — могут служить... блестящим доказательством того, какую великую услугу оказали никоновским, да и послениконовским справщикам издания богослужебных книг южнорусских типографий. В частности, относительно Служебника 1655 г. мы можем сказать в настоящее время, что в основу его в большей части был положен известный срятинский служебник львовского епископа Гедсона Балабана 1604 г., исправленный по греческому евхологию венецианского издания 1602 г. и по другим некоторым источникам, о которых мы можем знать по сохранившемуся доселе “ковычному” экземпляру срятинского служебника» (Дмитриевский, О исправлении книг..., л. 8). Дмитриевский отмечает также определенное влияние киевских служебников 1620 и 1629 гг., к которым

обращались московские справщики. Совершенно понятно, что юго-западнорусские книги были авторитетны для никоновских справщиков постольку, поскольку в ходе киево-могилянской книжной sprawy (при киевском митрополите Петре Могиле) они сличались с греческими источниками, изданными в Венеции (ср. Харлампович, 1914, с. 145). Непосредственное обращение к греческим книгам оказывалось, тем самым, не столь необходимым; никоновская справа, таким образом, продолжала справу киево-могилянскую. Так, в предисловии Тарасия Земки к киевскому служебнику 1629 г. (использованному никоновскими справщиками) отмечается, что служебник этот исправлен «от еллинскаго зводу истиннаго», «понеже вся книги славенскія от колико сот лѣтъ преписуются невѣжами, токмо чернилом мажушими, ума же не имущими, ызыка не умеющими, и силы словесъ не вѣдущими» (л. 13 об.); при этом подчеркивается, что «еллинские» церковные книги, изданные в Венеции, исправны, а в «славенских» — «множайшаа и бесчисленнаа погрѣшенія» (л. 14) (Титов, 1918, прилож., с. 210–211; ср. Голубев, I, с. 368–384; Голубев, II, с. 524; Отроковский, 1921, с. 55, 65–66).

Никоновские справщики, работавшие над Служебником 1655 г., ссылаются также на сербские служебники (имея в виду венецианские издания Божицара Вуковича), о чем мы уже говорили (§ 16.1); однако роль сербских изданий была незначительна (см. Дмитриевский, О исправлении книг..., л. 3, 14, 16 об.). Об использовании греческого евология 1602 г. в процессе работы над данным изданием см. Белокуров, 1886, с. XXXIII; о никоновской справе Служебника см. также Вертоградский, 1914; Никольский, 1978.

Аналогично и другие никоновские издания обнаруживают прямую зависимость от богослужебных книг Юго-Западной Руси: так, например, московское издание Постной Триоди 1656 г. правилось по киевскому изданию 1627 г. (Евсеев, 1915, с. 318) и киевскому изданию 1648 г. (см. ковычный экземпляр — РГАДА, ф. 1251, № 1025/2). Подобным же образом киевский Требник 1646 г. лег в основу московского издания 1658 г. (см. ковычный экземпляр — РГАДА, ф. 1251, № 978/2 и № 1083; ГИМ, Син. 307). Во всех этих случаях ковычные экземпляры представляют собой югозападнорусские книги, правленные московскими справщиками; справщики в значительной степени сохраняли язык югозападнорусских оригиналов, изменяя его лишь по ограниченному числу признаков. Отметим еще список Цветной Триоди (ГИМ, Син. 323), подготовленный для московского печатного издания 1660 г., где текст берется из югозападнорусских книг и прежде всего из киевского издания 1631 г. (Горский и Невоструев, III, 1, с. 536–537; Сиромеха, 1980, с. 11).

То же явление характеризует и послениконовскую справу, в частности, работу справщиков при патриархе Иоакиме. Так, ковычный экземпляр московского печатного апостола 1671 г., правленный в 1679 г. для последующих изданий московскими справщиками — Сильвестром Медведевым, монахом Иосифом, иереем Никифором «с товарищи», — содержит исправления, которые нередко снабжены на полях пометой «киевск», т.е. ссылкой на соответствующее киевское издание (РГАДА, ф. 1251, № 14). Такого рода отсылка, между прочим, имеется и тогда, когда исправление носит не содержательный, а чисто формальный характер (орфографический, фонетический или грамматический). Аналогично, в рукописных правленных святцах типографской библиотеки 1670–80-х гг. (РГАДА, ф. 381, № 335) при исправлениях формального характера можно встретить на полях помету «лвов»; справщики ссылаются здесь на львовский часослов 1642 г. (Покровский, 1911, с. 121). Иоаким специально указывал вообще править книги по югозападнорусским печатным изданиям (Харлампович, 1914, с. 436). Отметим еще московское издание Библии 1663 г., основывающееся на Острожской Библии 1581 г. (см. ковычный экземпляр — РГАДА, ф. 1251, № 149). Московское издание Книги о священстве Иоанна Златоуста 1664 г. основывается на львовском издании 1614 г. (Сиромаха, 1980, с. 10).

Зависимость никоновской и послениконовской справы от книг «литовской» печати была достаточно очевидна как для противников новых реформ, так и для их сторонников. Так, инок Савватий писал в своей челобитной 1660-х гг.: «Нравъ по грѣхомъ таковъ у нѣшнихъ московскихъ грамматиковъ что новое ни объявится — за тѣмъ и пошли, а старое свое доброе покинув... печатають от литовьские печати взявъ. А прежде сего на Москвѣ литовьские печати непотребные рѣчи правили а нѣтъ опять за то же принялися; забыли то, яко иные литовьские печати кнѣги на Москвѣ и огню предавали» (ГИМ, Увар. 497/102, л. 18–18 об.; Три челобитные, 1862, с. 44); Савватий вспоминает, видимо, сожжение Учительного Евангелия Кирилла Транквиллиона в 1627 г. (см. § 13.4). И в другом месте той же челобитной Савватий пишет о московских справщиках: «Свела их с ума несовершенная их грамматика да приѣзжие нехаи [т.е. украинцы]» (там же, л. 8; Три челобитные, 1862, с. 26–27). Приводя примеры неправильных исправлений в новых книгах, Савватий ссылается, в частности, на случаи написания *и* вместо *ы*, явно отражающие орфографические нормы Юго-Западной Руси: в числе примеров находим, между прочим, такие, как *Синъ* вместо *Сынъ*, *всилаемъ* вместо *всылаемъ* и т.п. (там же, л. 14; Три челобитные, 1862, с. 37). Равным образом, и другие старооб-

рядческие деятели, такие как Никита Добрынин или инок Сергей, укоряют Никона в том, что он исправлял книги по югозападнорусским образцам — правил книги «с лядских требников Петра пана Могилы», «с польских служебников» и т.п. (Каптерев, I, с. 459–460; Румянцев, 1916, прилож., с. 103, 314, 316). Вместе с тем и И. Коренев, сторонник никоновских преобразований, констатирует в своей «Мусикии» 1681 г. (предпосланной «Мусикийской грамматике» киевлянина Николая Дилецкого), что книги правятся «с греческих и киевских» (Смоленский, 1910, с. 25).

Говоря о «несовершенной их [справщиков] грамматике», Савватий имеет в виду грамматику Смотрицкого, югозападнорусское происхождение которой было ему несомненно известно. Здесь между прочим фигурирует и слово *нехай* в качестве «русского» слова (Смотрицкий, 1619, л. Ш/2; Смотрицкий, 1648, л. 310). Соответствующая фраза была оставлена без исправления при перепечатке грамматики Смотрицкого в Москве в 1648 г. — очевидно, по недосмотру справщиков, — что существенно изменило ее смысл, поскольку эпитет *рус(с)кий* имел разное значение в Московской и в Юго-Западной Руси: Смотрицкий имел в виду, что *нехай* относится к «простой мове», тогда как в московском издании это слово оказалось зачисленным в разряд церковнославянских слов (ср. § 15.2). Не исключено, таким образом, что, говоря о «приезжих нехаях» в контексте отрицательного отношения к грамматике Смотрицкого, Савватий имеет в виду именно это место.

Челобитная Савватия переключается с рассуждением соловецкого казначея Геронтия «О глаголющих, яко святини отцы у нас грамоте не знали...», написанным между 1667 и 1676 гг., ср. здесь: «Да они же [никоновские справщики] говорят, бутто святини отцы у насъ в' русской землѣ до сей поры нынѣшнія ихъ вѣры не знали, того ради что грамматическаго ученія и прочихъ мудрыхъ книгъ не умѣли, а нынѣ и обрѣли прямую вѣру, потому что мудрыхъ людей книжниковъ Литвы и грековъ почало быть в' русской землѣ много» (БАН, 16.7.21, л. 112; ср. Успенский, 1988а/1996, с. 10–11).

§ 17.2. Югозападнорусский компонент в реформе церковнославянского языка. Преобразование церковнославянского языка может быть обусловлено как югозападнорусским, так и непосредственно греческим влиянием. Югозападнорусское влияние проявляется преимущественно в области орфографии и орфоэпии, в частности, оно проявляется в написании и произношении грецизмов. Ориентация непосредственно на греческий язык проявляется прежде всего в синтаксисе и отчасти в морфологии (в организации парадигм по образцу парадигм греческих, см. § 17.3). Югозападнорусское влияние осуществлялось при этом не только через книги, но и устным путем. Орфографические

изменения отражают книжный путь усвоения югозападнорусских норм, тогда как изменения орфоэпические могут быть обусловлены как книжной справой, так и непосредственным подражанием югозападнорусскому церковному произношению.

§ 17.2.1. Орфоэпические изменения, обусловленные книжной справой. Орфоэпические изменения могут быть обусловлены книжной справой только в одном случае — в области акцентуации. Показательным примером, демонстрирующим масштабы изменения церковнославянского языка под югозападнорусским влиянием, может служить акцентуация собственных имен. Как уже говорилось, акцентуация заимствованных слов, и прежде всего собственных имен, дает особенно яркие иллюстрации изменения литературного языка под влиянием ориентации на ту или иную культурную традицию — не будучи обусловлены этимологически, формы заимствованных слов определяются именно выбором культурной традиции. Выше мы демонстрировали различие югозападнорусского и московского изводов церковнославянского языка, проявляющееся в акцентуации собственных имен (§ 13.4). Рассмотрение того же материала по текстам второй половины XVII в. отчетливо показывает, как великорусские формы собственных имен уступают место югозападнорусским формам; старые великорусские формы сохраняются при этом у старообрядцев.

Так, если в Московской Руси до никоновских реформ имена, оканчивающиеся на *-ий*, имели, как правило, ударение на этом окончании (*Савватій, Фотій, Евтихій, Евсѣихій, Патрикій, Мелетій, Паисій* и т.д.), то в Юго-Западной Руси эти имена имели ударение на предпоследнем слоге (*Савва́тий, Фо́тий* и т.п.). После реформ патриарха Никона великорусские формы этих имен получают в ряде случаев югозападнорусское ударение на предпоследнем слоге. После размежевания церковной и светской традиции книжного произношения в XVIII в. это ударение отразилось одинаково как в той, так и в другой традиции: современное литературное произношение соответствующих форм восходит именно к югозападнорусской норме церковнославянского языка. Напротив, разговорный язык может сохранять старую великорусскую акцентуацию: в тех случаях, когда имеют место расхождения в акцентуации между литературным и разговорным произношением соответствующих имен, литературная форма соответствует югозападнорусской, а разговорная — великорусской традиции церковнославянского произношения: ср. литерат. *Савва́тий, Фо́тий, Евти́хий, Патри́кий, Мелё́тий*, разг. *Савватей, Фотей, Евтифей, Патрикей, Мелетей*. Подобным же образом обстоит дело с именами на *-ил*: в Московской Руси эти

имена имели ударение на предпоследнем слоге (*Миха́ил, Саму́ил, Ио́иль, Миса́ил* и т.п.), тогда как в Юго-Западной Руси ударение стояло на последнем слоге (*Миха́йл, Саму́йл* и т.п.). В результате книжных реформ патриарха Никона и его последователей и эти формы обычно приобретают югозападнорусскую акцентуацию, что отражается и в современном литературном их произношении. Просторечное же произношение опять же может сохранять старую великорусскую акцентуацию (ср. литерат. *Миха́йл, Саму́ил, Ио́иль* и разг. *Миха́йло, Самой́ло, Ио́йло*). В именах на *Фео-* великорусские формы имели ударение на этом компоненте (*Фео́фан* и т.д.), а югозападнорусские формы — на одном из последующих слогов (*Феофа́н* и т.д.); после никоновских реформ великорусская норма уподобляется югозападнорусской (*Феофа́н* и т.д.), что отражается и на последующем литературном произношении — при том, что разговорное употребление может следовать великорусской традиции (ср. литер. *Феофа́н*, разговорн. *Фо́фан*). Аналогичным образом старые великорусские формы *Авва́кум, Викто́р, Ко́ндрат, Орес́т, Та́рх, Еу́пл* сменяются югозападнорусскими *Авваку́м, Ві́ктор, Кондра́т, Оре́ст, Тара́х, Е́впл*, причем югозападнорусские формы влияют и на последующее литературное произношение. См. подробнее: Успенский, 1969; Успенский, 1969а/1997.

Книжная справка собственных имен тем более показательна, что, поскольку она касается имен святых, она вызывает резкий протест приверженцев старины. Так, обличая никоновские нововведения, поп Лазарь писал в середине XVII в.: «Да он же патриарх и власти в новых книгах напечатали и говорят — многим святым имена переименили не против старых книг. И то же есть святым похуление...» (Субботин, IV, с. 200; ср. возражения Симеона Полоцкого на эти обличения в «Жезле правления» — Симеон Полоцкий, 1667, л. 149 об.). Протест против исправления собственных имен содержится также в челобитной инок Савватия 1660-х гг. (ГИМ, Увар. 497/102, л. 14–15 об.; Три челобитные, 1862, с. 37–39), который одновременно отмечает и изменение ударений: «А что и просодии иные в' кнѣгах превратили по чужымъ пословицамъ, какими пословицы николи в Московскомъ ѿдѣствѣ не говаривали и нѣтъ не говорить и кнѣгъ по той рѣчи не печатавали; и то не добро же... И учаль быти расколь в кнѣгах рѣчь, а в людех другая» (там же, л. 15 об.; Три челобитные, 1862, с. 39–40). Особые протесты вызывает замена имени *Никола* на имя *Николай*, о которой мы уже говорили выше (см. § 12.4), а также устранение в книгах новой печати формы *Ива́нн* (ранее в Московской Руси эта форма была принята в качестве канонической наряду с формой *Иоа́нн* — Успенский, 1969, с. 16–19, 223–226).

Югозападнорусское влияние сказывается и в принципах постановки ударения во фразе. Как уже говорилось (§ 13.4), в Мос-

ковской Руси в акцентной группе, включающей энклитики и проклитики, ставился лишь один акцентный знак, ср. *во ѿѣки*, *во время*, *во имя*, а также *вразуми мя* и т.д.; характерно, что во всех этих случаях в книгах, как правило, стоит знак оксии (акута), а не варии (грависа), что опять-таки свидетельствует об объединении соответствующих слов в единый фразовый сегмент, поскольку вария в принципе ставится на конце слова. Это соответствовало нормам церковного произношения Московской Руси, которое до сих пор сохраняется в чтении старообрядцев. Эти элементы фразового ударения в акцентуации печатных книг исчезают после раскола, поскольку московские справщики второй половины XVII в. более или менее регулярно ставят ударение вообще на каждое слово, в том числе на предлоги, на частицу *не*, на союз *но*, а также (менее обязательно) на местоименные энклитики (*мя*, *тя* и т.п.); при этом во всех этих случаях, когда слово оканчивается на ударную гласную, ставится знак варии, а не оксии, и тем самым данные элементы приобретают статус отдельного слова. Справщики при этом следуют системе расстановки акцентов, принятой в югозападнорусских книгах. Замечательно, что в тех случаях, когда в основу никоновских изданий были положены югозападнорусские книги с иной системой расстановки акцентов, а именно книги, в которых ударение обозначено исключительно на знаменательных словах (ср. § 13.4), эти книги правятся по той же системе — иначе говоря, как великорус. *во ѿѣки*, так и югозападнорусское *во ѿѣки* правятся никоновскими справщиками на *во ѿѣки* (соответствующие исправления наблюдаем, например, в киевском Требнике 1646 г., в который вносятся исправления для подготовки московского Требника 1658 г. — РГАДА, ф. 1251, № 978, ч. I, л. 458, 463, 480, 502, 904, ч. II, л. 19, 162).

Постановка акцентов на каждом графическом слове (отделенном пробелами) имеет вполне условный характер; вместе с тем стремление снабдить каждое значимое слово знаком ударения соответствует перестройке книжного произношения, т.е. ведет к разрушению акцентных групп типа *во имя*. В этот период усваивается югозападнорусский принцип фразового ударения, не допускающий перетяжки ударения на проклитику (*во имя* и т.п.). Старообрядцы протестуют против этого нововведения. Так, протопоп Аввакум отмечает, что «в старопечатных книгах *во имя*, а в новых *во ѿмя*» (Бороздин, 1900, прилож., с. 32). Точно так же инок Савватий пишет, что в новоисправленных книгах вместо *по чину* стоит *по чѣну*, вместо *на род* стоит *на рѣд*, вместо *во дни воззвах* стоит *во днѣ воззвах*, причем Савватий прямо указывает, что по мнению справщиков-никониан «тоѡ просодіи оксіи нигдѣ неудобно полагати надѣ предлогомѡ» (ГИМ, Увар, 497/102, л. 15 об.—16 об.; Три

челобитные, 1862, с. 40–41). Обсуждая соответствующие изменения, Савватий восклицает: «Ей гдрь і в томъ смутились еже просодіи превращаютъ по чюжимъ пословицамъ», имея в виду, скорее всего, югозападнорусскую традицию книжного произношения (там же). Соответствующие протесты старообрядцев вообще относятся, может быть, не столько к правописанию (системе расстановки акцентов, принятой в новых книгах), сколько к изменению книжного произношения. С XVIII в. постановка ударения только на знаменательном слове (но не на предлоге) становится обычной в церковных книгах, т.е. церковнославянское написание приближается к произношению; равным образом, ударение не ставится на безударных частицах, союзах, энклитиках и т.п. (Соколов, 1907, с. 19). Таким образом, новое церковное произношение начинает противопоставляться по характеру фразового ударения произношению русскому, некнижному — ранее в произношении подобных акцентных групп книжное и разговорное произношение не противопоставлялись.

Новое церковнославянское произношение обусловило в дальнейшем произношение высокого стиля, повлиявшее и на современное литературное произношение, тогда как старая акцентуационная модель (которая была свойственна как старому церковному произношению, так и произношению разговорному) стала восприниматься как просторечная. А. А. Барсов замечает в своей «Российской грамматике» 1783–1788 гг., что «в высоком слоге приличнее выговорить *за-море, за-мóрем, на-мóре, на-гóру*», а не *за море* и т.п. (Барсов, 1981, с. 81). Ср. об этом также у Сумарокова в «Примечании о правописании» около 1773 г. (Сумароков, X, с. 46) или у Шишкова, который писал в «Опыте славенского словаря...»: «Выражение *на гору* можно произнести двояким образом, ударяя оное посредине, или ударяя в начале. Произнесем *на гóру*, будет высокий или важной слог; произнесем *на гору* будет простой, низкой слог. У Ломоносова в трагедии «Тамира и Селим» (дейст. I, явл. 1) сказано:

На гору как орел всходя он возносился,
Которой с высоты на агньца хочет пасть.

Естьлиб в сем стихе стопопадение [т.е. размер] и позволило сказать *на гору*, то бы важность трагического слога того не потерпела» (Шишков, V, с. 73). Итак, литературное произношение отражает в данном случае традицию церковного произношения Юго-Западной Руси. В современном литературном произношении имеет место явная тенденция помещать ударение на значимую часть предложного сочетания (Ожегов, 1955, с. 28), что следует связать именно с влиянием книжного произношения XVIII–XIX вв., т.е. с произ-

ношением высокого стиля, отражающего, в свою очередь, послениконовское церковное произношение. Если в сравнительно недавнем прошлом ударение на предлоге было более принято в литературной речи (Кошутич, 1919, с. 228 сл.), то это отражает борьбу естественного произношения, основывающегося на московском разговорном языке, и книжного произношения, восходящего в конечном счете к церковнославянской орфоэпии.

Книжная справа последовательно вводит букву *й* («иже с краткой»), которая была свойственна югозападнорусской, но не великорусской традиции церковнославянского языка (§ 11.4). Так, например, уже в правленной Псалтыри 1658 г. читаем: «*ѣтый Боже, ѣтый крѣпкій, ѣтый безсмертный*» (л. 25) и т.п. Орфографическим различиям соответствовали и различия в произношении: если в Юго-Западной Руси *й* читалась как полугласный, то в Московской Руси, где писалось только *и* (ср. § 11.4.1), в церковном чтении в соответствующих местах звучал слоговой звук, т.е. писалось и читалось «*ѣтыи Боже, ѣтыи крѣпкии, ѣтыи безсмертныи*» и т.п. Старообрядцы, которые, естественно, сохраняют традиционное великорусское книжное произношение, протестуют против такого изменения. По свидетельству Посошкова, старообрядцы считали, что сторонники никоновских реформ «печатают все *п о л у и м е н е м*, сице: *святый Боже, святый крѣпкій, святый безсмертный, помилуй нас...* Краткое-де значит полуимя, якобы вместо *Ивана* — *Ванька* или вместо *Семена* — *Сенька* и пр.» (Посошков, II, с. 21). Как видим, старообрядцы усматривают здесь приближение церковного произношения к произношению разговорному: с их точки зрения, никонианское произношение звучит вульгарно, подобно тому как вульгарно звучат уменьшительные формы имен («полуимена») типа *Ванька* и т.п.

§ 17.2.2. Орфоэпические изменения, обусловленные непосредственными контактами. В перечисленных выше случаях югозападнорусская норма произношения влияет на великорусскую через книги — в процессе книжной sprawy. В других случаях мы можем констатировать непосредственное влияние югозападнорусского церковного произношения на литературный язык. В этих случаях акцентуация имен в процессе книжной sprawy не изменялась (т.е. в книгах сохранялась старая великорусская норма), однако современное литературное произношение отвечает не великорусской, а югозападнорусской норме. Соответственно, литературные формы собственных имен оказываются в этом случае противопоставленными по своему ударению каноническим церковнославянским формам. Так, например, в церковнославянском языке сохранились великорусские формы *Гордый, Мокій, Авдій, Амплій, Левкій,*

Клавдій, Стахий, Малахий, Евсегний, Помтій, Ермій, Евдоксій, Кельсий, противопоставленные югозападнорусским формам соответствующих имен с ударением на предпоследнем слоге (*Гордій, Мокій* и т.п.); великорусское ударение отразилось и в разговорной форме соответствующих имен (*Гордѣй, Мокѣй, Авдѣй* и т.п.). Однако литературное произношение, расходящееся с разговорным, отвечает не великорусской, а югозападнорусской норме: в современном литературном языке мы имеем *Гордій, Мокій, Авдій* и т.д. Совершенно так же великорусские формы *Зиновія, Клавдія, Евпраксія, Евлампія, Лидія, Хионія, Соломонія* сохранились в церковнославянском языке (т.е. не были затронуты книжной справой), отразившись также в разговорном произношении (*Зиновѣя, Клавдѣя* и т.д.). Между тем литературное произношение следует югозападнорусской норме — как в том, так и в другом случае мы имеем *Зиновія, Клавдія* и т.п. В тех случаях, когда формы на *-ил* не были затронуты книжной справой, и в церковнославянском языке осталось старое великорусское ударение: *Мануил, Исмаил, Нафанаил* (ср. разг. *Манойло, Измайло*), в литературном языке, тем не менее, появились формы, соответствующие югозападнорусской традиции (*Мануїл, Измаїл, Нафанаїл*). Равным образом, великорусское ударение *Феофил, Климент, Иов, Онисифор* сохранилось в церковнославянском языке, однако литературное произношение подверглось влиянию югозападнорусской, а не великорусской традиции (*Феофіл, Климент, Іов, Онисифор*) (см. подробнее: Успенский, 1969; Успенский, 1969/1997). Во всех этих случаях югозападнорусское влияние осуществлялось непосредственно, а не через книжную справу, и это можно объяснить только тем, что югозападнорусское произношение было принято на Руси даже в тех случаях, когда оно не отражалось в церковных книгах. Из этого видно, что влияние выходцев из Юго-Западной Руси не сводилось только к области книжной справы, их произношению подражали, и оно было, видимо, широко распространено. Характерно, вместе с тем, что в прикионовских изданиях мы находим более последовательное отражение югозападнорусской акцентуации, чем в изданиях более поздних (Успенский, 1969, с. 103). Это объясняется, видимо, югозападнорусским происхождением ряда никоновских справщиков.

Поскольку югозападнорусскому изводу церковнославянского языка не была свойственна столь сильная реакция на второе южнославянское влияние, как великорусскому изводу, отличия югозападнорусской акцентуации собственных имен от великорусской могут быть обусловлены более органическим усвоением второго южнославянского влияния (ср. § 13.4). Соответственно, в период третьего южнославянского влияния в ряде случаев происходит как бы

регенерация второго южнославянского влияния, т.е. в Великой Руси возвращаются те самые формы, которые появились со вторым южнославянским влиянием и затем были отвергнуты. Так, например, ударение на окончании в именах на *-и* появляется в процессе второго южнославянского влияния, затем в XVI в. исчезает в традиции Московской Руси, но сохраняется в традиции Юго-Западной Руси, и, наконец, в процессе третьего южнославянского влияния вновь появляется на великорусской территории.

Югозападнорусская традиция церковного чтения отразилась, между прочим, и на акцентуации аористной формы *умрѣ*, заимствованной из церковнославянского в русский язык и употреблявшейся, в частности, в официально-бюрократическом стиле (ср. § 5.4): произношение этого славянизма противопоставлено по ударению произношению соответствующей церковнославянской формы *ѹмре*. Ударение на последнем слоге в этой форме показано в старопечатных книгах, изданных в Юго-Западной Руси (см., например, киевский Новый Завет с Псалтырью 1658 г., л. 217, и др. издания), тогда как в соответствующих московских изданиях ударение всегда падает на первый слог; великорусская норма сохраняется в церковнославянском языке, а югозападнорусская норма прослеживается в русском произношении (относительно акцентуации данной формы в русской речи XIX в. см. Смирнов, 1929, с. 256).

Влияние югозападнорусской церковнославянской традиции, которое осуществлялось не через книги, а непосредственно через речь выходцев из Юго-Западной Руси, не ограничивалось сферой акцентуации. Инок Савватий в своей челобитной 1660-х гг., приводя явные примеры отражения югозападнорусского влияния, например, написания *и* вместо *ы*, специально подчеркивает, что это влияние не сводится к книжному: югозападнорусское произношение может звучать и при чтении книг старой московской печати; иначе говоря, югозападнорусское произношение выступает как мода, которой стремятся подражать. В челобитной говорится: «Аще и худо а тако та глупость вселилася хоты по старымъ печатнымъ кнгамъ говорят, а мнози, ужожаючи нѣньшнему нелѣпому новому и бояся того же, что над нами учинено [Савватий был сослан за протест против никоновской книжной sprawy], симъ худымъ воспятословіемъ говорят. И пошелъ тотъ недугъ во все гдѣрство: не много тѣхъ мѣсть, гдѣ тоѣ глупости не любятъ» (ГИМ, Увар. 497/102, л. 14; Три челобитные, 1862, с. 37). В дальнейшем Сумароков в статье «О правописании» (1768–1771 гг.) вспоминал о распространении украинского церковного произношения: «Знатнейшия наши духовныя были ко стыду нашему только одни Малороссіяны, почти до времен владеющія нами Самодержицы: от чево все духовныя слепо

следуя их неправильному и провинциальному наречию вместо *во вѣки* и протч. говорили *во вики* и так далее» (Сумароков, X, с. 24). Сумароков, в частности, объясняет влиянием украинского церковного произношения форму *лѣта* вместо *лѣта*: «Ибо Малороссияны то ввели: а потому что все школы ими были наполнены; так сие провинциальное произношение и вкоренилося, яко *всигды, теби, мья* и протчія малороссийския испорченныя выговоры: а особливо певчія много преобразили: как многое преображают и великороссийския дѣячки, подѣячія и бабы. Малороссиянцы место *тебѣ Господи* — *теби Господы*, и вместо *Господи, помилуй*, поют иногда *Господы помилуй*; и так далее. Но естли нам писать по выговору малороссийскому, так должны мы вместо *лѣта* говорить *литѣ*, а вместо *только, тилько* и протч. или вместо *однако однак* и протч., из чево многое уже и воспріято» (там же, X, с. 26). Ср. у Каченовского (1812, с. 27): «От чего даже до половины минувшаго столетія многіе престолы украшались архіереями, уроженцами из Малой Россіи? От чего слух Великороссіян терпеливо сносил чуждое произношеніе?...» Любопытно отметить, что когда принцесса Софія Ангальт-Цербстская (будущая императрица Екатерина II) переходила в православіе в 1744 г., возник спор относительно того, как она должна прочесть Символ веры: ее законоучитель Симон Тодорскій настаивал на украинской манере чтенія, тогда как В. Е. Адодуров, учившій принцессу русскому языку, требовал соблюденія великорусской нормы церковнаго произношенія. Адодуров одержал верх, и это можно рассматривать как знак совершающагося в этот період поворота от югозападнорусскаго произношенія к великорусской традиціи (Успенскій, 1975, с. 90). Тем не менее мода на украинское церковное произношеніе сохранялась по крайней мере до конца XVIII в.: по воспоминаніям Тимковскаго, в домово́й церкви графа Шувалова в Петербургѣ в павловское время служил «свой сановитый дѣячок», который «поет и читает малороссийскою речью» (Тимковскій, 1852, с. 55).

Одновременно в грамматических сочинениях конца XVII — начала XVIII вв. мы встречаем рекомендацію не читать *ѣ* как *и*, что указывает на распространяющуюся югозападнорусскую манеру церковнаго чтенія; см. в славяно-греческом букваре конца XVII — начала XVIII в. (ГПБ, Соф. 1208, л. 66), в букваре Федора Поликарпова (1701, л. 6) или в его же «Технологіи» 1725 г. (ГПБ, НСРК F 1921.60, с. 23; Поликарпов, 2000, с. 251). Украинское произношеніе в это же время обусловливает рифмы типа *добродѣтель* — *зритель*, которые встречаются как у поэтов югозападнорусскаго происхожденія, так и у великорусских авторов, например, у Сильвестра Медведева (Шевелев, 1960, с. 79; Виноградов, 1938, с. 28–29; Позднеев, 1971, с. 278; Томашевскій, 1959, с. 86). Последнее об-

стоятельство указывает, что соответствующее произношение могло восприниматься в этот период как книжное.

Насколько распространено было влияние югозападнорусской нормы к концу XVII в., видно из того, что церковнославянские тексты, приводимые в церковнославянско-русской грамматике Лудольфа 1696 г., представляют церковнославянский язык именно югозападнорусской редакции. Об этом свидетельствует прежде всего расстановка акцентов. Ср., например, у Лудольфа *гла́ва, къ нѣму, всѣя, Пѣ́тру Алѣ́ксѣевичу*, ср. также нередкую у Лудольфа передачу *ы* через *и*, и т.д.

Влияние югозападнорусского церковного произношения на великорусское сказывается, в частности, на чтении еров: если в великорусской традиции буквы *з* и *ь* произносились в виде редуцированных звуков (§ 7.5.5), то в югозападнорусской традиции они не читались как гласные звуки (§ 13.4). В результате третьего южнославянского влияния еры перестают читаться и в новой великорусской традиции (но продолжают читаться у старообрядцев). Это отражается на великорусских букварях, где со второй половины XVII в. исчезают склады с ерами (ср. § 13.4). То же влияние проявляется, видимо, в чтении предлогов и приставок, имеющих букву *з*. Мы уже говорили, что чтение *з* как *о* в приставках и предлогах *съ, съ, къ* было, кажется, характерно для Юго-Западной Руси (§ 7.5.5). После раскола такая манера произношения появляется и на великорусской территории. В упоминавшемся уже славяно-греческом букваре специально указывается, что *з* в предлогах в церковном чтении произносится как *о* — «пишется убо *къ, съ..*, глется же *ко, со*» (ГПБ, Соф. 1208, л. 61 об.—62, соответствующее место мы цитировали выше, см. § 7.5.3).

Влияние книжного произношения Юго-Западной Руси особенно ярко сказывается на произношении заимствованных слов. Сюда относится акцентуация греческих заимствований, о которой мы специально говорили выше. Однако это влияние не ограничивается одной акцентуацией. Напомним, что в югозападнорусском книжном произношении заимствованные слова образовывали особую фонетическую систему. Это проявлялось, в частности, в отсутствии йотации начального *е* (что могло передаваться особой буквой *э*) и в смычном произношении *г* (которое могло обозначаться особой буквой *г'* или сочетанием *кг*); вместе с тем, *ѳ*, которая встречается исключительно в заимствованиях, произносилась в Юго-Западной Руси не как [f], а как сочетание [ft] или же как спирант, более или менее приближающийся к греческому произношению (§ 13.4). В результате третьего южнославянского влияния и в Великой России появляется особая манера произношения заимствованных слов.

Она проявляется прежде всего в отношении отсутствия йотации начального *e*; как мы уже знаем, это явление, будучи свойственно югозападнорусскому книжному произношению, было совсем не свойственно ранее произношению великорусскому (§ 7.10.1).

Так, в том же славяно-греческом букваре о букве *ε* говорится, что она «еже в' началѣ греческихъ реченій полагаемо бѣтся дебело, а не мягко, ꙗко диффогта іеѡілонъ [говоря о «дифтонге епсилоне», автор имеет в виду йотированное произношение славянской буквы *ε*, которую он называет «епсилоном», в начальной позиции, т.е. произношение [je]], на приуказ *Елеонъ*, а не *Іелеонъ*. *етѹхъ*, а не *іетѹхъ*, ниже *іевнѹхъ*, *Евлогій*, а не *Іевлогій*, ниже *Іевлогій*» (ГПБ, Соф. 1208, л. 53); ср. здесь же: «в' греческихъ... именехъ и реченіихъ паче же в' началѣ именъ и реченій полагаемо [т.е. на письме] и бѣмо [т.е. в произношении] всячески должно храни-ти *e* дебело, а не *іe* мягкое» (л. 61). Соответственно здесь противопоставляются правильные и неправильные формы: *евангеліе*, но не *іевангеліе*; *Евѡѡміѡ*, но не *Іевѡѡміѡ*; *Евдокіѡ*, но не *Іевдокіѡ*; *еѡілонъ*, но не *іеѡілонъ* (л. 69 об.). Точно так же в букваре Федора Поликарпова 1701 г. читаем: «Вмѣсто *e* не глїи *іe*, ꙗко... *евѡіе* не *іевѡіе*» (л. 6); в этом букваре употребляется и буква *э*. Еще более ясно о том же говорится в «Технологии» Федора Поликарпова 1725 г., где на вопрос «Егда буква *e* начинается еврейская, греческая и латинская реченія, како тогда произносится» следует ответ: «Произносится какъ латинское *e*, что нѣтъ россійски употребляемо сїце, *э*, ꙗко пишется *Еммануїль*, а произносится *Эммануїль*, пишется *етимологіа*, а произносится *этимологіа*, пишется *элементъ*, а произносится *элементъ*» (ГПБ, НСРК F 1921.60, с. 18; Поликарпов, 2000, с. 248).

Следует подчеркнуть, что влияние югозападнорусского церковного произношения осуществлялось в данном случае не через книги. Орфография церковнославянских книг не давала оснований для такого произношения, и соответствующая манера чтения была усвоена непосредственно со слуха. Соответственно, это произношение сохранялось в церковном чтении постольку, поскольку оно поддерживалось выходцами из Юго-Западной Руси, произношению которых подражали. В дальнейшем, когда активное югозападнорусское влияние прекратилось, в церковном чтении возобладала старая великорусская манера произношения с обязательной йотацией начального *e*.

Югозападнорусская манера произношения закрепилась, однако, в светском литературном произношении, поскольку оно в начале XVIII в. сделалось независимым от церковного произношения (ср. цитированное указание «Технологии» Федора Поликарпова 1725 г. на нынешнее российское употребление); этому способство-

вало введение в гражданский алфавит буквы э (Успенский, 1975, с. 187–190). Этот процесс полностью аналогичен процессу размежевания церковной и светской акцентуации собственных имен (церковнослав. *Гордый* — рус. литер. *Гóрдый* и т.п.), о котором мы говорили выше: как в том, так и в другом случае имеет место влияние югозападнорусского церковного произношения на гражданский литературный язык, которое обусловлено непосредственными контактами с югозападнороссами. Так образуются противопоставления: церковнослав. *епистола* — рус. литер. *эпистола*, церковнослав. *Едем* — рус. литер. *Эдем*, церковнослав. *Ефес* — рус. литер. *Эфес*. Соответствующее противопоставление может связываться и с семантикой слова — в таких, например, случаях, как *еллин* — *элли* (церковнослав. *еллин* в отличие от рус. *элли* означает прежде всего не грека, а язычника).

Со второй половины XVIII в., когда наблюдается реакция на третье южнославянское влияние, раздаются голоса, протестующие против новой произносительной манеры (в светском произношении). Так, Сумароков, который придерживается в данном случае старой великорусской произносительной нормы, т.е. продолжает произносить слова *евангелие*, *Еммануил*, *Екатерина* и т.п. с йотацией начального гласного, считал, что так же должны произноситься и все иностранные слова («К типографским наборщикам» 1759 г., «О правописании» 1768–1771 гг., «Примечание о правописании» около 1773 г. — Сумароков, VI, с. 314; Сумароков, X, с. 6, 44). Постепенно под влиянием церкви в целом ряде слов, прежде всего в таких словах, которые ассоциируются с церковным обиходом, в русском литературном языке йотированное произношение начального *е* вытесняет нейотированное, ср. *евангелие*, *евхаристия*, *ектенья*, *епитимья*, *епархия*, а также *Европа*, *Евгений*. Еще Барсов в своей «Российской грамматике» (1783–1788 гг.) рекомендует писать и читать не *Европа*, *евангелист*, а *Эвропа*, *эвангелист* (Барсов, 1981, с. 47). Так, действительно, писал еще Пушкин, в письмах которого встречаем *Эвропа*, *эвангелист* (Малаховский, 1937, с. 11); ср. Успенский, 1975, с. 188.

С восстановлением йотированного произношения начального *е* в грецизмах, которые по большей части являются словами церковного обихода, отсутствие йотации становится принадлежностью иноязычной лексики, заимствованной в литературный язык не через посредство церковнославянского языка — прежде всего из западных языков, ср. *экспедиция*, *экономия*, *эскадра* и т.п. Таким образом, если ранее данный фонетический признак противопоставлял заимствованные и незаимствованные слова, то теперь он служит для противопоставления церковнославянского произношения и гражданского литературного произношения. Это один из путей размежевания церковнославянского и русского литературного языка

в XVIII в. При этом произношение заимствованных слов без йотации начального *e* соотносится с отсутствием йотации в таких специфически русских словах, как *это*, *экой*, *эй* и т.п., — заимствованные слова объединяются с русизмами в своей противопоставленности церковнославянской лексике.

Одновременно в этот же период наблюдается размежевание церковной и светской нормы правописания и произношения грецизмов: в церковном произношении сохраняется греческая (рейхлинова) система чтения, тогда как в светском произношении принимается латинская (эразмова) система. Соответственно появляются противопоставления типа *феатр* — *театр*, *вивлиоѳика* — *библиотека* и т.п. (Успенский, 1975, с. 60–61, 197; Кузнецов, 1960; Романеев, 1965).

Под влиянием Юго-Западной Руси во второй половине XVII в. появляется особое произношение *ѳ*, отличное от произношения *ф*. Предписание различать в произношении буквы *ф* и *ѳ* мы находим в упоминавшемся славяно-греческом букваре (ГПБ, Соф. 1208, л. 3, 54 и 57 об.), в букваре Кариона Истомина 1694 г. (л. [40]; ср. Тарабрин, 1916, с. 47), в букваре Федора Поликарпова 1701 г. (л. 7), в его же грамматике около 1724 г. (РГАДА, ф. 201, № 6, л. 62 об.—63; Поликарпов, 2000, с. 159) и «Технологии» 1725 г. (ГПБ, НСРК F 1921.60, с. 23; Поликарпов, 2000, с. 252). Во всех этих источниках даются указания относительно спираントвого («сипливого») произношения *ѳ*. О том, что в ученом русском произношении *ѳ* читается особым образом (в виде спиранта), сообщают и иностранные авторы, например, И. В. Паус в своей «Славяно-русской грамматике» 1705–1729 гг. (БАН, собр. иностр. рукописей, л. 15). На звуковых отличиях *ѳ* и *ф* настаивают во второй половине XVIII в. Сумароков в статьях «О правописании» 1768–1771 гг. и «Примечание о правописании» около 1773 г. (Сумароков, X, с. 10, 30, 48) и Каржавин (1791). Татищев считал необходимым сохранить в гражданском алфавите буквы *ф* и *ѳ*, причем он, видимо, произносил *ѳ* как [f], что также соответствует украинской манере книжного произношения (см. Успенский, 1975, с. 82–83). Другие авторы, такие как Адодуров, Ломоносов, Барсов, рекомендуют произносить *ѳ* как *ф* и исключают *ѳ* из гражданского алфавита. Особое произношение *ѳ* характеризует лишь эпоху активного югозападнорусского влияния.

Обобщая, можно заметить, что югозападнорусское влияние в XVIII в. определило различие между литературным произношением (орфоэпией высокого стиля) и церковнославянским произношением (книжным церковным произношением). Это различие обусловлено тем, что церковнославянское произношение XVIII в. в значительной степени продолжает традицию великорусского книж-

ного произношения, тогда как орфоэпия высокого слога может отражать югозападнорусскую традицию. Таким образом, различие между светским и церковным произношением восходит к разнице двух традиций церковного произношения предшествующего периода — великорусской и югозападнорусской.

§ 17.3. Греческий компонент в реформе церковнославянского языка. Как уже отмечалось, югозападнорусская традиция была связующим звеном в греческо-русских культурных контактах: в условиях сознательной ориентации на греческую культуру югозападнорусская культура играла роль посредника (§ 16). Поэтому усвоение специфических элементов югозападнорусского извода церковнославянского языка происходило более или менее спонтанно, т.е. было побочным моментом в византизации русской церковной культуры. Никоновские справщики правили по большей части югозападнорусские издания (ср. § 17.1), внося в них те или иные изменения в соответствии со своими представлениями о правильном церковнославянском языке. В основе этих представлений лежала грекофильская ориентация — убеждение в том, что церковнославянский язык должен выражать те же значения и по возможности тем же образом, что и греческий язык. Таким образом, сознательные изменения, вносимые в церковнославянские тексты, были мотивированы, как правило, ориентацией на греческие тексты и на греческие языковые модели.

Мы уже видели, что ориентация на греческую языковую модель объясняет введение форм перфекта 2 л. ед. числа в парадигму простых прошедших времен — таким способом разрешалась омонимия 2 и 3 л. ед. числа в формах аориста и имперфекта, которая была чужда греческому языку, и создавалась возможность различать 2 и 3 л. в точном соответствии с греческой языковой моделью (§ 8.7.3; § 8.7.4; § 8.7.5). Никоновские справщики следовали здесь традиции, идущей от Максима Грека. Такой же тенденцией объясняется, возможно, изменение форм род. падежа мн. числа существительных муж. рода. Так, при исправлении Требника для московского издания 1658 г., в основу которого положено киевское издание 1646 г., справщики правят киевское издание, последовательно добавляя окончание *-овъ* (*-овъ*) в интересующих нас формах, например: *аѣлъ* заменяется на *аѣловъ*, *пѣрокъ* — на *пѣроковъ*, *аѣлъ* — на *аѣловъ*, *мѣникъ* — на *мѣниковъ*, *іерархъ* — на *іерарховъ*, *оучникъ* — на *оучниковъ*, *иноплеменникъ* — на *иноплеменниковъ* и т.п. (см. ковычный экземпляр киевского издания с исправлениями московских справщиков — РГАДА, ф. 1251, № 978/1460, ч. 2, л. 184, 187, 194, 225, 254, 258, 284 и т.д.). Еще более показательно, что

Епифаний Славинецкий, исправляя Символ веры, заменяет *ѡбъ* на *ѡбъковъ*, *члѣкъ* — на *члѣковъ* (Гезен, 1884, с. 126); перевод Епифания Славинецкого отличается вообще буквальным следованием греческому оригиналу, причем вносимые в него изменения могут специально оправдываться ссылками на греческую грамматику (ср. § 17.3.8). Очевидно, что в этом же ключе должны рассматриваться и приведенные исправления форм род. падежа мн. числа. Следует думать, что эти исправления обусловлены желанием разрешить омонимию им. ед. и род. мн., поскольку такая омонимия отсутствует в греческой парадигме. Замечательно, что, преследуя эту цель, справщики готовы внести в церковнославянскую норму такие формы, которые раньше трактовались как просторечные и даже могли иметь особую отрицательную семантическую характеристику (ср. § 14.4). Хотя справщики руководствуются сугубо учеными соображениями, фактически они допускают определенную русификацию церковнославянского языка.

§ 17.3.1. Расширение функций род. падежа: употребление род. и дат. падежей. Греческое влияние обуславливает и целый ряд других перестроек в грамматической структуре церковнославянского языка. Сюда относится, в частности, расширение функций род. падежа. Функции род. падежа в церковнославянском языке как великорусского, так и югозападнорусского извода были относительно ограничены (по сравнению с функциями род. падежа в греческом или в современном русском языке), в одних случаях его замещал дат. падеж, в других — притяжательное прилагательное. В результате книжных реформ второй половины XVII в. род. падеж значительно расширяет сферу своего употребления.

Так, род. падеж становится нормой в конструкциях, где предшествующая традиция церковнославянского языка предписывала употребление дательного приименного. Мелетий Смотрицкий специально отмечает в своей грамматике: «Вмѣсто родительнаго множжды [т.е. часто] дательный существительный существителну свойственнѣ сочиняется: *яко, Гди и Влго живому моему вмѣсто живота моего. И Бже и Гди силамъ, всяя твари содѣтелю вмѣсто силъ и проч.*» (Смотрицкий, 1619, л. ω/3 об.; Смотрицкий, 1648, л. 295). Никоновские справщики последовательно правят *во ѡбъки ѡбком* на *во ѡбъки ѡбков*, *ѡбнец лету* на *ѡбнец лета*, *воскресение мертвым* на *воскресение мертвых*, *отецъ свѣтом* на *отецъ свѣтов* и т.д. Эта правка вызывает протест старообрядцев — Аввакума (РИБ, XXXIX, стлб. 465), Никиты Добрынина (Румянцев, 1916, с. 462, 466–468, 495; прилож. с. 340, 354), Лазаря (Симеон Полоцкий, 1667, л. 151), Авраамия (Субботин, VII, с. 33, 319–320), Савватия (ГИМ, Увар. 497/102, л. 10 об.; Три челобитные, 1862, с. 30). Соответственно,

употребление той или иной формы — род. или дат. падежа — могло осмысляться как диагностический признак правильности или неправильности того или иного текста: так, Андрей Денисов в своих полемических посланиях отвергает свидетельства некоторых старопечатных книг Юго-Западной Руси именно потому, что там стоит *во вѣки вѣков* (Смирнов, 1909, с. 195); двести лет спустя по этой же причине на Первом Соборе старообрядцев-поморцев ставят под сомнение певческие тексты эпохи Ивана Грозного (Деяния Первого Собора, с. 63 второй пагинации). Старообрядцы рассматривают такую правку как еретическую. Аввакум пишет по поводу выражения *во веки веков*: «И *вѣковъ-тѣхъ*, — и то в Кирилловѣ книгѣ описуеъ ересь: малое-де слово *сіе*, да велику ересь содержать» (РИБ, XXXIX, стлб. 465). Точно так же и поп Лазарь заявляет: «Да въ новыхъ... книгахъ напечатано во *всѣхъ* молитвахъ, и во *всѣхъ* возгласѣхъ *нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ*. И та рѣчь еретическая» (Субботин, IV, с. 200; ср.: Симеон Полоцкий, 1667, л. 150 об.—151). Употребление родительного вместо дательного приименного, которое с этих пор входит в норму церковнославянского языка, обусловлено, видимо, греческим влиянием, т.е. возникает в результате калькирования греческих грамматических конструкций. Правда, родительный приименный встречается иногда и в югозападнорусских книгах, однако он употребляется здесь непоследовательно и никоим образом не является абсолютной нормой. Появление его в югозападнорусских книгах также следует объяснять греческим влиянием, и об этом прямо говорят Симеон Полоцкий и Епифаний Славинецкий (см. § 17.3.8). Существенно, что Епифаний Славинецкий ссылается при этом на греческие правила, т.е. на греческий язык, а не на исходный греческий текст.

§ 17.3.2. Расширение функций род. падежа: родительный посессивный. Расширение функций род. падежа осуществляется за счет замены конструкций с притяжательным прилагательным на конструкции с существительным в родительном посессивном. В предшествующей норме церковнославянского языка родительный посессивный употребляется лишь в ограниченном числе случаев, а именно при наличии нескольких определений к одному определяемому или в том случае, когда определение осложнено зависящими от него словами. Ср. в Остр. ев.: «Чѣто ксть мнѣ и тебѣ Итсе *ѣноу Бѣ* вышнѣаго» (л. 98в), но: «Ты кси Хѣъ *ѣнѣ Бѣии*» (л. 138в). При наличии одного нераспространенного определения нормальной являлась конструкция типа *страх Господень*, т.е. конструкция с притяжательным прилагательным, тогда как конструкция типа *страх Господа* оказывалась маркированной.

Смотрицкий в своей грамматике говорит: «Обычно Славяном над Греческих діалектов свойство есть: Существителну в' родителном полагаему, Прилагателна сочинена себѣ не имущему, в' Прилагателен притяжательнъ своему Существителну в' родѣ числѣ и падежи согласующъ претворятися [т.е. в славянском языке, в отличие от греческого, существительное в род. падеже, не имеющее определяющего его прилагательного, трансформируется в притяжательное прилагательное, согласующееся с определяемым им существительным в роде, числе и падеже]: яко *Начало премудрости страхъ Гѣднь*, вмѣсто, *страхъ Гѣда*; и *Книга родства Ісѣ Хѣа*, вмѣсто *Ісѣа Хѣа* и проч.» (Смотрицкий, 1619, л. ѡ/3; Смотрицкий, 1648, л. 248). При этом оговариваются случаи, когда следует употреблять родительный посессивный. Во-первых, когда определяющее существительное имеет свое определение, например, «*Гласъ Гѣда пресѣцающаго пламень огня: Гѣда*, а не *Гѣднь*; и *зачало еѡлія Ісѣ Хѣа Сѣа Бѣсія*, а не *Ісѣ Хѣа*... *Добрѣ Глемъ: Горы яко воскъ растаяшиа от лица Гѣдня, от лица Гѣда всяа земля*: Во оboемъ мѣстѣ Греческому родителному стоящу *κυρίου*» (там же). Во-вторых, когда определяющее существительное согласуется с местоимением следующей синтагмы; например, неправильной является конструкция следующего типа: *Кто разумѣ умъ Гѣднь или кто совѣтникъ ему бысть?* В этой фразе следует сказать «*Гѣда*, а не *Гѣднь*, послѣдующаго ради возносителнаго [местоимения] *ему*. Иначе бо *ему* вознесется [т.е. отнесется] *ко умъ*» (Смотрицкий, 1619, л. ѡ/3 об.; Смотрицкий, 1648, л. 284 об.).

Ср. в грамматике Ф. Максимова (1723, с. 104–105): «Въ греческа діалекта свойствѣ есть обычай полагати при существителном родителен... Въ славенска же свойствѣ, вмѣсто сего прилагателнъ притяжательный въ томъ же согласіи, яко: *Ангель Господень во снѣ явися Іосифу*». Равным образом И. Ужевич отмечает в своей грамматике конца 1643 г., посвященной главным образом описанию «простой мовы» (ср. § 15.4): «*Liber Pauli* — не книга Павла, а книга Павлова; также *Equus ducis* — конь гетманский, а не конь гетмана»; здесь же отмечается, что следует говорить не *корона кроля*, но *корона кролевѣская* или же *корона кроля перѣского* и т.п. (Ужевич, 1970, л. 54 об. первой фолиации). Аналогичные замечания содержатся и в грамматике «русского језика» Крижанича 1666 г. (Крижанич, 1859, с. 174), причем специально подчеркивается отличие от греческого или латинского. Такие же правила для русского языка дает Барсов в своей «Российской грамматике» 1783–1788 гг. (Барсов, 1981, с. 178), а также Подшивалов в «Сокращенном курсе российского слога» (Подшивалов, 1796, с. 23).

Рассматриваемое явление имеет общеславянское происхождение, и церковнославянский язык в этом отношении не был про-

тивопоставлен некнижному русскому языку, где употребление родительного посессивного было ограничено подобными же условиями (об употреблении родительного посессивного в истории русского языка см. Макарова, 1954; Виднэс, 1958; Мароевич, 1983). Ср., например: *уставащика чюдотворцова Аврамія рука* (Соловецкая челобитная, 1688 г.), *въ Юрьевъ челобитной Сербенина* (дела Посольского приказа, 1676 г.), *Антониева монастыря Римлянина иеромонах Мелхиседек* (запись на книге, 1686 г.), *недостаток познанія авторова в языкъ нашем* (записка В. Е. Адодурова, 1742 г.), *Михайла Монтениевы опыты* (название книги, 1762 г.), *отца Савелиевой прямоты* (Лесков, VI, с. 21), *хана Джангарова понятия* (там же, IV, с. 419), *Сегодня Антип Прохорович, фельдшер, на кучеровой жене, что помер недавно, женился* (Достоевский, II, с. 89; помер кучер, а не Антип Прохорович — определяющее существительное согласуется с глаголом придаточного предложения).

Подобные конструкции часто встречаются в сочетаниях имен и отчеств, типа: «Се ѡз, Федор, да ѡз, Семен, *Ивановы дѣти Федоровича Сабурова*» (Акты С.-В. Руси, I, 1952, с. 333), «*Стольника Семенова жена Алексеевича Лихарева, Ксенья Федорова дочь*» (надпись на воздухе 1595 г.). В качестве примера можно привести еще выражение *Троице-Сергиев монастырь*, где *Троице* (*Троицѣ*) — древнерусская форма род. падежа; иначе говоря, *Троице-Сергиев монастырь* означает *Троицы Сергиев монастырь* — последнее название также можно встретить в старых текстах (например, в послании троицкого архимандрита Дионисия к князю Пожарскому 1612 г.: «живоначальный Троицы Сергиева монастыра архимарит Дионисей...» — ААЭ, II, с. 341, № 202). Отметим в этой связи *царе-Борисовской двор*, *царе-Михайлова отца Филарета Никитича* и т.п. в текстах второй половины XVII в. (Субботин, I, с. 50; Субботин, IV, с. 310), где форма *царе* также восходит к форме род. падежа. Ср. также современные просторечные конструкции типа *тети Дусины пироги* и т.п.

Современный язык избегает таких конструкций, и мы нередко наблюдаем те или иные отклонения от исторически правильной формы. См., например, у Достоевского в «Подростке»: «За чьим ребеночком? — За Андреем Петровичевым» [вместо: Андрея Петровичевым], «Это — его словечко, Андрей Петровичево!» [вместо: Андрея Петровичево] (Достоевский, XIII, с. 294, 434).

Любопытно, что уже царь Алексей Михайлович обнаруживает некоторую нерешительность в образовании конструкций такого рода: в письме от 17–18 августа 1656 г. из Кукейноса (Кокенгаузена), переименованного после взятия его русскими войсками в «царевичев Дмитриев град», он пишет: «І отселе нарекли сему граду имя царевичевъ Дмитреевъ градъ», причем буквы *въ* в слове *царевичевъ* были написаны и потом зачеркнуты (Письма рус. государей, V, с. 62) — создается впечатление, что Алексей Михайлович колеб-

лется между формами *царевича Дмитриев град* и *царевичев Дмитриев град*; далее в том же письме он поздравляет свою семью «с новым нареченным *царевича Дмитриевым градом*» (там же, с. 63), т.е. употребляет правильную форму.

Соответствующая функция притяжательного прилагательного обуславливает осмысление его как эквивалента формы существительного в род. падеже. В некоторых грамматических сочинениях притяжательное прилагательное прямо дается в парадигме существительного как форма род. падежа. Так, в сочинении «О осмих частех слова», приписываемом Иоанну Дамаскину, дается следующая парадигма:

права	<i>чловѣкъ</i>	<i>жена</i>	<i>естьство</i>
родна	<i>чловѣковъ</i>	<i>женина</i>	<i>естьствово</i>
виновна	<i>чловѣка</i>	<i>жену</i>	<i>естьство</i>
дателна	<i>чловѣку</i>	<i>женѣ</i>	<i>естьству</i>
звателна	<i>о чловѣче</i>	<i>о жено</i>	<i>о еъство</i>

(Ягич, 1896, с. 41, ср. с. 48, 467, 469).

Такое же явление мы наблюдаем и в «Донатусе» Дмитрия Герасимова, где парадигма существительного *магистеръ* выглядит следующим образом:

именователнѣ	<i>магистеръ</i>	<i>магистры</i>
родственнѣ	<i>магистерово</i>	<i>магистровы</i>
дателнѣ	<i>магистеру</i>	<i>магистрым</i>
виновнѣ	<i>магистера</i>	<i>магистровъ</i>
звателнѣ	<i>о магистере</i>	<i>о магистры</i>

(Ягич, 1896, с. 537).

Можно видеть, что притяжательное прилагательное выступает здесь в качестве формы род. падежа, поскольку оно квалифицируется как тождественное по функции формам род. падежа греческого или латинского языка (посессивное значение приписывается этим формам в качестве первичного).

Любопытно, что Барсов в своей «Российской грамматике» 1783–1788 гг. рассматривает конструкцию *отец Александра* как производную от *отец Александров* (Барсов, 1981, с. 178), между тем как Ломоносов в грамматике 1755 г. видит здесь обратную зависимость (Ломоносов, VII, с. 469, § 227–228).

По аналогии с притяжательными прилагательными, заменяемыми существительными в род. падеже, никоновские справщики заменяют род. падежом и другие прилагательные. Так, *Душе истинный* регулярно правится на *Душе истины* (о Св. Духе), *солнце пра-*

ведное на солнце правды (о Христе). Ср. в ковычном экземпляре киевского Требника 1646 г., правленном для московского издания 1658 г., замены: *ликъ аплъскій* на *ликъ аплъвъ*, *изыческомъ нашествію* на *нашествію изыковъ*, *варварскимъ рѣкамъ* на *рѣки варваровъ* и т.п. (РГАДА, ф. 1251, № 978/1460, ч. II, л. 286).

Все эти исправления вызывают решительный протест старообрядцев. Никита Добрынин, например, приводит в числе недопустимых исправлений такие замены, как *кровь козлию пію* на *кровь козловъ пію* (Пс. XLIX), *домовъ неправедныхъ* на *домовъ беззаконій* (Пс. LXXIII) (Румянцев, 1916, прилож., с. 355). Другой старообрядческий деятель того же времени, инок Авраамий, протестует против выражения *Душе истины*, придавая этому выражению иной смысл (отличный от *Душе истинный*), а именно, усматривая здесь то конкретное значение родительного принадлежности, которое содержится в притяжательном прилагательном, но отсутствует в непритяжательном прилагательном *истинный*: «Въ стихъ *Царю небесный*, совершенно Духа Святаго истиннымъ не именуютъ... и напечатали сие: *Царю небесный, утѣшителю, Душе истины...* и тѣмъ Духа Святаго учинили раболѣпна, аки причастника точію истиннѣ, а не самый истинный Святыи Духъ именуютъ» (челобитная царю Алексею Михайловичу около 1670 г. — Субботин, VII, с. 285); то же говорит дьякон Федор в «Сказании о церковныхъ догматахъ» (там же, VI, с. 285). Действительно, если при замене притяжательного прилагательного на родительный принадлежности смысл, вообще говоря, не меняется, то при замене относительного прилагательного на существительное в род. падеже может иметь место то или иное изменение смысла. Напротив, никоновские справщики защищают замены такого рода. Так, чудовский инок Евфимий, который сыграл значительную роль в книжной справе второй половины XVII в., писал в сочинении об исправлении миней (1692 г.): «Бѣѣ Авраама. Бѣѣ и Авраамъ имена суть существительная, грамматика же учить сие: два существительна различныхъ вещей стекающаяся, другое ихъ в' родительномъ полагается, яко Бѣѣ Авраама отца твоего, велика совета аггелъ, Отцъ будущаго вѣка, домъ Гѣда вседержителя, Снѣ Бѣѣ живаго, в' нѣдрѣхъ Авраама угодника... Аще бы имени Бѣѣ сочинено было едино существительное имя Авраамъ, а не послѣдовало бы второе существительное же имя, бѣѣ или иное кое, глаголалося бы прилагательнымъ притяжательнымъ именемъ Бѣѣ Авраамовъ, или в' нѣдрѣхъ Авраамовыхъ, или советъ аггеловъ... или домъ вседержителейъ». До сих пор Евфимий пересказывает соответствующее правило грамматики Смотрицкого, однако далее он продолжает: «Но овогда и сіе еже и без послѣдующаго втораго имени не предлагается в' прилагательное притяжательно ради благогласія

и свѣтлаго разумѣнія, яко Бѣ́е славы, Гѣ́ди силы, древо жизни, Бѣ́же доховъ, в' мѣстѣ прохлажденія, в' нѣдрѣхъ Авраама» (Никольский, 1896, с. 95–96). Итак, новые конструкции с род. падежом связываются теперь с «благогласием и светлым разумением», что несомненно объясняется их непосредственной соотносительностью с греческим.

Рассматриваемое изменение приводит к возникновению нового признака, противопоставляющего русский и церковнославянский языки: употребление род. падежа в соответствующей функции оказывается маркированной чертой книжного языка. Характерно, что когда в XVIII в. появляются тексты на «простом» русском языке, который отчетливо противопоставляется церковнославянскому языку (см. § 18.3), подобные конструкции сознательно из них устраняются. Так, Софроний Лихуд, правя в 1718 г. на «простой» язык перевод «Географии генеральной» Варения, первоначально выполненный на церковнославянском языке, более или менее последовательно проводит исправления типа: *частей океана* на *частей океановых*, *картезія толкованіе* на *картезіево толкованіе*, *планетъ аспектъ* на *планетный аспектъ*, *персиды краевъ* на *персидских краевъ* и т.д. (Живов, 1986а, с. 252). Такая же правка может быть обнаружена и в «Библиотеке» Аполлодора, переведенной в 1724 г. на «общий российский язык» А. К. Барсовым, который окказионально употреблял специфические славянизмы, исправлявшиеся затем справщиками Московской типографии, ср. здесь замену: *медвѣдей мозгами* на *медвѣжьими мозгами* (РГАДА, ф. 381, № 1015, л. 183). Мы видим, что рассмотренные сейчас исправления зеркально противоположны тем исправлениям, которые вносят в церковнославянский текст никоновские и послениконовские справщики. Следует подчеркнуть, что и Софроний Лихуд, и редакторы перевода Аполлодора были причастны книжной справе, т.е. занимались исправлением церковнославянских текстов. Именно потому, что в процессе такого исправления они должны были заменять конструкции с прилагательными на конструкции с род. падежом, в данном случае они осуществляют обратную замену: представления о «простом» русском языке определяются при этом отталкиванием от нормы церковнославянского языка (в том виде, в каком она была запечатлена в языковом сознании рассматриваемого периода).

Тем не менее, в XVIII в. соответствующие конструкции с род. падежом усваиваются русским литературным языком нового типа. Это обусловлено западноевропейским влиянием, которое в данном моменте совпадает с греческим влиянием: конструкции с род. падежом могут приходиться непосредственно из западноевропейских языков, однако они ложатся на почву, подготовленную реформой

церковнославянского языка второй половины XVII в. Так, в русском языке появляются такие галлицизмы, как, например, *генерал армии* и т.п. (Исаченко, 1958, с. 45). Подобные конструкции могут специально ассоциироваться с литературным языком: характерно, что Пушкин в 1817 г. пишет стихотворение «Анакреонова гробница», но затем исправляет название на «Гроб Анакреона».

§ 17.3.3. Устранение энклитических местоимений в дат. падеже. Подобно тому как дательный приименный мог выступать в качестве определения, так и энклитические местоимения в дат. падеже могли выступать в соответствующей синтаксической функции (*ми, ти, си*), т.е. в той же функции, что и местоимения притяжательные. В грамматике Смотрицкого констатируется смысловая тождественность конструкций *отец ми* и *отец мой*, *отца ти* и *отца твоего* и т.п. (Смотрицкий, 1619, л. ω/8–8 об.; Смотрицкий, 1648, л. 290 об.–291). Если существительное в дат. падеже, выступающее в качестве определения, заменяется, как мы видели, существительным в род. падеже, то местоимение в дат. падеже в той же функции заменяется притяжательным местоимением, ср., например, правку в ковычном экземпляре Требника 1646 г., сделанную для московского издания 1658 г.: *бтыя ти мѣре* на *бтыя твоея мѣре*, *легкое ти бремя* на *легкое твое бремя*, *многихъ ми прегрѣшеній* на *многихъ моихъ прегрѣшеній* и т.п. (РГАДА, ф. 1251, № 978/1460, ч. I, л. 28, 907, 922 и др.).

§ 17.3.4. Согласование относительных местоимений. В соответствии с греческим синтаксисом никоновские справщики употребляют относительные местоимения *иже, яже, еже*, согласуя их по роду, числу и падежу с тем словом главного предложения, к которому они относятся. В предшествующей норме церковнославянского языка падеж этих местоимений определяется моделью управления глагола придаточного предложения, например: *на мѣсто егоже хоще* заменяется на *на мѣсто еже хоще*; *в' терпѣннѣи страданіи*, *имиже страждемъ* заменяется на *в' терпѣннѣи страданіи*, *яже страждемъ*, и т.п. (ковычный экземпляр Апостола 1671 г., правленный для издания 1679 г. — РГАДА, ф. 1251, № 14, л. 350, 225). Смотрицкий специально отмечает различие греческого и церковнославянского языка в этом отношении, говоря: «Есть атіком свойство, славенску языку всяко странно, возносителному [т.е. относительному местоимению] со предидущимъ в' томже падежи сочинятися [т.е. согласоваться по падежу с анафорическим словом главного предложения, которое стоит перед относительным местоимением] на послѣдующій бѣть, имже правиму быти ему достояше, не единъ възглядъ имущему [т.е. не обращая внимания

на последующий глагол придаточного предложения, который должен управлять таким местоимением]». Смотрицкий здесь же приводит примеры буквальных переводов с греческого на церковнославянский язык. Так, по-церковнославянски должно быть «первое убо слово сотвори х о всѣх, о Ѳеофіле, *о них же* начать Іс творити же и учити» (Деян. I, 1), тогда как греческая конструкция передается Смотрицким следующим образом: «первое убо слово сотвори х о всѣх, о Ѳеофіле, *яже* начать Іс творити же и учити». При этом отмечается, что прецизированные конструкции могут встретиться в старых переводах Св. Писания: «Сие бо многая сим подобная в' бож[ественном] писаніи аттическаго діалекта свойства искуснии преводници преводиша» (Смотрицкий, 1619, л. Ц/1 об.—2 об.; Смотрицкий, 1648, л. 292 об.—293). Именно такое приближение к греческому синтаксису и наблюдается в справе второй половины XVII в. Замечательно, что в ковычном экземпляре Апостола 1671 г., исправленного для издания 1679 г., при одном из таких исправлений на полях стоит ссылка «грамм» (РГАДА, ф. 1251, № 14, л. 36 об.—37), т.е. ссылка на грамматику Смотрицкого. Очевидно, именно указаниями Смотрицкого о различии между церковнославянским и греческим синтаксисом и руководствовались в данном случае справщики, однако эти указания были поняты ими как руководство для построения фразы по греческой модели.

§ 17.3.5. Ограничение функций местоимения *свой*. Ориентация на греческий синтаксис проявляется у никоновских справщиков и в употреблении местоимений *свой*—*твой*. В 1 и 2 л. местоимение *свой* регулярно заменяется местоимениями *мой* и *твой*. Ср., например, исправления в ковычном экземпляре Требника 1646 г., правленного для издания 1658 г.: *Господи, оуслыши моленіа рабѣвъ своихъ* правится на *...рабѣвъ твоихъ*; *дарѣй мѣть свою* правится на *...мѣть твою*; *избави люди своа* правится на *...люди твоя* (РГАДА, ф. 1251, № 978/1460, ч. II, л. 185, 186, 184). Такое употребление становится нормой для церковнославянского языка, и характерно, что Тредиаковский, который ориентируется на церковнославянский язык при установлении правильного русского употребления, критикует Сумарокова за употребление местоимения *свой* вместо *твой* при обращении к императрице. Сумароков пишет:

Ты днесъ фортуна нам пленила
И грозный Рок остановила,
В единый миг своей рукой
Объяла все свои границы.

Тредиаковский замечает: «Своей рукой, вместо *твоей* рукой, худо: ибо речь идет взывательная, и обращена она ко второму лицу. Для

сеяж самыя причины и *свои границы*, за *твои границы*, худо ж и неправильно» (Куник, II, с. 459). В этом произведении («Письмо от приятеля к приятелю», 1750 г.) Тредиаковский вообще выступает за славянизацию русского литературного языка. Между тем Сумароков ориентируется на разговорное употребление, которое до реформ патриарха Никона не противостояло церковнославянской языковой норме.

Обратная замена (личного местоимения на возвратно-притяжательное) имеет место у никоновских справщиков в 3 л. Ср., например, изменение в отпусе (заключительные слова священника в конце службы): в дониконовской редакции было «Христос истинный Бог наш молитвами пречистыя *Его* Матере...», после sprawy — «...пречистыя *своя* Матере». Эта замена вызывает возражения старообрядцев, в частности, Лазаря, который утверждает, что «та речь не слична» (Субботин, IV, с. 190); ср. ответ Симеона Полоцкого в «Жезле правления» (1667, л. 124—124 об.), указывающего, что *его* в дониконовском тексте «может иного лица матерь указывати и тако усумнѣние творити». Отметим, что эта замена отвечает рекомендациям Смотрицкого, который писал: «Вмѣсто возвратителн *его*, *ея*, и прочіихъ... употребляють Славяне благолѣпнѣ притяжательныхъ *свой*, *своя*, *свое*: *яко сице возлюбѣ Богъ мирѣ, яко и Сна своего едиnorodнаго даль есть, вмѣсто Сна его, и аще жена пустиѣ мужа своего и посажет за инаго, прелюбы творит* вмѣсто *мужа ея*» (Смотрицкий, 1619, л. Ц/6; Смотрицкий, 1648, л. 297).

Во всех этих случаях — как в случае замены *свой* на *мой* или *твой*, так и в случае замены *его* на *свой* — имеет место уподобление греческому языку. Действительно, греческий располагает притяжательными местоимениями только для 1 и 2 л.; в этих случаях местоимение *свой* заменяется на местоимения *мой* и *твой*. Соответственно, местоимение *свой* осмысливается как местоимение 3 л., чем и обусловлены замены *его* на *свой* (*свой* коррелирует здесь с греч. αὐτοῦ).

Как и в ряде других случаев (§ 8.7.4), практика никоновских и послениконовских справщиков предвосхищена Максимом Греком. Действительно, в Псалтыри, переведенной в 1519—1522 гг., Максим регулярно пользуется местоимениями *мой* и *твой* в соответствии с греч. μου и σου — при том что в предшествующих переводах в этих случаях стояло местоимение *свой*. Показательна в этом отношении собственноручная правка Максима в Следованной Псалтыри конца XV в. (ГБЛ, ф. 304, № 315), а также правка помощника Максима, Михала Медоварцева, в Цветной Триоди (ГИМ, Шук. 329): Кравец, 1991, с. 260. Заметим, вместе с тем, что в позднейшей своей редакции Псалтыри (1552 г.) Максим отказывается от такого употребления и пользуется местоимением *свой*. По-види-

мому, по мере овладения церковнославянским языком Максим в ряде случаев отказывается в своих переводах от буквальных грецизмов (§ 13.2), ср. переводы Максима с предшествующим переводом по рукописи конца XV в. (ГИМ, Епарх. 137):

Редакция 1519–1522 гг. (ГИМ, Син. 236)	Редакция 1552 г. (ГИМ, Увар. 85)	Старый перевод (ГИМ, Епарх. 137)
<i>щедрытъ твоихъ</i> 43 об.	<i>щедрот своих</i> 36	<i>щедротъ твоихъ</i> 12
<i>лице твое</i> 98 об.	<i>лице свое</i> 39 об.	<i>лице свое</i> 16
<i>мечъ твой</i> 109 об.	<i>ѡроужіе свое</i> 39 об.	<i>ѡроужіе свое</i> 16 об.
<i>оустъ моихъ</i> 29 об.	<i>оустъ моихъ</i> 34 об.	<i>оустъ своих</i> 11

Таким образом, справщики второй половины XVII в. продолжают ту практику, которая была начата Максимом Греком и от которой он сам в значительной степени отказался.

Следует отметить, что, заменяя местоимение *свой* на местоимения *мой* или *твой*, Максим Грек может заменять *свой* на *его*. Так, в Следованной Псалтыри (ГБЛ, ф. 304, № 315), где представлены, как упоминалось, собственноручные исправления Максима, с одной стороны, во фразе «вселитса во двѡры своа» (Пс. LXIV, 5) *своа* правится на *твѡа* (л. 96 об.), с другой же стороны, во фразе «оуготова на соудъ прѡтоль свои» (Пс. IX, 8) *свои* правится на *его* (л. 48); аналогично *стопы своа* (Пс. LXXXIV, 14) правится на *стопы его* (л. 118).

Ограничение в употреблении местоимения *свой* в новом церковнославянском языке (запрет на его употребление с 1 и 2 л.) имеет специфически книжный характер и конституирует новый признак, противопоставляющий книжный и некнижный язык. В XVIII в. в условиях интенсивного западноевропейского влияния (и прежде всего влияния французского языка) употребление местоимений *мой* и *твой* при субъекте соответственно 1 и 2 л. (*я взяла мою книгу, возьми твою книгу* и т.п.) усваивается как галлицизм. Как и в случае с употреблением род. падежа (§ 17.3.2), западноевропейское влияние смыкается здесь с греческим, т.е. усвоение западноевропейских синтаксических моделей оказывается подготовленным реформой церковнославянского языка во второй половине XVII в.

§ 17.3.6. Замена предлога *о* на *в*. Никоновские справщики более или менее последовательно заменяют предлог *о* (*ω*) на *в*. Например, в ковычном экземпляре Требника 1646 г., правленного для издания 1658 г., *послѣшаніе къ всей ω Хрѣстѣ братіи* заменяется на *...во Хрѣстѣ братіи; ѡбство... наслѣдиши, ω Хѣъ Іисѣъ Гдѣъ нашемъ* заменяется на *...во Хѣъ Іисѣъ...; Гди помилѡй... ω еже ω Бѣъ посѣщеніи егѡ* заменяется на *...ω еже в' Бѣъ...* (РГАДА, ф. 1251,

№ 978/1460, ч. I, л. 901, 906, 461). Предлог *о* с местн. падежом первоначально означал «вокруг», однако уже в старославянском языке этот предлог в данном значении вытесняется предлогом *окръсть*; соответственно, предлог *о* теряет свое конкретное значение, обозначая весьма общие отношения (Вайан, 1952, с. 223). В грамматике Смотрицкого говорится о подобном употреблении предлога *о* как специфически славянской черте, отличной от греческого употребления: «*ω*, вмѣсто *во*, Греческаго *ἐν*, Славяны употребляемо, то-муже падежю сочиняется, яко, *Возвеселится праведникъ ω Гдѣ*, вмѣсто *во Гдѣ*. *ω имени твоемъ воздѣну руцѣ моѣ*, вмѣсто *во имени*, и проч.» (Смотрицкий, 1619, л. Ш/5; Смотрицкий, 1648, л. 322 об.). Можно предположить, что исправления никоновских справщиков и в этом случае обусловлены ориентацией на греческую грамматику. Эти исправления вызывают протест старообрядческой партии, например, Никиты Добрынина, который возражает против таких замен, как *о Бозѣ* на *въ Бозѣ*, *о Христѣ* на *во Христѣ*, *о Господѣ* на *въ Господѣ* (Румянцев, 1916, прилож., с. 354).

§ 17.3.7. Лексические грецизмы. В условиях ориентации на греческий язык закономерно появляются новые сложные слова — это же имело место и в первое, и во второе южнославянское влияние (§ 3.2.5; § 10.2). Так, при издании Требника 1658 г., в основу которого положен киевский Требник 1646 г., никоновские справщики заменяют выражение *радующихся крѣви* на *кроворадующихся*, *брань любящий* на *любобранный*, *перстней положеніе* на *перстноположеніе* и т.п. (см. ковычный экземпляр Требника 1646 г. с исправлениями справщиков — РГАДА, ф. 1251, № 978/1460, ч. II, л. 165, ч. I, л. 486). Естественно, что сложные слова такого типа обычно имеют окказиональный характер, однако в некоторых случаях они характеризуют язык, а не текст. Так, в никоновской «Скрижали» 1655 г. (с. 309) появляется слово *дориносимый* — сложное слово, состоящее из греческого (*δору* «копье») и славянского компонентов. Это слово вошло в Херувимскую песнь, исполняемую на литургии. Старообрядцы резко реагируют на это нововведение. Поп Лазарь писал: «Да в новых же книгах напечатано в Херувимской песни: *ангельскими невидимо дориносима чинми*; а в толковании: *копии носима и с копии провождаема*. И та речь Христу в поругание, а не во славу: Иисус Христос Сын Божий от ангельских чинов приемлет невидимое дароприношение, а не копии и с копии провождение» (Субботин, IV, с. 197; ср. ответ Симеона Полоцкого, 1667, л. 144–144 об.). Так же пишет и инок Савватий: «Прежде сего печатали и пѣвали на литургии в поде́млющемъ Хрѣта *дароносима*, послѣдствуя сѣ́нническимъ мѣ́твамъ и дяко́ньскимъ, яко молятся о предло-

женных и честных дарѣх; а нѣѣ напечатали и поють *дориносима*; такожде і в ырмосѣ еже “видѣ Исаія” напечатали Гда *дориносима...*; а *дори* греческим ѣзыком копія. И како удобно рещи Оца или Сна с копіи носима, при Бзѣ оружія и ничесого вешнаго нѣсть» (ГИМ, Увар. 497/102, л. 20; Три челобитные, 1862, с. 47–48). Само соединение греческих и славянских компонентов в сложном слове отчетливо указывает на его искусственный характер.

Наряду со сложными словами, образованными по греческим моделям, справщики второй половины XVII в. вводят и греческие заимствования. Это особенно характерно для Епифанія Славинецкаго и чудовскаго инока Евфимія, последний, например, пишет *параскева* вместо *пятница* (Браиловскій, 1890, с. 435). Тот же Евфимій в сочинении об исправлении Миней (1692 г.) настаивает на употреблении грецизма *характер*, ссылаясь на Епифанія Славинецкаго: «Преждеписанное нѣкіими не добрѣ мѣсто *характер*, индѣ *начертаніе*, индѣ *образъ*. Предреченный же мудрый мужъ Епифаній въ преводѣхъ своихъ опасно храняше имя *характеръ* и вездѣ идѣже прежде писано бѣ мѣсто *характера образъ* или *начертаніе*, писалше *характеръ*, въдая яко ино есть *ікона*, сирѣчь *образъ*, и ино *характеръ*» (Никольскій, 1896, с. 87). Он также настаивает на употреблении грецизма *дракон*, который он отличает по значенію от славянскаго *змій*: «*Змій* имя нарицательное, или общее многихъ плѣжныхъ, имже именемъ зовется малый плѣжный гадъ ядовитый ужъ, и иній подобній тому. *Драконъ* же имя собственное или частное, величайшаго нѣкоего плѣжнаго, могущаго чѣлки, и кони, и волы, и иная величайшая животная жива поглотати. В’ минеяхъ печатныхъ, идѣже гречески *дракони*, писано просто *змій*» (Никольскій, 1896, с. 125); в этих именно местах Евфимій предлагает исправление *змій* на *дракон*. Евфимій ссылается при этом на Максима Грека (там же, с. 126–129), который, действительно, употребляет слово *дракон* в переводе Толковой псалтири 1519–1522 гг. (ГИМ, Син. 233, л. 439 об.; Горскій и Невоструев, II, 1, с. 99), ср. у Курбскаго, ученика Максима Грека, в предисловии к «Новому Маргариту» *дракон* как глосса к слову *змій* (Архангельскій, 1888, прилож., с. 10); между тем в предисловии к Богословию Иоанна Дамаскина Курбскій употребляет в тексте *драконы* и глоссирует это слово «змиеве великие» (Попов, 1872, с. 107). Следует оговориться, что слово *дракон* можно встретить и в древнейших славянских переводах с греческаго (ср., например: Усп. сб., словоуказатель), однако Евфимию эти тексты были, видимо, неизвестны: он рассматривает данное слово как относительно новое заимствование из греческаго языка. Замечательно, что слово *дракон* склоняется Евфиміем с отраженіем греческаго измененія

основы — *дракон, драконта, драконтов*. Обосновывая свою языковую позицию, Евфимий замечает: «Аще же речеть кто, яко простиѣ ѿлковъ не знаютъ реченія имене *дракѡнъ*, но знаютъ лучше реченіе имене *змій*; Глаголательнѣ к' таковым. Суть реченія во сѣомъ писаніи обрѣтающаяся въ книгахъ нашихъ славенскихъ, ꙗже не токмо простолюдини не знаютъ, но ниже сами вземъшии ключъ разума, іерее блю, обаче никтоже гаждаетъ я, ниже писавшимъ, или пишушимъ поносятъ и укоряютъ, яко незнанна суть написана» (Никольский, 1896, с. 130). Слову *дракон*, т.е. обоснованию правомерности и целесообразности употребления этого слова в богослужебных текстах, посвящены и специальные записки Евфимия (ГИМ, Син. 366, л. 82 об.; Горский и Невоструев, II, 1, с. 44–45) — близкие по содержанию к только что цитированному рассуждению и написанные, видимо, приблизительно в то же время. Как видим, непонятность грецизмов несколько не смущает Евфимия, ему важна лишь соотнесенность с греческим текстом и адекватная передача всех смысловых оттенков оригинала. Необходимо отметить, что вводимые Евфимием грецизмы вызвали отрицательную реакцию: когда служебные Минеи с правкой Евфимия (за сентябрь, ноябрь и декабрь) были напечатаны в 1690 г., Евфимий был обвинен в том, что он «странныя реченія... приписываль... съ греческихъ переводовъ безъ указа великихъ государей... И отъ тѣхъ же приписныхъ ево Ефимьевыхъ нововводныхъ странныхъ реченій... многіе люди сумнѣваютца и въ церквахъ Божіихъ чинятца мятежи» (Мансветов, 1883, с. 57, ср. с. 21–23). Цари Петр и Иоанн в 1690 г. указывают напечатать Минеи снова — без правки Евфимия. Защищаясь от возведенных на него обвинений, Евфимий и пишет цитированный трактат о исправлении Минеи (в 1692 г.), так же как и записки о слове *дракон*.

§ 17.3.8. Сознательный характер ориентации на греческие грамматические модели. Ориентация на греческие грамматические модели была вполне сознательной (в отличие от ориентации на югозападнорусские языковые нормы) и воспринималась книжниками второй половины XVII в. как необходимое условие адекватной передачи содержания греческого текста. Поэтому они постоянно ссылаются на греческую грамматику в обоснование правомерности своих исправлений. Такие ссылки мы находим, например, у Епифания Славинецкого в его «Правилах на отмены речений святаго символа», в котором языковые исправления Символа веры последовательно обосновываются ссылкой на греческую грамматику. Так, Епифаний, оправдывая исправление *Творца небу* на *Творца небесе*, говорит: «Сице написася по правилу Гре-

ческому убо и Славенскому же, глаголющу сие: Двою существительну различныхъ вещей стекающеся, другое ихъ в родительномъ полагаемо бывати обыче, яко *Оцѣ будущаго вѣка*: сие *Творца нбсе*. Инако же преведшии, изблудиша изъ пути обою правилу» (Гезен, 1884, с. 126–127). Таким образом, Епифаний приводит правило, согласно которому определяющее ставится в род. падеже. Характерно, что Епифаний называет это правило «греческим и славянским же», хотя это правило является, в сущности, греческим, а не славянским. Епифаний, следовательно, считает, что церковнославянская грамматика должна во всем согласовываться с греческой; таким образом, буквализм переводов обусловлен не только ориентацией на исходный греческий текст, но и ориентацией на греческую языковую модель. Симеон Полоцкий (1667, л. 151 об.), обсуждая исправление *во вѣки вѣком* на *во вѣки вѣков*, ссылается на греческий: «Тако в' греческихъ стоитъ писаниихъ, тако и во прочіихъ, убо и въ словенскихъ такожде быти подобаетъ». Афанасий Холмогорский, отвечая старообрядцам, которые возражали против употребления в одном из переводов Епифания Славинецкого глагольной формы *пришествовати* вместо *пришедша*, говорит: «Ибо им [старообрядцам] того слова *пришествовати* разумѣти невозможно, для того что они простолюдны не токмо грамматики, но и азбуки что есть не знают. А то написано по грамматикѣ правильно, и глагол неопределенный [т.е. инфинитив], и в' греческой Дамаскиновой книгѣ писано такожде» (Афанасий Холмогорский, 1682, л. 100–100 об.); таким образом, обсуждение синтаксических функций инфинитива в церковнославянском тексте оказывается в компетенции греческой грамматики. Чудовский инок Евфимий заключает свое сочинение об исправлении Миней следующим принципиальным заявлением: разумные люди должны рассудить, «чесому должно есть послѣдовати греческаго ли діалекта лежащей во святыхъ писаниихъ истинѣ: или рускимъ писцомъ, писавшимъ и описывавшимъ, и не исправившимъ писанныхъ ими» (Никольский, 1896, с. 134). Совершенно так же обосновывалось и изменение в написании имени Иисуса (*Iysus* вместо *Icys*), имевшее столь большое значение для русского раскола — никониане утверждали: «А имя Иисусово справили противъ грамматическаго разума» (Субботин, VII, с. 400; ср. Афанасий Холмогорский, 1682, л. 184 об.); знание греческой орфографии входит в «грамматический разум».

Вполне закономерно поэтому, что старообрядцы обвиняли патриарха Никона в том, что он изменил церковнославянский язык. По словам Никиты Добрынина, «Никон в... своихъ новопечатныхъ книгахъ словенское наречіе превращалъ», «во всехъ церковнаго украшения новопечатныхъ книгахъ словенское наречіе исказилъ —

хотя ту же речь напечатал, но иным наречием», «в тех Никонова повеления в новопечатных книгах нет ни единого псалма, ни молитвы, ни тропаря, ни кондака, ни седална, ни светилна, ни богородична, ниже в канонах всякого стиха, чтобы в них наречие не изменено было» (Румянцев, 1916, прилож., с. 337, 354, 357).

Реформы книжного языка в середине XVII в. имеют вполне искусственный характер. Ориентация на греческую грамматику еще более увеличивает дистанцию между книжным и некнижным языком. Тем не менее целый ряд нововведений этого времени усваивается в дальнейшем русским литературным языком нового типа. Это объясняется тем, что в определенных моментах греческая грамматика не отличается от грамматики западноевропейских языков, влияние которых испытывает русский литературный язык в XVIII в. Так обстоит дело, например, с функциями род. падежа (§ 17.3.2) и употреблением притяжательных местоимений (§ 17.3.5). Усвоение соответствующих языковых моделей русским литературным языком объясняется как церковнославянским, так и западноевропейским влиянием — одно накладывается здесь на другое. Разные источники, которые определяют характер русского литературного языка нового типа, действуют здесь в одном направлении. Вообще третье южнославянское влияние в значительной степени подготавливает почву для западного влияния, столь актуального для становления новой русской культуры и, в частности, нового русского литературного языка.

Остается отметить, что формы и конструкции, соответствующие прежней церковнославянской норме, отвергнутой в процессе книжной sprawy, перестают восприниматься как книжные, правильные, и переходят в разряд просторечия. Так, например, в качестве просторечной функционирует теперь форма *Никола*, бывшая ранее канонической, поскольку она вытесняется формой *Николай* (§ 12.4). Таким же образом воспринимаются формы *Мария*, *София*, которые некогда были единственными каноническими формами соответствующих имен, затем со времени второго южнославянского влияния сосуществуют в церковнославянском языке с формами *Марія*, *Софія*, а в процессе никоновской sprawy окончательно вытесняются в книжном языке последними формами (§ 12.4). В точности так же обстоит дело и с перенесением ударения на предлог в случаях типа *во веки*, *во имя* и т.п. (§ 17.2.1), а также в конструкциях с притяжательным прилагательным типа *Иванов отец* (§ 17.3.2) и т.п. Во всех этих случаях произведенные изменения приводили к возникновению новой оппозиции между русским и церковнославянским языками. До никоновской sprawy эти формы и конструкции принадлежали церковнославянскому языку, однако не противопоставляли его русскому разговорному языку;

теперь же, будучи отвергнуты церковнославянским языком, они оказываются специфичными именно для разговорной речи.

§ 17.4. Буквализм книжной sprawy второй половины XVII в. и актуализация традиционного языкового сознания. Ориентация на греческий текст приводит к крайнему буквализму никоновской и посленионовской sprawy, когда новоисправленный текст может входить в прямой конфликт с грамматической системой церковнославянского языка. Таким образом, и здесь мы наблюдаем то стремление приблизить церковнославянские переводы к греческому оригиналу, которое характеризует каждое из южнославянских влияний. Афанасий Холмогорский писал: «И учащійся инаго языка, яко свойственнаго намъ Греческаго, могутъ с' того языка, и с' ихъ книгъ яко на извѣстный образъ смотря знати и преводя не грѣшити, но исправити лучше» (Афанасий Холмогорский, 1682, л. 262 об.).

Подобная эллинизация языка и текста характерна для традиции, идущей от Епифания Славинецкого и нашедшей наиболее яркое выражение в деятельности его ученика Евфимия Чудовского. Видимо, к этой традиции восходит изменение одного из самых существенных для православного богослужения текстов — начала Евангелия от Иоанна, которым открывается евангелие-апракос и которое читается во время пасхальной службы. Выше мы уже говорили о буквализме перевода этого текста в синтаксическом отношении, восходящем еще к кирилло-мефодиевской эпохе (§ 3.2.4). В результате sprawy второй половины XVII в. текст этот оказывается еще сильнее приближен к греческому, а именно, слово *слово* соотносится с местоимением муж. рода *сей*, и, следовательно, трактуется как имя существительное муж. рода, что очевидным образом противоречит грамматическому строю славянских языков. Так, в современном церковнославянском тексте Евангелия мы читаем: «Въ началѣ бѣ слово, и слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ слово. Сей бѣ искони къ Богу» (Ин. I, 1–2). Как видим, *слово* соотносится здесь с местоимением муж. рода *сей*. Это объясняется тем, что в греческом языке *λόγος* «слово» — муж. рода. Таким образом, адекватное понимание данного текста предполагает определенное знакомство с греческой грамматикой. Такой перевод, насколько нам известно, впервые появляется в Евангелии, изданном в Москве в 1701 г., тогда как в предшествующих изданиях, как московских, так и югозападнорусских, слово *слово* соотносится с местоимением *се* или *сие*, т.е. трактуется как существительное ср. рода. Так же обстоит дело и во всех старославянских евангелиях, в которых представлен этот текст, а именно в Зогр. ев., Мар. ев. и Ассем. ев., равно как

и в Остр. ев., Добрил. ев. и в южнославянском Добромир. ев. — везде в них находим местоимение *се*. Единственный известный нам текст, в котором дело обстоит иначе, — Чуд. Нов. Завет, где читаем: «Искони бѣ слоѣ і слоѣ бѣ к Бѹ і Бѣ бѣ слоѣ. съ бѣ искони к Бѹ» (л. 41). Итак, *слово* соотносится здесь с местоимением муж. рода *съ*. Это совпадение может быть неслучайно, если иметь в виду, что Евфимий Чудовский был знаком с Чуд. Нов. Заветом (ср. § 9.3) и, несомненно, мог на него ориентироваться, ср. в этой связи предисловие к Евангелию, заново переведенному под руководством Епифания Славинецкого (ГБЛ, ф. 310, № 1291, л. 6 об.—8, ср. еще л. 9 об., 12 об.—13); автором предисловия был, по-видимому, Евфимий (§ 16.1). Следует отметить при этом, что в переводе Епифания местоимение стоит в ср. роде (*сие*) (ГБЛ, ф. 310, № 1291, л. 212—212 об.). Указанное местоимение скорее всего принадлежит, следовательно, Евфимию, который был справщиком Московского печатного двора.

Переводчик Чуд. Нов. Завета, таким образом, предвосхищает деятельность справщиков второй половины XVII в. Это вполне понятно, поскольку в обоих случаях имеет место ярко выраженная ориентация на греческий текст и стремление максимально приблизить церковнославянский перевод к исходному оригиналу. Вообще здесь возможна прямая аналогия с теми процессами, которые мы наблюдали в период второго южнославянского влияния. Если в указанную эпоху вводятся написания, соответствующие греческой орфографической норме (типа *аѣгелъ*), то они предполагают и знание греческих правил чтения (§ 11.1; § 12.4). Точно так же правильное понимание цитированного церковнославянского текста — определение того, к чему относится местоимение *сей*, — предполагает знание того, что в греческом языке «слово» (*λόγος*) муж. рода. В обоих случаях предполагается, что греческий язык является мерой правильности церковнославянского языка и что знание его необходимо для понимания церковнославянских текстов.

Исправленный по греческому образцу текст естественно сопоставлялся с прежним текстом, и это могло стимулировать грамматическую рефлексию. В самом деле, для сторонников традиционной книжности важно было показать, что внесенное изменение искажает смысл текста. Это заставляло задуматься над значением тех или иных синтаксических конструкций, т.е. приводило к актуализации языкового сознания, к осознанию грамматических особенностей традиционного церковнославянского языка. Эта проблема становилась особенно значимой, когда дело касалось сакральных текстов и изменение в значении связывалось с богословской интерпретацией. Споры вокруг никоновской и послениконовской sprawy имели кон-

фессиональный характер, но в основе этих споров нередко лежало различное понимание церковнославянской грамматики.

Примером может служить исключение союза *а* из Символа веры: в старой редакции *рожденна, а не сотворенна*, в новой — *рожденна, не сотворенна*. Это изменение вызвало резкие возражения старообрядческой партии. Дьякон Федор, например, заявлял: «Нам... всем православным христианам подобает умирати за един аз, егоже окаянный враг [патриарх Никон] выбросил из символа» (Субботин, VI, с. 188–189, ср. с. 11–12). Не меньшее значение придавали этому изменению никониане. Так, когда при своем поставлении во епископы игумен Симон — сторонник иконовских книжных реформ — в процессе чтения Символа веры нечаянно возгласил по-старому *рожденна, а не сотворенна*, присутствовавший на хиротонии царь Алексей Михайлович хотел было остановить хиротонию, т.е. был склонен усомниться в действительности самого акта (Субботин, VI, с. 229–230; Титова, 1989, с. 118–119). Иконовская редакция дословно соответствует исходному греческому тексту Символа веры: γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα. Таким образом, отсутствие союза в исправленном церковнославянском тексте мотивируется отсутствием союза в исходном греческом тексте. Однако оппоненты Никона считали, что в церковнославянском языке, в отличие от греческого, не может быть бессоюзного сочетания однородных членов: бессоюзие, по их мнению, предполагает либо подчинение, либо примыкание, т.е. неравноправность соединяемых членов (см. Матьесен, 1972, с. 45–46). Соответственно, например, Лукьян Голосов в своих стихотворных переложениях рождественских ирмосов 1682 г. может называть Богородицу «Божеством Девой» (Шляпкин, 1898, с. 65), имея в виду, конечно, не Бога-Деву — что было бы ересью, — но Божественную Деву.

Отсюда инок Авраамий в своей челобитной (около 1670 г.) видит в новой редакции Символа веры уклонение в арианство: «Они же [никониане] согласишася со Арием; идеже бо речено бысть на посрамление Ариево: *рожденна, а не сотворенна*, тамо лукавии, Ария друга своего оправдати хотяще, многосилную литерату *аз* отъемше, *рожденна, не сотворенна* с жидами глаголют, *еже бо рещи: не сотвори Бог сего, еже рождено быти Христу, в него же христиане веруют*» (Субботин, VII, с. 272–273); итак, разбираемую фразу без союза Авраамий интерпретирует как производную от конструкции *не сотворить рожденного*, т.е. видит здесь управление, а не сочинение.

Не менее показательна в этой связи реакция на устранение союза *и* при перечислении лиц Троицы в текстах, исправленных при патриархе Никоне. Возражая против подобных исправлений, инок Савватий утверждал в своей челобитной царю Алексею Михай-

ловичу 1660-х гг., что никониане Отца и Сына «смазывают во едином лице» и тем самым следуют савелиевой ереси: «В' Треоди постной... напечатали: *Оче Слове и Дше ѿтѣи*, союзного слова и запятые не положили. Тако же и во Псалтыри с слѣдованіемъ... напечатали: *Оче едиnorodное Слово*. Начали Оцемъ, а свершили Сномъ и тѣмъ смѣсили Оца с Сномъ. Удобно было напечатати *Очее Слово*, а не *Оче*. А в' Постной Тріоди... напечатали *блгословимъ Оца Сна и ѿтаго Дха*, союзного слова и запятые между Оцемъ и Словомъ [т.е. Сыном] не положили же. И в цветной новой Треоди... напечатали *Оцъ Снъ и Дхъ*, союзного слова и запятые между Оцемъ и Сномъ не положили же... [Там же] напечатали *Гди і вся сподоби Оца Слова славити и всеѿтаго Дха*, союзного слова и запятые между Оцемъ и Слвомъ не положили же... [Там же] обратно напечатали *Снъ Оцъ*, союзного слова и запятые между ими не положили же. Перечневато гдѣрь, глѣти без союза *Оче Слове, Оца Сна, Оцу Сну, Оцъ Снъ, Снъ Оцъ*, да грубо самое слияніе — Савелиева блядь... Аще ли же кто речеть яко то не слияніе еже Оца с' Сномъ печатають без союзного слова и без запятые и како инако мочно в составѣхъ слиянію быти аще не союзное слово и между ихъ отставити и запятые между ими не полагаѣти?» (ГИМ, Увар. 407/102, л. 2 об.—4; Три челобитные, 1862, с. 16—19). Одновременно Савватий протестует и против неуместного введения союза там, где речь идет об одном лице и где, с его точки зрения, должно быть именно бессоюзное сочетание: «Зри гдѣрь самодержецъ и по сему разума справщикомъ, яко два состава слитно печатають, а единъ составъ разцѣпляютъ, яко же... печатають *Сне, и Слове Божіе*. Между Сномъ и Словомъ запятую и союзное слово полагають, и тѣмъ во единомъ составѣ два лица учинили. А прежде гдѣрь сего... вездѣ печатали *Сне Слово Божіе*, запятые и союзного слова в немъ не полагали, понеж[е] единъ составъ, и едино лице, то и Снъ что Слово. И правда ли гдѣрь то яко единъ составъ разцѣпляютъ, а два слитно печатають» (ГИМ, Увар. 407/102, л. 4 об.—5; Три челобитные, 1862, с. 20). Совершенно то же писал в эти годы и поп Лазарь: «В новых же книгах во всех напечатано хулно зело: *Благословим Отца, Сына и Святаго Духа* и инде *Поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога*, и иная подобная сему; тако уже и поют богохулно, Отца Сына сливающе во едино лице (и сие есть Савелиевы гнилости вред), а Святаго Духа раболепно отставляюще, глаголют: *Благословим Отца, Сына и Святаго Духа*. Потом и отъемлюще литеру измежду Отца и Сына, и ко Ісусу прилагают с лестию [имеется в виду новая форма *Ісус* в никоновских текстах], да человечество Сына Божия разделят во ин состав от Божества» (Субботин, IV, с. 213—214). В «Жезле правления» Симеона Полоцкого это возражение Лазаря излагается таким образом: «В стѣхъ: *Бла-*

гословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, отъемлюще союз и от Сына, глаголюще же: *Благословим Отца, Сына и Святаго Духа*, сливается Отец и Сын во единое лице по Савелиеву ереси» (Симеон Полоцкий, 1667, л. 98 об.—99). Между тем в другом месте Лазарь говорит: «Да в новых же книгах напечатано: *Единородный Сыне и Слове Божий*. Сия речь двоелична... А в прежних книгах, печатных и писменных, написано: *Единородный Сын Слово Божие*. Сия речь единолична» (Субботин, IV, с. 189—190; ср. Симеон Полоцкий, 1667, л. 122); появление здесь союза *и*, считает Лазарь, приводит к еретическому разъединению Сына Божия и Бога Слова (исправление, о котором говорит здесь Лазарь, отражено в ковычном экземпляре московского Апостола 1648 г., правленном московскими справщиками для издания 1653 г., — РГАДА, ф. 1251, № 44, л. 245, 248, см. Хегедюш, 2000, с. 352). Ср., наконец, аналогичную мысль и у дьякона Федора, по словам которого никоновские справщики «напечатали везде: *Отца Сына, Отца Сына, Отца Сына: благословим Отца Сына и святаго Духа Господа; поем Отца Сына и Святаго Духа Бога*. Два лица сливают, отчее с сыновним, — по Савелию...» (Субботин, VI, с. 31, ср. с. 285). Ср. еще обличение соловецких монахов, направленное против требника Петра Могилы 1646 г. (он, как мы уже знаем, лег в основу московского издания Требника 1658 г.): «Много в немъ перед прежними киевскими печатями явилося недобрыхъ статей, паче же святыхъ и пресущественныхъ Троицы имя небрежениемъ слито и смято... и во имени пресвятыя и пресущественныя Троицы союзъ отнять; а во имени Господа нашего ІѢа Христа приложен» (Белокуров, II, с. 123).

Как видим, старообрядцы усматривают в сочетаниях с устраненным союзом, таких как *Отец Сын, Отец Слово*, сочетания с аппозитивной связью, т.е. они воспринимают подобное сочетание в сущности как сложное слово — как единый комплекс, образующий единое значение (обозначающий одно лицо). Само собой разумеется, что бессюзные сочетания были обычны в разговорной речи, но грамматика разговорной речи никак не могла служить ориентиром для книжных текстов; соответствующие конструкции в разговорной речи, если они вообще осознавались, должны были восприниматься как эллиптические.

§ 18. Разрушение диглоссии и переход к двуязычию

§ 18.1. Начало перестройки отношений между русским и церковнославянским языком в первой половине XVII в. Как мы знаем, второе южнославянское влияние создает предпосылки для разрушения церковнославянско-русской диглоссии и перехода к церковнославянско-русскому двуязычию. Этот переход и осуществляется в Юго-Западной Руси, тогда как в Московской Руси сохраняется диглоссия (§ 15). В процессе третьего южнославянского влияния имеет место наложение (перенесение) югозападнорусской языковой ситуации (два книжных языка: «словенский» и «простой» или «русский») на великорусскую (один книжный язык: «словенский», он же и «русский»). Результатом этого является разрушение диглоссии на великорусской территории. В течение второй половины XVII в. церковнославянско-русская диглоссия преобразуется здесь в церковнославянско-русское двуязычие.

Таким образом, процесс разрушения диглоссии на великорусской территории непосредственно связан с третьим южнославянским влиянием. Однако зачатки этого процесса наблюдаются и раньше, по крайней мере с начала XVII в., и это может быть поставлено в связь с аналогичными культурными явлениями, т.е. с ранними проявлениями югозападнорусской культурной экспансии (ср. § 16.3). Все это складывается в единый культурный процесс, истоки которого можно искать в Смутном времени: события Смутного времени обусловили невольный выход Московской Руси из изоляции и столкновение великорусской культуры с польской и югозападнорусской культурой. Во всяком случае, для первой половины XVII в. у нас есть ряд указаний на перестройку отношений между церковнославянским и русским языком, свидетельствующих о начале разрушения диглоссии и зачатках третьего южнославянского влияния.

Так, мы знаем, что при диглоссии предполагается невозможным перевод с книжного языка на некнижный или наоборот (§ 2.2.1). Таким образом, невозможно одновременное функционирование соотносящихся друг с другом текстов с одним содержанием на русском и церковнославянском языке. Такое положение вещей мы и наблюдаем до XVII в., однако с начала XVII в. можно встретить единичные примеры подобного функционирования, предвосхищающие переход к церковнославянско-русскому двуязычию во второй половине этого столетия.

Один из таких примеров дает грамота патриарха Филарета архиепископу Сибирскому и Тобольскому Киприану от 11 февраля 1622 г. о неблагочиниях в Сибири; грамота эта написана на церковнославянском языке, однако начало и конец ее изложены по-русски — чередование языков соответствует при этом принципу диглоссии (ср. § 5.2). В конце грамоты говорится: «А сее бы нашу грамоту велел чести вслух в соборной церкви, и для того велел в церковь быть боярину и воеводам и дьяку и детям боярским и всяким служилым и жилецким людем. И которые будет речи будут им неразумны, и ты б им то рассуждал и росказывал на простую молву, чтоб ся наша грамота во всех сибирских городех была ведома...» (Миллер, II, с. 282). Итак, предполагается перевод церковнославянского текста на «просту молву», что существенно нарушает принцип диглоссии; при этом выражение «простая молва», возможно, непосредственно коррелирует с «простой мовой», поскольку рус. *молва* нормально означало не речь как таковую, но «tumultus, fama» (ср. Срезневский, II, стлб. 200). Ср. *простая молва* как обозначение «простой мовы» в предисловии к Учительному Евангелию 1569 г., которое мы цитировали выше (§ 15.5).

Другим примером может служить Уложение 1649 г. Будучи юридическим памятником, эта книга написана преимущественно на русском приказном языке (это, между прочим, специально отмечает Лудольф в своей грамматике 1696 г. — Лудольф, 1696, л. А/1 об.). Однако в ней встречаются и церковнославянские тексты, что мотивировано сакральным содержанием этих текстов. Так, в статье о крестном целовании (гл. XIV, ст. 10) составители Уложения переходят на церковнославянский язык, когда излагается эпизод из Св. Писания, — распределение церковнославянского и русского языка подчиняется при этом механизмам диглоссии (ср. § 5.2). Принцип применения церковнославянского и русского языка в Уложении состоит в том, что на церковнославянском языке говорится о сакральном, на русском языке — о мирском. В соответствии с этим принципом составители Уложения переводят на русский язык те статьи мирского содержания, которые они заимствуют из церковнославянской Кор-

мчей (речь идет о законодательстве византийских императоров, вошедшем в Кормчую и переведенном на церковнославянский язык, — ср. § 5.3). В результате появляются параллельные тексты на церковнославянском и русском языках. Таким образом, в обоих приведенных примерах распределение церковнославянского и русского языка отражает принцип диглоссии, однако факт перевода с церковнославянского на русский язык, обуславливающего появление параллельных текстов, представляет собой признак двуязычия (см. Живов, 1988, с. 67–68). Приведем несколько примеров по московским печатным изданиям Кормчей 1653 г. и Уложения 1649 г.

Кормчая, гл. 49, грань 39, ст. 53

Иже во станохъ и въ полкахъ на войнѣхъ крадущи, или убо оружїа украдетъ, сурово повелѣваемъ бити его. Аще же подъяремника, рекше коня, или м'ша, или осли, таковымъ руцѣ усѣченъ бывають (л. 489 об.).

Кормчая, гл. 49, грань 38, ст. 17

Ни печи ни поварницы чрезъ едину общую стѣну, не можетъ никто же творити... (л. 477 об.).

Кормчая, гл. 50, грань 16, ст. 29

Аще ли кто тростіе своея нивы, или терніе хотя пожещи, повержетъ огонь на ня, огонь же болма паче пройдетъ, и пожжетъ и чюжія нивы, или чюжь виноградъ, подобаетъ испытати послухи, аще по неискущенію, или лѣнностію в'вергшаго огонь бысть се, безтшетно вреженому да творит (л. 518 об.).

Кормчая, гл. 50, грань 16, ст. 29

Аще от приключенія заж'жется домъ нѣкогого..., и изкочитъ огонь и пож'жетъ нѣкія отъ подлежащихъ хранимъ, бес печали да будетъ, яко невольну заж'женію таковому бывшу (л. 519).

Уложение, гл. VII, ст. 28–29

А будетъ кто будучи на службѣ в' полкѣхъ у кого украдетъ ружье, и того бити кнутомъ нещадно. А что украсть и то на немъ доправить, и отдать тому у кого он украсть. А будетъ кто на службѣ у кого украдетъ лошадь, и ему за тое татьбу руку отсѣчь (л. 83 об.).

Уложение, гл. X, ст. 278

Такъ же и печи и поварни на дворѣ к' стѣнѣ сосѣда своего никому дѣлати... (л. 168).

Уложение, гл. X, ст. 224

А будетъ кто учнетъ на нивахъ своихъ жечь солому, или на лугахъ траву, и в' то время огонь раз'горится, и пожжетъ чюжіе нивы, или огороды..., и про то сыскати, да будетъ по сыску объявится что онъ... пустить огонь по вѣтру, и чюжіе нивы, или огорода не отнять своею лѣнностію..., и на немъ исцамъ убытки ихъ велѣтъ доправить по сыску (л. 154).

Уложение, гл. X, ст. 225

А будетъ у кого загорится дворъ не нарощнымъ дѣломъ, и от того и иныхъ людей дворы погорять... никому ничего не правити, потому что дому его запаленіе учинилося не по его умышленію (л. 154–154 об.).

Примеры параллельных текстов, когда церковнославянский текст объясняется русским, находим позднее у протопопа Аввакума. Хотя Аввакум писал во второй половине XVII в., т.е. в период становящегося двуязычия, можно было бы ожидать, что он как представитель консервативной старообрядческой партии чужд тенденциям, связанным с третьим южнославянским влиянием (с деятельностью патриарха Никона), и что его сочинения отражают языковую ситуацию дониконовского времени. Для Аввакума вообще характерны разительные переходы от церковнославянского языка к русскому и наоборот, что, вообще говоря, не противоречит принципу диглоссии; в частности, церковнославянский язык в цитатах может соотноситься у Аввакума с русским языком в толкованиях (ср. § 5.2).

Характерно, что Аввакум в цитатах из Библии сохраняет церковнославянские формы, но в толкованиях может давать те же слова с русским ударением. Так, в цитатах мы встречаем у него церковнославянскую форму им. множ. *скóти* (Пустозерск. сб., л. 151), *скóты* (л. 155 об.), но в толковании — русскую форму *скоты́* (л. 140 об.). Аналогично в вин. мн.: *скóти* (л. 147) в цитате, *скоты́* (л. 144) в толковании. Ср. еще противопоставление церковнославянской формы им. мн. *блудницы́* в цитате (л. 150) и *блудники* в написанном по-русски Житии Аввакума (л. 34 об.).

Русский язык выступает в этих случаях как средство интерпретации (толкования) церковнославянского текста; в других случаях Аввакум прямо пересказывает церковнославянский текст на русском языке, что явно противоречит диглоссийному запрету переводов с высокого языка на низкий. Ср. пересказ книги Бытия (рассказ о грехопадении) у Аввакума: «И паки рече Господь: что се сотворишь еси? Онъ же [Адам] отвѣща: жена, еже ми сотворилъ еси. Просто мольть: на што-де мнѣ дуру такую здѣлалъ. Самъ неправъ, да на Бога же пѣняеть» (РИБ, XXXIX, стлб. 671). Не менее характерно частное глоссирование церковнославянского текста русскими словами, например «бысть же я... пріальченъ, — сирѣчь есть захотѣлъ» (стлб. 16), «и возвратися в домъ свой тощъ, не пригналъ скота ничево» (стлб. 331), «на высокихъ жралъ, сирѣчь на горахъ болванамъ кланялся» (стлб. 467), «сотвори челоуѣка, сирѣчь яко скуделникъ скуделу, еже есть горшешникъ горышокъ» (стлб. 668).

При диглоссии невозможно и функционирование пародийных текстов на высоком языке (§ 2.2.1). И этот принцип, кажется, может в отдельных случаях нарушаться уже в первой половине XVII в. Элементы пародирования на церковнославянском языке наблюдаем в письмовнике из рукописного сборника первой трети XVII в. (ГПБ, Соф. 1546). Здесь помещено пародийное послание заклю-

ченному в тюрьму, где церковнославянские выражения перемежаются с просторечными, причем в конце послания фигурирует даже искаженная цитата из Евангелия, которая дает основание видеть здесь шуточное обыгрывание сакрального текста:

«Господину онсице челом бью. Дивлюсь убо твоему многосудителному уму. По нему же неславная и непослышная достойнодостоство учинил еси, его же несмыслении младенцы стыдятся действовати. И в чяс, в он же помыслил еси в путное шествие, и в то время приступила к тебе дурость

и ударила теби в бок, —
и то тебе вечной зарок.
И потом пришел к тебе бес,
и завел тебя в лес,
и там положил на тебя свою узду,
и въехал на тебе в тюрьму.

Поистинне от неких некая притчя реченна бысть:

не давай бешеному чернцу молока,
да не залетит за оболока.
И тебе убо вместо млека дали меду.
И ты убо презрел мед и восхотел еси в тюрьме леду.
И ныне спасения ради своего тамо пребываеши,
и не веси, камо помышляеши.

Аще и мысль твоя высокопарителнейша, но твердейша ея четверугольные стены преподобное твое тело огражают. Тамо жителство имей и неисходительно пребывай, донде же воздаси последним. Кондрат» (Демин, 1965, с. 77–78, ср. также с. 75). Концовка данного текста представляет перефразировку евангельского стиха: «Аминь глаголю тебе, не изыдеши оттуду, дондеже воздаси послѣдній кодрантъ» (Мф. V, 26), причем обыгрывается созвучие слова *кодрант* и имени *Кондрат*; одновременно здесь обыгрывается, возможно, этимология имени *Кондрат* — *Кондрат*, т.е. «четырёхугольный».

В другом послании из того же сборника сын, приводя библейские параллели, уговаривает отца не идти в монахи, а в сущности предлагает ему пображничать: «...и ты, имярек, облецыся во одежду праведнаго царя Ахава Израилтескаго, и положи на главу венец Елесфана, царя ефиопскаго, и всяд на столе царя Манасея, и напийся вина Иосифа Прекраснаго, и возприими гусли царя Давыда, и воспой песни в пустыни, яко Моисейски, и возрадуется душа твоя, отче» (Демин, 1965, с. 75–76).

Тогда же, по-видимому, появляются и такие тексты, как «Сказание о крестьянском сыне», «Слово о бражнике», «Сказание о куре и лисице», где так или иначе обыгрываются сакральные сюжеты, хотя вопрос о том, были ли эти тексты в их ранней редак-

ции написаны на церковнославянском языке, остается открытым. Тексты с пародийным обыгрыванием сакрального содержания без специального обыгрывания церковнославянского языка представляют собой явление смежного порядка к интересующим нас случаям и косвенным образом также могут свидетельствовать о начинающемся разрушении диглоссии.

Так, Н. С. Демкова обнаружила фрагмент «Сказания о крестьянском сыне» в составе прописей попа Тихона, сопровождающих скорописную учебную азбуку. Рукопись помечена 23 ноября 1620 г., хотя на основании филиграней она должна быть отнесена к концу 20-х — началу 30-х гг. XVII в.; не исключено, что писцовая запись (с датой) копирует запись составителя прописей или писца-предшественника (Андрианова-Перетц, 1977, с. 231, 237–238). Характерно, однако, что в состав прописей был включен лишь начальный фрагмент повести, в котором отсутствует пародийное обыгрывание религиозных текстов. Таким образом, данная повесть была, видимо, известна на Руси уже в начале XVII в., но, может быть, записываться могла только непародийная ее часть.

Точно так же в «Послании Ивана Бегичева о видимом образе Божиим», написанном в 40-х гг. XVII в. и, может быть, не позже 1643 г., содержится ссылка на «Сказание о куле и лисице» (там же, с. 210). Эта повесть упоминается здесь как нечто уже хорошо известное: наряду с Бовой она причисляется к «баснословным повестям и смехотворным письмам» и в качестве таковой противопоставляется книгам с религиозным содержанием. Как и в предыдущем случае, мы можем лишь констатировать, что эта повесть бытовала на Руси еще в первую половину XVII в., но нет оснований думать, что она относилась к кругу литературных произведений.

Наконец, Е. И. Дергачева-Скоп обнаружила фрагмент «Слова о бражнике» в рукописи первой четверти XVII в. (там же, с. 251); фрагмент не опубликован, и у нас нет возможности судить о его характере.

§ 18.2. Изменения в функционировании церковнославянского языка. Приведенные выше факты, свидетельствующие о начинающемся разрушении диглоссии, уникальны. В рамках языковой ситуации Московской Руси первой половины XVII в. они должны рассматриваться как исключения, и только при ретроспективном взгляде они предстают как предвестники новой системы языковых отношений. Между тем со второй половины XVII в. (с реформ патриарха Никона), когда третье южнославянское влияние принимает несомненные и отчетливо выраженные формы, осуществляется переход от церковнославянско-русской диглоссии к церковнославянско-русскому двуязычию. В результате третьего южнославянского влияния языковая ситуация Юго-Западной Руси

переносится на великорусскую почву, и этот перенос коренным образом меняет все аспекты функционирования литературного языка: расширяется употребление церковнославянского языка, появляются новые варианты литературного языка, основанные на разговорной речи, изменяется характер взаимодействия книжного и некнижного языка.

Рассмотрим подробнее, что происходит при таком перенесении. Начнем с церковнославянского языка.

Соотнесение церковнославянского языка Юго-Западной Руси и церковнославянского языка Московской Руси обуславливает непосредственное влияние первого на второй, что и проявляется в процессе никоновской и послениконовской книжной справы: формальные особенности югозападнорусского извода церковнославянского языка переносятся в великорусский извод, в результате чего происходит образование единого общерусского извода церковнославянского языка (§ 17). В функциональном аспекте новый общерусский церковнославянский язык в результате этого влияния усваивает те функции, которые были свойственны церковнославянскому языку Юго-Западной Руси. Таким образом, наряду с усвоением формальных признаков церковнославянского языка Юго-Западной Руси имеет место усвоение его функций. При этом церковнославянский язык в великорусских условиях, где он был широко распространен и по традиции воспринимался как основной язык культуры, продолжает активно функционировать, в то время как в Юго-Западной Руси он был в значительной степени вытеснен «простой мовой».

Это расширение функций церковнославянского языка проявляется в ряде аспектов.

Прежде всего, на церковнославянском языке начинают разговаривать, подобно тому как это было принято в Юго-Западной Руси. В Юго-Западной Руси, как мы знаем, на церковнославянском языке специально учили разговаривать в братских школах (§ 15.4). То же самое возникает теперь и в великорусских условиях: в великорусских духовных школах, созданных по образцу югозападнорусских (ср. § 16.4), также учат разговаривать по-церковнославянски. Так, Тредиаковский в предисловии к «Езде в остров Любви» свидетельствует, что в свое время он разговаривал на этом языке: «Прежде сего не толко я им писывал, но и разговаривал со всеми» (Тредиаковский, III, с. 649–650). По всей видимости, речь идет о периоде его обучения в Славяно-Греко-Латинской Академии, т.е. о 1723–1725 гг. Это свидетельство Тредиаковского находит документальное подтверждение в учебных тетрадях студентов Славяно-Греко-Латинской Академии за те же годы. В этих тетрадях мы встре-

чаем характерные упражнения по переводу с русского на церковнославянский язык: соответствующие тексты расположены в параллельных колонках с надписью «прость» и «славенски» (см. тетрадь домашних упражнений студента Михаила Иванова за 1726–1728 гг. — ГПБ, Вяз. Q. 16, л. 72–75; ср. § 19.2). Это один из первых примеров параллельных церковнославянско-русских текстов в великорусских условиях — подобное явление невозможно в ситуации диглоссии, но естественно в ситуации двуязычия: параллельные тексты свидетельствуют о параллелизме функций. Параллельные тексты на церковнославянском и на «простом» (русском) языке можно найти — в те же годы и в том же социуме! — и в грамматике Федора Максимова (1723, с. 98–100, 109, 113–114), которая предназначена именно для учеников духовных школ (эта грамматика была создана в новгородской епархиальной «грекославенской» школе). Показательно, что в грамматике церковнославянского языка Федора Поликарпова, написанной около 1724 г., подчеркивается, что грамматика учит не только правильно писать и читать, но и правильно говорить, т.е. говорить по-церковнославянски (РГАДА, ф. 201, № 6, л. 15 об.–16, 18–18 об.; Поликарпов, 2000, с. 143, 144), ср. о том же и в его «Технологии» 1725 г. (ГПБ, НСРК F 1921.60, с. 3; Поликарпов, 2000, с. 241).

Соответственно, церковнославянский язык предстает как язык ученого сословия, т.е. приобретает функции, свойственные латыни на Западе, и становится вообще функциональным эквивалентом латыни. Характерно, что в упомянутой тетради Михаила Иванова, наряду с переводами с русского на церковнославянский язык, можно найти переводы как с церковнославянского языка на латынь, так и наоборот. Указание на то, что церковнославянский язык, подобно латыни, является языком науки, содержится у Лудольфа в его грамматике 1696 г.: «Точно так же как никто из русских не может писать или рассуждать о научных материях (*erudite*), не пользуясь славянским языком, так и наоборот, — в домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка». Поскольку церковнославянский язык предстает как язык учености, злоупотребление этим языком может восприниматься именно как претензия на ученость и соответственно вызывать отрицательную реакцию: по свидетельству Лудольфа, «чем более ученым кто-либо хочет казаться, тем больше примешивает он славянских выражений к своей речи или в своих писаниях, хотя некоторые и посмеиваются над теми, кто злоупотребляет славянским языком в обычной речи» (Лудольф, 1696, л. A/1–2). То же говорит и И. В. Паус в своей «Славяно-русской грамматике» 1705–1729 гг. (БАН, собр. иностр. рукописей Q 192): «Потребность в славянском

языке можно видеть в том, что как только в обыденной речи заходит разговор о высоких или духовных предметах, тотчас начинают употреблять славянский язык» (л. 3); по словам Пауса, «славянский язык используется больше в церкви, а русский распространен в обыденной жизни, но в государственных и научных вопросах пользуются все же славянским. Между тем русский язык — достояние простого народа» (л. 5, ср. также л. 9) (Михальчи, 1969, с. 34–35, 40, 51). В этом же смысле, наконец, следует понимать и извинения Тредиаковского в предисловии к «Езде в остров Любви» перед теми, при которых он в свое время, разговаривая по-церковнославянски, «особым речеточцем хотел себя показывать» (Тредиаковский, III, с. 650; ср. комментарий: Успенский, 1985, с. 74–76).

В соответствии со сказанным ученые диспуты во второй половине XVII в. ведутся по-церковнославянски: иллюстрацией может служить запротоколированная беседа Симеона Полоцкого, Епифания Славинецкого и Паисия Лигирида с Николаем Спафарием, имевшая место в Москве в 1671 г. (Голубев, 1971; ср.: Успенский, 1994, с. 90). Различие в языковой ситуации наглядно видно, если сопоставить этот диспут с упоминавшимися выше (§ 13.4) прениями московских книжников игумена Ильи и Ивана Наседки с Лаврентием Зизанием в 1627 г., т.е. еще в условиях диглоссии (см. Прения Лаврентия Зизания...; Заседание в Книжной палате...), которые — несмотря на свою богословскую тематику — велись на не книжном языке.

Вот как выглядит начало этой беседы: «Прежде трапезы абие внегода прииде Николай в дом беседе и сед во одежде теплой согрeяся зело, того ради совлекая ю с себе рече: “Движение творит теплоту”. Симеон: “Не во всех” — рече. Николай рече: “Се древо и железо движением не точию согревается, но и огонь изводят”. Симеон рече: “Не самым движением, но сопритрением единого ко другому. Сия же суть от четырех стихий. Того ради имут огонь в себе”. Николай рече: “Вскую железо хладно, аще имать огонь в себе?”. Симеон рече отвеща: “Яко в нем стихия хладная преобладает”. И приложи Симеон вопросити Николая: “Рцы ми, како огонь в железе содержится?”. Отвеща Николай: “Самым делом”. Рече Симеон: “Аще самым делом огонь в железе содержится, то нож сей, лежащий на убрусе, сожжет и”. На се неведе Николай, что ответовати. Исправи же его Епифаний, глаголя: “Не делом огонь есть в железе, ни, но множеством или силою, яко может притрением или ударением из него известися огонь”. И престаша о сем беседовати» (Голубев, 1971, с. 298–299).

Равным образом со второй половины XVII в. значительно расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке; в целом ряде случаев соответствующие тексты переводятся на церковнославянский язык непосредственно с латыни (Кутина, 1978, с. 249).

Вместе с тем в условиях церковнославянско-русского двуязычия — при характерном для двуязычия дублировании функций — церковнославянский язык в качестве языка науки может выступать параллельно с русским. Так, в дошедшем до нас деле о сумасшедшем самозванце 1690 г. фигурируют медицинские заключения трех врачей, представляющие собой сделанные тогда же переводы с латыни и с греческого. Одно из этих заключений переведено на довольно чистый церковнославянский язык (Зенбицкий, 1907, с. 156). Таким образом, церковнославянский язык выступает в этом случае как возможный, но не обязательный язык учености.

В конце XVII в. Карион Истомин пишет в предисловии к своему рукописному букварю, что последний предназначен для того, чтобы «учитися читати божественныя книги и гражданских обычаев и дел правных» (Браиловский, 1902, с. 293; Тарабарин, 1916, с. 30). Таким образом, букварь церковнославянского языка предназначается не только для обучения чтению церковной литературы, но и для овладения литературой светской — это явно связано с секуляризацией литературного языка. Особенно любопытно упоминание «дел правных», которое говорит о том, что применение церковнославянского языка распространяется и на юридическую литературу, т.е. имеет место славянизация таких текстов, которые ранее — в условиях диглоссии — писались по-русски. В самом деле, со второй половины XVII в. появляются церковнославянские юридические тексты; сюда относятся, например, «Приказ, объявленный... собранному на смотре войску на Девичьем поле» от 28 июня 1653 г. (ПСЗ, I, № 99, с. 291 — целиком по-церковнославянски), Уставная грамота от 30 апреля 1654 г. (ПСЗ, I, № 122, с. 320–322 — частично по-церковнославянски) и т.д. (Живов, 1988, с. 106).

Расширение функционирования церковнославянского языка наблюдается и в других сферах — в частности, на церковнославянском языке начинают писаться письма, что для предшествующего периода нехарактерно. В конце XVII — начале XVIII в. письма по-церковнославянски могут писать как духовные лица (такие, как новгородский митрополит Иов или иеродиакон Дамаскин), так и светские (например, Федор Поликарпов или А. А. Курбатов).

Вот, например, каким языком пишет письма Федор Поликарпов И. А. Мусину-Пушкину: «Вчера смушену бывшу духу моему о внезапной кончине сослужителя моего справщика Николая забвения положися», «Читать почахом ныне книгу Эсфирь» (Черты книжного просвещения..., стлб. 1056). Прибыльщик А. А. Курбатов может писать Петру I как на церковнославянском языке (Соловьев, VIII, с. 73, 277), так и по-русски (там же, с. 77, 89, 324–328, 500–501, 510–512). Характерным образом применение церковнославянского языка может сочетаться при этом у Курбатова с имитацией языко-

вых конструкций богослужебной литературы: так, его поздравление Петру со взятием Нарвы в 1704 г. и со взятием Полтавы в 1709 г. построено по модели акафиста (Соловьев, VIII, с. 73, 277).

На церковнославянском языке могут делаться в это время и разнообразные записи бытового содержания — дневниковые записи, пометы на книгах и т.п.; применение языка определяется при этом не отношением к предмету речи (как это имело бы место ранее), но исключительно уровнем образования пишущего — владение церковнославянским языком демонстрирует ученость, принадлежность к элитарной культуре. Так, например, до нас дошли дневниковые записи Федора Поликарпова, сделанные на выпускавшихся подведомственной ему типографией календарях: записи эти выполнены на церковнославянском языке, ср. «получих писмо чрез почту... отдах превод часов»; «совершишася пятыє кнги мовсеов. правленіє. начахом чести Іисуса Навіна. нача чести А:К [имеется в виду А. К. Барсов]» (РГАДА, ф. 1251, № 271/з — Календарь на 1721 г., записи под 9—11 и 23—24 октября). Чудовский инок Евфимий на переводе толкования литургии записывает, что за этот перевод он заплатил свои деньги: «За преведеніє мзду даяхъ азъ отъ себе» (Соболевский, 1903, с. 340) — ранее подобные записи были бы сделаны на русском языке.

Эта активизация употребления церковнославянского языка в значительной степени связана с активным характером обучения ему, которое теперь получает принципиальное значение. Церковнославянский язык как язык науки и как язык ученого сословия требует свободного владения им, при котором он мог применяться в любой ситуации и вне зависимости от предмета речи. Таким образом, ориентация на активное употребление (ср. § 14.2) получает в это время дальнейшее развитие. Теперь овладение книжным языком в принципе предполагает обучение ему с помощью грамматики, т.е. обучение церковнославянскому языку в известной мере уподобляется обучению латыни в католических духовных школах. Митрополит Паисий Лигарид, требуя от царя Алексея Михайловича открытия училищ, специально настаивал на таком именно обучении церковнославянскому языку: «Иллирическа, или славенска языка весьма учитися подобает Россом, но со правилом грамматическим, а не простообычно» (Субботин, IX, с. 240). Изменение характера владения церковнославянским языком отмечает и Афанасий Холмогорский, утверждая (с некоторым полемическим преувеличением), что «в' прежняя времена рѣдко такіа люди въ Російской державѣ обрѣталися, который точію по книзѣ глаголати мало можуть, а не писати книги, ради неученія грамматическихъ наукъ» (Афанасий Холмогорский, 1682, л. 260 об.—261).

Характерна в этом смысле позиция Симеона Полоцкого. Будучи в Юго-Западной Руси, он писал на «простой мове»; между тем, попав в Москву, он рассматривает церковнославянский язык как единственный литературный язык Московского государства и старается писать именно на этом языке. Видя в церковнославянском языке прежде всего средство коммуникации, он стремится к активному владению этим языком и для этого специально ему обучается с помощью грамматики, ср. красноречивое признание в предисловии к «Рифмологиону» (1679 г.):

Писах в началѣ по языку тому,
иже свойственный бѣ моему дому.
Таже увидѣвъ многу ползу быти
славенскому ся чистому учити,
Взях грамматику, прилѣжах читати,
бог же удобно даде ми ю знати;
К тому странная суши ей подобна,
в знания ползу бѣше ми удобна.
Тако славенским рѣчем приложихся,
елико дал бог знати научихся.

(Симеон Полоцкий, 1953, с. 218).

Надо полагать, что Симеон Полоцкий как православный священник, учившийся к тому же в Киево-Могилянской коллегии, в какой-то мере владел церковнославянским языком и раньше: когда он говорит о изучении церковнославянского языка, он имеет в виду именно активное овладение этим языком (ср. § 15.5). Характерно, что в цитированном пассаже Симеон упоминает о сходстве церковнославянской грамматики с иностранной («странной») грамматикой — несомненно, речь идет о латинской грамматике; это дает ему возможность воспользоваться своим знанием латыни при овладении церковнославянским языком (в предисловии к другому своему сочинению — «Вертограду многоцветному» 1678 г. — он подчеркивает, что обогатил церковнославянский язык «странными идиоматами», имея в виду латинизмы, см.: Симеон Полоцкий, 1953, с. 206). Итак, Симеон Полоцкий изучает церковнославянский язык как иностранный (отчасти пользуясь, по-видимому, даже иноязычной грамматикой): собственно, он учит церковнославянский язык так, как учат латынь, — соответственно, церковнославянский язык и выступает у него как своеобразный эквивалент латыни (как это, вообще говоря, и естественно для представителя югозападнорусской образованности).

Иван Посошков в своем «Проекте о школах» (1705–1707 гг.) настаивает на необходимости «сстроити граматика на славенском языкѣ з добрым исправлением... и о всяком разумѣ грамматическом, буде возможно, положить бы толкованіе явственное, чтоб мочно было и без учителя хотя отчасти дознаватися. А к тому не худо б и

писмен азбучных пополнить, понеже азбука есть не евангелское слово, ни от Бога она составлена, но от учителей и елико им вмѣнилось, толико тогда и положилося» (Срезневский, 1900, с. 21). В последней части приведенной цитаты содержится явная полемика с трактатом черноризца Храбра (хорошо известным русскому читателю, поскольку он воспроизводился в букварях XVII в. — ср. § 13.3); вообще Посошков склонен относиться к церковнославянскому языку как к обычному средству коммуникации, усвоение и активное владение которым предполагает рационально составленное грамматическое описание.

«Проект о школах» был написан Посошковым для представления митрополиту Стефану Яворскому (см. Срезневский, 1900). Вместе с тем, судя по обращению («ваше величество»), Посошков намеревался послать подобный текст царю, и в этой связи заслуживают внимания совпадения «Проекта о школах» с предназначенной для царя «Книгой о скудости и богатстве» 1724 г. Ср.: «...его императорскому величеству надлежит постараться о граматике, чтоб принудить ее выправить добрым расположением с самым добрым истолкованием и тако дробно ее разобрать, чтобы всякие скрытности ясно откровенныя были, и чтоб и без учителя можно познать всякия падежи и склонения и, тако исправя ю, напечатать бы их тысячь пять-шесть или десятков...» (Посошков, 1951, с. 22–23). Сходные мысли можно найти у Посошкова и в «Зерцале очевидном» 1708 г.: «И в книжном художестве, той склонения и падежи речений и сочинения силу и разумеет, кто грамматики и прочих наук достигнул; а простцу, земледельцу, или купцу, или какому иному художнику или волочаю, аще по книгам кой и читает, а учения высокаго не коснулся, как ему можно разумети, чего у кого в голове нет!» (Посошков, II, с. 18–19). Здесь ясно противопоставлено активное знание церковнославянского языка, доступное лишь образованным людям, овладевшим грамматикой, и пассивное знание, которое возможно и без грамматического учения, а следовательно доступно и простецам.

Примечательно при этом, что Посошков, в сущности, признает необходимым знание грамматики церковнославянского языка лишь для лиц духовного сословия — вне духовного сословия оно оказывается лишь желательным (Посошков, 1951, с. 22–25; ср. Посошков, II, с. 35). Таким образом, церковнославянский язык приобретает социолингвистическую окраску, которой он был лишен в период диглоссии (§ 2.2.2).

Активизация употребления церковнославянского языка в Восточной Руси делает процесс разрушения диглоссии здесь непохожим на процесс разрушения диглоссии в Юго-Западной Руси. В Юго-Западной Руси этот процесс начинается с появления «простого» языка, который конкурирует с церковнославянским языком и практически вытесняет его в некоторых функциях; в Вели-

короссии этот же процесс начинается с расширения функций церковнославянского языка, который отнюдь не обнаруживает в это время тенденций к упадку. Такие тенденции появляются в XVIII в., но они связаны с иной культурной и языковой ситуацией, рассмотрение которой не входит в наши задачи.

§ 18.2.1. Модернизация церковнославянского языка как результат активизации его употребления. Итак, в условиях разрушения диглоссии функции церковнославянского языка расширяются, а его употребление активизируется. Это приводит к определенной модернизации церковнославянского языка, причем этот модернизированный церковнославянский язык кодифицируется. Здесь ярко проявляется отношение к церковнославянскому языку как к средству коммуникации, а не как к культовому языку, формы которого имеют безусловную значимость. Соответственно, разные варианты церковнославянского языка начинают оцениваться с точки зрения удобства коммуникации. Кодификация церковнославянского языка такого типа имеет отчетливо выраженный прагматический характер: она предназначена для активного пользования этим языком. Поскольку церковнославянский язык рассматривается как средство коммуникации, к нему оказывается применимым теперь критерий употребления, который раньше не играл сколько-нибудь существенной роли: элементы церковнославянского языка разделяются на употребительные и неупотребительные. Неупотребительные, архаические элементы могут получать при этом отрицательную стилистическую характеристику в качестве ненужного балласта, лишь осложняющего писание и чтение на данном языке. Так, в мнении о исправлении Библии от 10 августа 1736 г., поданном в Синод, Феофан Прокопович заявлял: «...ветхое Славенскаго языка грамматическое учение есть весьма грубое, как в наречиях многих, так и в складе речей. Наречия обретаются обещалыя, которыя давно уже износились и стали онучами, да и чтущим неудоборазуменныя, например: *елма, колма, врьсноту, убо, непщую, потщаваю, плищъ, щуди, голимый* и проч., а склады бывают стропотные, наипаче эллинизмы, то есть наречия не по природе Славенскаго, но по природе Эллинскаго языка сопрягаемыя, например: *учуся грамотъ*, вместо *грамоты*, понеже еллинское *στυδέω*, *учуся*, сопрягается с дательным падежом; тако ж и следующие: *прииде во еже освятити*, а для чего бы не тако: *прииде освятити*, а *во еже* лишнее и темность наводит; *надбюся быти прощенію*, а не лучше ли: *надбюся, яко будетъ прощеніе*, и проч. и проч.; а люди неискусныи и силы диалектов не разумеющии, нашед в лексиконе таковыя стропотности и гнилости, помышляют, что они нашли премудрость и

оних употребляют для удивления народного, а своего смеха достойнаго чванства сами безумныи книгочии» (ОДДС, III, прилож., стлб. XXV–XXVI).

Рассуждение Прокоповича о конструкциях *еже* с инфинитивом отчасти напоминает разбор этих конструкций в грамматике Смотрицкого, который также может рассматривать их как неоправданный эллинизм. Анализируя фразу из Нового Завета «Бгъ естъ дѣйствуяи во васъ и еже хотѣти и еже дѣяти» (Филип. I, 13), Смотрицкий усматривает здесь буквальный перевод с греческого и замечает: «Много обаче чистѣе без *еже* положено было бы, сице: *Бгъ естъ дѣйствуяи во васъ и хотѣти и дѣйствовати*» (Смотрицкий, 1619, л. Ш/2; ср. Смотрицкий, 1648, л. 310 об.). Прокопович наверняка был знаком с грамматикой Смотрицкого, и очень вероятно, что в данном случае он опирается на приведенное высказывание.

Подобный подход характерен и для Федора Поликарпова, который в 1723 г. писал в Синод о переведенных Епифанием Славянецким и напечатанных в Москве в 1665 г. творениях отцов церкви: «Книга Григорія Назіанзена съ прочими, иже въ ней, преведена необыкновенною славяншизною, паче же рещи еллизинизмом, и за тѣмъ о ней мнози недоумѣвають и отбѣгаютъ. А можно оную вновь превести удобнѣе, и неудобопроходныя стези въ пути гладки устроить» (Браиловский, 1894, с. 31). Таким образом, Поликарпов отделяет обычный церковнославянский язык от «славяншизны», т.е. специфически книжных оборотов, не характерных для активного употребления. Отказ от неупотребительных элементов связан для Поликарпова с совершенствованием церковнославянского языка; совершенствование церковнославянского языка связывается для него не с архаизацией, а, напротив, с освобождением от архаизмов. Этот подход очень отчетливо проявляется в его переработке грамматики Смотрицкого (1721 г.). В рукописных (подготовительных) материалах к этому изданию Поликарпов, в частности, пишет: «А понеже Гду поспѣшствующу славенскій нашъ діалектъ со временем паче и паче разширяется и разчищается, и уже во сто лѣтъ возрасте нѣтъ въ лучшее изрядство, того ради по настоящему времени смотря ко древнѣй грамматицѣ нѣкая малая правила приложишася, нѣкая же древняя нѣтъ отяшася за неупотребленіе, яко рещи, двойственное число во именѣхъ, глаголѣхъ, и въ мѣстоименіяхъ, наполняющу оныхъ мѣсто числу множественному, обаче и сія на произволеніе» (РГАДА, ф. 381, № 1241, л. 7 об.).

Таким образом, эволюция церковнославянского языка, осуществившаяся за сто лет, прошедших с появления грамматики Смотрицкого (1619 г.), определяется для Поликарпова его активным употреблением — употреблением, основанным на граммати-

ке. Грамматика Смотрицкого сделала такое употребление возможным, и язык начал изменяться к лучшему («разширяться и разчищаться»). Новое издание грамматики Смотрицкого должно было зафиксировать эти улучшения и вместе с тем способствовать дальнейшему совершенствованию языка.

Как видим, Поликарпов признает, в частности, неупотребительными формы дв. числа и считает возможным заменять их на формы мн. числа. Дв. число Поликарпов рассматривает при этом как грецизм, не соответствующий природе славянских языков. Приводя глагольную парадигму в дв. числе, Поликарпов замечает: «По древнему обычаю от греков взятому, обаче нынѣ мало употребляемо, множественному числу сѣя наполняюще» (Смотрицкий, 1721, л. 111). Еще яснее об этом говорится в рукописных материалах к грамматике 1721 г.: «Сіе двойственное число во имяни и въ глаголъ и въ причастіи и въ мѣстоименіяхъ употребляху древніи преводниці серби и славяне во своихъ преводѣхъ послѣдующе грекомъ, двойственное число прежде имѣвшимъ во употребленіи, наипаче ради стихотворныхъ ихъ мѣры» (РГАДА, ф. 381, № 1241, л. 67 об.; Поликарпов, 2000, с. 120). Соответственно, приводя форму *на біема*, Поликарпов поясняет: «вмѣсто реши *мы два біемъ, ва біета — вы два біете, она біета — они два біютъ*» (Смотрицкий, 1721, л. 116). Точно так же он протестует против склонения числительных в дв. числе. Приводя помещенную у Смотрицкого парадигму числительного *четверо*, которая включает формы ед., дв. и мн. числа, Поликарпов замечает: «Вышепомянутая реченія: *двои, трои, четверо* и прочая, аще у малороссовъ по древнему ихъ обычаю единственнымъ и двойственнымъ числами и скланяхуся, обаче нынѣ благодатию Божіею славенску языку разчищающуся, возмнѣся сѣ быти неправильно. Како бо четверыхъ можетъ кто нареши единымъ или двома, еже противно и разуму. Но нынѣ обыкновеннѣе сѣе скланяти можно: единственного и двойственного числа лишается, множественного числа именительный: *четверо*, родительный: *четверыхъ*, дательный: *четверымъ*, винительный: *четверо* и *-рыхъ*, звательный: *о четверо*, творительный: *четверыми*, сказательный: *о четверыхъ*. Сѣе: *пятеро, шестеро, седмеро* и прочая» (л. 85–85 об.).

Равным образом Поликарпов возражает и против архаических форм местоимений. Приводя форму *ти* (им. мн.), он замечает: «Нынѣ не употребляется» (л. 97). По поводу местоимения *чесо* Поликарпов говорит: «Нынѣ необычно» (л. 96 об.–97). Аналогичными характеристиками снабжаются форма притяжательного прилагательного *Аннь* («необычно, неупотребительно», л. 79 об.), форма *зель* вместо *зеліе* («неупотребительнѣ», л. 58 об.), форма аориста 3 л. ед. числа *зачать* вместо *зача* («обаче нынѣ не употребляются», л. 117),

конструкция *біянь бывахъ* («обаже нынѣ не во употребленіи», л. 112 об.). Такого же рода примечание он делает по отношению к глагольным формам прош. времени со связкой типа *чи есмь*: «Обаже нынѣ не употребляется, славенску на лучшее Божією помощію происходящу» (л. 118 об.). Как видим, в эволюции церковнославянского языка Поликарпов усматривает отнюдь не порчу, а улучшение, расчищение, и приписывает это прямому действию Божией благодати. Приводя в качестве параллельных форм *святыхъ* и *святъ*, он вторую форму трактует как «піитическую» (л. 69 об.), т.е. архаические формы воспринимаются им как маркированные, служащие особым целям украшения речи.

Хотя рассмотренные процессы модернизации церковнославянского языка обусловлены прежде всего активизацией его употребления, соответствующая норма имеет тенденцию к экспансии. Модернизированный таким образом церковнославянский язык воспринимается, как мы видели, как более доступный и одновременно, поскольку он кодифицируется, как нормативный. В этом качестве он отражается на книжной справе, т.е. в соответствии с ним приводятся и старые тексты. Именно это и происходит при подготовке к изданию Елизаветинской библии (1751 г.). Справщики (основную роль здесь играли Иаков Блоницкий и Варлаам Лашевский) значительно модернизируют церковнославянский язык библейского текста. Соответствующая модернизация не распространяется на язык богослужебных книг; поэтому язык богослужебных книг начинает отличаться от языка книг, предназначенных для внецерковного чтения. В частности, новоисправленное Евангелие с этого времени отличается от Евангелия на престольного, и учебная церковная литература отличается по языку от богослужебной (ср. § 8.7.4). Поскольку небогослужебные издания имели несравненно большее распространение, модернизированный вариант церковнославянского языка получает преимущество над более традиционным; последний, как правило, воспринимается лишь со слуха при церковном чтении.

Исправители Елизаветинской библии вносили прежде всего следующие языковые изменения. Во-первых, они заменяют формы дв. числа на формы мн. числа, хотя и делают это не всегда последовательно. Так, в новоисправленном тексте повествования о двух слепцах из Евангелия от Матфея (XX, 30–34) чередуются формы дв. и мн. числа (каждый раз имеются в виду два лица): «Се два *слѣпца сѣдяща* при пути, *слышавша... возопиша, глаголюща...* народъ же *прешаше има*, да *умолчита*, *она же паче вопіяша глаголюща...* и воставъ Иисусъ, возгласи я, и рече, что *хощета*, да сотворю *вама? Глаголаста* Ему: Господи, да *отверзутся очи наши*. Милосердовавъ Иисусъ, прикоснуся очію *ихъ*; и абіе *прозрѣша* очи *ихъ*,

и по Немь идоста». Последние фразы в напрестольном Евангелии читаются так: «Господи, да *отверзеться* очи *наю*... прикоснуса очю *има*; и абие *прозрьста* *има* очи и по Немь идоста» (Ильминский, 1886, с. 42–43); ср. также в новоисправленном тексте Евангелия от Луки (XXIV, 32): «И *рекоста* къ себѣ: не сердце ли *наше* горя бѣ въ *насъ*, егда глаголаше *нама* на пути», тогда как в напрестольном Евангелии читается: «не сердце ли *наю* горя бѣ въ *наю*». В результате дв. число становится факультативной категорией в этом модернизированном церковнославянском языке; оно не противопоставляется мн. числу в качестве самостоятельной и независимой категории, но лишь уточняет (конкретизирует) значение мн. числа — дв. и мн. число, таким образом, не взаимоисключают друг друга, находясь в отношении привативной, а не эквиполентной оппозиции. Другим моментом исправления является последовательная замена форм аориста и имперфекта во 2 л. ед. числа на «перфектные» формы со связкой типа *читаль еси* (Ильминский, 1886, с. 7–8); о соответствующих исправлениях мы специально говорили выше (§ 8.7.4). Наконец, формы сослагательного наклонения во 2 л. ед. числа получают связку, ср. *аще бы восхотѣль* — *аще бы восхотѣль еси* и т.п. (ср. § 8.7.7). Определенное упрощение вводится в парадигму прилагательного, хотя делается это и непосредственно. Поэтому, например, мы встречаем в Псалтыри «о имени *святѣмъ* его» (Пс. X, 43) и «во дворѣ *святѣмъ* его» (Пс. XXVIII, 2) (Ильминский, 1888, с. 52).

Издание Елизаветинской библии завершило почти полувековую работу, начатую еще в петровскую эпоху. Указом Петра I от 14 ноября 1712 г. было предписано исправить и издать церковнославянскую Библию; эта задача была поручена Софронию Лихуду, Феофилакту Лопатинскому, Федору Поликарпову, Николаю Семенову и другим. В указе говорилось: «А соглашать и править во главах и стихах, речах противу греческой Библии грамматическим чином...» (ОДДС, III, стлб. 28; прилож., стлб. XLVII), т.е. предполагалось сличение с греческим подлинником и в случае несоответствия славянского и греческого текста — перевод с греческого на церковнославянский язык. Такой подход предполагал активное пользование церковнославянским языком, а не сопоставление имевшихся в распоряжении справщиков редакций: «текстологический» подход к языку Св. Писания, характерный для предшествующей книжной справы, сменяется подходом «грамматическим» (ср. § 14.5). Такое активное (грамматическое) пользование церковнославянским языком приводит к его систематизации и модификации (см. перечень исправлений петровских справщиков: ОДДС, III, прилож. VII; Горский и Невоструев, I, с. 164–180).

§ 18.3. Возникновение «простого» языка, противопоставленного церковнославянскому языку. Если церковнославянский язык югозападнорусской редакции непосредственно влияет на великорусский церковнославянский язык, то непосредственное влияние «простой мовы» было невозможно ввиду отсутствия парного эквивалентного явления в великорусских условиях. Однако заимствуется именно языковая ситуация — заимствуется само понятие «простого» языка, который понимается в югозападнорусском смысле, т.е. как литературный язык, противопоставленный церковнославянскому языку и с ним конкурирующий; иначе говоря, является «просторечие» как особая форма литературного языка. Как и в Юго-Западной Руси, «простой» язык в качестве литературного противостоит не только церковнославянскому языку, но и разговорной речи.

Соотнесение югозападнорусской «простой мовы» и великорусского «простого диалекта» находим у иеродиакона Феофана, который в 1660–1670-х годах переводил в Саввино-Сторожевском монастыре сочинения югозападнорусских авторов на церковнославянский язык (см. о нем: Строев, 1882, с. 306–308). В предисловии к своему переводу (1667 г.) «Неба нового» Иоанникия Галытовского Феофан объясняет, почему эта книга «преписася с белорусскаго диалекта на истинный широкословенороссыйский диалект», т.е. переведена с «простой мовы» на церковнославянский язык: «Яко аще и сродни нам малыя и белыя России жители, ибо и тем быти словяном, не точию им, но и поляком, еже есть самем ляхом, но за купножилство иностранных обителей с нами различие имут некими реченми, яже нам, истинным словяном, странна и необычна; аще и не всеми, но многая в них иностранная нашего простаго диалекта речения обретаются, яже не суть во книгах тиснящихся в типографии царствующаго града Москвы» (Харлампович, 1914, с. 435). Итак, «проста мова» явно соотносится с русским «простым диалектом» Московской Руси. Знаменательно, вместе с тем, что Феофан еще не пытается писать на этом «простом диалекте».

С конца XVII в. на великорусской территории появляются произведения, написанные, по утверждению их авторов, на «простом» языке. Так, Авраамий Фирсов переводит в 1683 г. Псалтырь (ГИМ, Син. 710; ср. Горский и Невоструев, I, с. 190–196; см. изд.: Фирсов, 1989), причем книга начинается с извещения: «Преведена сѣна бѣтаа бгодохновеннаа книга псалтѣрь на нашъ простои, обыклои, словенской азыкѣ» (л. 1); и далее в «Предисловии к читателю» переводчик говорит: «Нѣ въ сеи книгѣ псаломной, истолкованы псалмы, на нашъ простои словенской азыкѣ, с великим прилежаніем... без всякаго украшенія, удобнѣишаго ради разума» (л. 7).

Псалтырь Авраамия Фирсова переводилась с польского (она обнаруживает текстуальную близость как к польской протестантской брестской Библии 1563 г., так и — в меньшей степени — к католической Библии 1599 г., переведенной Вуйком), и, таким образом, великорусский «простой язык», подобно «простой мове» Юго-Западной Руси, соотносится с польским литературным языком:

Язык Авраамия Фирсова в целом должен быть квалифицирован как гибридный церковнославянский (ср. Целунова, 1985), т.е. такой язык, книжный характер которого основан лишь на отдельных признаках книжности — последние накладываются на нейтральный в плане противопоставления русского и церковнославянского языка фон и могут быть проведены достаточно непоследовательно. Тексты на гибридном церковнославянском языке писались и раньше, однако раньше он воспринимался как допустимое отклонение от норм книжного языка (ср. § 8.7.2; § 14.4). У Авраамия Фирсова этот язык претендует на самостоятельный статус, т.е. «простой» язык противопоставляется традиционному церковнославянскому языку как особый книжный язык. На этот самостоятельный статус ясно указывает перевод Псалтыри на данный язык — гибридный церковнославянский язык употребляется здесь параллельно традиционному. При этом мотивом такой замены (перевода) является удобопонятность данного языка в отличие от традиционного церковнославянского языка. Язык Авраамия Фирсова с его нередкими полонизмами не обязательно был понятен широкому читателю; ссылка на удобопонятность и общедоступность явно восходит к югозападнорусской культурной традиции, где именно таким образом, как мы видели, мотивируется перевод текстов на «просту мову» (§ 15.5); язык Авраамия Фирсова выступает в той же функции, что и «проста мова».

В XVIII в. произведения, написанные на «простом» языке, уже не представляют собой единичного явления. В 1718 г. выходит «География генеральная» Б. Варения, переведенная «с латинска языка на російскій» Федором Поликарповым с помощью Софрония Лихуда (ср. § 18.3.1); в предисловии к этой книге Поликарпов подчеркивает, что она переведена «не на самый славенскій высокий діалект..., но множае гражданскаго посредственнаго употреблях наречія». В 1720 г. выходит первым изданием букварь Феофана Прокоповича («Первое учение отроком»); в предисловии к нему сообщается, что «в России были таковыя книжицы, но понеже славенским высоким діалектом, а не просторѣчіем написаны... того ради лишалися доселѣ отроцы подобающаго себѣ воспитанія» (Феофан Прокопович, 1721, л. 4 об.—5) — имеется в виду катехизическое изложение православного вероисповедания, т.е. толкование основных текстов (Символа веры и др.), которое помещено здесь

вслед за показанием букв и слогов, составляющих необходимую принадлежность всякого букваря. Букварь Феофана Прокоповича в какой-то мере представляет собой осуществление той программы, которую Феофан намечает в «Духовном регламенте» (1718–1720 гг.): действительно, уже в «Духовном регламенте» мы находим призыв к общедоступному «просторечному» изложению православного вероучения; здесь же отмечается, что церковнославянский перевод святоотеческой и учительной литературы «стал темен» (см. подробнее: Успенский, 1994, с. 199–200; Успенский, 1985, с. 123–124).

Равным образом и «Послдование о исповедании» Гавриила Бужинского (М., 1723) написано «просторѣчно, да бы самое скудоумнѣйшее лице могло выразумѣть» (л. 32 об.); речь идет о тексте, который надлежит произносить священнику при исповеди, т.е. об определенной части богослужебного процесса. В 1725 г. выходит «Библиотека» Аполлодора, переведенная с греческого языка Алексеем Барсовым, с предисловиями переводчика и Феофана Прокоповича. В предисловии Барсова говорится, что в декабре 1722 г. Петр «сію книгу Еллинским и Латинским діалекты издавшую вручил Святейшему Правительствующему Синоду, повелѣвая да бы преведена была на общій Россійскій языкъ» (с. 19); точно так же и Феофан Прокопович, подчеркивая в своем предисловии, что эта книга переведена именно «на рускіи... діалектъ» (с. 2), и объясняя, «чесо ради книга сія и нашего языка діалект переводом и печатію свѣт себѣ в Россіи получила» (с. 3), указывает, что Петр ее «повелѣл на рускіи наш язык перевести и напечатать» (с. 4). Наконец, и Третьяковский заявляет в предисловии к «Езде в остров Любви» (1730 г.), что он эту книгу «неславенскимъ языкомъ перевелъ, но почти самымъ простымъ Рускимъ словомъ, то есть каковымъ мы межъ собою говоримъ» (Третьяковский, III, с. 649); точно так же и Кантемир говорит в предисловии к своим сатирам о «простом» слоге сатир (Кантемир, I, с. 8), а в предисловии к переводу «Таблицы Кевика философа» (1729 г.) сообщает: «я нарочно прилежалъ сколько можно писать простѣе, чтобы всѣмъ вразумительно» (Кантемир, II, с. 384). Таким образом, устанавливается довольно отчетливое противопоставление церковнославянского языка другому книжному языку, который декларативно объявляется «простым» и общепонятным и в качестве общелитературного языка начинает конкурировать с церковнославянским языком.

Выражение «общий российский язык», которым пользуется при этом Алексей Барсов, ближайшим образом напоминает наименование «простой мовы» в киевской Постной Триоди 1627 г., где говорится о «российской беседе общей» (§ 15.4). Это совпадение объясняется в виду того, что как то, так и другое выражение калькирует

название новогреческого языка: не случайно в обоих случаях имеет место перевод с греческого. Мы вправе предположить, таким образом, что Барсов как-то ассоциирует русскую и греческую языковую ситуацию; такая же позиция характерна в те же годы и для других великорусских книжников того же круга (см. § 19.2).

Тексты, написанные на «простом» языке, обнаруживают сравнительно мало сходства. Это и понятно, поскольку каждый автор, который пишет на «простом» языке, не следует какой-то сложившейся традиции, но пытается индивидуально решить проблему создания нового литературного языка, противопоставленного церковнославянскому языку, — что такое «простой» язык, было непонятно, но имелся, так сказать, социальный заказ писать на нем. В результате содержание понятия «простой язык» оказывается весьма неопределенным, оно определяется чисто негативно — отталкиванием от церковнославянского языка, однако конкретный характер этого отталкивания решается каждый раз по-разному. Отсюда определяется диффузность, размытость этого языка, отсутствие границ, которые бы его четко определяли, и вместе с тем отсутствие в нем стилистической дифференциации — противостоят не стили «простого» языка, а индивидуальные варианты. Отсюда же объясняется динамичность «простого» языка, его потенция к изменению, не ограниченная никакой традицией.

Неопределенность понятия «простой язык» отчетливо выражена в Псалтыри Авраамия Фирсова, где могут предлагаться несколько вариантов перевода, которые характеризуются разной степенью близости к живому, книжному языку: один из вариантов помещается непосредственно в тексте, другие даются на полях. Так, например, начало I-го псалма представлено здесь вариантами: «Блженъ мужъ который не идет на совѣтъ нечестивыхъ» или «Добрыи тои Чѣкъ...» и т.д. (ГИМ, Син. 710, л. 10; Фирсов, 1989, с. 32). Необходимо отметить, что в каких-то случаях вариантные чтения на полях у Фирсова могут отражать соответствующие глоссы исходного польского текста, который лег в основу данного перевода, однако к данному случаю это, кажется, не относится.

Тем не менее, сам факт функционирования «простого» языка, т.е. признание возможности отклонения от церковнославянских языковых норм, имеет исключительное значение для последующей эволюции русского литературного языка, обуславливая в конечном счете влияние разговорной речи на литературный язык. Этому способствуют именно такие факторы, как неустойчивость «простого» языка, его неоформленность, потенция к изменению (динамичность). Все это определяет его постепенное сближение с живой разговорной речью, с которой он и может отождествляться

в языковом сознании. «Простой» язык может быть достаточно книжным по своей природе, однако он противостоит прежде всего церковнославянскому языку, а не живой речи. Существенно, что здесь возможно — и постоянно происходит — заимствование элементов живой разговорной речи, что и приводит к ее фактической легитимации. В этом значение «простого» языка: он ценен не сам по себе, поскольку это явление более или менее индивидуальное и преходящее; он свидетельствует о превращении церковнославяно-русской диглоссии в церковнославяно-русское двуязычие.

Одновременно в результате третьего южнославянского влияния изменяется значение понятия «русский язык» в великорусском языковом сознании. Именно под влиянием языковой ситуации Юго-Западной Руси «русский» язык начинает противопоставляться церковнославянскому языку. Так, в «Мусикии» Иоанникия Коренева 1681 г. читаем: «По кievски *клиросы*, по руски *станции*, славенски такожде *лики*» (Смоленский, 1910, с. 12) — «русский» язык здесь противостоит «славенскому» и обозначает разговорную речь. В этом же значении использует слово «русский» и Сильвестр Медведев в «Манне» 1687 г.; обсуждая здесь фразу из чина литургии «Сотвори убо... *преложив* Духом Твоим Святым», Медведев замечает: «Здѣ правовѣрній, разумъ грамматичный извѣстно вѣдуиши, зрите реченія *преложивъ*, глаголь-ли или причастіе или дѣепричастіе. И коего времени и како по-русску на простый нашъ народный языкъ толкуется» (Прозоровский, 1896, с. 488).

§ 18.3.1. Характер противопоставления церковнославянского и «простого» языка. Следует специально подчеркнуть искусственный характер возникновения великорусского «простого» языка. Исключительно показателен в этом плане перевод «Географии генеральной» Варения, осуществленный Федором Поликарповым по предписанию Петра I. Поликарпов сначала перевел книгу Варения на церковнославянский язык, что было естественно для него как для великорусского книжника. Петр, однако, остался недоволен этим переводом, и, соответственно, 2 июня 1717 г. И. А. Мусин-Пушкин предлагает Поликарпову «исправить» перевод «не высокими словами славенскими, но простым русским языком», предписывая ему: «высоких слов славенских класть не надобять, но Посольского приказу употреби слова» (Черты книжного просвещения..., стлб. 1054; о том, что эти слова Мусина-Пушкина точно воспроизводят слова Петра I, см.: Успенский, 1994, с. 99–100). Книгу Варения пришлось подвергнуть существенной переработке, в ходе которой последовательно устранялись специфические признаки церковнославянского языка. Эта работа была выполнена

Софронием Лихудом (ср. правленный экземпляр рукописи с записью Лихуда — РГАДА, ф. 381, № 1008). В результате правки церковнославянский язык был заменен здесь «простым» — сама возможность преобразования церковнославянского текста в текст на «простом» языке путем замен по ограниченному числу признаков показывает, что этот язык лишь негативно определен в отношении церковнославянского. Любопытно в этом смысле сопоставление предисловий к первому (рукописному) и второму (печатному) варианту перевода «Географии генеральной». В первоначальном варианте предисловия к своему переводу (в рукописи 1716 г.) Поликарпов писал: «Убо и мне (коснувшемуся превода книги сея) должность надлежала последовати якоже сенсу, тако и тексту авторову и не общенародным диалектом Российским преводити сия, но хранити по возможному регулы чина грамматического, дабы тако изъяснил высоту и красоту слова и слога авторова» (БАН; Петровская галерея, № 72, л. 9). Между тем в предисловии к печатному изданию (1718 г.) мы читаем: «Моя же должность объявити, яко преводих сию не на самый славенский высокий диалект против авторова сочинения и хранения правил грамматических: но множае гражданского посредственного употреблях наречия, охраняя сенс и речи самого оригинала иноязычнаго». Итак, Поликарпов констатирует, что он отклоняется от грамматических правил: понятие грамматики прочно связывается с церковнославянским языком, тогда как русский язык воспринимается как отклонение от грамматической нормы.

Характерно, что предисловие Поликарпова (в его окончательном варианте) в отличие от самого текста перевода в значительной степени написано на привычном ему церковнославянском языке — это разительно отличается от югозападнорусской языковой ситуации, когда церковнославянские книги могли издаваться на «простой мове». Равным образом и предисловие А. К. Барсова к его переводу Аполлодора на «общий Российский язык» (§ 18.3) также написано по-церковнославянски. Искусственность «простого» языка выступает в подобных случаях как нельзя более наглядно.

Правка Софрония Лихуда «построена на ограниченном наборе признаков. Производя замену по одному признаку, Софроний может игнорировать остальные... Этот неисчерпывающий характер замен свойствен всей рукописи и не может быть объяснен невнимательностью справщика. Следует думать, что у Лихуда, как и у его современников, нет ясного представления о том, что такое книжный текст на русском (“простом”) языке; известны лишь признаки, противопоставляющие книжный и некнижный язык...» (Живов, 1986а, с. 249). К признакам, по которым правит Лихуд, относится замена форм аориста и имперфекта формами прош. вре-

мени с *л*-перифразой, инфинитивов на *-ти* инфинитивами на *-ть*, форм 2 л. ед. числа наст. времени на *-ши* формами на *-шь*, наречий на *-ѣ* наречиями на *-о* (типа *перпендикуляръ ѣ* на *перпендикуляръ ѡ*), устранение превосх. степени на *-айш-/-ѣйш-* (они заменяются либо формами положит. степени, либо образованиями с приставкой *пре-*, либо сочетаниями положит. степени с *вельми* и *самый*), устранение сравнит. степени с суффиксом *-ш-* (подобные формы заменяются на образования с суффиксом *-ае/-ѣе*, либо с суффиксом *-айш-/-ѣйш-* в зависимости от их употребления в предикативной или атрибутивной функции), замена согласованных причастных форм на несогласованные (деепричастия), устранение дательного самостоятельного, конструкции *да* + форма наст. времени в значении императива или придаточного цели, устранение одинарного отрицания, родительного принадлежности; устраняются также некоторые специфические церковнославянские местоимения и служебные слова. Вне этих признаков не только могут сохраняться генетически церковнославянские формы (например, формы с неполногласием или с чередованием заднеязычных и свистящих), но даже — в каких-то случаях — осуществляется и обратная замена, т.е. генетически русские формы могут заменяться на соответствующие генетически церковнославянские формы (например, *озеро* на *езеро*, *одна* на *едина*, *ростет* на *растет* и т.д.); подобные замены объясняются, видимо, тенденцией к унификации (Живов, 1986а).

В принципе аналогична правка Феофана Прокоповича на рукописи его «Истории Петра Великого», где события до 1696 г. были первоначально изложены на церковнославянском языке (РГАДА, ф. 9, оп. I, № 1, л. 3–17). Церковнославянский текст правится на русский, при этом формы аориста и имперфекта заменяются на формы прош. времени с *л*-перифразой, опускается связка в формах перфекта, согласованные причастия заменяются на несогласованные (деепричастия), инфинитивы на *-ти* на инфинитивы на *-ть*, формы на *-ся* на формы на *-сь*, формы дв. числа на формы мн. числа, устраняются обороты с дательным самостоятельным и ряд специфических церковнославянских служебных слов (ср. Живов, 1985, с. 79).

Таким образом, третье южнославянское влияние приводит к созданию «простого» языка, выступающего как великорусский эквивалент «простой мовы». Однако язык этот создается принципиально иным образом, чем «проста мова». Если «проста мова» вырастает из канцелярского языка Юго-Западной Руси, то великорусский «простой» язык создается на церковнославянской основе: церковнославянский язык преобразуется по тем признакам, которые противопоставляют книжный и некнижный язык в языковом сознании того времени.

§ 19. Взаимоотношение церковнославянского и русского языков в условиях двуязычия

§ 19.1. Переводимость церковнославянских и русских текстов: перевод сакральных текстов на русский язык и пародии на церковнославянском языке как признаки церковнославяно-русского двуязычия. Ярким признаком церковнославяно-русского двуязычия является осознаваемая теперь возможность перевода сакрального текста на иной общепонятный язык. Такая возможность предполагается, в частности, Сильвестром Медведевым в 1687 г., когда он предлагает в «Манне» истолковать фразу из чина литургии, «како по-русску на простой нашъ народный языкъ толкуется» (Прозоровский, 1896, с. 488; ср. § 18.3); впрочем, по приводимым здесь толкованиям видно, что под «простым народным языком» Сильвестр понимает не русский разговорный язык, а общепонятную модификацию церковнославянского языка. Таким образом, в своем употреблении слова «простой» Сильвестр не отходит от старой традиции (§ 14.3); новым, однако, является предложение перевести на этот язык, что явно противопоставляет «простой» и церковнославянский языки как два разных языка. Как мы уже говорили (§ 14.4), осознание такого противопоставления и переводит диглоссию в двуязычие.

Именно в этом контексте и следует рассматривать перевод Псалтыри на «простой» язык, выполненный Авраамием Фирсовым в 1683 г. (§ 18.3). Авраамий как бы осуществляет ту возможность, о которой говорит Сильвестр. Действительно, «простой» язык понимается здесь сходным образом, т.е. как общедоступная разновидность церковнославянского языка, противопоставляемая традиционному церковнославянскому языку. Псалтырь Авраамия Фирсова представляет собой первый опыт перевода Св. Писания на «простой» язык (на великорусской территории). Это был, однако, перевод не с церковнославянского языка, а с польского, и, таким образом, параллелизм церковнославянского и русского текстов не проявляется здесь достаточно четко. Вместе с тем сама тенденция применить «простой» язык для перевода сакральных текстов исключительно показательна для процесса разрушения диглоссии. Не менее характерно и то, что этот перевод был запрещен патриархом Иоакимом в 1686 г. (см. Горский и Невоструев, I, с. 191), в чем можно видеть реакцию консервативного языкового сознания на явления новой языковой ситуации. Подобная реакция на долгие

годы определяла отрицательное отношение к переводам Библии на русский язык.

Относительно малое значение для русской языковой ситуации имели протестантские переводы Св. Писания и вероучительной литературы, выполненные за рубежом. Такие переводы появляются впервые в Швеции еще в первой половине XVII в. по специальной инициативе шведского правительства; последняя обусловлена тем, что после заключения Столбовского мира 1617 г. и присоединения к Швеции Ингерманландии и Карелии в новых границах Шведского государства оказалась многочисленная группа русскоязычного населения. В 1625 г. король Густав II Адольф издает следующий указ: «Мы Густав Адольф и т.д. доводим до сведения, что поелику Всемогущий Бог милостию своею пожаловал нас русскими подданными и желаем мы постараться, дабы они правильного знания христианской веры постигли, то повелели мы недавно изготовить несколько русских шрифтов, дабы печатать книги на русском языке» (Енсен, 1912, с. 139). В соответствии с этим указом в Швеции появляются издания русских книг, а именно Малый Катехизис Лютера (Стокгольм, 1628), а также Букварь под названием «*Alfabetum rutenorum*» (Стокгольм, б.г. — до 1639 г.). Что касается Катехизиса, то король предписывает «перевести Малый Катехизис на русский язык, да так, чтобы все изложено было на правильном русском языке, то же, что из Библии цитировано, не изменять, а оставлять по-славянски, так, как оно в их Библии стоит»; тем не менее в отдельных случаях цитаты из Библии переведены здесь на русский язык (Шоберг, 1975, с. 14, 18; ср. Успенский, 1992а/1997, с. 509–510). Что же касается Букваря, то в приложении к нему мы находим русский перевод целого ряда молитв (в частности, Отче наш, Символа веры и др.). Церковнославянский язык явно понимается при этом как своеобразный эквивалент латыни, т.е. русская языковая ситуация рассматривается шведами как ситуация двуязычия.

В петровское время Библию на «простой русский язык» перевел пастор Глюк с помощью неизвестного русского монаха из Псково-Печерского монастыря. Это предприятие имеет более близкое отношение к русской языковой ситуации, поскольку есть основания предполагать, что Петр собирался издать Библию на русском языке. Глюк писал: «Я... изготовил уже на русском языке школьные книги и содержу в доме у себя, хотя с немалым иждивением, русского пожилого священника, который служит мне помощником при переводе славянской Библии на простой русский язык... К сему поощряют меня письмами и из Германии, и из Москвы, особливо Головин, царский посланник». Русский перевод Библии, сделанный Глюком, погиб при осаде и взятии Мариенбурга русскими войсками в 1702 г. После взятия Мариенбурга Глюк переехал в Москву, стал там учителем гимназии и перевел на русский язык Новый Завет, а также молитвенник и лютеровский Катехизис. Судьба его переводов неизвестна (Пекарский, I, с. 127–128; Сменцовский, 1899, с. 410; Успенский, 1992а/1997, с. 532–534).

Сторонником перевода Библии на русский язык был, возможно, и Феофан Прокопович: по некоторым свидетельствам, Феофан собирался издать Библию на церковнославянском и русском языках с примечаниями (Успенский, 1985, с. 124).

Примеры перевода с церковнославянского на русский отдельных фраз Псалтыри (Пс. I, 1; Пс. CI, 3), Евангелия (Мф. II, 1; Лк. XIX, 5), апостольских деяний (Деян. XI, 16) и посланий (I Кор. VI, 12; II Кор. XII, 9) можно найти уже в грамматике Федора Максимова (1723, с. 98–99, 113–114). Гораздо менее показателен перевод некоторых фраз апостольских посланий (I Петр. III, 10; Филип. II, 13) с церковнославянского на русский и украинский языки в грамматике Курганова (1769, с. 67), поскольку соответствующие тексты восходят к грамматике Смотрицкого (1619, л. Ш/2). Вместе с тем, со второй половины XVIII в. на русский язык могут переводиться и богослужебные тексты. Так, в дополнении к «Церковному словарю» Петра Алексеева (М., 1773) содержатся ирмосы и степенны, переведенные на русский язык «за невразумительностью» их церковнославянского перевода; церковнославянский и русский тексты расположены при этом в две колонки (Алексеев, 1776). Уже в «Технологии» Федора Поликарпова 1725 г. можно найти начало Херувимской песни как по-церковнославянски, так и в русском переводе («Иже херѣвѣмы тайнѣ ѡбразѣюще, то есть: мы, которіи ѡбразѣмъ таинственнѣ херѣвѣмѡвъ...» — ГПБ, НСРК F. 1921.60, с. 43; Поликарпов, 2000, с. 260).

С конца XVIII в. появляются переводы отдельных книг Св. Писания непосредственно с церковнославянского языка на русский язык, причем они публикуются Синодальной типографией в две колонки, в виде параллельных текстов: русский перевод призван обеспечить точное понимание церковнославянского текста. Такой перевод «Послания к римлянам» был осуществлен в 1792 г. ректором московской Славяно-Греко-Латинской Академии архимандритом Мефодием Смирновым; церковнославянский текст и параллельный русский перевод был напечатан Московской синодальной типографией в 1794 г. (Св. кат. XVIII в., № 4207; 2-е изд. — 1815 г.). Ср.:

Что убо речемъ; законъ ли грѣхъ;
да не будетъ: но грѣха не знахъ, то-
чию закономъ: похоти же не вѣдахъ,
аше не бы законъ глалъ: не похо-
шеши.

Что же мы послѣ того скажемъ?
Законъ ли есть грѣхъ? Никакъ: на-
противъ того, я бы (прямо) не
зналъ грѣха, естли бы не вразумилъ
меня законъ: даже не зналъ бы я и
(грѣха) похоти, естлибъ законъ не
сказалъ: не похотѣтвуй.

(Римл. VII, 7).

В особую категорию переводов сакральных текстов выделяются переводы стихотворные. Первым опытом такого рода была «Псалтирь рифмовторная» Симеона Полоцкого (1678 г.), напечатанная в Москве в 1680 г. В предисловии к своему труду Симеон говорит, что его перевод предназначен для того, чтобы Псалтирь стала понятна читателю: «во мнозех местех толк zde положися, еже в сущем [т.е. в каноническом церковнославянском тексте Псалтыри] глубоко сокрыся», «сия бо суть во исполнение разума... светлейшаго ради истолкования псалмов», «да ся чтущих удобь уразумевают», «да сущаго неудобное откровенно будет» (Симеон Полоцкий, 1680, л. 2 об., 4, 6, 7). Еще ранее Симеон Полоцкий занимался переложением в стихи разнообразных молитв (Харлампович, 1914, с. 390–391). Эти стихотворные переводы были выполнены на церковнославянском языке, так что понятность должна была достигаться не за счет изменения языка, а за счет более вольного пересказа канонического текста. «Псалтирь рифмовторная» Симеона Полоцкого вызвала протест современников, в частности, чудовского инок Евфимия — протест, таким образом, вызвал не язык, а профанация, идущая от стихотворной формы; цитируя Афанасия Александрийского, Евфимий писал по этому поводу: «Хранити подобает, да никто псалмы мирскими красноглаголания словесы упешряет, ниже покусится речения переменять или всячески иное, вместо иного поставляти, но просто, яко написано суть, да чет и поет, яко речется» (Татарский, 1886, с. 303), ср. о том же и в его сочинении «Остен» (Евфимий, 1865, с. 137). В 1682 г. со стихотворными переложениями рождественских ирмосов выступил Лукьян Голосов (Шляпкин, 1898); это, опять-таки, были переложения на церковнославянский язык. Точно так же и Стефан Яворский писал стихи на текст иконов (Петров, 1866–1868, № 1, с. 86).

В XVIII в. появляются стихотворные переложения (переводы) Псалтыри на русский язык, но они воспринимаются как жанровое, а не языковое явление, т.е. в плане уже сложившейся литературной традиции. Стихотворными переложениями псалмов занимались все крупнейшие поэты XVIII в. — Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, Майков, Державин и др. Наряду с этим в XVIII в. могут перелажаться в стихотворную форму и молитвы. Так, Петр Алексеев, переводя ирмосы и степенны на русский язык, присовокупляет их стихотворное переложение (Алексеев, 1776), Василий Рубан издает «Канон покаянный преложен стихами» (М., [1770]). Любопытно, что в 1787 г. это издание было конфисковано (Св. кат. XVIII в., № 6105). В том же 1770 г. Рубан издал «Канон Пасхи в стихах» (см. объявление в «Трутне», 1770 г., л. XI, — Берков, 1951, с. 220); это издание до нас не дошло.

Другим признаком разрушения диглоссии является появление пародий на церковнославянском языке. Если в первой половине XVII в. такие тексты имеют уникальный характер (§ 18.1), то со

второй половины XVII в. они становятся более или менее обычным явлением. При этом пародийное использование церковнославянского языка может сочетаться с пародированием церковной службы. Примером может служить «Служба кабаку» (Адрианова-Перетц, 1936; Адрианова-Перетц, 1977, с. 37–50, 189–198), которая распространяется в Великороссии с середины XVII в. (старший список 1666 г.). «Служба кабаку» восходит к латинским службам пьяницам, известным на Западе уже с XIII в. (ср. Леман, 1963, с. 145–150, 233–250); соответственно, бытование подобных текстов свидетельствует о том, что церковнославянский язык получает те же функции, что и латынь на Западе. Посредническую роль при этом играет книжная традиция Юго-Западной Руси, где подобные тексты были распространены и раньше в связи с польским культурным влиянием (§ 15.4). Знаменательно в этом смысле, что в конце XVII в. сатирические произведения, поскольку они проникают в литературу, т.е. начинают пониматься именно как литературные произведения, могут восприниматься на Руси как перевод с польского — даже и в том случае, когда они являются чисто русскими по своему происхождению; произведения такого рода сопровождаются в рукописях характерными пометами типа «выписано из полских книг», «ис кроловских книг» и т.п. (Демкова, 1965, с. 95).

В течение XVIII в. создается целая литература пародийных акафистов, пародийных молитв и т.д. Эта литература образует определенную традицию, которая явно связана с семинарской средой, т.е. с той средой, где церковнославянский язык употреблялся в качестве разговорного. Характерным примером может служить «Акафист матери кукурузе», сложенный студентами Киевской духовной академии: «Бысть послан комиссар [помощник эконома] на базар рыбы купити, узрев же тя кукурузу сушу, возопи гласом велиим и рече: радуйся, кукурузо, пище презельная и пресладкая, радуйся, кукурузо, пище ядомая и николи же изьядаемая, радуйся, кукурузо, отцом ректором николи же зримая, радуйся, и инспектором николи же ядомая», и т.д. (Лесков, VII, с. 137). Тексты такого рода воспринимаются по большей части как нейтральные, т.е. как результат своеобразной языковой игры (то же восприятие характерно и для средневекового Запада). Поскольку они связаны с духовной средой, они явно не имеют характера намеренного кощунства (в XVIII в. мы встречаем их у таких безусловно религиозных людей, как Державин или Суворов, см. письмо Державина к неизвестному лицу 1780-х гг. или письмо Суворова Д. И. Хвостову от 19 июля 1799 г., которые написаны по-церковнославянски — Державин, V, с. 666–667, № 611; Петрушевский,

III, с. 140). Между тем в начале разбираемого периода, когда традиционное восприятие оставалось еще достаточно актуальным, подобные тексты могли расцениваться как кощунство. В предисловии к «Службе кабаку» специально говорится, что этот текст можно читать с добрым намерением; тому же, кто считает, что это кощунство, данный текст читать не следует. Подобно тому как можно кощунствовать, цитируя тексты Св. Писания, — говорится в предисловии, — можно оставаться благочестивым, обращаясь к пародийным текстам такого рода: все зависит от доброго или злого намерения (Адрианова-Перетц, 1977, с. 156–157). Мы можем констатировать здесь новое отношение к тексту: ранее текст был самодостаточен, т.е. все его характеристики определялись внутренними по отношению к тексту моментами; сейчас же он связывается с восприятием читателя, и, таким образом, смысл текста определяется не самим текстом как таковым, а его прочтением.

Обычно пародийное использование церковнославянского языка сочетается с пародированием церковных текстов, т.е. пародируются не только языковые, но и культурные моменты. Наряду с такими пародиями мы встречаем тексты, где комический эффект создается самим фактом применения церковнославянского языка в неподобающей ситуации, т.е. имеет место как бы травестийный перевод с русского языка на церковнославянский в игровых целях, когда пародируется само говорение на церковнославянском языке как языковая деятельность. Примеры такого рода можно найти в произведениях Сумарокова и его последователей (например, В. И. Майкова). Так, в «Тресотиниусе» (1750 г.) Сумароков заставляет педанта Ксаксоксимениуса говорить таким образом: «Подаждь ми перо, и абие положу знамение преславнаго моего имени, его же не всяк язык изрещи может» (Сумароков, V, с. 322). Автор явно переводит при этом с русского языка на церковнославянский (имея в виду примерно такую русскую фразу: «Подай мне перо, и я тотчас изображу свое знаменитое имя, которое не всякий народ [или: язык] может выговорить»), и знаменательно, что Тредиаковский обвиняет Сумарокова именно в неисправности такого перевода: по мнению Тредиаковского, следовало бы сказать: «Даждь ми трость, да абие положу знамение преславнаго моего имени, еже не всяк язык изрещи может» (Куник, II, с. 438). У нас есть сведения, что подобное пародийное употребление церковнославянского языка действительно могло иметь место. Об этом говорит, например, доношение А. П. Сумарокова Главной полицмейстерской канцелярии от 24 января 1774 г. Сообщая о том, что его слуга по каким-то причинам взят под караул, Сумароков пишет: «Сама Съезжая признала, что мой слуга невинен, однако господин капитан Баранов присланному моему сказал ругательски пословенски: “Чадо, что глаголеши, абие аще...” и прочее, что и не в складке приказном. Хотя мой

посланный и человек государев, а хотя бы и мой был, так капитану Съезжей кошунствовать непристойно» (Осмнад. век, III, с. 186). Сумароков усматривает в поведении чиновника, прибегнувшего к церковнославянскому языку в неподобающем контексте, не только личное оскорбление, но и кошунство против святости, для нас же существенно, что полицейский пользуется церковнославянским языком в издевательских целях. Перевод с русского языка на церковнославянский имеет в этих случаях явно комический эффект, подобно тому как комический эффект может иметь и обратный перевод с церковнославянского на русский.

Таким образом, любая языковая травестия — как использование церковнославянского языка на месте русского, так и наоборот — в принципе создает комический эффект, и именно этим обусловлено соответствующее явление в литературном творчестве. Подобное литературное обыгрывание языковых средств мы и наблюдаем в XVIII в. в специальных жанрах бурлеска и ирои-комической поэмы, построенных на несоответствии языковых средств и содержания: в одном случае высокое, торжественное содержание передается низкими языковыми средствами (бурлеск), в другом — наоборот, низкому содержанию соответствует высокий славянизированный язык (ирои-комическая поэма). Оба жанра появляются в России в XVIII в. под непосредственным французским влиянием, однако существенно, что этот жанровый принцип накладывается на специфическую русскую ситуацию церковнославянско-русского двуязычия. Соответственно, в России эти жанры получают такое языковое оформление, которого они не могли иметь во Франции. Характерен протест Варлаама Лашевского, учителя пиитики в Киевской духовной академии, принимавшего затем участие в издании Елизаветинской библии (ср. § 18.2.1), против шутиливых песен на библейские темы, использующих не книжные средства выражения, которые имели широкое хождение в школярской среде:

Видѣть безъ слезъ немощно, что глаголы жизни
Нынѣшній вѣкъ приведе въ конецъ укоризни!
Елико кошунствуютъ кошуны безстудны,
Гдѣ канты слагають, гдѣ комплементы блудны,
Матерія съ Писаній кошунамъ готова,
Въ кантахъ студныхъ начало отъ Божіяго слова!

(Летописи русской литературы и древности, I, М., 1859, с. 15).

Языковая травестия обоих типов свидетельствует о параллельном функционировании церковнославянского и русского языков и, тем самым, об отношении двуязычия между этими языками. Важно подчеркнуть, что и та, и другая травестия, будучи в конечном счете связана с европеизацией русской культуры и русской языковой ситуации, наблюдается по преимуществу в относительно образованной среде.

§ 19.2. Кодификация различий между церковнославянским и русским языком: начальные формы кодификации русского языка. Ситуация церковнославянско-русского двуязычия закономерно приводит к кодификации русского языка. Зачатки этой кодификации относятся к началу XVIII в., ср. в этой связи характерное противопоставление церковнославянского языка и русского «наречия» у Посошкова в «Зерцале очевидном» (1708 г.). Полемизируя со старообрядцами, Посошков заявляет: «вы не токмо грамматики [церковнославянского языка], но ниже наречия силу разумеете, а в справу грамматическия науки вступаете... Я и сам человек не ученый есмь, но токмо в наречии Божиим дарованием отчасти признаваю...» (Посошков, II, с. 20). Итак, книжному языку, рассуждение о котором доступно лишь ученым людям, противостоит «наречие», «силу» которого можно познать интуитивно, «Божием дарованием». При этом фактически обсуждается хорошее (правильное) и плохое (неправильное) владение этим «наречием», т.е. признается, что не все носители русского языка в одинаковой степени разумеют его «силу», — отсюда один шаг до кодификации русского языка.

Начало кодификации русского языка связано со стремлением осознать и зафиксировать различия между церковнославянским и русским языком и, тем самым, привести в соответствие церковнославянские и русские формы: такая задача предполагает описание русского языка в каких-то его фрагментах. В частности, с начала XVIII в. фиксируются лексические различия между двумя языками. Так, в «Лексиконе треязычном» Федора Поликарпова (1704 г.) мы встречаем спорадические сопоставления церковнославянских и «простых» русских форм, например: «Азѣ, простѣ глаголемо я»; «вотѣ, простѣ глаголемо емлется вмѣсто се» и т.п.; как видим, Поликарпов считает нужным давать русские эквиваленты и таким церковнославянским словам, которые, вообще говоря, не нуждаются в объяснении, т.е. речь идет именно об установлении корреляции между церковнославянской и русской лексикой, а тем самым и о частичной кодификации русского словаря. В предисловии к «Лексикону треязычному» Поликарпов говорит: «Въ писахомъ же нѣколько рѣчей и простыхъ, да бы могли и не книжницы пользу обрѣтати хотяще ины языки знати» (Поликарпов, 1704, предисл., л. 8 об.); отсюда Поликарпов может приводить в этом словаре в качестве «славенского» соответствия к греческому и латинскому слову, наряду с церковнославянским словом, его русский эквивалент, например: *дщерица, дочка; печь, пещь* и т.п. И в этом случае русский коррелирует к церковнославянскому слову явно дается не в силу непонятности последнего (это может

выступать лишь как дополнительный фактор), но ввиду равноправности церковнославянского и русского варианта: оба варианта в своей совокупности образуют соответствие к греческому или латинскому слову, и поместить один церковнославянский вариант оказывается недостаточным, что указывает на то, что русские варианты получают литературный статус. Это особенно очевидно, когда различие между церковнославянским и русским вариантом сводится к полногласию—неполногласию, ср., например, «бразда или борозда», «порох, прах, пыль», «страна, сторона» и т.п. Характерно, наконец, что в целом ряде случаев Поликарпов помещает в свой словарь русскую форму и при ней дает отсылку к соответствующему церковнославянскому варианту, например: «берег, зри берег», «говорю, зри глаголю» и т.п.; в других случаях, напротив, при церковнославянском слове дается отсылка к русскому корреляту: «латно, зри полотно» (Живкович, 1958, с. 158–160). Подобные примеры, несомненно, свидетельствуют о процессе легитимации русской лексики.

Аналогичные отношения между лексикой русского и церковнославянского происхождения фиксируются уже в «Букваре славенскими, греческими и римскими писмены» Федора Поликарпова (М., 1701), отдельную часть которого составляет трехязычный словарь, являющийся как бы прототипом более позднего «Лексикона треязычного». Здесь также в качестве соответствия к греческому и латинскому слову может даваться, наряду с церковнославянским словом, его русский эквивалент, ср., например: *вежди, века; вертоград, сад; ветрило, парусы; делва, бочка; десница, правая рука; ланита, щека; лоно, пазуха; мрежа, сеть; овен, баран; отроковица, девочка; рало, соха; рамо, плечо; срочица, рубашка; усмарь, кожевник; устне, губы*. Особенно наглядны случаи сочетания полногласного и неполногласного варианта: *блато, болото; врабий, воробей; жребя, жеребенок; злато, золото; клас, колос; мравий, муравей; пленник, полоненик; праг, порог; шлем, шелом* (Березина, 1980, с. 15–16).

Сколько-нибудь полные церковнославянско-русские словари появляются на великорусской территории значительно позднее — только во второй половине XVIII в., т.е. почти на двести лет позже появления аналогичных словарей в Юго-Западной Руси (ср. § 15.4). Первым опытом такого рода явился «Церковный словарь» Петра Алексеева (1-е изд. — М., 1773; Дополнение... — М., 1776; Продолжение... — М., 1779); за ним следовал «Краткий словарь славянский» Евгения Романова (СПб., 1784).

Сходные соответствия между церковнославянскими и «простыми» формами устанавливаются и в грамматике Федора Поликарпова, написанной около 1724 г.: «*иже... попросту глется который, рцы*

простѣ реши скажи или сказывай», «сего., блага — простѣ этого, блага» (РГАДА, ф. 201, № 6, л. 40, 52, 57 об.; Поликарпов, 2000, с. 151, 155, 157).

Сходным образом в грамматике Федора Максимова 1723 г. автор говорит в предисловии: «Наста нужда собрати от различныхъ въ кратцѣ сію грамматику, съ приложеніемъ простыхъ реченій, понеже въ ней обдержатся славенская реченія, російски в'малѣ разумѣваема» (с. 3). Действительно, здесь содержится перевод церковнославянских форм или же целых фраз на русский язык, и это говорит о том, что церковнославянский и русский воспринимаются как два полноправных языка, допускающие перевод с одного на другой. Показателен, в частности, раздел наречий, где на одной стороне листа сообщается церковнославянская форма, а на другой — ее русский эквивалент. Характерно, что в некоторых случаях обе стороны листа заполнены одинаковыми словами, т.е. речь идет не о пояснении церковнославянского слова русским словом, а о последовательном соотнесении церковнославянских и русских слов: в тех случаях, когда русские слова совпадают с церковнославянскими, они все равно приводятся (например: церковнослав. *прямо* — рус. *прямо*, церковнослав. *почто* — рус. *почто*, церковнослав. *прежде*, рус. *прежде*, *перече*, *перво*, церковнослав. *гдѣ*, рус. *гдѣ*, *в которомъ мѣстѣ*, и т.п.). Перевод фраз на русский язык есть и в грамматике Мелетия Смотрицкого, переизданной Федором Поликарповым в 1721 г.; при этом явно прослеживается зависимость от югозападнорусской традиции, поскольку в соответствующих местах первого издания грамматики Смотрицкого (1619 г.) те же самые фразы переведены на «просту мову». Поликарпов оставляет текст на «простой мове» и дает к нему параллельный русский вариант, т.е. одна и та же фраза фигурирует на трех языках — на русском языке, на «простой мове» («малоросском», по терминологии Поликарпова) и на церковнославянском языке (Горбач, 1964, с. 6, 56; Засадкевич, 1883, с. 147–148); русский язык при этом непосредственно коррелирует с «простой мовой».

Уместно отметить, что сопоставление церковнославянских и русских форм у Федора Максимова, по-видимому, восходит к рукописной греческой грамматике братьев Лихудов с параллельным славянским текстом, где совершенно таким же образом сопоставляются греческие книжные и разговорные формы наречий; в частности, и здесь выдержан тот же принцип последовательного соотнесения тех и других форм, что и у Максимова, т.е. разговорные греческие формы дублируют книжные в тех случаях, когда они совпадают (см. например: ГБЛ, А-233, ф. 354, № 220, л. 61 об.). Эта зависимость вполне закономерна, поскольку Максимов был учеником Лихудов.

Следует иметь в виду, вместе с тем, что учеником Лихудов был и Федор Поликарпов; тем самым, сопоставление церковнославянских и «простых» русских форм у Поликарпова, о котором мы говорили, может в принципе объясняться аналогичным образом. О сходной позиции еще одного ученика Лихудов — Алексея Барсова — мы уже упоминали выше (§ 18.3). Можно было бы заключить, что ориентация на греческую языковую ситуацию характерна именно для окружения Лихудов; в то же время в контексте греко-русских языковых и культурных контактов такая ориентация, вообще говоря, представляется совершенно естественной, ср. выше (§ 15.4) об аналогичной позиции Памвы Берынды, оправдывавшего перевод с греческого языка на «просту мову» определенных частей киевской Постной Триоди 1627 г.

Еще более показательны попытки осознать грамматические различия между церковнославянским и русским языком. Такая попытка имеет место в «Технологии» Федора Поликарпова 1725 г. (ГПБ, НСРК F 1921.60; Поликарпов, 2000, с. 241 сл.) — пособия для учителя, составленном в виде вопросов и ответов, привязанных к разбору некоторых церковнославянских текстов. В двух случаях, а именно при рассмотрении склонения (с. 96–97) и спряжения (с. 123–127), здесь обращается внимание на специфическое «великороссийское» словоизменение, противопоставленное «славенскому». Соответственно, здесь описывается это специфическое «великороссийское» словоизменение. Так, вслед за описанием правил склонения существительных в церковнославянском языке (с. 91–96) задается вопрос: «По положеннымъ славенскимъ прикладомъ великоросійски могутъ ли скланятися имена?». Следует ответ: «Могутъ, обаче в нѣкихъ правилахъ имуть различествовати», и далее перечисляются эти правила, определяющие различия между церковнославянской и русской системой склонения: «П е р в о е: в согласныхъ сихъ *г, к и х* премѣненія не бываетъ [перед тем говорилось об изменениях *г в з, к в ц, х в с* при словоизменении имени]. В т о р о е: звателный всѣхъ склоненій числа единствен[наго] подобенъ именителному бываетъ. Т р е т і е: в числѣ множественномъ живущихъ вещей [т.е. одушевленных имен], не тако винителенъ, яко родителенъ бываетъ по употребленіи, яко *учю учениковъ*. Ч е т в е р т о е: не живущихъ вещей числа единственного на *ъ* кончащихся именъ родителный болѣе употребляется на *у*, а не на *а*, яко *указъ, указу*. П я т о е: в согласіи [т.е. согласовании] сихъ числительныхъ *два, три, четыре*, именителный множественный бываетъ на *а* или на *я*, яко *два ѿца, три ѿца, четыре челоѡвка, два учителя*, и проч. Обаче *три* употребляется сие изряднѣе *трое ѿлкъ*. П я т о е: [sic!] двойственное число не употребляется. Ш е с т о е: разсудителный степень [т.е. сравнительная степень] не бываетъ. Аще же и

употребляется, обаче положительный с' надглаголіемъ [т.е. наречіем], яко *болше крѣпокъ*. Равнѣ бываетъ и превосходительный полагаемъ иногда, яко *крѣпчайшій* полагается и сие *очунь болше крѣпока*. С е д м о е: в прилагательныхъ женскихъ родительный иногда бываетъ равенъ дателному в' числѣ единственномъ [имеются в виду формы типа рус. *доброй* при церковнослав. *добрыя, добръй*]» (с. 96—97). Равнымъ образом, после описания церковнославянскаго спряжения задается вопрос: «Во общемъ великороссійскомъ діалектѣ во глѣхъ тойжде ли образъ хранится якож и в' славенскомъ?» Следуетъ отвѣтъ: «Хранится, но точію не во всѣхъ, но в' нѣкоихъ». «Покажи ми великороссійски, како глѣ спрягаются», — предлагаетъ учитель. Ученикъ отвѣчаетъ: «Спрягаются сие:

Действительнѣ, настоящее

Единственнѣ

Я пишу, ты пишешь, онъ, она, оно пишетъ

Множественнѣ

Мы пишемъ, вы пишете, они пишутъ

[Преходящее]

Единственнѣ

Я, ты, онъ давеча писалъ, ла, ло

Множ:

Мы, вы, они давеча писали

Мимошедшее единственнѣ

Я, ты, онъ давно писывалъ, ла, ло

Множ:

Мы, вы, они давно писывали

[Прешедшее]

Единственнѣ

Я, ты, онъ оногда написалъ, ла, ло

Множ:

Мы, вы, они оногда написали

Будущее

Единственнѣ

Я напишу, ты напишешь, онъ напишет

Множ:

Мы напишемъ, вы напишете, они напишут

Повелительное настоящее

Единственнѣ

Ну ты пиши, пусть онъ пишетъ

Множ:

Ну мы пишемъ, ну вы пишете, пусть они пишутъ...»

(с. 123—124).

Перед нами — элементы кодификации русского языка, которые имеют пока фрагментарный характер. Последовательная кодификация русского языка осуществляется позднее, а именно в 1738–1740 гг., когда появляется грамматика Алодунова — первая грамматика русского языка, предназначенная для самих его носителей (Успенский, 1975).

Нельзя не отметить, что кодификация различий между церковнославянским и русским языком основывается на тех же противопоставлениях, которые проводятся при переделке церковнославянского текста в текст на «простом» языке, ср. выше о правке «Географии генеральной», выполненной Софронием Лихудом, или об аналогичной правке «Истории Петра Великого», осуществленной Феофаном Прокоповичем (§ 18.3.1). Речь идет, в сущности, об одной и той же системе противопоставлений, которая в одном случае фиксируется в грамматическом описании, в другом реализуется в языковой правке. Во всех этих случаях «простой» русский язык противопоставлен церковнославянскому языку по ограниченному числу признаков, в результате чего оказывается возможным более или менее автоматическое преобразование церковнославянского текста в русский и наоборот. В этих условиях русский язык не мыслится еще как самостоятельное целое, а воспринимается, по существу, как производное от церковнославянского — поэтому перевод с одного языка на другой может сводиться к элементарной замене ограниченного числа форм. Упражнения по такому именно переводу мы и находим в уже упоминавшейся (§ 18.2) учебной тетради Михаила Иванова 1726–1728 гг. (ГПБ, Вяз. Q.16, л. 72–75); тексты расположены здесь в две колонки:

протѣ

славенски

Я видѣлъ малчика, которои стоячи в' цркви осудил члка, немного погода и сам осудился от ныхъ [sic!] людей.

Я ето смотрячи молвил ему: вот ежели бы ты не осудил то бы и сам не осужденъ былъ.

Азъ видѣхъ отрока, иже в' цркви осуди члка.

Послѣди и сам осужденъ бысть от иных члкѣ.

Азъ сіе зрящи рекъ ему: аще бы ты не осудить еси не бы и сам осужденъ бысть.

(л. 72).

Итак, если в свое время учили производить пересчет от не-книжного языка к книжному (§ 8.11), то теперь учат производить пересчет в обратном направлении — от церковнославянского языка к «простому» русскому языку. Проявившееся здесь языковое сознание определяет первые шаги в кодификации русского литературного языка нового типа. Вместе с тем сам факт легализации

русского языка, который естественно объединяется в языковом сознании с разговорной речью, создает возможность непосредственной ориентации на живое употребление русского языка. Хотя эта установка сказывается в полной мере лишь существенно позже, ее предпосылки можно видеть уже и в рассматриваемый период. Действительно, уже в петровскую эпоху представления о русском языке могут быть обусловлены не только отталкиванием от церковнославянского языка, но и обращением к некоторому корпусу текстов, которые признаются именно «русскими».

В этом плане определенную роль в кодификации русского языка сыграл букварь Феофана Прокоповича 1720 г.: толкование (катехизис) на «простом» языке, приложенное к буквам и слогам (§ 18.3), должно было заменить псалмы и молитвы, по которым дети учились грамоте (ср. возражение против этого Дмитрия Кантемира — Пекарский, I, с. 179—181; Чистович, 1868, с. 51—52; Извеков, 1872, с. 1069); эти тексты предписывалось заучивать наизусть, и, таким образом, «простой» язык становится языком, которому учатся в процессе обучения чтению. По мысли Феофана, изучение толкований должно предшествовать заучиванию псалмов и молитв; в предисловии к букварю Феофан сообщает именно, что он составил эту книгу с тем, «да бы отроцы читать учащися по буквах и слогах, во утверждение чтенія своего, не псалмов и молитв, но сего толкованія училися. А по сем уже в вѣрѣ и законѣ Божіи наставлени, могли бы с пользою учить псалмы и молитвы» (Феофан Прокопович, 1721, л. 5 об.). Тем самым знакомство с «простым» языком оказывается необходимым условием при изучении церковнославянского языка.

Букварь Феофана Прокоповича в 1722 г. был административным порядком введен для употребления в «архиерейские школы», предназначенные для детей духовного сословия и готовящие священнослужителей, с предписанием заучивать тексты букваря (толкования Символа веры, заповедей и т.п.) наизусть (ПСЗ, VI, № 4021; Верховской, I, с. 393); итак, если ранее после овладения грамотой заучивали наизусть Псалтырь и молитвы, т.е. тексты на церковнославянском языке, то теперь их заменяют в этой функции толкования на «простом» языке. Вместе с тем в 1723 г. букварь Прокоповича было предписано читать в церквах великим постом вместо творений Ефрема Сирина и Соборника (ПСЗ, VII, № 4172; Пекарский, I, с. 181); таким образом, «простой» язык вторгается и в сферу церковного богослужения. В обоих случаях — как в сфере преподавания, так и в сфере богослужения — «простой» язык конкурирует с церковнославянским языком, и это явно способствует процессу кодификации русского языка.

§ 19.3. Некоторые итоги и перспективы. Так осуществляется переход от церковнославянско-русской диглоссии к церковнославянско-русскому двуязычию. Поскольку двуязычие, в отличие от диглоссии, является нестабильной языковой ситуацией — оба языка конкурируют друг с другом, а не распределяют свои функции, — русский язык постепенно оттесняет церковнославянский на периферию языкового сознания, узурпируя права и функции литературного языка и оставляя за церковнославянским языком в конечном счете лишь функции языка культового. Таким образом, следствием указанного процесса является становление русского литературного языка нового типа — языка, в той или иной мере ориентированного на разговорную речь. Вместе с тем, именно на фоне церковнославянско-русского двуязычия в конце XVII в. и в XVIII в. усваивается иностранно-русское двуязычие — польско-русское, голландско-русское, немецко-русское, французско-русское, — когда тот или иной иностранный язык выступает в определенной языковой среде на правах высокого, литературного языка.

Одним из следствий перехода от диглоссии к двуязычию является социолингвистическое расслоение общества. Как уже говорилось, переход к двуязычию в значительной степени переводит проблему литературного языка в социолингвистический план (§ 2.2.2; ср. § 15.4). При диглоссии одни и те же представления о языковой норме (которые относятся исключительно к книжной, а не разговорной речи) объединяют общество, оказываются едиными в принципе для всех социальных группировок. Напротив, при двуязычии — когда распадается функциональный баланс между сосуществующими языками, которые начинают конкурировать друг с другом, уподобляясь по своим функциям, и когда, соответственно, литературный язык перестает противопоставляться разговорному — владение тем или иным языком (будь то церковнославянский или какой-то иностранный язык), наряду с русским языком, оказывается привилегией определенной части общества. Так, например, церковнославянский язык становится в этих условиях языком ученой корпорации или же духовного сословия и может в дальнейшем восприниматься в социолингвистической перспективе как своего рода сословный жаргон («семинарское наречие»). Точно так же владение французским языком в известный период характерно для дворянского элитарного общества, и т.п. Таким образом, в условиях разрушения диглоссии социальная языковая норма выступает как субститут книжной, т.е. отношения между языковыми нормами переносятся в социальный план: проблема языковой правильности определяется социальным престижем того

или иного социума. Соответственно определяется роль и удельный вес той или иной языковой стихии в процессе формирования нового русского литературного языка.

Итак, в XVIII в. языковая ситуация радикально меняется, поскольку утверждается в своих правах новый русский литературный язык. Этот язык, с одной стороны, противопоставлен церковнославянскому языку, с другой же стороны, он принимает на себя функции церковнославянского языка. Это амбивалентное отношение к церковнославянскому языку — противопоставленности и преемственности — определяет возможные направления эволюции русского литературного языка, который может развиваться как по пути отталкивания от церковнославянского языка, так и по пути сближения с ним. Обе эти возможности и реализуются на различных этапах кодификации русского литературного языка (см. Успенский, 1985; Успенский, 1994, с. 115 сл.).

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ААЭ, I–IV — Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Академии наук, I–IV. СПб., 1836.
- Абакумов, 1948 — С. И. Абакумов. Вопросы пунктуации в трудах русских книжников XV–XVIII вв. — Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та, XII. М., 1948.
- Абрамович, 1916 — Д. И. Абрамович. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. СПб., 1916 (Памятники древнерус. литературы, II).
- Аделфотес, 1591 — 'Αδελφότης. Грамматика доброглаголивого еллинословенского языка. Львов, 1591. См. изд.: Adelphotes: Die erste gedruckte griechisch-kirchenslavische Grammatik... Hrsg. und eingel. et von O. Horbatsh. Frankfurt am Main, 1973 (Specimina philologiae slavicae, 2).
- Адрианова-Перетц, 1936 — В. П. Адрианова-Перетц. Праздник кабацких ярыжек: Пародия-сатира второй половины XVII в. М.—Л., 1936. Оттиск из ТОДРЛ, I.
- Адрианова-Перетц, 1977 — Русская демократическая сатира XVII в. Подгот. текстов, статья и ком. В. П. Адриановой-Перетц. Изд. 2-е, доп. М., 1977.
- АИ, I–V — Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею, I–V. СПб., 1841–1842.
- Айсман, 1972 — W. Eismann. O silogizme vytolkovano: Eine Übersetzung des Fürsten Andrej M. Kurbskij aus den Erotemata Trivii Johann Spangenberg's. Wiesbaden, 1972 (Monumenta linguae slavicae, IX).
- Аксенова, 1981 — Е. А. Аксенова. Важный памятник средневековой грамматико-лексикографической традиции. — Сов. сл., 1981, № 1.
- Акты Зап. России, I–V — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею, I–V. СПб., 1846–1853.
- Акты Киевской академии, I–V — Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. Отделение II-е (1721–1795 гг.), т. I–V. Киев, 1904–1908.
- Акты С.-В. Руси, I–III — Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в., I–III. М., 1952–1964.
- Акты Юж. и Зап. России, I–XV — Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею, I–XV. СПб., 1863–1892.
- Алексеев, 1773 — Петр Алексеев. Церковный словарь... М., 1773.
- Алексеев, 1776 — Петр Алексеев. Дополнение к Церковному словарю. М., 1776.
- Алексеев, 1779 — Петр Алексеев. Продолжение Церковного словаря. М., 1779.
- Алексеев, 1981 — А. А. Алексеев. «Песнь песней» по русскому списку XVI в. в переводе с древнееврейского оригинала. — Пал. сб., XXVII, 1981.
- Алексеев, 1987 — А. А. Алексеев. Переводы с древнееврейских оригиналов в Древней Руси. — RL, XI, 1987, 1.
- Алексеев, 1993 — А. А. Алексеев. Русско-еврейские литературные связи до XV в. — Jews and Slavs, I. Jerusalem—St. Petersburg, 1993.
- Алексеев, 1996 — А. А. Алексеев. Кое-что о переводах в Древней Руси. — ТОДРЛ, XLIX, 1996.
- Алипий, 1964 — Алупій (Гаманович). Грамматика церковно-славянского языка. Jordanville, 1964. Репринт: М., 1991.
- Алмазов, I–III — А. И. Алмазов. Тайная исповедь в православной Восточной церкви: Опыт внешней истории. Исследование преимущественно по рукописям, I–III. Одесса, 1894. Репринт: М., 1995.
- АМГ, I–III — Акты Московского государства, изданные имп. Академиею наук, I–III. СПб., 1890–1901.

- Амфилохий, 1884 — Лексис с толкованием словенских мов просто. С предисл. архим. Амфилохия. — ЧОИДР, 1884, кн. 2. Переиздано: Нимчук, 1964, с. 175—194.
- Аниченко, 1969 — У. В. *Анічэнка*. Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі. Мінск, 1969.
- Аниченко и др., I—II — У. В. *Анічэнка*, П. В. *Вярхоў*, А. І. *Жураўскі*, Я. М. *Рамановіч*. Хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы, I—II. Мінск, 1961—1962.
- Аннушкин, 1978 — А. И. *Аннушкин*. Предшественник «Грамматики» Смотрицкого (Учебник 1618 г., неизвестный нашей библиографии). — Книга: Исследования и материалы, XXXVI. М., 1978.
- Аннушкин, 1984 — В. И. *Аннушкин*. Редакции «Риторики» начала XVII в. — Древнерусская литература: Источниковедение. Л., 1984.
- Античные риторика — Античные риторика. Под ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1978.
- Ариньон, 1980 — Ж.-П. *Ариньон*. Международные отношения Киевской Руси в середине X в. и крещение княгини Ольги. — ВВ, XLI, 1980.
- Арх. ев. — Архангельское ев. (1092 г.). ГБЛ, Муз. 1666 (Св. кат. XI—XIII вв., № 6). См. изд.: Архангельское евангелие 1092 г. Изд. Румянцевского музея. М., 1912. См. также: Архангельское евангелие 1092 года. [Изд. подг. Л. П. Жуковская, Т. Л. Миронова]. М., 1997.
- Архангельский, 1884 — Любопытный памятник русской письменности XV в.: Молитва Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу к святей Троице единосущней... Сообщение А. С. Архангельского. СПб., 1884 (ПДП, Л).
- Архангельский, 1888 — А. С. *Архангельский*. Очерки из истории западно-русской литературы XVI—XVII вв.: Борьба с католичеством и западно-русская литература конца XVI — первой половины XVII в. — ЧОИДР, 1888, кн. 1.
- Архив Куракина, I—X — Архив князя Ф. А. Куракина, I—X. СПб.—Саратов—М.—Астрахань, 1890—1902.
- Архив Ю.-З. России, I—XII — Архив Юго-Западной России..., ч. I, тт. I—XII. Киев, 1859—1904.
- Архипов, 1995 — А. *Архипов*. По ту сторону Самбатина: Этюды о русско-еврейских культурных, языковых и литературных контактах в X—XVI вв. [Oakland, 1995].
- Арциховский, 1954 — А. В. *Арциховский*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.). М., 1954.
- Арциховский, 1963 — А. В. *Арциховский*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958—1961 гг.). М., 1963.
- Арциховский и Борковский, 1958 — А. В. *Арциховский*, В. И. *Борковский*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953—1954 гг.). М., 1958.
- Арциховский и Борковский, 1958а — А. В. *Арциховский*, В. И. *Борковский*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 г.). М., 1958.
- Арциховский и Борковский, 1963 — А. В. *Арциховский*, В. И. *Борковский*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963.
- Арциховский и Тихомиров, 1953 — А. В. *Арциховский*, М. Н. *Тихомиров*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.). М., 1953.
- Арциховский и Янин, 1978 — А. В. *Арциховский*, В. Л. *Янин*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962—1976 гг.). М., 1978.
- Асsem. ев. — Ассеманиево ев. (XI в., ст.-сл.). См. изд.: *Evangeliarium Assemani...* Ediderunt J. Vajs, J. Kurz, I—II. Praga, 1929—1955.
- Афанасий Холмогорский, 1682 — [Афанасий, архиепископ Холмогорский]. Увет духовный. М., 1682.
- Афанасьев, I—III — А. Н. *Афанасьев*. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов, I—III. М., 1865—1869. Репринт: М., 1994.

- Афанасьев, 1957 — *А. Н. Афанасьев*. Народные русские сказки в 3-х томах. М., 1957.
- Баар, 1968 — *A. H. van den Baar*. A Russian Church Slavonic Kanonnik (1331–1332): A Comparative Textual and Structural Study Including an Analysis of the Russian Computus (Scaliger 38B, Leyden University Library). The Hague–Paris, 1968 (Sl. Pr. and Repr., 89).
- Бабаева, 1992 — *Е. Э. Бабаева*. Об учебных пособиях в академии братьев Лихудов. — *Cyrrillomethodianum*, XV–XVI. Thessalonique, 1991–1992.
- Бандуров, 1905 — *Б. А. Бандуров*. Евангелие-апракос XIV в. имп. Публичной библиотеки (Ф. п. I. 9) как памятник древнерусского языка. — *РФВ*, LIII, 1905, 1.
- Барсов, 1882 — *Е. Барсов*. Письмо проф. Е. Е. Голубинскому... — *ЧОИДР*, 1882, кн. 3.
- Барсов, 1883 — *Е. В. Барсов*. Древнерусские памятники священного венчания царей на царство в связи с греческими их оригиналами. С историческим очерком чинов царского венчания в связи с развитием идеи царя на Руси. М., 1883. Оттиск из *ЧОИДР*, 1883, кн. 1.
- Барсов, 1981 — *А. А. Барсов*. Российская грамматика [1783–1788 гг.]. Подг. текста М. П. Тоболовой. М., 1981.
- Белодед, 1958 — Курс історії української літературної мови, т. I. За ред. І. К. Білодіда. Київ, 1958.
- Белокуров, I–II — *С. Белокуров*. Арсений Суханов, I–II. М., 1891–1893. Оттиски из *ЧОИДР*, 1891, кн. 1, 2; 1894, кн. 2.
- Белокуров, 1886 — Сильвестра Медведева «Известие истинное православным и показание светлое о новоисправлении книжном и почес». С предисл. и примеч. С. Белокурова. М., 1886.
- Белокуров, 1888 — *С. Белокуров*. Адам Олеарий о греко-латинской школе Арсения Грека в Москве в XVII в. М., 1888.
- Беляев, 1911 — *И. С. Беляев*. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV–XVIII ст. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1911.
- Березина, 1980 — *О. Е. Березина*. Два тематических лексикона начала XVIII в. — *Словари и словарное дело в России XVIII в.* Л., 1980.
- Берестяные грамоты, № 1–915. См. изд.: Арциховский и Тихомиров, 1953 (№ 1–10); Арциховский, 1954 (№ 11–83); Арциховский и Борковский, 1958 (№ 84–136); Арциховский и Борковский, 1958a (№ 137–194); Арциховский и Борковский, 1963 (№ 195–318); Арциховский, 1963 (№ 319–405); Арциховский и Янин, 1978 (№ 406–539); Янин и Зализняк, 1986 (№ 540–614); Янин и Зализняк, 1993 (№ 615–710); Янин и Зализняк, 2000 (№ 710–775); Янин и Зализняк, 2000a (№ 901–915). См. также изд.: Зализняк, 1995, с. 211–580 (№ 1–752). Указанные номера относятся к новгородским берестяным грамотам; в этих изданиях опубликованы также грамоты другого происхождения.
- Берков, 1936 — *П. Н. Берков*. Ломоносов и литературная полемика его времени (1750–1765). М.–Л., 1936.
- Берков, 1951 — Сатирические журналы Н. И. Новикова. Ред., вступ. статья и ком. П. Н. Беркова. М.–Л., 1951.
- Бернштейн, 1941 — *С. И. Бернштейн*. А. А. Шахматов как исследователь русского литературного языка. — В изд.: Шахматов, 1941, с. 3–55.
- Берында, 1627 — *Памва Берында*. Лексиконь славенороскій и именъ тълкованіе. Киев, 1627. Репринт: Лексикон словенороскій Памви Беринди. Підготовка тексту і вступна стаття В. В. Німчука. Київ, 1961.
- Берында, 1653 — *Памва Берында*. Лексиконь славенороскій, именъ тълкованіе. Кутейн, 1653.
- Биргерд, 1985 — *U. Birgegård*. Johan Gabriel Sparwenfeld and the *Lexicon Slavonicum*: His Contribution to the 17th Century Slavonic Lexicography. Uppsala, 1985 (*Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis*, XXIII).

- Благ. кондакаръ — Благовещенский кондакаръ (XII—XIII в.). ГПБ, Q.п.1.32; отрывок в Одесской гос. науч. б-ке, 1/93 (Св. кат. XI—XIII вв., № 153—154). См. изд.: *Der altrussische Kondakar*. Hrsg. von A. Dostál, H. Rothe, VIII, 2. Giessen, 1976 (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, 8, 2).
- Богданович, 1978 — *Д. Богданович*. Каталог кирилских рукописи монастыря Хиландара. Београд, 1978.
- Богосл. Дамаскина — Богословие Иоанна Дамаскина (XII—XIII в.). ГИМ, Син. 108 (Св. кат. XI—XIII вв., № 141). См. изд.: Богословие Святого Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Екзарха Болгарского. М., 1878. Оттиск из ЧОИДР, 1877, кн. 4.
- Бодянский, 1848 — *О. Бодянский*. Славянорусские сочинения в пергаменном сборнике И. Н. Царского. — ЧОИДР, 1848, № 7.
- Борковский и Кузнецов, 1963 — *В. И. Борковский, П. С. Кузнецов*. Историческая грамматика русского языка. М., 1963.
- Бороздин, 1900 — *А. К. Бороздин*. Протопоп Аввакум: Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII в. Изд. 2-е, доп. и испр. СПб., 1900.
- Бочаров и Выголов, 1979 — *Г. Н. Бочаров, В. П. Выголов*. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск. М., 1979.
- Бражников, 1974 — *Федор Крестьянин*. Стихиры. Публ., расшифровка и исслед. М. В. Бражникова. М., 1974.
- Браиловский, 1890 — *С. Браиловский*. Очерки из истории просвещения в Московской Руси в XVII в., I—II. — Чтения в Об-ве любителей духовного просвещения, 1890, март (с. 425—450), сентябрь (с. 361—405).
- Браиловский, 1894 — *С. Н. Браиловский*. Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов, директор Московской типографии. — ЖМНП, 1894, № 9 (с. 1—37), 10 (с. 242—286), 11 (с. 50—91).
- Браиловский, 1898 — *С. Н. Браиловский*. Несколько соображений по поводу анонимного сочинения: ѿ исправленіи в' прежде печатныхъ книгахъ минеахъ... — Отчеты о заседаниях Об-ва любителей древней письменности в 1897—1898 г. с приложениями. СПб., 1898 (ПДП, СХХХ), прилож., с. 1—12.
- Браиловский, 1902 — *С. Н. Браиловский*. Один из пестрых XVII-го столетия. СПб., 1902 (Зап. Академии наук по ист.-филол. отд., V, № 5).
- Бройер, 1957 — *H. Bräuer*. Untersuchungen zum Konjunktiv im Altkirchenslavischen und Altrussischen, I. Die final und abhängigen Heischsätze. Wiesbaden, 1957 (Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin, 11).
- Бубнов и Демкова, 1981 — *Н. Ю. Бубнов, Н. С. Демкова*. Вновь найденное послание из Москвы в Пустозерск «Возвещение от сына духовного ко отцу духовному» и ответ протопопа Аввакума (1676 г.). — ТОДРЛ, XXXVI, 1981. Переиздано: Демкова, 1998, с. 277—308.
- Будзишевская, 1969 — *W. Budziszewska*. Zapóżycczenia greckie w historii języka bułgarskiego. Warszawa, 1969 (Dissertationes Universitatis Varsoviensis, 30).
- Букварь Ивана Федорова 1574 г. — [Букварь]. Львов, 1574. См. изд.: Граматика Івана Федорова. Київ, 1964.
- Букварь Ивана Федорова 1578 г. — [Букварь]. Острог, 1578. См. изд.: Острожская азбука Івана Федорова [Под ред. Е. Л. Немировского]. М., 1983.
- Букварь Кариона Истомина, см.: Карион Истомин, 1694.
- Букварь Федора Поликарпова, см.: Поликарпов, 1701.
- Букварь, 1790 — Букварь. Львов, 1790.
- Булаховский, 1950 — *Л. А. Булаховский*. Исторический комментарий к русскому литературному языку. Изд. 3-е, испр. и доп. Киев, 1950.
- Булич, 1893 — *С. Булич*. Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке, I. СПб., 1893 (Зап. ист.-филол. ф-та С.-Петербургского ун-та, XXXII).

- Булич, 1904 — С. К. Булич. Очерк истории языкознания в России, I (XIII в. — 1825 г.). СПб., 1904. Оттиск из изд.: Зап. ист.-филол. ф-та С.-Петербургского ун-та, LXXV, 1904.
- Булыко, 1970 — А. М. Булыка. Развіццё арфаграфічнай сістэмы старабеларускай мовы. Мінск, 1970.
- Буслаев, 1859 — Ф. И. Буслаев. Рец. на кн.: Православный собеседник... — Летописи русской литературы и древности, изд. Н. Тихонравовым, т. I, кн. 1. М., 1859.
- Буслаев, 1861 — Ф. Буслаев. Историческая хрестоматия церковно-славянского и древне-русского языков. М., 1861.
- Буслаев, 1959 — Ф. И. Буслаев. Историческая грамматика русского языка. М., 1959.
- Быкова, 1955 — Т. А. Быкова. Место «Букваря» Ивана Федорова среди других начальных учебников. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, XIV, 1955, 5.
- Бычк. пс. — Бычковская пс. (XI в.). Собр. монастыря св. Екатерины на Синае, Slav. 6; отрывок в ГПБ, Q.п.1.73 (Св. кат. XI—XIII вв.; № 28). См. изд.: An Early Slavonic Psalter from Rus'. Ed. by M. Altbauer, I. Cambridge Mass. 1978.
- Бьюри, 1906 — J. B. Bury. The Treatise *De administrando imperio*. — BZ, XV, 1906.
- Бэкхунд, 1959 — A. Bäcklund. Personal names in Medieval Velikij Novgorod, I. Common names. Stockholm, 1959 (Acta Universitatis Stockholmiensis. Études de philologie slave, IX).
- Вайан, 1935 — A. Vaillant. Les «lettres russes» de la Vie de Constantin. — RES, XV, 1935, 1–2.
- Вайан, 1952 — A. Vaian. Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
- Василев, 1972 — Chr. Vasilev. Der Ausdruck «einfache Sprache» bei Avvakum und bei den orthodoxen Südslaven: Das Ende des Kirchenslavischen als Literatursprache. — Wiener slavistisches Jahrbuch, XVII, 1972.
- Васильев, 1929 — Л. Л. Васильев. О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII вв.: К вопросу о произношении звука *o* в великорусском наречии. Л., 1929 (Сб. РЯС, I, 2). Репринт: Л. Васильев. Труды по истории русского и украинского языков. München, 1972 (Slavische Propyläen, 94), с. 425–628.
- Вертоградский, 1914 — М. Вертоградский. Исправление Служебника в Москве во второй половине XVII в. — Журналы Совета С.-Петербургской Духовной академии 1913–1914 г. СПб., 1914 (с. 426–427).
- Верховской, I–II — П. В. Верховской. Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент: К вопросу об отношении Церкви и государства. Исследование в области истории русского церковного права, I–II. Ростов-на-Дону, 1916.
- Вздорнов, 1968 — Г. Н. Вздорнов. Роль славянских монастырских мастерских письма Константинополя и Афона в развитии книгописания и художественного оформления русских рукописей на рубеже XIV–XV вв. — ТОДРЛ, XXIII, 1968.
- Виднэс, 1958 — М. Виднэс. О выражении принадлежности притяжательным прилагательным и родительным падежом принадлежности в русском языке XVIII–XIX вв. — Sc.-Sl., IV, 1958.
- Вилинский, I–II — С. Г. Вилинский. Житие святого Василия Нового в русской литературе, I–II. Одесса, 1911–1913. Оттиск из изд.: Зап. ист.-филол. ф-та Новороссийского ун-та, VI.
- Виноградов, I–III — Н. Виноградов. Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч., I–III. СПб., 1907–1910. Оттиск из ЖС, 1907–1909.
- Виноградов, 1923 — В. В. Виноградов. Исследования в области фонетики севернорусского наречия, I. Пг., 1923. Оттиск из ИОРЯС, XXIV, 1–2.
- Виноградов, 1938 — В. В. Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1938. Переиздано: М., 1982.
- Виноградов, 1958 — В. В. Виноградов. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958.

- Винокур, 1959 — Г. О. Винокур. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
- Витковский, 1969 — W. Witkowski. Język utworów Joannicjusza Galatowskiego na tle języka piśmiennictwa ukraińskiego XVII wieku. Kraków, 1969 (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCXI).
- Вишенский, 1955 — Иван Вишенский. Сочинения. Подг. текста, статья и ком. И. П. Еремина. М.—Л., 1955.
- Владимиров, 1889 — П. Владимиров. Предисловие Василия Тяпинского к печатному евангелию, изданному в Западной России, около 1570 г. — Киевская старина, XXIV, 1889, январь (приложения).
- Владимиров, 1899 — П. Владимиров. Пятидесятилетие «Мыслей об истории русского языка». — УИ, 1899, № 2.
- Владимирский-Буданов, I—III — М. Владимирский-Буданов. Христоматия по истории русского права, I—III. Изд. 3-е. Киев—СПб., 1885—1887.
- Власто, 1970 — A. P. Vlasto. The Entry of the Slavs into Christendom: An Introduction to the Medieval History of the Slavs. Cambridge, 1970.
- ВМЧ, октябрь — Великие Минен Четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Октябрь. СПб., 1870—1880.
- Водов, 1978 — W. Vodoff. Remarques sur la valeur du terme «tsar» appliqué aux princes russes avant le milieu du XV^e siècle. — Oxford Slavonic Papers, n. s., XI, 1978.
- Водов, 1988 — W. Vodoff. Le titre tsar' dans la Russie du nord-est vers 1440—1460 et la tradition littéraire vieux-russe. — Studia slavico-byzantina et mediaevalia Europensia, I. In memoriam Ivan Dujčev. [Sofia], 1988.
- Возняк, I—III — М. Возняк. Історія української літератури, I—III. Львів, 1920—1924.
- Воронин и Жуковская, 1976 — Н. Н. Воронин, Л. П. Жуковская. К истории смоленской литературы XII в. — Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.
- Ворт, 1984 — D. S. Worth. Incipits in the Novgorod Birchbark Letters. — Semiosis: Semiotics and the History of Culture. In honorem Georgii Lotman. [Ann Arbor], 1984.
- Воскресенский, I—V — Г. Воскресенский. Древне-славянский Апостол: Послания святого апостола Павла по основным спискам четырех редакций рукописного славянского апостольского текста с различениями по пятидесяти одной рукописи, I—V. Сергиев Посад, 1892—1908.
- Востоков, 1842 — А. Востоков. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842.
- Выголекс. сб. — Выголексинский сб. (кон. XII в.). ГБЛ, ф. 178, № 1832 (Св. кат. XI—XIII вв., № 119). См. изд.: Выголексинский сборник. Изд. подг. В. Ф. Дубровина и др. М., 1977.
- Гальченко, 1996 — М. Г. Гальченко. О написаниях с ѣ вместо ѣ в югозападнорусских рукописях XII—XIV вв. — Русистика, славистика, индоевропеистика: Сб. к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1996. Переиздано: Гальченко, 2001, с. 60—72.
- Гальченко, 2000 — М. Г. Гальченко. Графико-орфографические признаки второго южнославянского влияния и хронология их появления в древнерусских рукописях конца XIV — первой половины XV в. — Церковь в истории России, IV. М., 2000. Переиздано: Гальченко, 2001, с. 325—382.
- Гальченко, 2001 — М. Г. Гальченко. Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси (Избр. работы). М.—СПб., 2001 (Труды Центр. музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, I).
- Гард, 1974 — П. Гард. К истории восточнославянских гласных среднего подъема. — ВЯ, 1974, № 3.
- Гардтаузен, I—II — V. Gardthausen. Griechische Palaeographie. 2te Aufl., I—II. Leipzig, 1911—1913.
- Гезен, 1884 — А. Гезен. История славянского перевода символов веры: Критико-палеографические заметки. СПб., 1884.

- Геннад. библия — Геннадиевская библия (1499 г.). ГИМ, Син. 915.
- Георгиевский, 1911 — В. Т. Георгиевский. Фрески Ферапонтова монастыря. СПб., 1911.
- Геров, 1938 — B. Gerov. Die Wiedergabe des griechischen φ und des griechischen f-Lautes im Altbulgarischen. — *Studia historico-philologica Serdicensia*, 1. Sofia, 1938.
- Геров, 1942 — B. Gerov. Die Wiedergabe des griechischen υ (от) im Altbulgarischen. — *Glotta*, XXIX, 1942, 1–2.
- Геров, 1943 — B. Gerov. Die griechischen, semitischen und lateinischen Nomina im Altbulgarischen. — *Годишник на Университета св. Климент Охридски. Ист.-фил.* ф-т, XXXIX. София, 1942/43.
- Гиббенет, I–II — Н. Гиббенет. Историческое исследование дела патриарха Никона, I–II. СПб., 1882–1884.
- Гиппиус, 1989 — А. А. Гиппиус. Система формальных признаков языка древнерусской письменности как предмет лингвистического изучения. — ВЯ, 1989, № 2.
- Гиппиус, 1990 — А. А. Гиппиус. Из истории взаимодействия региональных изводов церковнославянского языка в древнейшую эпоху (формы номинатива действительных причастий на -*onts). — Сов. сл., 1990, № 1.
- Гиппиус, 1992 — А. А. Гиппиус. Новые данные о пономаре Тимофее — новгородском книжнике середины XIII века. — Информационный бюллетень [Международной ассоциации по изучению и распространению славянских культур], XXV. М., 1992.
- Гиппиус, 1996 — А. А. Гиппиус. «Русская правда» и «Вопрошание Кирика» в Новгородской Кормчей 1282 г. (К характеристике языковой ситуации древнего Новгорода). — *Славяноведение*, 1996, № 1.
- Голоскевич, 1914 — Г. К. Голоскевич. Евсевиево евангелие 1283 г.: Опыт историко-филологического исследования. СПб., 1914 (Иссл. по рус. яз., III, 2).
- Голубев, I–II — С. Т. Голубев. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, I–II. Киев, 1883–1898.
- Голубев, 1886 — С. Т. Голубев. История Киевской духовной академии. Киев, 1886.
- Голубев, 1971 — И. Ф. Голубев. Встреча Симеона Полоцкого, Епифания Славинского и Паисия Лигарида с Николаем Спафарием и их беседа. — *ТОДРЛ*, XXVI, 1971.
- Голубинский, I–II — Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, ч. 1–2 (изд. 2-е — М., 1901–1904), т. II, ч. 1–2 (М., 1900–1917). Репринт: М., 1997–1998 (Материалы по истории церкви, кн. 16–19).
- Голубинский, 1904 — Е. Голубинский. Вопрос о заимствовании домонгольскими русскими от греков так называемой схедографии, представляющей собою у последних высший курс грамотности. — *ИОРЯС*, IX, 1904, кн. 2.
- Голубинский, 1905 — Е. Голубинский. К нашей полемике с старообрядцами (Дополнения и поправки к полемике относительно общей ее постановки и относительно главнейших частных пунктов разногласия между нами и старообрядцами). М., 1905. Оттиск из ЧОИДР, 1905, кн. 3.
- Голубцов, 1890 — А. Г-в [= А. Голубцов]. Судьба Евангелия учительного Кирилла Транквилиона-Ставровецкого. — Чтения в Об-ве любителей духовного просвещения, XXVIII, 1890, № 4.
- Голыщенко, 1977 — [В. С. Голыщенко]. Введение. — В изд.: Выголексинский сборник. Изд. подг. В. Ф. Дубровина и др. М., 1977.
- Горбач, 1964 — O. Horbatsch. Die vier Ausgaben der kirchenslavischen Grammatik von M. Smotryčkyj. Wiesbaden, 1964 (Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik, 7).
- Горский и Невоструев, I–III — [А. В. Горский, К. И. Невоструев]. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки, I–III. М., 1855–1917.

- Горшкова и Хабургаев, 1981 — К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев. Историческая грамматика русского языка. М., 1981.
- Грамматика 1638 г. — Грамматика или писменница языка Словенскаго тщательмъ въкратце издана. Кременец, 1638. См. изд.: *Grammatiki ili pismennica jazyka sloven'skaho...* Hrsg. und eingel. von O. Horbatsch. Frankfurt am Main, 1977 (*Specimina philologiae slavicae*, 11).
- Грамоты Новгорода и Пскова — Грамоты Великого Новгорода и Пскова. Под ред. С. Н. Валка. М.—Л., 1949.
- Гранстрем, 1954 — Е. Э. Гранстрем. Сокращения древнейших славяно-русских рукописей. — ТОДРЛ, X, 1954.
- Гранстрем, 1974 — Е. Э. Гранстрем. Иоанн Златоуст в древней русской и южнославянской письменности (XI–XIV вв.). — ТОДРЛ, XXIX, 1974.
- Гребенюк, 1979 — В. П. Гребенюк. Панегирическая литература петровского времени. М., 1979.
- Григорьев, 1913 — А. Д. Григорьев. Повесть об Акире Премудром. Исследование и тексты. М., 1913. Оттиск из ЧОИДР, 1913, кн. 1.
- Гринкова, 1948 — Н. П. Гринкова. Некоторые случаи повторения предлогов в кировских диалектах. — Язык и мышление, XI. М.—Л., 1948.
- Грот, 1911 — К. Грот. Из бумаг А. В. Храповицкого. — Старина и новизна, XV. СПб., 1911.
- Гунгер, 1953 — H. Hunger. Zum Epilog der Theogonie des Johannes Tzetzes. — BZ, XLVI, 1953, 2.
- Давид, 1690 — [Georgius David, S. J.]. Exemplar Characteris Moscovitico-Ruthenici Duplicis Biblici et Usualis. Nissa, 1690.
- Даниил из Бухау, 1877 — Даниил, принц из Бухова. Начало и возвышение Московии. Пер. с лат. И. А. Тихомирова. М., 1877. Оттиск из ЧОИДР, 1876, кн. 3, 4.
- Даркевич, 1962 — В. П. Даркевич. Подвиги Геракла в декорации Дмитриевского собора во Владимире. — Советская археология, 1962, № 4.
- Даркевич, 1968 — В. П. Даркевич. О некоторых византийских мотивах в древнерусской скульптуре. — Славяне и Русь. М., 1968.
- Дворник, 1954 — F. Dvornik. Les bénédictins et la christianisation de la Russie. — L'Église et les églises: Études et travaux... offerts à Dom Lambert Beauduin, I. Chevetogne, 1954.
- Дворник, 1970 — F. Dvornik. Byzantské misie u slovanů. Praha, 1970.
- Дель-Агата, 1983 — Г. Дел Агата. Бележки върху историята на езиковия въпрос в България. — Първи международен конгрес по българистика: Доклади. Исторически развой на българския език. София, 1983.
- Дель-Агата, 1983a — G. Dell'Agata. Paralleli greco-bulgari nella Questione della lingua nell'epoca del Văzraždane. — Mondo slavo e cultura italiana: Contributi italiani al IX Congresso Internazionale degli Slavisti (Kiev 1983). Roma, 1983.
- Дель-Агата, 1984 — G. Dell'Agata. The Bulgarian Language Question from the Sixteenth to the Nineteenth Century. — Aspects of the Slavic Language Question. Ed. by R. Picchio, H. Goldblatt, I. New Haven, 1984.
- Демин, 1965 — А. С. Демин. Демократическая поэзия XVII в. в письмовниках и сборниках виршевых посланий. — ТОДРЛ, XXI, 1965.
- Демкова, 1965 — Н. С. Демкова. Неизданное сатирическое произведение о духовенстве. — ТОДРЛ, XXI, 1965.
- Демкова, 1965a — Н. С. Демкова. Неизвестные и неизданные тексты из сочинений протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, XXI, 1965. Переиздано: Демкова, 1998, с. 53–99.
- Демкова, 1974 — Н. С. Демкова. Из истории ранней старообрядческой литературы. — ТОДРЛ, XXVIII, 1974.
- Демкова, 1998 — Н. С. Демкова. Сочинения Аввакума и публицистическая литература раннего старообрядчества. СПб., 1998.

- Демкова и Малышев, 1971 — *Н. С. Демкова, В. И. Малышев*. Неизвестные письма протопопа Аввакума. — Зап. Отдела рукописей ГБЛ, XXXII, 1971. Переиздано: Демкова, 1998, с. 258–277.
- Державин, I–VII — [*Г. Р.*] *Державин*. Сочинения с объяснительными примеч. Я. К. Грота (2-е акад. изд.), I–VII. СПб., 1868–1878.
- Державина, 1962 — *О. А. Державина*. Фацеции: Переводная новелла в русской литературе XVII в. М., 1962.
- Деяния первого собора... — Деяния первого Всероссийского собора христиан-поморцев, приемлющих брак... М., 1909.
- Дмитриев, 1958 — Повести о житии Михаила Клопского. Подг. текстов и статья Л. А. Дмитриева. М.–Л., 1958.
- Дмитриевский. О исправлении книг... — *А. А. Дмитриевский*. О исправлении книг при патриархе Никоне и последующих патриархах. Рукопись. ГПБ, ф. 253, № 129.
- Дмитриевский, 1895 — *А. А. Дмитриевский*. Новые данные по исправлению богослужебных книг в Москве в XVII и XVIII вв. — Чтения в историческом обществе Нестора летописца, IX. Киев, 1895.
- Дмитриевский, 1909 — [Сообщение о докладе А. А. Дмитриевского в ОЛДП]. — Ведомости С.-Петербургского градоначальства, № 40 от 21.II.1909.
- Дмитриевский, 1912 — *А. А. Дмитриевский*. Отзыв о соч. М. И. Орлова «Литургия св. Василия Великого». — Сборник отчетов о премиях и наградах, присуждаемых имп. Академией наук, т. IV за 1909 год. СПб., 1912.
- Добрил. ев. — Добролюбо ев. (1164 г.). ГБЛ, ф. 256, № 103 (Св. кат. XI–XIII вв., № 55).
- Добромир. ев. — Добромирово ев. (XII в., болгарское). ГПБ, Q.п.1.155. См. изд.: Добромирово евангелие: Български паметник от началото на XII век. Подготовка за издаване Б. Велчева. София, 1975.
- Доп. к АИ, I–XII — Дополнения к Актам историческим, собранным и изданным Археографическою комиссиею, I–XII. СПб., 1846–1875.
- Достоевский, I–XXX — *Ф. М. Достоевский*. Полн. собр. соч., I–XXX. Л., 1972–1990.
- Дружинин, 1909 — *В. Г. Дружинин*. Несколько неизвестных литературных памятников из сборника XVI-го века. СПб., 1909. Оттиск из «Летописи занятий Археографической комиссии» за 1908 г., вып. 21.
- Дубровина, 1964 — *В. Ф. Дубровина*. Из наблюдений над употреблением грецизмов в переводном тексте русской рукописи XI в. — Источниковедение и история русского языка. М., 1964.
- Дуйчев, 1963 — *И. Дуйчев*. Центры византийско-славянского сотрудничества. — ТОДРЛ, XIX, 1963.
- Дурново, IV–VI — *Н. Дурново*. Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка. — Южнославянски филолог, IV, 1924 (с. 72–94), V, 1925–26 (с. 93–117), VI, 1926–27 (с. 11–64). Переиздано: Дурново, 2000, с. 391–494.
- Дурново, 1915 — *Н. Дурново*. Материалы и исследования по старинной литературе, I. К истории повести об Акире (Исследование и тексты). М., 1915. Оттиск из изд.: Труды Славянской комиссии имп. Моск. Археол. об-ва, IV, 2.
- Дурново, 1924 — *Н. Дурново*. Очерк истории русского языка. М.–Л., 1924. Переиздано: Дурново, 2000, с. 1–337.
- Дурново, 1924а — *Н. Дурново*. Спорные вопросы о.-сл. фонетики, I. Начальное е в о.-сл. языке. — Slavia, III, 1924, 2–3. Переиздано: Дурново, 2000, с. 495–541.
- Дурново, 1924б — *Н. Дурново*. К истории звуков русского языка, II. Старославянские смягченные согласные в Архангельском евангелии. — Slavia, III, 1924, 4.
- Дурново, 1926 — *N. Durnovo*. Zur Entstehung der Vokalbezeichnungen in den slav. Alphabeten. — ZslPh, III, 1926, 3/4. Ср. перевод в изд.: Дурново, 2000, с. 685–689.

- Дурново, 1926а — *N. Durnovo*. Le traitement de *sk dans les langues slaves. — RES, VI, 1926, 3–4. Ср. перевод в изд.: Дурново, 2000, с. 383–390.
- Дурново, 1933 — *Н. Дурново*. Славянское правописание XI–XII вв. — *Slavia*, XII, 1933, 1–2. Переиздано: Дурново, 2000, с. 644–682.
- Дурново, 1969 — *Н. Н. Дурново*. Введение в историю русского языка. Изд. 2-е. М., 1969.
- Дурново, 2000 — *Н. Н. Дурново*. Избранные работы по истории русского языка. М., 2000.
- Дьяконов, 1889 — *М. Дьяконов*. Власть московских государей: Очерки из истории политических идей Древней Руси до конца XVI в. СПб., 1889.
- Евгений, I–II — *Евгений [Болховитинов]*. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской церкви. Изд. 2-е, I–II. СПб., 1827.
- Евсеев, 1915 — *И. Евсеев*. Черты бытовой истории славянской Библии в XVI–XVII вв. — Христианское чтение, 1915, март.
- Евфимий, 1865 — *[Евфимий, инок Чудова монастыря]*. Остен. Казань, 1865.
- Егунов, 1964 — *А. Н. Егунов*. Гомер в русских переводах XVIII–XIX вв. М.–Л., 1964.
- Еленски, 1960 — *Й. Еленски*. Редуцированные гласные в Святославовом изборнике 1073 г. — Годишник на Софийския университет. Филол. ф-т, LIV, I. София, 1960.
- Енсен, 1912 — *A. Jensen*. Die Anfänge der schwedischen Slavistik. — Archiv für slavische Philologie, XXXIII, 1912, 1–2.
- Еремин, 1947 — *И. П. Еремин*. Литературное наследие Феодосия Печерского. — ТОДРЛ, V, 1947.
- Еремин, 1966 — *И. П. Еремин*. Литература древней Руси (Этюды и характеристики). М.–Л., 1966.
- Ефр. кормчая — *Ефремовская кормчая* (XII в.). ГИМ, Син. 227 (Св. кат. XI–XIII вв., № 75). См. изд.: *В. Н. Бенешевич*. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. СПб., 1906–1907.
- Живкович, 1958 — *С. Живкович*. Русский лексикон 1704 г. — Славянская филология, III. М., 1958.
- Живов, 1984 — *В. М. Живов*. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI–XIII вв. — RL, VIII, 1984, 3.
- Живов, 1985 — *В. М. Живов*. Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков. — Сов. сл., 1985, № 3.
- Живов, 1986 — *В. М. Живов*. Азбучная реформа Петра I как семиотическое преобразование. — Уч. зап. Тартуского ун-та, 720. Тарту, 1986.
- Живов, 1986а — *В. М. Живов*. Новые материалы для истории перевода «Географии генеральной» Бернарда Варения. — Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка, 1986, т. 45, № 3.
- Живов, 1988 — *В. М. Живов*. История русского права как лингво-семиотическая проблема. — Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman. Ed. by M. Halle et al. Columbus, [1988].
- Живов, 1992 — *В. М. Живов*. Slavia Christiana и историко-культурный контекст «Сказания о русской грамоте». — Русская духовная культура. Под ред. Л. Магаротто и Д. Рицци. Тренто, 1992.
- Живов, 1995 — *В. М. Живов*. Буковница 1592 г. и ее место в истории русской грамматической мысли. — The Language and Verse in Russia: In Honor of D. S. Worth. M., 1995 (Univ. of California, Los Angeles. Slavic Studies, n.s., II).
- Живов, 1999 — *В. М. Живов*. «В плъну у ангеловъ на дикомъ брегѣ — ахъ!» — Поэтика, история литературы, лингвистика: Сб. к 70-летию В. В. Иванова. М., 1999.
- Живов и Успенский, 1973/1997 — *В. М. Живов, Б. А. Успенский*. Центр и периферия в языке в свете языковых универсалий. — ВЯ, 1973, № 5. Цит. по изд.: Успенский, III (1997), с. 58–77.

- Живов и Успенский, 1983 — В. Живов, Б. Успенский. Выдающийся вклад в изучение русского языка XVII века [рец. на изд.: *Grigorij Kotošixin. O Rossii...* Ed. by A. E. Pennington. Oxford, 1980]. — IJSLP, XXVIII, 1983.
- Живов и Успенский, 1983a — В. А. Успенский, В. М. Живов. Zur Spezifik des Barock in Rußland (Das Verfahren der Äquivokation in der russischen Poesie des 18. Jahrhunderts). — Slavische Barockliteratur, II: Gedenkschrift für Dmitrij Tschizewskij. Hrsg. von R. Lachmann. München, 1983 (Forum slavicum, 54).
- Живов и Успенский, 1984/1996 — В. М. Живов, Б. А. Успенский. Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XI–XVIII вв. — Античность в культуре и искусстве последующих веков. М., 1984. Цит. по изд.: Из истории русской культуры, IV. М., 1996, с. 449–535.
- Живов и Успенский, 1986/1997 — В. М. Живов, Б. А. Успенский. Grammatica sub specie theologiae: Претеритные формы глагола *быти* в русском языковом сознании XVI–XVIII вв. — RL, X, 1986, 3. Цит. по изд.: Успенский, III (1997), с. 363–388.
- Живов и Успенский, 1987/1996 — В. М. Живов, Б. А. Успенский. Царь и Бог (Семиотические аспекты сакрализации монарха в России). — Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. Цит. по изд.: Успенский, I (1996), с. 205–337.
- Житецкий, 1878 — П. И. Житецкий. О Пересопницкой рукописи. — Труды III Археологического съезда в России..., II. Киев, 1878.
- Житецкий, 1889 — П. Житецкий. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII вв. Киев, 1889.
- Житецкий, 1905 — П. И. Житецкий. О переводах евангелия на малорусский язык. — ИОРЯС, X, 1905, кн. 4.
- Жовтобрюх, 1978 — М. А. Жовтобрюх. Украинский разговорник XVI в. — Восточнославянское и общее языкознание. М., 1978.
- Зализняк, 1978 — А. А. Зализняк. Новые данные о русских памятниках XIV–XVII вв. с различением двух фонем «типа о». — Сов. сл., 1978, № 3.
- Зализняк, 1978a — А. А. Зализняк. Противопоставление букв *о* и *ω* в древнерусской рукописи XIV в. «Мерило праведное». — Сов. сл., 1978, № 5.
- Зализняк, 1982 — А. А. Зализняк. К исторической фонетике древненовгородского диалекта. — Балто-славянские исследования (1981). М., 1982.
- Зализняк, 1984 — А. А. Зализняк. Наблюдения над берестяными грамотами. — История русского языка в древнейший период. М., 1984 (Вопросы русского языкознания, V).
- Зализняк, 1985 — А. А. Зализняк. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
- Зализняк, 1986 — А. А. Зализняк. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения (из раскопок 1951–1983 гг.). — В изд.: Янин и Зализняк, 1986, с. 88–219.
- Зализняк, 1987 — А. А. Зализняк. Текстовая структура древненовгородских писем на бересте. — Исследования по структуре текста. М., 1987.
- Зализняк, 1992 — А. А. Зализняк. Участие женщин в древнерусской переписке на бересте. — Русская духовная культура. Под ред. Л. Магаротто и Д. Риши. Тренто, 1992.
- Зализняк, 1993 — А. А. Зализняк. К изучению языка берестяных грамот. — В изд.: Янин и Зализняк, 1993, с. 191–343.
- Зализняк, 1995 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Зализняк, 1996 — А. А. Зализняк. Об одном ранее неизвестном рефлексе сочетаний типа **ТъгТ* в древненовгородском диалекте. — Балто-славянские исследования (1988–1996). М., 1997.
- Зализняк, 2000 — А. А. Зализняк. Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование. — В изд.: Янин и Зализняк, 2000, с. 134–429.

- Зализняк, 2001a — А. А. Зализняк. Древнерусская графика со смещением 5-го и 6-го. — Отцы и дети Московской лингвистической школы: Памяти В. Н. Сидорова (в печати).
- Зализняк и Янин, 1993 — А. А. Зализняк, В. Л. Янин. Вкладная грамота Варлаама Хутынского. — RL, XVI, 1993, 2–3.
- Зализняк и Янин, 2001 — А. А. Зализняк, В. Л. Янин. Новгородский кодекс первой четверти XI в. — древнейшая книга Руси. — ВЯ, 2001, № 5.
- Зарубин, 1932 — Н. Н. Зарубин. Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Л., 1932 (Памятники древнерус. литературы, III).
- Засадкевич, 1883 — Н. Засадкевич. Мелетий Смотрицкий как филолог. Одесса, 1883.
- Заседание в Книжной Палате... — Заседание в книжной палате 18-го февраля 1627 г. по поводу исправления Катехизиса Лаврентия Зизания. СПб., 1878 (Изд. ОЛДП, XVII).
- Захарьин, 1991 — Д. Б. Захарьин. О немецком влиянии на русскую грамматическую мысль: «Книга глемая Донатус меньшеи». — RL, XV, 1991, 1.
- Зеemann, 1983 — K.-D. Seemann. Die «Diglossie» und die Systeme der sprachlichen Kommunikation im alten Rußland. — Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongreß in Kiev 1983. Köln-Wien, 1983 (Slavistische Forschungen, 40).
- Зеemann, 1984 — K.-D. Seemann. «Loquendum est Russice & scribendum est Slavonice». — Russia Mediaevalis, V, 1984, 1.
- Зенбицкий, 1907 — П. Н. Зенбицкий. Сумасшедший самозванец. — ЖС, 1907, вып. 3.
- Зизаний, 1596 — Лаврентий [Зизаний]. Грамматика словенска съвершенна[о] искусства осми частей слова и иных нужных. Вильна, 1596. Репринт: Лаврентий Зизаний. Грамматика словенська. Підготовка факсимального видання та дослідження пам'ятки В. В. Німчука, Київ, 1980. См. также изд.: *Lavrentij Zizanj. Grammatica slovenska* (Wilna, 1596). Hrsg. und eingel. von G. Freidhof. 2te, um das Faksimile erweiterte Aufl. Frankfurt am Main, 1980 (Specimina philologiae slavicae, 26); Грамматика Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. Сост. Е. А. Кузминова. М., 2000, с. 27–127.
- Зизаний, 1596а — Лаврентий [Зизаний]. Лексис сирѣчь реченія, въкратѣ събранны и из словенского языка на простый Рускій діалект истолкованы. — В кн.: Лаврентий [Зизаний]. Наука ху читаню и розумѣню писма словенского. Вильна, 1596. Репринт: Нимчук, 1964, с. 23–89.
- Зиновий Отенский, 1863 — Зиновий [Отенский]. Истины показание к вопросившим о новом учении. Казань, 1863.
- Златостр. XII в. — Златоструй (XII в.). ГПБ, Ф.п. I.46 (Св. кат. XI–XIII вв., № 74).
- Зогр. св. — Зографское ев. (XI в., ст.-сл.). См. изд.: *Quattuor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus*. Ed. V. Jagic. Berlin, 1879.
- Золтан, 1984 — А. Золтан. Западнорусско-великорусские языковые контакты в области лексики в XV в. АКД, М., 1984.
- Золтан, 1987 — А. Zoltán. СЕАЗЪ...: К вопросу о происхождении начальной формулы древнерусских грамот. — RL, XI, 1987, 2.
- Иван Вишенский, см.: Вишенский.
- Иван Грозный, 1951 — Послания Ивана Грозного. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1951.
- Иван Федоров, см.: Букварь Ивана Федорова.
- Иванов, 1969 — А. И. Иванов. Литературное наследие Максима Грека: Характеристика, атрибуция, библиография. Л., 1969.
- Иванов и Топоров, 1981 — В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Древнее славянское право: архаичные мифопоэтические основы и источники в свете языка. — Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981.

- Иванова, 1969 — Т. А. Иванова. Еще раз о «русских письменех». — Сов. сл., 1969, № 4.
- Ивич, 1970 — П. Ивич. Рец. на кн.: [Успенский, 1968]. — Сборник за филологију и лингвистику, 1970, № 1.
- Идея Рима... — Идея Рима в Москве XV–XVI в.: Источники по истории русской общественной мысли. Под ред. П. Каталано, В. Т. Пашуто. М., 1989/L'idea di Roma a Mosca secoli XV–XVI: Fonti per la storia del pensiero sociale Russo. Direzione della ricerca P. Catalano, V. T. Pašuto. Mosca, 1989.
- Изб. 1073 — Изборник 1073 г. ГИМ, Син. 1043 (Св. кат. XI–XIII вв., № 4). См. изд.: Изборник Святослава 1073 г. Под ред. Л. П. Жуковской. М., 1983.
- Изб. 1076 — Изборник 1076 г. ГПБ, Эрм. 20 (Св. кат. XI–XIII вв., № 5). См. изд.: Изборник 1076 г. Изд. подг. В. С. Голышенко и др. М., 1965.
- Извеков, 1872 — Д. Извеков. Букварная система обучения в исходе XVII и начале XVIII ст. — Семья и школа, кн. II, 1872, № 4, 5.
- Иконников, 1915 — В. С. Иконников. Максим Грек и его время: Историческое исследование. Изд. 2-е, испр. и доп. Киев, 1915.
- Иларий и Арсений, I–III — [Иларий и Арсений]. Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры, I–III. М., 1878–1879. Оттиск из ЧОИДР, 1878, кн. 2, 4; 1879, кн. 2; 1880, кн. 4.
- Ильминский, 1886 — [Н. Ильминский]. Размышление о сравнительном достоинстве в отношении языка разновременных редакций церковнославянского перевода Псалтири и Евангелия. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1886.
- Ильминский, 1888 — Н. Ильминский. Материалы для сравнительного изучения церковнославянских форм и оборотов, извлеченные из Евангелия и Псалтири. Казань, 1888.
- Ингам, 1968 — N. W. Ingham. The Litany of Saints in «Molitva sv. Troicè». — Studies Presented to Professor Roman Jakobson by His Students. Ed. by Ch. E. Gribble. Cambridge Mass., 1968.
- Иосиф, 1892 — Иосиф [Левицкий]. Подробное оглавление Великих четних миней всероссийскаго митрополита Макария, хранящихся в Московской патриаршей (ныне синодальной) библиотеке. М., 1892.
- Иосиф Волоцкий, 1855 — Иосиф Волоцкий. Просветитель, или Обличение ереси жидовствующих. Казань, 1855.
- Иосиф Волоцкий, 1959 — Иосиф Волоцкий. Послания. Подг. текста А. А. Зимина и Я. С. Лурье. М.–Л., 1959.
- Исаченко, I–II — A. Issatschenko. Geschichte der russischen Sprache, I–II. Heidelberg, 1980–1983.
- Исаченко, 1957 — A. V. Issatschenko. Herbersteiniana. — ZfS, II (с. 321–346, 493–512).
- Исаченко, 1958 — А. В. Исаченко. Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов? — ВЯ, 1958, № 3.
- Исаченко, 1963 — А. В. Исаченко. К вопросу о периодизации истории русского языка. — Вопросы теории и истории языка: Сб. в честь проф. Б. А. Ларина. Л., 1963.
- Исаченко, 1970 — A. V. Isačenko. Die Gräzismen des Großfürsten. — ZslPh, XXXV, 1970, 1.
- Исаченко, 1974 — A. Issatschenko. Vorgeschichte und Entstehung der modernen russischen Literatursprache. — ZslPh, XXXVII, 1973–1974, 2.
- Исаченко, 1975 — А. В. Исаченко. Рец. на кн.: [Котков, 1974]. — RL, II, 1975, 1–2.
- Исаченко, 1979 — A. V. Issatschenko. Secondary «Vocalisation of the Jers». — RL, IV, 1979, 2.
- Истомин, см.: Карлон Истомин.
- Истрин, I–III — В. М. Истрин. Книги въременныя и образныя Георгия мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе, I–III. Пг./Л., 1920–1930.

- Истрин, 1922 — В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы. Пг., 1922.
- Йордал, 1973 — К. Йордал. Греко-русские синтаксические связи. — Sc.-Sl., XIX, 1973.
- Казакова, 1960 — Н. А. Казакова. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.—Л., 1960.
- Кайперт, 1970 — H. Keipert. Zur Geschichte des kirchenslavischen Wortguts im Russischen. — ZslPh, XXXV, 1970, 1.
- Кайперт, 1977 — H. Keipert. Die Adjektive auf *-telbъnъ*: Studien zu einem kirchenslavischen Wortbildungstyp. Wiesbaden, 1977 (Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin, 45).
- Кайперт, 2001 — H. Keipert. «Rozmova/Besëda»: Das Gesspächsbuch Slav № 7 der Bibliothèque nationale de France. — ZslPh, LX, 2001, 1.
- Кандаурова, 1968 — Т. Н. Кандаурова. Случаи орфографической обусловленности слов с полногласием в памятниках XI—XIV вв. — Памятники древней письменности: Язык и текстология. М., 1968.
- Кантемир, I—II — А. Д. Кантемир. Соч., письма и избранные переводы. Под ред. П. А. Ефремова, I—II. СПб., 1867—1868.
- Каптерев, I—II — Н. Ф. Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, I—II. Сергиев Посад, 1909—1912. Оттиск из журнала: Богословский вестник, 1908—1911. Репринт: М., 1996.
- Каптерев, 1889 — Н. Каптерев. О греко-латинских школах в Москве в XVII веке до открытия славяно-греко-латинской Академии. — Годичный акт в Московской Духовной Академии 1-го октября 1889 г. М., 1889.
- Каптерев, 1891 — Н. Каптерев. Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством (1669—1707 г.). М., 1891. Оттиск из «Чтений в Об-ве любителей духовного просвещения».
- Каптерев, 1913 — Н. Ф. Каптерев. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов: Время патриаршества Иосифа. Изд. 2-е. Сергиев Посад, 1913.
- Каптерев, 1914 — Н. Каптерев. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. Изд. 2-е. Сергиев Посад, 1914.
- Карась и Карасева, 1969 — M. Karas, A. Karasiowa. Mariana z Jaslick dykcjonarz słowiańsko-polski z roku 1641 (Dictionarium sclauo-polonicum...). Wrocław et al., 1969 (Polska Akademia Nauk, oddział w Krakowie. Prace Komisji językoznawstwa, 21).
- Каратаев, 1883 — И. Каратаев. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами, I. СПб., 1883. То же: Сб. ОРЯС, XXXIV, 2.
- Каржавин, 1791 — Ph. Karjavine. Remarques sur la langue russe et sur son alphabet, avec des pièces relatives à la connoissance de cette langue. СПб., 1791.
- Каринский, 1909 — Н. Каринский. Язык Пскова и его области в XV в. СПб., 1909 (Зап. ист.-филол. ф-та С.-Петербургского ун-та, XCIII).
- Каринский, 1911 — Н. Каринский. Хрестоматия по древнецерковнославянскому и русскому языкам, I. СПб., 1911.
- Каринский, 1928 — Н. Каринский. Паремейник 1271 г. как источник для истории псковского письма и языка. — Сб. ОРЯС, т. CI, 3. Л., 1928.
- Карион Истомино, 1694 — Карион Истомино. Букварь. М., 1694. Репринт: Букварь составлен Карионом Истоминым... Л., 1981. См. также изд.: Тарабрин, 1916.
- Карпов, 1878 — А. Карпов. Азбуковники или алфавиты иностранных речей по спискам Соловецкой библиотеки. Казань, 1878.
- Карский, 1896 — Е. Ф. Карский. Западнорусские переводы Псалтири в XV—XVII веках. Варшава, 1896.
- Карский, 1921 — Е. Ф. Карский. Белорусы, т. III, ч. 2. Старая западно-русская письменность. Пг., 1921.

- Карский, 1928 — *Е. Ф. Карский*. Славянская кирилловская палеография. Л., 1928. Репринт: М., 1979.
- Карский, 1930 — *Е. Ф. Карский*. «Русская Правда» по древнейшему списку. Л., 1930.
- Касаткин, 1984 — *Л. Л. Касаткин*. Русский диалектный консонантизм как источник истории русского языка. М., 1984.
- Каченовский, 1812 — *М. Каченовский*. Взгляд на успехи Российского витийства в первой половине истекшего столетия. — Труды Об-ва российской словесности, I, 1812.
- Кедайтене, 1968 — *Е. И. Кедайтене*. Дательный самостоятельный. — Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков: Члены предложения. М., 1968.
- Керженские ответы, 1906 — Ответы Александра Диакона (на Керженце), поданные Нижегородскому епископу Питириму... [Нижний Новгород, 1906].
- Керсновский, 1958 — *R. Kiersnowski*. O tzw. «ruskich» monetach Bolesława Chrobrego. — *Studia historica: W 35-lecie pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego*. Warszawa, 1958.
- Киев. листки — Киевские листки (X–XI вв., ст.-сл.). См. изд.: *В. В. Німчук*. Київські глаголичні листки: Найдавніша пам'ятка слов'янської писемності. Київ, 1983.
- Кипарский, 1959 — *V. Kiparsky*. Foreign *h* in Russian. — *The Slavonic and East European Review*, XXXVIII, 1959, № 90.
- Кирилл Транквилион, 1618 — *Кирил Транквіліон [Ставроецкий]*. Зерцало богословіи... Почаев, 1618.
- Кирилл Транквилион, 1619 — *Кирил Транквіліон [Ставроецкий]*. Евангеліе учительное... Рохманов, 1619.
- Киселев и Немировский, 1964 — [*Н. П. Киселев, Е. Л. Немировский*]. Книгопечатание в Москве XVII в. — 400 лет русского книгопечатания (1564–1964): Русское книгопечатание до 1917 г. М., 1964.
- Клеменсевич, I–III — *Z. Klemensiewicz*. Historia języka polskiego, I–III. Warszawa, 1961–1972.
- Клеминсон, 1988 — *R. Cleminson*. East Slavonic Primers to 1700. — *Australian Slavonic and East European Studies*, II, 1988, 1.
- Клосс, 1980 — *Б. М. Клосс*. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII вв. М., 1980.
- Книежа, 1942 — *I. Kniezsa*. Die Slavenapostel und die Slowaken. Budapest–Leipzig, 1942 (Ostmitteleuropäische Bibliothek, 39).
- Книежа, 1964 — *I. Kniezsa*. Zur Frage der auf Cyrillus und Methodius bezüglichen Traditionen auf dem Gebiete des alten Ungarn. — *Cyrrillo-Methodiana: Zur Frühgeschichte des Christentums bei den Slaven (863–1963)*. Hrsg. von M. Hellmann et al. Köln–Graz, 1964 (Slavistische Forschungen, 6).
- Князевская, 1973 — *О. А. Князевская*. Рукопись евангелия XIII в. из собрания Московского университета. — Рукописная и печатная книга в фондах Научной библиотеки Московского ун-та, I. М., 1973.
- Князевская, 1996 — *О. А. Князевская*. Буква *ш* в рукописи Быбельского Апостола. — Русистика, славистика, индоевропеистика: Сб. к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1996.
- Князевская и Чешко, 1980 — *О. А. Князевская, Е. В. Чешко*. Рукописи митрополита Киприана и отражение в них орфографической реформы Евфимия Тырнового. — Тырновска книжовна школа, II. София, 1980.
- Ковтун, 1963 — *Л. С. Ковтун*. Русская лексикография эпохи Средневековья. М.–Л., 1963.
- Ковтун, 1975 — *Л. С. Ковтун*. Лексикография в Московской Руси XVI – начала XVII вв. Л., 1975.

- Ковтун, 1977 — Л. С. Ковтун. Древние словари как источник русской исторической лексикологии. Л., 1977.
- Ковтун и др., 1973 — Л. С. Ковтун, Н. В. Синицына, Б. Л. Фонкич. Максим Грек и славянская Псалтырь (сложение норм литературного языка в переводческой практике XVI в.). — Восточнославянские языки: Источники для их изучения. М., 1973.
- Козловский, 1895 — М. Козловский. Исследование о языке Остромирова евангелия. — Иссл. по рус. яз., I. СПб., 1885—1895.
- Кондакарь ОИДР — Кондакарь (кон. XII в.). ГБЛ, ф. 205 (ОИДР), № 107; отрывок в ГПБ, Погод. 43 (Св. кат. XI—XIII вв., № 124, 125).
- Константин Багрянородный, I—II — Constantini Porphyrogeniti imperatoris de ceremoniis aulae Byzantini libri duo Graece et Latine e recensione Io. Iac. Reiskii cum eiusdem commentariis integris, I—II. Bonn, 1829—1830 (Corpus scriptorum historiae Byzantinae).
- Константин Багрянородный, 1989 — Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, перевод, комментарий. Под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева. М., 1989.
- Копержинский, 1928 — К. Копержинский. «Лекції словенскіе Златоустого отъ бесѣдъ евангельскихъ отъ иерея Наливайка выбраніе». — Сб. ОРЯС, т. CI, № 3. Л., 1928.
- Копыленко, 1973 — М. М. Копыленко. Кальки греческого происхождения в языке древнерусской письменности. — ВВ, XXXIV, 1973.
- Корецкий, 1965 — В. И. Корецкий. Вновь найденное противоеретическое произведение Зиновия Отенского. — ТОДРЛ, XXI, 1965.
- Корнеева-Петрулан, 1917 — М. Корнеева-Петрулан. Язык Служебной Минеи 1095 г. Редакция Н. Н. Дурново [1917 г.]. Оттиск из РФВ, LXXV, 1—2, LXXVI, 1, LXXVIII, 3—4.
- Корнеева-Петрулан, 1938 — М. Корнеева-Петрулан. К истории русского языка: Особенности письма и языка писцов московских владык XIV в. — Slavica, XV, 1937—1938, 1.
- Костюхина, 1974 — Л. М. Костюхина. Книжное письмо в России XVII в. [М., 1974].
- Котков, 1974 — С. И. Котков. Московская речь в начальный период становления русского национального языка. М., 1974.
- Котошихин — Григорий Котошихин. [О России в царствование Алексея Михайловича, около 1666 г.]. Библ. Упсальского ун-та, Slav. 29. Цит. по изд.: Grigorij Kotošixin. O Rossii v carstvovanie Alekseja Michajloviča. Text and commentary. Ed. and with commentary by A. E. Pennington. Oxford, 1980.
- Кошутич, 1919 — Рад. Кошутић. Граматика руског језика, I. Гласови. 2-е изд. Пг., 1919.
- Кравец, 1991 — Е. В. Кравец. Книжная справа и переводы Максима Грека как опыт нормализации церковнославянского языка XVI в. — RL, XV, 1991, 3.
- Кралик, 1963 — О. Кралик. Повесть временных лет и легенда Кристиана о святых Вячеславе и Людмиле. — ТОДРЛ, XIX, 1963.
- Крижанич, 1859 — Граматично исказанје об руском језику попа Јурка Крижаниша... [1666 г.]. М., 1859. Оттиск из ЧОИДР, 1848, кн. I; 1859, кн. 4. См. также: J. Križanić. Sabrana djela, II. Zagreb, 1984.
- Крижанич, 1891 — Ю. Крижанич. Объяснение виводно о писмѣ словѣнском (1661 г.). — В кн.: Юрий Крижанич. Собр. соч., I. М., 1891 (оттиск из ЧОИДР, 1891, кн. 1). См. также: J. Križanić. Sabrana djela, I. Zagreb, 1983.
- Кудрицкий, 1970 — Е. М. Кудрицкий. Иван Ужевич — украинский грамматист XVII ст. і його праця. — Мовознавство, 1970, № 1.
- Кудрявцев, 1972 — И. М. Кудрявцев. Сборник XVII в. с подписями протопопа Аввакума и других пустозерских узников. — Зап. Отдела рукописей ГБЛ, XXXIII, 1972.

- Куев, 1967 — К. М. Куев. Черноризец Храбр. София, 1967.
- Кузнецов, 1953 — П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка: Морфология. М., 1953.
- Кузнецов, 1960 — П. С. Кузнецов. О форме слова *библиотека*. — Этимологические исследования по русскому языку, I. М., 1960.
- Куник, I-II — А. Куник. Сборник материалов для истории имп. Академии наук в XVIII в., I-II. СПб., 1865.
- Курганов, 1769 — [Н. Курганов]. Российская универсальная грамматика, или Всеобщее писмословие... СПб., 1769.
- Курдиновский, 1907 — В. Курдиновский. Рукописная церковнославянская грамматика Гербовецкого монастыря Бессарабской губ. — РФВ, LVII, 1907, № 2 (с. 389-397), 4 (с. 307-330).
- Кутина, 1978 — Л. Л. Кутина. Последний период славяно-русского двуязычия в России. — Славянское языкознание: VIII Международный съезд славистов... Доклады советской делегации. М., 1978.
- Кушелев-Безбородко, I-IV — Памятники старинной русской литературы, изд. Г. Кушелевым-Безбородко, I-IV. СПб., 1860-1862.
- Лавр. кондакарь — Лаврский кондакарь, кон. XII (?) — нач. XIII в. ГБЛ, ф. 304, № 23 (Св. кат. XI-XIII вв., № 204). См. изд.: The Lavrsky Troitsky Kondakar. Compiled by Gr. Myers. [Sofia, 1994] (Monumenta Slavico-Byzantina et Medievalia Europensia, IV).
- Лаврентий Зизаний, см.: Зизаний.
- Лавров, 1899 — П. А. Лавров. Дамаскин Студит и сборники его имени «дамаскины» в юго-славянской письменности. — Летопись Ист.-Филол. об-ва при Новороссийском ун-те, VII. Одесса, 1899.
- Лавров, 1928 — П. Лавров. Евангелие и псалтирь, «роуьскими» (роушкими) писмены писанные, в Житии Константина Философа. — Изв. РЯС, I, 1928, кн. 1.
- Лавров, 1930 — П. А. Лавров. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930 (Труды Славянской комиссии, I).
- Лавровский, 1853 — Н. Лавровский. О византийском элементе в языке договоров русских с греками. СПб., 1853.
- Лант, 1949 — H. G. Lunt. The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts. Doctoral diss. Columbia University, 1949.
- Лант, 1968 — H. G. Lunt. On the *Izbornik* of 1076. — Studies in Slavic Linguistics and Poetics in Honor of Boris O. Unbegaun. Ed. by R. Magidoff et al. New York—London, 1968.
- Лант, 1974 — H. G. Lunt. Old Church Slavonic Grammar. 6th ed., revised. The Hague—Paris, 1974 (Sl. Pr. and Repr., 3).
- Лант, 1975 — H. G. Lunt. On the language of Old Rus: Some Questions and Suggestions. — RL, III, 1975, 3-4.
- Лант, 1988 — H. Lunt. On Interpreting the Russian Primary Chronicle; the Year 1037. — Slavic and East European Journal, XXXII, 1988, 2.
- Лант и Тайбе, 1988 — H. G. Lunt, M. Taube. Early East Slavic Translations from Hebrew. — RL, XII, 1988.
- Лант и Тайбе, 1998 — H. G. Lunt, M. Taube. The Slavonic Book of Esther: Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problems of Translation. Cambridge Mass., 1998.
- Ларин, 1975 — Б. А. Ларин. Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII в.). М., 1975.
- Лахман, 1980 — Die Makarij-Rhetorik («Knigi sut' ritoriki dvoi po tonku v voprosesh spisany...»). Hrsg. von R. Lachmann. Köln—Wien, 1980 (Slavistische Forschungen, 27/1).
- Левин, 1964 — В. Д. Левин. Краткий очерк истории русского литературного языка. М., 1964.

- Левин, 1984 — В. Д. Левин. К характеристике русского извода старославянского языка. — Wiener slawistischer Almanach, XIII, 1984.
- Лекомцева, 1978 — М. I. Lekomceva. Zum Problem des baltischen Substrats des Akanje. — ZfS, XXIII, 1978, 5.
- Лекомцева, 1980 — М. И. Лекомцева. Проблема балтийского субстрата аканья. — Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980.
- Лексикон 1722 г. — Лексиконъ Сирѣчь словесникъ Славенскій Имѣющъ в' себѣ Слова первѣе Славенскія, Азбучныя, Посем же Полскія. Супрасль, 1722.
- Леман, 1963 — P. Lehmann. Die Parodie im Mittelalter. 2. neu bearbeitete und ergänzte Aufl. Stuttgart, 1963.
- Лемерль, 1971 — P. Lemerle. Le premier humanisme byzantin: Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au X^e siècle. Paris, 1971 (Bibliothèque byzantine: Études, 6).
- Леонид, I–IV — Леонид [Кавелин]. Систематическое описание славяно-русских рукописей собрания графа А. С. Уварова, I–IV. М., 1893–1894.
- Леонид, 1872 — Надгробное слово Григория Цамблака российскому архиепископу Киприану. Сообщил архим. Леонид. — ЧОИДР, 1872, кн. 1.
- Лесков, I–XI — Н. С. Лесков. Собр. соч., I–XI. М., 1956–1958.
- Лесн. пролог — Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 година. Изд.: Р. Павлова, В. Желязкова. Велико Търново, 1999.
- Леств. XII в. — Лествица Иоанна Лествичника (XII в.). ГБЛ, ф. 256, № 198 (Св. кат. XI–XIII вв., № 62).
- Линд, 1990 — J. H. Lind. The Martyria of Odense and Twelfth-Century Russian Prayer: The Question of Bohemian Influence on Russian Religious Literature. — The Slavonic and East-European Review, LXVIII, 1990, 1.
- Литовский статут 1588 г. — Статут Великого княжества Литовского. Вильна, 1588.
- Лихачев, 1958 — Д. С. Лихачев. Некоторые задачи изучения второго южно-славянского влияния в России. М., 1958.
- Лобк. прол. — Лобковский пролог (1262 г.). ГИМ, Хлуд. 187 (Св. кат. XI–XIII вв., № 177).
- Ломоносов, I–XI — М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., I–XI. М.–Л., 1950–1983.
- Лопарев, 1892 — Послание митрополита Климента к смоленскому пресвитеру Фоме: Неизданный памятник литературы XII в. Сообщение Х. Лопарева. [СПб.], 1892 (ПДП, XC).
- Лопушанская, 1975 — С. П. Лопушанская. Основные тенденции эволюции простых претеритов в древнерусском книжном языке. Казань, 1975.
- Лотман и Успенский, 1975/1996 — Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина Российского языка» — неизвестное сочинение Семёна Боброва). — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 358. Тарту, 1975. Цит. по изд.: Успенский, II (1996), с. 411–683.
- Лотман и Успенский, 1977/1996 — Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII в.). — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 414. Тарту, 1977. Цит. по изд.: Успенский, I (1996), с. 338–380.
- Лудольф, 1696 — H.-W. Ludolf. Grammatica Russica... Oxford, 1696. Пепринт: Henrici Wilhelmi Ludolfi Grammatica Russica (Oxonii A.D. MDCXCVI). Ed. by B. O. Upbegaun. Oxford, 1959. См. также изд.: Генрих Вильгельм Лудольф. Русская грамматика (Оксфорд, 1696). Переизд., перевод, вступ. статья и примеч. Б. А. Ларина. Л., 1937 (Материалы и исследования по истории русского языка, I).
- Лукияненко, 1960 — В. И. Лукияненко. Азбука Ивана Федорова, ее источники и видовые особенности. — ТОДРЛ, XVI, 1960.

- Луцк. ев. — Луцкое ев. (XIV в.). ГБЛ, ф. 256, № 112.
- Лызлов, 1990 — *Андрей Лызлов*. Скифская история. Подгот. текста, ком. А. П. Богданова. М., 1990.
- Майенова, 1955 — *M. R. Mayenowa*. Wałka o język w życiu i literaturze staropolskiej. 2 wyd. Warszawa, 1955.
- Макарий, I—VII — *Макарий (Булгаков)*. История русской церкви, кн. I—VII. М., 1994—1997.
- Макарова, 1954 — *С. Я. Макарова*. Родительный падеж принадлежности в русском языке XI—XVII вв. — Труды Ин-та языкознания АН СССР, III. М., 1954.
- Максим Грек, I—III — *Максим Грек*. Соч., I—III. Казань, 1859—1862.
- Максимов, 1723 — [*Федор Максимов*]. Грамматика славенская... СПб., 1723.
- Малаховский, 1937 — *В. А. Малаховский*. Произношение и орфография А. С. Пушкина. — Русский язык в школе, 1937, № 2.
- Малинин, 1878 — *В. Малинин*. Исследование Златоуструя по рукописи XII в. Публичной библиотеки. Киев, 1878.
- Малинин, 1901 — *В. Малинин*. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901.
- Мансветов, 1883 — *И. Мансветов*. Как у нас правилась церковные книги. М., 1883.
- Мар. ев. — Маринское ев. (XI в., ст.-сл.). См. изд.: Памятник глаголической письменности: Маринское четвероевангелие... Труд И. В. Ягича. СПб., 1883.
- Мареш, 1963 — *В. Ф. Мареш*. Сказание о славянской письменности (по списку Пушкинского дома АН СССР). — ТОДРЛ, XIX, 1963.
- Марков, 1958 — *В. М. Марков*. Замечания о втором полногласии в русском языке. — Уч. зап. Казанского Гос. пед. ин-та, XV. Казань, 1958.
- Марков, 1964 — *В. М. Марков*. К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964.
- Мароевич, 1983 — *Р. Маројевић*. Посесивне категорије у руском језику. Београд, 1983.
- Мартель, 1938 — *A. Martel*. La langue polonaise dans les pays ruthènes (Ukraine et Russie Blanche). 1596—1667. Lille, 1938.
- Маслов, 1984 — *С. И. Маслов*. Кирилл Транквилион Ставровецкий и его литературная деятельность. Киев, 1984.
- Матвей Меховский, 1936 — *Матвей Меховский*. Трактат о двух Сарматиях. М.—Л., 1936.
- Матьесен, 1972 — *R. C. Mathiesen*. The Inflectional Morphology of the Synodal Church Slavonic Verb. Doctoral diss. Columbia University, 1972.
- Медведев, 1976 — *И. П. Медведев*. Византийский гуманизм XIV—XV вв. Л., 1976.
- Медынцева, 1985 — *А. А. Медынцова*. Грамотность женщин на Руси XI—XIII вв. по данным эпиграфики. — Слово о полку Игореве и его время. М., 1985.
- Мейендорф, 1967 — *J. Meyendorff*. Alexis and Roman: A Study in Byzantino-Russian Relations (1352—1354). — Byz.-sl., XXVIII, 1967, 2.
- Мейендорф, 1974 — *J. Meyendorff*. Byzantine Hesychasm: Historical, Theological and Social Problems. London, 1974.
- Мейендорф, 1974а — *И. Ф. Мейендорф*. О византийском исихазме и его роли в культурном и политическом развитии Восточной Европы в XIV в. — ТОДРЛ, XXIV, 1974.
- Мейендорф, 1991 — *J. Meyendorff*. Was there ever a «Third Rome»? Remarks on the Byzantine Legacy in Russia. — The Byzantine Tradition after the Fall of Constantinople. Ed. by J. J. Yiannias. Charlottesville — London, [1991].
- Мелетий Смотрицкий, см.: Смотрицкий.
- Мер. Праведное — Мерило праведное (сер. XIV в.). ГБЛ, ф. 304, № 15. См. изд.: Мерило праведное по рукописи XIV века. Под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1961.

- Металлов, 1912 — В. М. Металлов. Богослужбное пение русской церкви в период домонгольский, по историческим, археологическим и палеографическим данным. М., 1912 (Зап. Московского Археологического ин-та, XXVI).
- Металлов, 1914 — В. М. Металлов. Очерк истории православного церковного пения в России. М., 1914 (Зап. Московского Археологического ин-та, XXXVI).
- Мещерский, 1955 — Н. А. Мещерский. К вопросу об изучении переводной письменности киевского периода. — Уч. зап. Карело-финского пед. ин-та, II, 1. Петрозаводск, 1955.
- Мещерский, 1956 — Н. А. Мещерский. Отрывок из книги «Иосиппон» в «Повести временных лет». — Пал. сб., II. М.—Л., 1956.
- Мещерский, 1958 — Н. А. Мещерский. Новгородские грамоты на бересте как памятники древнерусского литературного языка. — Вестник ЛГУ, 1958, № 2. Сер. истории, языка и лит-ры, вып. 1.
- Мещерский, 1958а — Н. А. Мещерский. К вопросу о заимствованиях из греческого в словарном составе древнерусского литературного языка (по материалам переводных произведений Киевского периода). — ВВ, XIII, 1958.
- Мещерский, 1962 — Н. А. Мещерский. О синтаксисе древних славяно-русских переводных произведений. — Теория и критика перевода. Л., 1962.
- Мещерский, 1963 — Н. А. Мещерский. Существовал ли «эпистолярный стиль» в древней Руси? — Вопросы теории и истории языка: Сб. в честь проф. Б. А. Ларина. Л., 1963.
- Мещерский, 1963а — Н. А. Мещерский. Следы памятников Кумрана в старославянской и древнерусской литературе. — ТОДРЛ, XIX, 1963.
- Мещерский, 1964 — Н. А. Мещерский. Проблемы изучения славяно-русской переводной литературы XI—XV вв. — ТОДРЛ, XX, 1964.
- Мещерский, 1964а — Н. А. Мещерский. К истории текста славянской книги Еноха. — ВВ, XXIV, 1964.
- Мещерский, 1978 — Н. А. Мещерский. Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности IX—XV вв. Л., 1978.
- Миллер, I—II — Г. Ф. Миллер. История Сибири, I—II. М.—Л., 1937—1941.
- Мин. 1095—1097 — Миней 1095—1097 гг. РГАДА, ф. 381, № 84, 89, 91 (Св. кат. XI—XIII вв., № 7—9). См. изд.: Служебные миней за сентябрь, октябрь, ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 г. Труд И. В. Ягича. СПб., 1886 (Памятники древнерус. языка, I).
- Миней декабрьская, XII в., ГИМ, Син. 162 (Св. кат. XI—XIII вв., № 83). Ср. изд.: Мин. на декабрь XII—XIII вв., I—III — Gottesdienstensmenäum für den Monat Dezember., Teil I—III. Hrsg. von H. Rothe (T. I—III) und E. M. Vereščagin (T. 1—II). S. 1, 1996—1999 (Biblia Slavica, Bd. 2, 3, 6).
- Минь, I—CLXI — Patrologiae cursus completus, series graeca. Accurante J. P. Migne, I—CLXI. Paris, 1857—1866.
- Михальчи, 1969 — Д. Е. Михальчи. Славяно-русская грамматика Иоганна Вернера Паузе. Докт. диссертация. Л., 1969 (машинопись).
- Младенович, 1982 — А. Младенович. О неким питањима примања и измене руско-словенског језика код Срба. — Зборник за филологију и лингвистику, XXV/2 (1982).
- Молдован, 1984 — А. М. Молдован. «Слово о законе и благодати» Илариона. Киев, 1984.
- Моравчик, 1930 — J. Moravcsik. Barbarische Sprachreste in der Theogonie des Johannes Tzetzes. — Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, VII. Athen, 1930, 3—4.
- Мошин, 1938 — В. А. Мошин. Христианство в России до св. Владимира. — Владимирский сборник. Белград, [1938].
- Мошин, 1963 — В. Мошин. О периодизации русско-южнославянских литературных связей X—XIV вв. — ТОДРЛ, XIX, 1963.

- Мошин, 1973 — В. А. Мошин. Палеографическо-орфографические нормы южнославянских рукописей. — Методическое пособие по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР, I. М., 1973.
- Мстисл. грамота — Мстиславова грамота (около 1130 г.). См. изд.: Обнорский и Бархударов, I, с. 33–34.
- Мстисл. св. — Мстиславово св. (между 1103 и 1117 г.). ГИМ, Син. 1203 (Св. кат. XI–XIII вв., № 51). См. изд.: Апракос Мстислава Великого. Изд. подг. Л. П. Жуковская и др. М., 1983.
- Мурыльников, 1973 — М. Ф. Мурыльников. Звонят колокола вечные в великом Новгороде. — Славянские страны и русская литература. М., 1973.
- Мюллер, 1971 — Die Werke des Metropolitani Ilarion. Eingel., übers. und erl. von L. Müller. München, 1971 (Forum slavicum, 37).
- Надсон, 1973 — А. Надсон. Еѹеѹскі буквар 1618 г. — Божым шляхам, XXI, 1973, № 1 (135).
- Надсон, 1973а — А. Надсон. Беларускія буквары XVII стагоддзя. — Божым шляхам, XXI, 1973, № 4 (138).
- Назаревский, 1911 — А. А. Назаревский. Язык Евангелия 1581 года в переводе В. Негалева. — УИ, 1911, кн. 8, 11, 12.
- Назаренко, 2001 — А. В. Назаренко. Древняя Русь на международных путях. М., 2001.
- Никольский, I–II — [А. И. Никольский]. Описание рукописей, хранящихся в архиве Св. Синода, I–II. СПб., 1904–1910.
- Никольский, 1892 — Н. Никольский. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII в. СПб., 1892.
- Никольский, 1896 — К. Никольский. Материалы для истории исправления богослужебных книг: Об исправлении Устава церковного в 1682 г. и месячных Миней в 1689–1691 гг. СПб., 1896 (ПДП, СХV).
- Никольский, 1907 — Н. К. Никольский. Материалы для истории древнерусской духовной письменности, №№ I–XXIII. СПб., 1907 (Сб. ОРЯС, LXXXII, 4).
- Никольский, 1917 — Н. К. Никольский. К вопросу о западном влиянии на древнерусское церковное право. — ОЛДП. Библиографическая летопись, III. Пг., 1917.
- Никольский, 1924 — Н. К. Никольский. Послание Агафоника к кир Иакову по грамматическим вопросам (половины XVII в.). — Историко-литературный сборник, посв. В. И. Срезневскому. Л., 1924.
- Никольский, 1978 — А. И. Никольский. История печатного Служебника русской православной церкви. — Журнал Московской патриархии, 1978, № 7 (с. 70–77), 9 (с. 70–79), 11 (с. 68–75).
- Нимчук, 1964 — Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская. Підготовка текстів пам'яток і вступні статті В. В. Німчука. Київ, 1964.
- Нимчук, 1980 — В. В. Нимчук. Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською. Київ, 1980.
- Новг. летописи — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Под ред. А. Н. Насонова. М.–Л., 1950.
- Обнорский, 1912 — С. П. Обнорский. О языке Ефремовской кормчей XII века. СПб., 1912 (Иссл. по рус. яз., III, 2).
- Обнорский, 1924 — С. П. Обнорский. Исследование о языке Миней за ноябрь 1097 г. — ИОРЯС, XXIV, 1924.
- Обнорский, 1934/1960 — С. П. Обнорский. «Русская Правда» как памятник русского литературного языка. — Изв. АН СССР, Отд. обществ. наук, 1934, № 10. Цит. по изд.: Обнорский, 1960, с. 120–144.
- Обнорский, 1936/1960 — С. П. Обнорский. Язык договоров русских с греками. — Язык и мышление, VI–VII. М.–Л., 1936. Цит. по изд.: Обнорский, 1960, с. 99–120.

- Обнорский, 1946 — С. П. *Обнорский*. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.—Л., 1946.
- Обнорский, 1947/1960 — С. П. *Обнорский*. Происхождение русского литературного языка старшей поры. — Юбилейный сб., посвященный тридцатилетию Великой Октябрьской социалистической революции, II. М.—Л., 1947. Цит. по изд.: Обнорский, 1960, с. 29—33.
- Обнорский, 1948 — С. П. *Обнорский*. Культура русского языка. М.—Л., 1948. Цит. по изд.: Обнорский, 1960, с. 272—293.
- Обнорский, 1953 — С. П. *Обнорский*. Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953.
- Обнорский, 1960 — С. П. *Обнорский*. Избр. работы по русскому языку. М., 1960.
- Обнорский и Бархударов, I—II — С. П. *Обнорский*, С. Г. *Бархударов*. Хрестоматия по истории русского языка, ч. I (изд. 2-е). М., 1952; ч. II, вып. I—2. М., 1948—1949.
- Оболенский, 1858 — М. А. *Оболенский*. Предисловие Андрея грехми исполненаго. — Библиографические записки, 1858, № 12.
- Оболенский, 1974 — D. *Obolensky*. The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500—1453. London, 1974.
- Огиенко, 1923 — I. *Ogienko*. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. Катеринослав—Ляйпциг, 1923.
- Огиенко, 1927 — I. *Ogienko*. Історія церковнослов'янської мови, III. Фонетика церковнослов'янської мови. Варшава, 1927.
- Огиенко, 1929 — I. *Ogienko*. Język cerkiewno-słowiański na Litwie i w Polsce w w. XV—XVIII. — Prace Filologiczne, XIV, 1929.
- Огиенко, 1930 — I. *Ogienko*. Українська літературна мова XVI ст. і український Крехівський Апостол, I—II. Варшава, 1930 (Студії до української граматики, VII).
- Огиенко, 1931 — I. *Ogienko*. Історія церковнослов'янської мови: Короткий науково-популярний нарис. Варшава, 1931.
- Огиенко, 1931a — I. *Ogienko*. Богослужбова мова в слов'янських Церквах: Збірка рецензій на нові видання. — 'Eclis', V. Варшава, 1931.
- Огиенко, 1942 — *Іларіон [Огиенко]*. Українська церковна вимова: Практичні вказівки. Холм, 1942.
- Огилевич, 1671 — *Pachomius Ohilewicz*. Ecphonemata Liturgiey Greckiey... Wilna, 1671.
- Оглоблин, 1892 — Н. Н. *Оглоблин*. Бытовые черты XVII века (Вольный справщик церковных книг, 1649). — Русская старина, год 23-й, 1892, март.
- Огнев, 1880 — В. *Огнев*. Страницы из истории книги на Руси: Церковно-исторические опыты. Вятка, 1880.
- ОДДС, I—L — Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего Синода, I—L. СПб., 1868—1916.
- Ожегов, 1955 — С. И. *Ожегов*. Очередные вопросы культуры речи. — Вопросы культуры речи, I. М., 1955.
- Орлов, I—II — А. *Орлов*. Домострой по коншинскому списку и подобным, I—II. М., 1908—1910. Оттиски из ЧОИДР, 1908, кн. 2; 1911, кн. 1.
- Осмнад. век, I—IV — Осмнадцатый век: Исторический сб., изд. П. Бартевым, I—IV. М., 1868—1869.
- Остр. ев. — Остромирово ев. (1056—1057 гг.). ГПБ, Ф.п.1.5 (Св. кат. XI—XIII вв., № 3). См. факсимильное воспроизведение: Остромирово евангелие (1056—1057). [Л., 1988]. См. также изд.: Остромирово евангелие 1056—57 года., изд. А. Востоковым. СПб., 1843.
- Острогорский, 1967 — Г. *Острогорский*. Византия и киевская княгиня Ольга. To Honor Roman Jakobson: Essays on the occasion of his seventieth birthday, II. The Hague—Paris, 1967 (Jan. ling., XXXII).
- Отроковский, 1921 — В. М. *Отроковский*. Тарасий Земка, южнорусский литературный деятель XVII в. Пг., 1921 (Сб. ОРЯС, XCVI, 2).

- Паарт, 1959 — *A. H. R. E. Paap. Nomina Sacra in the Greek Papyri of the First Five Centuries, A. D.: The Sources and Some Deductions.* Leiden, 1959 (Papyrologia Lugduno-Batava, VIII).
- Павел Алеппский, I–V — Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. Пер. с араб. Г. Муркоса, вып. I–V. М., 1896–1900. Оттиски из ЧОИДР, 1896, кн. 4; 1897, кн. 4; 1898, кн. 3, 4; 1900, кн. 2.
- Павлов, 1887 — *А. Павлов.* 50-я глава Кормчей книги как исторический и практический источник русского брачного права. М., 1887.
- Павлова, 1988 — *Р. Павлова.* Сведения о Борисе и Глебе в южнославянской письменности XIII–XIV вв. — *Palaeobulgarica*, XII, 1988, 4.
- Павлова, 1993 — *Р. Павлова.* Жития русских святых в южнославянских рукописях XIII–XIV вв. — *Славянска филология*, XXI. София, 1993.
- Памва Берында, см.: Берында.
- Панд. Антиоха — Пандекты Антиоха Черноризца (XI в.). ГИМ, Воскр. 30 перг. (Св. кат. XI–XIII вв., № 24). См. изд.: *J. Popovski. The Pandects of Antiochus: Slavic text in transcription.* — *Полата књигописана*, 23–24. Amsterdam, 1989.
- Панченко, 1973 — *А. М. Панченко.* Русская стихотворная культура XVII в. Л., 1973.
- ПВЛ, I–II — Повесть временных лет, I–II. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.–Л., 1950.
- Пекарский, I–II — *П. Пекарский.* Наука и литература в России при Петре Великом, I–II. СПб., 1862.
- Переписка Грозного с Курбским — Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Изд. подг. Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. М., 1981.
- Перетц, 1926 — *В. Н. Перетц.* Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII вв., I. Л., 1926 (Сб. ОРЯС, CI, 2).
- Перетц, 1929 — *В. Н. Перетц.* Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII вв., III. Л., 1929 (Сб. РЯС, I, 3).
- Перетц, 1958 — *В. Н. Перетц.* Киево-Печерский Патерик в польском и украинском переводе. — *Славянская филология*, III. М., 1958.
- Петканова-Тотева, 1965 — *Д. Петканова-Тотева.* Дамаскинито в българската литература. София, 1965.
- Петров, 1866–1868 — *Н. И. Петров.* О словесных науках и литературных занятиях в Киевской академии... — Труды Киевской духовной академии, 1866, № 7 (с. 305–330), 11 (с. 343–388), 12 (с. 552–569); 1867, № 1 (с. 82–118); 1868, № 3 (с. 465–525).
- Петровский, 1888 — Старинное рассуждение «О буквяхъ сирѣчь ѿ словехъ» по рукописи библиотеки Казанского университета. Сообщил М. Петровский. СПб., [1888] (ПДП, LXXIII).
- Петрушевский. I–III — *А. Петрушевский.* Генералиссимус князь Суворов, I–III. СПб., 1884.
- Петухов, 1888 — *Е. Петухов.* Серапион Владимирский, русский проповедник XIII в. СПб., 1888 (Зап. ист.-филол. ф-та С.-Петербургского ун-та, XVII).
- Пиккио, 1973 — *R. Picchio. Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Orthodox Slavdom.* — *American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists*, II. The Hague, 1973 (Sl. Pr. and Repr., 296).
- Пиккио, 1975 — *R. Picchio. On Russian Humanism: The Philological Revival.* — *Slavia*, XLIV, 1975, 2.
- Письма и бумаги Петра, I–XII — Письма и бумаги императора Петра Великого, I–XII. СПб.–М., 1887–1977.
- Письма рус. государей, I–V — Письма русских государей и других особ царского семейства, I–V. М., 1861–1896.
- Погодин, 1938 — *А. Л. Погодин.* Варяжский период жизни князя Владимира. — *Владимирский сборник.* Белград, [1938].

- Подскальский, 1996 — Г. Подскальски. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.). Изд. 2-е, испр. и доп. для русского перевода. Пер. с нем. А. В. Назаренко. СПб., 1996 (Studia Byzantinogossica, 1).
- Подшивалов, 1796 — [В. С. Подшивалов]. Сокращенный курс российского слога. М., 1796.
- Позднеев, 1971 — А. В. Позднеев. Неизвестная поэма петровского времени. — Русская литература на рубеже двух эпох (XVII — начало XVIII в.). М., 1971.
- Покровский, 1911 — А. Покровский. Календари и святцы [Библиотеки Московской Синодальной типографии]. М., 1911 (Библиотека Московской Синодальной типографии, 1, 5).
- Покровский, 1971 — Судные списки Максима Грека и Исаа Собаки. Изд. подг. Н. Н. Покровский. М., 1971.
- Поликарпов, 1701 — [Федор Поликарпов]. Алфавитарь, рекше букврь славенскими, греческими, римскими писмены... М., 1701.
- Поликарпов, 1704 — [Федор Поликарпов]. Лексиконъ трязычный... М., 1704.
- Поликарпов, 2000 — Федор Поликарпов. Технологія: Искусство грамматики. Изд. и иссл. Е. Бабаевой. М., 2000.
- Поляков, 1990 — Ф. Б. Поляков. Некоторые аспекты изучения Чудовского Нового Завета. — RL, XIV, 1990, 3.
- Попов, 1872 — А. Попов. Описание рукописей библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872.
- Попов, 1875 — А. Попов. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI–XV в.). М., 1875.
- Попов, 1911 — А. П. Попов. Младший Григорович: Новооткрытый памятник по святым местам XVIII в. Кронштадт, 1911.
- Порохова, 1971 — О. Г. Порохова. О лексике с неполногласием и полногласием в русских народных говорах, I. Варьирование. — Дialeктная лексика (1969). Л., 1971.
- Порохова, 1972 — О. Г. Порохова. О лексике с неполногласием и полногласием в русских народных говорах, II. Слова с корнями *град-* и *город-*. — Дialeктная лексика (1971). М.—Л., 1972.
- Порохова, 1976 — О. Г. Порохова. О лексике с неполногласием и полногласием в русских народных говорах, III. Лексико-семантические и морфонологические особенности слов с корнями *брем-/берем-*, *бреж-/береж-*, *празд-/порож-*, *прах-/порох-*, *слад-/солод-*, *смад-/смород-*. — Дialeктная лексика (1974). Л., 1976.
- Порохова, 1978 — О. Г. Порохова. О лексике с неполногласием и полногласием в русских народных говорах, IV. К вопросу о генезисе лексики с неполногласием, известной в народных говорах. — Дialeктная лексика (1975). Л., 1978.
- Порохова, 1988 — О. Г. Порохова. Полногласие и неполногласие в русском литературном языке и народных говорах. Л., 1988.
- Порфирьев и др., I–III — [И. Я. Порфирьев, А. В. Вадковский, Н. Ф. Красносельцев]. Описание рукописей Соловецкого монастыря... I–III. Казань, 1881–1896.
- Посошков, I–II — И. Т. Посошков. Зерцало очевидное, I–II. По списку... Казанской Духовной Академии издал А. Царевский. Казань, 1895–1905.
- Посошков, 1951 — И. Т. Посошков. Книга о скудости и богатстве и другие соч. М., 1951.
- Потебня, 1888 — А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. Изд. 2-е. Харьков, 1888.
- Поуп, 1975 — R. W. F. Pope. A Possible South Slavic Source for the Doctrine: Moscow The Third Rome. — Slavica, XLIV, 1975, 3.
- Праз. листки — Пражские листки (XI в., зап.-сл.). См. изд.: Н. К. Грунский. Пражские глаголические отрывки. СПб., 1905 (Пам. ст.-сл. яз., I, 4).
- Прения Лаврентия Зизания... — Прения литовского протопопа Лаврентия Зизания

- с игуменом Ильею и справщиком Григорием по вопросу исправления составленного Лаврентием катехизиса. — *Летописи русской литературы и древности*, изд. Н. Тихонравовым, II. М., 1859.
- Пресняков, 1938 — А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории, I. Киевская Русь. М., 1938.
- Приселков, 1913 — М. Д. Приселков. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв. СПб., 1913 (Зап. ист.-филол. ф-та С.-Петербургского ун-та, CXVI).
- Прод. Феофана — *Продолжатель Феофана*. Жизнеописания византийских царей. Изд. подг. Я. Н. Любарский. СПб., 1992.
- Прозоровский, 1896 — А. Прозоровский. Сильвестр Медведев, его жизнь и деятельность. М., 1896. Отгиск из ЧОИДР, 1896, кн. 2—4.
- Протасьева, 1980 — Т. Н. Протасьева. Описание рукописей Чудовского собрания [ГИМ]. Новосибирск, 1980.
- Прохоров, 1978 — Г. М. Прохоров. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Л., 1978.
- Пруссак, 1915 — А. В. Пруссак. Описание азбучников, хранящихся в рукописном отделении имп. Публичной библиотеки. Пг., 1915 (ПДП, CLXXXVI).
- ПСЗ, I—XLV — Полное собрание законов Российской империи [Собрание I—е], I—XLV. СПб., 1830.
- Пск. летописи, I—II — Псковские летописи, I—II. Под ред. А. Н. Насонова. М.—Л., 1941—1955.
- ПСРЛ, I—XLI — Полное собрание русских летописей, т. I—XLI. СПб. (Пг., Л.) — М., 1841—2001. В случае переиздания летописи мы всегда ссылаемся на последнее издание.
- Пустозерский сб. — Пустозерский сборник: Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Л., 1975.
- Пуцко, 1979 — В. Пуцко. Художественный декор Юрьевского евангелия. — *Acta Hungarica*, 1979, № 1.
- Пуцко, 1982 — В. Г. Пуцко. Киевская скульптура XI века. — *Byz.-sl.*, XLIII, 1982, I.
- Радойичич, 1966 — Г. С. Радойичич. Отражение реформ Петра I в сербской письменности XVIII в. — XVIII век, сб. 7. М.—Л., 1966.
- Райл, 1910 — M. Reil. Zur Akzentuation griechischer Handschriften. — *BZ*, XIX, 1910.
- Раппопорт, 1974 — П. А. Раппопорт. Ориентация древнерусских церквей. — Краткие сообщения Ин-та археологии [АН СССР], 1974, № 139.
- Раппопорт, 1982 — П. А. Раппопорт. Русская архитектура X—XIII вв. Л., 1982 (Археология СССР: Свод археологических источников, Е 1—47).
- Реймс. ев. — Реймское евангелие (XI—XII вв.). Реймская гор. библ., MS 91. См. изд.: *L'Évangélaire slalon de Reims, dit: Texte du Sacre. Édition fac-simile en héliogravure publiée sous les auspices de l'Académie Nationale de Reims précédée d'une Introduction historique par L. Leger*. Paris—Prague, 1899.
- Реформатский, 1967 — А. А. Реформатский. <Ж>. — To Honor Roman Jakobson: Essays on the occasion of his seventieth birthday, II. The Hague—Paris, 1967 (Jan. ling., XXXII).
- РИБ, I—XXXIX — Русская историческая библиотека, изд. Археографического комиссиєю, I—XXXIX. СПб. (Пг., Л.), 1872—1927.
- Римские деяния, вып. I—II. СПб., 1877—1878 (Изд. ОЛДП, V, XXXIII).
- Рогов, 1978 — А. И. Рогов. Супрасль как один из центров культурных связей Белоруссии с другими славянскими странами. — Славяне в эпоху феодализма. М., 1978.
- Розов, 1968 — Н. Н. Розов. Из истории русско-чешских литературных связей древнейшего периода. — *ТОДРЛ*, XXIII, 1968.
- Розов, 1971 — Н. Н. Розов. Об общности орнаментальных деталей чешских и русских кодексов. — *Studia paleoslovenica*. Praha, 1971.

- Романев, 1965 — Ю. А. Романев. Структура слов греческого происхождения в русском языке. АКД. М., 1965.
- Pote, 1983 — H. Roihe. Zur Kiever Literatur in Moskau, II. — Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongress in Kiev 1983. Köln-Wien, 1983 (Slavistische Forschungen, 40).
- Румянцев, 1916 — И. Румянцев. Никита Константинов Добрынин («Пустосвят»): Историко-критический очерк. Сергиев Посад, 1916.
- Рус. Правда, I—III — Правда Русская. Под ред. Б. Д. Грекова, I—III. М.—Л., 1940—1963.
- Русев и др., 1971 — П. Русев, И. Гълбов, А. Давидов, Г. Данчев. Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак. София, 1971.
- РФА, I—V — Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI в., I—V. М., 1986—1992.
- Рыбаков, 1964 — Б. А. Рыбаков. Русские датированные надписи XI—XIV веков. М., 1964 (Археология СССР: Свод археологических источников, Е 1—44).
- Сав. книга — Саввина книга (XI в., ст.-сл.; с рус. добавлениями XI—XIII вв.). См. изд.: Саввина книга. Труд В. Щепкина. СПб., 1903 (Пам. ст.-сл. яз., I, 2); Саввина книга: Древнеславянская рукопись XI, XI—XII и конца XIII века, ч. I. Изд. подг. О. А. Князевская и др. М., 1999.
- Савва, 1901 — В. Савва. Московские цари и византийские василевсы: К вопросу о влиянии Византии на образование идеи царской власти московских государей. Харьков, 1901.
- Св. кат. XI—XIII вв. — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР: XI—XIII вв. М., 1984.
- Св. кат. XVIII в. — Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века (1725—1800), I—V. М., 1962—1967.
- Седельников, 1927 — А. Седельников. Литературно-фольклорные этюды. — Slavia, VI, 1927, 1.
- Седельников, 1929 — А. Д. Седельников. Досифей Топорков и Хронограф. — Изв. АН СССР, 1929, сер. VII (отд. гуманитар. наук), № 9.
- Селищев, I—II — А. М. Селищев. Старославянский язык, I—II. М., 1951—1952.
- Селищев, 1929 — А. М. Селищев. Полог и его болгарское население: Исторические, этнографические и диалектологические очерки северозападной Македонии. София, 1929. Репринт: А. М. Селищев. Полог и неговото българско население. София, 1981.
- Селищев, 1957/1968 — А. М. Селищев. О языке «Русской Правды» в связи с вопросом о древнейшем типе русского литературного языка. ВЯ, 1957, № 4. Цит. по изд.: А. М. Селищев. Избр. труды. М., 1968, с. 129—140.
- Серебрянский, 1915 — Н. Серебрянский. Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций и тексты). М., 1915. Оттиск из ЧОИДР, 1915, кн. 3.
- Сидоров, 1966 — В. Н. Сидоров. Из истории звуков русского языка. М., 1966.
- Симеон Полоцкий, 1667 — Симеон Полоцкий. Жезл правления... М., 1667.
- Симеон Полоцкий, 1680 — Симеон Полоцкий. Псалтирь рифмотворная. М., 1680.
- Симеон Полоцкий, 1953 — Симеон Полоцкий. Избр. соч. Подг. текста, статья и ком. И. П. Еремина. М.—Л., 1953.
- Симон. пс. — Симоновская псалтирь (между 1270 и 1296 г.). ГИМ, Хлуд. 3 (Св. кат. XI—XIII вв., № 384). См. изд.: Древле-славянская Псалтирь Симоновская до 1280 г., сличенная по церковнославянским и русским переводам... Труд архим. Амфилохия, I—II. М., 1880—1881.
- Симони, 1899 — П. Симони. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX ст., I. СПб., 1899 (Сб. ОРЯС, LXVI).
- Симони, 1899а — П. К. Симони. Русский язык в его наречиях и говорах: Опыт библиографического указания трудов..., вып. I, ч. I. СПб., 1899.

- Симони, 1908 — *П. Симони*. Памятники старинной русской лексикографии по русским рукописям XIII—XVIII ст., III. Половецкий и татарский словарики. Речь тонкословия греческого. СПб., 1908. Оттиск из ИОРЯС, XIII, 1908, кн. I.
- Син. кондакаръ — Синодальный кондакаръ (нач. XIII в.). ГИМ, Син. 777 (Св. кат. XI—XIII вв., № 205).
- Синай. патерик — Синайский патерик (кон. XI в.). ГИМ, Син. 551 (Св. кат. XI—XIII вв., № 26). См. изд.: Синайский патерик. Изд. подг. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967.
- Синай. пс. — Синайская пс. (XI в., ст.-сл.). См. изд.: Синайская псалтырь: глаголический памятник XI в. Пригот. к печати С. Северьянов. Пг., 1922 (Пам. ст.-сл. яз., IV).
- Синай. требник — Синайский требник (XI в., ст.-сл.). См. изд.: *Euchologium Sinaiticum...* Izdao priredil R. Nahtigal, I—II. Ljubljana, 1941—1942.
- Синицына, 1965 — *Н. В. Синицына*. Послание константинопольского патриарха Фотия князю Михаилу Болгарскому в списках XVI в. — ТОДРЛ, XXI, 1965.
- Синицына, 1977 — *Н. В. Синицына*. Максим Грек в России. М., 1977.
- Синтио, 1968 — *E. Cinthio*. The Churches of St. Clemens in Scandinavia. — *Archaeologica Lundensia*, III. Lund, 1968.
- Сиромаха, 1979 — *В. Г. Сиромаха*. Языковые представления книжников Московской Руси второй половины XVII в. и «Грамматика» М. Смотрицкого. — Вестник МГУ, серия 9. Филология, 1979, № 1.
- Сиромаха, 1980 — *В. Г. Сиромаха*. «Книжная справа» и вопросы нормализации книжно-литературного языка Московской Руси во 2-й половине XVII в. (на материале склонения существительных). АКД. М., 1980.
- Сиромаха, 1999 — *В. Г. Сиромаха*. Книжные справочки Печатного двора 2-й половины XVII в. — Старообрядчество в России (XVII—XX вв.). М., 1999.
- Сиромаха и Успенский, 1986 — *В. Г. Сиромаха, Б. А. Успенский*. Кавычные книги 50-х годов XVII в. — Археографический ежегодник за 1986 год. М., 1987.
- Скворцов, 1890 — *Д. Скворцов*. Дионисий Зобнинский, архимандрит Троицкого-Сергиева монастыря (ныне Лавры): Историческое исследование. Тверь, 1890.
- Скилица-Кедрин, I—II — *Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope ab Immanuele Bekkero suppletus et emendatus*, I—II. Bonn, 1838—1839.
- Сковорода, I—II — *Григорій Сковорода*. Повне зібрання творів, I—II. [Київ, 1972—1973].
- Скорина, 1969 — *Францыск Скарына*. Прадмовы і пасляслоўі. Мінск, 1969.
- Сл. Гр. Бог. — Слова Григория Богослова (XI в.). ГПБ, Q.п. I. 16 (Св. кат. XI—XIII вв., № 33). См. изд.: XIII слов Григория Богослова в древнеславянском переводе по рукописи имп. Публичной библиотеки, XI в. Критико-палеографический труд А. Будиловича. СПб., 1875.
- Сл. Ипполита — Слова Ипполита Римского (XII в.). ГИМ, Чуд. 12 (Св. кат. XI—XIII вв., № 129).
- Сл. Кир. Иерус. — Поучения огласительные Кирилла Иерусалимского (XI—XII в.). ГИМ, Син. 478 (Св. кат. XI—XIII вв., № 45).
- Сл. ст.-сл. яз., I—IV — *Slovník jazyka staroslověnského / Lexicon linguae paleoslovenicae*, t. I—IV. Praha, 1958—1995.
- Славский, 1966 — *F. Slawski*. Ślady prastowiańskiego prefiksu vy- w języku bułgarskim. — *Studia linguistica slavica baltica*. Lund, 1966.
- Сменцовский, 1899 — *М. Сменцовский*. Братья Лихуды: Опыт исследования из истории церковного просвещения и церковной жизни конца XVII и начала XVIII вв. СПб., 1899.
- Смирнов, 1855 — *С. [К.] Смирнов*. История Московской славяно-греко-латинской академии. М., 1855.

- Смирнов, 1895 — П. С. Смирнов. История русского раскола старообрядства. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1895.
- Смирнов, 1909 — П. С. Смирнов. Переписка раскольниковых деятелей начала XVIII в. — Христианское чтение, 1909, № 1, 2, 3.
- Смирнов, 1913 — С. [И.] Смирнов. Древнерусский духовник: Исследование по истории церковного быта. М., [1913]. Оттиск из ЧОИДР, 1912, кн. 3; 1914, кн. 2. Репринт: М., 1995.
- Смирнов, 1917 — И. М. Смирнов. Синайский патерик в древнеславянском переводе. Сергиев Посад, 1917.
- Смирнов, 1929 — Д. Смирнов. Рассказы о Грибоедове. — А. С. Грибоедов, его жизнь и гибель в мемуарах современников. Под ред. З. Давыдова. Л., 1929.
- Смоленские грамоты — Т. А. Сумникова, В. В. Лопатин. Смоленские грамоты XIII–XIV вв. М., 1963.
- Смоленский, 1910 — Мусикийская грамматика Николая Дилецкого. Труд С. В. Смоленского. СПб., 1910 (Изд. ОЛДП, СХХVIII).
- Смотрицкий, 1619 — Мелетий Смотрицкий. Грамматика Славенския правильное свнтагма. Евье, 1619. Репринт: Мелетій Смотрицький. Грамматика. Підготовка факсимільного видання та дослідження пам'ятки В. В. Німчука. Київ, 1979. См. также изд.: *Meletij Smotryckij. Grammatiki slavenskija pravilnoe syntagma* (Jevje 1619). Hrsq. und eingel. von O. Horbatsch. Frankfurt am Main, 1974 (Specimina philologiae slavicae, 4); Грамматика Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. Сост. Е. А. Кузмина. М., 2000, с. 129–527.
- Смотрицкий, 1648 — [Мелетий Смотрицкий]. Грамматика. М., 1648.
- Смотрицкий, 1721 — [Мелетий Смотрицкий]. Грамматика. М., 1721. Изд. Федора Поликарпова.
- Снегирев, I–II — И. М. Снегирев. Дневник, I–II. М., 1904–1905.
- Собинникова, 1954 — В. И. Собинникова. Повторение предлога в говорах Гремяченского р-на Воронежской обл. — Труды Воронежского ун-та, XXIX, 1954.
- Соболевский, 1884 — А. Соболевский. Очерки из истории русского языка, I. Киев, 1884. Оттиск из УИ, 1883–1885.
- Соболевский, 1894 — А. И. Соболевский. Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV–XV вв. Речь, читанная на годовичном акте Археол. ин-та. СПб., 1894. Переиздано: Соболевский, 1980, с. 147–158.
- Соболевский, 1894а — А. И. Соболевский. Рец. на кн.: [Булич, 1893]. — ЖМНП, 1894, № 5.
- Соболевский, 1900 — А. И. Соболевский. Церковнославянские тексты моравского происхождения. Варшава, 1900. Оттиск из РФВ, XLIII, 1900, 1–2.
- Соболевский, 1903 — А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV–XVII вв.: Библиографические материалы. СПб., 1903 (Сб. ОРЯС, LXXIV, 1). Репринт: Leipzig, 1989.
- Соболевский, 1904 — А. И. Соболевский. Жития святых в древнем переводе на церковнославянский с латинского языка. СПб., 1904. Оттиск из ИОРЯС, 1903, кн. 1, 2, 4.
- Соболевский, 1905 — А. И. Соболевский. Несколько редких молитв из русского сборника XIII в. — ИОРЯС, X, 1905, кн. 4.
- Соболевский, 1907 — А. И. Соболевский. Лекции по истории русского языка. Изд. 4-е. М., 1907.
- Соболевский, 1908 — А. И. Соболевский. Славяно-русская палеография. Изд. 2-е. СПб., 1908.
- Соболевский, 1908а — А. И. Соболевский. Из переводной литературы Петровской эпохи: Библиографические материалы. СПб., 1908 (Сб. ОРЯС, LXXXIV, 3). Репринт: Leipzig, 1989 (прилож. к репринтному переизд. работы: Соболевский, 1903).

- Соболевский, 1910 — *А. И. Соболевский*. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910 (Сб. ОРЯС, LXXXVIII).
- Соболевский, 1912 — *А. И. Соболевский*. Глаголическое житие папы Климента. — ИОРЯС, XVII, 1912, кн. 3.
- Соболевский, 1980 — *А. И. Соболевский*. История русского литературного языка. Л., 1980.
- Соколов, 1907 — *Д. Д. Соколов*. Справочная книжка по церковнославянскому правописанию. СПб., 1907.
- Соколова, 1930 — *М. А. Соколова*. К истории русского языка в XI в. — Изв. РЯС, III, 1930, кн. 1.
- Соловьев, I—XV — *С. М. Соловьев*. История России с древнейших времен, кн. I—XV. М., 1960—1966.
- Соловьев, 1961 — *A. V. Soloviev*. APXΩN PΩ ΣΙΑΣ. — Byzantion, XXXI, 1961, 1.
- Соловьев, 1968 — *A. V. Soloviev*. L'organisation de l'état russe au X siècle. — L'Europe au IX—XI siècles: aux origines des états nationaux. Actes du Colloque internationale... publ. sous la direction de T. Manteuffel et A. Gieysztor. Varsovie, 1968.
- Соловьев, 1970 — *A. V. Soloviev*. Un sceau gréco-russe du XI siècle. — Byzantion, XL, 1970, 2.
- Спафарий, 1978 — *Николай Спафарий*. Эстетические трактаты. Подг. текстов и вступ. статья О. А. Белобровой. Л., 1978.
- Сперанский, 1921/1960 — *М. Н. Сперанский*. К истории взаимоотношений русской и югославянских литератур (Русские памятники письменности на юге славянства). — ИОРЯС, XXVI, 1921. Цит. по изд.: Сперанский, 1960, с. 7—54.
- Сперанский, 1929 — *М. Н. Сперанский*. Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках письма. Л., 1929 (Энцикл. слав. фил., IV, 3).
- Сперанский, 1932 — *М. Н. Сперанский*. «Греческое» и латинское письмо в русских рукописях XV—XVI вв. — Byz.-sl., IV, 1932, 1.
- Сперанский, 1960 — *М. Н. Сперанский*. Из истории русско-славянских литературных связей. М., 1960.
- Сперанский, 1960а — *М. Н. Сперанский*. Русские памятники письменности в югославянских литературах XIV—XV вв. — В изд.: Сперанский, 1960, с. 55—103.
- Сперанский, 1960б — *М. Н. Сперанский*. Из наблюдений над сложными словами (composita) в стиле русской литературной школы XV—XVI вв. (Из истории византийско-югославянско-русских литературных связей). — В изд.: Сперанский, 1960, с. 160—197.
- Сперанский, 1981 — *М. Н. Сперанский*. Описание рукописей московского Архангельского собора. — Археографический ежегодник за 1979 год. М., 1981.
- Срезневский, I—III, дополн. том — *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, I—III, дополнит. том. СПб., 1893—1912. Репринт: М., 1958.
- Срезневский, 1882 — *И. И. Срезневский*. Древние памятники русского письма и языка. Изд. 2-е. СПб., 1882.
- Срезневский, 1900 — *В. Срезневский*. Сборники писем И. Т. Посошкова к митрополиту Стефану Яворскому. СПб., 1900. Оттиск из ИОРЯС, IV, 1899, кн. 4.
- Стипчевич, 1964 — *B. Stipčević*. Marčanska varijanta «Skazanja o sloveseh» Črnorisca Hrabra. — Slovo, XIV, 1964.
- Стоянович, I—VI — *Љуб. Стојановић*. Стари српски записи и натписи, I—VI. Београд — Ср. Карловци, 1902—1926.
- Страхов, 1988 — *А. Б. Страхов*. Слова с корнем *благ-/блаж-* с отрицательными значениями в восточнославянских диалектах (К проблеме влияния славяновизантийского миссионерства на язык и культуру Древней Руси). — JSLP, XXXVII, 1988.

- Строев, 1882 — *П. М. Строев*. Библиологический словарь и черновые к нему материалы. Под ред. А. Ф. Бычкова. СПб., 1882 (Сб. ОРЯС, XXIX, 4).
- Стрыйковский, 1582 — *M. Strzykowski*. Kronika polska, litewska, zmożdka, y wszyskieu Rusi... Krolewec, 1582.
- Студ. устав — Студийский устав (XII в.). ГИМ, Син. 330 (Св. кат. XI—XIII вв., № 138).
- Субботин, I—IX — Материалы для истории раскола за первое время его существования, изд. Братством св. Петра митрополита. Под ред. Н. Субботина, I—IX. М., 1875—1890.
- Судник, 1963 — *Т. М. Судник*. Палеографический и фонетический анализ Выго-лексинского сборника XII—XIII вв. — Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР, XXVII. М., 1963.
- Сумароков, I—X — *А. П. Сумароков*. Полн. собр. всех соч. ... Собраны и изданы Н. Новиковым, I—X. Изд. 2-е. М., 1787.
- Супр. рукопись — Супрасльская рукопись (XI в., ст.-сл.). См. изд.: Супрасльская рукопись. Труд С. Северьянова. СПб., 1904 (Пам. ст.-сл. яз., II, 1).
- Сухомилов, 1908 — *М. И. Сухомилов*. Исследования по древней русской литературе. СПб., 1908 (Сб. ОРЯС, LXXXV, 1).
- Талев, 1973 — *I. Talev*. Some Problems of the Second South Slavic Influence in Russia. München, 1973 (Slavische Beiträge, 67).
- Тарабрин, 1916 — *И. М. Тарабрин*. Лицевой букварь Кариона Истомина. М., 1916. Оттиск из изд.: Древности: Труды имп. Моск. Археол. об-ва, XXV.
- Тарковский, 1975 — *Р. Б. Тарковский*. Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста. Л., 1975.
- Татарский, 1886 — *И. Татарский*. Симеон Полоцкий (его жизнь и деятельность). М., 1886.
- Терещенко, I—VII — *А. Терещенко*. Быт русского народа, I—VII. СПб., 1848.
- Терновский, I—II — *Ф. Терновский*. Изучение византийской истории и ее тенден-циозное приложение в Древней Руси, I—II. Киев, 1875—1876.
- Тимковский, 1852 — *И. М. Тимковский*. Мое определение в службу. — Москвитянин, 1852, № 17—18, кн. 1—2; № 20, кн. 2.
- Тимошенко, 1954 — *П. Д. Тимошенко*. Про звук *g* в українській мові і його передачу на письмі. — Українська мова в школі, 1954, № 2.
- Тип. ев. — Типографское ев. (XII—XIII вв.). ГТГ, К-5348 (Св. кат. XI—XIII вв., № 147).
- Тип. устав — Типографский устав (устав с кондакарем, XI—XII в.). ГТГ, К-5349 (Св. кат. XI—XIII вв., № 50).
- Титов, 1918 — *Ф. Титов*. Типография Киево-Печерской лавры: Исторический очерк, т. I. Киев, 1918 (так на обложке; на титульном листе — 1916 г.). Приложения к первому тому. Киев, 1918. «Приложения» переизданы: *Хв. Титов*, Матеріали для історії книжної справи на Україні в XVI—XVIII вв.: Всезбірка передмов до українських стародруків. Київ, 1924 (Українська Академія наук: Збірник Історично-філологічного відділу, 17).
- Титова, 1989 — *Л. В. Титова*. Послание дьякона Федора сыну Максиму. — Христианство и церковь в России феодального периода (Материалы). Новосибирск, 1989.
- Тихомиров, I—IV — *Н. Б. Тихомиров*. Каталог русских и славянских пергаменных рукописей XI—XIII вв., хранящихся в ... [ГБЛ], I—IV. — Зап. Отдела рукописей ГБЛ, XXV (1962), XXVII (1965), XXX (1968), XXXIII (1972).
- Тихомиров, 1947 — *М. Н. Тихомиров*. Исторические связи русского народа с южными славянами с древнейших времен до половины XVII в. — Славянский сборник. М., 1947.
- Тихонравов, I—II — *Н. Тихонравов*. Памятники отреченной русской литературы, I—II. СПб., 1863.
- Толстая, 1985 — *С. М. Толстая*. Союз (частица) *da* в полесских говорах. — Сборник

- Матице српске за филологију и лингвистику, XXVII–XXVIII. Нови Сад, 1984–1985.
- Толстой, 1882 — *И. И. Толстой*. Древнейшие русские монеты Великого княжества Киевского: Нумизматический опыт. СПб., 1882.
- Толстой, 1963 — *Н. И. Толстой*. Взаимоотношение докальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI–XVII в.). — Славянское языкознание: V Международный съезд славистов... Доклады советской делегации. М., 1963.
- Толстой, 1976 — *Н. И. Толстой*. Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка. — Вопросы русского языкознания, I. М., 1976.
- Толстой и Кондаков, I–VI — *И. Толстой, Н. Кондаков*. Русские древности в памятниках искусства, I–VI. Изд. 2-е. СПб., 1889–1899.
- Томашевский, 1959 — *Б. В. Томашевский*. Стих и язык: Филологические очерки. М.–Л., 1959.
- Томпсон, 1966 — *E. M. Thompson*. A Handbook of Greek and Latin Palaeography. Chicago, 1966.
- Томсен, 1891 — *В. Томсен*. Начало русского государства. М., 1891.
- Тот, 1978 — *И. Х. Тот*. К изучению одноеровых памятников XI в. — *Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae*, XXIV, 1978.
- Траубе, 1907 — *L. Traube*. Nomina sacra: Versuch einer Geschichte der christlichen Kürzung. München, 1907.
- Тредиакowski, I–III — [*В. К.*] *Тредиакowski*. Соч., I–III. СПб., 1849.
- Тредиакowski, 1735 — *В. К. Тредиакowski*. Новый и краткий способ к сложению российских стихов... СПб., 1735. Переиздано в кн.: Куник, I, с. 17–74.
- Три челобитные, 1862 — Три челобитные: справщика Савватия, Саввы Романова и монахов Соловецкого монастыря (три памятника из первоначальной истории старообрядчества). Изд. А. Е. Кожанчикова. СПб., 1862.
- Троицкий, 1982 — *А. Н. Троицкий*. Контаминация перфектной и аористной парадигмы в памятниках древнеславянской письменности. Дипломная работа (МГУ, филол. ф-т, каф. русского языка), 1982 (машинопись).
- Трубецкой, 1927/1995 — *Н. С. Трубецкой*. Общеславянский элемент в русской культуре. — *Н. С. Трубецкой*. К проблеме русского самопознания. [Paris], 1927. Цит. по изд.: *Н. С. Трубецкой*. История, культура, язык. М., 1995, с. 162–210.
- Трубецкой, 1968 — *N. S. Trubetzkoy*. Altkirchenslavische Grammatik: Schrift-, Laut- und Formensystem. 2te Aufl. Wien, 1968.
- Трубецкой, 1960 — *Н. С. Трубецкой*. Основы фонологии. Пер. с нем. А. А. Холодовича. М., 1960.
- Трубецкой, 1975 — *N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes*. Prepared for publication by R. Jakobson... The Hague–Paris, 1975 (Jan. ling., XLVII).
- Тур. св. — Туровское св. (XI в.). Библиотека АН Литовской республики. F 19–I (Св. кат. XI–XIII вв., № 10). См. изд.: Туровское евангелие одиннадцатого века. СПб., 1868.
- Турилов, 1977 — *А. А. Турилов*. Памятники южнославянской книжности в составе русских библиотек конца XV–XVII вв. — Сов. сл., 1977, № 1.
- Турилов, 1986 — [*А. А. Турилов*]. Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР (Для Сводного каталога рукописных книг, хранящихся в СССР). М., 1986. См. также: [*Н. А. Охотина, А. А. Турилов*]. Дополнения к «Предварительному списку славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР (М., 1986)». М., 1993.
- Ужевич, 1970 — *І. Ужевич*. Граматика слов'янська. Підг. до друку І. К. Білодід, Є. М. Кудрицький. Київ, 1970.
- Улуханов, 1972 — *Н. С. Улуханов*. О языке древней Руси. М., 1972.

- Унбегаун, 1942 — *B. O. Unbegaun. Les noms de famille du clergé russe.* — RES, XX, 1942.
- Унбегаун, 1957/1969 — *B. O. Unbegaun. Russe et slavon dans la terminologie juridique.* — RES, XXXIV, 1957. Цит. по изд.: Унбегаун, 1969, с. 176–184.
- Унбегаун, 1958 — *B. O. Unbegaun. Russian Grammars before Lomonosov.* — Oxford Slavonic Papers, VIII, 1958.
- Унбегаун, 1959/1969 — *B. O. Unbegaun. Le «crime» et le «criminel» dans la terminologie juridique russe.* — RES, XXXVI, 1959. Цит. по изд.: Унбегаун, 1969, с. 203–217.
- Унбегаун, 1965/1969 — *Б. Унбегаун. Язык русского права.* — На темы русские и общие: Сб. статей и материалов в честь проф. Н. С. Тимашева. Цит. по изд.: Унбегаун, 1969, с. 312–318.
- Унбегаун, 1969 — *B. O. Unbegaun. Selected Papers on Russian and Slavonic Philology.* Oxford, 1969.
- Унбегаун, 1973 — *B. O. Unbegaun. The Russian Literary Language: A Comparative View.* — The Modern Language Review, LXVIII, 1973, 4.
- Усп. кондакаръ — Успенский кондакаръ (1207 г.). ГИМ, Усп. 9 (Св. кат. XI–XIII вв., № 173). См. изд.: *Contacarium palaeoslavicum Mosquense. Edendum curavit A. Bugge.* Copenhagen, 1960 (*Monumenta Musicae Byzantinae*, VI).
- Усп. сб. — Успенский сборник (кон. XII – нач. XIII в.). ГИМ, Усп. 4 перг. (Св. кат. XI–XIII вв., № 165). См. изд.: Успенский сборник XII–XIII вв. Изд. подг. О. А. Князевская и др. М., 1971.
- Успенский, I–III — *Б. А. Успенский. Избр. труды.* Изд. 2-е, испр. и доп., I–III. М., 1996–1997.
- Успенский, 1967/1997 — *Б. А. Успенский. Проблемы лингвистической типологии в аспекте различения «говорящего» (адресанта) и «слушающего» (адресата).* — To Honor Roman Jakobson: Essays on the Occasion of his Seventieth Birthday, III. The Hague—Paris, 1967 (*Jan. ling.*, XXXII). Цит. по изд.: Успенский, III (1997), с. 5–33.
- Успенский, 1967a/1997 — *Б. А. Успенский. Одна архаическая система церковнославянского произношения (Литургическое произношение старообрядцев-беспоповцев).* — ВЯ, 1967, № 6. Цит. по изд.: Успенский, III (1997), с. 289–319.
- Успенский, 1968 — *Б. А. Успенский. Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории литургического произношения в России).* М., 1968.
- Успенский, 1969 — *Б. А. Успенский. Из истории русских канонических имен (История ударения в канонических именах собственных в их отношении к русским литературным и разговорным формам).* М., 1969.
- Успенский, 1969a/1997 — *Б. А. Успенский. Никоновская справа и русский литературный язык (Из истории ударения русских собственных имен).* — ВЯ, 1969, № 5. Цит. по изд.: Успенский, III (1997), с. 320–362.
- Успенский, 1970/1997 — *Б. А. Успенский. Старинная система чтения по складам (Глава из истории русской грамоты).* — ВЯ, 1970, № 5. Цит. по изд.: Успенский, III (1997), с. 246–288.
- Успенский, 1971 — *Б. А. Успенский. Книжное произношение в России (Опыт исторического исследования).* АДД. М., 1971.
- Успенский, 1973/1997 — *Б. А. Успенский. Древнерусские кондакари как фонетический источник.* — Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов... Доклады советской делегации. М., 1973. Цит. по изд.: Успенский, III (1997), с. 209–245.
- Успенский, 1973a/1996 — *Б. А. Успенский. Фонетическая структура одного стихотворения Ломоносова (Историко-филологический этюд).* — *Semiotyka i struktura tekstu.* Wrocław et al., 1973. Цит. по изд.: Успенский, II (1996), с. 255–298.

- Успенский, 1975 — Б. А. Успенский. Первая русская грамматика на родном языке (Доломоновский период отечественной русистики). М., 1975.
- Успенский, 1979/1996 — Б. А. Успенский. Вопрос о сирийском языке в славянской письменности: Почему дьявол может говорить по-сирийски? — Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. Цит. по изд.: Успенский, II (1996), с. 59–64.
- Успенский, 1982 — Б. А. Успенский. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 1982.
- Успенский, 1984/1996 — Б. А. Успенский. К истории одной эпиграммы Тредиаковского (эпизод языковой полемики середины XVIII в.). — RL, VIII, 1984, 2. Цит. по изд.: Успенский, II (1996), с. 343–410.
- Успенский, 1985 — Б. А. Успенский. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX в.: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.
- Успенский, 1988/1997 — Б. А. Успенский. Русское книжное произношение и его связь с южнославянской традицией (Чтение еров). — Актуальные проблемы славянского языкознания. М., 1988. Цит. по изд.: Успенский, III (1997), с. 143–208.
- Успенский, 1988a/1996 — Б. А. Успенский. Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI–XVII вв.). — Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. Цит. по изд.: Успенский, II (1996), с. 5–28.
- Успенский, 1989/1996 — Б. А. Успенский. Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка. — Византия и Русь: Памяти В. Д. Лихачевой. М., 1989. Цит. по изд.: Успенский, II (1996), с. 29–58.
- Успенский, 1989a/1996 — Б. А. Успенский. Социальная жизнь русских фамилий. — В кн.: Б. О. Унбеаун. Русские фамилии. М., 1989. Цит. по изд.: Успенский, II (1996), с. 203–251.
- Успенский, 1992/1996 — Б. А. Успенский. Раскол и культурный конфликт XVII в. — Сб. статей к 70-летию Ю. М. Лотмана. М., 1992. Цит. по изд.: Успенский, I (1996), с. 477–519.
- Успенский, 1992a/1997 — Б. А. Успенский. Доломоновские грамматики русского языка. — The Pre-Lomonosov Period of the Russian Literary Language. Ed. by A. Sjöberg, L'. Đurović, U. Birgegård. Stockholm, 1992. Цит. по изд.: Успенский, III (1997), с. 437–572.
- Успенский, 1994 — Б. А. Успенский. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.
- Успенский, 1995 — Б. А. Успенский. Семиотика иконы. — В кн.: Б. А. Успенский. Семиотика искусства. М., 1995.
- Успенский, 1995a/1997 — Б. А. Успенский. История русского литературного языка как межславянская дисциплина. — ВЯ, 1995, № 1. Цит. по изд.: Успенский, III (1997), с. 121–142.
- Успенский, 1996 — Б. А. Успенский. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва — третий Рим». — Русское подвижничество: Сб. к 90-летию Д. С. Лихачева. М., 1996.
- Успенский, 1998 — Б. А. Успенский. Царь и патриарх: Харизма власти в России. М., 1998.
- Успенский, 1998a — Б. А. Успенский. К истории троеперстия на Руси. — *Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli: Slavistica*, V (1997–1998). Napoli, 2000.
- Успенский, 1999 — Б. А. Успенский. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры. — Россия/Russia, нов. сер., 2 [10]. Москва–Венеция, 1999.

- Успенский, 2000 — Б. А. Успенский. Царь и император: помазание на царство и семантика монарших титулов. М., 2000.
- Успенский, 2000a — Б. А. Успенский. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси. М., 2000.
- Успенский, 2001 — Б. А. Успенский. Первое произведение Тредиаковского. — *Translating Culture: Essays in Honour of E. Egeberg*. Ed. by G. Kjetsaa, L. Lönngren, G. Opeide. Oslo, 2001.
- Успенский, 2001a — Б. А. Успенский. Россия и Запад в XVIII в. — История продолжается. Под ред. С. Я. Карпа. М., 2001.
- Устрялов, I–VI — Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, I–IV, VI. СПб., 1858–1864.
- Ушаков, 1928 — Д. Н. Ушаков. Звук *г* фрикативный в русском литературном языке. — Сб. ОРЯС, CI, 1928, 3.
- Ушаков, 1971 — В. Е. Ушаков. Древнерусские акцентуированные памятники середины XIV в. — ВЯ, 1971, № 5.
- Ушаков, 1971a — В. Е. Ушаков. Древнерусский перевод греческого словаря (рукопись Венской национальной библиотеки). — Русский язык: источники для его изучения. М., 1971.
- Ушаков, 1975 — В. Е. Ушаков. Акцентологический словарь древнерусского языка середины XIV века. — Славянское и балканское языкознание: Проблемы интерференции и языковых контактов. М., 1975.
- Фасмер, I–IV — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Пер. с нем. и дополн. О. Н. Трубачева, I–IV. М., 1964–1973.
- Фасмер, 1909 — М. Р. Фасмер. Греко-славянские этюды, III: Греческие заимствования в русском языке. СПб., 1909 (Сб. ОРЯС, LXXXVI).
- Фасмер, 1944 — M. Vasmer. Die griechischen Lehnwörter im Serbo-Kroatischen. Berlin, 1944 (Einzelausgabe aus den Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1944. Phil.-hist. Klasse, Nr. 3).
- Федор Максимов, см.: Максимов.
- Федор Поликарпов, см.: Поликарпов.
- Федотов, 1938 — Г. П. Федотов. Канонизация св. Владимира. — Владимирский сборник. Белград, [1938].
- Фенне, I–II — Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian (Pskov, 1607). Ed. by L. L. Hammerich and R. Jakobson et al., I–II. Copenhagen, 1961–1970.
- Феофан Прокопович, 1721 — [Феофан Прокопович]. Первое учение отроком, в немже буквы и слоги... СПб., 1721.
- Фerguson, 1959/1964 — Ch. A. Ferguson. Diglossia. — Word, XV, 1959, 2. Цит. по изд.: Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology. Ed. by D. Hymes. New York–Evanston–London, 1964.
- Филарет Гумилевский, 1859 — Филарет [Гумилевский]. Обзор русской духовной литературы. Харьков, 1859.
- Фирсов, 1989 — Псалтырь 1683 года в переводе Авраамия Фирсова. Подг. текста, сост. словоуказателя и предисл. Е. А. Целуновой. München, 1989 (Slavistische Beiträge, 243).
- Флаер, 1984 — M. S. Flier. Sunday in Medieval Russian Culture: *nedelja* versus *voskresenie*. — Medieval Russian Culture. Ed. by H. Birnbaum and M. S. Flier. Berkeley–Los Angeles–London, [1984].
- Флоровский, 1950 — А. В. Флоровский. Чудовский инок Евфимий: Один из последних поборников «греческого учения» в Москве в конце XVII в. — Slavia, XIX, 1949–1950, 1–2.
- Флоровский, 1958 — А. В. Флоровский. Чешские струи в истории русского литературного развития. — Славянская филология, III. М., 1958.

- Флоровский, 1961 — А. В. Флоровский. Первый русский печатный букварь для иностранцев 1690 г. — ТОДРЛ, XVII, 1961.
- Флоря, 1985 — Б. Н. Флоря. Сказание о преложении книг на славянский язык: источники, время и место написания. — *Byz.-sl.*, XLVI, 1985, 1.
- Франчук, 1965 — В. Ю. Франчук. До історії імені *Володимир*. — Територіальні діалекти і власні назви. Київ, 1965.
- Фридрих, I—II — *Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae*, ed. G. Friedrich, I—II. Praha, 1904—1912.
- Хабургаев, 1980 — Г. А. Хабургаев. Становление русского языка. М., 1980.
- Харлампович, 1898 — К. Харлампович. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII в., отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви. Казань, 1898.
- Харлампович, 1902 — К. Харлампович. Борьба школьных влияний в допетровской Руси. — Киевская старина, LXXVIII, 1902, № 7, 8 (с. 1—76), 9 (с. 358—394), 10 (с. 34—61).
- Харлампович, 1914 — К. В. Харлампович. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь, I. Казань, 1914.
- Харлампович, 1924 — К. W. Charlampowicz. Polski wpływ na szkolnictwo ruskie w XVI i XVII st. Lwów, 1924.
- Хегедюш, 2000 — I. Hegedüs. Московский кавычный Апостол 1653 г.: Из истории исправления богослужебных книг в Московской Руси XVII в. — *Studia Russica*, XVIII. Budapest, 2000.
- Хелимский, 1986 — Е. А. Хелимский. О прибалтийско-финском языковом материале в новгородских берестяных грамотах. — В изд.: Янин и Зализняк, 1986, с. 252—259.
- Хиланд. листки — Хиландарские листки (XI в., ст.-сл.). См. изд.: С. М. Кульбакин. Хиландарские листки, отрывок кирилловской письменности XI в. СПб., 1900 (Пам. ст.-сл. яз., I, I).
- Христиноп. ап. — Христинопольский апостол (сер. XII в.). Львов. ист. муз. Рук. 39; отрывок в Центр. науч. б-ке АН Украины, VIII. 3 (Св. кат. XI—XIII вв., № 59, 60). См. изд.: *Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice. Ad fidem codicis Christinopolitani saeculo XII-o scripti*. Ed. Aem. Kalužniacki. Vindobona, 1896; С. И. Маслов. Отрывок Христинопольского апостола, принадлежащий библиотеке университета св. Владимира. — ИОРЯС, XV, 1910, кн. 4.
- Хюбнер, 1966 — P. Hübner. Zur Lautgestalt griechischer Heiligennamen im Russischen seit dem 11. Jahrhundert. Bonn, 1966.
- Хютль-Ворт, 1978 — G. Hüttl-Worth. Zum Primat der Syntax bei historischen Untersuchungen des Russischen. — *Studia linguistica Alexandro Vasilii filio Issatschenko a collegis amicisque oblata*. Lisse, 1978.
- Цакалиди, 1982 — Т. Г. Цакалиди. Из наблюдений над негативными конструкциями в древнейшем славянском памятнике традиционного содержания. — ВЯ, 1982, № 1.
- Цейтлин, 1974 — Р. М. Цейтлин. К истории слова *драгоценный* в русском литературном языке. — Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974.
- Цейтлин, 1977 — Р. М. Цейтлин. Лексика старославянского языка: Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X—XI вв. М., 1977.
- Целунова, 1985 — Е. А. Целунова. Псалтырь 1683 г. в переводе Авраамия Фирсова (филологическое исследование памятника). АКД. М., 1985.
- Целунова, 1998 — Е. А. Целунова. Культурная и языковая ситуация Великого княжества Литовского. — *Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli: Slavistica*, V (1997—1998). Napoli, 2000.

- Чекман, 1975 — *W. Czekman. Akanie: Istota zjawiska i jego pochodzenie.* — *Slavia Orientalis*, XXIV, 1975, 3.
- Чельберг, 1959 — *L. Kjellberg. L'interjection o + génitif, un calque du grec dans la langue russe.* — *Sc.-Sl.*, V, 1959.
- Червяков, 1971 — *А. Ф. Червяков. Ставротека XII в. из Архангельского краеведческого музея.* — ВВ, XXXI, 1971.
- Черных, 1953 — *П. Я. Черных. Язык Уложения 1649 года: Вопросы орфографии, фонетики и морфологии в связи с историей Уложенной книги.* М., 1953.
- Чернышев, I-II — *В. Н. Чернышев. Избр. труды, I-II.* М., 1970.
- Чернышев, 1898 — *В. Н. Чернышев. Сведения о Мещовском говоре.* — *Материалы для изучения великорусских говоров*, V. СПб., 1898. Оттиск из ИОРЯС, III, 1898, кн. 1 (прилож.).
- Черты книжного просвещения... — Черты из истории книжного просвещения при Петре Великом: Переписка директора Московской Синодальной типографии Федора Поликарпова с графом Мусиным-Пушкиным, начальником Монастырского приказа. — *Русский архив*, 1868, № 7-9.
- Чижевский, 1970 — *D. Tschizewski. Акrostихи Германа и старорусские акrostихи.* — *Československá rusistika*, XV, 1970, 3.
- Чистович, 1858 — *И. А. Чистович. Труды Иакова Блоннишского.* — *Изв. АН*, VII, 1858, 1.
- Чистович, 1868 — *И. Чистович. Феофан Прокопович и его время.* СПб., 1868 (Сб. ОРЯС, IV).
- Чremoшник, 1925 — *C. Čremošnik. Kratice «Nomina sacra» u ksl. spomenicima.* — *Slavia*, IV, 1925-1926, 2, 3.
- Чуд. Нов. Завет — Чудовский Новый Завет (сер. XIV в.). Рукопись бывшего московского Чудова монастыря, считается утерянной. См. изд.: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алексия митрополита Московского и всея Руси (фототипическое издание Леонтия митрополита Московского). М., 1892.
- Чуд. пс. — Чудовская пс. (XI в.). ГИМ, Чуд. 7 (Св. кат. XI-XIII вв., № 31). См. изд.: *В. Погорелов. Чудовская Псалтырь XI-го в., отрывок толкования Феодорита Киррского на Псалтырь в древнеболгарском переводе.* СПб., 1910 (Пам. ст.-сл. яз., III, 1).
- Шахматов, I-III — *А. А. Шахматов. Курс истории русского языка. Литографированное изд. лекций, читанных в С.-Петербургском ун-те в 1908-1911 гг., I-III.* СПб., 1910-1912.
- Шахматов, 1895 — *А. Шахматов. Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV вв.* — *Иссл. по рус. яз.*, I. СПб., 1885-1895.
- Шахматов, 1903 — *А. А. Шахматов. Исследования о двинских грамотах XV в., I-II.* СПб., 1903 (Иссл. по рус. яз., II, 3).
- Шахматов, 1915 — *А. А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка.* Пг., 1915 (Энци. слав. фил., XI, 1).
- Шахматов, 1916 — *А. А. Шахматов. Введение в курс истории русского языка, I. Исторический процесс образования русских племен и наречий.* Пг., 1916.
- Шахматов, 1916а — *А. А. Шахматов. Повесть временных лет, т. I. Вводная часть. Текст. Примечания.* Пг., 1916.
- Шахматов, 1941 — *А. А. Шахматов. Очерк современного русского литературного языка. Изд. 4-е.* М., 1941.
- Шахматов, 1941а — *А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Изд. 2-е.* Л., 1941.
- Шахматов, 1957 — *А. А. Шахматов. Историческая морфология русского языка.* М., 1957.
- Шахматов и Крымский, 1922 — *Ол. Шахматов, Аг. Кримський. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'яток писемської старо-українщини XI-XVIII вв.* Київ, 1922.

- Шевелев, 1956 — G. Y. Shevelov. Konsonanten vor e, i in den protoukrainischen Dialekten. — Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag. Berlin, 1956.
- Шевелев, 1960 — G. Y. Shevelov. Die kirchenslavischen Elemente in der russischen Literatursprache und die Rolle A. Schachmatovs bei ihrer Erforschung. — In: A. Schachmatov, G. Y. Shevelov. Die kirchenslavischen Elemente in der modernen russischen Literatursprache. Wiesbaden, 1960 (Slavistische Studienbücher, 1).
- Шевелев, 1964 — G. Y. Shevelov. A Prehistory of Slavic: The Historical Phonology of Common Slavic. Heidelberg, 1964.
- Шевелев, 1974 — G. Y. Shevelov. The reflexes of *dj in Ukrainian. — Topics in Slavic Phonology. Ed. by D. Koubourlis. Cambridge Mass., 1974.
- Шевелев, 1978 — G. Y. Shevelov. Omega in the Codex Hankenstein. — Studia linguistica Alexandro Vasilii filio Issatschenko a collegis amicisque oblata. Lisse, 1978.
- Шевелев, 1979 — G. Y. Shevelov. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979 (Historical Phonology of the Slavic Languages, IV).
- Шевелева, 1993 — М. Н. Шевелева. Аномальные церковнославянские формы с глаголом *быти* и их диалектные соответствия (К вопросу о соотношении церковнославянской нормы и диалектной системы). — Исследования по славянскому историческому языкознанию: Памяти проф. Г. А. Хабургаева. М., 1993.
- Шевелева, 1996 — М. Н. Шевелева. «Житие Андрея Юродивого» как уникальный источник сведений по исторической фонетике русского языка (Новые данные о рефlekсах сочетаний редуцированных с плавными). — Актуальные вопросы современной русистики: диахрония и синхрония. М., 1996 (Вопросы русского языкознания, VI).
- Шепард, 1974 — J. Shepard. Some Problems of Russo-Byzantine Relations c. 860 — c. 1050. — The Slavonic and East European Review, LII, 1974, n. 126.
- Шереметьевский, 1908 — В. В. Шереметьевский. Фамильные прозвища великорусского духовенства в XVIII и XIX ст. — Русский архив, 1908, I (с. 75–97, 251–273), II (с. 195–218), III (с. 44–66, 269–290).
- Шишков, I–XVII — А. С. Шишков. Собр. соч. и переводов, I–XVII. СПб., 1818–1839.
- Шляпкин, 1884 — И. А. Шляпкин. Рец. на книгу: [Архангельский, 1884]. — ЖМНП, 1884, № 12.
- Шляпкин, 1891 — И. А. Шляпкин. Св. Дмитрий Ростовский и его время (1651–1709 г.). СПб., 1891 (Зап. ист.-филол. ф-та С.-Петербургского ун-та, XXIV).
- Шляпкин, 1898 — И. А. Шляпкин. Царевна Наталья Алексеевна и театр ее времени. СПб., 1898.
- Шмелев, 1960 — Д. Н. Шмелев. Архаические формы в современном русском языке. М., 1960.
- Шоберг, 1975 — А. Sjöberg. Первые печатные издания на русском языке в Швеции (Катехизис Лютера и «Alfabetum Rutenorum»). — Slavica Lundensia, 3 (p.). Lund, 1975.
- Шоберг, 1979 — А. Шёберг. Двужычие и диглоссия на Руси в начале XVII в. — Papers on Slavonic Linguistics Presented at the First Polish-Swedish Slavist Conference... Stockholm, 1979.
- Шапов, 1976 — Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. Изд. подг. Я. Н. Шапов. М., 1976.
- Щепкин, 1901 — В. Н. Щепкин. Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб., 1901 (Сб. ОРЯС, LXVII, 9).
- Щепкин, 1906 — В. Н. Щепкин. Болонская псалтырь. СПб., 1906 (Иссл. по рус. яз., II, 4).
- Щепкин, 1967 — В. Н. Щепкин. Русская палеография. Изд. 2-е. М., 1967. (Изд. 1-е.: В. Н. Щепкин. Учебник русской палеографии. М., 1918.)

- Щепкина, 1959 — *М. В. Щепкина*. Переводы предисловий и послесловий старопечатных книг с приложением их фототипических воспроизведений. — У истоков русского книгопечатания. М., 1959.
- Юрьев. ев. — Юрьевское ев. (между 1119 и 1128 гг.). ГИМ, Син. 1003 (Св. кат. XI–XIII вв., № 52).
- Ягич, 1896 — Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. Собрал и объяснил И. В. Ягич. СПб., 1896. Оттиск из изд.: Иссл. по рус. яз., I. СПб., 1885–1895.
- Якобсон, 1944 — *R. Jakobson*. Saint Constantin et la langue syriaque. — *Annuaire de l'Institut d'Histoire Orientales et Slaves*, VII (1939–1944).
- Якобсон, 1953 — *R. Jakobson*. The Kernel of Comparative Slavic Literature. — *Harvard Slavic Studies*, I. 1953.
- Якубинский, 1953 — *Л. П. Якубинский*. История древнерусского языка. М., 1953.
- Янакиева, 1977 — *Ц. В. Янакиева*. Система спрягаемых глагольных форм в языке деловой и бытовой письменности древнерусского Северо-Запада XI–XIII вв. АКД. М., 1977.
- Янин, I–II — *В. Л. Янин*. Актовые печати Древней Руси X–XV вв., I–II. М., 1970. Ср. продолжение этого изд.: *В. Л. Янин, П. Г. Гайдуков*. Актовые печати Древней Руси X–XV вв., III. М., 1998.
- Янин и Зализняк, 1986 — *В. Л. Янин, А. А. Зализняк*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.
- Янин и Зализняк, 1993 — *В. Л. Янин, А. А. Зализняк*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.
- Янин и Зализняк, 2000 — *В. Л. Янин, А. А. Зализняк*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). М., 2000.
- Янин и Зализняк, 2000а — *В. Л. Янин, А. А. Зализняк*. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1999 г. — ВЯ, 2000, № 2.
- Янин и Литаврин, 1962 — *В. Л. Янин, Г. Г. Литаврин*. Новые материалы о происхождении Владимира Мономаха. — Историко-археологический сборник. М., 1962.
- Яцимирский, 1916 — *А. И. Яцимирский*. Мелкие тексты и заметки по старинной южнославянской и русской литературам, LXXI–LXXVII. — ИОРЯС, XXI, 1916, кн. 1.

СОКРАЩЕНИЯ В НАЗВАНИЯХ ИЗДАНИЙ

- АДД — Автореферат докторской диссертации
 АКД — Автореферат кандидатской диссертации
 ВВ — Византийский временник
 ВЯ — Вопросы языкознания
 ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
 ЖС — Живая старина
 Изв. АН — Известия Академии наук
 Изв. АН СССР, ОЛЯ — Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка
 Изд. ОЛДП — Издания Общества любителей древней письменности
 Изв. РЯС — Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР
 ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук
 Иссл. по рус. яз. — Исследования по русскому языку
 Пал. сб. — Палестинский сборник
 Пам. ст.-сл. яз. — Памятники старославянского языка

ПДП — Памятники древней письменности (с 1898 г., вып. СХХVI — Памятники древней письменности и искусства). Приложения к Изданиям Общества любителей древней письменности
 РФВ — Русский филологический вестник
 Сб. ОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук
 Сб. РЯС — Сборник по русскому языку и словесности Академии наук СССР
 Сов. сл. — Советское славяноведение (с 1992 г., № 2 — Славяноведение)
 ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук
 УИ — Университетские известия (Киевского Университета св. Владимира)
 ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете
 Энци. слав. фил. — Энциклопедия славянской филологии
 Byz.-sl. — Byzantinoslavica
 BZ — Byzantinische Zeitschrift
 IJSLP — International Journal of Slavic Linguistics and Poetics
 Jan. ling. — Janua linguarum (series maior)
 RES — Revue des études slaves
 RL — Russian Linguistics
 Sc.-Sl. — Scando-Slavica
 Sl. Pr. and Repr. — Slavistic Printings and Reprintings
 ZfS — Zeitschrift für Slawistik
 ZslPh — Zeitschrift für slavische Philologie

СОКРАЩЕНИЯ В НАИМЕНОВАНИИ УЧРЕЖДЕНИЙ

АН — Академия наук
 БАН — Библиотека Российской Академии наук (С.-Петербург)
 ГБЛ — Российская Государственная библиотека (бывшая Государственная библиотека им. В. И. Ленина) (Москва)
 ГИМ — Государственный исторический музей (Москва)
 ГПБ — Российская Национальная библиотека (бывшая Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Шедрина) (Санкт-Петербург)
 ГТГ — Государственная Третьяковская галерея (Москва)
 ЛГУ — Санкт-Петербургский (бывший Ленинградский) государственный университет
 МГУ — Московский государственный университет
 ОЛДП — Общество любителей древней письменности (С.-Петербург)
 РГАДА — Российский государственный архив древних актов (Москва)
 РГИА — Центральный государственный исторический архив (С.-Петербург)

СОКРАЩЕНИЯ В НАЗВАНИЯХ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ

ев. — Евангелие
 пс. — Псалтырь
 сб. — сборник

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Введение	7
§ 1. Предмет истории литературного языка	7
§ 1.1. История литературного языка как лингвистическая дисциплина	7
§ 1.2. Понятие языковой нормы; система и норма	8
§ 1.3. Виды языковых норм: специфика книжной нормы	11
§ 1.4. Литературный язык и живой язык	14
§ 1.5. Специфика эволюции литературного языка	16
§ 1.6. Типы литературных языков	19
§ 2. Языковая ситуация и характер литературного языка	23
§ 2.1. Вопрос о статусе церковнославянского языка в Древней Руси	23
§ 2.2. Понятие диглоссии	24
§ 2.2.1. Диагностические признаки диглоссии: отличия от двуязычия	26
§ 2.2.2. Диагностические признаки диглоссии: отличия от ситуации сосуществования литературного языка и диалекта	28
§ 2.3. Книжный язык как язык культуры и язык культа при диглоссии	29
§ 2.4. Изменение языковой ситуации в России и периодизация истории русского литературного языка ...	31
 ЧАСТЬ I. ПЕРВОЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОЙ РЕДАКЦИИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА	
Глава I. Языковая и культурная ситуация в период первого южнославянского влияния	35
§ 3. Культурно-исторические предпосылки возникновения русской книжной традиции	35
§ 3.1. Южнославянское влияние	35
§ 3.1.1. Начало христианизации Руси	37
§ 3.1.2. Церковнославянский язык на Руси до ее крещения	39
§ 3.1.3. Церковнославянский язык как средство византинизации русской культуры	41
§ 3.1.4. Славянский язык как средство межнационального общения	45
§ 3.1.5. Социальный аспект распространения церковно- славянской грамотности	46

§ 3.2. Греческое влияние	47
§ 3.2.1. Переводы с греческого в Киевской Руси	49
§ 3.2.2. Греческий язык в Киевской Руси	52
§ 3.2.3. Соотнесение церковнославянского и греческого языков	54
§ 3.2.4. Буквализм переводов с греческого	56
§ 3.2.5. Кальки с греческого и их роль в формировании церковнославянского языка	58
§ 3.2.6. Специфика русской рецепции византийской культуры	62
§ 3.2.7. Переводы с семитских языков	64
§ 3.3. Западное влияние	65
§ 3.3.1. Западное влияние до крещения Руси	67
§ 3.3.2. Западные славяне как посредники в культурных контактах с Западом	67
§ 3.3.3. Следы западного влияния в церковно- литературной сфере	69
§ 3.3.4. Следы западного влияния в церковно- славянском языке	73
§ 4. Языковая ситуация: характер взаимодействия церковно- славянского и русского языков и критический разбор мнений о происхождении русского литературного языка в связи с языковой ситуацией	75
§ 4.1. Общие замечания	75
§ 4.2. Концепция А. А. Шахматова	76
§ 4.3. Концепция С. П. Обнорского	78
§ 4.4. Характер влияния церковнославянского и русского языков друг на друга	80
§ 4.5. Концепция В. В. Виноградова	85
§ 5. Типы текстов древнерусской письменности и их языковая характеристика: критерии употребления церковнославянского языка	86
§ 5.1. Канонические тексты как ядро литературы; характер литературного процесса в Древней Руси	86
§ 5.2. Критерии применения церковнославянского и русского языка	92
§ 5.2.1. Язык летописания	100
§ 5.3. Юридические тексты и их значение в становлении церковнославянско-русской диглоссии	101
§ 5.4. Деловая и бытовая письменность	107
Глава 2. Основные характеристики литературного языка	112
§ 6. Методологические проблемы интерпретации письменных источников	112
§ 6.1. Общие замечания: русизмы как явления книжного языка и как явления живой речи	112

§ 6.2. Факторы, обуславливающие вариативность написаний	114
§ 6.2.1. Отражение протографа	115
§ 6.2.2. Отражение орфографической традиции	117
§ 6.2.3. Отражение книжного произношения	117
§ 6.3. Соотношение орфографии и орфоэпии	118
§ 6.3.1. Обучение чтению и обучение письму	119
§ 6.3.2. Характер взаимодействия орфографии и орфоэпии	121
§ 6.4. Возможности разграничения орфографических и орфоэпических явлений	123
§ 6.4.1. Исправления в тексте	123
§ 6.4.2. Некнижные тексты, отражающие систему обучения чтению	123
§ 6.4.3. Певческие тексты	124
§ 6.4.4. Традиция церковного произношения	126
§ 7. Признаки церковнославянского языка русской редакции в сопоставлении со старославянским	127
§ 7.1. Употребление юсов	127
§ 7.2. Рефлексы *dj	128
§ 7.3. Рефлексы *zđj, *zgj, *zg'	128
§ 7.4. Рефлексы *tj, *kt', *stj, *skj, *sk' (в условиях первой палатализации)	131
§ 7.5. Употребление еров	136
§ 7.5.1. Пропуск еров как орфографическая традиция	136
§ 7.5.2. Сочетание еров с плавными	137
§ 7.5.3. Книжное произношение еров в древнейший период	139
§ 7.5.4. Правила, определяющие написание еров	149
§ 7.5.5. Написание и произношение еров после падения и прояснения редуцированных	150
§ 7.6. Книжное произношение <i>г</i>	155
§ 7.7. Палатальные сонорные	159
§ 7.8. Различение <i>ѣ</i> и <i>ѣ</i> в книжном произношении	163
§ 7.8.1. Отражение *ег в межконсонантной позиции	173
§ 7.8.2. «Новый ять»	175
§ 7.9. Отражение противопоставления /ѡ/ — /ѡ/	176
§ 7.10. Произношение иностранных слов	178
§ 7.10.1. Отсутствие йотации перед начальным /ѣ/	178
§ 7.10.2. Чтение фиты	180
§ 7.10.3. Чтение ижицы	181
§ 7.11. Морфологические отличия русского церковносла- вянского от старославянского языка	184
§ 7.11.1. Окончания тв. падежа ед. числа	185
§ 7.11.2. Флексия -ѣ вместо старослав. -а в мягкой разновидности склонений	186
§ 7.11.3. Стяженные и нестяженные формы прилагательных	186

§ 7.11.4. Окончания прилагательных в дат. падеже	
ед. числа	187
§ 7.11.5. Окончание 3 л. наст. времени	187
§ 7.11.6. Окончания имперфекта	188
§ 7.11.7. Окончания аориста	188
§ 7.11.8. Основа имперфекта	189
§ 7.12. Словообразовательные отличия русского церковнославянского языка от старославянского языка:	
суффикс <i>-ан</i> ~ <i>-ан</i>	190
§ 7.13. Некоторые обобщения	191
§ 8. Основные различия между церковнославянским и русским языком	192
§ 8.1. Наддиалектные фонетические явления	192
§ 8.1.1. Рефлексы *og, *ol перед согласным	192
§ 8.1.2. Полногласие	192
§ 8.1.3. Рефлексы *tj, *kt'	195
§ 8.1.4. Йотация перед /a/ в начале слова	195
§ 8.1.5. Йотация перед /u/ в начале слова	196
§ 8.1.6. Соответствие /e/ — /o/ в начале слова	196
§ 8.1.7. Рефлексы *ъ, *ь	196
§ 8.1.8. Рефлексы *sk: отсутствие эффекта второй палатализации	197
§ 8.2. Диалектные фонетические отличия	197
§ 8.2.1. Рефлексы *g	198
§ 8.2.2. Характер противопоставления /e/ и /è/	198
§ 8.2.3. Характер противопоставления /i/ и /i/	198
§ 8.2.4. Характер противопоставления *v и *u	199
§ 8.2.5. Переход /e/ в /o/	199
§ 8.2.6. Отражение второй палатализации	202
§ 8.2.7. Неразличение аффрикат (цоканье)	202
§ 8.2.8. Неразличение шипящих и свистящих	204
§ 8.2.9. Аканье и яканье	204
§ 8.3. Морфологические явления именного и местоименного склонения	205
§ 8.3.1. Перегруппировка типов склонения и ее последствия	205
§ 8.3.2. Основы на *s	206
§ 8.3.3. Местоимения в дат. и местн. падеже ед. числа	206
§ 8.3.4. Прилагательные в им. падеже ед. числа	207
§ 8.3.5. Прилагательные в косвенных падежах	207
§ 8.3.6. Некоторые диалектные особенности	208
§ 8.4. Морфологические явления глагольного словоизменения, не относящиеся к системе прошедших времен	209
§ 8.4.1. Показатель инфинитива	209
§ 8.4.2. Показатель 2 л. ед. числа наст. времени	210
§ 8.4.3. Некоторые диалектные особенности: показатели 3 л. наст. времени	210

§ 8.5. Морфологические признаки причастий	212
§ 8.5.1. Причастия наст. времени действит. залога	212
§ 8.5.2. Причастия прош. времени действит. залога	213
§ 8.5.3. Упрощение причастных форм	214
§ 8.6. Утрата некоторых грамматических категорий (не относящихся к системе прошедших времен)	214
§ 8.6.1. Утрата дв. числа	214
§ 8.6.2. Утрата зват. формы	214
§ 8.6.3. Утрата супина	214
§ 8.7. Система прошедших времен	215
§ 8.7.1. Употребление аориста и имперфекта	215
§ 8.7.2. Аномальные формы прошедших времен	220
§ 8.7.3. Введение перфектных форм в парадигмы аориста и имперфекта: грамматическая традиция	225
§ 8.7.4. Введение перфектных форм в парадигму аориста и имперфекта: книжная справа	230
§ 8.7.5. Введение перфектной формы в парадигму аориста и имперфекта: глагол <i>быти</i>	238
§ 8.7.6. Перфектные формы: наличие или отсутствие связки	247
§ 8.7.7. Перфектные формы в сослагат. наклонении	249
§ 8.7.8. Плюсquamперфект	251
§ 8.8. Явления словообразования	252
§ 8.8.1. Именное словообразование	253
§ 8.8.2. Глагольное словообразование	253
§ 8.9. Синтаксические явления	254
§ 8.9.1. Причастные конструкции: дательный самостоятельный	254
§ 8.9.2. Причастные конструкции: причастие при личном глаголе	255
§ 8.9.3. Причастные конструкции: субстантивированное причастие	255
§ 8.9.4. Причастные конструкции: причастия после глаго- лов восприятия	256
§ 8.9.5. Причастные конструкции: причастия в сочетании с глаголами состояния	256
§ 8.9.6. Конструкции с инфинитивом: винительный падеж с инфинитивом	256
§ 8.9.7. Конструкции с инфинитивом: дательный падеж с инфинитивом в значении результата	257
§ 8.9.8. Конструкции с инфинитивом: дательный с инфинитивом в модальном значении	257
§ 8.9.9. Пассивные конструкции с <i>от</i>	258
§ 8.9.10. Конструкция « <i>еже</i> + инфинитив»	258
§ 8.9.11. Прилагательные и местоимения ср. рода в обобщенно-субстантивированном значении	258
§ 8.9.12. Конструкция « <i>да</i> + индикатив»	259
§ 8.9.13. Порядок слов: место вспомогательного глагола	260

§ 8.9.14. Некоторые специфические синтаксические русизмы	261
§ 8.10. Лексические явления	261
§ 8.11. Некоторые обобщения	263

ЧАСТЬ II. ВТОРОЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДВУХ РЕДАКЦИЙ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Глава 1. Второе южнославянское влияние	269
§ 9. Культурно-исторические предпосылки	269
§ 9.1. Из историографии вопроса	269
§ 9.2. Второе южнославянское влияние: пурификаторские и реставрационные тенденции	275
§ 9.3. Второе южнославянское влияние: грекофильские тенденции	279
§ 9.4. Некоторые типологические характеристики второго южнославянского влияния как культурного явления ...	284
§ 10. Перестройка отношений между книжным и некнижным языком	286
§ 10.1. Возрастание различий между книжным и некнижным языком	286
§ 10.2. Перестройка лексических отношений	287
§ 10.3. Изменение соотношения орфографии и орфоэпии	293
§ 10.4. Скоропись как особый тип письма и ее функциональная значимость	295
§ 10.5. Возникновение грамматической традиции	301
§ 11. Реформа церковнославянского языка	304
§ 11.1. Орфография: написание грецизмов	304
§ 11.2. Орфография: отдельные буквы	305
§ 11.3. Орфография: изменение орфографических правил	307
§ 11.3.1. Дистрибуция букв -а и -ѡ, -ѡ в поствокальной позиции	308
§ 11.3.2. Правописание еров	309
§ 11.3.3. Дистрибуция букв і и ѿ	310
§ 11.3.4. Употребление диграфа ѡѣ (ѣ)	310
§ 11.3.5. Буквы ю- и ѡѣ- (ѣ-) в начале слова	310
§ 11.3.6. Смещение букв под влиянием южнославянских протографов	311
§ 11.3.7. Рефлексы *ег между согласными	311
§ 11.3.8. Рефлексы *dj	311
§ 11.3.9. Написание отдельных слов	312
§ 11.4. Орфография: надстрочные знаки и знаки препинания	312
§ 11.4.1. Знаки акцентов и придыханий	312
§ 11.4.2. Знак титла	314

§ 11.4.3. Употребление паерка	315
§ 11.4.4. Знаки препинания	317
§ 11.5. Морфологические инновации	317
§ 11.5.1. Зват. форма в функции им. падежа	317
§ 11.5.2. Формант <i>-ов-</i> в именном и местоименном склонении	318
§ 11.6. Синтаксические инновации	318
§ 11.6.1. Одинарное отрицание	319
§ 11.6.2. Родительный восклицания	321
§ 11.7. Некоторые обобщения	322
§ 12. Семиотизация формальных различий	325
§ 12.1. Принцип антистиха и его славянская трансформация ...	325
§ 12.2. Орфографическая дифференциация грамматических форм	326
§ 12.3. Орфографическая дифференциация лексических омонимов	328
§ 12.4. Семантизация фонетических вариантов	334
§ 12.5. Семантизация грамматических вариантов	338
§ 12.6. Некоторые обобщения	338
Глава 2. Книжные традиции Московской и Юго-Западной Руси после второго южнославянского влияния	340
§ 13. Судьба второго южнославянского влияния в Московской и Юго-Западной Руси: образование особых изводов церковнославянского языка	340
§ 13.1. Культурно-исторические предпосылки	340
§ 13.2. Реакция на южнославянское влияние в Московской Руси	342
§ 13.3. Реакция на греческое влияние в Московской Руси	345
§ 13.4. Размежевание культурно-языковых традиций Москов- ской и Юго-Западной Руси: великорусский и югозапад- норусский изводы церковнославянского языка	355
§ 14. Языковая ситуация Московской Руси	365
§ 14.1. Сохранение церковнославянско-русской диглоссии. ...	365
§ 14.2. Активное употребление церковнославянского языка: ориентация на грамматику	367
§ 14.3. Развитие стилистических оппозиций в рамках книжного языка	370
§ 14.4. Изменение отношения к некнижному языку	377
§ 14.5. Отношение к грамматике и риторике	380
§ 15. Языковая ситуация Юго-Западной (Литовской) Руси	386
§ 15.1. Историко-культурные сведения	386
§ 15.2. Различия в языковой ситуации Московской и Юго- Западной Руси	387
§ 15.3. «Проста (руска) мова» как особый литературный язык Юго-Западной Руси	388

§ 15.4. Характер сосуществования церковнославянского языка и «простой мовы»	392
§ 15.5. Упадок знания церковнославянского языка в Юго-Западной Руси	404

ЧАСТЬ III. ТРЕТЬЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ДИГЛОССИИ В МОСКОВСКОЙ РУСИ

Глава I. Третье южнославянское влияние и реформа церковно-славянского языка	411
§ 16. Югозападнорусское влияние на великорусскую книжную традицию	411
§ 16.1. Общий характер третьего южнославянского влияния	411
§ 16.2. Культурно-исторические предпосылки третьего южнославянского влияния	415
§ 16.3. Начало югозападнорусского влияния	418
§ 16.4. Югозападнорусское влияние и культурные реформы второй половины XVII в.	420
§ 16.5. Великорусское влияние на Украине	426
§ 16.6. Югозападнорусское влияние и проблема конвенциональности знака	428
§ 17. Реформа церковнославянского языка	433
§ 17.1. Никоновская и послениконовская книжная справа	433
§ 17.2. Югозападнорусский компонент в реформе церковно-славянского языка	437
§ 17.2.1. Орфоэпические изменения, обусловленные книжной справой	438
§ 17.2.2. Орфоэпические изменения, обусловленные непосредственными контактами	442
§ 17.3. Греческий компонент в реформе церковнославянского языка	450
§ 17.3.1. Расширение функций род. падежа: употребление род. и дат. падежей	451
§ 17.3.2. Расширение функций род. падежа: родительный посессивный	452
§ 17.3.3. Устранение энклитических местоимений в дат. падеже	458
§ 17.3.4. Согласование относительных местоимений	458
§ 17.3.5. Ограничение функций местоимения <i>свой</i>	459
§ 17.3.6. Замена предлога <i>о</i> на <i>в</i>	461
§ 17.3.7. Лексические грецизмы	462
§ 17.3.8. Сознательный характер ориентации на греческие грамматические модели	464
§ 17.4. Буквализм книжной справы второй половины XVII в. и актуализация традиционного языкового сознания	467
	559

Глава 2. Третье южнославянское влияние и изменение языковой ситуации	472
§ 18. Разрушение диглоссии и переход к двуязычию	472
§ 18.1. Начало перестройки отношений между русским и церковнославянским языком в первой половине XVII в.	472
§ 18.2. Изменения в функционировании церковнославянского языка	477
§ 18.2.1. Модернизация церковнославянского языка как результат активизации его употребления	485
§ 18.3. Возникновение «простого» языка, противопоставленного церковнославянскому языку	490
§ 18.3.1. Характер противопоставления церковнославянского и «простого» языка	494
§ 19. Взаимоотношение церковнославянского и русского языков в условиях двуязычия	497
§ 19.1. Переводимость церковнославянских и русских текстов: перевод сакральных текстов на русский язык и пародии на церковнославянском языке как признаки церковно-славянско-русского двуязычия	497
§ 19.2. Кодификация различий между церковнославянским и русским языком: начальные формы кодификации русского языка	504
§ 19.3. Некоторые итоги и перспективы	511
Цитируемая литература	513
Принятые сокращения	550

ISBN 5-7567-0146-X



9 785756 701463